ВСЕВОЛОД

ИВАНОВ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

ВСЕВОЛОД

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

•

Издание осуществляется под редакцией Т. В. Ивановой, А. И. Пузикова, С. В. Сартанова

•

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

ИВАНОВ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

●

ПОХОЖДЕНИЯ ФАКИРА

Роман

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

Р2
И20

Подготовка текста
В. ТИТОВОЙ

Комментарии
Е. КРАСНОЩЕКОВОЙ

Оформление художника
Л. ЧЕРНЫШЕВА

И $\frac{70302\text{-}170}{028(01)\text{-}75}$ подписное

ПОХОЖДЕНИЯ ФАКИРА

РОМАН

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ

замечательных похождений, ошибок, столкновений, дум, изобретений знаменитого факира и дервиша
Бен-Али-Бея,
правдиво описанных им самим в пяти частях со включением очерков:

о его «Соломенной собаке»; о поисках Волшебной библиотеки и восхитительной Индии; о его странствиях по Сибири и Уралу; о фауне и флоре виденных им местностей; о встречах и беседах с офицерами и солдатами времен империалистической войны; о Красной гвардии; об изучении им ремесел; о сочиненных им драмах; о стихах, написанных по разным поводам; о сборе им полезных сведений, общих и частных, во всех отраслях хозяйства, как-то: земледелии, огородничестве, садоводстве, лесоводстве, скотоводстве, птицеводстве, звериной, птичьей и рыбной ловле, в поваренном и кондитерском искусстве, в лечении обыкновенных болезней домашними средствами, во всем, что входит в круг хозяйственных занятий и может споспешествовать приумножению достатка; с присовокуплением, где нужно, изъяснений из естествоведения, физики, химии, страстей и увеселений, производимых цифрами, картами, зверьми, а также пословиц, анекдотов, суеверий, например: «Судьба треножника Пифии, жрицы оракула Дельфийского, сопровождаемая краткой мифологией и каталогом листков персидской сивиллы Самбеты», и т. д. и т. п.

1895—1918 гг.

Когда я поглядел на себя в осколок зеркала при тусклом свете фонаря, мной овладел такой страх при виде себя самого, столь похожего на ужасный труп, что я задрожал, как лист, и готов был отречься от своей роли.

Эдгар По. Повесть о приключениях Артура Гордона Пима из Нантукета.

— Пим! — шептал голос. — Не надо, никогда не надо забывать бедного Пима!

В этот раз я слышал совершенно ясно, что кто-то произносил эти слова совсем близко от меня.

Жюль Верн. Ледяной сфинкс.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ФАКИР ПОДХОДИТ К ЦИРКУ

1

Вся моя семья отличалась удивительнейшей тщеславностью. Вот мне сейчас тридцать девять лет, я видел множество людей, иногда их расспрашивал с любопытством, почти страстным, объехал много стран, прочел много книг по истории, но нигде и никогда не встречал я людей более тщеславных, чем моя родня.

Дед мой с материнской стороны, Семен Калистратович Савицкий, когда ему было заведомо семьдесят лет, рассказывал всем, что ему сто семнадцать, что он ссыльный из польских конфедератов, что он каторжник. В переднем углу, возле божницы, висели громадные цепи, которыми его будто бы приковывали к тачке на каторге. Шесть дней в неделю он страшно враждовал с богом. Ругательства и подлости, которыми он награждал бога, сыпались из его рта непрестанно. Под конец он выбрасывал иконы в чулан, грозя их разрубить топором, и не рубил только потому, что фольговые ризы мог выдавать за серебряные. Приходило воскресенье. У деда собирались гости. Появлялся поселковый поп Андрей, ехидный и глуховатый старикашка, с пепельным лицом и короткими ручками, постоянно сморкавшийся в серый длинный платок. Он больше всех гостей восхищался рассказами деда Семена, и ради этого восхищения дед мой в воскресенье утром примирялся с богом. Дед протирал иконы постным маслом, зажигал лампадку, а поздней ночью целовал кандалы, утверждая, что только через кандалы он познал настоящего христианского бога, который являлся ему всегда при его страданиях, утешал его, а особенно ловко утешал тогда, когда деда пороли шпицрутенами.

— Каторжников-то, кажись, не пороли шпицрутенами? — осторожно говорил ехидный поп Андрей, так

быстро орудуя сереньким своим платочком, что короткие ручки его, казалось, доставали до полу.

— Это почему же не пороть бы?

— Военных пороли шпицрутенами, и даже наказание это считалось для штатского приобретением. Некоторые гордились, когда подпадали к такому наказанию.

— Вот меня и пороли, поймавши после восстания! Я воевал за Польшу, будучи польским военным.

— Любопытно бы знать, через какой способ пороли шпицрутенами?

— Для каждого удара отдельная палка.

— А если три тысячи ударов? — спрашивал ехидно попик.

— Восемь тысяч я выдержал! — орал тощим своим голосом дед Семен. — Восемь тысяч, и на каждый удар отдельная палка. Пятнадцать возов палок на меня истратили, а я продолжаю стоять неподвижно. Тогда генерал рассердился, заковал меня в кандалы и сказал: «Послать его к чертям собачьим в Сибирь, на Иртыш, в поселок Лебяжий, и пусть он живет до ста пятидесяти лет». И проживу!

— Как не прожить, — соглашались гости.

О, эта родня моего деда! Выслушав, они рассказывали сами. Оказывалось, что поп Андрей приходился ближайшим родственником Ермаку и графу Демидову Сан-Донато. Крестный мой участвовал в штурме Варшавы, взял в плен моего деда и весь полк, которым тот командовал. А поселок Лебяжий раньше, несомненно, был столичным городом! А в Иртыше, по ту сторону, на отмелях можно найти неисчислимые сокровища турецких богдыханов.

Трубки дымились, клокотал самовар. За крошечными окнами блистала широкая степная тишина. Каменные бабы торчали возле солончаковых озер. У тракта, по которому мчались лихие усатые почтальоны, беркуты рвали труп сдохшей лошади. Озера похожи на бельма, вокруг них камыши, за камышами — лога; а дальше на десятки и сотни верст — заросли дикой клубники, где бродят пудовые жирные дрофы; а за дрофами — сосновые леса — «боры».

Бабка моя Фекла, жена деда Семена, неустанно желала быть святой подвижницей. Поэтому богохульство деда ей доставляло удовольствие: чем больше стра-

даний, тем легче стать праведником. Она любила водку, хорошую закуску, веселых гостей, но от всего этого отказывалась, а в последние годы, чтобы меньше видеть греха, начала притворяться слепой. Зимой и летом в тулупчике, кругленькая, курносенькая, сидела она на крылечке, держа в руках мешочек с травами.

По двору, поглядывая на небо, бегал длинный, синий и тощий дед Семен с ружьем за плечами. Он любил стрелять ворон и коршунов, охотящихся за цыплятами. Мне казалось, что он хочет поймать и подстрелить бога, а бабка караулит, дабы удержать его от этого великого преступления.

Бабка Фекла ничего не понимала ни в травах, ни в болезнях, но так как все предания говорили о том, что святые излечивали больных травами, то лечила и она. Думаю, приходили к ней лечиться не столь больные, сколь желающие похвастать, что их излечила лебяженская святая Фекла. Денег за лечение она не брала, не брал их и дед Семен, который хотя и ругался, что в доме завелась угодница, но тем не менее был явно доволен: если богу некогда спускаться к нему для борьбы, то он подсылает святых.

Бабка Фекла лечила однажды богатого киргиза Таксы-бая. Киргиз страдал болями в желудке, бабка велела съесть ему на рассвете полфунта желтой глины, смешанной с отрубями и травами, а затем поститься десять дней. Выздоровев, Таксы-бай привел мне в подарок необъезженного жеребца. Он подарил мне коня потому, что ни дед, ни бабка, ни тем более отец мой подарка б не приняли. Происходило это в рождественские каникулы 1910 года. Я тогда учился в Павлодарской сельскохозяйственной школе. За мною числилось пятнадцать лет жизни.

Конь, как и полагается необъезженному коню, бил копытами, раздувал ноздри, хвост — трубой. Ветхие заборы нашей ограды были унизаны любопытствующими казаками, все желали видеть, как я буду объезжать подарок, ибо по казачьему обычаю полагалось сесть на подаренного коня, если он объезженный, один раз, а если необъезженный — три раза, а сшибет он или не сшибет — это уже дело другое.

Коня оседлали. Отец смотрел на меня с гордостью. Бабка — в землю, дед — целился в небо. Я с трепетом уселся в седло. Конь взвился. Я перелетел через его

голову. Конь перелетел через меня. Я перелетел через сугроб. Снежные бури перелетели через меня. Из сугроба меня выволокли за ноги.

Отец смотрел скромно, бабка — готовясь излечить, дед — вспоминая свою молодость.

Я влез второй раз. Еще более стремительно я ударился в сугроб, и конь, испугавшись моего воя, перемахнул через бревенчатый забор. С укрючинами в руках за конем побежали киргизы. «Хотя бы им его совсем не поймать!» — томительно думал я. Широко вокруг меня расстилалась пустота, упиравшаяся в молчаливое презрение. Из снега торчали втоптанные конем мои рукавицы, шапка, полушубок; в ногах звенело, из ушей лилась вода.

— Ведут, — сказала бабка лечебным своим голосом.

И вот третий раз подвели мне коня. Он был страшен, пар клубился над ним, пена струилась изо рта, от каждого удара его копыта лиловый клуб снега взлетал над толпой. Треск из его желудка походил на треск лопающихся льдин при крещенских морозах. А глаза у него были нежные, голубые. Надеясь единственно на эти голубые глаза, я поставил ногу в широкое стремя. Киргизы совсем было отпустили поводья, но тут дед Семен потрепал меня рукой по валенку и сказал:

— Упадет, непременно упадет, и не в сугроб теперь, а в бревно головой. И никакими святыми не исцелить его.

— Христос и мертвых воскрешал, — обиделась бабка Фекла.

— А если я сегодня в Христа не верю, — завизжал дед, уцепившись синими руками за седло. — Если мне сегодня на всех богов начхать? Слезай, Сиволот!

— Мне надо проехать третий раз, — сказал я, немедленно слезая.

— Наездишься после меня. Я вам покажу, как надо коней объезжать!

Сам Таксы-бай почтительнейше подал деду Семену стремя.

— Я вам покажу, как объезжали коней сто лет тому назад, — сказал дед, усаживаясь в седло и подбирая под себя полы чапана. Он похлопал рукавицей вдоль заиндевевшей гривы и взял повод. — Пускай!

— Пу-уска-ай! — воскликнули киргизы.

— Эх, ты, милый! — взвизгнул дед.

Киргизы отпрыгнули. Сердце мое ёкнуло от радости. Конь совершил такой невероятный прыжок, что мне было приятно подумать: вряд ли падал кто-нибудь с такой высоты, с какой мог упасть я. А конь крутил, носился по двору, и голубовато-белые сугробы вертелись вокруг него. И вот, уже без всадника, махнул голубоглазый конь через забор, а дед мой лежит в сугробе как раз в том месте, где недавно лежал я.

Я схватил деда за ноги.

— Тащите меня под образа, — сказал дед Семен, — а ты, Фекла, зови всех богов меня исцелять. Не дожить мне до полутораста лет. Да и тебе, Сиволот, не дожить.

Мне было жалко деда. Я плакал. Я любил его синюю бороду, длинные синие рукава его чапана, его тощий голос, его каторжные цепи, его Варшаву. Сам я имел все основания сомневаться в божьем могуществе. Несколько лет назад, в селе Волчихе, отец определил меня в церковь прислуживать попу. На меня надели парчовый халат, серебристый и широкий. Я подавал кадило. Когда поп уходил из алтаря, я пил теплое, разбавленное кипятком вино, приготовленное для причастия, и курил украденные у отца папиросы, пуская дым в форточку печки. Слева висел чернобородый Николай Мирликийский. Он неустанно смотрел мимо меня. Его спокойствие злило меня, я подпалил свечкой его бороду. Я прожег ее вплоть до дерева. Затем я съел четыре просфоры, приготовленные для причастия. Боги молчали. Я бросил таракана в питье, которым запивают причастие, и наш почтенный церковный староста выпил этого таракана. Бог молчал. И тогда, исключительно только с целью напакостить богу, я продал свою душу дьяволу. В нашем роду, причислявшем себя почему-то к польским выходцам, много рассказывали о пане Твардовском, который отдал свою душу сатане. У пана Твардовского, судя по всем рассказам, душонка была среднего качества, но дьяволу она почему-то понравилась, и пан променял ее с большой выгодой. Его, например, никак не могли арестовать, он безнаказанно совершал всяческие жульничества и подлоги, он исчез, нарисовав на стене углем коня. Но лично встречаться с дьяволом мне все-таки не хотелось. Я рассчитал, что если напишу кровью обязательство и брошу его в церковную печь, оно непосредственно

попадет в руки дьяволу, ибо дьявол как раз здесь сидит на углях, не решаясь вылезть в алтарь. Поп Андрей часто подходил к печке и плевал в нее. «Не иначе, — думал я, — что он плюет на дьявола».

С трудом я выпросил перочинный нож, который имелся у гимназиста Егорки, поповского сынка. Ножик оказался тупым. Я попробовал прокусить руку — больно. Тогда я сбегал в сторожку и выпросил шило у звонаря. Ткнул шилом в руку. Показалась кровь. У меня было приготовлено гусиное перо, ибо я помнил, чем пап Твардовский подписывал договор.

Перо было очинено плохо. Писал я на подоконнике в алтаре. За окном лежали неисчислимые сугробы. Взлетали голуби. Шло говенье. Поп сонно бормотал у алтаря. Угли в печке горели медленно, атласным огнем. Пахло ладаном. Весь подоконник заставлен был пустыми бутылками «церковного» вина. Оказалось, что писать целый договор, помимо незнания его формы, было трудно и потому еще, что поп мог заметить. Поэтому я просто написал: «Согласен. В. Иванов», — и бросил эту бумажку в печь, но тут же, чтобы дьявол не обманул меня, я высказал ему шепотом мои условия. Я требовал: валенки-чесанки цвета яичного желтка в молоке, «барнаульские», расшитые; коньки; перочинный ножик и окончание романа «Таинственный остров», начало которого я нашел на поповском чердаке.

Дьявол, должно быть, удовлетворял запросы других своих клиентов и не торопился исполнять наш договор. Коньки я получил приблизительно лет шесть спустя, «Таинственный остров» прочел через восемь лет, перочинный ножик приобрел только зимой 1933 года в Берлине, а валенок желаемого цвета и расшивки все еще не имею.

Итак, дед Семен помирал. Помирал очень обиженный, объясняя неудачу тем, что конь заколдован, а бабка Фекла не сумела отколдовать. Бабка и здесь делала особое лицо. Ясно, ей хотелось исцелить деда, но в то же время — какая ж она святая, если начнет исцелять домашних? Общеизвестно, что святые исцеляли чужих. Она даже обмолвилась: «Эх, будь ты, Семен, посторонний!» Прах ее знает, но, пожалуй, она желала ему смерти. Теперь-то и начнутся для нее те чудовищные неистребимые страдания, которыми мучились все святые! Дед Семен вносил легкомыслие в ее жизнь.

Дед Семен умер. Его похоронили, но тщеславие моей родни нисколько не уменьшилось. И не успел труп деда остыть, как уже говорили, что вот Сиволот не сумел коня объездить, а стосемнадцатилетнему деду удалось укротить. Кстати сказать, конь оказался очень смирным, а дурил он тогда оттого, что при поспешной седловке ему под кошму, заменявшую чепрак, попала щепка. Но еще более удивительно: историю о том, как я не смог объездить коня, а стосемнадцатилетний дед мой объездил, я рассказывал еще совсем недавно.

Бабка Фекла ото дня в день святела все больше и больше. Просто износу не было ее святости! Притворяясь слепой, она требовала, чтобы ее вели под руки не меньше двух человек, причем эти водители бормотали бы за ней нескончаемые молитвы. Конечно, нашему дому было приятно, что вдоль всей Горькой линии о нас шла слава. К нам заезжали самые знаменитые люди, и однажды даже остановил свою тройку станичный атаман Егор Трубочев. Но моему отцу видеть это было обидно. Он должен чем-нибудь проблистать и переблистать!

Мой отец, Вячеслав Алексеевич Иванов, был удивительнейший человек. Водку он не любил, переносил ее с трудом, но пил ее в неимоверном количестве. Мать его, Дарья Бундова, по ее словам, служила в экономках у знаменитого генерала Кауфмана, «завоевателя Туркестана». Есть все основания полагать, хотя бы из того, каким мой отец был наездником-джигитом, — у бабки Дарьи случился грех с кучером. Но так как отец мой был «незаконнорожденный», то бабка рассказывала, что грех этот от Кауфмана. Отец мой работал раньше на приисках, затем прошел учительскую семинарию в Ташкенте, а оттуда явился пешком на Иртыш. Лебяженских мальчишек он обучал преимущественно маршировке и пляскам. Он даже арифметику умел преподавать с плясом. Да что арифметику! Уж на что чистописание — казалось бы, какой замысловатый предмет, но и туда он умел вносить пляску. Он играл на балалайке, а ученики плясали по кругу, вдоль которого были выведены на полу мелом правильно написанные буквы. Для того чтобы запомнить букву «ять», он навешивал слова с «ятью» на спины ученикам, и они опять-таки плясали.

И вот этот учитель Вячеслав Иванов сделался зятем святой Феклы. Ее святость огорчала его. Какое бы дело ни совершил отец для славы, все же бабка Фекла перекрывала его. Отец получил за джигитовку саблю с надписью. Он брал призы в «городке». Он скакал лучше всех. Тщеславие его было столь огромно, что он, несмотря на свою хилость, в «байгу»[1] боролся с искуснейшими борцами — и часто побеждал. Но тут бабка Фекла исцеляет глухую! Бабка Фекла молится о дожде, и дождь выпадает. Заболеет корова — она мгновенно вылечит. У станичного атамана Трубочева угнали аргамака — она помогла найти воров.

Отец приносил ей «кожаные» книги, читал Пролог и Четьи-Минеи, указывая, что святые не таковы. Нигде не написано, например, будто святым подобает пить кумыс. От кумыса бабке трудно было отказаться, и она говорила: как и всем святым, у которых имелись зятья, ей предстоит испытать и не такие еще издевательства.

И точно, она их испытала.

Киргизы доверчивее казаков. К бабке приходило много киргизов исцеляться. Не в дар, а для разговора они приносили ей в турсуках кумыс, которого она выпивала не меньше ведра в день. Она сидела на крыльце, розовая, веселая, с закрытыми пускай, но хитрыми глазами.

Отец выписал почтой азбуку арабского языка, а несколько позже словарь. Он выучил арабский язык. Затем он съездил в степь к знаменитому ишану Гауказу Фахтулину проверить свои знания. Однажды он созвал к себе киргизов и стал читать им Коран по-арабски. Он читал и толковал по всяким поводам: при болезни, при несчастии, при счастии. Он объяснял будущее, он разъяснял настоящее. Он врачевал.

Киргизы повалили к отцу.

Он отказывался от кумыса. Вот он какой бессребреник! Он отдавал кумыс бабке.

Исцелять, по-видимому, возможно многими способами. Отец, например, исцелял посредством Корана. Но бабка Фекла не верила в силу Корана и говорила, что отец украл у нее тайну трав. Вскоре она нажаловалась попу Андрею. «Учителя Иванова посетил дьявол», —

[1] Байга — скачки на народных праздниках. *(Здесь и далее прим. автора.)*

говорила она. Он отнял у нее киргизов, которых она хотела обратить в христианство. Поп Андрей смутился и поехал за советом к благочинному. К отцу явились благочинный о. Гавриил, поп Андрей и станичный атаман Трубочев. Благочинный был высокий седой старик, большой любитель коней и сам отличный наездник.

— Ты чего это, Вячеслав Алексеевич, разводишь? В магометанство переходить собираешься?

— Нехорошо! Жил как человек, а тут...— Станичный атаман склонил толстую голову набок и задремал, ибо генерал Шмит, наказной атаман сибирского казачьего войска, тоже любил подремать.

— Надо, прежде чем осуждение, узнай причины,— сказал им отец.— Вот, смотрите, здесь написано...

Он раскрыл Коран и прочел по-арабски.

— А я киргизам объясняю, что все это ложь. Я их сшибаю с направления через неправильное толкование и тем склоняю к христианской вере. Вот вы киргизов-то спросите-ка, каковы их мысли теперь о своем Магомете.

— Охота мне,— сказал благочинный и уехал, довольный объяснением отца.

Отец был тоже доволен. Но битвы между ним и бабкой продолжались.

Получив раз двухведерный турсук кумыса, отец влил туда бутылку спирта, а через день, когда кумыс пробродил, принес турсук в подарок бабке Фекле.

Кумыс ей правился. Она пила стакан за стаканом. Отец пригласил гостей. Он врал о какой-то необыкновенной страшной любви своей к великой княгине Софье, которая жила в городе Верном. И кстати он рассказал о найденном им и немедленно пропитом кладе сассанидских монет. На дворе жара и высокое солнце.

Бабка охмелела. Она вдруг запела, но не церковное, а «Вот мчится тройка удалая». Отец смотрел насмешливо. У него желтое лицо. Внизу прокуренные зубы, сверху карие узкие глаза. Он весь стройный, ловкий, узкий.

Бабка пошла в пляс. Вначале гости подумали, что так полагается для святых или что она помешалась. Но бабка раскрыла глаза. Бабка прозрела! Бабка требовала водки. Она напилась вдребезги и заснула на паперти, облевав все вокруг и пририсовав углем великомученице Варваре, иконе, которая стояла у входа, нечто

непотребное. Отец был жалостлив. Он принес домой бабку на плечах, уложил спать, а непотребность счистил.

Свержение Феклиной святости принесло отцу моему множество бед и страданий. Так как бабка теперь уже никак не могла возвратить себе святость, она пустилась в торговлю. Она подыскивала компаньонов, чтобы открыть мелочную лавку в Лебяжьем. Лавочник, брат атамана Трубочева, обеспокоился и побежал жаловаться.

— Она же кыргыз хочет взять с собой в коммерцию! Кыргызы будут заслуженным казакам, георгиевским кавалерам, товары продавать.

Станичный атаман призвал моего отца:

— Тебе, друг мой, лучше бы не сбивать людей с правильного... Вот ты к чему кыргыз-то Кораном потчевал. Приобрести с ними хочешь капитал? Я тебя для начала уволю, а там еще и под церковный суд отдам.

Отец испугался и захлопал глазами.

— Мирись, пускай лучше она святой останется.

Отец побежал мириться. Многое он придумывал, дабы вернуть бабку Феклу к святости. Он и Коран толковал, где выходило: киргизу не полагается торговать в компании с христианами. Он и грозил, что сам откроет торговлю. Не помогло. Слухи об открытии Феклой торговли не утихали, хотя компаньонов, особенно когда узнали, что станичный атаман обижается, не находилось. Бабка стала шинкарствовать. Отец, решив, что бабка, накопив денег, откроет торговлю и его тогда выгонят, обдумывал иной поворот своей жизни.

Отец мой решил стать ученым. К тому же он знал арабский язык, знал и киргизский. Свою ученую деятельность он начал с того, что взялся составить словарь киргизского языка. Тут какой-то проезжий старичок из Москвы описал ему замечательную форму студентов Лазаревского института восточных языков. «Пора мне сделаться студентом», — вдруг сказал отец.

Он взял краюху хлеба, вырезал палку, зашил в полу тридцать рублей скопленных денег и пошел пешком в Москву — сдавать экзамен на студента Лазаревского института. Он ходил три года. Мать моя Ирина Семеновна в это время служила по людям в кухарках. Изредка мы получали от него письма. Одно из них было из Иерусалима. Сдав экзамен, он надумал по дороге

посетить Мекку и для этого, по-прежнему пешком, направился в Одессу.

В Одессе он познакомился с богатыми мусульманами, которым сказал, что желает перейти, или даже перешел, в мусульманство. Он приобрел зеленую чалму и называл себя Иван-беем. Богатые мусульмане купили ему билет на пароход, который должен был везти паломников к Мекке. Перед отъездом, на постоялом дворе, он разговорился с паломниками, которые на другом пароходе уезжали в Иерусалим. Его начали стыдить. Тогда отец мой решил вначале съездить в Иерусалим... Как-никак, он православный. Да и пароход, который шел в Иерусалим, отправлялся раньше, чем меккский. Отец продал мусульманский билет и купил себе новый билет, до Иерусалима.

В 1912 году, приехав из Павлодара, нашего уездного городка, уже наборщиком, то есть когда я считал себя человеком совсем самостоятельным, я спрашивал у отца:

— Ну, пап, каков из себя Иерусалим?

— Так, вроде Ташкента, — уклончиво отвечал отец.

Мы стоим у забора школы. Перед нами пыльная поселковая улица. Бредет желтый отбившийся от стада теленок. Девчонка гонит его хворостиной, теленок прыгает и никак не хочет вернуться в пригон. Утки поднимаются лениво по откосу от Иртыша.

Отец вынес из странствований длинную костяную зубочистку. Эта зубочистка в поселке всех необычайно удивляла. Отец постоянно, даже во время обедни, ковырял ею в зубах. И сейчас он стоит, ковыряя ею.

Сдав в Лазаревском институте экзамен, отец достал зашитые тридцать рублей, купил тужурку с погонами, блестящими пуговицами и петлицами. На штаны не хватило. Через три года, подойдя ранним утром к поселку, он не вошел в поселок, а остановился у ветряных мельниц. Он ждал, когда наступит вечер и казаки выйдут на завалинки курить свои трубки. И казаки знали, что учитель В. Иванов ходит возле поселка, и они считали, что он поступает правильно. При закате солнца казаки надели мундиры, штаны с лампасами, фуражки с кокардами, зарядили трубки самым лучшим табаком и уселись на завалинках.

Тогда отец вынул из котомки великолепнейший мундир студента Лазаревского института восточных языков, вычистил сапоги, достал из котомки пять книг, взял их под мышку и медленно пошел по поселку, не глядя по сторонам.

И казаки вставали с завалинок и отдавали ему честь, и казачки кланялись в пояс.

Придя домой, отец снял мундир, выхлопал его и положил навсегда в сундук.

— Я не был в Ташкенте.

— Побывай, полезно, — отвечает отец, ковыряя в зубах.

— Нехорошо, пап.

— Чего нехорошо?

— Нехорошо этак легкомысленно действовать. Мать три года мучилась по чужим людям.

— Я тоже мучился по чужим людям, — говорит отец. — Кормили меня, браток, с трудом, придешь в монастырь, дадут похлебать рыбной дряни, а потом работать заставят, да еще шею набьют, если плохо работаешь. А в Иерусалиме, в подворье, заставили нужники чистить, честное слово! Ладно, сказал им, мол, студент я, тогда на картошку пересадили. А я и дома картошки не чищу.

— Все-таки каков он, Иерусалим-то?

— Вроде Самарканда, — ответил, подумав, отец. — Собак, пожалуй, больше.

Я замолчал и сказал решительно:

— Эх, нехорошо!

— Чего нехорошего-то? Если бога нет, то просто прогулялся из любопытства, а если бог имеется, то все-таки подвиг, зачтут там, на небе-то.

— Тщеславие — штука нехорошая.

— Тщеславие? — повторил он с удивлением. — Этакого слова я вроде и не проходил в словарях.

— Тщеславие, — объяснил я, — присуще многим особям, пап, но больше всего жителям нашего поселка. Тщеславие — это когда гордятся пустяковыми, часто даже бесполезными вещами. Тщеславие заставляет людей совершать глупые и необдуманные поступки, которые часто губят всю их дальнейшую жизнь. Тщеславие особенно страшно, если оно вколачивается в семье последовательно и долго. Оно отражается на детях! Благодаря тщеславию на детей не обращают внимания,

они растут покинутыми, предоставленные влиянию улицы, они вырастают самоуверенными, презирают науку, думают прожить очень легко — с размаху. Тщеславие тем еще опаснее, что оно ужасно прилипчиво, оно приобретается быстро, но трудно исцелимо. Тщеславие гибельно для женщин, но еще гибельнее оно для мужчин! Ты посмотри, что делается вокруг нас в поселке! Сельскохозяйственные машины, вместо того чтобы быть убранными в сарай, выставлены на улице под окнами, они ржавеют и портятся. Для угощения, чтобы показать свое богатство, скармливается все заработанное в течение года, лучших коней загоняют на скачках, девушек пропивают, как скот...

Отец крайне огорчился. У него текли по щекам слезы. Он припал к моему плечу.

Я никак не ожидал, что моя речь подействует на него столь сильно.

Я тоже растрогался и прослезился.

— Ты прав, Всеволод, — сказал мне отец, смахивая зубочисткой слезы.

— Еще бы не прав.

— Ты прав, Всеволод. Не женись, брат.

— Я и не собираюсь, — сказал я, не понимая его.

— Не женись, сыночек. Я тебе выскажу откровенно. Хоть мне и трудно это. Долго присматриваюсь я к тебе. Правильно ты выпустил слово — тще-е-еславие, — сказал он протяжно. — Сто лет думай, и лучшего определения нету. На те-е-бя, Всеволод.

Я оторопел.

— Для меня?

— Не женись. Загубит жену и детей, Всеволод, твое тщеславие.

— Я же про тебя говорил, пап!

Отец соболезнующе погладил меня по голове:

— Я тебя понимаю, Всеволод, когда ты на других сваливаешь. Как же иначе? Молодость любит говорить иносказательно. Только к старости приобретаешь откровенность. Теперь, будучи стариком, я могу тебе указать, что ты, Всеволод, поистине тщеславнейший человек. Повторю тебе еще раз: не губи ты себя, а главное — не губи своих детей. Будущих хотя бы! Я бы тебе в монахи посоветовал.

— Капусту жрать?

— Жизнь, конечно, там трудная. Дерутся они, пьянствуют. Но, по крайней мере, никому другому, как только таким же испорченным портят жизнь. А тут ты будешь приличным людям ломать хребты. Вот ты насчет сельскохозяйственных машин. Выставлены, действительно. Ржавеют. Тебе кажется — глупость, а на самом деле — коммерция.

— Какая ж тут, пап, коммерция?

— Значит, богатство стоит на глазах. Больше кредита откроют. На земле все творится для кредита.

Он мечтательно посмотрел вдоль улицы. Девчонка все еще не загнала телушки. Утки все еще переваливаются с боку на бок. Все еще лениво светит солнце. Выгон. Кругом пески, а крыльцо у школы высокое, словно спасаются от болот.

Отец вдруг сказал:

— А ты слышал, у нас в поселке банк собираются открыть? Кредиты требуются для казачков крупные, а как без банка?

Он толкнул меня кулаком в бок и радостно рассмеялся:

— А мне, кажись, быть директором! Вот кабы не твое тщеславие, так и тебя пристроить бы. Почему я директором? Потому что я шестью восточными владею и западнофранцузским.

О языках он не врал. К тому времени, правда плохо, он знал шесть восточных языков и уже читал по-французски. И тем более обидно было мне слушать о банке, что я уже предчувствовал: вечером моя родня будет обсуждать кандидатуру директора, ему назначат не менее пяти тысяч жалованья, он накупит подарков, он осчастливит всех своих друзей, табак он непременно начнет выписывать из Турции, для переговоров Персия и Афганистан потянут к нему караваны.

Мне грустно.

— Вспоминаю... Ты и в детстве, Всеволод, уже тщеславился. Скажешь, нет? Прогуляйся-ка попробуй назад...

2

Отчетливо и последовательно я помню мое детство от жизни в селе Волчихе, Барнаульского уезда, где в начале русско-японской войны отец мой служил учителем.

Все, что происходило до Волчихи, я помню смутно.

Например, с рассказов ли матери или это мне сохранила своя память: я вижу крыльцо школы; отец и мать ушли в лес по ягоды, меня оставили одного. Чтобы я не уполз, меня привязали веревкой за ногу к столбу. Возле подушки — тарелка с молоком и большая деревянная ложка.

Под крыльцом живет громадная черная змея. Когда родители скрываются в лес, змея выползает на крыльцо. Она спит на моей подушке и любит хлебать молоко из моей тарелки. Если она надоедает мне, я бью ее ложкой по голове. Змея отворачивается, позволяет мне сделать несколько глотков и вновь лезет в тарелку. Однажды я вижу у ворот необыкновенное, бледное лицо моего отца. Он испуганно смотрит на моего приятеля, затем осторожно обходит школу, взбирается в окно и возвращается с кочергой. Он оттаскивает кочергой змею, но не убивает, так как убить ужа грешно.

В детстве моем я встречал много змей.

Одно время отец учительствовал в селе Семилужки, возле Томска. Село окружено бесконечными болотами. Мне лет семь. Я хожу с отцом и с матерью по ягоды.

Рано утром мы приближаемся к полянке. Осенняя изморозь укрепила болотные кочки, и они не так шатаются, как летом. Осока засохла, идти легко. На полянке, впереди нас, широкая ярко-красная калина. Никогда позже я не видывал столь громадного дерева. Если попытаться вспомнить сейчас его размеры, то эти багровые гроздья как бы заполняют собой все вокруг меня. Я останавливаюсь изумленно возле кочки. Сухая, звенящая осока вровень с моим плечом. Отец, размахивая корзиной, кричит, вбегая на полянку:

— Смотри, старуха, вот ряснá так ряснá! Вот это калина!

Мать медленно и степенно идет за отцом. Перед калиною серый пень в три обхвата. И вот с этого пня приподнимается голова, чем-то напоминающая лошадиную. Разверзается пасть, и нас останавливает яростное:

— Вффш-фзшш...

Громадный полоз — болотная змея — обвил несколько раз пень. Полоз, видимо, грелся на солнце. В деревне о полозах мы слышали и раньше. Говорили, что они будто бы встречаются длиною в несколько сажен, что

потревоженный однажды в камышах проезжавшим мимо мужиком полоз бросился в погоню. Он свертывался и прыгал! Он перепрыгнул телегу, упал на лошадь и был столь тяжел, что переломил лошади хребет, а мужик будто бы от испуга навсегда лишился языка.

Отец подхватил меня на руки. Мать размахивает палкой. Мы бежим и долго слышим за собой грозное шипение. Позже отец утверждал: полоз потому не зашиб нас, что не успел снять свои кольца с пня.

Страшная область болот изобилует дикими пчелами, гнездами шершней и длинных сердитых ос. Отец ловко умеет находить их гнезда, он берет с собой мешок с отверстиями для глаз, обмазанный дегтем. Когда бабы, за которыми отец идет следом, набирают достаточно ягод, отец где-нибудь поблизости от баб разрушает несколько гнезд. Бабы, побросав корзинки, с визгом убегают. Отец забирает бабьи ягоды.

У меня двое братьев — Палладий и Андрюшка. Андрюшке, наверно, лет пять. Он рослый, смуглый, весь в отца. Палладий походит на мать, хозяйственный, степенный. Мы с Андрюшкой лазим в огороды, воруем огурцы, Палладий, взяв плату за молчание, затем все-таки ябедничает матери.

В Сибири вокруг сел — в радиусе приблизительно трех-четырех километров — возводится «поскотина» — ограда из жердей, дабы скот мог ходить без пастуха и не проникал на пашни. Для дорог, пересекающих поскотину, сооружаются ворота, которые караулят старики или дети. Отец за три рубля в лето направил нас, трех братьев, караулить поскотину.

Напрасно мы обрадовались предстоящей разгульной жизни! Палладий угнетает нас. К нам приходят с ночевкой мальчишки из села. Для угощения нужна картошка, а Палладий не желает поощрять воровство.

Мы с Андрюшкой, приложившись ухом к телеграфному столбу, слушаем его гудение и с испуганными лицами говорим:

— Ты слышал? Из Петербурга шлют телеграмму. Нынче ночью жди, Палладий, сильную грозу. Молния ударит в поскотину, самый раз возле нашей землянки.

— А я не слышу, — говорит Палладий.

Он верит нам, хотя и не слышит. Он боится грозы. Он уходит спать домой.

Долго мы обсуждаем вместе с деревенскими мальчишками, как бы нам украсть мак. Километрах в трех от нашей землянки — длинные поля мака, принадлежащие немцам-колонистам. Еще весной, когда он цвел, мы уже облизывались. Осенью колонисты навезли к маковому полю высокие скирды хлеба, разбили ток и с ружьями караулили свое зерно.

Нежные, тонкие снопы мака сложены в маленькие копны. Головки свисают в разные стороны, и ветер качает их. Мы несколько раз на дню проходим мимо макового поля. Немцы грозят нам кулаками.

Уже надоело открывать ворота. Далеко слышишь ты, как поскрипывает телега, бьется лагушка, мужик поет или ругается с бабами. Выдернешь жердь, которая заменяет засов, и «на весу» стаскиваешь ворота в сторону. Изредка проезжают на почтовых торговцы, иногда они дают три копейки, но и эти три копейки отнимает отец, потому что Палладий тотчас же сообщает.

Мы, тайком от Палладия, вместе с деревенскими ребятами делаем из сухой бересты громадное чучело в два человеческих роста. Мы его укрепляем на крестообразной жерди. Прорезаем рот, глазные и носовые отверстия и закрываем их красной тряпочкой. Внутри мы ставим огрызок церковной свечки.

Когда ночью мы поставили это чучело в лесу, зажгли свечку и отошли в сторону, нам самим сделалось страшно.

Мы говорим Палладию, что пойдем отрывать в лесу клад.

Приближается полночь. Палладий трусит, но не показывает. Он думает: «Если они найдут без меня клад, то непременно истратят его на пряники». Хозяйственная душа Палладия колеблется. Мы торопим его.

Когда мы выходим на полянку, он, увидав страшное берестяное чучело, кричит, ноги у него подкашиваются. Обратный путь он наполовину идет ползком. Мы тоже испугались и, бросив его, убежали в свою землянку. С той поры Палладий приходит караулить поскотину только днем.

Осенью, в глубокую темную ночь, мы, шесть мальчишек, поднимаем наше берестяное чучело и тащим его по дороге к скирдам. Мы переругиваемся и упрекаем друг друга в трусости. Раза два мы бросаем чучело, отходим и вновь возвращаемся.

За скирдами, возле громадного костра, сидят рослые молчаливые немцы, курят трубки. Изредка кто-то из них встает и подбрасывает сучья в костер. Мы подползаем ближе, зажигаем свечку, высовываем чучело и во всю мочь орем:

— Ой-ой-ой-ей!..

Немцы вскакивают. Мелькает огонь костра на испуганных лицах. Наверное, они только что окончили мирный разговор, вспоминая о прошлом, об урожае, о невестах, о приданом, о лошадях. Пора бы ложиться спать, но нельзя: в тайге ходят бродяги, да и деревенские люди не лучше бродяг, страна дикая, холодная, чужая. Они закурили трубки, прислушиваются к далекому шуму бора. Вдруг выскакивает высоченная фигура, ревущая и кровавая. Огненный рот разинут, высоко вскинуты белые руки.

Мы долго прислушиваемся, как полем разбегаются немцы. Костер догорает. Бросаем в костер наше чучело. Костер вспыхивает ярким высоким столбом, и этот необычайный свет, наверное, совсем «допугивает» немцев-колонистов. Каждый из нас берет сколько может снопов. Всю ночь в землянке мы крошим головки мака. Мы начистили громадную кучу зерен. Животы у нас болят: доесть мак невозможно.

Я снимаю рубашку. Мы завязываем концы рукавов, ворот и ссыпаем в этот мешок оставшийся мак. Мы выкапываем под костром яму, сверху и с боков обкладываем ее сухими листьями и кладем туда мак. Над ямой мы сжигаем пустые головки и стебли.

Утром колонисты догадались: кто-то их обманул и обокрал. Они обыскивают нашу землянку, ее окрестности, находят несколько пустых головок. Мы утверждаем, что головки нам подарены проезжающими. Когда проезжали? Кто проезжал? Мы усердно врем. Ночью. Шесть мужиков в красных рубахах. С топорами и ружьями.

Я доволен своей выдумкой. Вот взрослые, большие люди, а не могут догадаться. Везде ковыряют, а на костер даже и не смотрят. Я подбрасываю валежника.

В деревне много говорят о краже мака у немцев. Мак быстро надоедает нам: не так вкусно, если нельзя рассказывать, как его добыли. Я вспоминаю стряпню своей матери. Выкапываю мешок и несу его в деревню.

— Мам, сделай в воскресенье пирожки.

— Откуда у тебя оно?

— Купцы подарили. За поскотину, мам.

Палладий бежит к отцу. Отец строго спрашивает:

— Какие они из себя, купцы?

По голосу его я понимаю, что ему все уже известно. Наверное, кто-нибудь из моих сообщников, не найдя в яме мака, наябедничал.

Отец считает себя честным и правдивым человеком, он глубоко презирает воров. Он отводит меня к немцам и на их глазах долго порет меня ремнем.

После порки я обиженно думаю: уйти бы от них. Но у меня не хватает смелости уйти далеко в тайгу, чтобы пристать к бродягам. Деревенские мальчишки не соглашаются сопровождать меня и даже смеются надо мной.

Кто-то рассказывает: если взять в рот глоток керосину и выпустить его тончайшей струей мимо зажженной свечки, которую вы держите в руке, то керосин разлетится во все стороны красивыми клубами. Я наливаю в бутылку керосину. Андрюшка сопровождает меня. Поскотина уже окончилась. Ночью нас не выпустят из дома. Андрюшка предлагает пустить огненные шары в темном школьном сарае, куда сметано сено.

Собираются все деревенские мальчишки. Мой рот наполнен керосином. Андрюшка держит зажженную лучину, Палладий стучится снаружи в запертую дверь, крича:

— Все равно отцу нажалуюсь!..

Я выплевываю керосин, чтобы сказать:

— Жалуйся, — отвечаю я. — А шаров тебе не видать.

Я брызгаю. Огромный огонь взметывается над мальчишками, падает на сено. Сарай пылает. Мы распахиваем дверь. Палладий уже убежал жаловаться.

На этот раз меня порют вместе с Андрюшкой...

Андрюшка решается сопровождать меня в тайгу. Но у нас нет коней. Украсть? Для запряжки нужно иметь силу затянуть супонь хомута. Я могу утащить коня, телегу, всю сбрую, но у меня не хватает сил для супони. Тогда мы решаем воспользоваться деревенским козлом Васькой. Это рослый серый детина с великолепной сивой бородой и круглыми рогами.

Мы берем у поповского сына игрушечную тележку. Поповскому сыну нравится, что мы уходим в тайгу. Он тоже ушел бы, но ему хочется быть дьяконом.

Я держу козла за рога. Козел впряжен в тележку. Андрюшка отходит на три шага и вынимает из-за пазухи краюшку хлеба. Я отпускаю рога. Козел идет к Андрюшке. Постепенно мы увеличиваем расстояние, и вот козел пробегает с тележкой целую улицу, направляясь к тайге. Я сажусь к нему в телегу, и он везет. Этот сивобородый зверь очень привязался к нам. Он является рано утром и стучит копытами по крыльцу. Мы берем его с собой в лес, в поле, к реке. Андрюшка догадался:

— Я с хлебом через всю тайгу иди, а ты будешь катиться в тележке?

Я понимаю Андрюшкину обиду. Я привязываю краюшку к палке и бросаю ее вперед. Теперь в тележке мы усаживаемся вдвоем. Все приготовлено к бегству: сухари, запасные портянки, топор. Поповский сын подарил одеяло. Нам надоели морозы, порки, скучная деревня. Мы уходим через тайгу в теплые далекие страны!

В солнечный день осенью мы последний раз испытываем нашего козла. Я бросаю с обрыва реки палку. Я понукаю козла к весьма различным рельефам местности. Река в Семилужках неглубокая. От берега до середины устроены мостки, чтобы полоскать белье. На мостках всегда стоят, согнувшись, бабы и высокими сдавленными голосами переговариваются. Сейчас в конце мостков только одна толстая баба в красной юбке, и рядом с нею длинная мокрая корзина.

Когда я бросил палку, козел побежал было прямо, но со средины дороги вдруг повернулся, наклонил голову и понесся к морткам. Резкий топот. Баба поднимает голову. Глаза ее вытаращены. Козел бьет ее рогами в зад и вместе с корзиной, бельем и бабой летит с мостков в воду.

Оказалось, что сивобородый Васька ненавидит красный цвет.

Белье, которое утопила баба, принадлежит попу. Поповский сын подло предает нас. Он говорит: «Они готовили козла, чтобы натравить его на папу». Надо полагать, что он хотел выслужиться. Но порют его не меньше нас.

Вообще нас порют много и часто.

Мне сшили новые штаны. Мы скатываемся по железной крыше сарая прямо на сметанное возле сарая сено. Я задеваю за гвоздь и разрываю штаны. Порка.

На другой день мы прыгаем с возка на пол. Возок стоит возле сарая... Возок крыт кожей, в нем поп разъезжает по приходу. Сбоку возка, подле облучка, висит палка с крючьями для пристяжной. Я прыгаю, задеваю за крюк ногой и почти напрочь отрываю кожу с пятки. Но, боясь порки, я молча иду домой. Кровь льет у меня из ноги. Я сажусь обедать. Ложка прыгает у меня в руке. Отец свирепо рассматривает меня.

— Ишь, добегался, белый, как бумага.

Я падаю лицом на столешницу. Мать замечает текущую по полу кровь, кидается за перевязкой. Отец сразу добреет. Я горжусь своей раной и его добротой.

Зимой поповский сын читает нам стихотворение «Спор». Спорят две горы. Мне кажется, что это спорят Палладий и я. Удивительно и страшно смотреть на этот спор со стороны. Затем поповский сын читает нам сказку о Щелкунчике. Я обещаю Андрюшке взять его с собой, как только пройдет зима, в царство, где был Щелкунчик.

Прошлой весной мы с Андрюшкой лазили по огородам. Однажды мы лезли за огурцами в огород лавочника. Вокруг высокий плетень. Я влез и помог забраться Андрюшке. Мы прыгаем вниз, но лавочник хитрее нас. Он пробил насквозь гвоздями несколько досок и разложил их на траве остриями вверх. Мы прыгаем прямо на гвозди.

Я обещаю Андрюшке лучшую весну, чем прошлая.

И вот она приходит, эта весна.

Сразу же за школой начинается березовый лесок. Утром «к чаю» мы должны собрать земляники. Осторожно держа наполненные ягодой стаканы, мы возвращаемся домой.

Андрюшка собирает быстрее всех. Вот он бежит к большому пню.

— А этой вы и не видали!

Он вскрикивает, приседает, дует на пальцы.

— Меня змея укусила, что ли?

Мы осматриваем пень. Он безмолвен. Ягоды толстые, пухлые, красные.

Пока мы бежим домой, рука у Андрюшки начинает синеть. Он не плачет. Он боится порки.

Отец разрезает ножом крошечную ранку и сосет кровь. Но рука у Андрюшки синеет все больше и больше. Приходит беззубая горбатая старуха заговаривать.

Мать причитает. Мне велено поймать на колокольне живого голубя. Старуха утверждает, что если приложить голубя сердцем к ране, то голубь перехватит смерть, а мальчик выздоровеет.

Сняли повязку. Из ранки хлынула кровь, и на эту кровь приложили перья голубя, под которыми трепетно бьется сердце. Андрюшка уже бредит. Голубиные перья алеют. Голубь боязливо ворочает головой, раскрывает клюв, его долго держат у раны.

Отец хватает голубя и со злостью бьет его головой о косяк. Он выходит выкинуть умершего голубя. Отец стоит возле крыльца, плачет и крестится на церковь, которая упирается прямо в нашу школу.

Ночью Андрюшка умер.

С той поры у меня боязнь и ненависть к змеям. Все лето я хожу лесом с железной палкой и бью змей. Много я их натаскал к могиле Андрюшки. Отец запрещает мне таскать змей на могилу, это противобожественно. Я их вешаю на жерди поскотины.

3

Мы должны жить возле города Колывани, в обширных лесах, на берегу какой-то большой реки. Я не помню названия ни реки, ни селения. Город Колывань я запомнил потому, что отец, показывая черную лаковую табакерку, наполненную монетами, которые он собрал на берегу Иртыша, говорит:

— Вот здесь под цифрой года стоят две буквы: «к. м.».

Гости щупают буквы.

— Это значит — колыванская медь! Раньше Сибирь свою монету плавила, делали ее в знаменитом городе Колывани. Но существует тайная монета, появившаяся из-за сибирской гордости.

— Какая такая сибирская гордость?

— Сибирякам, видишь ли, не разрешали выпускать золотую, так они отлили золотой империал и покрыли его медной оболочкой. Я его непременно найду!

— Что же, поймали их на жульничестве?

— Не на жульничестве, а на гордости. И тогда превратили знаменитый город Колывань в заштатный город.

Мне хочется увидеть Колывань и потому, что он заштатный, и еще более потому, что в нем плавили монету.

Нашей семье уже встречались заштатные чиновники, заштатные попы. Это люди, у которых остаток уверенности постоянно заслоняется страхом. Прежняя жизнь сломана, день, который раньше он пропускал с легкостью, теперь таит множество испугов, множество предчувствий. Можно подавиться и умереть от глотка воды. Корка хлеба кажется им тяжелой. Колокольчик почтальона, который раньше приносил скучный журнал, теперь, кажется им, несет ужасную весть в траурном пакете. Они придираются к словам родственников, намерения друзей кажутся им подлыми. Человечество отступило от них.

Но город...

И вот мы проезжаем через заштатный город Колывань.

Помню, перед этим наша телега, запряженная парой коней, мчится под крутую гору. Мы переезжаем в телеге, потому что в иной экипаж трудно поставить наши громадные сундуки. Сундуки привязаны спереди, позади, с боков. Мы с братьями сидим в перине на сундуках.

При спуске с крутой горы отрывается сундук и глухо падает в густую пыль. Мне любопытно потерять этот сундук. Я и сам не знаю, откуда во мне это любопытство; может, потому, что из-за сундуков наша телега идет вскачь только под гору, да и то не от силы коней, а оттого, что колеса катятся сами и кони испуганно оглядываются, словно боясь, как бы их не задавило это высокое сооружение.

Внезапно мать замечает, что сундука нет. Поднимаются крики и споры. Я говорю:

— Он упал с горы.

Меня наскоро порют, развязывают веревки, снимают сундуки с телеги, сажают нас, детей, на сундуки, и отец с матерью и возчиком озабоченно скачут обратно. Мы сидим долго и неподвижно. Нам страшно. Мы ждем разбойников. Мы ненавидим эти сундуки. Мы знаем, что в них жалкая рухлядь — сковородки, горшки, утюги, вальки для белья, какие-то отрепья, которые уже носить невозможно, но над которыми мать еще долго размышляет, не зная, к чему бы их приспособить,

но все же надеясь на свою выдумку. А разве разбойники знают это?

Приближается вечер. Мы, держа друг друга за руки, тихонечко всхлипываем. Наконец среди высоких сосен показывается телега и на ней наш сундук.

Заштатный город Колывань чрезвычайно удивляет меня.

Широкие улицы заросли нетронутой лесной травой. Дома заколочены, церкви заколочены, тротуары сгнили.

Мы проезжаем весь город и, словно в сказке, не встречаем ни одного человека. Мы едем по высокой траве через громадную площадь. Собор тоже покрыт травой, окна выбиты. В трехцветной будке спит стражник, и спит каким-то неестественно громким сном. Над городом нет голубей, над травой — ни бабочек, ни стрекоз, а солнце в небе необыкновенное, тусклое и чужое.

Тепло, но я весь дрожу. Мне кажется, что дома смотрят подозрительно, и вот-вот сами собой откроются ворота, и телегу затянет в пустынный двор. Мы заснем и окаменеем навеки! Разве этот сказочный город понимает, что мы проезжаем? Он, пожалуй, видит в нашей езде дурное стремление разбудить его сон. Мне хочется спросить, где же тут плавили монеты. Но у меня нет смелости, мне кажется, что такой вопрос город Колывань способен понять как насмешку. Да, заштатность его похожа на ту заштатность, которую раньше встречала наша семья, но та хоть сколько-нибудь была подвижна, а эта спит!

Села за городом Колыванью окружены громадными кедрами. Эти кедры, обросшие сизым и длинным мхом, эта «тайга», в которую я попал впервые, вызывали во мне нежность к самому себе, сознание ничтожества. Я долго хожу приниженный, слабенький, и все вокруг кажется мне пустынным и темным.

Летом отец заготовляет в тайге дрова для себя и для школы, потому что на отопление отпускается несколько рублей, и нет смысла покупать дрова. Мы уходим в лес ранним утром. Отец выбирает полянку и начинает таскать на нее гигантские сучья, рыжие и корявые. Он идет мимо кедров и сосен, сучья задевают за стволы и ломаются с треском. Мать готовит обед или помогает таскать сучья, которые полегче. Отец рубит сучья, потому что деревья распиливать ему не с кем —

мать слабосильная. Странно, но я никогда не слышал, чтобы он попрекал мать отсутствием силы.

Отец, довольный и веселый, часто втыкает топор в пень, достает кисет, вышитый матерью, и, свертывая папироску, говорит:

— Непременно найду в сухом дереве дупло, а в нем клад. Сухое дерево — оно самое древнее и опять же приметно в лесу для разбойников.

— Какие уж в тайге разбойники, так, нищие бродяги.

— История Сибири мало обследована, может быть, здесь были какие-нибудь древние монтецумы, — говорит отец.

Дров нужно много. Отец рубит половину лета, затем нанимает лошадей и возит дрова, сложенные в поленницы. Мне нравятся поленницы, от них идет крепкий запах смолы.

Мы играем на дороге. В лес нам ходить запрещено. Отец обрубает сучья. Сверкает его топор, отец ухает при каждом ударе. Только что прошел дождь. Мы пускаем по колее щепки, сажаем муравьев пассажирами в наши пароходы. Мы привязываем к щепке травинку, это заменяет нам руль. Вода устоялась и прозрачная. Мы сначала пьем ее, затем бросаем сучья, мутим и поднимаем волны и пускаем в эту бурю наши пароходы.

Я слышу чей-то нежный и веселый голос в кедровнике. Братья не слышат его, они занялись пароходами. Мне хочется удивить братьев. Я иду на голос. Земля устлана мелкой и теплой хвоей. Я иду долго.

Возле крошечного кедра сидит длинная фиолетовая утка. Вот чей я слышал голос! Она шипит на меня. Ласковости уже нет в ее голосе. Мне боязно, но я упорно иду к ней. Утка отбегает, прихрамывая. На хвое несколько голубоватых яиц.

Я знал, что утка бежит от меня, притворяясь, но все-таки я думаю: а может быть, притворялись остальные, что они не умеют летать, а эта действительно разучилась? Я пощупал яйца. Яйца совсем теплые, я сгребаю их в подол и бегу за уткой. Я бегу среди кедровника. Яйца по одному выкатываются из моего подола. Утка вспорхнула.

Я остался один. Внезапно надо мной поднялись страшные и высокие кедры. Я понял, что заблудился.

Я кричу. Я стою, подчиненный чужой и ужасной воле громадного леса. Я сознаю свое ничтожество, я чувствую к себе громадную нежность, и мне приятно, что я так испуган.

Отец выходит из-за кедра. Он ласков.

Он выводит меня на дорогу и опять начинает рубить сучья. Но внезапно лицо его сереет, и руки дрожат. Он всматривается напротив. Через дорогу розовый осинник, — значит, была уже осень. Осинник редкий и высокий.

Отец хватает нас, детей, и тащит к толстому кедру. Нас заслоняет мать. Отец, подняв топор, встает перед матерью. Затем он поворачивается к осиннику. Лицо отца наполнено обидой и пренебрежением. Он держит топор наотмашь.

Теперь мы слышим широкий шум среди осинника. Пыхтит громадное. Трещат деревья.

— Медведь, — тихо говорит отец.

Мать мелко крестится. Она прижимает нас руками к дереву. Отец дышит быстрей, топор поднимается выше. Шум осинника увеличивается.

Прямо перед нами, среди матово-серебристых стволов, показывается длинное бурое тело. Медведь идет, мотая головой и ломая направо-налево лапами осинник. Он величиной с корову, мохнатый, медленный и спокойный зверь. Он смотрит в землю, словно потерял что-то. Гораздо страшней, когда я заблудился в погоне за уткой!

Не знаю почему, медведь шел осинником, а не дорогой. Отец утверждал, что осенью этот зверь питается грибами. Не знаю почему, медведь даже и не посмотрел на нас. Отец утверждает, что ветер от нас не на медведя.

Когда далеко заглохли медвежьи шаги, отец со злостью воткнул топор в пень и сказал:

— Хорошая шкура пропала. Не ребята, я бы его топором!

Позже отец любил рассказывать, что он гнал топором верст пятнадцать черно-бурого медведя, но, к сожалению, не догнал. Когда ему говорили, что медведи бегают быстрее лошади, отец объяснял: «Объелся он ягод и дикого меда и потому тяжел на подъем». Мать подтверждала отцовский подвиг. А мне казалось, что совершенно нечего добавлять к тому, как отец стоял

с топором возле сосны, защищая своих детей. Этим подвигом может гордиться любой человек. Но отец осуждал себя за то, что он не мог в доказательство своего подвига представить хорошую медвежью шкуру.

4

Отчетливо и последовательно я помню мое детство от жизни в селе Волчихе... Итак, Волчиха. Узкие газетные полосы говорят о войне.

— Японцы-то? Наполеон погиб от мороза, да не в Сибири, а в Москве, где и десятиградусный мороз в редкость, а для нас сорок градусов вполне жизнеспособно.

Отец достал со стены пожалованную саблю и начал «отпускать» ее. Отец мой был красноречив. Рассказы его были пестры и огромны. Исчерпав свои рассказы и видя утомление слушателей, он уезжал в город хлопотать о переводе. Там уже, конечно, знали, что он «незаконнорожденный» сын барона Кауфмана, что за джигитовку ему пожалована сабля, что он пьяница и великий знаток языков, что он, наконец, студент Лазаревского института. Он быстро получал перевод.

— Мне, Ариша, только в армии служить, там людей с великим прошлым уважают. Вернусь я с пятью «Георгиями».

Отпустив саблю, отец завязал ее в газету и направился в город, захватив меня, видимо, для того, чтобы было кому подтвердить его подвиги.

— Ребенка-то хоть бы оставил, — плакала мать.

— В Спарте, — сказал отец, — дети с трех лет привыкали к оружию.

Я радовался и отъезду из Волчихи, и отпущенной сабле, и даже тому, что отец пойдет добровольцем, хотя я уже знал, как страшна смерть. И вообще я знал очень многое. Мы часто забываем, став в летах, как много мы знаем в детстве, и это многое знаем более здраво, чем взрослые. Особенно любовь.

Волчиха имела две школы — церковноприходскую, где учительствовал мой отец, старую, грязную, темную, и новенькую — «земскую», где и учителя-то были чище, получали больше жалованья. Школа просторная, стояла далеко от церкви, и попы ее не любили. Я не помню

всех «земских» учителей — ни их фамилий, ни их имен, помню только, один учитель был волосат, ходил в черной рубашке, с широким кожаным ремнем, рябой. У него я таскал книги для чтения. Учительница высока, бела, грудаста и неповоротлива. Все в ней есть, о чем поется в степи. Я влюбился в нее.

Брат ее Кузьма, розовый гимназист лет двенадцати, приезжал летом на отдых вместе с отцом, хромым и лысым чиновником. Вокруг Волчихи отличные леса и рыбная ловля. Отец мой любил ловить рыбу. За два часа он налавливал ведро окуней.

Учительница, Кузьма, отец их ходили на рыбную ловлю вместе с нами. Мой отец пылко рассказывал о пленительной Москве. Сосны. Желтые кувшинки в тихом заливе тихонько кивали головами, их листья похожи на громадные подметки.

Учительница смотрела отцу в глаза, не замечая, как окуни склевывали насадку. Я завидовал и восхищался отцом.

Ночью мы зажигали костры на берегу, затем отец сталкивал в воду сухие лесины, делая из них небольшой плот, сверху наваливал лапы желтой хвои и зажигал. Плот медленно плыл по реке. Отец шел по берегу с шестом и отталкивал. Отец — багровый, высокий, ловкий. Эх, кабы не это любовное беспокойство, как бы легко и приятно!

Мы сидели с гимназистом поодаль, и он мне рассказывал сочинения Жюля Верна. Меня сердило, что он читал так много, а мне негде достать эти книжки. И вот я спросил его:

— А читал ты «Зеленую реку»?

— Нет, — ответил он, видимо, предчувствуя что-то неладное. И он сказал на всякий случай: — Знакомые тоже не слышали — значит, это не интересно.

— А ты послушай.

Книга ему понравилась, он записал заглавие и автора.

— А читал ты, Кузьма, «Путешествие в подземной трубе»?

Теперь он просил рассказать и это путешествие.

В течение двух недель я рассказал ему содержание сорока книг, которые тут же придумывал — от заглавия, автора и до счастливого конца. Кузьма почувствовал ко мне большое уважение. Это было приятно, но слегка

досадно, потому что он перестал мне рассказывать романы, считая, что я прочел больше него удивительных и страшных книг.

В зимний прозрачный вечер волосатого «земского» учителя нашли повесившимся у косяка на полотенце. Отец мой никогда романов не читал, презирая их. А полка над кроватью учителя была туго заполнена романами.

В тот вечер отец рассказывал в гостях у кузнеца, как знакомый его, рыцарь Дон-Кихот, начитавшись романов, произвел многие опустошения на своей земле. Один из мужиков вставил:

— Спасибо, народ наш смирный, заместо убийств — самое большее повесится.

Отец мой читал монархическую газету, ту, какую присылали в школу. В те дни газеты много печатали брехни о Максиме Горьком, о его книгах и, кажется, о пьесе «На дне», о том, что Горький пьяница, развратник и богач.

— Шесть домов имеет четырехэтажных, — сказал мечтательно отец, — выезд белых лошадей и сам саженного роста. Из генеральских сыновей, говорят. Может быть, даже самого Скобелева.

Больше всего мужиков поразило, что от писания книг можно завести дома. Мужик, который говорил, что наш народ смирный, добавил:

— Слово черное знает. На черное слово деньга идет. Черные книги пишет.

И все согласились, что без черного слова нельзя обойтись.

В селе шла ярмарка. Отец мне выдавал каждодневно по пятаку. Сияли голубой лазурью горшки среди соломы — желтой, хрустящей, наполненной морозом. Визжали глиняные петушки. Ситцы были как кусок неба. Над балаганами, словно вздыбленные кони, стояли сугробы.

Я бродил около лотков, на которых продавали книжки. Горячий пятак впивался в мою руку. За пятак я мог купить книжку в девяносто шесть и сто двенадцать страниц: «Как львица воспитала царского сына» или «Чудесные похождения прапорщика». В одном лотке, на самом низу, я встретил (сколько помнится, издание «Донской речи») книжки, над названием которых стояло: «М. Горький». Они были по тридцать две

страницы и меньше и стоили по три копейки штука. За шесть копеек я мог купить только шестьдесят четыре страницы! Совершенно невыгодно! Я купил «Как львица воспитала царского сына». Но, купив, тотчас же раскаялся: всякому в Волчихе будет любопытно прочесть, что пишет человек, имеющий несметное богатство и выезд белых коней. Ясно, что до завтрашнего пятака книжки раскупят. Я побежал домой.

Отец отказался выдать мне завтрашний пятак. Я пожаловался приятелю своему Микешке. Микешка был великий игрок в бабки и великий опустошитель огородов. Он презрительно дернул меня за длинные рукава моего тулупа.

— А это что, зачем тебе дано? — спросил он гнусливо, подражая кузнецу. — Подпояшься потуже и в рукава, когда будто книжки выбираешь, в рукава их спускай! Пойдем. Мы вместе выбирать будем.

И вот мы украли у лоточника все книжки Горького. Мы спускали книжку в рукав, затем поднимали руку к затылку, будто почесать, книжка и проскальзывала за пазуху. Отойдя от лоточника и пощупав книжки, мы испугались. Мы побежали к Микешке, залезли на печь, попросили лампу у бабки Феклы и, завесившись шубенками, начали читать. Печь была раскалена, было душно, мы сидели голые, бабка часто просыпалась и ворчала:

— Тушите, чего керосин переводите.

— Сейчас, сейчас, погасим, — отвечали мы.

Мы читали всю ночь. Рассказы нам не понравились, многое было непонятно, и стало даже обидно, что на такой непонятности человек может разбогатеть и выезжать на белых конях, вроде царя. Но на сердце лежало томление удалой тоски. Я думал о море. Оно мне казалось молочно-белым, все в огромных застывших валах.

Я шел домой, книжки лежали у меня за пазухой. Пьяные мужики, горланя и ломаясь, ехали с ярмарки. Плетни в снегах. А дальше по сугробам — заячьи следы. Мне очень хотелось к морю и было очень хорошо.

Когда я дома раздевался, книжки выпали на пол. Отец увидал их; взглянул на меня искоса, пренебрежительно плюнул и бросил книжки в печь. Я его обругал теми словами, которыми ругались возвращающиеся с ярмарки мужики. Отец избил меня жестоко.

Я вырвался на двор, залез под амбар (амбары у нас строят на вкопанных в землю бревнах так, что между землей и полом амбара остается пустое пространство на пол-аршина или менее). Мне было невыносимо холодно, я дрожал, плакал. Отец бегал, искал меня, звал. Я прижимался к бревнам, грозил ему кулаком и сам про себя бормотал:

— А вот и не вылезу, замерзну, сдохну, плачьте, а не вылезу. Загубили, потом скажете, сына...

Не нравилось мне село Волчиха, не нравилось его богатство, особенно же не понравилось, когда я увидал, как вскоре после ярмарки били пойманного конокрада. Это был плечистый сизобровый цыган. Цыгана били толпой, скопом, трусливо, дабы не отвечать одному, а отвечать всем обществом. Его поднимали за руки и за ноги, подбрасывали, расступались, и он тяжело падал на дорогу. Его кинули умирать у забора. Он лежал с пятнистым, сизо-багровым лицом, кудри у него не развились, плисовые шаровары и желтая рубаха с туго застегнутым воротом были опрятны. Мальчишки долго стояли, смотря, как корчится цыган, хватает ртом снег и как на щеке его прыгает выбитый глаз.

Я решил завести дневник, где буду записывать всю свою неправильную жизнь. Я исписал целую тетрадку, но писал я совсем не то, что случалось со мной. Я писал что-то такое легкое и розовое, хотя оно каждый день и отмечалось теми датами, которые крупно напечатаны в отрывном календаре. Меня везет какой-то корабль по тихому морю, и все округ — тихое.

Дата. Год.

, «Море тихое. 45 градусов восточной долготы и 56 западной.

Острова. Люди тихие. Ветра нет. Бурана нет. Конокрадов нет».

Дата. Год.

«Море тихое. Острова. Лодки. Нашли выброшенных крушением. Корабль их потонул, но люди все целы. Люди тихие. Опять острова. Мы плывем дальше».

Дата. Год.

«Море тихое. 67 градусов восточной долготы и 42 западной широты. Америка. Люди тихие. Проехали мимо. Опять острова».

Особенно нравилось мне писать — острова. Я помнил их на Иртыше. В половодье их заносит илом, и когда вода спадает и ты подплывешь, то на поразительно гладком песке видны одни лишь следы птичек. Тонкие синие прутья таволожника, обвитые у корня травой, склоняются перед лодкой. Выберешь место, сядешь удить. Хоть и не клюет, но все равно приятно.

Или еще вот остров на озере неподалеку от Волчихи.

Мы с отцом отправились за грибами, поднялась буря, лодчонка у нас была паршивенькая — дощатый плоскодонник. Нас качало, заливало водой, отец крестился, прижимал меня к себе, и оттого грести ему было трудно. Я испугался. Нас вдруг подхватило громадной волной. Бил гром, сверкала молния величиною со все твое разумение. Нас широко мотнуло и посадило на куст. «Остров!» — крикнул радостно отец. И точно, остров. А мы, совсем как в книгах, сидим, закинутые вместе с лодкой на куст. Внизу торчат кочки. Мы идем по зыблющимся, покрытым острой осокой кочкам. Перед тем как шагнуть, отец пробует кочку шестом: прочна ли? Лодку он тащит за собой. Мы вышли на песчаный берег острова. Спокойные сосны встречают нас. Подле сосен — чистенькие грибы. Ветер прекратился. Было тихое утро.

Отец нашел и прочел мой дневник.

— Дураком ты у меня растешь, Всеволод, — сказал он снисходительно, — надо погоду записывать. Меня вот скоро заведующим метеорологической станцией назначат и могут выдать медаль.

На следующий день я записал:

Дата. Год.

«Погода хорошая. Острова. Был дождь, но не сильный. Шесть градусов по Реомюру. Острова. Индия! Проехали дальше. Погода средняя, тучи, но тепло. Опять Индия! Опять проехали дальше».

Я понимал эту необыкновенную снисходительность моего отца.

Белокурая голубоглазая учительница любила его. Об этой любви говорила вся Волчиха. Поп учил отца:

— Надо, Вячеслав Алексеевич, блюсти семейную чистоту, ибо и без того много смуты.

Мы составляли частушки против «земских». В большую перемену две школы делали друг против друга

снежные городки. Мы, «церковники», влезали на городок и пели свои частушки. Пение это обычно кончалось дракой, выбегали учителя с папками, сторож с метлой, иногда церковный звонарь.

Теперь белокурая учительница не ахала, не взметывала руками, не говорила: «Перестаньте драться», а какими-то чужими глазами смотрела поверх нас и, как я полагал, думала: вот, из-за ее молодости и любви вешаются люди, горюют, дерутся.

Я завидовал моему отцу и в то же время гордился им. Моего отца нельзя не любить. Он переписывал ей в альбом стихи разноцветными чернилами на восьми языках: на шести восточных, одном западном и одном русском...

Об этой любви знала моя мать. Хотя я уважал свою мать, но у меня к ней было какое-то неясное презрение. Жена учителя, а неграмотная. Обо всем и обо всех она говорила непререкаемо, всех осуждала. Отец, когда напивался, бил ее, она же всем рассказывала, что никто так не умеет управляться с мужем, как она. Все знали правду, все смеялись над ней за глаза, она думала, что никто ничего не видит. Ходила она в ситцевых платьях, потому, дескать, что они к ней шли, а на самом деле просто не было денег купить шерстяные. Я ее уважал за то, что она защищала меня от побоев, но было обидно, что иногда побои доставались ей, а не мне. Я не хотел, чтобы она страдала, взамен получая от меня, хотя и скрытое, презрение.

Она выговаривала отцу:

— Бросаешь ты меня. В поселок мне до позора вернуться, что ли?

— Зачем бросаю? При двоих детях порядочные люди не бросают женщин.

— А учительница?

— Учительница — особая статья, Арина. Ты бывала у ней?

— Приходилось.

— Ножную швейную видала?

— Удивишь меня ножной швейной! Кабы поменьше пил, давно бы завели...

Моя мать постоянно мечтала приобрести швейную машину, хотя бы ручную, хотя бы за шестьдесят рублей. Через несколько лет мы ее приобрели: в рассрочку, по три рубля в месяц. Платить было тяжело. Агент

компании «Зингер» приходил каждый месяц и вклеивал марки в нашу книжку, но так как мы часто переезжали, то агент наконец потерял наш след, и машинка досталась нам за тридцать три рубля.

— Так вот я тебе и открою, Арина: я ее обольщу, и так обольщу!.. Я вокруг нее на восьми языках кручусь и так закручу, что она мне машинку отпишет, а сама от несчастной любви повесится.

— Не повесится она, — отвечала моя мать спокойно.

— Я тебе говорю — повесится. Что я, баб не знаю?

— Баб-то ты знаешь, — отвечала с почтением мать, — но она ведь городская. Отец у нее чиновник. А они тебя засудят.

— Меня? Чиновники? Я к тому же сам чиновник.

— Либо сам ты повесишься.

— Не может такого случиться, чтобы в один год в одном селе два учителя повесились.

Этот довод убедил мою мать.

— Конечно, она девка. Если завертится у ней ребенок от тебя, так она и повесится. А если ребенка не будет?

— Чего же не быть? У тебя от меня сколько их было? Сейчас двое да Клавка да Андрюшка помершие — выходит четверо.

Мать заплакала.

— Наша машина будет, Ариша! А дальше я ни за кем, кроме тебя. Пускай из-за меня хоть одна баба повесится. Зачем же иначе меня уродил барон фон Кауфман? После нее не буду блудить. Вот тебе перед божницей перекрещусь.

— Да я не об том. Мне ребеночка ее жалко. Она девка блудливая, а ребеночек был бы у нас пятый.

Мне хотелось остановить учительницу, когда она проходила мимо меня в шелковом своем платье в церковь. На паперти она встретится с моим отцом, у нее длинная коса и голубые глаза. Вот я подойду к ней и скажу: «Отец хочет утащить у тебя машинку, не верь ему, не надо мне братьев». Но я не говорил ей этого, потому что я знал — полюбить она меня не может, и, кроме того, мне лестно было думать, что она способна повеситься из-за моего отца. В поселке Лебяжьем я рассказывал бы: был у меня знакомый гимназист, которого я погубил знанием бесчисленных книг, который стал пить запоем, а сестра его от любви к моему отцу

повесилась. Я видел, как снимали ее с петли, как ревел отец, а мать везла к нам швейную ножную машинку.

Кончилась эта любовь тем, что учительнице кто-то вымазал ворота дегтем. Учительница уехала в город. Исчезли ее голубые глаза и широкая коса.

5

Отец хотел повидать в городе голубоглазую. «Кто ее знает,— говорил он,— не пошла ли она сестрой милосердия на войну?» Всю дорогу отец мне рассказывал о сестрах милосердия. Он сообщал о них всяческие пакости и особенно восхищался тем, как много они наживают денег в Харбине, какие там идут великие кутежи и как именитые князья проигрывают миллионы.

— Встречу я там, Всеволод, своего брата! Отвалит он мне тысяч пятьдесят. Небось не иначе как шулер и сразу выигрывает по громадным кушам.

— А разве у тебя есть братья?

— Двое детей законных произошло от барона Кауфмана.

Повторяю, в детстве мы знаем больше, чем думаем об этом знании взрослыми.

— Не призна́ет он тебя,— сказал я наставительно.

— Другие призна́ют и устыдят. Мы все трое на одно лицо, разница только в чинах.

К тому времени отец всюду именовал себя коллежским асессором.

— Братья-то у меня небось георгиевские кавалеры и генералы.

Остановились мы на постоялом дворе. Среди подвод ходили на костылях раненые солдаты в широких папахах. Солдаты сердито просили милостыню. Отец вычистил куртку, натянул штаны с лампасами, прицепил саблю и направился к учительнице. Вышел старичок-чиновник.

— Дочь? Замужем она и переехала в Томск. Муж у нее землемер.

Старичок добавил хвастливо:

— Двести семьдесят пять рублей в месяц загребает. Сам весь лысый, водку не пьет. А каков у вас урожай нонче в Волчихе?

— Гречуха хороша, хотя и мышей много,— ответил отец и злобно хлопнул дверью.

У палисадника задержались. Чиновник смотрел в окно, обняв рукой графинчик зеленой настойки. Отец сразу развеселился, хотя, видимо, и обиделся, что чиновник не угостил его водкой.

— Врет старичок-то. Просто не взяли ее в сестры милосердия, она и отправилась к Сметанихе.

— Куда?— спросил я.

— В публичный дом, а куда же иначе? Придется и нам пойти туда, Всеволод.

— Придется, видно.

Я много слышал разговоров о публичных домах, мне любопытно было посмотреть, что же делает там голубоглазая учительница. Я только высказал отцу опасение, что всех хороших девок могли отправить в Маньчжурию и осталась шваль. Отец не удивился моим сведениям. Возможно, ему казалось, что он отвечает своим мыслям. Он сказал:

— Раз ее не взяли в сестры, так она с публичными девками в Маньчжурию не поедет. У ней тоже есть своя амбиция.

Возле голубого дома неподвижно стоял ржавый фонарь, широкий и разбитый. Из подворотни вылезла собака с черной, тоже разбитой мордой и лениво тявкнула. Отец весело дернул за ручку звонка. Дверь быстро открылась.

Плотная хозяйка с толстой шеей медленно вышла к нам. Вдоль стены стояли венские стулья. Круглый стол был покрыт бархатной скатертью. На нем лежал альбом, и сверкала лаковая тройка. Лихой ямщик сидел «на облучке, в тулупе, в красном кушачке». Отец придвинул стул к альбому и посадил меня.

— Кого пожелаете, господин офицер?— спросила вяло хозяйка.

— Гони всех девок.

— Да они в бане.

— Вот и гони их из бани. Плачу за всех! И угощаю коньяком.

Денег у отца было всего два рубля сорок. Мне стало страшно. Я знал, как бьют здесь, и даже слово «вышибала» мне было известно, но я тотчас же подумал, наверно, то же самое, что думал отец: за все наши проворства заплатит учительница.

Вышли багровые девки. Одна, в длинном халате, с веником, тощая, с длинными кудрями за ушами, показалась мне очень смешной. Они выстроились в ряд. Отец подошел к низенькой, белокурой, с голубыми глазами.

— Эту!— сказал он, стукнув ее кулаком по плечу.— На два часа. И коньяку полбутылки.

— Спеть, что ли?— спросила девка с веником.

— Допаритесь и споете,— ответил отец и вышел, не оглянувшись на меня.

Хозяйка сказала мне:

— Вы, молодой человек, только не ковыряйте пальцем лак, он отпадает, и вообще с вещами надо обращаться осторожно.

Когда комната опустела и я просмотрел весь альбом, я вдруг сильно испугался. Непременно нас будут бить, мало того, на постоялом отец меня будет бить еще и за то, что я не отговорил его! Мимо малиновых портьер в сенях, припадая на ногу, прошел широкоплечий детина с длинными руками. На дворе торжественно кричал петух. И тогда, впервые за всю свою жизнь, я заорал диким голосом.

Вбежала белокурая девка. За ней вышел отец. Лицо у него было злое. Я заорал еще сильнее. Отец вытолкнул меня на улицу. Я продолжал орать. Улица пустынна, хоть бы какой-нибудь мальчишка удивился б на мое оранье. Я схватил кирпич и закричал, что расшибу окно. Появился отец. Он лихо крикнул с парадного:

— Тридцать копеек до воинского присутствия!

— Пожалуйте,— ответил извозчик.

Усевшись, отец развеселился.

— Пожалуй, ты прав, Всеволод, деньги мне и в армии сгодятся. Я, брат, немедленно карточную игру открою. Вот жалко, за приглашение пришлось выплатить полтинник хозяйке. Зареветь бы тебе пораньше.

— Я ревел.

— Разве так ревут? Ты бы погрозил, мол, альбомом в окно пустим.

Воинский начальник, зобастый, в синих очках и расстегнутом чесучовом кителе, одной рукой придерживая синюю папку, другой держа на ней длинный карандаш, вежливо поклонился отцу. Студенты в городе были редкостью. Солдаты, вдовы и писцы расступились.

Отец оперся на саблю.

— Добровольцем иду защищать отечество, — сказал он таким же высоким голосом, каким заказывал коньяк. — Прошу отправить немедленно на фронт, в действующие казачьи части около Харбина! Единоутробных своих братьев хочу найти на поле брани. И сам я погибну за родину, срубив предварительно несколько японских голов.

— Прелестное дело,— сказал одобрительно воинский начальник, указывая рукой на висевший за его погонами портрет Николая Второго.— Подвиньте стул и садитесь. Документы в порядке?

— У казака все в порядке.

— Прелестное дело,— повторил воинский начальник, рассматривая документы, — именно в порядке. Вдова будет получать пенсию. Сынишку устроим в кадетский корпус, а сами вы хотя и мертвый, но достигнете дворянства. Извините, начнем официально. Ваше имя и отчество?

— Вячеслав Алексеев Иванов.

— Прелестное дело. Откуда родом?

Отец побледнел. Идя сюда, он, наверно, думал, что воинский начальник поблагодарит его за усердие, выдаст медаль да прибавит еще денег. А тут вдруг: быть через полчаса солдатом, а через несколько дней помчат на «сопки Маньчжурии»!

Мне стало обидно за отца, но в то же время я радовался его испугу.

Испуг его длился недолго. Отец вскочил, уперся обеими руками о зеленый стол и, приблизившись к лицу воинского, крикнул неожиданно:

— Так-то вы, сукины дети, поступаете с добровольцами. Ура-а-а!..

Я схватил его за штаны, он лягнул меня. Я упал. Он выхватил саблю. Штаны с лампасами взметнулись на стол. На полу, под столом, я увидел тонкие ноги воинского начальника! На стене что-то затрещало. Этот треск протяжным вздохом отозвался в соседних комнатах и разнесся по всем коридорам.

Шлепнулась вырубленная из рамы голова Николая Второго.

Отец толкнул ее ногой и понесся по пустому коридору, размахивая саблей.

— Вперед, добровольцы, ура-а-а!..

На улице послышались свистки. Кто-то крикнул у окна: «Коня! Пожарных! Ловите сумасшедшего!»

Передо мной колыхалось зеленое сукно, а дальше лежала отрубленная голова Николая Второго. Я пополз. Зобастый начальник выполз раньше меня. Он сел на корточки возле срубленной головы, затем быстро обернулся ко мне, хлестнул меня несколько раз по щеке, поднялся на ноги и, пальцами отрясая пыль с брюк, басом спросил:

— Поймали?

— Ловят,— ответил вошедший солдат.

— Допросить! Следующий.

Но следующего не оказалось.

Присутствие убежало.

Воинский осторожно, двумя пальцами, поднял голову Николая Второго и еще раз хлестнул меня ею по лицу.

— Убирайся к черту!

Я был совсем одинок на этой пустынной барнаульской улице. Куда-то мчались свистки, скакали кони, обыватели бежали с кольями и вожжами. Все они ловили моего отца! Возможно, его уже поймали и уже бьют. Я плакал. Лучше бы оставить его с голубоглазой девкой, хотя она и не похожа на учительницу, — лучше б его избили там, в голубом доме. Все-таки мой отец остался бы тогда при мне. Кроме того, я боялся возвратиться на постоялый. Я вспомнил страшных раненых, чужие подводы, бородатых цыган, бродивших возле подвод, вспомнил я и рассказы о том, как цыгане воруют детей. Увезут они меня с собой!

Я направился к Сметанихе. Позвонил. Вышла хозяйка.

— Ту, голубую,— сказал я,— вроде учительницы.

Хозяйка начала меня выспрашивать. Она сочувствовала отцу, пока не узнала, как он изрубил портрет царя.

— За такие дела вешают, — сказала она хрипло, — а ты лучше уходи.

Она подала мне булку, но раздумала и отрезала мне горбушку от этой булки. Я ждал у палисадника, не выглянет ли та, голубая. Я думал — вот она выйдет, обнимет меня теплой рукой за шею и поведет на постоялый, где остались у нас мешок с провизией и белье. Она найдет мне подводу и напишет длинное письмо матери. На прощанье она погладит мою голову. Я расплáчусь. Опа тоже прослезится.

Но не колыхалась герань в окне. Плотны и неподвижны были ситцевые занавески.

Так окончилась моя любовь к голубой учительнице.

На постоялом я сказал хозяину, что отца моего убили. Хозяин испуганно выдал мне наш мешок. Я направился пешком домой. Добрые люди подвезли меня к Волчихе.

Отца отправили в томский сумасшедший дом. У него нашли белую горячку.

Мы переехали в Томск.

Мать поступила в кухарки. Стряпала она плохо, кроме того, ей часто приходилось менять службу, так как я не нравился всем ее хозяевам. Службу она старалась найти неподалеку от сумасшедшего дома.

Каждое воскресенье мы навещали отца. Мне казалось, в сумасшедшем доме он стал рассуждать спокойнее и правильнее. Он составлял киргизский словарь, а в свободное время колол дрова для смотрителя. Жизнью своею он был очень доволен. Палаты чистые, опрятные, соседи смирные. Вскоре мне самому захотелось стать сумасшедшим.

— И долго тебя продержат?— спрашивал я с завистью.

— Да вот доктор говорит: прибавите еще десять фунтов, и можно выпустить. Главный доктор больного меньше пяти пудов не выписывает. Какой, говорит, он поправившийся, если не весит пяти пудов?

— Опять в Волчиху поедешь?— спрашивает мать с тоской.

— Надоели мне мужики, вернусь я в казачество. Кроме того, давно я стерлядей не ловил.

— Лов хороший, — сказала мать.

— Писали, что ли?

— Не писали, а наших казачков встретила.

А встретили мы наших казачков так. Возвращались мы поздно ночью с матерью из гостей. Она ходила к знакомой рябой кухарке помогать стряпать пельмени. В городе шел еврейский погром. Стряпая пельмени, кухарки рассказывали друг другу о том, как черная сотня сожгла Народный дом вместе с митинговавшими студентами и рабочими.

Мы пересекали большую пустынную площадь. Где-то в стороне, у белого дома, горел костер. Не помню, было ли это зимой или весной, но пронизывающая, тоскли-

вейшая изморозь поднимается вокруг меня и сейчас, когда я вспоминаю эту длинную площадь. Мать шла довольная: пельмени удались, она несла остатки, чтобы завтра утром поджарить и угостить меня: наша хозяйка, как и все хозяйки, обижалась, что кухаркин мальчишка много жрет.

От белого дома донесся крик. Затопал иноходец. К нам скакали с пиками наперевес широкие папахи. Мы остановились. Кони уперлись в нас. К седлу приторочено что-то пушистое. Я не испугался, я с любопытством ждал их. Они были пьяны, радовались своей удали; они не видели никакой подлости в том, что грабили людей; они радовались тому, что не попали в Маньчжурию, а сражаются в тихом и безопасном месте, они радовались будущим медалям.

Размахивая пикой, казак крикнул пьяным и ленивым голосом:

— Жидовка, чо, младенца спасаешь?

Второй закурил трубку, звякнул шашкой о стремя. Голос у него был еще ленивее, чем у первого.

— Не успели дорезать?

— Дорежем!

Мать молчала.

— Жидовка, отойди. Сейчас пронзать будем сына твоего пиками.

— Кетер, шайтан! — ответила моя мать торопливо. — Таре, дчал гасым![1] Очумели совсем! Чо, своих не узнали, штоб вас язвило! Совсем перепились.

Казак с трубкой сплюнул.

— Чо? С Иртыша?

Первый казак спросил:

— Чо, какой станицы, тетка?

— Семиярской, — ответила мать.

Первый казак спросил:

— Прохора Хворостинина из Урлютюпа знаешь?

— Слыхала.

— Передай по всей линии, что сына его встретила в Томске. Жидов громит, дескать. А это бери себе.

Он отстегнул от седла черное и бросил матери. Мать пощупала и передала мне. Это был разорванный сюртук и шапка меховая с длинной тульей. Хворостинин слез с коня и, шатаясь, с протянутой рукой подошел к матери.

---

[1] Отойди, черт! Что надо?

— Чо, видишь, тетка?

На ладони у него лежали золотые часы.

— Мог бы тебе подарить, но скажут — не с удальства, а спал с ней. Смотри, тетка.

Он поднял коню переднюю ногу. Положил часы на землю и опустил копыто. Легонько хрястнуло. Хворостинин опять поднял ногу и показал сплющенные в лепешку часы. Пощелкав по крышке ногтем, плюнул и бросил изо всей силы в сторону.

— Вот как сибирячки-то поступают, — сказал он, отъезжая.

Мы долго ползали по земле, разыскивая эти часы.

Чуть светало, когда мать вернулась на площадь. Часов она так и не нашла. Тогда она обругала Хворостинина, который, наверно, только махнул рукой, а часы остались в ладони.

— Знаю я этих казачков, жадней зверя не встретишь.

6

В Томске мы прожили два года. Отец все еще не дотянул до пяти пудов. Мать испытывала к нему огромное уважение. Она теперь считала, что умный и ученый человек только тогда сможет быть настоящим ученым, когда посидит в сумасшедшем доме. Она, отличавшаяся и без того большим трудолюбием, теперь, слушая советы отца о тихой «подчинительской» службе, работала еще лучше. Хозяева прощали ей даже мое пребывание на кухне.

Отец мой важно басил и тучнел. Он уже заведовал библиотекой, а почерк его считался в канцелярии лучшим во всем сумасшедшем доме. Приняв нас однажды в кабинете начальника, под портретом бородатого ученого, отец надел пенсне и степенно сказал:

— Поехали бы вы в Павлодар. А я, если понадобится, приду пешком.

Мы и поехали.

У матери в Павлодаре находилось две сестры: Фиоза Семеновна, за подрядчиком Петровым, и Фелицата Семеновна — вдова. Фиоза Семеновна жила на краю города, неподалеку от сельскохозяйственной школы, мрачного и громадного здания. Фелицата Семеновна — на берегу Иртыша. У одной — каменный дом и уже

клали другой в три этажа. У второй сестры — «деревяшка» в две крошечных комнаты, покосившаяся, с разноцветными от древности окнами. К богатой сестре мать моя побоялась пойти и поселилась у бедной.

Фелицата Семеновна поила чаем киргизов-грузчиков. Брала она три копейки с человека. Чай для киргизов заменял обед. За свои три копейки они пили часа по два. Кучами они сидели во дворе, в комнатах, в сенях. Тетка ходила между ними, раздувала несколько самоваров. Мать ей помогала. В течение всего лета день и ночь поили киргизов, а накапливали денег столько, чтобы с грехом пополам прожить зиму.

Тетка Фелицата обладала возвышенными стремлениями. Киргизов она поила чаем, чтобы облегчить их участь, впрочем, брала она с них не дешевле других «поилиц».

— Но у меня душевное обращение,— хвасталась она,— где им такую ласку найти?

Все возвышенные ее стремления оканчивались обычно чепухой. Покойный муж ее считался яростным пожарным и все мечтал иметь ребеночка. Фелицата не любила детей, но для возвышенной нежности она усыновила ребеночка. К тому времени, когда мы поселились у тетки Фелицаты, приемышу, Марье, шел пятнадцатый год.

Держать этого приемыша было трудно. Упрямо решил приемыш: надо беречь красивую фигуру свою, замечательные руки и ноги! Ходила Марья непременно в перчатках и за таскание самовара скидывала киргизам по копейке, дабы не портить фигуры. За это самовольство тетка била приемыша раза три-четыре в день.

Акушерка Мулутова занимала половину дома. Мулутова была фиолетовая какая-то и страстно разводила кошек. Она заботилась только о себе, но умела произносить пышные фразы; кошек она растила потому, что их разбирали купчихи. У нее были и ангорский кот, и две ангорские кошки. В комнатке постоянно пахло котятами. Она запирала комнатку, чтобы котята не разбежались.

Я сооружал удочку, привязывал к ней кусочек мяса и тащил. Котенок бежал за мясом. Я прятался под бочку у окна. Едва котенок появлялся на подоконнике, я хватал его и бежал с ним «на зады», оттуда к плотам, где у меня устроена была норка. Котенка надо было

продержать по возможности дольше. Акушерка сначала обещала пять копеек, если я его найду. Затем семь. Дело доходило иногда, смотря по достоинству котенка, до двенадцати копеек. Особенно хорош был серый, с разноцветными глазами. Мне его страстно хотелось стащить. Акушерка, когда открывала окно, держала серого котенка зажатым между колен.

Однажды я сманил все-таки серого, привязав кусочек печенки на ниточку.

Я рассчитывал получить не меньше полтинника. Мулутова набавляла каждый день по гривеннику. Она волновалась, говорила пышные слова о справедливости и благе и обедала поэтому каждый день у тетки, которая была этим польщена и отдавала ей лучшие куски, до этого достававшиеся мне.

Пришел день, когда пушистый разноглазый комочек стоил уже сорок копеек. Я мечтал о полтиннике. Акушерка хотя и морщила свой фиолетовый нос, но платила деньги аккуратно. Утром она грустно сказала:

— Хорошо бы бараночек.

— Сходи!— сказала мне тетка.

Фелицата посмотрела на акушерку. Мулутова наглыми глазами на тетку. Тетка молча вздохнула, достала деньги. Впрочем, она была довольна, что акушерка словно бы нуждается.

— Иди. На гривенничек купи.

— Мало,— сказала акушерка.

— На пятиалтынный!

Грызя баранки, акушерка заявила, что она за котенка не даст ни копейки, искать его не стоит.

Мать сидела покорная, глядя на три самовара, которые она чистила, встав еще до рассвета. Правильно! Если ученая акушерка завладела Фелицатой и та отказалась брать за квартиру ввиду возвышенной любви к животным и расширению животного стада — правильно!

— И ведь действительно, — возвышенно глядя на самовары, подтвердила тетка Фелицата, — надо развести кошек... А то ведь сколько же мыши поедят зерна!

— И чуму разносят, — добавила акушерка.

Тогда я посадил котенка в корзинку и сунул его тетке под кровать. Я вымазал его в дегте. Котенок просидел до вечера, а вечером ему стало страшно, и он запищал. Акушерка выбежала на писк.

Мулутова ругалась и обижалась.

— Я вас считала возвышенной дамой, Фелицата Семеновна, а вы над животными смеетесь

Тетка с огорчения выпорола Марью. Марья, пряча руки и ноги под себя, молчала. Молчала она потому, что недавно ее приняли в прогимназию, где открыли у нее отличный голос. Я сильно страдал. Я знал — Марья не скажет, кто испортил котенка. Она любила меня. И я ее любил.

Да, я ее любил! Нас клали спать на сеновале. Мы ложились в разных концах. Тетка целовала нас на ночь. Как только она уходила, мы соединяли наши постели, запирали плотно сеновал и кидались в объятия друг другу. Сколько мне было лет? Тринадцать. Наверное, многие скажут, что это плохо, стыдно, я был нехороший мальчик. Я и сам сознаю сейчас: пожалуй, не столь плохо, сколь преждевременно. Но тогда я был счастлив. По утрам я был нежен и к самому себе и к Марье. Я помогал сестре. Я гордился Марьей, когда она надевала коричневое пальто и отправлялась в прогимназию. Я желал приобрести форму и блестящие пуговицы.

Тогда меня повели к дяде Василию Ефимовичу Петрову.

Мать моя к тому времени поступила к богатой сестре Фиозе кухаркой и прачкой. Сестра потребовала, чтобы Арина никому не говорила о родстве: просто женщина из одного поселка. Мать согласилась без протестов.

Василий Ефимович Петров происходил из пермских мужиков, отец его — пимокат. Город Павлодар был отменно ленивый город. Василий Ефимович отличался чрезвычайной пермской подвижностью, соглашался на все и брал любые дела, и притом немедленно. Он строил церкви, дома. Без архитектора, сам составлял планы и строил быстрее всех, метался по уезду, торопил, бил каменщиков, плотников. Церкви получались кособокие, с кривыми окнами, так что говорили: «А, это Петров построил». Люди дивовались и отдавали ему подряды, должно быть, только от изумления перед его вдохновением.

На тетке он женился внезапно. Фиоза ему попалась на дороге. У таратайки сломалось колесо. Фиоза шла с водой. Совсем как в песне! Он попросил ее указать ему, где живет кузнец. Тетка, только из лени, чтобы не тащить до дому ведра, проводила к кузнецу. Василию Ефимовичу оттого показалась она страшно деятельной,

и он ей немедленно предложил тут же обвенчаться. Ему вспомнилось, что он до сих пор не женат. На другой день они и обвенчались.

Тетка Фиоза приехала в город, купила громадную кровать, пуховик из лебяжьего пуха, прошлась два раза по городу. Город ей не понравился, а переезжать в другой она не хотела. Она и легла в постель. Она говорила и думала только об еде. Больше всего радовалась она, когда в городе открывали гастрономический магазин. К ней присылали приказчиков. Она подробно выспрашивала их, что поступило в магазин. Рыболовы ей приносили лучших стерлядей. Из поселка ей привозили пареный боярышник, язей. Кололи баранов. Она приказывала каждую неделю варить баурсаки в меду. Но ко всему тому она была скупа: мать мою наняла только потому, что Ариша брала меньше других. И еще любила она зверей. Волк, его звали Вилькой, носился на цепи во дворе. Волку шел второй год.

Во дворе, перед возводимым трехэтажным домом, стоял Василий Ефимович в чесучовой рубахе и штанах. Увидев нас, он хвастливо крикнул, указывая на суматоху во дворе:

— Внизу предполагаю открыть лавку... и еще что-нибудь.

Среди возов с кирпичами пробирались к амбарам верблюды, навьюченные шерстью и кожами; толкались овцы; метался на цепи волк. Пока мы шли через весь двор, Василий Ефимович успел обежать вдоль фасада, слазил на чердак, заглянул в колодец, который копали тощие киргизы. Лицо у него сияющее и довольное. Все идет отлично. Жена возлежит, не работает. Отлично! Пускай лежит! Подрядчик Василий Петров десять жен способен содержать. Впрочем, он не думал о десяти женах, потому что если бы он подумал, то, несмотря на все неприятности, завел бы себе этих десять жен, даже если бы для этого потребовалось перейти в магометанство.

В теткиной комнате меня встретили таинственные запахи. Особое солнце лежало за густыми занавесками. Я впервые видел такую широкую алую постель и такую раскрашенную толстую женщину. Уважал я и атласное одеяло, под которым она лежала, несмотря на жару.

Мать, худенькая и покорная, остановилась у дверей за моими плечами.

— Ариша, — сказала ей тетка Фиоза, — ты чайку нам сготовь.

Тетка Фиоза со вздохом скинула одеяло и встала передо мной в рубашке до пят. Она, не торопясь, надела киргизский полосатый халат, расчесала волосы чудовищной длинноты и черноты. Я чувствовал — надо что-нибудь сказать, но губы мои одеревенели. Никогда и нигде не встречал я подобной красоты. Я понимал — нельзя скоромно думать о тетке, но богатство отдаляло от меня родство. Марья показалась мне ничтожной.

— Грамотный? — спросила она, кладя в алый рот коврижку.

— Да, — ответил я тихо, весь пылая.

Она чмокала, щурилась, поводила плечами.

— Ну, иди в столовую.

На круглом столе, который я тоже видел впервые, уже кипел самовар. Мать расставляла чашки. Она было направила меня в кухню, но дядя Василий Ефимович остановил:

— Пускай здесь пьет. Поощрение полезно.

На скатерти — круглые прозрачные блюдечки для варенья. А сколько их, этих варений! Малиновое, яблочное, земляничное... Протяжной струей непрестанно текут они в тарелку к тетке. Мне положили клубничное, оно самое дешевое: неисчислимы поля дикой клубники в степи. После варенья тетка подвинула к себе торт, ела она жадно, торопливо. Ее громадные, круглые телеса колыхались. Дядя, рыженький, плотненький, постоянно вскакивал, убегал куда-то, возвращался, открывал окошко и ругал каменщиков. Прихлебывая из стакана чай, он стучал кулаком по столу.

— Надо строить кирпичный завод! Выгоднее иметь свой. — Он обернулся ко мне и пощупал мои бицепсы. — Учиться хочешь?

— Хочу, — ответил я, глядя на тетку.

Я завидовал и радовался удовольствию, с которым тетка Фиоза пила чай. Она жмурилась, вздыхала, в животе ее что-то благостно хлюпало.

— Учиться полезно. Поедем сейчас. Коней уже закладывают.

Дядя усадил меня править иноходцем. Мы проехали мимо мрачного здания сельскохозяйственной школы за город.

— Дорога отличная! Плоды отличные!

Дядя остановился и сорвал несколько арбузов. Подошедшему сторожу он дал пятак. Миновали много бахчей, полей. Поднимались на много пригорков. Я разомлел. Дядя просыпался на поворотах и указывал, куда мне свернуть.

Мы ехали часа четыре, пока не увидали желтых деревянных ворот. Меня удивило, что от ворот не идет ограда. На воротах надпись: «Опытная ферма Павлодарской сельскохозяйственной школы». «Наплевать, — подумал я, — буду и здесь учиться». Ворота мне понравились. За воротами виднелось несколько саманных длинных домов, скирды сена и обмолоченной пшеницы, сараи, а в стороне, возле громадного огорода и озерка, беленький домик. Мы подъехали к домику.

Нас встретил заведующий школой. У него была странная фамилия — Сваз, а имя самое простое — Иван Иванович. Он необычайно обрадовался дяде. Он радовался каждой встрече, толстоногий Сваз! Он прослезился. Он жал дяде руку, гладил по плечу, по животу.

— Василий Ефимович, солнышко, откуда это тебя? Я ведь вас и не надеялся никогда увидеть. Я на тебя сердился.

И он на самом деле изобразил на лице сердитость.

— Третьего дня видались у городского головы.

— Так разве это виденье? Виденье — это чтобы посидеть. Или ты не желаешь со мной знаться? — Он вспылил, впрочем, тотчас же отошел, увидав меня. — Сын-то у вас, Василий Ефимович, какой вымахал. Небось лет шестнадцать! В гимназии? Или посредством домашних учителей обучаете?

Он плакал, прыгал вокруг Василия Ефимовича. А тот прицеливался, как бы тут чего построить. Дядя болтал мало, он преимущественно действовал. Подумать можно, что они приятели сотню лет! Оказалось, он и в гостях у Сваза впервые и даже ничего не строил Свазу.

Узнав, что Василий Ефимович привез меня учиться, Сваз и этому обстоятельству несказанно обрадовался. Не знаю почему, но ему не понравились мои штаны, хотя это были самые обыкновенные серенькие штанишки из бумажной материи, вправленные в низкие сапоги с голенищами. Заведующий хозяйством увел меня. Дядя остался пить чай, Я еще не успел дойти до склада, как

увидел, что дядя уже садится на таратайку, видимо, вспомнив какое-то спешное дело. Обо мне он уже забыл.

Сваз тоже обо мне скоро забыл, хотя, увидав меня, он всегда делал крайне радостное лицо и вспоминал о самом удивительнейшем и деятельном подрядчике Василии Ефимовиче.

Нас, учеников, было сорок два человека. Мы все жили вместе в длинном саманном сарае. Спали мы на железных кроватях, соломенных тюфяках, которые сами набивали каждые две недели. Одеты мы все были в одинаковые черные штаны и рубахи из «чертовой кожи» с белыми пуговицами по вороту, а зимой, когда мы переехали в город, нам выдали черные шинели с зелеными кантиками. Вставали мы рано, до рассвета. Мучительное вставанье! Вставая, я думал, что никогда мне больше не встретить такой тяжкой работы.

Я пахал, боронил, сидел на косилке, гонял волов в город за лесом, спал под солнцем на лесинах. Вокруг пустынная степь. Нос и рот забивала теплая пыль, глаза слипались, все время мучительно хотелось спать. Многое б было приятно, кабы не просыпаться так рано. Приятно с высоких сидений лобогреек перекликаться друг с другом. Кони бежали, махая хвостами. Оводы впивались в наши загривки.

— Подбавля-ай!.. — начинал с одного конца поля молодой и звонкий голос.

— Подбавляй! — кричал другой.

Мы ничего не подбавляли. Мы хлопали бичами, хотя кони не могли бежать быстрее: поломалась бы машина. Но нам было приятно — мы как большие. Сами косим и жнем. Возвращаясь с поля, мы останавливались возле бахчей и срывали по арбузу или по подсолнуху. Мы щелкали семечки и врали друг перед другом, идя в туче теплой пыли. Отличная жизнь, кабы не вставать рано!

Отличная жизнь, кабы не кухня. Трое из нас каждый день дежурили на кухне. Один оставался убирать столовую, мыть посуду, выхлопывать постели, протирать окна. Двое помогали стряпухе. Надо чистить картошку, таскать дрова в печку, чистить капусту, лук, нарезать хлеб для завтрака и обеда, разливать чай по чашкам и добавлять молока. Все кричали. Одни — налил слишком густой чай, другие — слишком мало молока.

Обед. Мы, дежурные, вносим щи,

Середину стола занимают старшие ученики: плечистые, крепкие, расчетливые. Все, что они собираются сделать, они обсуждают долго и тщательно. Как покрепче зашить штаны? Сколько чашек чая можно выпить, чтобы не повредить ученью? Как развеселить Своза? Они осторожно работают, осторожно хвалят или бранят... Да нет, они до брани не доходят, куда им! Они боятся всего нового, неиспытанного. Нельзя, например, переставить им кровати. Они не выходят из школы без спроса. Они в большинстве из крестьян.

По краям пристроились «вьюны». Приютские подкидыши, дети нищих, бродяг, обедневших мещан, они постоянно ругались и дрались и, казалось, не размышляли.

Но все они, весь стол, и середина и края, постоянно пребывают в крайнем напряжении. Чем больше я живу в школе, тем сильнее я понимаю его. Особенно напряжение усиливается зимой, когда мы приезжаем с фермы в город. Мне кажется, что течение мыслей у «середины» встретило высокое препятствие. «Вьюны» ломаются, дурачатся, форсят, но у них мысли опережают друг друга, словно воздвигнут фасад, а дома-то нет. Даже сам Иван Иванович Своз потускнел. Своз должен преподавать нам физику, геометрию и животноводство. «Какие глупые, пустые науки, — думал я, — если даже Своз способен их узнать!» Уныло он раскрывает книгу, уныло читает название главы и затем откладывает книгу в сторону.

— Огласи, Иванов.

Он чувствует, что здесь учить невозможно и радоваться ему не на кого. Он смотрит на эти тупые лица, которые ждут только еды, думают только об еде, и ни с того ни с сего он говорит:

— Чайки еще не летают, и, по-моему, их вообще нет на Иртыше как предвестниц весны и хода рыбы.

Он чертит карандашом по столу и дремлет. Звонок.

— Что и требовалось доказать, — говорит он и уходит из класса, сияя радостью, надеясь встретить менее напряженных людей.

Каждые две недели нас водили в баню. Мы шли через город черными парами. Мальчишки кричали нам: «Козлы!» Улицы мы проходили молча. Многие из нас гордились позорным званием вонючих козлов, но я страдал. Когда мы проходили мимо прогимназии, сестра моя

Марья, которая постоянно торчала у окна, отходила прочь. Еще бы! Город после нашего «прохода» делался напряженнее и злей. Сколько их проходит здесь, несчастных уродов, подкидышей, эпилептиков, золотушных, будущих убийц, воров, грабителей. Город смотрит на нас со злобой и омерзением, на эти наши черные шинели с зелеными кантиками...

Глупая моя форма!

И я подумал: «А что, если Марье не нравятся мои штаны, вправленные в сапоги? Если ей нравятся штаны «городских» учеников, которые в своих шинельках похожи на синиц?»

В следующее воскресенье я выпустил штаны поверх сапог. Никто у тетки Фелицаты не заметил моих прекрасных штанов. Я остался ночевать.

Тетка погасила керосиновую лампу. Мы с Марьей лежали рядом на полу, головами под стол. Я протянул Марье руку. Она спит. Как быстро она заснула. Будем верить, что она заснула оттого, что ей хочется спать, а не оттого, чтобы скорее забыть вонючего козла.

Мы мало работали зимой. Истопишь печи, заправишь лампы, подметешь классы. Работы было особенно много в субботу, когда мыли всю школу.

В свободные часы я уходил на застекленную террасу первого этажа. Здесь предполагали устроить столярную мастерскую, но кто-то украл инструменты и лес. Ученики избегали террасы — слишком светло и холодно. Здесь я прочитал «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», «Ледяной сфинкс», «Восемьдесят тысяч лье под водой», «Архипелаг в огне», «Дети капитана Гранта». Мне нравилось повторять: «Бедный Пим! Не надо, никогда не надо забывать бедного Пима!» Мне нравились терраса, холодное солнце, большой свет. Терраса похожа на пароход, особенно два деревянных столба, они совсем как мачты. Стекла голубовато-прозрачные, высокие; если всмотреться, то сквозь них снега, заполняющие площадь громадными валами (сюда мещане свозили навоз), очень похожи на Ледовитый океан и даже на полюс. Смотришь и думаешь: сейчас кончатся снега, попадешь в теплое течение, и корабль понесет к запашистым островам. Дневник мне вести не хотелось. Я написал письмо. Я писал: «Вот здесь сидел мальчик Всеволод Иванов, читал и думал о том, что когда-нибудь он будет капитаном и поплывет в море. А пройдет много

лет, это письмо найдет другой мальчик, прочтет и тоже будет мечтать о капитанстве». Долго я думал, куда же мне спрятать мое письмо. Я бросил его в щель столба, подпиравшего террасу. Столб был обшит досками. Три года спустя это письмо нашел Петька Захаров, и о встрече с ним и его замечательной жизни будет рассказано дальше.

К весне школьников кормят хуже. Они голодают. Мы едим гнилую солонину, гнилую капусту, тухлую и вязкую. Чай нам подают без молока. Правда, пища теперь похожа на ту, которую едят люди, потерпевшие крушение, но мне не нравится такое крушение.

В большом актовом зале висит портрет Николая Второго. Лицо у него такое же, как и там, в воинском присутствии, где отец мой записывался добровольцем. Но портрет вырос, а я такой же маленький. И все окружающее по-прежнему враждебно мне и внушает страх.

Вечером мы заправляем и развешиваем по классам керосиновые лампы. Нальешь керосин, идешь осторожненько с лампой, держа под ней тряпку, чтобы не обкапать пола. Классы пусты. Повесишь лампу в проволочную цепалку, зажжешь и слегка качнешь. Все поплывет вокруг, качаясь и наполняя желтым светом. В углу стоит громадная черная доска чистоты необыкновенной. Подойдешь и напишешь крупным мелом: «2×2=4. Индия! Балеарские острова».

Два раза в день — рано утром и вечером — мы должны обтирать пыль с портрета и золоченой рамы. Зачем он такой громадный? Почему на него ложится так много пыли? Почему и у него напряженное лицо? Мы переименовали портрет, как и переименовали все, что надоело нам. Мы назвали его «шадрá-бардá», что значит — ямки на лице от оспы. И нам нравилось говорить друг другу:

— Твоя очередь сегодня шадру-барду обтирать.

А главное — окаянная эта лесенка, на которой нужно было стоять, чтобы достать до верха портрета. Лестница качается, скрипит. Иногда с нее дежурный падал, и тогда весь класс целый вечер «поддувал» — смеялся над упавшим. После падения надо вернуться веселым, иначе «поддувальщики» будут кричать «перекачало!».

Перед исповедью, великим постом, накануне экзаменов, нас послали перебрать картошку в погреб к управ-

ляющему школой И. И. Свазу. Многое предполагали мы увидеть в этой «харчевой», но не такое. Толстые окорока встали нам навстречу, качались сушения, блестели маринады, улыбались пузатые банки с красными помидорами, поодаль несколько сорокаведерных бочек с арбузами, мешки сухарей. Десять морских судов можно было б кормить десять лет в этой «харчевой».

Нам сразу надоело заправлять лампы. Мы поняли наше напряжение. Мы поняли наш голод.

Мы думали три дня.

Проели мои экзамены!

Не скажет теперь поп того, что он говорит каждому после удачного экзамена, поглаживая бороду в седых крапинках:

— Будешь сельскохозяйственным техником. Пора. У меня в прошлом году саранча пожрала пищу и пшеницу.

Я отказался помогать в подкопе не столько потому, что считал поступок этот опрометчивым накануне экзаменов, сколько потому, что не понимал жадности к еде. Голодать — так голодать. Вот сладкое — это дело другое. И «выоны» и «средина» свалят вину на меня. Они сразу возненавидели меня за отказ. Чем я гордился? Я подошел вместе с ними к складу. Лица у них стали еще напряженнее. «Средние» вползали в черную дыру подкопа, которая начиналась в пригоне. «Выоны» отталкивали «средину», кусались, визжали. Я должен был влезть последним. Я слышал возгласы из подвала:

— Кормись!

— Расходуйся!

— Траться!

Экзаменаторы, когда обнаружится, что закуска съедена неизвестными ворами, сурово будут смотреть в наши глаза, сурово осматривать стены, и увидят они портрет Николая Второго. И это преступление с глазами Николая Второго тоже свалят на меня.

Дежурным надоело стирать пыль с этого напряженного лица, и они гвоздем выкололи ему глаза. Лицо утеряло свою напряженность, поглупело. «Козлы» осмелели. «Козлы» хохотали. Тогда-то «козлы» и придумали подкоп.

Выколоть глаза царю — это не то что скушать помидоры. Мне и хотелось быть «политическим», но я боялся, что меня сошлют на каторгу. Мне вспомнились

цепи деда Семена, его синее лицо. Страшно. Там, наверное, на каторге, еще более напряженные лица, чем здесь, в школе. В голове клубилось, а в сердце как бы клевало. Да, вот и земля, да, вот и приближающаяся весна. Ох, надоела мне земля! Наскоро окончить экзамены, потому что Свазу надо посеять больше для себя. Надо вставать с рассветом. Сапоги и без того тяжелые, а выйдешь на двор — прилипнет земля, и еще станут тяжелей. Хочется спать. Ветер холодный, дождь. По краям неба сафьяновые весенние облака...

Я сказал Свазу:

— Пустите меня.

— Завтра экзамены, — сказал Сваз.

— Пустите меня совсем, — сказал я торопливо, — у меня отец помер.

Сваз перекрестился.

— Вечная память, — сказал он тихо, — прекрасный был человек.

Он никогда не видал моего отца.

— Хоронить поедешь?

— Хоронить.

— Ну, поезжай, а мы тебя проэкзаменуем отдельно, когда вернешься.

— Пустите меня совсем.

— Экий дурак, — сказал уныло Сваз, — разве у нас разрешены отдельные экзамены? Пора бы научиться высокому смыслу аккуратного разговора.

Кирпичный красный фундамент школы тоже какой-то напряженный, как и серые деревянные коридоры, как и все окружающее, которое, кажется, вот-вот готово расплакаться. Но не успел я пройти мимо фундамента, не успел шагнуть на пухлую великопостную дорогу, как напряжение окончилось. Я с наслаждением шагал по лужам, посвистывал, размахивал узелком. Я шел к дяде Василию Петрову.

Круглый самовар. Суетливый дядя Петров ругается в окно. По-прежнему перед теткой Фиозой бесчисленные варенья. Мать моя, всхлипывая, печет на кухне оладьи. Не вышло из Всеволода сельскохозяйственного техника!

Тетка Фиоза еще величественнее, еще румянее, еще белее. Я обмер, как никогда не обмирал. Какое счастье жить с нею рядом, видеть ее каждый день! Взял бы меня дядя хоть в кучера.

— В повара его разве? — вяло говорит тетка. — Там горячими ложками бьют по лбу, если плохо учится. Пища...

Она смотрит, как я неумело и жадно тянусь к варенью. Она думает: «Нет, из него повара не выйдет. Повар должен относиться к пище бесстрастно».

Василий Ефимович, обжигаясь, торопливо допил стакан, покрутил усы, поддернул штаны. Ему хочется угодить жене.

— Ушел, значит?

— Ушел.

— Вобче... Жениться тебе, Всеволод, рано... — Он растерянно взглянул на жену. — Куда б мне его направить?

— Направь его вниз.

— И верно, направлю я тебя, племянничек, в приказчики.

7

Ранним утром пароход высадил меня у крутого берега. Возле костра грелись киргизы. Тополя курчавились по высокому скату. Киргизы кинулись грузить бочки и кожу. Капитан с мостика кричал в широкий рупор. Из трубы парохода летели прощальные искры.

Я продрог. Большеголовый человек с белесым чубом, перекрывающим его лицо, потянул меня за руку. Большеголового звали Федор Малых. Он помогал моему «нижнему» дяде Кузьме Кузьмичу Македонову, заведующему лавкой Давыда Лыкошина в поселке Урлютюпском. В тележке Федор Малых всю дорогу от пристани до поселка рассуждал о своей судьбе, тяжелой и невыгодной. Вожжи то и дело выпадали из его рук. Он достал кисет и тоже выронил. Долго искал, поучая меня, что я неправильно сижу, что человек даже в сидении должен иметь выгоду. Пряди волос падали ему на губы.

— Не ужиться тебе здесь, придется к «верхнему» дяде ехать.

Родственники наши делились на «верхних» и «нижних»: по течению Иртыша.

Дядя Кузьма Македонов жил в новом розовом доме. Говорили поселком — у него долгая и страстная любовь к хозяйке Юлии Лыкошиной. Сам владелец дела купец Лыкошин за убийство шансонетки в Омске был приго-

ворен к четырем годам тюрьмы и уже отсидел два года. Дядя был лыс, тонок, с пискливым голосом. Холост. Хозяйством управляла его сестра, толстогубая Софья Кузьминична, помогала ей дальняя родственница Клавдия, девушка с зелеными сережками в ушах. Жена купца Лыкошина ревновала дядю и часто ночами приходила внезапно: узнать, не лежит ли он с Клавдией.

Нравилось мне все вокруг. Я спал у дяди на кухне, вставал рано утром, шел подметать лавку, двор, пилил с работниками дрова, носил из склада тюки мануфактуры. Днем мы ездили к пароходу, обедали почему-то в сарае. Отпускали нас домой поздно вечером. Ночью я часто просыпался, прислушивался: не идет ли с ножом в зубах купчиха Лыкошина? Тощая, с зонтиком и сумкой в руках, она бранилась необыкновенно искусно по-киргизски, била работников и злобно смотрела на дядю. Я был уверен, что она зарежет его. Это было даже немножко любопытно. Я полагал, что у лысых мало крови, и мне хотелось проверить свои предположения. Удивляло меня еще и то, что дядя Македонов, явно боясь купчихи, поддакивая ей во всем, послушно исполняя все ее приказания, все же ухитрялся так ловко обманывать ее, так ловко воровать, что в течение пятнадцати лет его ни разу не поймали ни хозяева, ни приказчики. Весь поселок завидовал его воровскому искусству, а больше всего завидовал Федор Малых. Приказчики неустанно следили за дядей. «Неужели, — думал я, — и мне следить?» И я решил, что он ворует по приказанию купчихи. А если и спит с Клавдией, то это — чтобы купчиха смогла совершить преступление и проникнуть к своему купцу в тюрьму.

Но все мои размышления о любви и воровстве раздавило огромное количество сладкого на складе и в лавке. Нигде позже не видал я столько конфет, — шоколадные, клюквенные, земляничные, мармеладные, в белоснежных, пурпуровых, желтых и алмазно-прозрачных коробках, они лежали на прилавках, глядели с полок, загромождали самые отдаленные углы склада. Но к ним трудно было пробраться! Тюки кожи, сукна, сбруя, гвозди, цыбики чая преграждали мне путь. К сладостям допускались только опытные приказчики. Приказчики раскрывали тюки с изюмом, урюком, винными ягодами, а мне доставались кожи и чай. «Неужели, — думал я, — казаки и киргизы столь лакомы?» И я понял,

чем меня прельщала Индия. Прежде всего, она чрезвычайно сладка. Мне снился сахарный тростник. Качались под ветром белые сладкие стебли. Я твердо знал, что они не могут быть белыми, но все-таки я не верил в тростниковую зелень.

Я решил хорошо служить.

Я прилежно возил на пристань бочки с маслом, помогал принимать грузы. С парохода кричал сиплый голос: «Лови чалку!» Я ловил эту скользкую мокрую веревку. Дожидаясь парохода, мы жгли костры и рассказывали свои похождения.

Я сбирал в темноте валежник, ощупью — по хрусту возле ног. Я прислушивался к далекому шлепанью пароходных лопастей.

Тянулось лето. Несмотря на прилежание, я все еще имел право делать не более пяти шагов внутрь кладовой. До сладких тюков оставалось еще шагов двадцать.

Мне выдали тяжелые сапоги и поддевку. В руках у меня приемная тетрадь и привязанный к ней карандаш, изгрызенный и пачкающийся. Я доволен. Ну, еще месяц, ну два — и я попаду в сахарную кладовую и туго набью конфетами огромные карманы поддевки.

А через неделю Федора Малых и меня отправили «вправо», далеко через степь, к опушке бора. В этом далеком и загадочном бору киргизы заготовляли лес и возили его в Урлютюп.

Лыкошин решил открыть в бору лавку, где бы киргизы и «переселенные» украинцы покупали мануфактуру и сбрую. Все равно возы к бору шли пустые, пусть лучше возят товары.

Мы ехали нескончаемо долго. Перед закатом волов выпрягали. Я собирал сухой конский помет, разводил костер. Степь лежала глянцевитая и пустая. Я впервые попал в подлинную киргизскую степь. Как приятны молодые травы! Я вставал рано, ложился в траву и смотрел в небо. Волы пыхтели, от телег пахло дегтем. Небо в галунном блеске. Жаль, что мы везли плохие конфеты. Но и мануфактура тоже плоха.

По-прежнему у Федора Малых падали вещи из рук: рубахи, хлеб, чашки. Чуб валился по-прежнему, и казалось, глаза тоже вываливались. Свесив дряблые ноги с телеги, он рассуждал:

— Вот кабы украсть!.. Такое... а что и как, хоть убей, не найду.

— Красть, по-моему, скучно, — говорил я.

— Не знаю, скучно или весело, а приходится. Все крадут. Ну, вот попробуй, укради в нашей боровой лавке. Македонов такие назначил хитрые цены, что киргизам и переселенцам за двести верст ехать за покупками выгоднее, чем к нам. Вот тут и назначь цены выше.

Казалось, Федор Малых знает, кто и сколько украл по всему миру.

— А кто не ворует? Укажи! — спрашивал он меня, возчиков-киргизов, всех встречных.

На краю громадного леса увидали мы нашу лавку. Лес был тяжелый, ровный, а если и выскакивала вверх какая сосна, то непременно карминно-красная. Рядом с лавкой киргизы в ситцевых чамбарах[1] неустанно пилили бревна. Сухая жара окружила нас.

— Нет, куда там покупателю явиться.

И точно: покупатель являлся туго.

Киргизы складывали новые плахи на возы. Опять я ходил среди возов с тетрадью, опять жгли костры. Только валежник собирать легче.

Поодаль от нашей лавки жил в зеленой избушке лесной объездчик Петр Водовозов. Объездчик уехал в Урлютюп. Нас угощала чаем жена его Елизавета, высокая, удивительно стройная, с тяжело-чугунными глазами. Я обижался на свой малый рост, я старался говорить мудро, ходил вразвалку, словно киргиз, и отпустил чуб, подобно Федору Малых.

Тетка Фиоза прислала вскоре к нам своего Вильку. Волк сорвался с веревки и передавил у нее всех кур, затем залез к соседям и задушил теленка. Волка привезли в клетке, на тройке взмыленных и перепуганных лошадей. Киргизы долго рассказывали, с каким трудом они запрягали эту тройку. Вся степь крайне недоумевала: зачем везти волка, когда и без того пропасть волков?

Волка привязали на цепь в углу лавки. По вечерам он выл. Лес отвечал ему тоже воем. А кони и волы танцевали.

Елизавета, жена объездчика, учила меня «мягкому» разговору с животными:

— И человеку и прочей скотине умей первым делом подольстить, милый мой.

---

[1] Чамбары — шаровары.

Легкая, какая-то непачкающаяся, она заставляла верить многому. Она находила особые мягкие слова, и хотя все в хозяйстве было чрезвычайно грязно, хотя платье на ней болталось кое-как, в квашне плавали мухи, иконы висели косо, пол не подметался, все же, казалось мне, опрятность окружала ее. На другой день после нашего приезда она обнималась с Федором Малых, а ночью взволнованно видел я, как ее тискал за веселое возвышение киргиз, десятник пильщиков. Он приехал час тому назад, а Елизавету видел впервые. Мне стало легче. Еще вчера я завидовал удали Федора Малых. Мне хотелось сказать Федору о десятнике, но — зачем? Елизавета так же выпадет у него из рук, как падали все вещи, как падал аршин, которым он мерил киргизам ситец.

Волк сидел у крыльца и, смотря на громадные сапоги киргизов с каблуками пальцев в шесть, весело выл.

Пищу волку варили в особом котле. Когда подходишь без пищи — он позволяет гладить, жмурит глаза. Когда он совсем закроет глаза, то котелок, который до этого держишь за спиной, внезапно сунешь ему под нос. Но руку убирай скорей, иначе он тяпнет раньше всего за руку.

Елизавета не прятала пищи за спину. Она ставила котелок к волчьей морде, и волк не кусал ее. Он позволял гладить себя ночью, когда выл по-лесному и соотечественники откликались ему из лесу.

Елизавета ела что попадется, вроде волка. И это и то, что она по-особому умела смотреть на мужчин, казалось мне чем-то нездешним. Она подолгу стояла возле козел. У нее был такой взгляд, что старый-престарый киргиз, засучая гачи [1], взволнованно говорил:

— Кэтэр, уходи!

Она облизывалась и сплевывала, когда перед пилкой киргизы снимали рубахи. Опершись обеими руками в желтое бревно, на котором таяли солнечные искры и редкий ветерок словно оставлял свое течение в жирной смоле, она говорила:

— Мало догадливы!

— Твой очень плохая баба, — отвечал старик.

— Перетолмачь, не понимаю.

Федору Малых она говорила:

---

[1] Гача — штанина.

— Мне много надо творенья. Я веселая, как весы.

Федор по-прежнему твердил:

— Умеют же люди ловко воровать. Пустая наука, а как подойдешь к ней?

Облокотившись на прилавок, она смотрела в сторону ласковыми глазами.

Федор ей надоел.

— Хоть бы ты ограбил кого, Федор...

— Если даже и полную кассу украдешь, куда убежишь?

Иногда к ней приезжали верст за полтораста или за двести объездчики, якобы справляться, дома ли муж. Она оживлялась, по утрам опять ходила с чугунными глазами. Я думал: никто не умеет поговорить с ней по-настоящему. Я искал в себе особые слова, но не мог ничего найти.

На закате Федор и я ходили в бор стрелять тетеревов. Вот странная, сдвинутая куда-то вбок птица! Тетерева перед закатом усаживались на вершины самых высоких карминных сосен. Темные, мохнатые, они сидели неподвижно, словно тоскуя по уходящему свету.

Подойдешь к самому дереву, выстрелишь. Если не попал, тетерев, сверкая пушистыми крыльями, летит на другую карминную вершину. Мы шли от одной вершины к другой. Это было глупое и тоскливое занятие. Мы набивали громадный мешок тетеревов: для себя и для Вильки.

А на следующий закат карминные вершины опять наполнялись тетеревами. Особенно отяжелели тетерева, когда созрела клубника.

По воскресеньям и двунадесятым праздникам мы ездили пить кумыс к богатым киргизам. Вся степь сплошь была покрыта дикой клубникой. Ягоды, величиной в наперсток, плотные, пахучие, лежали перед нами верста за верстой. Возле дороги бродили дрофы. Увидав нас, они, тяжело разбежавшись, поднимались, словно с якорями. Федор Малых все никак не мог собраться поохотиться на дроф. Мне казалось, он навсегда увяз в скучных рассуждениях о воровстве.

— Ну, укради ты хоть десять рублей, — говорил я ему.

— Десять рублей — жульничество. Кража начинается от сотни.

Я резал птиц на кусочки и варил их в масле. Это кушанье по-киргизски называется «каурдак». Варить его нужно на чистом воздухе. Оно мне чрезвычайно понравилось. Приходила Елизавета, брала кусочек мяса, относила Вильке и, возвратясь, смотрела на огонь и тоскливо говорила:

— Увезли бы мое женство в город да поселили в публичном доме. Только плохо, там и старики часто пляшут. А я не люблю стариков. Богатой бы мне быть, персики кушать. Для меня условиться легко, как перо сдунуть.

— Мужа тебе надо с кулаками, он бы тебя перетаврил.

— Увези меня, Федька, в публичный дом, вот тебе и кража.

Я впервые видел женщину, которая говорила о публичном доме так откровенно и просто.

— Зачем я знаю причину моей муки, а не могу изменить ее? Плохо, Федор, устроена моя жизнь. Ну, кто меня увидит в этом бору?

— Копи деньги.

— Сколько я скоплю от двадцати пяти рублей жалованья? Пять лет копи — купишь шелковое платье, а глядишь — молодости-то и нету.

Она брала опять кусок мяса и несла его Вильке.

Когда ягода в степи осыпалась, приехал желтый, как из латуни, объездчик Петр Водовозов. Он ненавидел лес. Он любил городскую жизнь, любил рассказывать о своих встречах с особыми людьми, помнил, как они были одеты, и особенно точно помнил все металлическое на этих людях: кольца, сережки, пряжки. Он хвастался часами какого-то чудесного завода и серебряной цепочкой. Лес он объезжал только опушкой. Ему нравилось, когда выбегали зайцы. Он останавливал коня, махал плетью, вставал на стременах и кричал. Голос у него был какой-то подплясывающий, к тому же он сильно шамкал.

Раз я шел из бора, нагруженный тетеревами. Объездчик не видел меня и кричал в степь, вслед зайцу:

— Поддай! Эй, Живой! Бросок! Кулунда! Нажимайте! Смирнов, Терентьев, да что вы, ослепли? Берите выше! Осинником, осинником, говорю!

Но вокруг него не было ни собак, ни людей, да и заяц давно скрылся, а он все шамкал, все оборачивался влево, разводил руками и хвастливо говорил:

— Ну-с, каковы мои леса, Матвей Сидорович? Дарю тебе сто десятин корабельного.

Елизавета ездила по лесу. Я думаю, она скучала с мужем, до его приезда она всегда сидела дома. Но лесные кражи от ее объездов не уменьшались. Переселенцы и киргизы посылали ей навстречу красивых парней. Лениво смеясь и пощипывая Федора за бок, она говорила, возвратясь из бора:

— Я будто Екатерина Великая. Только она, наверно, мужиков сгребала по другой причине, а может быть, и народ был иной. Почему же я не могу выбрать Потемкина? Зачем мне этакая страсть? И ребенка нету. Так просто живу, не для наказанья, а для беспокойства.

Тень ее беспокойства нависла над валежником, собранным для костра. Я боялся ходить в лес, чтобы не встретить ее.

«А вдруг, — думал я, — она пройдет мимо меня?»

Водовозов знал какие-то свои приемы властвования над людьми. Лесные воры ночью стучали в окошко. Он выходил. Ему сообщали о крупных порубках. Он не ездил сам и не ловил порубщиков, он писал письмо, и порубщики присылали ему взятку. Он называл это «цапаньем за щиколотку». Он копил деньги, чтобы под каким-нибудь предлогом уехать в Павлодар или в Урлютюп и пропить. Елизавета ли, лес ли очень хороший, но постоянно из бору доносился стук топоров. Мне думалось — порубят весь лес, а он стоял по-прежнему густой, и по-прежнему неисчислимые тетерева сидели на карминных вершинах.

Петр Водовозов и женой своей Елизаветой владел умело. Он ссорил ее с любовниками, рассказывал про них сплетни, и рассказывал так умело, что ему верили.

— Вот Петька, он врать не умеет, — говорила Елизавета.

Он поймал Федора Малых и Елизавету на прилавке.

— Дверь-то бы хоть запирали, — сказал он и вышел.

Водовозов выписал четверть водки, настоял на смородине, подержал водку положенное количество дней на солнце, велел жене сделать пирожки из сушеной клубники и вечером пригласил Федора Малых. Комнату он украсил сосновыми ветками и хвостами тетеревов.

Малых понимал, что произойдет битва. Целый день он сидел на крыльце с грустным лицом и чистил ружье.

Ружье блестело в его тонких руках. Он зарядил его крупной дробью.

— Не украсть мне крупной суммы, — говорил он, вздыхая.

Я смотрел в окно. Мне было любопытно, как же убьют Федора Малых.

Они долго и медленно пили из толстых матово-ржавых рюмок. Пирожки плоские, алые. Объездчик сверкал глазами, тыкал пальцем в тонкую свою латунную грудь. Тускло горела керосиновая лампа, а пузырь в ней был очищенный.

Они допили четверть. Водовозов потряс и опрокинул посуду. Медленно из нее капали в рюмку длинные капли. Держа под мышкой четверть, Водовозов опрокинул в рот рюмку, ударил четвертью о стол и, освирепев, схватил висевшее среди зелени ружье.

Елизавета кинулась к дверям. Мне показалось, что лицо у нее было веселое и довольное. Федор Малых побледнел, затрясся и выполз через порог на карачках.

Дорогу вдоль опушки освещала луна. Я бежал впереди всех с криком и плачем. За мною Елизавета. А позади всех Федор Малых. На Елизавете было розовое платье, волосы ее развевались, дышала она легко.

Шамкая, догонял нас объездчик и стрелял с ровными промежутками сразу из двух стволов. Больше всего меня пугало: почему они все бегут по дороге, а не хотят свернуть в лес? Петр Водовозов улюлюкал так же, как он улюлюкал на зайцев:

— Максим Петрович, Иван Егорович, Сосвистуй, Пономарев, все смотрите, как уничтожаю жену-потаскуху и сажусь на каторгу.

Федор Малых бежал развинченно. Деревья, казалось, обвисали на него. Он падал. Тогда Елизавета перегоняла меня с визгом. Я вопил:

— Убивает!

Федор язвительно вскрикивал:

— Ясно, и тебя убьют.

— Убью! — откуда-то издалека подтверждал объездчик.

Наконец Водовозов выпустил последний патрон и свалился.

Елизавета медленно подошла к нему. Ощупала, взяла ружье.

— Эк, дуло-то раскалил, — сказала она, легонько смеясь.

Она потрогала у Федора щеки. Федор достал из кармана гребешок. Голос у него дрожал. Он ударил каблуком объездчика. Елизавета спокойно сказала:

— Глаз только не вышиби. Бей его в живот.

Затем они свернули в лес. Я забрался в стог сена и задремал.

Вернулся Федор совсем пьяный. Елизавета презрительно молчала. Федор жаловался мне:

— Завеличалась пакостная баба. Смерти избежала. Богу бы молиться надо, а она мне чуть душу не вывихнула разговорами.

— Ты разговорчив, — со злобой отозвалась Елизавета.

Федор, приседая, быстро пошел домой. Елизавета осталась возле мужа.

У лавки, сверкая глазами, вертелся Вилька. Из лесу вылн. Луна уходила в степь.

Внезапно Федор Малых перекрестился и полез целоваться к волку. Он наклонил к нему лицо. Волк прыгнул и молча начал его кусать. Я затрясся, зарыдал. Федор Малых протягивал к волку руки, желая его обнять. Это было очень страшно, это сверканье зубов, луна, бормотанье Федора, звяканье цепи и пасть, скачущая по телу Федора.

Я кричал, но никто не отзывался. Киргизы заперлись в землянках и юртах.

Федор поскользнулся и упал на меня. Цепь была коротка, и волк рвался, но не смог допрыгнуть.

Волк скрылся под крыльцом.

Федор Малых, залитый кровью, в изорванной одежде, оттолкнулся от меня. Он добавил валежника в костер.

— Давай плясать, парень.

Он упал и заснул. Меня пугало больше всего его плоское, поперек разорванное ухо, из которого густо текла кровь. Я вспомнил, что где-то я читал — зола затягивает раны. Я пригоршнями брал золу и посыпал Федора. Я оттащил его в сторону, раздул костер, подтянул широкую плаху и лег на нее. Федор застыл, мне казалось, в мертвом сгибе.

Я проснулся поздно. Уже давно сверкали пилы. Федора Малых возле костра не было.

У крыльца лавки стоял объездчик Водовозов. Латунь его лица отдавала широкой синью. Подняв высоко кулак, он шамкал:

— Я ее отпущу! Я ей буду выплачивать все мое жалованье! Сглазила она меня. Я после выстрелов прозрел! Даю ей свободу. Она много счастья способна принести, но не мужу. Мужа ей не требуется. И тогда многие скажут — правильно сделал, что отпустил, благодетель ты людской, Петр Водовозов.

— Все равно подаю в суд, — слышался внутри лавки сиплый голос Федора.

— И для казны благодать. Лес воруют не потому, что на моем участке лес лучше, а из-за удивительной бабы.

Малых, весь перевязанный, вышел из лавки. В руке он держал кол.

Лениво покачивалась в окне Елизавета.

Петр Водовозов разжал кулак и протянул руку.

— Сглоданная моя жизнь...

— Меня сильнее обглодали, — сказал Федор Малых.

— Но ты же меня обесчестил. Ты меня бил. И ты же меня тянешь к мировому.

— А кто меня волку в зубы бросил?

Объездчик тяжело вздохнул:

— Ничего не помню, может, и я.

Елизавета рассмеялась. Федор Малых сказал резко:

— Плати десять рублей и получай мою руку.

— Три!

— Пять!

— Три!

— Давай!

Малых сложил втрое бумажку, сдул невидимую пыль. Елизавета подбоченилась. Малых пожал руку объездчику:

— Для обезвреженья раны водки бы.

— Кваску бы, — прошамкал объездчик.

— Кваску захотел? Кумыса привезли, хочешь? — сказала Елизавета.

Высоко держа ковш, наполненный до краев синеватым кумысом, объездчик медленно пил, поглядывая на кол.

— Для меня приготовил?

— Бильку убью, грубой обделки животное.

Елизавета вдруг, зыбко смеясь, сказала:

— Ну, так начинай.

Федор Малых, размахивая колом, подбегал к волку с разных сторон — как бы половчее ударить. Волк злобно скалил зубы.

— Эх, вы! И зверя убить не можете. Привязанного...

Елизавета закрутила цепь короче.

Они захохотали. Они вспомнили, что вчера с испугу Елизавета высыпала весь порох в простоквашу. Иначе волка пристрелить бы. «Как ей не жаль Вильку?» — думал я. Она жевала калач и смотрела на волка чугунными глазами. Где-то в себе она нашла оправдание этому убийству, оправдание, которого я не понимал и которое обижало меня. Мне хотелось убежать, но тягостное любопытство, такое же, как когда убивали цыгана-конокрада в Волчихе, удерживало меня.

Волк подпрыгивал, мотал головой. Малых сплевывал перед каждым ударом. Лицо у него было скучное. Наверное, перед тем как убить, он долго рассуждал и нашел какую-то выгоду. Он старался удар направить в нос. Малых ловко прыгал, ловко целился, но удары попадали волку по ребрам. Наконец Малых изловчился и выбил глаз. Волк завыл. Он струсил. Трусость его быстро прошла. Он упал на живот и молча грыз цепь. Изредка он лязгал зубами, стараясь поймать кол, но поймать ему не удалось, и тогда он опустил голову. Мне показалось, волк положил презрительно голову на землю, дабы ударили — и конец. Малых слегка передохнул, вытер шею, потную и тоненькую, и с большого размаха ударил волка между ушей. Волк подыхал долго. Изо рта его шла кровь, он хрипел и быстро крутил хвостом.

Петр Водовозов выпросил на память волчью шкуру.

— Наше место свято, если поругание снято, — сказал он неизвестно к чему.

За чайным столом они говорили о порубщиках, о торговле, смеялись над своими синяками. Федор Малых перерыл свои соображения о пользе воровства. Объездчик вспоминал пышный и шумный город. Елизавета опять глядела в окно.

Я удивлялся на этих людей и, признаюсь, несколько восхищался их легко исчезающей злобой, их дешевым лукавством. Елизавета не появлялась в лавке, она охладела к Федору, и Федор не обижался. Елизавета завела кошку. Из поселка ей привезли жирную беременную суку — сеттера. Даже глухой осенью, в распутицу, ко-

гда невозможно воровать лес, когда объездчики разметаны врозь, Елизавета сидела одна в доме.

Зимой торговля шла совсем плохо. Киргизы откочевали в «джетаки» к Иртышу. Степь была пустынна, дороги не было, непрестанно дули ветра. Федор Малых купил четверть водки, настоял ее на кореньях, пригласил в лавку объездчика и его жену. Я уже не ждал стрельбы и убийства. И точно — трое целовались весь вечер, говорили ласковые слова, и на другой день мы с Федором переехали жить в избу объездчика.

Избу топили жарко. Меня заставляли пилить и колоть дрова, но помогать мне в пилке по лени не хотели. Я ходил в лес, рубил сучья и топил печи. Меня заставляли стряпать. Я стряпал «баурсаки» и блины. Я научился делать пельмени, месить квашню.

Федор Малых перешептывался с объездчиком, объездчик качал отрицательно головой.

— Не годится.

Федор Малых предлагал, видимо, необыкновенную кражу.

Однажды заехал богатый киргиз. У него были длинные черные глаза, воловья шея. Елизавета вспыхнула и пожелала прокатиться по степи. Но у киргиза была верховая лошадь. На другой день он приехал в санках. Пара вороных подхватила и унесла Елизавету. Когда Елизавета подбирала под себя полы тулупа, меня удивило ее чужое лицо, сухие губы. Кошка смотрела в окно. Опираясь на полозья, позади саней ластился сеттер.

Объездчик бессильно плакал в избе. Федор Малых махал деревянной лопатой возле санок. Он расчищал дорогу от избы к лавке.

— Заказывай, чего тебе из Урлютюпа привезти, — сказала Елизавета.

Федор опустил лопату в мягкий снег.

— Того, чего мне надо, ты, Елизавета, не привезешь.

— А чего тебе надо, Федор?

— Умения.

Киргиз свистнул, кони исчезли в снегах.

— Не вернется, — сказал Водовозов, когда мы вошли к нему в избу.

Она и не вернулась.

Весной нам велели переезжать в Урлютюп.

Лыкошинский двор тесно забили подводы. С крыш валились со звоном молочно-белые сосульки. Опять

передо мною лежал склад, наполненный доверху сладостями.

И опять я не попал в склад. Каждый день меня посылали за пятнадцать километров встречать почту. Дороги возле Урлютюпа испортились, и почта проходила стороной. Я скакал по оврагам, объезжая рыхлые снега, изредка на меня наскакивали мокрые снежные бури. Иноходец быстро несся обратно. На боку у меня висела почтовая сумка. Я размахивал нагайкой. Мне вспомнились киргизы-охотники, которые нагайкой, на всем скаку, убивают в степи горностая. Шкурка стоит пять рублей. Я бы купил много конфет, рыжее портмоне, лаковый пояс. Но горностаи не попадались мне.

Каждый день я отважно соскакивал у почты, привязывал «чембырь» к столбу и вразвалку подходил к сетчатой перегородке. Купец писал из тюрьмы своей жене каждый день. Мне хотелось прочесть эти письма. Меня волновали эти длинные синие конверты, размашистый почерк. Наверно, приятно сидеть богатому убийце в тюрьме.

«Забедокурю, — думал я, скача по степи, — забедокурю, когда вырасту большой. Убью шансонетку, разбогатею, попаду в тюрьму».

На поездку я тратил полдня, остальное время я проводил в «джетаках» — окраине поселка, где киргизы блюли скот купца Лыкошина. Мне поручалось наблюдать, как они кормят скот, но я ни за чем не наблюдал. Я лежал на кошме в землянке и время от времени седлал коня и выпускал на улицу самых бойких в пригоне телят. Телята, задрав хвосты, бегали по узким улочкам. Я схватывал «укрючину» — длинную палку с веревочной петлей, — садился на коня и ловил телят.

Приятно скакать по мерзлой утоптанной дороге. Приятно гикать и размахивать гладкой укрючиной. У пригонов киргизки, поправляя на голове «чувлуки» [1], с уважением смотрели на меня. Дым пахнул молоком и кизяком.

«Вот придут пароходы, — думал я, — придется перекладывать товары, и без помех попаду я в склад».

Опять высокие препятствия!

Едва Иртыш очистился от льдов, нас послали в глубокую степь «переездными».

---

[1] Чувлук — белое покрывало.

8

Нам поручалось менять мануфактуру и галантерею на киргизское масло. Впереди, крытые холстом, двигались донельзя перегруженные четыре фуры с товарами, каждая запряженная парой коней. На передней фуре сидел Федор Малых, на последней я. За фурами шли телеги с пустыми бочками. В эти бочки мы сливали вымененное масло и отсылали их с киргизами-возчиками в Урлютюп. Оттуда киргизы привозили нам новые тюки мануфактуры, цыбики чая «Цейлон № 42», мешки с сахаром, зеркала, одеколон.

Много дней мы шли в степь. Мы миновали овраги, перевалили через высокие холмы медного цвета, останавливались возле переселенческих поселков у белых хат, среди широких улиц. Мы пробовали торговать с украинцами, но они говорили:

— Всяк своим воровством живет. Продавайте нема́капым.

Одна только дивчина, алебастровая, с голубыми глазами, купила у нас зеркальце величиной с ладонь, но и то, оказалось, потому, что ночью она пришла к Федору. На ночь мы составляли наши фуры четырехугольником и ложились спать, прикрывая телом наши товары. Работники спали снаружи. Всю ночь Федор уговаривал дивчину. Она требовала женитьбы. Он обещал, но хотел, чтобы она подождала его удачи при ближайшем удалом воровстве. Ей смешно: сколько человек знает о воровстве, сколько пространно говорит «за» и «против».

— Ты раньше, Федор, в конокрадах хаживал? Лучше не сознавайся. Иначе — не пойду. Изобьют тебя, а я, перечаявши встретить, сколько ночей плачь?

Он громко глотал слюну.

— Небрежно судишь. Ты бы лучше подвинулась ближе.

Ночь шафранная и длинная.

Я впервые узнал, о чем могут говорить всю ночь девки и парни. Мне это показалось скучным. К утру у дивчины голос совсем ватный и холодный. Она не объясняла, а коротко на его длинные речи: «Нет, нет». А Федор говорил одно и то же. И мне думалось: «Зачем же им так глупо лежать всю ночь под одним одеялом?» Но я старался запомнить их разговор. Когда подрасту,

к этим разговорам я прибавлю что-нибудь от себя, более ловкое.

Взошло щеголеватое солнце. Дивчина исчезла. Федор с бранью начал меня будить.

— А я и не спал,— ехидно сказал я.

— Дураком размышляешь, много не напромышляешь.

Мы ушли далеко в степь, километров за семьсот от Урлютюпа. Каждый вечер за два рубля мы покупали свежего барана. Мясо съедали, а сало курдюка добавляли в масло, наполнявшее бочки. На каждом баране мы наживали полтинник, помимо шкуры.

Обычно мы останавливались у края аула. Товары раскидывали по кошмам. Киргизы усаживались подковой перед нашими фурами и, прежде чем покупать, осматривали шелка. По шелкам они узнавали, богатая ли торговля, хороши ли у нас товары. Они спрашивали, щупая юно-розовые шелка:

— Эт барма? Мясо есть?

Они помогали нам колоть барана, разводить костер и внимательно наблюдали, как мы едим: не жадничаем ли, не лениво ли? Если жадничают, — значит, запросят лишнее. Если лениво, — значит, объелись — и тоже запросят лишнее.

Время от времени Федор лез в котел, доставал пальцами кусок мяса и клал какому-нибудь киргизу в рот. Киргиз с легким присвистыванием проглатывал мясо. Рядом с нами сидеть допускали мы только аульного старшину.

Киргизы присматривались к нам день, иногда два. Торговаться приходилось бешено. Федору хотелось украсть, а крал он пока, только подливая сало в масло. Киргизы отлично знали цены. Федор браковал масло, но и тут с киргизами спорить трудно: они осмеивали все знания Федора.

Мы сливали в бочку масло и шли к следующему аулу.

Мы увидели иных киргизов, не похожих на тех, которые жили в прииртышских «джетаках». Меньше ситцев, штаны сшиты из целых бараньих шкур. Лицом они темнее, с толстыми губами и стремительной улыбкой. Говор их значительно отличен от прииртышского. Они не потребляли хлеба, питаясь сыром «ирюмчук» и мясом

«каурдак». Монет они не брали, татары-торговцы завозили к ним много фальшивых.

Перед торговлей они спрашивали:

— Сколько на фунт масла получу аршин?

И они указывали на шелка.

И степь иная. Травы иные. Далеко где-то на юге виднеются водянистые горы. Небо васильковое.

Мы стремились к аулу Рахман-Аяза.

— Здесь произойдет кража так кража, — говорил Федор.

Но вещи и дела по-прежнему падали из рук Федора Малых. По-прежнему его чуб свисал на губы. Малых жадно хотел обогащения, но ничего не мог придумать, никак не мог уговорить себя: такое количество мыслей доказывает предстоящую неудачу. Вот здесь — люди не знакомы с монетами, можно всучить им новый медный грош вместо золотого, купить подлинно «на медные гроши» какого-нибудь сказочного коня, а попробуй! Ведь даже и тут обманут: киргизы лучше Федора понимают коней и подсунут ему сказочную дрянь.

Мы приближались к роду султана Рахман-Аяза, к его кочевьям. У подножья красновато-розовых скал мы увидали его белую юрту, похожую на «вершину горы, расшитую солнечным закатом». У прикольев множество коней. Мы достали новый зеленовато-золотой сундук, где были приготовлены самые редкие товары: фольга и «дикого цвета» бархат. На эти товары и на султана Рахман-Аяза очень надеялся Федор Малых.

— Уж я-то его сумею обузить. Я покажу вам, какой он двусторонний.

Работник в богатом, «для гостей», искристом бешмете пригласил нас к султану.

Возле дверей на полочке качался ручной беркут. Голову его покрывал легонький колпачок. Султан сидел в глубине юрты на белых коврах, возле кумысного турсука, из которого торчала мешалка. Вдоль стен стояли казанские сундуки, обитые яркой жестью. Через открытый верх юрты солнце золотилось на сундуках. По правую руку от хана сидела, увешанная серебряными монетами, в круглой бобровой шапке с павлиньими перьями, в фаевом кафтане и розовых сапожках, его дочь, круглолицая Нюр-Таш.

Снаружи султан был какой-то эмалевый, а изнутри, мне показалось, — его сдвинуть невозможно.

Рахман-Аяз хорошим русским языком говорил Федьке:

— Что такое жизнь? Жизнь, молодой человек,— это не извод положенных вам сил, а сближение вас с очень большими явлениями природы. Вот я веду по нескончаемой степи свои бесчисленные стада и в середине лета привожу их к моим горам. В моей семье растут возвышенные души. Мы уже видели много гор, много степей! Теперь мы хотим увидеть море. Разве вы сможете продать мне море?

— У меня есть фольга лучших варшавских фабрик. Уверяю вас, господин султан, что она цветом лучше любого моря.

— Красота понятна даже скоту. Я вожу свой скот по самым красивым местам. Такого принципа не выдвигал еще ни один скотовод. У меня скот жирнее голландского. И вот теперь я жду со дня на день покупателей из Китая. Весьма возможно, что моих кобыл, мой кумыс потребуют ко дворцу китайского императора.

— Прямой свет, не отраженный, лучше даже и не в торговле,— ответил вежливо Федор.

— Но, кажется, в Китае революция,— сказал я.

Федька остро взглянул на меня. Федька знал — русские чиновники обирают Рахман-Аяза. Он весь в долгах, сундуки ему продают втридорога. Из уважения к императору Китая он отдает свой скот за гроши. В погоне за красотой и возвышенностями султан изменил вековечные кочевые дороги своего рода — прочие роды на него обижаются и воруют у него скот. Вообще здесь много можно украсть, но как?

Нюр-Таш подвинулась ко мне. Я подумал — она хочет спросить меня о китайской революции, но я забыл и причины и все, что сопровождало революцию, все прочитанное мною в «Огоньке». Я знал гораздо больше о Панамском канале, о живом бронтозавре, найденном в болотах Северной Родезии, о том, что, по свидетельству Карла Гагенбека, местожительство чудовища находится в озере-болоте между реками Лунга и Кафу, о кораллах и коралловых островах, о парадоксах равновесия, о находках мекензско-финикийского периода, о собирании почтовых марок, о межзвездных пустынях и о многом другом, что я читал в ⟨журнале⟩ «Природа и люди» и «Вокруг света».

Нюр-Таш была вся бальзамическая, душистая, опрятная. Она чистила все, что ей попадало в руки. Она многим походила на меня: лунообразное лицо, коротенькие ручки, серые глаза, окаймленные припухлыми веками; впрочем, на киргизский вкус я тогда был красив. Кроме того, она смотрела на меня как на вещь, которую необходимо вычистить. По правде сказать, я давно не мылся.

Она положила на мои ладони свои руки и быстро сказала:

— Я люблю тебя.

Впервые в степи, у гор, которые я видел тоже впервые, на чужом языке мне суждено было услышать это слово. Услышать от чужой девушки из народа, которого казаки иначе не называют, как «немаканым» или «собачкой». Сердце мое треснуло! Голова закружилась.

— Я тебя люблю,— сказала Нюр-Таш громко,— протяни мне свою голову. Зачем тебе в такую жару волосы? Их надо снять. Ты будешь совсем круглый и совсем хороший.

Во мне все томилось и ликовало. Но я молчал и не двигался к ней. Я боялся султана. Рахман-Аяз трунил над Федькой и одним глазом посматривал на меня.

Федька жадно пил кумыс. Ему казалось, что он сейчас выпьет все богатство султана.

Султан описывал Бухару и всю поездку туда. Ему и его любимой дочери не понравилась бухарская неопрятность. Бухарский эмир за отличную и умную деятельность султана по распространению магометанства обещал орден. Да, Рахман-Аяз исправит свою степь, наполнит ее просвещением, науками, обновит магометанство и перенесет «купол Ислама» из Бухары к подножьям своих гор.

Нюр-Таш перетрогала все мои одежды. Глаза ее сверкали. Как она вычистит меня! Только мои глаза казались ей достаточно прочищенными, да и то потому, что серые.

— Я убью себя, если ты меня не полюбишь,— сказала она.

Я уходил оробело, натыкаясь на телеги, на кобылиц.

Я совсем взрослый!

Я ушел далеко в степь, будто бы посмотреть спутанных коней, и здесь долго плясал и прыгал.

Тут же на киргизском языке я составил стихи:

Кыздарай учун Юртуп-нан базарнан.
Барыб кельдемауй, дейды.
Юртун-нан базарнан быр кебис алдымауй, дейды.
Быр кибис-сын багасы — крык мын теньга
Кыздарын сюйткены: багасын чок, дейды [1].

Когда я вернулся, Нюр-Таш стояла возле нашей лавки. Федька раскидывал шелка.

— Назначай любые цены,— говорила она,— отец купит, потому что я люблю твоего приказчика. Назначай. Хотя ты и мошенник, но и мошенника украшает любовь.

— Такого отца нельзя не любить. Прикажите мне его уведомить: не о любви, а о ваших покупках.

Я прочитал ей стихи. Она смеялась прямо в лицо Федору, а тому казалось, что он поймал самую главную ловкость в своей жизни. По-разному мы все были довольны. Я помогал Федьке достать «дикий» бархат и золотую фольгу. Цвета индиго, с удивительным ворсом, мягкий, легкий, этот бархат пришел в нашу степь из далекой страны — Франции. Он стоит восемнадцать рублей аршин, сбоку у него была выткана европейскими буквами фамилия фирмы, его приобрел накануне убийства купец Лыкошин для любимой своей шансонетки. С великим трудом выпросил Федька Малых этот кусок в степь с собой. Вот почему Федька страстно желал поймать кочевья Рахман-Аяза.

— А фольгу для короны! — говорил он. — Непременно, если хан купит бархат, то пожелает соорудить королевскую корону. Временно, пока нет золотой. Эх, так бы извоотиться, чтобы бархат рублей по полтораста за аршин продать. В куске-то двадцать пять аршин.

Но Нюр-Таш отвернулась от бархата. Она смотрела на меня и говорила Федьке:

— Я люблю его.

Мы готовились обедать. Она велела мне вымыть ложки и так ловко поставила мои пальцы, что ложки — лучше новых. Везде она уничтожала грязь и пыль.

— Идет к ней чистота,— подобострастно говорил Федор.

---

[1] Ради девушки ездил в Урлютюп я на ярмарку,
В Урлютюпе на ярмарке
Купил я ей башмаки.
Башмакам цена сорок тысяч рублей,
А поцелую любимой — цены нет!

Беспокойство осенило меня. Неужели всякая любовь беспокойная? — пришло мне в голову. Перед закатом Нюр-Таш поцеловала меня в щеку, пошла было, но вернулась и прижалась к моим губам.

Я встал рано, с рассветом. Я вычистил чайник. С мылом промыл чашки. Я принес из колодца шестнадцать ведер воды и вымыл колеса телег. Я вымыл гривы коней, заплел хвосты. Я вычистил сбрую и смазал салом хомуты.

Пришел султан Рахман-Аяз, сонный, плотный, малорослый. Мы расстелили для него новую кошму. Солнце стояло над головами. Киргизы робко уселись поодаль. Нюр-Таш стояла рядом со мной за прилавком.

— Какие же товары вам дадим вначале? — спросил Федька.

Сегодня султан мне казался лентяем, соней, что называется все вместе «байбаком». Сонно он указал на меня пальцем.

— Лучшие товары имеются,— сказал Федька.

— Дочь мне призналась.

Окружающие киргизы подтвердили вздохами султанский вздох.

— Я не буду спать много ночей,— сказал медленно Рахман-Аяз.— Будь я иным, безвозвышенным и бессовременным, я б плюнул этому молодому приказчику в морду и сказал: запрягайте ваши фуры! За мою дочь уплачен калым. У моей дочери есть богатый жених. А мне она признается в любви к приказчику. Позор! Стыд! Но я хочу вместе с ней любоваться тайгой и морем и вместе с ней поехать путешествовать в Париж и Америку. Она одной крови со мной. Она убьет себя, если я ей откажу.

— Убьет,— подтвердил Федька.

Я придвинулся ближе к Нюр-Таш.

Султан продолжал:

— Будь бы у этого приказчика черные глаза, он был бы совсем красив, а то словно капнули на лицо загрязненным молоком. Впрочем, наш род всегда имел глупые вкусы.

Я потупился.

— Не обижайся на правду стариков, молодой человек. Не обижайся, и далеко пойдешь. Ты хочешь на ней жениться? Как тебя зовут?

— Всеволод.

— Я отдам ее за тебя, Сиболот. Хочешь?

— Хочу!

Хан ушел.

Федька чувствовал ко мне уважение. Вот великолепный план, который он придумал. Вот что значит далеко предвидеть! Вот что значит французский бархат! Теперь он продаст не только бархат, но и все, что есть в этих фурах, все, что есть в Урлютюпе на складах. Хан приглашает нас вечером к себе! Он режет жеребенка, десять жеребят, он устраивает трехдневный «той» — пир! Что поделаешь, если его дочь полюбила русского? Обидно, правда, что не только не офицера, но даже не купца, а приказчика, мальчишку.

— Кажись, мне пятнадцать лет, а женят только восемнадцати, — сказал я.

— Казаки — обычаем собаки, мы подделаем документы.

Я опять плясал в степи. Я был так счастлив, что уже не мог составлять стихи.

Перед солнечным закатом мы подходили к юрте хана.

Высокий холм весь покрыли белые кошмы. Внизу расстилалась каменистая сухая долина.

Федька весь день не ел, готовясь к пиру. Он велел надеть мне чистую рубашку, отрезал шелку на пояс и дал на время лучший гребешок. Он дрожал от жадности, он боялся грядущей подделки документов, подтверждающих мои восемнадцать лет. Страшился он и гнева моего отца, хотя совершенно не знал ни отца, ни его характера.

— Как-никак на немаканой женишься. Султанская дочь, а все равно казачки в свои семьи не пустят.

— А мы уедем.

— А деньги? Я же все деньги заберу у хана. Опять ты, Сиволот, будешь в полной зависимости от меня. Хана я нищим пущу!

К белому холму со всех сторон верхами съезжались киргизы. Каждый всадник долго держал в своих ладонях руку Рахман-Аяза. Вскоре все кошмы прикрылись разноцветными халатами. Нюр-Таш сидела со мной рядом. Работники, багровые, лоснящиеся от жары, внесли громадные корыта вареной «казы». Самое большое корыто они поставили перед султаном.

Рахман-Аяз положил жирный кусок жеребятины своими пальцами мне в рот.

— О-о-о...— почтительно промычали киргизы.

— Да, это так,— сказал Рахман-Аяз, вытирая о бороду жирные пальцы,— это так. Моя дочь полюбила приказчика, а по всему миру передают: я современный и ученый. Ученые же мудро говорят: зачем угнетать детей, пусть они идут своей дорогой, а ты, старик, своей. Так ли? Мне хочется видеть моря и леса, а им свое сердце. Пускай лежат в юрте и смотрят друг у друга сердца.

Из дальних рядов спросили:

— Много ли у приказчика скота?

— У него нет скота.

— Его отец купец?

Еще более дальние ряды спросили:

— Или офицер?

Рахман-Аяз ответил:

— Нет, его отец мулла.

— В большом городе мулла или где поменьше?

— Его отец мулла в поселке Лебяжьем. Приказчик — очень бедный и глупый мальчик, но моя дочь балованная, и что я с ней могу сделать, если я уважаю науку?

Передние ряды сказали:

— Ты поступаешь правильно, Рахман-Аяз.

— Еще бы не правильно! Вы огорчаетесь, родственники: у приказчика нет скота. А я сейчас покажу вам, сколько он будет иметь скота, когда я умру или буду ласков и щедр.

Федор Малых наклонился к моему уху и прошептал:

— Заболванит он тебя! Ты на меня, Сиволот, направляй надежды.

Подали шкатулку. Рахман-Аяз долго рылся в гербовых бумагах. Со дна он достал шелковый платок, большой и лиловый. Рахман-Аяз высморкался в платок, затем высоко поднял его над головой.

Всадник поскакал на закат. Спину его покрывала жемчужная луна.

Не успели съесть второе корыто «казы», как в степи послышался глухой гул. Рахман-Аяз указал мне платком на следы заката. Нюр-Таш наклонилась ко мне и протянула чашку с кумысом, указывая то место, куда прикасались ее губы. Я допил кумыс.

Федор Малых начал торопливо и несвязно рассказывать султану о замечательных бархатах. Султан не слушал его. Все мы смотрели на закат.

Сначала проскакали внизу холма по лощине, потрясая укрючинами, пастухи в лохматых малахаях. Затем пошли стада.

Бежало множество коней, молодых, необъезженных. Они шли непрерывным, нескончаемым потоком. Они шли часа три. За ними двинулись солидные объезженные жеребцы. Они ржали. От них несло потом. Тяжелая пыль колебалась над ними. Хлынули кобылицы, окруженные жеребятами. Лоснились и сверкали под тонкой луной конские спины. Скот шел тесным потоком, величиною с улицу. Мелькали рога коров, мычали бугаи, прыгали телята, и вот наконец двинулись овцы. Они шли, прищелкивая копытцами. Долго стояло у меня в памяти это прищелкивание.

Овцы шли всю ночь.

Федор Малых повис на моих плечах.

— Вот оно хозяйство-то, — бормотал он неустанно. — Вот оно хозяйство! Какое! Неужели я его все украду!

Федор Малых мне давно надоел. Мне опротивел его гнусный голос и то, что вещи падают из рук, словно у него нет пальцев. Чему он радуется? Даже мне, ослепленному любовью, ясно: султан сегодня узнал о любви дочери и тотчас же согласился на ее брак — это бывает, но нельзя в тот же день согнать со всей степи стада! Федор Малых знает не меньше меня законы степи. Сердце у меня заболело: а не искал ли хан предлога, чтобы похвастать своими стадами?

А стада все шли и шли. Светало.

Опять идут кони. Они разделены по мастям. Вот идут белые, в тумане рассвета они похожи на розовый пух. Мы устали и уже не слышим топота и крика пастухов. Многие из киргизов, опившись кумыса, спят.

По-прежнему сверкают глаза Нюр-Таш. По-прежнему султан Рахман-Аяз говорит о высоких и длинных путях. Он непременно привезет сюда из путешествия моторную лодку. Федька Малых гнусавит: «А где же здесь вода?» Султан Рахман-Аяз будет в лодке кататься на верблюдах. Или поставит ее на сани. Рахман-Аяз зевнул. Я стремительно хотел спать. Я устал думать о богатстве и о любви.

Киргиз с длинным и вишневым ртом, сидевший против меня, спросил:

— А как же вера?

— Вера есть вера, — зевая, сказал султан, — сколь искусно ни составляй скорлупу, если она без зерна, то не получишь плода.

— Вот и я то же самое говорю.

— Выходит — мы с тобой согласились и потому ляжем спать.

Длинноротый указал на меня:

— А как же его вера? Его вера одна, его жены — другая.

— Его вера одна?

Султан погладил меня по голове.

— Этот приказчик всех перегораздит выдумкой. Их вера будет одной, ибо истинной вере могут принадлежать такие стада. Что дала ему его вера? Этого? — И он указал на уснувшего Федора Малых. — Твоя вера будет истинной верой. Ступай спать, сынок.

Я сильно ударил Федьку в плечо. Он закачался и сел. Я тихо сказал ему:

— Я не верю ни в того, ни в другого пророка. Я не верю ни в Магомета, ни в Христа, ни в Будду. А кроме того, я не желаю брить голову и производить над собою обряд обрезания.

Федор смотрел на меня заспанными и злыми глазами. Он был слегка напуган: сколько «против» встало перед ним. Опять не удастся совершить великую кражу! Этот русский, этот христианин, этот богомольный и богобоязненный казак готов был продать меня. Как я одинок, как мне жаль себя! Я обернулся к Нюр-Таш и протяжно сказал:

— Я не хочу быть магометанином.

— Наша вера опрятнее, — ответила Нюр-Таш.

У нее переменились глаза. Она осуждала меня. Я понял — мне не убедить ее. Я горестно встал во весь свой рост.

— Я не хочу быть магометанином.

Рахман-Аяз одобрительно прислушивался к тому ропоту, который окружал меня.

— Приказчик, ты глуп и неуч. И ты никогда не будешь ученым. Что такое для ученого вера? Для него важна наука, и только стада дадут тебе науку, а не этот... — Он пренебрежительно толкнул ногой Федьку. — Ты не научился многим наукам, приказчик. Ты бы мог

через мое богатство довести мой род до самого синего моря. Моему роду не хватает кораблей.

— Чего? — спросил я.

— Кораблей! Рахман-Аязу пора сломить перегородку песков и плыть по обыкновенному синему морю.

— Правильно! — подтвердили киргизы.— Нам пора быть мореплавателями.

Рахман-Аяз махнул направо и налево шелковым своим платком.

Киргизы расступились.

Я кинулся в проход.

Я побежал.

Султан хохотал. Окружающие валились со смеху. Они уходили в сторону. Некоторые катались по кошмам, смеясь и взвизгивая. Ухабы, раскаты смеха, гряды, уступы. Они меня прижигали смехом. Они туго-натуго перетянули мое сердце. Они проказничали, тыкали меня пальцами в бока: «Хт, эх, галка!»

Нюр-Таш сказала мне вслед:

— Ты просто глуп.

Пьяного Федора вели под руки.

Работники торопливо запрягали коней. Федора положили в глубь фуры на тюки. Я пытался ругаться: нам нужно торговать. Работники злобно посмотрели на меня, испуганно на ханскую юрту. Я все понял.

Кони побежали крупной рысью.

Работники свистели бичами.

Мы мчались краем лощины. Трава была истоптана, это следы бесчисленных стад. Еще висит над травой их запах. Это как бы высыхающая река.

Федька Малых крепко спал. Горы оставались попрежнему высокие, но аул уже давно скрылся. Я был как бы в беспамятстве.

— Кого это?

Всадник скакал по следам нашего обоза.

— Забыли на тое бумажник, что ли? — переговаривались работники.

Бобровая шапка подпрыгивала, развевались перья.

Нюр-Таш на полном скаку прыгнула из седла ко мне в телегу. Конь ее бежал рядом, посматривая на меня. Работники тотчас же остановили фуры. Они не желают умирать за то, что угнали девку.

— Вы дураки! — крикнула им Нюр-Таш.

Она поцеловала меня. Я плакал. Большим шелковым платком, таким же, каким махал ее отец, она утерла мне слезы и повязала мне платок вокруг шеи. Она положила мне в руки кусок душистого мыла в блестящей красной обертке, где нарисован черный персианин в желтой чалме, зеркальце, гребешок в розовом футлярчике.

Нюр-Таш молча вспрыгнула в седло, огрела нагайкой работника, который торопил ее. Она повернула коня. Мне хотелось спросить, что же она думает о своем отце, но слезы помешали мне.

Фуры двинулись дальше.

9

Федор Малых возненавидел степь.

— Цветец недурён, да голова от него как бубён.

Он придумывал всегда чрезвычайно глупые поговорки.

Я скучал по печеному хлебу, по людям, которые говорили бы более понятно, чем Федька. Торговали мы плохо. При первых заморозках Лыкошины разрешили вернуться нам в Урлютюп.

Дули холодные ветры. Низкие тучи волоклись почти по травам. Вставать утром трудно, морозно, дождь. Дорога тяжелая. Чем ближе к Иртышу, тем больше глин. Мы закутывались в овчины. Дождь их быстро отяжелял, а сушить было негде.

Мы увидали на лугах стога. Еще дальше — и вот синеет Иртыш, казачья река. Мы приближались к парому.

У переправы Иртыш шириною километра в три, и мы не успели пробиться к берегу. Наш паром затерло шугой. Двинулся внезапно лед, и вокруг нашего парома образовался затор. Лед наступал, нас могло раздавить. Колеса парома действовали плохо. К счастью, льдины начали тянуть нас к берегу. Нужно было доставить канат на берег. Казаки много говорят о геройстве! И паромщиков и Федора Малых я считал героями. А тут они струсили и только хрипло кричали казакам, стоявшим на берегу:

— Чего же вы канат не даете?

Казаки так же хрипло им отвечали с берега:

— А вы чего не даете?

Какая брехня вдруг поднялась вокруг! Казаки окружили меня, хвалят. Я вспрыгнул на коня. Взял в руки конец бечевки. Казаки столкнули коня с парома. Вода нестерпимо холодная. Я очень испугался. Я обвил ногами лошадиную шею, уцепился рукою за гриву. Конь плыл искусно, минуя льдины. Когда конь выскочил на берег, я не мог его остановить. Я бросил бечевку казакам, и конь помчался вперед. Он страстно желал согреться. Не помню, как я очутился в селе. Я узнал «джетаки», деревянную церковь, лавку Лыкошина. Я свалился в лужу возле дома дяди моего Кузьмы Македонова. Мокрый, дрожащий, но довольный своим геройством, я вошел в дядин дом. По правде сказать, это подлинный и, пожалуй, единственный геройский поступок в моей жизни.

Клавдия, девушка с зелеными сережками в ушах, стояла на табурете, поправляя лампадку перед иконой. В кухне было по-прежнему тихо и опрятно. Я ожидал — она спросит: где это я ухитрился так вымокнуть? Она сказала с незнакомым мне набожным лицом:

— Разве ты у нас будешь жить?

Ее набожность быстро улетела. Она ее приготовила для Кузьмы Македонова. Это его она пугала богом и какими-то особыми молитвами.

Я желал сообщить о моем геройстве. Она выслушала и спокойно сказала:

— Ноньче шуга красивая. Ступай в баню. Веник в сенях.

Она отправила меня в баню не потому, что боялась, что я захвораю, она ждала Кузьму. Она шла со мной не для того, чтобы проводить меня, а полюбоваться на ледоход. Она могла часами смотреть на природу. Она вставала ночью и слушала, как течет Иртыш, уходила в степь, знала все цветы и запахи их, она готова была всю жизнь провести в деревне, не понимала людей, восхищающихся городом. Дядя Кузьма возил ее в Омск, показывал театр. Она сказала спокойно:

— Балуются. Жизнь-то скрытней.

Она недоверчивая, замкнутая. Я ее спросил о Лыкошиных. Она уклончиво ответила:

— Много про них болтают, а зря. Люди в полном мире живут. Сам-то приехал, выпустили его, передурил он всю положенную ему дурь.

Но спокойствия в доме Лыкошиных я не нашел. Купчиха Юлия Лыкошина неустанно ходила по комнатам. Множество вещей окружало ее, а ей все казалось, что комнаты чересчур просторны. А Давыд Лыкошин помещался в крошечном чуланчике, на другом конце дома. Говорят, он сожалел, что ему не удалось посидеть в тюремной одиночке — сидел он в общей. Дядя Кузьма Кузьмич радовался: приехал хозяин, даст настоящие распоряжения. Давыд Лыкошин распорядился так же, как и прежде: скупать кожи и масло. А это теперь невыгодно. Новоселы вырабатывали масло лучше киргизского. Заказов на кожи не было. Распорядился также Лыкошин: прекратить Кузьме Кузьмичу встречаться с Юлией. Кузьма Кузьмич подчинился без протеста: все по-старому.

Давыд Лыкошин упрям, самострастен. Узкое лицо его обведено жесткой каймой рыжих волос, зубы перемолоты, вставные. Ему кажется — он все знает наперед.

— Не кожи нам надо заготовлять,— вздыхал Кузьма Кузьмич.

— Кожи не гожи, а рогожи для одежи тоже не кожи,— без всякого почтения вставлял Федор Малых.

— Другое снадобье пора заготовлять. Я полагал, он в тюрьме поразмыслит.

Лыкошин вдруг поверил, что товары, которых никто не покупал, он продаст на ярмарке зимой. Три года он думал в тюрьме — правильны ли все принимавшиеся им раньше решения? Получалось, правильны. Так и будет поступать он в дальнейшем. Он брал в кредит дорогие товары. «Не потому ли он полюбил шансонетку,— думал я,— что на ней были такие драгоценные камни, какими он, Лыкошин, не может торговать?»

Наготовили длинные мешки пельменей. Готовили их два месяца, всем домом. На ярмарку поехали тоже всем домом.

Снега. Укатанные ухабы. Мы шли в новых полушубках и длинных валенках возле розвальней. Постоялые дворы в станице Рамолинской были переполнены. На площади стояли новые дощатые балаганы. Купцы в толстых шубах, а сверху еще тулупы с громадными воротниками. Нам тоже выдали тулупы.

Давыд Лыкошин радовался: его балаган самый богатый и пышный. Ночью приказчики посменно караулили внутри балагана. Мы грелись возле лампы-молнии

и самовара. Стояли удивительно прозрачные холодные ночи.

Выйдешь — площадь пустынна, сквозь щели балаганов видны в лавках желтые «молнии». Небо черное. Приказчики ходили из балагана в балаган гостить, играли в шашки и хвастались: у чьей хозяйки больше любовников.

Лыкошин привез шелка, бархат, дорогие сладости, серебряные украшения для седел и хомутов, сафьяны — зеленые, красные, голубые. Товар превосходный, но торговали мы хуже всех.

Лыкошин рано утром приходил в балаган и выгонял приказчиков. Видимо, ему приятно было сидеть одному. Он читал под нос Библию.

— Уважение надо внушить покупателю. Чего его приманивать? Хороший товар сам приведет покупателя.

Приказчики убирали коней, распаковывали тюки: Лыкошин вдруг приказывал запаковать один товар, раскрыть другой.

Вечером ели пельмени, пили водку. Лыкошин быстро съедал несколько тарелок пельменей, выпивал два стакана водки и уходил к ярмарочным девицам. Кузьме Кузьмичу хотелось остаться с хозяйкой, но все-таки он ушел за Лыкошиным, ища распоряжений. Юлия Лыкошина сумела и здесь нагромоздить вокруг себя множество вещей. Видимо, ей было лень останавливать Кузьму Кузьмича, она придвигала к ногам любимый свой желтый чемодан, доверху наполненный мельчайшими штучками: костяными собачками, металлическими жучками, слониками, раковинами, какими-то искусно выбитыми монетами, принадлежавшими некогда великим угодникам перед самым их уходом в спасение.

Кузьма Кузьмич никогда раньше не делился со мной, но Клавдии не было, и он сообщил мне свои огорчения:

— Разоряется Лыкошин, а Юлия Петровна охорашивается, жеманная. С чего бы?

— Как же быть?

— Мозги надо Лыкошину жать...

— Его не сжать, а как бы сожрать,— вставлял Федор Малых.— Где такой ход найти, чтобы кредиторы его товары вместо своих складов ко мне перекинули?

Кузьма Кузьмич покорно готовился к бремени разорения. Приказаний и распоряжений он не мог добиться, на себя он не надеялся. Так оно и шло.

Наш балаган разбирали последним. Лыкошин ждал: придут-таки покупатели! Они не пришли. Наши обозы бешено гнали в Урлютюп, словно мы там могли застать покупателей. Но и в Урлютюпе нас забыли. Лыкошин выгонял приказчиков и сидел один. Он не показывал выручки, не позволял заносить ее в книгу, он надеялся еще кого-то обмануть. Подвоз товаров прекратился. К Новому году Лыкошин должен был платить по векселям.

— Год велик только избытком снегов,— говорил Малых.

Дом дяди Кузьмы стоял на высоком яру. Мы полили яр водой от верху до средины Иртыша.

Льды сейчас были завалены снегами, а в былые бесснежные дни Лыкошин, говорят, подковывал коня на стальные шипы и мчался по льду на коньках, держась за вожжи. Девки влюблялись в него. Клавдия рассказывала нам о его победах. Заложив пальцы в рукава, она говорила:

— Как прекрасно и величественно! Я обожаю лед, по которому еще никто не катался.

Мне нравились ее книжные слова, ее определения чувств, ее особый взор на природу. Она помогала мне увидеть иной Иртыш. Я читал смысл волчьих следов на снегу, понимал хитрый рисунок их. Сквозь снег пробиваются льдины, и каждая иного цвета: зеленовато-бурая, глинистая, клюквенная. Водовоз поднимается с бочкой по яру, и от его бочки откалывается и падает лед коленкорового цвета.

— Чудесно ты, неизвестное творенье,— медленно волочила Клавдия слова.

Когда ей хотелось сказать при посторонних о боге, она путалась и мямлила. Она готовила резкие слова о боге и его гневе для Кузьмы Кузьмича!

Клавдия низко повязывала платок и садилась в мои санки. По казачьему обычаю, скатив девушку, я мог поцеловать ее. Я стеснялся, и девушки деловито сами целовали меня.

Чем дальше уносились в снега наши санки, тем крепче Клавдия целовала меня. Избежать бы этого целования: она целует не меня, а природу! Если санки опрокидывались, Клавдия долго лежала. За шалью у нее таял снег, забивался в ее валенки. Она, казалось, не имея сил встать, смотрела вверх во все глаза и говорила:

— Как прекрасно! Смотри, подходит закат, и все изменится.

Я уважал ее. Я желал такой же способности видеть и понимать природу, хотя меня больше всего тянуло к людям. Я старался быть подольше возле Клавдии. Я вставал рано, поливал дорожку, чистил санки. С каждым днем ледяная струя «катушки» все дальше и дальше уходила по Иртышу.

Я ждал от Клавдии удивительных поступков. Где ей любить дядю Кузьму, оба они цепляются за грех, так как если они расстанутся с этим грехом, то они совершат другой, еще более страшный. Они цепляются за бога и лампадки! Бог должен быть разрушен мной. Мне казалось, Клавдия лишь со мной откровенна. К другим в санки она не садилась. Я не спал ночей. Я пылал. Я опять любил.

Дни и ночи я думал о Клавдии, об ее скрытой любви ко мне. Ну что ж? Пусть! Вначале она целует меня как всю природу, но придет час, когда она поцелует меня как человека, самого важного для нее! Недоверчивая, замкнутая, искалеченная ленивой казачьей жизнью, она менялась, когда мчалась в санках к удивительным снегам, которые иные каждый час. Так что, видите, я не был заинтересован в кожах. Их выдумал другой приказчик. Вечером в одно из катаний кто-то притащил кожу, широченную юфть. Множество парней и девушек уселись на нее с визгом и хохотом. Я виноват только в том, что чрезвычайно выгладил ледяную дорожку. Кожа неслась по ней не хуже санок.

Клавдия села в мои санки. Она отказалась от кожи. Это походило на свидание. Забрезжила измена! Пусть поплачет дядя Кузьма Кузьмич. Я вел санки безрассудно. Они опрокинулись на половине дороги. И все-таки Клавдия крепко поцеловала меня. В яру послышался голос дяди:

— Клавдия, иди, поставь-ка мне горчичник. Что-то в боку закололо!

Я долго катался один. Клавдия не пришла. Ну, придет завтра.

Утром Федор Малых дал мне тяжелый ключ:

— Принесешь шесть ящиков розового «Эйнем» и ящик гильз Катыка.

Наконец-то я открою сладкий склад! Я медленно повернул ключ, распахнул высокие двери. Липкий ме-

шок с урюком стоял у моих ног. У меня не было сил перешагнуть. Я набил карманы брюк этим урюком. За урюком лежал мармелад. Я сразу вскрыл две коробки. Рядом — шоколадные конфеты. Длинные, толстые, они лежали аккуратными рядами, в тонкой оболочке. Я совал их в карманы, совал в рот. Из конфет брызгало вино. Я был хмелен, весел, сыт, я обладал подлинным счастьем. Я ел и ел. Мне хотелось найти такие конфеты, которые сегодня же вечером можно было бы поднести Клавдии. Я раскупорил несколько ящиков. Мелочь, мелочь, мне нужна конфета в кулак!

Я увидал узкий металлический ящичек с наклейкой на чужом языке. У дверей валялся топор. Я сбегал за топором и рубанул им по ящику. В щель сверкнуло что-то жидкое и розовое. Я попробовал на палец. Это было похоже на мед. Я сунул палец в рот. Остро, протяжно, вкусно... Но как это назвать и во что налить? Тут меня схватили за ухо.

Я встал. Я понял все, что произошло. Я готов был отвечать.

Давыд Лыкошин сжалился. У него злое зеленое лицо, рыжие волосы.

— Он испортил кожи!

Кузьма Кузьмич смущенно смотрел в сторону.

— Судя по конфетам...

— И ты еще, Кузьма Кузьмич, переносишь такого племянника? Я ставлю тебе в счет все слопанное.

— Слушаюсь, — покорно сказал Кузьма Кузьмич.

Было и стыдно, но было и приятно причинить гадость дяде, которого я ревновал к задумчивой Клавдии.

Я пришел на кухню. Увидев меня, Клавдия ушла в горницу. Дядина сестра вынесла мне мой узелок. Меня посадили к ямщику, возвращающемуся в Павлодар.

Тетка Фиоза по-прежнему лежала в постели, поправляя атласное одеяло пышной розовой рукой.

Дядя Василий Ефимович, улыбаясь, прочел письмо двоюродного брата Кузьмы Македонова. Василию Ефимовичу я, видимо, нравился. Я чем-то походил на те кривые здания, которые он строил. Он посмотрел на мои губы.

— Придется устроить тебя, где кушанье не запозистое. Надо что-нибудь тебе, Всеволод, все-таки перенимать у людей.

Он устроил меня в павлодарскую типографию, принадлежавшую Викентию Ивановичу Владычкину.

Мать униженно благодарила Василия Ефимовича. Она все еще служила у сестры.

Я поселился у тетки Фелицаты. Она готовилась поить чаем киргизов. С верховьев Иртыша уже двинулись плоты.

Я вышел на яр. За Иртышом темнели Три Острова. Налево затон и пристани с пароходами. Я привык к городу.

Сестра Марья почти не разговаривала со мной. Вместо акушерки появился новый квартирант, о котором Марья с уважением рассказывала, что он каждую субботу ездит в публичный дом, получает в казначействе семьдесят рублей жалованья, вдов, у него дочь шести лет, припадочная. Квартирант ходил в форменной тужурке, с такой необыкновенно аккуратной бородой, что она мне казалась почему-то бряцающей.

10

Я приходил в типографию к семи часам утра. Я поил белого жирного коня, помогал кухарке таскать дрова, давал коню и коровам корм, подметал типографию, а когда приходили рабочие, вертел колесо печатной машины. Перед обедом я опять поил скот, подметал двор и уходил к тетке Фелицате. Наскоро проглотив несколько тарелок щей, я опять возвращался вертеть машину. Привыкать к верчению было трудно. Я потел, задыхался, спина болела, вставать утром было тяжело. Недели через три я привык. Я вертел одной рукой и думал о тех книгах, которые брал в городской библиотеке, о тех странах, где мне непременно нужно побывать.

Печатник Бьюков пел песни. Иногда я подтягивал ему.

Типография имела одну скоропечатную машину, четыре реала со шрифтами, маленький тискальный станок, большой тискальный для афиш, крошечную переплетную с ножом для резки бумаги, с папширом и набором шрифтов для золочения корешка. Я с удовольствием ходил в эту типографию. Я проходил берегом мимо прогимназии. Миновав две улицы, сворачивал к двухэтажному дому, в подвале которого мы работали. Вскоре оказалось, что дорогу я выбрал счастливо.

Однажды, возвращаясь с обеда, возле прогимназии я встретил девушку под громадной черной шляпой. Она шла, размахивая желтой сумкой. Я оглянулся ей вслед. Меня удивили ее голубые глаза. И она оглянулась.

Каждый день ровно в два часа я встречал ее. Она оглядывалась. Я быстро заучил лихой поворот ее черной шляпы. Я останавливался и смотрел ей вслед. Это была дочь владельца павлодарской гостиницы господина Шмидта. Он славился длинными рыжими усами и еще тем, что ездил по городу верхом на толстом вороном коне. У нас полагалось ездить верхом только в исключительных случаях, только в степи, верхом ездят «немаканые», порядочный мещанин или казак должен ездить в таратайке.

Господин Шмидт, развевая усами, мчался верхом по городу. Вечером, когда горожане выходили гулять на яр, взад-вперед — от кинематографа к складам «Пароходство Плотниковых»,— господин Шмидт скакал по яру, и все шарахались от сверкающих копыт вороного его коня. Ах, не эти копыта раздробили мое сердце, а черная шляпа его дочери, голубые ее глаза!

Тихо гуляла по яру его дочь. Локоны падали ей на плечи, черное платье сказочно обтягивало ее стан! Как я любовался ею! Расслабленный, пораженный, я проходил мимо нее. Она оглядывалась на меня. Я оглядывался на нее. Я очень довольный уходил спать. Как бы мне и впредь этак оглядываться на девушек!

Печатник Быоков тяготил меня своей аккуратностью. Он желал, чтобы при печатании непременно выходили все буквы. Он долго подклеивал на барабане, выстукивал, ровнял краску. Таков он был и в остальной его жизни. Квадратный, с длинными темными зубами, похожими на железные гвозди, он говорил:

— Варвары вы. А я во всем сам разбираюсь. Обопрусь на свою совесть и разбираюсь.

Наборщиком работал Гришка Заботин. Он себя звал любовно скороговоркой «Гришка маленький». Крохотный, в диагопалевых синих штанах, синей куртке в обтяжку. По праздникам он надевал лаковые сапоги и и чесучовую рубашку. Кроме этой одежды, он не имел имущества. Всякое имущество он считал обременительным, путающим людские отношения. Он бранил Быокова за стремление скопить на дом.

— А если ты захочешь бросить дом? Ведь трудно!

Бьюков не понимал.

— Как же бросить? Раз я всей своей совестью решил иметь дом и украсить его.

— А если твои близкие начнут уговаривать тебя бросить дом?

— Кто меня сумеет уговаривать, если я сам внутри себя разбираюсь.

Бьюков презирал Гришку: «Легко плавится, будто олово». Гришка, действительно, если замечал, что мимо окна бежит красивая кошка, догонял ее, лез даже за ней на крышу, ухаживал, кормил ее несколько дней, а затем покупал ей бант и дарил ее кому-нибудь. Если он видел серьезного фотографа, он стремился понять фотографию. Его пленяли стекольщики; девушки с крикливыми голосами «во всю варежку». Работал он небрежно, держали его потому, что в Павлодар, в унылый городишко, наборщики не заезжали. Я не понимал, чем Павлодар уныл, мне казалось, в нем могло сбыться все, о чем мечталось.

Печатника Бьюкова постоянно сопровождал Иона Зипунов, наш переплетчик. В опрятнейшей холщовой рубахе, с черными усами, высокий, он пугал меня своими знаниями: о переплетном деле, о золочении, о брошюровке. Он часами рассказывал о замечательных переплетчиках, которые наживали «тысячи тысяч», но сам он работал плохо. Любил он рассказывать, как пришлось ему служить в солдатах, унтером, как он, конвоируя, заразил плохой болезнью «политическую». Этот рассказ особенно меня смущал. Я знал о «политических» только то, что они ходят в черных рубахах, с кожаным ремнем, волосатые (я сам носил длинные волосы до плеч), что «политические» убивают исправников, что «политических» вешают. Я жалел их. Иногда Зипунов напивался и лез ко всем «своевольничать». Он начинал с кухарки Анисьи. Он приходил на кухню и многозначительно говорил:

— Я такое знаю о переплетном деле, посмотри на меня ласковей, Анисья.

— Щука сома не съест,— отвечала так же многозначительно Анисья.

Анисье было лет девятнадцать. Ловкая, с густыми бровями и ресницами, похожими на щетки, она избегала рабочих. Все мы знали, что она желает открыть трактир, что выписывает и учит «бухгалтерию на дому», а

по ночам ведет по книгам запись заказов типографии Владычкина. Опрятная, постоянно вся в белом, она умело охраняла себя и свое единство.

— Я желаю тебя увещать,— орал переплетчик.

Анисья швыряла на пол трубу от самовара. Являлась пани Марина, жена Викентия Ивановича Владычкина. И сам Владычкин, и пани Марина были выходцами из Польши. Дебелая, волоокая пани Марина уважала Анисью, хотя постоянно уговаривала ее забыть о трактире.

— Зажгите себе другой факел, Анисья, — говорила пани Марина.

Пани Марина много заботилась о своем будущем. В ее спальне стоял громадный желтый шкаф. В нем, говорили, лежат книги об освобождении Польши. Я однажды робко попросил у нее почитать книг. Она сурово ответила:

— У вас другой факел, пан Всеволод. Я вам не дам читать этих книг, так как они снабжены факсимиле.

Никто не мог объяснить мне слово «факсимиле». Я решил, что это относится к политике. Я верил теперь переплетчику Зипунову, когда он утверждал, что «здесь нет никакой бакалеи»: если Марина Мнишек продала Польшу русским, то Марина Владычкина поможет Польшу освободить! Пани Марина постоянно торчала в типографии. Ей все казалось, что работаем мы медленно, она торопила нас. Когда Иона Зипунов напивался и глаза у него становились глупые и влажные, как сыр, пани Марина понимала его.

— Ай-ай, какой вы, Иона, последовательный.

— Если долбить, так долбить до конца,—отвечал ей переплетчик.

Она отсчитывала семьдесят пять копеек и посылала меня за извозчиком. Печатник Бьюков брал под руку Зипунова и выводил его за ворота. Пани Марина торговалась с извозчиком: туда и обратно за четвертак, а полтинник извозчик должен был передать Ковалихе. Ковалиха содержала в Павлодаре публичный дом.

Переплетчик стучал кулаком по облучку.

— Вези, кыргыз, важнее.

Пани Марина наказывала извозчику:

— Поскорее его обратно. У нас срочные заказы.

И, возвращаясь в типографию, она тихо восклицала:

— О, смерды!

Ее хозяйственность мы уважали. Уважали ее также и за то, что она читает латинские книги. Меня удивляла способность ее: одновременно читать польскую книгу и править нашу корректуру. Для этого, думал я, нужно обладать великими страстями и великим умом. Хозяина Викентия Владычкина мы презирали. Владычкин постоянно говорил о своем здоровье и о чахотке. Прежде он был акцизным чиновником, скопил денег, ушел в отставку, и жена уговорила его открыть типографию. Он часто приходил на кухню, говорил:

— Анисья, опять бухгалтерией занялись, щи перегорят.

— Кого-кого, а себя я понимаю,— отвечала Анисья.

Он вставал по будильнику. Он любил вкусно покушать, после обеда вздремнуть ровно пятнадцать минут, а затем уходил бродить по городу. У него часто собирались гости. Он утомлял своей мнительностью, сводя все разговоры на случаи отравления или заразы. По его мнению, прогресс задерживается из-за людской небрежности. Если он появлялся в типографии, то непременно говорил мне:

— Когда же ты, Иванов, волосы остригешь и вымоешь шею? Зачем же свою жизнь укорачивать?

В середине лета в доме Владычкиных появился маляр Глеб Журавко. Он красил кабинет хозяина в белый цвет, потому что Владычкин вычитал из отрывного календаря, что белый цвет самый здоровый для глаз, а на глаза Владычкин постоянно жаловался. После кабинета маляру поручили окрасить в желтое коридор, сени и крыльцо. У маляра жирное, какое-то мылистое лицо и потрескавшиеся, облупленные руки. Журавко уважал лаковые краски. Двигая кистью по стене, он говорил:

— Редко понимают, какое изменение способны наделать лаковые краски. Я сам родом почти из Германии...

— Фамилия-то у вас русская,— сказал я ему.

— Я рожден в Германии. Меня мамаша на курорте родила, в Карлсбаде. У меня папаша был крупный вор и жену всегда держал при курортах. Мне бы офицером вырасти, а он возьми да от тифа и помри, возле Павлодара. Мамаша превратилась в портниху, а из меня — маляр.

Мне хотелось узнать, что он думает про Анисью. Мне казалось, что он нравится Анисье. Хотя я все еще

продолжал оглядываться на девушку под черной шляпой, но и Анисья волновала меня.

— Вы, Глеб, красите великолепно.

— Маляр я не из слоняющихся, но маляр я для лаковых красок. Германия стала опрятной только после того, как употребила лаковые краски. Бездельники не понимают лаковых красок.

— Чему же способствует опрятность? — с грустью спросил я, вспоминая Нюр-Таш.

— Опрятность в современной работе, милый мой, очень многому способствует: например, уважению к своему делу. Я склонен к философии, к единой любви, а мне позволяют черт знает какими красками красить. Думал я: один умный человек в нашем городе — Владычкин. Но и тот клеевой краской покрасил свой кабинет.

Глеб Журавко старался разговориться с Анисьей Опракса. Кухарка отвечала ему осторожно. Мне казалось, между ними уже шел какой-то сговор. Теперь я обедал на кухне у Владычкина. Кухарка советовалась со мной:

— Почему он убивается о прошлом и папаше-воре? Нет хуже, если человек женится и начнет убиваться о прошлом.

— Он тебе предлагал жениться?

— Жениться каждый предлагает.

От обиды на маляра я внезапно осмелел:

— Вот я, Анисья, жениться тебе не предлагаю.

Она замолчала.

Подала еду медленно.

Видимо, по ее расчетам, подошло время, когда ей пора узнать любовь, чтобы в старости вспоминать: вот и я когда-то забавлялась. Но она не желала терять самостоятельность. Журавко казался ей чересчур степенным. Перед моим уходом она взяла меня за пояс:

— Вечером ты чего делаешь?

— Коня запрягу и пойду домой.

В девять часов вечера, съездив на Иртыш за водой, я обычно перепрягал коня в тележку. Владычкин ехал с женой кататься за город или же в кинематограф «Заря», хотя и до кинематографа всего четыре квартала.

— А ты не уходи. Посидим.

Я и остался.

Анисья подробно разъяснила мне, как она начнет дело. Бабе хотя и трудно начинать, но всякие случаются

бабы. Надо, главное, избавить себя от забот по женской части.

Она хоть и решительна, все же планы кажутся ей трудными и великими. Ей необходимо поощрение близкого человека. Родственников у нее нет, замуж выйти она страшится, и она знает только один способ — чтобы к ней привыкли. А кроме того, все так делают.

Она спросила:

— Скоро, поди, хозяева приедут?

Я встал. Она положила мне руку на пояс.

— Ты не больной?

Я рассмеялся.

— Снаружи, надеюсь, видно.

— Избезумеешься с тобой,— сказала она ласково.— С девками, спрашиваю, у Ковалихи бывал?

Я покраснел.

— Ну вот, теперь видна правда. Полезай на полати, а то хозяйка, когда придет, непременно в кухню зайдет.

Я трепетал. Мне предстояло сделаться настоящим мужчиной. Страх увеличивался тем, что едва я влез на полати, как приехали хозяева. Владычкин долго распрягал коня. Пани Марина передала записать Анисье какие-то накладные. Анисья спокойно отнесла им ужин, долго читала молитву и причесывала длинные волосы. Я укатился к самой стене, возле которой шли толстые железные трубы из плиты.

Анисья легла навзничь:

— Ну, иди, дурачок.

Все мои движения казались мне удивительно ловкими, но когда я кинулся к Анисье, одна из моих ног сорвалась и с громадной силой ударилась в железную трубу. Я до сего времени не понимаю, зачем протянули вдоль полатей железную трубу. Раздался дикий грохот.

Владычкин с воплями промчался коридором. Он выскочил на крыльцо и вопил:

— Слезай! Я здоровья своего не пожалею, а застрелю!

Ему показалось, что кто-то лазит по крыше. Анисья уже стояла у открытого окна и спокойно говорила Владычкину:

— А вы на двор выйдите. Вор-то, наверно, за трубой сидит.

— А если он меня кирпичом оттуда? — тихо ответил ей Владычкин.

Он выстрелил. Я забился под одеяло. Охая, Владычкин вернулся в спальню. Анисья закрыла окно.

— Слазь, мочало, — услышал я злой ее шепот.

Она протягивала мне плоские мои брюки.

— Штиблеты в зубы возьми, а то опять загрохочешь.

Она тихо распахнула окно. Лицо у нее было строгое и утомленное. Я выскочил и упал на кирпичи. В кухне перекладывали русскую печь, и печники не успели убрать материал. Я сильно зашиб колени. Забор высокий, из толстых плах. Калитка крепко замкнута. Студенея сердцем, я долго лез на забор. В лицо мне глядела точеная луна. Обиды трепали меня.

Улица была пустынна, забита песком. Сторож, постоянно дремавший со своей колотушкой возле типографии, видимо, испугавшись выстрела, убежал. Верхом на заборе! Грустно я натягивал свои ботинки. Грустно рассматривал улицу.

Спрыгнув, я долго растирал колени. Когда я поднял голову, предо мной стоял маляр Глеб Журавко.

— Ты от хозяйки или от Анисьи?

Голова у маляра была прилизанная, а тальково-бледные щеки корчились. Он был мертвецки пьян.

— Мое дело! Может быть, у меня их двоечка.

Маляр ухватился за мой ворот:

— Гони три рубля! А то всю морду развалю и размалюю.

Откуда он догадался, что в кармане у меня ровно три рубля? Я желал страдать и сражаться, но нелепо — биться из-за трех рублей. Глеб Журавко сунул деньги в карман, расправил штаны и сказал презрительно и вяло:

— Помоги!

Подсаживать это грузное тело было гораздо обиднее потери трех рублей, но мне хотелось покончить с позором. Я подсадил.

Журавко качался и бранился на заборе. Он требовал, чтобы Анисья помогла ему слезть. У поворота улицы я услыхал вдруг его испуганный крик. Обернулся. Мелькнули вздетые его руки, и Журавко рухнул вниз головой в типографский двор. Тотчас же раздался вопль Владычкина и за ним — выстрел.

Попробуй быть недовольным! Первое мое знакомство с долго ожидаемой любовью ознаменовалось убийством.

Я не спал ночь. Я подбирал слова, которые скажу на суде. Кто виновен в его убийстве? Я ли, который опрокинул железную трубу? Хозяева ли, возводящие трубы в сомнительных местах? Суд придет освидетельствовать место смерти маляра Глеба Журавко; зрители будут рассматривать меня и думать: что в нем нашла красавица Анисья?

Утром выяснилось, что Журавко от выстрела упал в обморок. Очнулся он в участке. Владычкин хихикал: револьвер был заряжен холостыми патронами.

Анисья Опракса ходила по кухне такая же опрятная. Недели две спустя маляр пришел. Он зарекся пить, говорил о своей отчаянной любви и, сидя возле кухонного окошка, до приторности тщательно рассматривал бухгалтерские книжки, по которым училась Анисья. Я понимал его принужденность и не осуждал его.

Гришка Заботин заметил мое расстройство. Я уныло вертел колесо. Он правил корректуру, ловко и весело выдергивая шилом литеры из набора.

— Тоскуешь?

— Приходится,— ответил я, вяло держась за рукоятку, деревянную и лоснящуюся.

— Влюблен?

Я не желал сплетен и сказал уклончиво:

— Просто так.

— Грамотный?

— Как же!

Он бросил шило на пол.

— Тю!.. Зачем тебе вертеть колесо! Ты афект должен иметь. Тебе надо, парень, помочь. Хочешь, я из тебя наборщика сделаю?

— Кто не захочет?

— В три месяца!

— Хоть бы в год.

— Говорят, в три месяца. Цепляйся!

Он яростно принялся за мое обучение. Учиться я торопился. Гришке я мог быстро надоесть, так же как ему надоели все веселые девушки в городе, все кошки, воспитанные им, битье стекол у Ковалихи, числящиеся за ним несколько протоколов. Он был родом из Семипалатинска. Каждую весну он уезжал куда-нибудь подальше от родных мест, к осени терял свой паспорт и возвращался всего чаще по этапу. В Семипалатинске его отмывали и залечивали от тюремных побоев, друзья

устраивали его в епархиальную типографию, и он работал, пока не начинал вновь тосковать.

Вначале он учил меня разбирать, затем преподал мне правила сплошного набора, афишного набора и под конец — акцидентного. Если хозяин хворал, а пани Марина уходила собирать по городу заказы, то Гришка вертел колесо, а я работал вместо него. Самоуверенность ли его, мои ли старания, но я действительно научился в три месяца.

Однажды он поставил меня у кассы и велел набирать сплошным: в час восемьдесят строк на четыре квадрата, корпусом. Я торопился. Я понимал, что это экзамен. Потный, с перетрескавшимися от волнения губами, я метался возле кассы. Я пригибался и отгибался. Литеры послушно ложились в мою верстатку.

— Выходит,— похвалил меня Гришка.

Он передал рукоятку машины повертеть переплетчику, а сам убежал за водкой.

— Единозвучным будь по заработку, Всеволод, вот тебе мое завещание,— кричал Гришка, размахивая наполовину опорожненной бутылкой.

— Как вы понимаете единозвучие, пан Григорий? На пороге, за его спиной, стояла хозяйка.

Гришка пошатнулся. Его выпуклые глазенки смотрели на меня ласково.

— Всеволод, труби сбор!

Он вдруг показал хозяйке язык и плюнул к самым ее ногам.

— Расчет! Совесть моя чиста, я вам рабочего сделал.

В тот же день мы его проводили на пароход.

Я остался наборщиком. Вертельщиком наняли киргиза. Работать мне приходилось до поздней ночи: то ли заказов были много, то ли я не успевал. Приближалась осень. И я подумал: вот, выпадет снег, нет сюда в Павлодар ни пароходного пути, ни железнодорожного, откуда появиться наборщику? Я желал подражать благородному Гришке Заботину. Я желал, чтобы совесть не изнуряла меня. Я потребовал у хозяев жалованья.

— Пока есть дорога, вы имеете возможность выписать вместо меня другого наборщика.

Пани Марина кинулась к Викентию Ивановичу.

— Сбрендил! Вот он твой Иванов. Сколько за ним ухаживали! А он жалованья требует.

— Никогда с ними не выздоровеешь,— уныло сказал Владычкин,— пьяница на пьянице, нахал при нахале.

Хозяйка вернулась ко мне и сказала с пренебрежением:

— Четырнадцать.

— Восемнадцать,— ответил я.

— Семнадцать, иначе хоть закрою типографию.

Я возгордился. Из-за меня закрывают целое предприятие, целый город будет без прессы. Зима будет без афиш.

— Окончательно восемнадцать,— сказал я.

Пани Марина выругалась очень нехорошо.

— Отбывать вам часть вашей жизни в тюрьме или даже на каторге, пан Всеволод. Да, я вам даю восемнадцать. Но вы должны жить при типографии, платить мне шесть рублей за квартиру и за хлеб, дабы постоянно быть под руками.

— Согласен, пани Марина.

Я мечтал примириться с Анисьей. Но и восемнадцать рублей жалованья не всколыхнули ее погашенного сердца. Маляр Журавко вскоре женился на ней. Она отменила бухгалтерию и готовилась снять малярное заведение. Маляр опять пил. Она ушла от Владычкиных. Позже я встретил ее. Она несла большой и отлогий живот, лицо ее было покрыто синяками и нос свернут на сторону.

— Какую же там бухгалтерию? — ответила она и заплакала.

Самые выгодные заказы поступали из магазина миллионера Дерова. Их приносил непременно вечером приказчик, обладающий чудной фамилией — Жде. Пощипывая коротенькие усики, широконосый, широкобедрый, он повторял:

— Ну-да-ну... Прошу напечатать к завтрашнему дню. Ну-да-ну...

«Зачем такая торопливость?» — думалось мне. Но я быстро понял. Приказчик Осип Жде жил на хлебах у печатника Бьюкова. Жена Бьюкова Варвара молода, здорова, «перепеченная», приказчик Осип Жде холост. Бьюков, полагаю, понимал деровскую спешность, но жадность владела им. Осип Жде пользовался уважением Дерова.

Ни сдельных, ни сверхурочных мы не получали, и все-таки Бьюков работал часов до трех ночи и меня за-

ставлял. Иногда он останавливал машину, и по лицу было видно, как бьется его сердце. Он думал вслух:

— Вредно сокращать мысли, надо во всем разобраться, без прикрасу, чтобы со стороны совести не увидеть противовесу.

Подражая Гришке Заботину, который никогда не отводил смысла беседы в сторону, я спрашивал:

— Дом хочешь отломить?

— Ну и отломлю, если найду в совести опорную лампу!

— Привередничаешь,— говорил я ему с достоинством.— А ты попроще.

— Вот и попроще выходит: утомление мне без собственного дома.

Я видел его входящим в церковь. Мне любопытно было посмотреть, как он молится. Я пошел за ним. Он стоял неподалеку от алтаря, смотрел в окно и, видимо, гадал, удастся ли ему при помощи Осипа Жде купить или выстроить дом. Или приказчик обманет? Он любил жену, но еще больше любил свой будущий дом, и в церковь, должно быть, зашел потому, что все люди перед постройкой своего дома советуются, а здесь, в таком щекотливом деле, с кем посоветуешься? Еще осмеют. Я порадовался, что бог опять впутался в гадость, явно поощряет ее всем этим нетускнеющим благолепием храма. Но печатник Бьюков был противен мне не меньше бога. Я поспешно ушел из церкви.

Добившись жалованья, я решил: пора знакомиться с девушкой в черной шляпе. В обед она все еще встречала меня. Вечером она все еще оглядывалась. Я узнал ее имя. Ее звали Ирма Шмидт.

Это редкое, далекое имя воодушевило меня.

Я написал ей громадное письмо.

Я с первых же строк открыл ей великую тайну. Я ни больше ни меньше как индийский принц, брошенный к берегам Иртыша коварными претендентами на престол моего отца. Мой отец Саид-Ахмет-хан принадлежит к древнему роду, который ведет начало от потомков Магомета. Его предки, пришедшие в Индию из Центральной Азии, занимали высшие должности при дворе Могольских императоров. Он умер в Аллаха-Баде. Я описал корабль, на котором меня везли по океану. Корабль качало, дул скользкий ветер. Острова обозначались удивительными запахами. Вокруг меня стража, готовая

при первой попытке к бегству содрать с меня шкуру. Но и эта дикая стража пожалела меня! Ей приказано сбросить меня в Охотское море, а она выкинула меня в Павлодар. Что я предлагал девушке? Точно не помню, но кажется, я звал ее быть моим другом, помочь мне убежать в Индию. Я обещал ей золото, любых коней, яхту, Европу.

Твердо знаю, что исписал не менее двадцати страниц. Я писал красными и синими чернилами. Я называл города: Пенджаб, Бегар, Оутт, Гузератт. Я называл восточные части Индии, я перечислял ей южные края центральных провинций, Берара, Бомбейского декана. Наконец мне надоело вспоминать города, реки и озера, и я начал выдумывать их. По моему письму ходили слоны, мяукали тигры, гиппопотамы хрюкали на каждой странице. Ничего малюсенького! Я купил громадный розовый конверт. Я накапал сургуча и прикрыл его пятаком, но так ловко сдвинул пятак при нажиме, что каждый должен был принять российский герб за мой собственный.

В обед я дал нашему киргизу-вертельщику Ахтыру четвертак и попросил его пойти со мной. Когда девушка вышла из-за угла, Ахтыр передал ей мое письмо.

Больше она не выходила ко мне навстречу. А когда встречала меня на яру, то отворачивалась.

Получив первое жалованье, я приобрел рубашку «фантази», пышный голубой галстук, черный плащ-накидку с капюшоном, застегивающийся на львиные морды, суконные брюки навыпуск, зеленое толстое кепи. Я завел дутую железную трость с никелированной рукояткой. Я поднял капюшон и отправился гулять на яр. Была сильная жара. Дули стремительные ветры. Все удивленно смотрели на меня. Жалко, что не хватило на бинокль! Я стоял бы на яру и смотрел на подходившие пароходы.

Галстук мой развевался. По утоптанной дороге густо шла мимо меня толпа мещан. Вот прошла Ирма Шмидт. Она не смотрела на меня. Мне показалось, что она улыбается.

Из-за деревянного здания прогимназии белый конь грузно вывез моих хозяев Владычкиных. Они ехали в кино. Черный плащ обвивал меня. Далеко внизу плыли по реке тяжелые выцветшие плоты. И я так же медленно и упорно плыл потоком жизни.

Я стою гордо на высоком яру. Я уже наборщик. Я пишу удивительные письма и рассылаю их со своими слугами. Я могу уехать, куда хочу, работать, где хочу, у кого хочу.

Ветер бил по моим тесным ботинкам легким песком. Из сарая, возле кино, выскакивал голубой дымок: там действовал электрический двигатель, снабжавший током «электротеатр». Приятно смотреть на прогресс и цивилизацию создателю этого прогресса!

Хозяйская тележка медленно приближалась. Она пройдет в двух шагах возле меня. Я вежливо сниму толстую суконную кепку и скажу:

— Добрый вечер, Викентий Иванович! Добрый вечер, пани Марина!

— Добрый вечер, Всеволод Вячеславович,— ответят мне они.

— Гуляете, Викентий Иванович?

— В кино едем, Всеволод Вячеславович.

— Хорошее дело, Викентий Иванович. А я вот смотрю на Иртыш и все не могу насмотреться.

Превосходный разговор, отличный разговор! Как доволен Владычкин, как он рад, что не уволил меня, какой исполнительный и грамотный наборщик, как он цивилизует типографию. Ведь вы подумайте, он любуется на природу! А по правде сказать, черта ли лысого на нее любоваться? Желтый высокий яр, желтый ветер, течет громадная желтая река и несет тусклые плоты. В кино куда любопытнее: хроника, комическая, научная и видовая, страшная драма. Весь мир мелькает перед вами. На пианино играет дочь священника, почтенная дама в синих очках. Сеанс окончится, пригласишь гостей сыграть в карты, выпить вина, поговорить об эпидемиях и неопрятности киргиз.

Когда тележке осталось до меня шагов пятнадцать и она, перед тем как выкатиться ко мне, нырнула в овраг, непонятный огромный стыд охватил меня. И я опрокинулся под яр.

Я перекувырнулся и упал на песок.

Яр высотою метров в пятнадцать, но песок спружинил. Я подпрыгнул и шлепнулся лицом в Иртыш. Вода холодная, тугая.

— Осень скоро,— сказал я, лежа на животе.

Плащ прикрывал меня. Я лежал, пока не стемнело.

Утром пани Марина, передавая мне для набора заказ, спросила лукаво:

— Какой это англичанин прыгнул вчера с яру?

— Пани Марина, я работаю здесь не для издевательства, а для просвещения,— ответил я. Эту фразу я обдумывал целую ночь.

Но трудно перекудрявить словами пани Марину. Она вздохнула:

— Ах, просвещение столь опасно, пан Всеволод!

Я понял ее. Дело в том, что в город Павлодар, впервые за все его существование, приехал цирк А. Коромыслова. На площади, возле дома купца Дерова, сколачивали огромное здание из досок, и руководил постройкой мой дядя Василий Ефимович Петров. Пани Марина уже успела полюбить борца-легковеса Роальда Максимовича Азгерца.

11

Осень была томительная, вязкая, непрерывные ливни затопили город. Цирк занял в гостинице все номера. Я видел, как долго с парохода выгружали имущество. Стриженые, как люди, пудели, обезьяны с оранжевым задом, высокие черные ящики, кольца, сети, вагончики. Но оказалось, что осенью цирк открыть невозможно. Василий Ефимович выстроил цирк криво, и его еще более скосило от упорных дождей. Спешно пришлось перестраивать.

Циркачи ходили в длинных плоских шляпах. Город неустанно говорил о борцах и акробатах. Мне казалось, что мещане и на себя смотрят лучше, что сам город как бы вырос на их глазах; как бы его продули особыми целебными ветрами.

Любительские спектакли, для которых почему-то всегда выбирали украинские пьесы, не делали сборов. Обыватель берег деньги на цирк.

Дядя Василий Петров, любуясь топорами плотников, хвастался:

— Уверяю, цирк оставят навечно. Я под него кирпичный фундамент подвожу.

Мать рассказывала, что укротитель и владелец цирка Коромыслов пьет много чая и любит сахарные печенья. Коромыслов рычал и торопил, дядя вертелся возле него, клятвенно обещая прямую постройку.

Однажды у ворот типографии меня остановил паренек в лаковых сапогах, в пальто с бархатным воротником. Тоненький, весь покрытый застенчивыми веснушками, он скромно улыбался.

— Я хотел бы поступить в типографию,— сказал он.

— Как тебя зовут? — солидно спросил я.

— Пашка.

— Не подойдешь, Пашка,— важно сказал я.— Нам надобны вертельщики, народ сильный.

— А ученики?

— Не принимаем.

Но тут великодушная мысль осенила меня. Почему мне не поступить так же, как и Гришка Заботин? Он облагодетельствовал меня, зная хоть что-то обо мне, зная, что я люблю просвещение, книги. А если облагодетельствовать человека, не зная его? Это возвышенней и трудней. Пашка не понравился мне, его скромность казалась напускной, а затем откуда его щеголеватость: лаковые сапоги, зеленые диагоналевые брюки в обтяжку, фуражка с широкими полями, розовая шелковая рубашка? Почему он решил поступить в ученики?

— Как твоя фамилия?

— Вот возьми, тогда и узнаешь.

— Иди к хозяевам.

Пани Марина посмотрела со странной улыбкой на его опрятную хулиганскую щеголеватость. Хозяин выходил кашлять на крыльцо. Он стоял, прислонившись к двери, и вежливо кашлял, грустно глядя на пригоны. В столовой, против буфета, сидел Роальд Азгерц. Я до сего времени не знаю подлинной его фамилии. Тогда я его считал иностранцем. Меня удивлял только его отличный русский язык, его великолепная способность ругаться. Это был громадный розовый атлет, с матовым затылком, весь в сером. Передавали, что он вел чрезвычайно аккуратную жизнь. Он съедал в день ровно три фунта мяса, выпивал ровно шесть стаканов воды, спал семь часов, а если пил водку, то никак не меньше и не больше, а ровно четверть ведра.

Пани Марина, не обращая внимания на нас, пристально рассматривала Роальда. Вдруг она, точно выплескивая что-то, сказала:

— Легче жить, если освободишь себя от избытка страстей.

— Вот именно,— забасил атлет,— во всем надо знать пределы и уметь избавиться от избытков.

— А избытки в любви, например, вам известны, пан Роальд?

Голос у пани Марины был особый, он не нравился мне. И пани Марина не нравилась мне. Голос у нее был какой-то раздетый. Пашка как будто понимал больше меня. Он смотрел смелее, даже несколько нагло.

— Известны избытки, пани Марина.

— А врачевание?

Пани Марина обернулась к нам. Я впервые увидал ее безмерно обнаженные плечи. Сердце у меня захолонуло. Я отвернулся.

— Что вам нужно, мальчик?

— Я пришел. Говорят, вы требуете ученика.

Пани Марина рассмеялась каким-то своим мыслям.

— Вот мы и не думали требовать в типографию ученика.

Пашка улыбнулся еще наглее:

— Значит, наврали.

Пани Марина как будто вдруг охладела. Румянец покинул ее щеки, движения ее стали медленными. Она держала в руках глубокую тарелку и пристально смотрела в медь стоящего на буфете самовара. Наверное, это было ее последнее размышление. Если ее тогдашнее размышление перевести на мое теперешнее понимание, то она подумала приблизительно так: возможен ли более интеллектуальный путь для освобождения Польши, чем тот, который хочется ей избрать?

Она улыбнулась опять той улыбкой, которую мы видели, когда вошли в столовую. Движения ее опять стали стремительны. Меня злило, что я не понимал связи между Пашкиной наглостью и размышлениями пани Марины. А эта связь была. Доказывало мои предположения и последующее обращение пани Марины к Пашке:

— Куда же ты хотел поступить? К переплетчику?

— Нет, в наборное.

— Вы беретесь его научить, пан Всеволод?

— Пан Всеволод берется,— сказал Пашка.

Я угрюмо ответил:

— Надо подумать.

— Чего же тут думать, если взялся? — нагло сказал Пашка. Пани Марина легонько потрепала меня по плечу.

— Я его принимаю. Идите в типографию, мальчики.

Пашка оказался понятливым. Учился он быстро. Я вскоре привязался к нему. Я узнал его фамилию: Герасимов. Но фамилия ничего не объясняла мне. Мы ходили с ним гулять вдоль яра, я рассказывал ему содержание книг. Читать он не любил, но ему нравилось слушать содержание прочитанного мною. О себе он молчал. Словно у него не было ни детства, ни родителей, ни товарищей. Удивляло меня, что рабочие обращались с ним с какой-то презрительной почтительностью, а веселый почтальон в зеленой куртке Донесенко, щеголь и весельчак, постоянно торчавший в нашей типографии, весьма странно подмигивал Пашке.

Холода ударили рано. Пожарная команда устроила возле кинематографа каток с платою пять копеек за вход. Для нашего города платный каток тоже был нововведением, как и цирк. Раньше мы катались или на Иртыше, или с обледенелого яра возле «торговых бань». По воскресеньям на катке играл оркестр пожарных. Пожарные сидели в страшных медных касках, завязанные пуховыми шалями: со степи всегда дул свирепый ветер.

Если на катке появлялась сестра моя Марья со своими подругами, коричневыми прогимназистками, я смелел и приглашал девушек прокатиться. Сестра важничала, на каток ее провожал чиновник с бряцающей бородой. Марья хвасталась, что нахлебника повысили «втрое в окладе».

— К семидесяти годам,— язвил я,— его впятеро повысят.

— Ух, вы, молодежь,—пренебрежительно отвечала мне Марья.

Каток в день открытия цирка пустовал. Мы катались вдвоем с Пашкой. После обеда пришло несколько барышень, Марья, три чиновника. Барышни важно проплыли мимо меня. Я поклонился им. Они не ответили.

Огорченно я подкатился к Пашке.

— Играют они со мной?

— А ты спроси,— сказал он, косо и нехорошо улыбаясь.

Улыбка его встревожила меня. Я направился к Марье. Она тихо и боязливо ответила мне:

— Ты просто подлец, Всеволод. Тебе еще нету и семнадцати лет, а ты уже ходишь в публичные дома.

Мне льстила эта боязнь, этот тихий голос сестры, и я важно сказал:

— Возраст вполне подходящий. Но откуда тебе известны мои похождения?

— Ты имеешь право на твои похождения,— сказала она с почтением.— Все же кататься возле сына бандырши Ковалихи просто безобразие.

— С кем хочу, с тем и катаюсь. Захочу, девок приведу.

— Весь в папашу, — удрученно сказала Марья. — Я с тобой больше не знакома. Я и дома и везде с таким развратником не разговариваю. Если на то пошло, лучше бы тебе переехать в публичный дом.

— Вместе с твоим чиновником?

Марья топнула ножкой в лед и откатилась.

Теперь мне все ясно. Ясны пряные улыбки пани Марины, смешки печатника, подмигивание зеленого почтальона.

— Пашка, зачем ты сказал мне фальшивую фамилию?

Пашка нагло смотрел на меня, облокотившись на забор. В лицо ему бил свет кино. Между ног стлался по льду снег. Девушки поспешно покидали каток. Встревоженно переговариваясь, они шли, одергивая платья, поправляя косы. Впереди них Марья.

— Девчонок напугался? Ничего. Из них в наше заведение еще многие попадут,— сказал Пашка.— Можешь и ты мне не кланяться, не учить меня.

Не кланяться? А вот возьму и научу, возьму и буду кланяться. В конце концов, это настоящий подвиг и нечто похожее на книгу. Весь город удивится. Так думал я.

Я пожал Пашке руку. Он прослезился. Мне было лестно видеть его слезы.

Я тоже уронил слезу.

— Я хочу научиться печатать, чтобы сочинить историю нашей злосчастной семьи, — сказал Пашка.— Вот отчего я и решил поступить в типографию.

В этот день Роальда Азгерц пригласили обедать к Владычкиным.

— Употребляете вы водку? — спросил его Владычкин.

— Да.

Я принес четверть водки. Пани Марина велела внести водку в столовую.

Глаза ее были наполнены удивительным блеском, плечи опять обнажены.

— Зачем вам освобождать Польшу? — мычал борец. — Освободите меня!..

Возле буфета Владычкин осторожно капал в маленькую ложечку лекарство. Он следил напряженно: не перекапать бы лишнего. Роальд Азгерц тем временем целовал пани Марину в шею. Пани Марина взяла у меня сдачу — и ни она, ни борец не поглядели на меня.

Кухарка отнесла нарочно сваренную для борща курицу весом ровно в три фунта. Не знаю, почему так водка подействовала на борца, но вдруг в типографию прибежал бледный Владычкин и крикнул:

— Господи, какая зараза! Метлу!

Я влетел в гостиную с метлой.

Роальд Азгерц, должно быть, попробовал удержаться за книжный шкаф — и опрокинул его. Все книги, освобождающие Польшу, выпали. Азгерц блевал на этот атлас, на эту свиную кожу, на эти красивые заглавия, напечатанные аккуратно латинским шрифтом. Лицо пани Марины говорило о негодовании, о брезгливости, о любви. Плечи ее потускнели.

Что я мог придумать? Я подставил под рот борца свою метлу. Водка и курица текли безостановочно.

— Господи, какая зараза! Разве вы не можете остановиться, господин Роальд? — беспомощно говорил Владычкин.

Господин Роальд тупо посмотрел на него и пошевелил локтями, как бы показывая: где уж там, мол, останавливаться! Владычкин вышел на крыльцо.

— Такой закат, а он блюет, — сказал Владычкин.

Он понимал полное свое ничтожество. Он знал, что не так освобождают Польшу, но даже изругать и выгнать борца у него не было сил. Ему было совестно перед собой, совестно передо мной, но он любил свою жену и, главное, боялся ее. Я понимал его трепет. Ему плевать на закат, ему пора вернуться в столовую, а если вернешься не вовремя? И он поплелся за мной в типографию.

Цирк клонился набок, но отклонение искупала новизна цирка. Отклонение давало цирку даже некоторую стремительность. Яростно горели дуговые фонари. Оркестр рассаживался в громадной ложе. Капельдинеры, щеголяя бронзово-бурыми мундирами, расстилали

васильковые ковры. И вот выскочили клоуны. Весь цирк захохотал. Киргизы кричали: «Уй, бой! — Здорово!» В бархатном, березкового цвета костюме выбежала канатоходец Антуанетта Сирбо. У нее было блеклое лицо. Проволока гнулась, как струна, и пела, как струна в моем сердце. Канатоходец распустила глянцевый дивно алый зонт. У нее были круглые «вредные» брови. Я любил ее. Я любил весь цирк, и когда вышел, щелкая бичом, укротитель и дрессировщик Коромыслов, толстый, жирный, всеми ненавидимый, я его тоже любил.

Коромыслов был во фраке густого дегтярного цвета. Эта блестящая манишка, этот черный галстук, этот фрак сжигали мое сердце.

Последнее отделение. Капельдинеры очистили арену. Вышел низенький, широкогрудый арбитр и свистящим тенором закричал:

— Музыка, марш! Парад, алле!

Шли борцы, увешанные, как генералы, орденами и медалями. «Эх, кабы да мне, — шептал я, — как бы да мне хоть одного орденочка добиться!» Я испарялся в любви и в восторге. Над ареной высоко сияла проволока — и дивная Антуанетта Сирбо все еще, казалось мне, размахивала там глянцевым зонтиком.

Я посмотрел на пани Марину.

Среди арены стоял Роальд Азгерц, розовый, в черном шелковом трико, с бурной мускулатурой. В его голубых глазах еще отражалась четверть выпитой водки, он икал. Но какая любовь светилась в ее глазах! Муж, сидящий рядом, как бы крошился. Как поднималась ее грудь, как она его любила и как, наверное, кипяще целовала она его. А я все равно любил и борца, и пани Марину, и даже Владычкина. «Все пройдет, все минует, но цирк останется», — думал я.

Арбитр провозгласил:

— Чемпион Северной Норвегии и всех островов Скандинавии господин Роальд Азгерц.

Борец вышел вперед и поклонился. Как ему пышно хлопали! Он поклонился особо низко ложе, где сидела пани Марина. Пани Марина закивала головой и захлопала так, что и она и все поняли: зря этак не хлопают. Она все простила ему. Простила испорченные книги, забытую Польшу, свою испорченную жизнь. «Вот это любовь, вот это чувство!» — ошпаренно думал я.

Арбитр прислушивался к хлопкам. Он смотрел внимательно вдоль рядов. Я еще не знал, что арбитр старался догадаться по аплодисментам: кому из борцов предстоит быть любимцем этого города. Хлопали больше всех Роальду Азгерцу. И тогда арбитр начал самозабвенно прибавлять к его заслугам все больше и больше побед.

А пани Марина считала, что самая лучшая победа прекрасного Роальда — это победа над ней.

Я вышел из цирка. Чувства мои были разъединены, как разводят мосты для пропуска судов. Я отрекся от того, что хотел сделать, но что я хотел сделать вновь, я и сам еще не знал.

Дула метель. Я шел, покачиваясь. Цирк все еще тайно сиял вокруг меня. Я шел, подняв лицо к небу. У, как высоко мы вознесемся! Высоко, чуть ли не у Млечного Пути, я протяну свою проволоку и понесусь по ней, одетый в огненное трико. И весь мир будет смотреть на меня, и чудесная Антуанетта Сирбо обнимет меня за шею и скажет... Я и сам не знал, что она мне должна сказать, но что-нибудь непременно сгорающее на губах.

Тетка Фелицата приняла на хлеба рыжего капельдинера Сережку Трошкина. Ему было девятнадцать лет, он гордился своей бронзово-бурой ливреей, чистил ее два раза в день, широко расставляя длинные, тонкие ноги. Он часто повторял, что все в жизни преобразовывается, развивается, что судьба тащит нас правильно. Если имеются борцы, — значит, борцы нужны для развития цирка. Он желает промышлять борьбой.

Мне хотелось учиться канатоходству. Но у кого? За ученье, рассудительно сообщал Трошкин, циркачи берут крупные деньги. Лучше всего посещать цирк и подсматривать. Сережка подметил уже много приемов:

— Давай практиковаться?

Я утащил у тетки Фелицаты большую кошму и расстелил ее на чердаке амбара. Мы боролись все свободное время. Перед борьбой мы пожимали крепко друг другу руки и выше колен закручивали кальсоны, чтобы они походили на трико. Трошкин свистел и дискантом приказывал: «Музыка, марш!»

По-разному мы снимали нашу жатву с арены цирка. Сережка великолепно воспринимал и воспроизводил все эти «тур де бра» и «двойной нельсон». Я же мог

перенять жесты, оттенки голоса, какое-то еле уловимое выражение лица, походку борцов. Я мог подражать только звукам, а ловкость и, главное, сила движения ускользали от меня. Я ощущал сильное чувство разлада. Сережка испытывал удовлетворение: все, что он проделывает сегодня,— нечто более удачное, чем вчерашнее. Эта ловкость ему нравилась, она вызывала в нем приятное расположение. Вытирая полотенцем тело, он добродушно смотрел на мое расстроенное лицо и говорил:

— Подожди, отвалится и от тебя мешковатость. Ты и сам не заметишь, как тебя подопрет цирковая панорама. Наблюдай за ней, Всеволод, крепче.

Я веселею, передразниваю арбитра, борцов, их пыхтение, их выцветшее дыхание. Сережка хохочет:

— Торопись, спроваживай, Всеволод, навоз из головы. Смелость надо! Головную. Мускулатура? Она прогрессирует более быстро.

Город готовится к масленице.

Масленичное гулянье идет кругом по двум улицам, похожим на крендель, мимо база, собора, прогимназии, купеческих дворов и двух гостиниц. Улицы наполняются кошевками, санками, розвальнями. Иные убраны коврами, а победнее хозяин — расшитыми кошмами. Экипажи идут тесной толпой. Деревянные тротуары наполнены мещанами, казаками, киргизами.

Пани Марина презирала павлодарские гулянья, но не поехать было нельзя. Мне велели запрячь белого коня в беговые санки. Пани Марина надела беличью шубку.

Люди вытащили все лучшие одежды. Здесь хвастаются конями, шубами, количеством детей, иные семьи сразу выехали на нескольких санях. Некоторые вместо сидений ставят громадные сундуки с добром.

Деровские рысаки выскакивают из общего потока, обгоняют, ломают санки, свои и чужие. Купцы бахвалятся поломанными санками! Вот мчится на огромном дымящемся бегунце Осип Жде. На нем бобровая шапка, а позади в санях сидят Варвара и муж ее, унылый печатник Бьюков. Дядя Василий Ефимович нарочно пригнал из степи два десятка коней: должны ехать все родственники, все работники, все киргизы. Санок у него не хватает. Он предлагает мне ехать верхом.

Вечером город до изнеможения ест блины и пьет водку. Утром город встает с тяжелой головой, с трудом

натягивает мохнатую шубу, падает в сани и опять крутится по этим двум улицам. Опухшие, заспанные лица! Я знаю, у кого сколько съели блинов, кто сколько настряпал пельменей. Возле цирка артисты с почтением любуются этим катящимся мимо них степным обжорством.

Я отказываюсь ехать. Я обертываю свою шею «соломенной собакой» и брожу пешком. Меня злит тонкость и точность борьбы Сережки Трошкина. Я завидую ему.

Паперть собора заполнена нищими, калеками, юродивыми, странниками. Все они забыли свои несчастья и страдания. Они восхищаются этим клубящимся вокруг богатством.

Улицы покрылись ухабами. Сани ныряют, выскакивают. Маслянисто-серы спины коней, в мыльной пене уздечки. Малахитовые ковры, лисьи малахаи работников, опаловые шубки девиц, пестренькие их платья, посеребренные кудри купцов,— все это потрясает паперть. Она забыла свое уродство, свой добровольный отказ от удобств и благ жизни земной, от выгод жизни общественной, от родства кровного. Она, некогда принявшая облик безумца, не знающего приличий, стыда, кривляки, насмешника, нагая, босая, распустив волосы, «трясясь и биясь», бегущая из города в город,— теперь...

«Жирная степь опоила вас, дураков, —думаю я со злостью, глядя на паперть. — Погибло ваше обличение».

Дома я собирал лохмотья. Сережка Трошкин помог мне разрисовать себя. Мы купили в парикмахерской тресу, клея. Соорудили длинные усы и бороду. На всякий случай я приобрел длинный кинжал в деревянном футляре, оклеенном малиновым бархатом. Мы вырезали из картофеля тоненькую пластинку, проделали в ней несколько отверстий, так что пластинка являла собой круг, внутри которого болтались белые полоски. Эту пластинку я вставил в рот. Я завязал грязной тряпицей щеку, надел рваную шапку. Страшная рожа, волосатая, клыкастая, юродивая, глядела на меня из зеркала. Сережка поднес мне длинный корявый посох, накинул быстро сооруженный деревянный крест, покрыл его сумой, туда кинул куски хлеба и тряпки.

Для начала я решил обличить тетку свою Физу Семеновну Петрову.

Разве это подлинная жизнь? Это дрейф какой-то! Лежит на кровати, под атласным одеялом, кушает варенье, оплывает жиром, а ее родная сестра служи ей! И вообще Петровы совершают много несправедливостей. Дядя Василий Ефимович обсчитывает не только киргизов, но и более грамотных русских каменщиков и плотников, строит кривые дома, дает взятку уездному начальству.

Кухня пуста. Я подождал, кашлянул.

Из столовой появляется в длинной белой рубахе, в туфлях на босу ногу тетка Фиоза. Уже два часа дня, пора бы ей и одеться! Тетка Фиоза взглянула на меня. Лицо ее делается беспокойным и плоским. Она махнула рукой и торопливо сказала:

— Сейчас.

Она возвращается с необычайной для нее поспешностью. Она встревожилась: в доме нет защитников, а если зубастый нищий с обманом? Вот он мычит, и дрожит его протянутая рука. Тетка Фиоза успела переодеться. Она протягивает мне пятак. Я убрал руку. По лицу тетки разливается бледность. Ее откормленные толстые щеки вздрагивают.

— Чего же тебе еще надо? — еле выталкивает она из себя.

Мне смешно. Нужно снизить себя. Я поднимаю кверху руку. В другую беру суковатую палку и крест.

Тетка затряслась и повалилась на колени. Картошка в моем рту мешает мне обличать. К тому же я не могу удержать смеха. Я бросаю палку, крест и поспешно бегу.

Я слышу, как за мной закрывают на засов дверь. Сквозь двойное окно я вижу испуганное и словно бы подметенное лицо тетки. Она мелко-мелко крестится.

Глупо! Я огорчен. Я вскакиваю на извозчика. Мне уже кажется, что за мной гонится полиция, что тетка успела спосылать в участок. Я испуган. Извозчик удивляется моей суме, моей бедности и говорит:

— Не повезу.

Тогда я выхватываю кинжал. Извозчик затих. Он увозит меня на окраину. Я вручаю полтинник и грожу кинжалом. В глухом переулке я зарываю в сугроб суму, бороду, картофельные зубы.

Вечером я прихожу к матери. У Петровых гости. Ох, как тетка разделывает меня! Страшное видение посе-

тило ее сегодня на кухне. У нее стронулось сердце. Ей требуется съездить на богомолье. Кто в этом городе растолкует ей виденье? Она умолчала только о том, что я оставил возле плиты палку и крест, ибо видение вряд ли могло оставить ей так неискусно сделанные предметы.

Я постыдно молчу. Я доедаю оставшуюся после гостей пищу.

Масленица продолжается. Ухабы все глубже и глубже, лица катающихся совсем заплыли, и едва ли сорок дней поста смогут отделать их заново.

У нас остался трес и клей. Днем мы играем с капельдинерами в карты, в «двадцать одно», на спички. Купленный кинжал жжет мне руки. Его блестящая сталь часто выходит из футляра. Я щупаю нежный малиновый бархат и неуверенно говорю Сережке:

— Вот мы проигрались с тобой...

— Все развивается правильно. Игра и та совершенствуется.

— Правильно-то правильно, — уступчиво говорю я, — а счастье в игре бывает, по приметам, от награбленного.

Сережке не хочется, чтобы с него спадало величие. Он говорит:

— Отвык я грабить.

Смелость явно убывает во мне, но если я позволю загонять себя в цирковой борьбе, то здесь, в степном рыцарстве, я должен уложить Сережку.

Из кинематографа «Заря» около десяти часов вечера, после сеанса, последнего и малолюдного, возвращаются мещане и купцы. Некоторые из них сворачивают вправо, через площадь, мимо пожарной команды и городского училища, а редкие направляются яром, около дома тетки Фелицаты и складов пароходства «М. Плотников и сыновья». Возле складов, на углу, горит большой керосиновый фонарь — от воров.

Прицеплены бороды. Кинжал лежит за пазухой. Верхнюю половину лица прикрывают плисовые маски. Мы останавливаемся за углом и выглядываем. Скоро десять часов.

Очень сложные чувства заставили меня пойти на ограбление. Это и обличение, которое не удалось мне с теткой. Вот сейчас купец вынет из кармана десять тысяч рублей, и мы скажем: «Награбленные тобою деньги пойдут по принадлежности, то есть бедным лю-

дям». Было здесь и желание показать себя более ловким и сильным, чем Сережка Трошкин. Хотелось мне также достать сразу побольше денег, купить завтра необыкновенного рысака, — лучше, чем все деровские, и обогнать весь город. Хотелось мне в карты играть не на спички, а на большие суммы. Хотелось, наконец, сидеть в цирке не по контрамаркам, а на свои собственные деньги, в первом ряду, и в бенефис Антуанетты Сирбо поднести ей серебряное блюдо.

Мы пропустили несколько плохо одетых мещан.

Вот показался тот, кого мы ждали.

Он шел в бобровой шубе, в бобровой шапке, подпираясь железной тростью. Рядом с ним — жена, накрытая лисами. Сердце охватила тоска. Это идет купец.

— А вдруг у него в палке вынимающаяся шпага? — сказал Сережка.

Я начал расплату. С каким наслаждением я тихо ответил ему:

— Трус!

Я нарочно, чтобы показать свою храбрость, выскочил под свет фонаря.

Купец замедлил шаги. Жена его остановилась. Я высоко поднял кинжал над купеческой головой, «и луч фонаря заиграл на его ужасном лезвии».

— Руки вверх, — сказал я басом.

И вдруг я испуганно увидел: купец действительно поднял вверх руки. Жена его тоже подняла руки. А я не знал, что мне делать дальше.

— Руки вверх! — сказал я еще раз.

— Я и так их вверх, — ответил купец. — Куда же мне их выше?

Купец, видимо, обладал юмором. Я рассердился.

— Давай деньги!

— Руки-то можно опустить? — спросил купец.

— Давай деньги, — сказал я. — Я вот тебе покажу — опустить руки. Садану металлом в живот, так опустишь их на всю жизнь.

Я опять сверкнул ножом. Купец глубоко вздохнул.

— Господи, вы бы хоть не изголялись, — сказала издали купеческая жена, со страху опустившаяся на снег.

Я приказал Сережке:

— Лезь к нему в карман.

Сережка, весь дрожа, сунул руку в боковой карман купеческого пиджака.

Купец тихо сказал:
— В брюках.
Сережка еще тише проговорил:
— Ой, не могу.
Я сверкнул на него кинжалом, и Сережка поднял вверх руки. Дело совсем плохо. Еще немножко, и Сережка убежит. Держа кинжал наизготове, я торопливо достал тяжелое купеческое портмоне и сказал возможно страшней:
— Уйдешь отсюда через час. Иначе наши дежурные пристрелят.
— Слушаюсь, — сказал купец.
Мы скрылись за углом. Выглянули. Купец стоял, подняв кверху руки. Упавшая шапка лежала у его ног.
— Шапку надо бы взять, — сказал Сережка.
— Трус, — ответил я ему.
С трепетом открыли мы дома портмоне. Там лежало медью и серебром один рубль двадцать копеек. Скрывая следы, мы сожгли портмоне, а кинжал мой Сережка кинул в иртышскую прорубь.
Утром за пятьдесят копеек из сумм, мною награбленных, я купил открытку, на которой изображена пышная девушка с наклеенными волосами и с серебристыми блестками на громадной груди. Эту открытку я положил в глянцевый прозрачный конверт. Я написал адрес, а на груди девушки, возле сердца: «Люблю вас всю жизнь. Неизвестный разбойник».
Эту открытку я отправил с извозчиком Антуанетте Сирбо.
Хотя Сережка теперь и уважал меня, но борьба оказалась трудно изучаемым искусством. Руки и ноги болели. Постоянно ныла шея. Я плохо спал. Сестра Мария шипела, указывая на мои синяки:
— Все по девкам шляешься. Вот схватишь сифилис.
К тому же мы протерли кошму. Испорченная кошма напомнила мне катание на коже в поселке Урлютюпском, сладкий склад, мое изгнание. Я предложил Сережке:
— Давай лучше бороться на сене.
— На сене козлы борются, — сказал он строго, — у козла прогрессу не дождешься.
Я выпросил у дяди Петрова на время двухпудовую гирю. Утром, в полдень и вечером я поднимал гирю

пятнадцать раз. У меня заболел живот и почему-то открылся насморк. Но я упорствовал. Я питался сырым мясом, пил молоко вместе с пивом, каждый день ходил в цирк — высматривал.

Тем временем Роальд Азгерц приобрел в Павлодаре гигантскую славу. Он клал любого борца через пятнадцать минут. Каждую неделю у него бенефисы. Он выдумывал пантомимы. На его голове гнули железнодорожную рельсу, через его тело, стоящее «мостом», переезжала тройка коней. О нем говорили приказчики, ему завидовали мясники, в него влюблялись прогимназистки; казаки, потягивая «носогрейки», говорили:

— Приличный бы урядник вышел.

Я завидовал великолепному Роальду. От зависти мне показалось, что мускулы выросли. Явившись в контору цирка, я выразил желание бороться с любым из чемпионов. Против меня назначили самого слабого борца, самого рыхлого, старого.

Я боролся под маской.

Я держал маску цвета охры. Мне предложили надеть трико, но я отказался. Я скинул рубашку. Подле столика, наспех сколоченного из горбылей, стояло высокое парикмахерское зеркало. Я — тоненький и, наверно, очень шаткий. В уборной пахло кожей, все углы завалены седлами. Я открыл дверь в коридор. Антуанетта Сирбо, в белой шубке и высоких ботинках, пробежала мимо меня. Она не посмотрела на меня. Разве она знает, что я борюсь ради нее! Возле голубого сугроба ее ждет деровский рысак, усатый кучер дремлет.

И вот я на арене. Публика! Я трепетно держу собою громадную буйную силу, как держит ее новая плотина. Павлодарская сила смотрит, ждет. Звенит звонок. Арбитр свистящим тенором провозглашает этой силе:

— Господа! Павлодарский борец-любитель, скрывающийся под желтой маской, против волжского чемпиона и богатыря Ильюши Произвол. Музыка, марш!

Пожав старую волосатую руку борца, я мгновенно забыл все заученные приемы. Ильюша Произвол пыхтел, переминался с ноги на ногу и скучными, старческими глазами смотрел на меня. Храбрость слоями спадала с меня.

Борец положил меня в несколько секунд, шлепнул по заду и уныло сказал:

— Туда же лезешь, сопляк.

Тонкий девичий смех вспыхнул в первом ряду. Грохот хохота ответил с галерки. Хохот потрясал здание. Я снял маску. В первом ряду девушка с высокой шеей хохотала, закрыв лицо руками. Толстая баба смеялась, взвизгивая: «Ой, тошнехонько, сдохну я, смеючись». Смеялись старые, молодые. Весь Павлодар смеялся, вся его сила. В ложе я увидел пани Марину. Она тоже смеялась. Смеялся Владычкин. «Тебе-то совсем ни к чему», — с озлоблением подумал я.

Я спал тревожно в эту ночь. Проснулся рано утром. Я страдал. «Необходимо решительно воспитать свою волю», — думал я.

Вы, ровесники, помнящие нашу юность, знаете, наверное, эти объявления в тогдашних газетах и журналах: «Сила внутри нас», «Воспитывайте волю». Их много было, этих объявлений. Словно вся страна обезволилась!

За рубль двадцать я выписал «Полное руководство воспитания воли».

Я читал внимательно, долго. Брошюра рекомендовала упорно смотреть в одну точку, по возможности блестящую, и говорить всегда раньше вашего противника.

Я купил дюжину никелированных пуговиц и прибил их на самых видных местах. Отрываясь от верстатки, я смотрел на пуговицу. В обед она висела над моей головой. Перед сном я видел ее в моих ногах. Упорный взгляд воспитать оказалось так же трудно, как понять искусство борьбы. Я давно забросил гири, но и от упорного взгляда у меня болела поясница, ныли руки, подгибались ноги. А зачем в нашем городе нужна решительность? Вот я хожу другом Пашки Ковалева, не пью водки, не курю — и все-таки воля моя никому не нужна.

Деньги? Скот? Дом? Зачем мне все это? Торговать? Я помню, каким я был торговцем в степи и в Урлютюпе. Вот печатник Бьюков передоверил свою жену Варвару деровскому приказчику Осипу Жде, а тот ему купил дом. Бьюков уже заказал живописцу вывесок домовладельческую жестянку. А стал ли Бьюков счастливее? Я видел, как тетка Фелицата мучается со своим домом.

В цирк я уже не мог ходить, хотя мне и хотелось посмотреть, как Роальд Азгерц будет бороться с приехавшим из Санкт-Петербурга мировым чемпионом —

«Черной маской». Я торжественно передал Пашке свою верстатку. Крепко поцеловал его, как целовал меня Гришка Заботин, и с первым пароходом уехал в Лебяжье.

12

Вот почему я и мой отец задумчиво стоим у забора школы. Перед нами пыльная поселковая улица, возле черного выгона девчонка гоняет хворостиной телушку. Мы говорим с отцом об Иерусалиме, Москве, монастырях, но чувствуем — пора начинать более серьезную беседу. Я держу в руках отцовскую зубочистку и думаю: если где и надо применить волю, так к моему отцу. Будущее моей матери и моего брата Палладия беспокоит меня. Мать моя теперь не кухарка, но каждый день над ней опасность: вернуться в прислуги.

Отец продолжает разговор:

— Да, братец, ты и в детстве был тщеславным. Учил я тебя, учил — и все без толку. Чего же теперь тебе от меня надо, Всеволод?

— Мне хотелось, чтобы ты не сваливал тщеславия на меня, а видоизменил себя и свои намерения, пап.

Я быстро проговорил давно приготовленное:

— Мамад Рюизье пишет: «Из тщеславного человека делают все, что угодно, льстя его тщеславию». Боатт подтверждает это, говоря: «Тщеславный человек никогда не может быть свободным; люди, мнения, их взгляды порабощают его: он раб того, кто его видит». Монтескье говорит: «Чем более людей бывает вместе, тем они тщеславнее, непрестанно ощущая в себе желание отличиться маленькими вещами».

— Умные мысли.

— Пап, тот же Боатт говорит: «Тщеславные люди надоедают друг другу».

Отец радостно сказал:

— Вот самое справедливое изречение, которое, братец, мне когда-либо приходилось слышать. Дай я его запишу.

Он отложил карандаш, которым было начал записывать изречение.

— А ты его против меня? Ведь тогда казаки должны бы мне надоесть? А никто еще не надоел мне! Тщеславие, по-моему, — это, братец, когда человек вроде тебя

ездит без толку и теряет хорошие должности. Мало того — ездит: он приезжает и смеет учить своих родных. Тщеславие — это когда сын, не зная ни одного иностранного языка, не побывав в Петербурге или в Иерусалиме, не перевалив хотя бы через Уральский хребет, берется перевоспитать своего отца. Тщеславие — это когда сын не уважает своей родины, а почему-то уважает Индию, где сплошная сырость и змеи толщиною с бревно и люди ходят в разрисованных одеждах, пестрее клоунов. Тщеславие — это когда читают книги без разбора, от Майна Рида до Спинозы. Тщеславие твое, Всеволод, подобно суеверию, которое все превращает в чудеса...

Отец искренно жалел меня. Слезы капали из его глаз. Он говорил слабым голосом. Он хотел передать мне подлинную правду.

— Вот ты, Всеволод, даже в банк не веришь, а ведь это безверие — уже предел всяческого тщеславия. Как же нашему Лебяжьему существовать без банка? Город без банка? Без директора? Смешно! Я полагаю, он вырастет в Объединенный Иртышско-Китайский банк с филиалами, вплоть до Пекина.

Он топнул ногой от удовольствия. Он развеселился. Он как бы вдруг сдунул с себя все тревоги.

Грусти он подольше, я бы чувствовал себя легче. Но такое явное предпочтение несуразной мечте перед моим серьезным разговором тяжело отозвалось на мне. Я вспомнил, что приехал сюда сгоряча, и средств у меня только на обратный билет до Павлодара. У отца ничего не было, кроме зубочистки. Если оставались какие-нибудь деньги от получаемых им в месяц двадцати пяти рублей, он их тратил на пустяки. Например, он выписал глобус с названием городов и морей, почему-то на немецком языке. Пускай, дескать, казачата учатся, вдруг придется завоевать Германию. Или появлялась модель самого новейшего английского паровоза. А мать все еще не могла скопить денег, чтобы купить корову. Питались плохо. Братишка Палладий жаловался на липкий, как глина, хлеб. Палладий страдал малярией, лицо у него было темно-оливковое, тощее. Он считал меня беспутным, глупым, шептался с матерью о хозяйстве. Мать страдала: из-за меня, из-за мужа, из-за Палладия.

Отец посмотрел на меня сияющими глазами:

— На правду нельзя, братец, сердиться. Не будь ты мой сын, я бы утверждал, что ты вырождаешься. Очисти себя, Всеволод, от сучьев тщеславия.

— Да ты подумай над окружающим, отец.

Он оглядел выгон, девчонку с хворостиной, избы, дешевое небо.

— Живут люди хуже. Откроем банк, жизнь, несомненно, улучшится. Всеволод.

— Пап, да откуда банку появиться-то? Ты вспомни, как мы питаемся, во что одета мать. А где лекарства для Палладия? В степи тысячные табуны, а ты не каждый день выпиваешь крынку молока.

Упреки показались ему чрезвычайно обидными. Он вспыхнул:

— Мне? От сына? Выговоры? Я приказываю тебе замолчать. Откуси язык, но замолчи, Всеволод! Прокляну.

Ему понравилась мысль о проклятии. Лицо у него стало озабоченным. Он, видимо, вспоминал и прицеливался, откуда начать проклятия. Губы его быстро шевелились. Надо торопиться, а сложный обряд проклятия он никак не мог вспомнить. Учил он ребят молитвам, но ни в одном из молитвенников не имелось, хотя бы примерного, отцовского проклятия. От напряжения на лбу его показалась испарина. Он то ставил ногу на забор, то убирал ее.

— Не отговаривай, не отговаривай,— скороговоркой бормотал он,— раньше б подумал об устранении препятствий.

Я рассердился настолько, насколько нужно для ухода из отчего дома.

Я вошел в классную, взял с парты шерстяной матрас, набитый соломой, распорол шов и вытряс с крыльца солому. Матрас был из кашемира, зеленого и дрянного. Набитый, он напоминал спящего пса, и про себя я так матрас и называл «соломенная собака». Он заменял мне иногда шкаф, иногда сумку. Сейчас я положил в «соломенную собаку» несколько книжек, краюху липкого хлеба, две луковицы, щепотку соли, бутылку с водой.

Мать уговаривала:

— Отец отходчивый. Изображает, а к вечеру, глядишь, и свернется...

Мне нравилась мысль об уходе. Кроме того, пренебрежение отца к моей воле, к заученным сентенциям

огорчало меня. Да и что мне делать в Лебяжьем, зачем объедать и без того полуголодных людей?

Вот я выйду. Утро. Утки по-прежнему, переваливаясь, медленно поднимаются по откосу. Отец шлет мне вслед ужасные проклятия. Мать стоит возле крыльца на соломе и покачивается горестно. Она причитает. Обыкновенное дешевое небо над нами. Обыкновенные пухлые облака. Обыкновенная река Иртыш блестит за тополями.

Я перекинул через руку черный свой плащ, взял «соломенную собаку», пригладил на плаще львов. Я остановился против отца. Он рассеянно посмотрел на мою сумку:

— На рыбалку пошел? Нонче рыба на переметы идет плохо.

Не вспомнив ни одного проклятия, он рад был поговорить хоть о рыбе.

— Я ухожу совсем, пап.

Отец сказал лениво:

— Ну, иди. А когда банк откроем, я тебе выхлопочу место и сообщу...

— Не открыть вам банка, пап.

— И тебе не уйти из Лебяжьего. Ты на себя посмотри, разве с такой мордой уходят. И лучше тебя были физиономии, да возвращались.

Он сердито отвернулся от меня, поднял самовар на крыльцо. Самовар потух. Из него могут вывалиться угли, когда отец начнет раздувать, могут зажечь солому. А убрать солому лень! Отец снял сапог и пристально уставился на стершийся каблук. Я медленно отошел от крыльца. Я направился не к пристани, а к тракту. Я опасался, что на пристань, пока я ожидаю парохода, прибежит мать и начнет меня уговаривать: примирись. А завтра опять тот же самый спор.

У поворота я обернулся. Отец стоит ко мне лицом, слегка склонившись над самоваром. Позади отца широкий и черный выгон. Отец весь в желтом. Он раздувает самовар длинным сапогом. Острые искры летят на черный выгон. Я стоял, думал. Отец качает сапогом. Искры летят шумней. Он не смотрит на меня. Мне жалко себя. Я ухожу так обыденно! Этот длинный черный стоптанный сапог! Отец его чистит тщательно, ежедневно. Зря! Зачем летом носить сапоги? Это и невыгодно, и жарко, потеют ноги, от пота сапоги портятся,

преют. Грязи летом нет, а вот носит и носит — потому что так положено казачьей тщеславностью.

На Крестовском перекате, в трех километрах от поселка, пароходы идут тише. Здесь Иртыш изобилует мелями и корягами. За десять копеек рыбаки отвезли меня к пароходу. Бока лодки обиты рваной медной жестью.

— Зачем вам медь?

— А для красоты, — ответил рыбак.

— Сети рвете.

— Сеть починить можно.

— Вячеславу Алексеевичу нравится? — ехидно спросил я.

Рыбак улыбнулся.

— Учителю-то? А как же, он казачью красоту понимает.

До Павлодара я плыл грустный. Если просить денег, то, пожалуй, лучше у Пашки Ковалева. Он, подобно мне, потребовал у хозяев жалованья, и ему назначили восемнадцать рублей. Должен он своего учителя снарядить вниз до Омска? Обязан. Я отработаю и пришлю ему. Бродя среди тюков, возле машинного отделения, размышляя о Пашке и Павлодаре, я как бы износил свою тоску.

Я поднимался поздней ночью на палубу во второй класс. Я надевал плащ и ходил мимо окон, не смея опереться на перила. Занавески кают были плотно задернуты. Тишина, молчание. Какая-то высокая дама прижималась к белому кителю чиновника. Плечистый чиновник басил:

— Тести бывают и приличные. Мой тесть объедает меня и позволяет себе стравливать моих детей, как щенят. Я н-н-не разрешу...

— Но ты, Ксенофонт, совсем-совсем не понимаешь его...

— Н-н-не разрешу!

При каждой моей встрече с ними я слышал это слово «не разрешу», и каждый раз чиновник говорил его по-разному. Оно звучало то глухо, то высоко, то гневно, то пренебрежительно. Какая сложная наука, какая громадная государственная машина воспитала этого плечистого человека, чтобы он умел так удивительно многообразно выражать в одном слове «не разрешу» великое множество понятий! Проходя мимо этой пары, я поддерживал полы плаща. Дама надкусывала яблоки,

делая это чрезвычайно изящно. Она к тому же и шепелявила.

Яблоки у нас в семье были величайшей редкостью. Отец покупал их только для именитых гостей. «Странно, — подумал я, — но вот я уже самостоятельный человек, а еще не ел яблок. Мог бы вместо дорогого галстука купить подешевле, а на остатки приобрести яблок. И зачем мне плащ?»

Красные и белые бакены отмечали фарватер. Пароход иногда садился на мель. Нагруженный до отказа, он снимался с трудом. Меня раздражали эти стоянки. У меня оставался только полтинник, а я очень хотел есть.

Подходя к Павлодару, пароход празднично загудел. Сделал лихой круг. Из трубы повалил густой дым. Пароход блестел и сиял, его долго мыли. Матросы кидали тяжелые швабры в Иртыш и, смеясь, волочили их за собой. Пароход пристал к барже. Пассажиры толпились у трапа. Меня сжали, толкали. Из уборной, подле сходен, воняло карболкой. На лестнице, упираясь чемоданами в медный поручень, стоял плечистый чиновник, бася: «Не разрешу».

Если пароход приходил в Павлодар вечером или в праздник, то вся городская молодежь и вообще легкие люди спешили «гулять». Все время, пока киргизы грузили тяжелые десятипудовые тюки с кожами, мешки соли, бочки масла и сала, пока они, обливаясь потом, бегали по качающимся мосткам, поддерживая на спине тяжести крюками, — тесная и густая толпа мещан кружилась по палубе, мимо окон кают и салонов первого и второго классов.

Киргизы-грузчики питались одним хлебом, мясо ели не больше одного раза в месяц, часто болели тифом, они все были изможденные, сутулые. Все знали об их несчастье, но никто не замечал и не говорил о них. И я не замечал и не говорил об этом. Я тоже «гулял» на пароходе. Мне нравилось, что капитан стоит на мостике в чистом новом мундире и все вокруг чисто и празднично. Погрузившись, пароход отваливал, толпа гуляющих долго стояла на берегу и слушала его гудки.

Прижатый к стене мешками и ящиками пассажиров, я ждал, когда сбросят трап, и смотрел на эту павлодарскую толпу, тоже ожидающую трапа. Был праздник. Они желали гулять. Я увидел здесь Ирму Шмидт

с черными бровями. Она одна в городе красится, а если девушка красится — это позор. Краситься могут только замужние. И она ходила одна, даже деровские приказчики, славящиеся своей беспутностью, не подходят к ней. Неподалеку — Викентий Владычкин, лицо у него несчастное и тоскливое, он стоит, опершись на палочку, и ищет кого-то в толпе глазами. Сестра моя Марья, окруженная коричневыми прогимназистками. Рябой сапожник Лев Удавов в ярко-серой шляпе и зеленом галстуке, приятель Пашки Ковалева. Мечется Василий Ефимович. Наверное, встречает знакомого. Весь город здесь, все, кто оглушительно и яростно хохотал, когда меня положили в цирке!

И вот я должен выйти к ним. Они небось уже знают, почему я вернулся в Павлодар. Какой хохот встретит меня, какие лоснящиеся наглые рожи! А я должен буду подойти, поклониться и попросить де́нег. У кого? У Пашки Ковалева! Он тоже здесь, он улыбается кому-то и приподнимает фуражку.

Ну, зачем нужен мне был этот детский лепет об индийском принце, об Индийском океане, о далеких островах? Вымаливать у мещан веру в дикую и нелепую выдумку; разве в этом заключается твоя воля, Всеволод Вячеславович? Вот они валятся по сходням и понесут важно свои тела, браслетки, часы, брюки, кофты, бархатные платья, надетые несмотря на жару. Все они в черном. Почему? Над ними такое ясное, великолепное небо, такое солнце, которому позавидует Индия!

Какой там к черту индийский принц! Вытравить из себя, отменить!

Отныне я не принц. Отныне я человек низшей касты, но воспитавший в себе чудовищную волю, перед которой должен преклониться мир. Я получаю возможность отомстить всем, кто смеялся надо мной, но воля моя так велика, что я вычеркиваю все мысли о мести и прохожу мимо этих удивленных лиц, растрогав своим милосердием даже эти черствые сердца! Да, я теперь факир. Да, я теперь дервиш. В сущности, остается сделать немногое. Водки я не пью, табак не курю, пищей я не избалован, буду питаться черным хлебом и отчасти молоком. Женщины? К ним я не так уж и очень привык, а помечтать о любви и факиру не возбраняется. Я возвращусь в Павлодар мощный, великовольный, презирающий все блага мира. Итак, я дервиш.

Итак, я факир и дервиш. Итак, меня зовут...

...меня зовут Бен...

Имя короткое и невнушительное, хотя вполне достаточное для человека низшей касты. Но кто такой Бен? Беном назовется любой немец! Предположим, Август Бен. Нужно прибавить нечто восточное. Али? Это имя всем напомнит «Тысячу и одну ночь». Бен-Али? Правда, это похоже на имя слуги. Надо бы повнушительней. Разве прибавить Бей? Это, кажется, значит «господин»? Господин Бен-Али! Разве не может факир называться господином? Ведь он прежде всего господин над самим собой.

Я устремил очи свои вперед. Резко и внушительно глядел я.

Итак, меня зовут Бен-Али-Бей, великий факир и дервиш.

Нет, не сойдет Бен-Али-Бей на павлодарский берег. Не смеяться вам над ним больше, господа.

Я попятился.

Я постучался в каюту к младшему помощнику капитана. Лицо его, отцветшее и усталое, показалось мне добрым. Я сказал робко, но в то же время внушительно:

— Не будете ли добры, господин помощник, отвезти меня в Омск? Я, видите ли, издержался...

Вдруг его симпатичное лицо как бы уплыло по скату. Он отвернулся от меня. Он доставал конторскую книгу. Когда его лицо поравнялось с моим, от него как будто отломана была добрая часть.

— Терпеть не могу, когда клянча-ат...

Я отошел, слиняв. Я торопливо огляделся. Возле машинного отделения, у пустых еще пассажирских коек, я увидел громадную бочку в полтора человеческих роста. Такие бочки наполняет «головной» сахар. Она сколочена наскоро. Я заглянул в нее. Крышка свалилась внутрь до середины. Я приподнял крышку. Обрезки плах, стружки, солома, тряпки для обтирания машин заполняли ее. «Бедный Артур Гордон Пим!» — вспомнил я.

Я залез в бочку.

Бочка узка, но лежать в ней, скорчившись, можно. Я прикрыл себя сверху соломой, тряпками, дощечками, а еще выше положил крышку.

Погрузка шла долго. Я слышал постепенно уменьшающийся топот ног. Заскрежетала лебедка, поднимающая якорь. Раздалась команда: «Отдай концы!» Пароход заревел, отчалил. Я с трепетом ждал контроля. Если меня поймают, то ссадят на Три Острова, стоящие поодаль от Павлодара. Таков обычай для пароходных «зайцев». По обычаю их били, перед тем как высадить, три раза по шее. Сила ударов зависела от характера матроса. Хорошо, если саданут покрепче, — поплачешь подольше, злости накопишь для того, чтобы влезть на следующий пароход.

— Ваши билеты, господа, — раздалось возле бочки.

Кто-то заговорил вкрадчиво. Знакомый голос, но теперь ласковый и мяукающий, ответил вкрадчиво:

— Терпеть не могу-у, ко-огда у меня кля-анчат...

Помощник капитана, надо понять, соглашался на взятку. Он постучал в мою бочку карандашом.

— А здесь небось тоже ваше?

— Здесь, господин помощник, пустая нераспорядительность. Бочка возле пассажиров.

— Да, надо эту бочку в котельную отправить, — сказал помощник и приподнял мою крышку.

Я увидел длинную руку с тросточкой. Тросточка эта быстро опустилась, проверяя. Раз-два! Она стукнула меня ловко и больно по лбу и упорхнула. Мне показалось, что бочка покачнулась. Возможно, что помощник потрогал ее, и она показалась ему легкой.

— Скатите ее к топке, — сказал помощник, отходя.

Я пощупал вспыхнувший лоб. Высокая шишка поднималась от бровей к волосам. Словно опасаясь, что меня еще кто-то ударит, я завязал лоб «соломенной собакой». Сидеть было очень неудобно, ноги затекли, колени болели. Чтобы развлечься, я попробовал просверлить сбоку отверстие попавшимся под руку гвоздем. Сухое березовое дерево не поддавалось. «Бедный Артур Гордон Пим!»

Пассажиры пели «На диком бреге Иртыша». Кто-то откупорил бутылку. Смеялись. Слышались шутки. Плыла, должно быть, большая и дружная компания. Я подумал: «Если они дали взятку, то почему бы, заодно, не попросить их присоединить меня к себе?»

Я потихоньку толкнул крышку и выглянул.

Белые койки завалены перинами, сундуками, чемоданами. Волосатые веселые люди пьют водку. Рюмки

сверкают в их руках. Пена от пароходных колес отражается в стекле.

Я узнал их. Это уезжал цирк Коромыслова! Я узнал актеров, оркестрантов, капельдинеров, борцов, фокусников. Антуанетта Сирбо держала рюмку с водкой. Подальше стояли клетки, ревел попугай, блеяла коза, прыгала обезьяна с оранжевым задом. Возле перил, обняв пани Марину за покатые плечи, стоял розовый Роальд Азгерц.

Итак, вот где факир и дервиш Бен-Али-Бей встретился с ними!

Я опустил крышку...

Опять я вспомнил этот страшный хохот в цирке. Вот я выгляну сейчас с огромной синей шишкой на лбу, и опять повторится этот хохот. Они заорут, завизжат, засвистят: «Вот он где! А мы-то вас искали!» Они узнают, что я безбилетный. Хохот увеличивается.

Ноги у меня будто сломанные, голову печет, рот пересох. Я сорвал зеленую повязку. Боль усилилась. Я вспомнил отца. Весь в желтом, отец раздувает сапогом медный самовар. Летят тяжелые искры с крыльца на широкий черный выгон. «Несчастный Артур Гордон Пим! Бедный Гордон Пим!» — повторил я и горько заплакал.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ФАКИР ОБХОДИТ ЦИРК

1

Я услышал бойкую матросскую походку. Бочку качнули. Меня попробовали поставить на голову. Но не успел я ощупать вспухшую от этого на затылке шишку, как сварливый голос сказал:

— Накидали же разной дряни.

Иртышские пароходные команды отменно ленивы, потому что множество черной работы исполняют за них киргизы. Я подумал: лень помешает матросам разбить бочку. Лучше катить, пока сама не расколется. Матросы согласны катить бочку хоть бы целый день. Я согласен катиться в бочке дюжину дней и получить дюжину синих шишек, лишь бы циркачи не посмеялись!

Меня качнуло — вправо, влево, затем я потерял сознание сторон. Я закрыл лицо руками. Толчки отовсюду сыпались на меня. Осколок доски пролез через пальцы и больно стукнул меня в нос. Это было и неприятно, и в то же время приятно. Чем больше толчков, тем быстрее подойдет время, когда бочка остановится и я скажу: «Господа, выслушайте меня». А кроме того, мой нос не примет ли от толчков иные, более благоприятные очертания? Должен заметить, что мой нос давно внушал беспокойство и мне, и моим окружающим. В детстве моем его называли «пуговкой», позже «картошкой», но в последнее время кое-кто уже упоминал о тыквах. Я опасался, что людям не хватит овощей, и они подыщут более громоздкие определения. Мой нос имел только одно достоинство: он был нормального цвета. Но вот ноздри его чрезвычайно странно расширялись и улавливали такие запахи, которые ни мне, ни другим людям совершенно не нужны. Я пытался нюхать поменьше. Я дышал ртом. Но едва я разжимал ноздри, как великое множество разнообразнейших упругих, легких, мягких

или твердых запахов устремлялось в меня. По утрам я долго смотрел на свой мещанский нос. Подобает ли факиру владеть таким носом? Это мякиш какой-то, бесскорлупное яйцо, выплывок, голыш! Мне казалось, что нос мой вытеснял подбородок, отталкивал щеки, стремился занять все мое лицо. Этими удивительными очертаниями моего носа отец мой иногда объяснял ту непочтительность, которую будто бы я испытывал к храбрым сибирским казакам из рода Ивановых и Савицких. Поглаживая ладонью черную табакерку с портретом «Губоньки», опираясь локтем возле кургана, где отец обычно искал клад, папаша говорил: «Наши носы прямые. Откуда у тебя такой вынырнул, непонятно. Но ты непрактичен, Всеволод. Иной бы на твоем месте побольше нюхал. Вдруг ты унюхаешь место, где спрятан клад каких-нибудь киргизских императоров». Степь! Нюхай не нюхай, а степь останется степью. Я смотрел на замечательное лицо моего отца и думал: почему он ищет клады таким чудным способом и почему мой нос никак не стремится помочь ему?

Бочка катилась. Меня мотало сильнее и сильнее. Исчезла уверенность, что топка не вместит бочки. Я испугался. Я отчаянно закричал:

— Остановитесь, тону!

Подняли крышку. Вытащили стружки, опилки, тряпки. Рука ухватила за «соломенную собаку».

Я уперся в отверстый люк, куда матросы сбрасывают дрова. В лицо мне пахнуло запахом сосны. Бочку просто-напросто хотели спихнуть в трюм! Я грохнулся бы на дрова с высоты пяти метров. Три матроса, босые, просмоленные, лениво ухмыляясь, смотрели на меня. Был вечер. Мимо нас, возле сероватых вод, летел оранжевый берег. Рыжий матрос, слюнявя бумажку для папироски, сказал:

— Ишь ты, а в бочке-то пассажир. То-то я думал, откуда ее катить неудобно.

Сосед его, матрос с громадными челюстями, тоже помуслил бумажку:

— По виду, от казачьей жизни бежит. Сколько, Никита, полагается с него по таксе?

Никита подумал и сварливо сказал, что полтора рубля.

— Полтора рубля мы берем с бродяг и мещан, а с казаков, кажись, больше. Три рубля.

Мало того что они не раскаиваются в убийстве, почти свершившемся, они вдобавок не считают меня казаком! Если бы у меня и было три рубля, я бы все равно им не отдал. Поэтому я сказал, даже с известной гордостью, что у меня нет и в ближайшее время не будет ни трех, ни полутора рублей, что я не бродяга и не мещанин, — и я потянул пальцами незаметно от них нос свой вниз. Никита сказал сварливым своим голосом:

— Как же у тебя нет полутора рублей, когда по таксе ты платишь полтора: такса не хозяйская, а матросская, значит, справедливая. Если бежит от родителей, у него находим пять рублей. Бежит от невесты, имеет двадцать пять рублей.

Никита развернул соломенную мою «собаку», пощупал книжки, тетрадь, куда я заносил мысли мудрых людей и полезные для меня сведения.

— А верно, нету полутора рублей. Или, приятель, ты их во рту держишь?

Я раскрыл рот, вывернул карманы. Тогда Назимов сказал:

— И под таксу не подходит, и вне таксы не годится, потому что совсем безнадежный. По какой же ты, приятель, убежал категории?

Затруднение, которое испытывал Никита, льстило мне. Я сказал весьма решительно:

— А если кто по убийству?

Никита, видимо, не очень доверял тому, что я могу быть убийцей, но синяки на моем лице, ссадины на щеке несколько смутили его. Ударом ноги он столкнул «бочку Пима» в трюм. Бочка раскололась.

— Надежду, полагаю, ищет, — сказал Никита более снисходительно. — Ну, приятель, ты намыкаешься. А хуже будет, если в Омске чужую надежду приобретешь. Я там похотел жениться. Мелкая моя надежда оказалась. Невеста ушла ради купеческого кучера, а у него ноги толще мачты и подусники громадные, как дым из нашей трубы.

Я выразил желание помогать им. Я могу писать письма, прошения, составить афишу...

— Какую там афишу!.. — сказал сварливо Никита.

У поселковых пристаней пароход запасался дровами. Мы клали длинные поленья на две палки. Тащить дрова трудно, еще труднее таскать мешки. Матросы, подсмеиваясь над моим неумением, опускали мешки на

мой загривок с некоторого расстояния, а не подводя их вплотную к телу. Это падение пятипудовых мешков тяжко отзывалось внутри меня. Ноги мои болели. Жадно ждал я, когда помощник капитана крикнет вниз в кочегарку: «Открыть огни!» Мне приказывали мыть посуду в буфете, а это было еще тяжелее, чем грузить мешки. Я мыл тарелки и соусники у крана, который находился возле третьего класса, прячась от циркачей.

Я привык к сварливости Никиты Назимова, и мне нравилось, когда он протяжно перечислял, кто, когда и сколько имел «надежд». Затем он оборачивался к Иртышу и говорил:

— Разве это поверхность для матроса? Такая гладь хороша только на животе!.. А если и существует ветер, так он почти в отсутствии.

— Чем же это в отсутствии? — спрашивал я.

— Поверхность воды должна быть косой, и тут ни тебе зайчиков, ни тебе барашков, ни ряби, а если облака, так они бури не значат.

Он дотрагивался пальцем до моего носа и говорил:

— Эх ты, несчастный случай на море!

Мне нравилась его рука, всегда покрытая смолой, пальцы, постоянно скрюченные, словно он держит канат. Он казался мне воплощением мореходства. Я неустанно просил его рассказывать о Черном море, где он некогда служил, о жизни его в Балаклаве, о золоте «Черного принца». Я вспоминал Синдбада-мореплавателя, Багдад, птицу Рох, теплые океаны. Я понимал то презрение, с которым он говорил о реках, о суше, о степном городе надежд — Омске. Вместо «солнечного заката» он говорил «снижается светило», всех людей он именовал «мачтами»; все дома имели «каюты»; с языка его не сходили — трубы, рули, краны, якоря.

Когда на рассвете пароход «Андрей Первозванный» подошел к Урлютюпу, я сказал Назимову, что занозил руку. А на самом деле занозил гордость мою Урлютюп! Еще недавно я собирался проехать мимо Урлютюпа в первом классе, а тут грузчиком выходи на урлютюпский берег. Но и на койке лежать я не мог. Пряча лицо, я встал к крану. Скорбно я вертел тарелки. Вода падала мне в рукава.

Закрывая тарелкой лицо, я выглянул. Я увидел Федора Малых и дядю Кузьму Македонова. Они распоряжались погрузкой кож. Кузьма Кузьмич распоряжался

так властно, что всякий на пароходе понимал: купец Лыкошин разорен и предприятие его перешло к Македонову, чем он и сам чрезвычайно напуган. У Федора Малых чуб по-прежнему сваливается на губы, по-прежнему тоскующее лицо, и он так и не придумал кражу, которая обогатила бы его на всю жизнь. Говорит он с дядей подобострастно, и всем понятно, что он мучительно завидует.

— Куда прикажете, туда и ляжете! — доносится ко мне его голос, и мне чудится, что только вчера мы вернулись из глубокой степи и вот где-то еще рядом бродят бесчисленные стада Рахман-Аяза, скачет на иноходце Нюр-Таш и развеваются павлиньи перья на ее шапке.

Пароход покинул высокий урлютюпский берег.

— А в Индию вы не плавали? — спросил я Назимова.

— Не пришлось, всасывающие трубы не моего размера, — ответил он.

Пароход приближался к Омску. Матросы укладывали канат в большие красивые круги. Мы увидали железнодорожный мост. Это был первый железнодорожный мост, который я видел в своей жизни. Буро-красный поезд тянулся по нему. Кто знает, не идет ли этот поезд в Индию? Сердце мое ныло. Что такое надежда?— думал я. Надежда есть ожидание того, что мы желаем. Однако надежды еще не радости. Еще получишь противоположное. Назимов, подавая мне коротенькую жирно-смолистую щепку, говорит:

— Надежды надеждой, а в Омске ни одной водопроводной трубы. Пойдешь ты, приятель, с этой щепкой к звонарю в церковь братства Михаила-архангела и спросишь там Петра Назимова — это мой брат. Щепка заместо рекомендации, так как привычку писать письма я имею только к бабам.

Возле черного дебаркадера стоял двупалубный пароход «Три святителя». Наш «Андрей Первозванный» осторожно остановился возле «Трех святителей». К трапу вышел помощник капитана: проверять билеты. Мне б проскочить вместе с толпой цирковых актеров, но я, опасаясь встречи с пани Мариной, пропустил всех пассажиров. Матросы надели свои лямки. Подрядчики обещали им на водку за быструю выгрузку, и матросы забыли меня. Помощник капитана торчал у трапа, словно ожидая воспарения к небу из-за своего великолепного белого кителя.

Я поднялся на вторую палубу. Через крыло парохода я перелез на галерею «Трех святителей». Я дергал дверку, чтобы шмыгнуть в коридор и оттуда спуститься вниз, ибо на «Трех святителях» нет контролера. Дверка — на замке! Я бегал, размахивая «соломенной собакой» и грязным своим плащом, по громадной белой галерее, и мне вдруг подумалось: а что, если меня примут за вора? И тогда я встал на самом видном месте возле лестницы на капитанском мостике и скрестил руки. В коридоре послышались шаги. Я посмотрел на дверные шарниры. Дверь открылась в мою сторону.

Капитан прикрыл меня дверью и поднялся на мостик. «Три святителя» выпустили последний гудок. Я оторопело кинулся в коридор. Матросы стягивали трапы с дебаркадера. Сейчас «Три святителя» поплывут в Павлодар. Ах, это еще хуже, нежели безбилетным попасть в полицию. Я бросился на корму, где еще не успели «отдать трос». От кормы до дебаркадера расстояние было не менее пяти сажен. Молочно-белый пар окутывал колеса. Ветер относил его к моей корме. Я сказал сам себе вслух: «Раздумывать некогда, мгновение решает победу». Матросы, закуривая, стояли ко мне спиной. Я вскочил на канат и пошел, балансируя «соломенной собакой» и плащом своим. Вспомнилось мне, как путешественники в многочисленных романах переходили по канату через пропасти. Они смертельно боялись, как бы у них не закружилась голова или не задрожали ноги. Сейчас я тоже смертельно боялся вместе с этими многочисленными путешественниками. И тогда и сейчас я думал, что путешественникам лучше всего переходить пропасти ночью. Я страстно желал, чтобы пар охватил меня, и я прошел бы по канату как бы туманной ночью. Но пар клубился внизу. Канат колебался. Ноги мои скользили. Тело мое беспомощно качалось.

Я упал на борт дебаркадера и пополз вдоль него на четвереньках. Позади я услышал хохот. Я увидал Никиту Назимова и двух его приятелей. Они смеялись над моими надеждами! Я вскочил и бросился бежать. На бегу я подумал, что страхи мои были напрасны, ибо если пароход уходил бы в Павлодар, то зачем быть на нем Назимову? «Три святителя» попросту менялись местами с «Андреем Первозванным».

Я смотрел уныло на буро-желтый город. Вот она, моя омская надежда. Придется добираться до Индии

сухим путем! Где уж там мореходство, где уж там капитанство! Попытаемся найти в Омске учителя, потому что слабости, которыми я наполнился на пароходе, совершенно убедили меня в том, что без учителя мне не обрести подлинного факирства.

Петр Петрович Назимов кружился в сторожке. Петр Петрович состоял из каких-то трудно описуемых кругов. У него большой круглый рот, круглые глаза, большие, дымчатые и недоумевающие. От его непрестанного хождения правильными кругами громадная площадь, которую я вижу в окне, кажется мне, тоже кружится вокруг церкви, а дымчатые деревянные тротуары кружатся вокруг площади.

— Почему он репье, Никита, не пишет мне, а каждый раз — щепу! Извините, она у меня кружится в горле. Всегда ее сопровождают чудные люди. Куда вы, собственно, едете, господин из народа?

Петр Петрович постоянно орудовал словом «народ». Слово это он выговаривал до крайности недоуменно, словно желая непрестанными повторениями докружиться вокруг него до полного понимания. Он устроил меня в подворье «буфетным юношей».

Подворье впихнуто под церковь в длинный полуподвал. Коридор темный, сырой. Керосиновая лампа чадит. Чадом пахнет во всех углах. Я разносил чай, закуски с буфета, содовую воду. В каждом номере жило по четыре попа. Меня пугали эти лохматые развеселившиеся люди. Я привык видеть их степенными и медлительными.

У попов множество ящиков, корзин, свертков. Особенно окружен ящиками казначей Владимирского монастыря, отец Тихон, белокурый и красивый. Утром он подолгу торчит у зеркала, подводит карандашом ресницы, заставляет меня несколько раз перечищать шелковую его рясу. Удивляло меня и то, зачем нужно отцу Тихону носить шелковые штаны. Он возвращается на закате. Я помогаю извозчику втаскивать объемистые ящики. Собираются попы. Отец Тихон приказывает мне стоять у дверей с подносом. Тихон вынимает разные вещи, видимо, единственно только с тем, чтобы похвастаться, как он умеет «обретать» дарителей.

— Стаканчики под масло! Запрестольный образ воскресения Христова! Два латунных высеребренных подсвечника!

Он поднимал подсвечники и тоненьким ласковым голосом говорил:

— Для умерших! Я хоронить люблю, отцы. Смертью уничтожается всякая пакость. Пою я нароком, умышленно! Я воспеваю удовольствие смерти так мощно, что даже родственники умершего торопятся умереть.

Разглядывая выносной фонарь, медный и вызолоченный, с деревянной точеной ручкой, он злорадно продолжал:

— Идти ко мне хотя и страшно, но все же идут. Такова великая сила таланта! Молодой человек, не дрожите подносом! — Он поправлял у меня поднос и слегка дотрагивался до моего носа. Так он острил. Попы хихикали.

— Потир серебряный! Дискос серебряный! Лжица серебряная, вызолоченная, с надписью «Иисус Христос»!

Он приплясывал возле разложенных вещей и злорадно смотрел в лица деревенским попам, которые не умели «обретать». Его лазоревые глаза, густые и яркие, наполнены горячей силой. Он стучал в мой поднос сильным пальцем:

— Юноша, сколько комиссионных полагалось бы за такие приобретения?

Отец Тихон посылал меня за вином и закусками в город. Это дешевле, чем покупать в буфете. Когда выпивали «просвещенну быти на десятой», Тихон, подмигивая, спрашивал:

— Как же, молодой человек, насчет плодливости?

Они смеялись над моим смущением. За веселыми девицами посылали второго «буфетного». У входа, возле непрестанно коптящей керосиновой лампы, дежурил седобородый монах Лука, считавшийся неподкупным, поэтому девиц протаскивали сквозь узкие окна, из которых решетки вынимались. Мне нравилось выдергивать надпиленные решетки. Это походило на приключение в темнице.

Спрыгнув на пол, девицы взвизгивали и спрашивали:

— А вы бить не будете?

И восхищались тем угощением, которое они видели на столе.

Окна и двери завешивали одеялами. Меня ставили на караул в коридор. Я дремал, постукивая пальцем в длинный жестяной поднос, и думал: где же степные

надежды, кому быть моим учителем и зачем мне находиться в половых? Швейцаром бы мне быть! Швейцары постоянно сидят на стуле, ноги у них не устают, да и сырости в швейцарской мало.

Через неделю буфетчик сказал мне, чтобы я «уделил».

— От чего уделять? — спросил я.

— От доходов, — сказал буфетчик.

Я не мог понять, что же это за братство, о котором говорила вывеска и нарисованные всюду портреты архангела Михаила. Иногда мне казалось, что это братство спасения от жары. Город сух и жарок. Ни петь, ни плясать в этой жаре невозможно, и люди собираются сюда, в длинный и сырой подвал. Не мог объяснить я и то постоянное ощущение голода, которое я читал в глазах монахов и попов. Они торчали возле буфета, тыкали пальцами в закуски, долго прицценивались к закускам, ели в одиночку. Если им приходилось есть в компании, то они заказывали плохую пищу, и все же каждый старался съесть побольше. Привезенную из деревни пищу они старались выманить друг у друга. Всего и надежды у них, чтобы нажраться до отвала!

Я отказался работать в буфете. Буфетчик не возвратил мне паспорт. Он требовал 12 рублей 75 коп. его «доли». Я выдал ему расписку. Обиженный, огорченный, я пошел в епархиальную типографию. Меня испытывали четыре дня, а затем положили жалованье — 16 руб. Меньше, чем в Павлодаре, но я был чрезвычайно доволен: эти шестнадцать рублей омские!

Я бродил по Любинскому проспекту, долго стоял на железном мосту через Омь. Я поднимался к белому дворцу генерал-губернатора. Казаки стояли на часах. Из каменных ворот выскакивали лихие пары коней. Ночью освещался только один Любинский проспект, остальной город лежал во тьме. Но казалось, что бесконечное число мундиров, усеянных блестящими пуговицами и погонами, не требует фонарей. И без того освещают город! Чиновники степного генерал-губернаторства, штаба, суда, интендантства, артиллерийского управления, казачьи офицеры, ученики кадетского корпуса, многочисленных гимназий, учительских семинарий. Все они ждут радости! Наполненные надеждой, они не обращают внимания на город, где нет ни одного дерева, нет мостовых, дома не белят, не красят, кругом грязь. Они ждут,

готовые пожертвовать что-то большое из своей жизни ради приближающейся из степи радости. Только этим ожиданием я объяснял, что в нашей типографии вместо богослужебных книг и священных листков мы набирали программы бегов, афиши открытой сцены, где возле фамилий, обозначенных французским шрифтом, стояли клише высокогрудых девиц с короткими юбками.

Я спал в подворье возле лестницы на дровах. Буфетчик брал каждый день новую расписку: сорок копеек за спанье, десять копеек за хлеб и пять копеек за кипяток. Получалось так, что в конце месяца я отдаю ему все мое жалованье и долг мой не только не уменьшится, но и увеличится. Кому пожаловаться? Где моя сила воли?

Дорога моя в типографию пролегала через барахолку. После получки я шел через барахолку необычайно медленно. Обжорный ряд остановил меня. Возле громадных самоваров громадные потные бабы зазывали едоков. Я выбрал самый громадный самовар, самую громаднейшую бабу и самые громаднейшие пельмени. Я съел сотню. Проглотив пельмень, я думал злорадно: «Пеняй на себя, буфетчик, пеняй». Затем я медленно пошел среди старья. Казалось, оно собралось сюда со всех краев империи, еще храня пышные цвета надежд.

«Индия» — кричала мне истрепанная книжка. Я трепетно взял ее в руки. Господин Ломанский сообщал в этом «экономическом этюде», сопровождаемом картой железных дорог, о неурожаях в Индии и о современной Индии. Тщетно я искал факиров, учителей, мудрецов. Цифры упирались в меня.

— А не встревожит ли вас такая покупка? — сказал смуглый старик, глазастый, изможденный, с руками ежевичного цвета.

Он подал мне две шпаги.

Марка «Гамбург» украшала их. Шпаги эти совершенно походили одна на другую: обе с белыми рукоятками, костяными и длинными. И только присмотревшись, вы понимали, что одна из рукояток имела тайну. Ее отличали три крошечные кнопки. Надавишь первую кнопку — треть лезвия уходит внутрь; надавишь следующую — уходит вторая треть; надавишь последнюю — и все лезвие скрывается в рукоятке.

— Тревожит?

— Сколько стоит?

Одной шпагой я пронжу буфетчика, и, когда придут на место кровавого убийства судебные власти, я покажу им пустую рукоятку. Разве пронзают рукояткой человеческое тело? Или вы, господин следователь, полагаете, что шпага сломалась внутри о его каменное сердце?

Старьевщик тихо сказал:

— Хитрая работа! Вы кладете эту цельную шпагу, вытираете руки полотенцем и накрываете им шпагу. Потом вы берете ту, лезвие которой уходит в рукоятку... Барышни на вас глаза пучат, а вы их цап-царап!..

— Даю шесть рублей, — сказал я, — не для девицы, а для того, чтобы в монастыре чудеса производить.

Старьевщик рассмеялся.

— Необработанная ложь, сырая! Если вас интересует монастырское чудодейство, так я вам укажу, молодой человек, адрес Волшебной библиотеки. Многие люди ищут ее, но я уступлю ради вас. Она, изволите знать, долго хранилась в монастыре. По ней мощи делали и различные чудеса, а теперь сами наблюдаете, мощам не верят — и пустили Волшебную библиотеку в продажу! Но держать ее страшно. Полистает человек ее страницы, а там все чудеса описаны. Как можно их знать! Но и публично продать такую библиотеку еще страшнее. Втайне ищут покупателя, и такого, который бы не донес церковному начальству.

— Лучше ее тогда сжечь.

— Если она Волшебная, то, значит, она не горящая. Раз уж кому чудо попало в руки, тот с ним и срастается. Драгоценнейшее знание, но в Сибири нет такой крепкой души, которая могла бы удержать в себе эти знания. Сплошь пьяницы и распутники.

Он протянул мне тонкую книжку «Руководство по черной и белой магии с присовокуплением карточных фокусов». Ниже сообщалось, что книжку эту напечатал Холмушин в Москве. Череп и пылающий светильник украшали обложку.

— Вот таких книжек сколько угодно купите открыто, молодой человек. Но какая же здесь тайна? За полтинник?

Он забрал все мои деньги. Я получил шпаги, рваные атласные шаровары и кавказские сапоги, мягкие, длинные, чиненные множество раз. Я и сам не знал, зачем я купил эти дрянные актерские шаровары. Пожалуй,

я думал, что никак не годится моя одежда к этим длинным шпагам, никак не возможно в ней зазнаться, распыжиться! И оттого, что старьевщик продал мне шпаги, я еще более поверил в существование Волшебной библиотеки.

Я клал буквы на медную линейку верстатки, а сам думал о шпагах своих и о своих пышных одеждах. Но как я выйду в них в эти бурые омские улицы? Киргизские яркие халаты выцветают здесь в один день, — мне ли победить это степное солнце? Программы летнего сада были приколоты на гвоздик возле моей кассы. Изредка я перелистывал программы. Они хранились здесь с прошлого лета. Я встречал французских фокусников, немецких танцовщиков, английских певцов, испанцев, украинцев, но меня удивляло, что не было ни русских, ни индусов. Я и подумал: атласные мои штаны, яркие сапоги и еще более шпаги годятся для сцены. Я купил широкую шелковую ленту цвета мыльной пены — для пояса. Чалму заменит моя «соломенная собака». Я выхлопал плащ, вымыл в Иртыше кепку, вычистил ботинки.

Я заплатил 30 копеек за вход, за 7 копеек выпил бутылку кислого кваса. До устали я бродил по песчаным дорожкам и наконец вошел в контору. Контора была наполнена реквизитом и музыкальными инструментами. Перед длинным столом лежали кучей пюпитры. Против них сидел маленький человек с огромным лбом и добрыми глазами, а рядом с пюпитрами я увидал необычайно объемистого мужчину в белых брюках и желтой шляпе. У него все было толсто и громоздко. Он слегка прихрамывал, как бы своей хромотой стараясь показать остальному человечеству, что он не так страшен, как об нем можно подумать.

Маленький с огромным лбом и добрыми глазами ткнул пальцем в громоздкого и крикнул мне:

— Не будете ли вы любезны узнать, чего хочет от меня господин Филиппинский? Господин Филиппинский, решили вы наконец, что вам от меня нужно? Из всего разговора, продолжающегося пять часов, я понял, что вы не способны выносить тяжелую работу.

Толстый снял панаму. У него было грубое, как бы дубленое лицо, иссиня-черные волосы и громадный голос, которым он боялся действовать. Прихрамывая, он подошел ко мне и сказал вдруг, будто читая скучную и ненужную книжку:

«— Доктор, выслушайте меня... у меня болит бок, руки, ноги, болит голова.

— Вам следует, сударыня, хорошенько вспотеть.

Дама провела рукой по волосам и сказала:

— Ах, вспотеть! Вы забываете, доктор, кто я. Я графиня и не могу потеть, как деревенские бабы».

«Господин почтенных лет собирался жениться на молоденькой, хорошенькой и очень милой барышне. Полный восторга, он повторял своему приятелю:

— Не правда ли, друг, счастье мое будет полным?

— Это зависит от некоторых обстоятельств.

— От каких обстоятельств? Что ты хочешь сказать?

Приятель погладил усы и сказал:

— Да, например, хоть бы от первого любовника, которого возьмет твоя жена».

— Ну, и что же? Что дальше? — спросил директор.

— Дальше ничего. Это анекдот, — ответил глухим голосом господин Филиппинский.

Директор показал на него рукой:

— Чем он похваляется, вы посмотрите, чем он похваляется! Господин Филиппинский, вы уже много рассказали сегодня, полсотни анекдотов. Вы приходите каждый день, целую неделю вы сидите здесь рядом и думаете вслух. Я человек хороший, но что я могу сделать, если ваш город ко всему так равнодушен?

— Город подлинно равнодушен, — подтвердил толстый.

— Зачем же в нем жить?

— У меня, господин директор, там дом, жена. Собой я нерешителен и не способен выносить тяжелую работу, а затем — лавочники, трое...

— Знаю!

— Рекомендуйте мне, господин директор, актеров.

— Нерешительный человек должен быть мертвецом, а не антрепренером. Вы догадываетесь, о ком я говорю, господин Филиппинский?

— Нет, — сказал Филиппинский. — Я человек набожный.

И он опять чужим голосом рассказал:

«Один кавказец ел суп с горохом. Осталась одна горошина, и кавказец никак не мог выловить ее ложкой в жиже. Он старался долго. Ничего. Кавказец вспыхнул, выхватил револьвер, левой рукой пригладил усы, а правой выстрелил в горошину, сказав:

— Вот тебе, идиотка, на другой раз будешь умнее».

Директор повернулся ко мне:

— А у вас, молодой человек, какой анекдот?

Я ответил с достоинством:

— Я не анекдот, а индийский факир и дервиш Бен-Али-Бей.

Директор добродушно сказал:

— Афишу!

— Какую афишу? — недоуменно спросил я.

— Афишу, где напечатана ваша фамилия и портрет. Могущественных Бен-Али-Беев таскаются всюду тысячи. Мода! Я не могу без портрета. А если самозванец?

Филиппинский широко вздохнул:

«— Что за чудеса? Часы остановились. Почему? Надо часовщику отнести, пусть починит.

— Не носи, папа, все равно не будут ходить.

— Как так?

Мальчик потрогал пальцем нос и сказал:

— А так, мы сегодня с Петей их все утро зубной щеткой чистили, и видишь, все равно не идут».

Директор свирепо вытаращил добрые глаза свои и застучал кулаком по столу:

— Подите вы к черту, подите вы к черту, господин Филиппинский!

Он махнул мне рукой.

— И вы идите заодно к черту, если не способны достать афишу Бен-Али-Бея...

Филиппинский, прихрамывая, подошел к скамейке, на которой я сидел. Он шумно и протяжно вздохнул.

— Директор добрый, но у каждого семейные неприятности, вот он и кричит. А что я поделаю, если имею медленный выбор, а жена увидала во мне характер собирателя людей.

— Вы артист?

— И не артист, и не антрепренер, а размышляющий. Кроме прочего — из окна вижу три лавочки.

Он потер ногу, хотя, видимо, тереть ему ее совсем не для чего. Расчетливый, осторожный, притворный, этот толстый человек не мог быть моим учителем и едва ли помог бы мне найти учителя. Я все еще страдал от грубости директора. Мне хотелось поговорить с толстяком, потому что он по медлительности своей не обидит меня. Я спросил его: не на войне ли он повредил себе ногу.

— Кием переломали.

— Играете?

— Сам не играю, но один раз преждевременно помог наглому игроку.

Не так-то легко разговориться! Филиппинский отвечал предпочтительно вздохами. Вздохнув раз пятнадцать, он вернулся к своим мыслям о дивном городе Петропавловске.

— Сам я отшельник по натуре, но и город наш самый наиравнодушный во всей планете. Поверите ли, после того, как мне ногу повредили кием, три года я не осмелился выйти из комнаты — все с женой играл в «шестьдесят шесть». Город, прямо скажу вам, равнодушием законопачен. Никто моему сидению не удивился!

— Что же произошло, если вы вздумали выехать из города?

Филиппинский вздохнул, поднял лицо вверх, закатил глаза.

> «Один знаменитый омский доктор заболел. Почувствовав себя нехорошо, он сел в кабинете в мягкое кресло и, разглаживая бороду белой рукой, мрачно самому себе сказал:
>
> — Что-то нездоровится, черт возьми. Как теперь быть? Позвать доктора не хочется, а сам себе я слишком дорог».

Раскрашенная девица в короткой оранжевой юбке, улыбаясь, пробежала мимо нас. Филиппинский посмотрел ей вслед и медленно сказал:

— И эту я слышал. Поет вроде как бы пронзительно, но все-таки нашего города ей не расшевелить. Туманные души! Однажды прошел через Петропавловск пехотный полк в полном обмундировании, сопровождаемый пушками. И хоть бы одна душа высунулась в окошко.

Он подал мне визитную свою карточку. Мы посидели, он рассказал мне, непрестанно вздыхая, пятнадцать анекдотов — и тяжело поднялся.

— Пойду, авось гнев схлынул. Мое положение, сами понимаете, совсем отдельное. Не успею я привыкнуть к певцу или певице, как они уже публике омской надоели и заменяются другими. Вся надежда на авторитет директора, а ему не до советов: жену укрощает.

Прихрамывая, вздыхая, он уныло понес свое громоздкое тело к господину директору. На визитной карточке чернилами был приписан его омский адрес. То ли его громадный рост, толщина; то ли что он подошел ко мне и этим утешил меня; то ли его визитная карточка, но мне хотелось видеть в этой встрече нечто многозначительное. Я записывал тогда в клеенчатую тетрадку «мысли мудрых людей» из отрывного календаря преимущественно о тщеславии; хронологические даты, ибо я запоминал цифры и фамилии, и полезные сведения, так как я хотел войти в мир многознающим. Сейчас эта серая тетрадка лежит перед моими глазами. На странице сверху написано:

> Способ распознавать золото от меди. Стоит только дотронуться до той вещи, которую хотят узнать, точно ли она золотая, стеклянной или деревянной палочкой, обмоченной в крепкую водку, как она посинеет или позеленеет, означая, что вещь сделана не из чистого золота, а с примесью меди, так как чистое золото от селитренной кислоты не изменяется.
>
> Мыло для бритья бороды. На два унца очищенного горького миндаля берется унц с четвертью росного ладана, фунт лучшего простого белого мыла и кусок камфары, величиною с орех. Миндаль и камфару надобно истолочь в особых ступках, перемешивать их, прибавляя росного ладана и мыла. Когда все эти вещи в тепле смешаются совершенно, то приготовляют из этой смеси катышки для плитки. Это изобретение Леди Дерби считается лучше прочих.

Дальше под номерами идут анекдоты Филиппинского. Помню, меня особенно удивлял его грубый и скучный голос, которым он рассказывал свои анекдоты.

Удивляло и то, что никто не смеялся его анекдотам. Наверно, записывая их, я хотел посмеяться впоследствии, когда исчезнет совсем этот голос, в котором мне чудилось нечто трагическое. Удивляло меня еще и то, что у него под мышками постоянно прорван пиджак и торчит грязная вата. Сбоку, возле первого анекдота, написано «вата». Видимо, я хотел спросить его о вате, когда познакомлюсь поближе.

Я написал отцу, что путешествие мое развивается нормально. Переписывался я с отцом редко. Сейчас я ему хотел сказать, что я не потерял надежд, а, наоборот, приобрел новые. Отец немедленно ответил мне. Он писал, что по предложению капитана Лянгасова, «который попугая Худак имеет, помнишь?», казаки поселка Лебяжьего решили выстроить банк из алебастра. Отец вполне был согласен и с капитаном Лянгасовым, и с казаками. Алебастр имеет множество преимуществ: не нужно белить, вывеску можно выдолбить прямо в стене, кроме того, камень прозрачный, и отец предполагает предложить архитектору выстроить банк без окон. Тут же отец сообщал, что Петр Захаров разыскивает Всеволода. Захаров прислал два письма моему отцу.

Захаровы славились в Павлодаре великим знанием коней. Говорили, что в древности, при царице Екатерине, Захаровы владели неисчислимыми косяками. Теперь они не имели даже выездов, а старик Захаров служил в казначействе чиновником за пятьдесят рублей в месяц. Отец Петьки Захарова, сутулый, с матовым лицом, постоянно ходил в длинном черном сюртуке, держа в правой руке фуражку. Мещане шептались, что он как-то чрезвычайно любит свою дочь. Елена, дочь его, была высокая, очень красивая, матовая, и весь уезд изумлялся, почему у нее нет женихов. Петьку Захарова я видел мельком, однажды на катке, а сейчас мне было непонятно, зачем ему отыскивать меня. Но мне было приятно, что меня отыскивают, мне казалось, что слава моя уже достигла до Павлодара. Однако, беседуя с самим собою наедине, я сознавался, что сделано еще маловато.

Мне поручили сверхурочно набрать афишу «Гала-представление» на открытой сцене Летнего театра. Я тиснул на станке корректуру, выправил ее. Печатник все еще не приходил. Я рассматривал афишу и думал

о своей судьбе. Я вспомнил директора и его обидные слова. И тогда вместо знаменитой этуали мадам Бефо я вставил описание гастролей знаменитого факира и дервиша Бен-Али-Бея. Среди клише, валявшихся в кладовой, я выбрал портрет, который более всего походил на мое лицо. Я вставил это клише рядом с моим именем, и здесь же я добавил, что объяснение в конце сеанса факира сделает известный всюду Всеволод В. Иванов. Этим я хотел подчеркнуть свое единство с факиром. Я оттиснул на ручном станке один экземпляр афиши, а затем выкинул факира и вновь вставил фамилию мадам Бефо. Давно уже печатник закончил свою работу, давно бы мне уйти, но меня прельщал яркий свет типографии. Время от времени я вынимал из кармана свою голубую афишу и любовался черным именем Бен-Али-Бея!

Бродя по пристани, я увидал спускавшегося с парохода Пашку Ковалева. Веснушчатый, беспокойный, потерявший наглость, он, увидав меня, схватился за голову:

— Уже один чемодан уперли! Нет, Всеволод, не укротить мне своей жизни. Мать избила, выгнала. Владычкин нанял другого наборщика, подешевле. Тогда мать меня избила вторично и приказывает: «Если не можешь быть наборщиком, возвращайся в притон и вези в Павлодар самых лучших девок со всей Сибири!»

— Каких девок? Что девки: дрова или ситец?

— Всеволод, только один ты способен успокоить меня своим благородством. Ведь тут не кое-что, а глубокая драма. Мамаша мне еще вдобавок приказывает: «Доставь павлодарским купцам прекрасную пани Марину». И в то же время крутит мои волосы и бьет меня по щекам.

Мне было жалко Пашку. Я привел его в свой чулан. Пашка устроил постель рядом со мной. Он нанялся к буфетчику. Изо дня в день нарастала в нем наглость. Намеками, осторожно, он выспрашивал меня, куда уехал цирк Коромыслова. Я приказал ему отказываться от тех поручений, которые могут дать ему попы. Но однажды я увидел у него пять рублей. Это он получил на чай.

Я сказал наставительно:

— Незачем тебе было учиться в типографии и уходить от матери.

— Прости меня, Всеволод, — испуганно сказал Пашка.

Я достал афишу и повел Пашку к антрепренеру Филиппинскому. Давая визитную карточку, не рассчитывал ли Филиппинский принять меня актером в свою труппу? Пашку устрою капельдинером.

Филиппинский, толстый, засаленный, тяжело пыхтя, ходил перед «номерами», описывая ногой необычайно большую дугу. Он размышлял. Увидав меня, он сказал:

— Получается, зря я сидел в Омске. В Петропавловск, сказал мне господин директор, прибыл цирк. Актеры, значит, мне не нужны. Зачем же я искал совета?

Пашка беспокойно спросил:

— Не цирк ли Коромыслова?

Филиппинский вздохнул, закатил глаза и сказал скучным басом:

> «— Что ж вам угодно?
>
> — Да мне, собственно, ничего не нужно.
>
> — Тогда зачем же вы к нам позвонили?
>
> Человек потрогал щеку, выпятил нижнюю губу и сквозь зубы сказал:
>
> — А у вас под звонком надпись: «просим позвонить».

Пашка воскликнул, ломая руки:

— Вот и у вас, господин Филиппинский, ничего не выходит, а вы смотрите какой толстый. Разбил ты мое сердце, Всеволод.

Пашкино отчаяние тревожило меня. Мне не хотелось оставаться одному. Я не имел сил выгнать его от себя. Афиша не нужна теперь господину Филиппинскому. А что, если я покажу эту афишу цирку Коромыслова?

— Мы едем в Петропавловск, — сказал я.

2

В медлительности Филиппинского было нечто угрожающее здравому рассудку, которым я считал себя наделенным весьма в сильной степени. При нем мне казалось, что я двигаюсь чересчур быстро. Когда ему нужно выйти утром, он одевался с вечера. Меня удивляло: придешь к нему утром, он лежит в гуттаперчевом воротничке и манжетах. Я спрашивал его:

— Но ведь это неудобно?

Он поднимал кверху глаза и рассказывал анекдот. Похоже было, анекдот он рассказывал для того, чтобы не вести разговора, не думать лишнего. Иногда казалось, что им выучена наизусть толстая книга, он только мысленно перелистывая ее страницы. Если его упрекали в медлительности и неповоротливости, он говорил:

— У нас весь Петропавловск такой. Вот у меня сосед справа, Семен Максимович, так он в гости к зятю шестой год собирается. Пять лет пытается запрячь лошадей в тарантас, а все не выходит! Семен Максимович несравненно медлительнее меня, а что касается соседа слева...

> «Один вор заболел. Он пошел за советом к доктору. Возвращается домой с рецептом и показывает его своей жене.
>
> — Через каждые два часа по столовой ложке.
>
> — Смотри, будь аккуратен, — говорит та ему.
>
> Он выпустил табачный дым из ноздрей и сказал:
>
> — Я, милая, об этом уже позаботился. У доктора со стола часы захватил».

По краям темно-желтая, покрытая светло-фиолетовым небом, равнодушнейшая из равнодушных степь окружала нас. Она ровна до неправдоподобия. Казалось, что поезд не двигается, что все устроено в насмешку: глянцевитые кондуктора, проверка билетов, звонки на станциях, чаепития пассажиров. Начальники станций были все на одно лицо, кондуктора на одно лицо. Я чувствовал приближение Петропавловска по тому равнодушию, которое охватывало меня.

От равнодушия ли, которое нас окружало, или Пашка жалел покинутую службу, но беспокойство в нем не потухало, а увеличивалось. Всюду он боялся встретить неприятности. Если он бежал с чайником за водой, то ему казалось, что он или опоздает на поезд, или его ошпарят кипятком. Соседи непременно утащат чемодан! Он, вспоминая о цирке Коромыслова, тихонько говорил мне, что пани Марина уже надоела Азгерцу. Азгерц способен избить его — Пашку, если почему-либо Пашка откажется увезти пани Марину! Он сидел на скамейке, с тупым и желтым лицом, и особенно беспокоился, ко-

гда засыпал. Ему казалось, что он проспит нечто необычайно важное. Время от времени в нем прорывалась наглость. Почтенному контролеру, который столь важно нес свое тело, будто проверял не билеты, а наше право на существование, Пашка вдруг сказал: «Вам, господин приятный, надо зубы чистить, изо рта гадостью пахнет». Какую-то соседку, очень миловидную, украшенную грудой желто-серых волос, он обозвал «визгулей» и приказал ей замолчать, потому что визгливые голоса портят ему слух, а он предполагает заняться музыкой.

Город Петропавловск ничем не отличался от иных степных городов. Песчаные площади, деревянные тротуары, дома в три этажа — редкость. Перед вокзалом извозчиков не было — и, казалось, вообще в этом городе ничего не было. Дома, лавки, церкви выстроены так, как пишут бумаги в канцеляриях: лишь бы перепихнуть! Нас охватила широченная зевота.

Филиппинский, потирая ногу, уставился взором в забор.

— Твой забор попортили? — спросил тревожно Пашка.

Филиппинский уныло рассказал пять анекдотов, а затем еще более уныло проговорил:

— Расклейщиков, должно, зноем прожарило: до вокзала не дошли с афишами. Или цирка нету?

Пашка мгновенно преисполнился скорбью:

— Плохо рассматриваете, господин Филиппинский. Подойдемте-ка к другому забору.

Я попробовал пошутить, сказав, что директор Летнего сада, чтобы отвязаться от Филиппинского, чтобы не давать ему такого совета, который мог самому директору быть вредным, но от которого господин директор по доброте своих чувств не мог удержаться — сообщил Филиппинскому ложные сведения о прибытии цирка в Петропавловск. Но шутка моя не проникла в господина Филиппинского, а Пашка и без того был тревожнее тревожного.

Афиш не увидали мы и на следующих улицах. Я попробовал остановить прохожих, но они столь холодно и равнодушно смотрели мне в лицо, что я не осмелился и слово вымолвить. Пашка и тут обеспокоился: зачем останавливать, как бы скандала не вышло, по всему видно — людей посетило громаднейшее горе...

Я предложил узнать о цирке в городской типографии.

Возле типографии Филиппинский вдруг остановился, сделал легкий поклон туда, где, по его мнению, все еще стояли обыватели, которых я остановил.

— Разрешите узнать, — медленно сказал Филиппинский, — не предполагается ли у вас представление цирка Коромыслова?

Заведующий типографией, с лицом неподвижным, твердым и как бы жестяным, сказал, словно он был чрезвычайно удивлен тому, что у Петропавловска еще способны останавливаться железнодорожные поезда:

— Цирка у нас быть не в состоянии.

Пашка бдительно стерег всякий повод к беспокойству. Он вытянул веснушчатую свою голову к заведующему и боязливо и в то же время нагло спросил:

— Или вы такие важные, что цирк презираете?

Заведующий, весь наполняясь холодной злобой, также нагло ответил Пашке:

— Если верблюда выдрессировать и он выглянет в окно железнодорожного вагона около Петропавловска, то и верблюд поймет, что здесь из равнодушия к любым дарованиям даже дрессированного верблюда не накормят. Верблюд пройдет по всему цирку, плюнет и скажет человеческим голосом: «Поехали дальше».

Заведующий чрезвычайно удивился и озлобился, когда я спросил, не нужен ли его типографии наборщик.

— Наборщик? Я сам набираю вполне отлично. У меня из-за отсутствия заказов шрифты заржавели.

— Как же они заржавели, — робко сказал я, — если они свинцовые?

— Не в истине ищите пристанища, а в ярких фактах. Шрифты заржавели от голода и злости.

На улице Пашка, боязливо тыча кулаком в громадный живот Филиппинского, сокрушенно выкрикнул:

— Тушить тебя некому, петух ощипанный! Велика ли догадка: послать запросную телеграмму.

Филиппинский посмотрел на телеграфные провода, грузно висевшие вокруг столбов и чем-то похожие на его живот, пощипал вату в прорехе под мышкой — и рассказал анекдот. Пашка сам ответил на предполагаемый вопрос Филиппинского:

— Телеграмму, которая б запросила вашу уважаемую жену: приехал ли в Петропавловск цирк Коромыс-

лова. Кстати, почему вы водите нас по типографиям, а не ведете в свой дом и не покажете жену?

— Для вас у меня нет дома и нет жены, — внезапно оживившись, сказал Филиппинский.

Он покинул нас. Он уходил так равнодушно, что исчезла вся наглость Пашки и я понял, что Филиппинский навсегда забыл о нас, что тщетны были надежды мои встретить в нем советчика!

3

Денег у нас четыре рубля с полтиной. Ехать обратно Пашка не мог, но и вперед двигаться от испуга он не в состоянии. Ему казалось, что он непременно заболеет в дороге или что возле Петропавловска действительно не останавливается поезд! Мне было жаль его, и, только подчиняясь этой жалости, я пошел с ним в публичный дом мадам Легревой, где должны были знать павлодарскую Ковалиху. Я уговаривал Пашку не чувствовать уважения к тому подлому ремеслу, которым занималась его мать, хотя она им занималась сорок лет, хотя, может быть, благодаря этому ремеслу нам дадут приют и пищу. Отчаяние, говорил я Пашке, оставляет осадок на нашем сердце, но горечь эта быстро проходит, и мы придумаем нечто более веселое в ближайшие дни.

Худая женщина в зеленом шелковом платке, смахивая с рук золу, вышла к нам. Когда Пашка назвал свою фамилию и сказал, что послан Ковалихой вербовать лучших веселых девиц для Павлодара, — женщина поправила шелковый платок, посмотрела на нас равнодушнее всех петропавловских равнодушных и сказала:

— Если вас не тревожит запах и шорох, я пущу вас на три дня в сеновал, а потом убирайтесь куда хотите.

Пашка вежливо спросил:

— Нет ли у вас лишних, но красивых девиц, мадам Легрева?

Мадам Легрева укоризненно ответила:

— Они все лишние. — И она показала свои руки. — Видите, приходится хлеб самой печь. Господь бог и тот не догадается, какой красотой и ловкостью развеселить петропавловских мещан.

Она построжала, раскаиваясь в своей разговорчивости:

— На обед прошу не рассчитывать.

— А мы и не рассчитываем, — сказал я. — Если бы не наследство, так мы сегодня же уехали б из вашего города.

Напрасно я думал, что мадам Легрева заинтересуется моим наследством. Я солгал со скуки и оттого, что Пашка говорил с ней слишком почтительно. Пашка необычайно кручинился. Жалость моя к нему исчезала. Он злил меня. Я спал крепко, но меня часто будили его возгласы:

— Неужели мы так ничего и не придумаем, Всеволод?

Пашка всю ночь сидел, охватив голову руками. Из его белесых волос торчало сено. Золотисто-серая луна обычным своим взором смотрела в теплый сеновал. Днем Пашка бестолково метался по городу. Пашка давно бы послал матери отчаянную телеграмму, но ему казалось, что квитанцию на телеграфе еще, пожалуй, выдадут, но телеграмму никогда не отправят. Я страстно жаждал встретить учителя или такую книгу, которая б сразу научила меня той мудрости, для которой я готов. Я останавливался у домов, которые почему-либо казались мне таинственными, необыкновенными. Я тщетно смотрел в их окна. В Петропавловской публичной библиотеке я прочел каталог несколько раз, но не нашел ни одной книги о факирах. Между тем в газетах, лежащих на библиотечном столе, было множество объявлений о тайнах магов. «Проспекты бесплатно, приложите только ваш адрес!» — восклицали объявления. Но у меня даже адреса нету. Нет, не может быть, чтобы не существовала Волшебная библиотека, не может быть, чтобы не нашлось человека, который бы выписал и собрал хотя бы все те книги, о которых кричат объявления.

Я пошел на толкучку.

Удивительная она была, эта толкучка петропавловских равнодушных! Никто ничего не покупал! Торговаться им скучно. Люди действительно толкались среди деревянных балаганов на пыльной и солнечной улице, но толкаться им было совершенно незачем. Я остановился возле сапожника, который казался мне деятельным больше, чем все. Дверь его лавочки все время отваливалась, но терпение его было неистощимо. Только он сядет на табурет и возьмет шило, чтобы притачать

заплату на ботинок,— дверь упадет. Сапожник встанет, прибьет ее длинным гвоздем. Дверь немедленно повалится обратно. Я стоял долго. Пожалуй, я один из всей толкучки любовался тем, как сапожник орудует с дверью. Я стоял потому, что мне было совершенно некуда идти. Питались мы громадными брюквами и двумя фунтами черного хлеба на день. От этих брюкв пучило живот, но я считал пищу правильной. От нее слипались глаза и хотелось спать, но что поделаешь: привычка и последовательность много значат в нашем факирском деле.

Я думал: не лучше ли уйти мне в сапожники и так же бессмысленно прибивать дверь, не лучше ли осмеять вместе с сапожником все мои надежды? Я спросил его:

— Не приходилось ли вам слышать, господин сапожник, что-нибудь о существовании в Петропавловске Волшебной библиотеки?

Сапожник отложил шило. Похлопав ладонью ботинок, он спросил:

— А она чья или казенная?

— Я имею о ней самые темные сведения. Возможно, она и казенная. Она, видите ли, старинная, господин сапожник.

— Казна и старину держит,— убежденно сказал сапожник.— Только в нашем городе старины нету, а до остальных городов наше дело не касается.

— Это, видите ли, записки и дневники различных магов, чародеев, волшебников, господин сапожник.

— В нашем городе волшебников нет,— еще более убежденно сказал сапожник.

Он взял башмак, но в это время свалилась дверь. Он воткнул шило в доску и взял молоток.

— И быть не может! — сказал он, вколачивая ржавый гвоздь, весьма убежденно.

Но странно, слова сапожника наполнили меня решимостью. Мне внезапно надоели брюквы, которыми мы преимущественно питались. Факир имеет право в начале своих мучений хотя бы один раз в неделю есть мясной суп! Я предложил Пашке пойти к Филиппинскому. Я решил поразить его своей афишей. Кроме того, я выбрал из «Черной магии» самый трудный опыт: «проколоть себя безболезненно булавками». А если опыт не удастся, я проколю свое сердце шпагой с маркой «Гамбург». Достаточно даже, чтобы Филиппинский хоть пообещал бы накормить обедом!

Филиппинский жил в крошечном домике в две комнаты. Вокруг домика большой сад, преимущественно из осин. Филиппинский, указывая на толстую черную осину, сказал с гордостью:

— Серебристая, плодоносная.

Из-за осины вышла его жена Ирина Терентьевна. Определение Филиппинского о серебристости и плодоносности больше относилось к жене, чем к осине. Ирина Терентьевна казалась слабо окрашенной, почти белой. Ходила она в длинном ситцевом платье, глаза у нее были маленькие, наполненные чрезвычайной нежностью ко всему слабому. Она постоянно заботилась о стариках, о детях, о животных, любила свой осиновый сад за то, что в нем много вороньих гнезд. У ней много движений, она постоянно гримасничает, ерзает на стуле. Но ни я, ни Пашка не похожи были ни на стариков, ни на детей, и она смотрела на нас — как и весь город — равнодушно. Я многое понял, побывав в доме Константина Степановича Филиппинского. Отец его скупал кожи. Отец его жены занимался рытьем колодцев. Филиппинский и его жена боялись затрат. Три года размышляли: открывать или нет, а пока играли в карты. Открыли. Торговля шла плохо. Филиппинский, а еще больше его жена заботились о репутации предприятия. Он повторял, что только добросовестность обеспечит ему долгий спрос. Он презирал торговцев, которые действуют на легковерие покупателя.

И вдруг, как раз против его ворот, возникло три мелочных лавки! Филиппинский испугался.

— Надо заботиться о будущем, — говорил он нам, ревниво наблюдая за тем, чтобы мы не ели слишком много сахара. — О детях заботиться, о семье. Я ответственный за весь ход моего предприятия.

— А зачем же вам, — спрашивал Пашка, — зачем же вам осиновый сад?

— Придет время, вместо осин разведу плоды.

Много нужно ему передумать, для того чтобы поехать в Омск! Актеров он ненавидел. Он разбирал их странно: то жидкий телом, то чересчур силен и может смутить его предприятие своим пьянством. Мне хотелось узнать, почему же все-таки он решил заняться антрепренерством. Я спросил его, он ответил, что для начала он хочет нанять трех актеров для городского сада, которые в то же время были бы музыкантами. Может быть,

и конкуренты, что напротив, скроются, узнав о широте его замыслов, о его предприимчивости, даже наглости, наконец!

— Ну, какой же оркестр, да еще духовой, из трех инструментов?

Он возразил:

— А барабан не инструмент?

Он отказался накормить нас обедом.

— Я расчетливый эгоист, — сказал он вяло, — мне самому еле-еле пропитаться, а тут еще, гляди, пойдут дети. Чаю дам по два стакана и хлеба фунт.

Пашка скорбно сказал:

— Вы просто, Константин Степанович, мерзавец. Сманили нас черт знает куда, а теперь мы подыхай с голоду.

Филиппинский поднял глаза вверх и сказал:

> «Господин *(лакею, которого он рассчитал)*:
>
> — Итак, мой друг хочет вас нанять? Ну, так я вам дам самый лучший аттестат.
>
> Лакей *(про себя, пощипывая усы и поглядывая вбок)*:
>
> — Вот злорадный человек».

Что ему, этому лавочнику, словно навсегда завернутому в толстый войлок, что ему мои шпаги, мои афиши, моя Волшебная библиотека?

— Пойдем, Пашка!

Но Пашкой иногда в самые неподходящие минуты овладевал отчаянный азарт. У нас осталось только два рубля. Пашка спросил у Филиппинского: существует ли в городе самый ехидный игрок на бильярде. Филиппинский долго думал и даже вздремнул, думавши, а проснувшись, заговорил об открытии буфета в городском саду. Найдется же какой-нибудь дурак, который встанет за буфетом, и тогда наниматель сада будет питаться и процентами и пищей, потому что кто пойдет в буфет? Чем пище пропадать, лучше кормить его, предпринимателя. Но как ты откроешь сад, если нет оркестра?

Пашка считал себя отличным игроком. Вернувшись на сеновал, жуя брюкву, Пашка примеривался, каким замечательным дуплетом он способен подряд положить пять шаров. Биллиардная игра смертельно опасна для людей равнодушных. В ней легко нажить состояние человеку пылкому и рискованному!

Пашка вернулся к Филиппинскому:

— Предлагаю вам, Константин Степанович, мазать!

— Я не умею мазать, — медленно ответил Филиппинский. — Меня смазали один раз, и вот — нет ноги. Не скажу я вам игроцкой фамилии.

— Вы не верите мне? Ну, давайте сыграем!

— Мне нечего мазать.

— Вы можете мазать, начиная с гривенника.

— У меня нет гривенника, — сказал Филиппинский, грузно поворачиваясь.

Пашка испытывал великое беспокойство. Он долго ощупывал бильярд, взвешивал на руке кий, нюхал в лузах, рассматривал на солнце шары. Он и надеялся на себя, и в то же время боялся, что рука его дрогнет. О, эти трактирные бильярды! Много мне пришлось их встретить, много я спорил с маркерами, много раз сидел в соседней комнате за пустым столом и напряженно смотрел на керосиновый свет высоко подвешенных ламп. Приказчики, промышленники, торговцы, ремесленники толпились вокруг зеленой поверхности. Теплый воздух трактира усыплял меня. Шары чокали. Я медленно ел свой пятикопеечный крендель. Из бильярдной несло запахом сытых людей, доносились всюду одинаковые трактирные разговоры об охоте, о девицах, о любовниках.

Пашка выбрал наиболее равнодушного человека. Покрытый поддевкой, в лакированных сапогах, партнер имел толстые красные губы.

Пашка решил для начала играть по рублю, но беспокойство так овладело им, что он сказал:

— Ставлю два рубля!

В дверях бильярдной появился Филиппинский. Он желал проверить: а может, Пашка подлинно отличный бильярдный игрок? Хорошо б, конечно, если к тому же и барабанщик!

Пашка разбил пирамиду. Человек в коричневой поддевке равнодушно поднял кий — и удар за ударом собрал нужное количество очков.

Человек взял из лузы наши два рубля и равнодушно спросил:

— Еще партию прикажете?

Филиппинский исчез.

— Никогда не буду играть в равнодушном доме, — сказал Пашка.

Он схватился за голову, посмотрел отчаянно вдоль улицы и вдруг поднял к небу кулаки.

— Проклинаю! Я всех проклинаю! Лучших здешник девок увезу в Павлодар! Я у городского головы увезу дочь и жену!

Мне было страшно видеть его опустошенную душу. Злило его беспокойство, его бездарная игра, но все-таки я сказал:

— Убежден, что люди в Индии так не страдают, как ты, Пашка.

4

Когда Петька Захаров сказал Филиппинскому, что Всеволод способен глотать шпаги, тот косо ухмыльнулся. При других обстоятельствах ухмылку свою, «грязе-роже-корчу», как Петька называл ее, Филиппинский объяснил бы недели через две, но Петька заставил его объяснить тотчас же.

— Шпаги, господин Захаров, известно, немецкой работы. Вот если бы он сгипнотизировал публику Летнего сада. Вынуть, скажем, глаз из орбиты и вновь его вставить в прежнее место. Это сбор! Три лавочника и те явятся, хотя касса и моя.

Я попробовал было сказать:

— Глаза я еще не достиг, но...

Филиппинский отодвинулся, потому что Петька Захаров для убедительности уперся в его живот.

— Но Всеволод способен безболезненно прокалывать руки, грудь, щеки стальными дамскими шпильками, подвешивая на них гирьки до трех фунтов.

Филиппинский подумал, попыхтел. Явно не веря мне, он задумчиво спросил у Петьки Захарова:

— Почему раньше не сообщил он о таковой его способности?

Я показал афишу Бен-Али-Бея.

— Почему же вы молчали, господин Иванов?

— У меня шпилек нет, господин Филиппинский.

— Достанем. Как же вы до шпилек дошли, а до глаза нет? Впрочем, на все наука и время.

Он поднял глаза к потолку и сказал:

«— Ну как тебе нравится супружеская жизнь?

— Не очень-то.

— Почему же?

— Видишь ли, жена моя с утра пристает: дай денег. Когда я прихожу обедать, та же песня, вечером — то же самое: денег, денег, денег.

— Куда же твоя жена девает такую уйму денег?

Дачник почесал переносицу, оттопырил верхнюю губу, провел по ней жирным и толстым пальцем и сказал:

— Право, не знаю. Я еще ни разу не давал ей денег!»

На столе лежала громадная желтая афиша. По этой афише мне, старому и хитрому индусу, вменяется в обязанность — глотать горящую паклю, шпаги, прыгать на ножи и прокалывать безболезненно свое тело дамскими шпильками, «подвешивая на оные гирьки до трех фунтов весом». Должно было еще в афише значиться, что я беру раскаленное железо голыми руками, но такого опыта я не мог проделать. Подвела «Черная магия» Холмушина. Там говорилось, что нужно натереть руки яичным желтком, смазать клеем и посыпать «одной частью крупно истолченного корня осолотки». Я пошел в кухню, накалил легонько самоварные щипцы и приложил их к ладони. В кухне запахло горящим мясом, и мадам Легрева прибежала на мой вопль.

Я мочил руку в простокваше. Мадам Легрева, поджав тощими руками живот, соболезнующе смотрела на меня и еще больше на испорченную простоквашу. Мне тоже жаль простокваши! Еще позавчера она выгоняла нас. Я был голоден и думал с презрением, что только наружные и внезапные мои страдания заставили мадам Легреву пожертвовать мне свою простоквашу.

Я пробовал колоть щеку. Это очень больно, и тогда я направился к доктору Воскресневу. Этот доктор жил в трех кварталах от сеновала, где мы спали. Он был богат и желчен. «Черная магия» предупреждала: «Некоторые, еще мало опытные экспериментаторы, пока не привыкнут к безболезненному прокалыванию, применяют местные обезболивающие средства, каковым в данном случае служит кокаин». Я не мог заплатить доктору за визит, поэтому я решил, что приду, скажу ему торопливо, что желаю получить рецепт на кокаин, рецепт суну в карман, — не будет же доктор драться со мной? Голова моя горела. Я смущался оттого, что впервые ви-

дел доктора, и оттого, что не мог придумать более лучшего способа добыть кокаин. Я смущенно пробормотал заготовленную фразу. Доктор брезгливо отказал мне и, раскрыв дверь, крикнул в переднюю: «Кто там есть? Войдите».

Петька Захаров нашел и устроил мгновенно: афишу, помещение—школу в железнодорожном поселке. Появился он также неожиданно. Он вбежал рано утром на сеновал, черноволосый, быстроглазый. Он звонко крикнул:

— Здесь ли живут Всеволод Иванов и Пашка Ковалев?

И хотя нам спешить было некуда, он торопил нас и для скорости даже помог мне зашнуровать ботинки. Тут же он быстро рассказал, почему и как приехал он в Петропавловск.

Много я видел людей, которые любят движения, но никогда не приходилось мне встречать человека более подвижного, чем Петька Захаров. Он и спал-то, двигая руками и ногами, но спал в сутки не более трех-четырех часов. Он постоянно искал деятельности и физических упражнений. Эта жажда деятельности помогла ему найти меня. Сдав экзамен в той же сельскохозяйственной школе, где некогда учился я, Петька вздумал убедить И. Сваза, что бессмысленно школе иметь застекленную террасу, когда па этом месте следует разбить цветник, а стекло, оставшееся от террасы, продать. Петька соглашался остаться лишние дни в школе, лишь бы разбить террасу. Сваз удивился. Школьники с увлечением ломали террасу, а Сваз не понимал, почему его прельстило Петькино предложение. Разбивая столб, Петька среди обшивки нашел мое письмо, прочел его, умилился, прочел его вслух — и Сваз тоже умилился. Петька послал письмо к моему отцу, желая узнать, где находится Всеволод. За вторым письмом полетела телеграмма. Петька не стал дожидаться ответа и поехал сам. Мой отец ему чрезвычайно понравился. Петька прожил в Лебяжьем две недели. Они плавали по Иртышу, ловили стерлядей на переметы. Отец рассказал всю свою жизнь. Петька умилился и решил, что нельзя такого редкого человека, как Вячеслав Алексеевич, огорчать:

— «Из твоего парня выйдет толк», — сказал я ему! Я обещал, что добьюсь этого толку. Подумать только: в Павлодаре мечтать о морском капитанстве, когда

и речное здесь в редкость... Всмотритесь, ведь все капитаны из Перми или с Волги.

— Ради Всеволода приехал? — спросил нагло Пашка.

Пашка Ковалев и обрадовался, и боялся Петькиного появления. Кроме того, ему было обидно, что Петька приехал ради меня, а не ради него.

— Не ради Всеволода, а ради лошадей! Ваш захаровский род весь возле лошадей пляшет. Через петропавловских коней разбогатеть? Нет, не дано вам жить великолепной конской жизнью!

— А ты помалкивай, мышачий огонек, — весело отозвался Петька.

Румяный, курчавый, с резко очерченным лбом и сильными надбровными дугами, Петька Захаров нравился мне. Я думал: вот у него тесная и поспешная жизнь, и меня сердило Пашкино бормотание.

— Ну, почему же ты, Всеволод, не в капитанстве? — спросил Петька.

И хотя мне совестно было сознаваться, что я уже не мечтаю о мореходстве, но все же я сознался. Я сказал, что по здравым размышлениям нахожу, что необходимо побывать в Индии. Я подробно объяснил, почему мне нужно там побывать. Пашка Ковалев криво улыбался, но Петька слушал меня с полным уважением. Его удивило только, что я не знал маршрутов и сроков моего прибытия в Индию. Он сказал, что хотя у него нет особой надобности в Индии, но лето у него свободное, а кроме того, он дал слово Вячеславу Алексеевичу помочь его сыну, — он согласен ехать со мной. Его чудовищная энергия пугала меня, но я был ему чрезвычайно благодарен за его решимость. Я показал ему мою афишу, шпаги и сообщил свои соображения о Филиппинском. Петька прочитал афишу.

— Знаешь, Всеволод, я всегда подозревал в тебе крепкую волю. Надо помочь тебе направить ее по великому пути.

Я скромно сказал:

— Упражнения в нашей жизни есть самое главное. Опираясь на эти упражнения, я и достиг превосходства воли, которое помогло мне безболезненно прокалывать щеки.

Пашка Ковалев злился. Ему хочется, чтобы мы разозлились и выгнали б его, потому что сам он уйти не имеет сил.

— Кончишь ты тем, Всеволод, что животы кинжалами будешь прокалывать!

Петька потряс шпагой над головою Пашки.

— При такой шпаге, Всеволод, ты подлинно завоюешь целый мир. А тебя, Пашка, я превращаю в певца. Морда у тебя скучная и вполне подходящая.

Он легонько стукнул Пашку Ковалева шпагой по голове, а затем резко спросил меня:

— Как твое имя?

— А ты не знаешь?

— Я спрашиваю, какое у тебя ученое имя, если ты не хочешь быть морским капитаном. Иванов — не имя, не сила. С таким именем нельзя производить вещественную перемену в пространстве. Иванов способен быть лакеем, швейцаром, почтальоном, чиновником, наконец.

— Бен-Али-Бей, — сказал я.

— Я бы посоветовал взять более простое, например Фогель, или, скажем, доктор Кен, или Эдвард Мори, или Альберт Монти.

— Бен-Али-Бей, — сказал я упрямо, — не забывай, что здесь будет редкое сочетание ученого и факира.

У Петьки осталось пять рублей. Два рубля он дал струнному оркестру из трех балалаек и двух мандолин. На рубль мы купили грима, на полтинник фуксина и на 70 копеек несколько свертков обоев. Мы склеили длинные полосы. Так создалась первая наша афиша. Филиппинский долго ходил вокруг нас и наконец решительно сказал:

— Поставьте внизу подпись: антрепренер Константин Степанович Филиппинский. Предупреждаю, я вам ничего не плачу!

Петька понес продавать билеты значительным людям города. Они отказались. Петька повесил афишу на громадный шест, выпросил барабан в купеческом клубе. Я нес шест, а Петька бил в барабан. Едва мы дошли до Менового двора, нас догнал околоточный на рыжей лошади и весьма грозно спросил, что значит барабанный бой. Петька объяснил, что приехал знаменитый Бен-Али-Бей, а мы наняты факиром для рекламы.

— А разрешение исправника у него есть? — спросил околоточный.

Филиппинский выхлопотал разрешение, но за свои хлопоты он захватил первые десять рублей сбора. Он вытеснил громадным своим животом из-за стола

Пашку Ковалева. Он схапал билеты, он желал торговать сам! Пашка, держась за голову, убежал. Петька Захаров сказал спокойно Филиппинскому, что он его зарежет, если тот возьмет еще хоть полтинник. И все-таки Филиппинский продавал билеты. Он говорил, что ему тяжко, что он из-за нас страдает! Едва появились на дощатых заборах широкие наши афиши, как в его доме обнаружились какие-то ветхие старушки, желавшие видеть Бен-Али-Бея, мага, чародея, отгадывателя. Пришел служащий из городской думы, просчитавший двести рублей и желавший знать, возвратят ли их ему. Филиппинский не мог лгать! Филиппинский взял с него рубль и сказал, что ответ будет завтра, письменный. Являлись барышни за приворотным зельем. Любопытствующий купец желал знать, какова на вкус водка в Индии, почем бутылка и успеет ли он выписать к своим именинам.

Петька Захаров достал где-то длинную круглую железную полосу, укрепил ее возле сеновала на жердях и утверждал, что к следующему представлению он покажет номер на турнике. А сейчас он, если желаете, выйдет на сцену, и все увидят усталость от упражнений! Он несколько раз обошел вокруг Филиппинского и вдруг сказал:

— Ну, что за профессия, Константин Степанович, антрепренерство?

— Отличная профессия, если подыскать настоящего актера и музыканта.

— А я предлагаю вам, Константин Степанович, выйти и рассказать анекдоты. Вы их на ветер сорите!

Я намазал коричневым гримом лицо, намотал на голову «соломенную собаку», натянул свои кавказские сапоги. Сапоги эти Петька «для шику и блеску» смазал столярным лаком: от них широко пахло спиртом. Рядом с гримом на тарелке, вычищенные мелом, блестели громадные шпильки. Тут же, украшенные выцветшими лентами, лежали гирьки «от одного до трех фунтов». А еще дальше — две немецкие шпаги и длинное полотенце.

За кулисами оркестр настраивал инструменты. Ах, как я страдал! Мне казалось, что музыканты вместе со мной понимают, что ничего из нашего представления не выйдет. Завтра на меня весь железнодорожный поселок будет показывать пальцами. Мальчишки сиплыми летними голосами заорут: «Факир стерва!»

Петька Захаров позвонил в громадный землисто-бурый звонок. Поднялся занавес, изгрызенный мышами и продырявленный пальцами драматических любителей, наблюдавших сборы и знакомых барышень. Филиппинский первый появился на сцене.

Мы собрали тридцать два рубля и наполнили зрителями только половину школы. За вычетом расходов нам осталось по четыре рубля на человека. Это был очень хороший заработок, если бы не страшные шпильки. И еще меня злило то, что Пашка Ковалев, который ровно ничего не делал, тоже должен получить четыре рубля.

Филиппинский прошелся по сцене и медленно сказал:

— Сейчас, перед выступлением факира, я буду вам передавать различные анекдоты.

Он посмотрел в потолок, почесал живот, почмокал губами. Толпа сидела молча. Многих, знавших Филиппинского, его манеру разговора, только удивляло, что Филиппинский вышел с мертвенно-бледным лицом и с чудовищно черными бровями. Так его оборудовал Петька. Филиппинский, пыхтя, несколько раз пересек сцену, потер ногу и заговорил. Он рассказывал не меньше часу. Мне казалось, что вот он дорвался наконец к настоящему слушателю и теперь его не оттянешь. Он не делал интервалов, не менял голоса, анекдоты сыпались однообразно, скучно, и никто ни разу не рассмеялся. Наконец публика закашляла, и тогда выбежал на сцену Петька Захаров, щелкнул пальцами и бойко сказал:

— Объемистый осел ходит по сухому месту, и слабость его обнаруживается в сыром, господа публика!

Но публика по-прежнему сидела плотная, равнодушная, тупая. Петька Захаров помог Филиппинскому повернуть его ногу к выходу. Опять никто не рассмеялся. Мне казалось, что, если б сейчас не выступать, я бы очень сильно смеялся над этим неуклюжим телом, медленно исчезающим со сцены. Я помню отчетливо, у меня было страстное желание не запнуться о кулисы.

— Вы готовы? — спросил меня Филиппинский.

Я отложил шпагу с ненавистными тремя кнопочками.

Лучше бы мне купить койку за деньги, потраченные на шпагу. Лучше б мне лежать сейчас на койке, где-нибудь в узкой комнатушке, которую я бы снял за три рубля в месяц. К восьми часам утра я выходил бы на

работу в типографию, к вечеру освобождался, зажигал лампу, брал бы толстый том Купера или Диккенса и читал бы лежа. Кровать поскрипывала бы по-книжному, подобно сверчку. И вздохнув, я ответил:

— Сверчок.

Филиппинский задумчиво, медленно и крепко пожал мою руку и подтвердил с убеждением:

— Действительно, знаете, сверчок.

Дабы меня не упрекнули в том, что я чародействую или чем-то связан с богом, я решил составить лекцию к моим опытам. Речь моя начиналась так:

— Милостливые государи и милостливые государыни! Прежде чем начать свои опыты, я должен вам сказать, откуда и когда появились на земле факиры. В далекие времена жил-был воинственный народ индейцы. У них был обычай: прежде чем принять молодого человека в войско, его подвергали различным пыткам и истязаниям. Например, надевали на голову мешок с живыми муравьями и с пением девушек обводили вокруг селения...

Дальше я говорил, что в моих опытах нет ни магии, ни демонских тайн, или чар, что все дело только в личном гипнотизме, в силе воли, перешедшей ко мне от индейцев.

— Здорово он! — крикнул из-за кулис Петька, и еще громче он крикнул музыкантам: — Господа, марш!

Я показал по рядам зрителей шпагу без белых кнопок, вернулся к своему столу, стал обтирать руки полотенцем и прикрыл им шпагу. Затем я взял шпагу, которая имела кнопки, сделал напряженное и страшное лицо — и надавил первую кнопку. Вдруг я почувствовал, что металл шпаги отодвигается от моих губ. Я начал подвигать к губам, откидывая назад голову. Когда металл остановился, я надавил вторую кнопку, и лезвие опять отходило от меня. Я нажал третью — и пришло время, когда я наконец смог зажать губами рукоятку шпаги.

Я вытянул прямо шею, устремил вперед руки и твердыми «каменными» шагами пошел к зрителям. Я не видел их, но слышал вокруг себя удивленное сопение. Это очень приятно. Я расшевелил равнодушный город!

Но кабы не эти проклятые шпильки!

Я вернулся к столу. Музыка играла веселей. Я надавил кнопку. Лезвия поползли мне в рот. Я весело удалял от себя рукоятку. Я сверкнул шпагой в воздухе. Я подпрыгнул на одной ноге. Я был дьявольски весел. Действительно, этой шпагой завоюешь весь мир.

Но кабы не эти проклятые шпильки!

Я кланялся, мне слегка хлопали. Музыка изображала «На сопках Маньчжурии». Пора приступить ко второму опыту, но мне было страшно. Петька Захаров взволнованно выбежал на сцену и сказал:

— Сейчас знаменитый факир и дервиш Бен-Али-Бей приступает к самому тяжелому номеру своей программы. Прошу соблюдать спокойствие.

Я взял шпильку и стал погружать ее в щеку. Пот выступил у меня на шее. Когда раньше я думал о предстоящем мне страданье, я больше всего боялся пота. Мускулы скользят между пальцев, булавка скользит, сам ты весь какой-то рыбный. Я выпрямился и сосчитал народ, сидящий в первом ряду. Я насчитал восемнадцать. Сколько мужчин и женщин? Я попробовал их оженить, слегка развеселился, пот исчезал, но щеки все же колоть трудно. Я отложил булавку. Мне показалось, что в публике послышался смешок. Тогда я подозвал пальцем Петьку Захарова и передал ему булавку, Петька Захаров сказал:

— Дервиш просит передать, что булавка оказалась сломанной, тупой.

Я обнажил грудь. Тонкая, слюноточивая боль ударила мне в глаза. Головка шпильки запрыгала было у меня в пальцах, я дрогнул было, но, взглянув на эти восемнадцать морд первого ряда, тупо глядящих на меня, взглянув на Петьку Захарова, на его раскрытый восторженный рот, на Филиппинского, который мне не верит, на Пашку Ковалева, который нагло улыбался и своих четырех рублей не возвратит, как бы публика ни избивала этого глупого и неудачного факира, — я еще глубже воткнул в свое тело шпильку. «Только бы не проткнуть артерии, — непрестанно повторял я, — только бы не проткнуть артерии».

Розовый кусочек стали вылез из моего мяса через мою кожу и лениво, розовато блестя, пополз дальше. Кусок груди шириною со спичечную коробку был проткнут мною насквозь. Я повесил гирьку. Я начал с трех фунтов. Боль металась по всему телу, и больше всего

почему-то болели веки. Я быстро взял другую шпильку. Щеки мои горели, рот пересох. Но я улыбался. Я знал законы цирка! Я воткнул вторую шпильку и повесил гирьку. Всего я воткнул восемь шпилек. Осталось только две гирьки. Мне казалось, что грудь моя сорвана, что широко хлынула кровь. Я не чувствовал тяжести гирек, но словно громадный черный гвоздь входил в мои ребра.

Я плотно прижал язык к нижней челюсти. Я быстро схватил оставшиеся булавки и одну за другой вонзил их в щеки. Из заднего ряда какая-то белокурая девушка крикнула:

— Довольно, довольно!

— Чего там довольно,— ответили ей из передних.— Полагается, ну и коли!

Белокурая девушка упала в обморок, и никто не хотел ее выносить.

Я спустился по ступенькам в зал. Я прошел пять рядов, показывая зрителям то, что сделал с собой. Дальше пятого ряда я не пошел: мне чудилось, что весь мой рот наполнен кровью. Мне стало тошно. Я снял самые легкие гирьки. Вытаскивать булавки так же больно, как и втыкать их. Вынув три булавки, я не вытерпел и сказал: «Занавес».

После меня на сцену вернулся Филиппинский, но анекдоты его не слушали, и тогда появился Петька Захаров, который заявил:

— Сеанс окончен! Следующее представление в воскресенье! Масса новых номеров всемирно известного факира и дервиша Бен-Али-Бея, которых мы не смогли показать сегодня, потому что еще не распакована наша аппаратура. Как-то: исчезновение живой женщины в тумане, отсечение головы живому человеку, превращение петуха в лягушку и лягушки в гуся, деревянные яйца, из которых появляется подлинный крокодил, и другое! Музыка, марш! До свиданья, господа публика!

5

Я завидовал и слегка побаивался Петькиной неустрашимости. Мне хотелось подражать ему. Мне было приятно, что я оказался подлинным факиром. Хотя моя грудь и болела, но я гордился своим поступком. Я думал: постоянное беспокойство Пашки, его вытаращен-

ные глаза и руки, простертые к голове, медлительность Филиппинского подействовали па меня, и я чуть было не размяк. Нашлась же во мне смелость пойти к директору омского Летнего театра и предложить свои услуги? Болела б у Петьки грудь так, как болит моя, он никому не жаловался б и вряд ли бы лечил ее. Я лечить грудь не мог, потому что, во-первых, не знал лекарств, кроме тех, которые употребляли в нашей семье — свинцовой примочки и хины, причем хину отец всегда заменял настоем осиновой коры, а во-вторых, если бы я пожелал идти к доктору, то не смог бы — все деньги находились у Пашки, который боялся, что мы, по беспутству своему, способны растратить их в один день. За Пашкиной бережливостью наблюдал Петька Захаров. Петька всячески старался уничтожить Пашкино беспокойство, и это раздражало Пашку, беспокойством своим он как будто любовался, он словно рад видеть себя беспомощным. Я думал с раздражением: «Хорошо тебе, Паша, из-за маменькиной шеи уходить в рабочие, а вот теперь поживи-ка самостоятельно!» Но вежливость мешала мне высказать свои мысли.

Со страхом смотрел я на свою побагровевшую грудь, на темно-розовые пятна, ползущие по щеке. А в следующее воскресенье мне надо выступать! Много раз я решался сказать Петьке о своем отказе, но, увидав его сияющее лицо, его приготовления к представлению, решимость моя исчезала. «Завтра скажу», — думал я.

Мне повезло: нам не дали помещения школы. Зрители поломали несколько парт, стены украсили надписями, фамилиями, некоторыми изречениями, вроде: «какие там факиры», сопровождая это определение более крепкими словами, чем те, которыми мы орудуем в книгах.

Пашка отчаянно завопил:

— Разве здесь можно жить? На каждом шагу или равнодушие, или погибель!

Петька не без удовольствия осмотрел губительные надписи.

— Соображают парни-то, — сказал он, — хорошо бы познакомиться с ними, наверняка б пригодились.

Петька обежал все городские школы, но там уже знали, что факиры загадили железнодорожную школу, и всюду Петьке отказывали. А ему от этого веселей и веселей.

Филиппинский, пыхтя, остановился у лестницы сеновала. Мне показалось, что Филиппинский как будто доволен, что нам не удается представление.

— Я вас могу взять в духовой оркестр, господа.

— Допустим, Константин Степанович, что я сумею колотить в барабан.

И Петька неустрашимо продолжал:

— Но ведь этим-то ребятам надо учиться? А времени нет. Не колотить же троим в один барабан, Константин Степаныч.

— Зато верный заработок, — ответил медленным своим голосом Филиппинский.

— Я не хочу на барабане, — сказал Пашка.

Он только что получил от матери письмо. Пашка телеграммой попросил у нее денег, и мать ответила ему, что денег она не пришлет и вообще он беспутный и глупый сын. Хвалит петропавловских девиц, но не прислал ни фотографии, ни возраста, а телеграммами переговариваются только одни дураки. Петька Захаров спокойно взял у Пашки письмо Ковалихи, разорвал его и сказал:

— Я запрещаю тебе во имя гуманности переписываться. Всеволод, подтверди!

Я подтвердил.

Я удивлялся и радовался тому, как быстро Петька Захаров схватывает и подмечает окружающее, как быстро припоминает, соображает и отвечает на вопросы. Во время разговора он способен мгновенно рассмотреть быстро промелькнувшие мимо предметы. Он видит у сороки испорченное перо, в колесе экипажа сломанную спицу, в окне дома успеет сосчитать все горшки с геранью, если проскачет всадник, он подробно и без ошибки опишет его одеяние. Петька был набит всевозможными сведениями. Он мне напоминал многознающих героев из романа Жюля Верна. Но те сведения, которыми он нас сейчас оглушил, превышали все мои предположения.

Раскидывая носком сапога клочки разорванного письма, он сказал:

— Придется, видно, купить Нубию.

Я читал кое-что о Нубии, но сейчас, от растерянности и неожиданности, я забыл прочитанное.

Пашка Ковалев, не задумываясь, сказал:

— Последние деньги хочешь отнять? Не позволю!..

Петька строго ответил:

— Нубия не дороже твоей совести, Павел, которую ты хочешь продать, сообщая матери о девицах.

— Я с отчаяния, — тихо отозвался Пашка.

Наглость его заметно исчезала. И на него действовала решимость Петьки. Кроме того, несомненно, в одиночестве Пашка был более труслив, чем в Павлодаре, когда его окружала толпа заискивающих хулиганов.

Петька сказал еще строже:

— Ты, Пашка, колеблешься, а тебе надо помнить: обратно в степь ты не вернешься. Если из тебя не выйдет капитана, мы превратим тебя в корабельного буфетчика.

Пашка с отчаянием простер свои руки к голове:

— Сколько же стоит эта Нубия?

Филиппинский поднял глаза к небу, рассказал коротенький и скучный анекдот. Я с почтением ждал, когда же Петька начнет свои объяснения. Глаза и зубы его сверкали, румянец покрыл щеки.

— Нубия, — сказал он протяжно и деловито, — Нубия есть страна в Африке.

— Еще ее нам не хватало, — ответил Пашка.

— Сколько же бывает в иной голове ненужной быстроты, — презрительно сказал Филиппинский.

Филиппинский пожевал, попыхтел и, прихрамывая, поплелся к воротам. Здесь он, зевая, посмотрел направо и налево, шлепнул по плечу возвращающихся в зеленый дом девиц, почесал под мышкой и вернулся обратно. В это время Петька рассказывал об Африке. Пашка смотрел на него со страхом. Ему казалось, что Петька уже нашел такой способ подкупить Нубию, что эта страна пожелает приобрести нас и нас погонят туда по этапу, по дороге будут бить, на станциях будут нас кусать клопы.

Филиппинский слушал, слушал и вдруг сказал:

— Вот из Нубии бы мне артистов. Глядишь, и расшевелили бы!

Петька то садился на землю, то на лестницу, то вскакивал в сеновал и одновременно с этим быстро выкладывал про богиню Гатор, про Рамзеса Второго, про «каменное брюхо», лежащее возле Нила. Особенно долго он говорил об этом «каменном брюхе». Здесь находится знаменитое место Семне, где Лесиус открыл многочисленные надписи, вырезанные на камне, надписи,

дающие высоту нильских разливов в царствование Аменехи Третьего. Всюду возле Семне красуются гранитные скалы, черные и блестящие, изрытые ямами.

— Мы видим, — яростно продолжал Петька, — мы видим с вами высокие берега, узкий канал...

— А зачем мне видеть узкий канал? — сказал Филиппинский.

А Пашка спросил с отчаянием:

— Сколько они с тебя запросили за эту Нубию? И как и почему ее можно купить на наши средства?

Петька Захаров, как я его теперь понимал, рад был придраться к любому случаю, чтобы высказать те знания, которые заполняли его голову. Он любил чертить геометрические фигуры, схемы, планы местности, он обожал хронологическую последовательность событий. Торопиться нам некуда, это правда. И я не понимал Пашкиного беспокойства. К вечеру, рассчитывал я, Петька, наверно, от истории Нубии подойдет и к современной Африке, если в голове его не возникнет какая-нибудь иная схема. Сейчас он выхватил из своего дырявого желтого чемоданчика лист бумаги и показал нам чертежи.

— Ничего не понимаю, — сказал скорбно Пашка.

Петька важно объяснил:

— Мы можем идти из Петропавловска двумя путями. Если мы пойдем влево, под тридцать пять градусов, мы направляемся через Кокчетав, Атбасар, мимо озера Узум-Куль, через горы Улутау, мимо озера Чубар-Тенис, через пески Каракум к Аральскому морю. Здесь мы подойдем к тридцати градусам. На Аральском море мы, возможно, порыбачим и через пески Каракум направимся дальше вплоть до Каспийского моря. Здесь мы, возможно, порыбачим, затем переплывем Каспийское море и попадем в Баку.

Горькая боль отразилась на Пашкином лице. Он сказал протяжно:

— Я не хочу рыбачить. Я уйду лучше домой.

— Тебе, Пашка, надо собирать сведения о том, как и почему страдала твоя семья. Собирать их, эти сведения, надо всюду, а Ковалиху больше всего знают в степи. Хотя она и мать тебе, но я скажу прямо: она довольно преподлая баба, и лучше, чтоб ее не знали в степи. Но что поделаешь! Итак, тебе-то как раз, Пашка, и нужно переходить через пустыню и степи в Баку.

— Сколько же этими степями верст?

— До Баку тысячи полторы, не считая того, что нам придется по разным питательным делам сворачивать в стороны.

— Я хочу домой,— сказал Пашка со слезами.

Филиппинский вздохнул, вытер толстый, жирный подбородок и сказал:

— В Нубии небось еще жарче, чем в Петропавловске.

Петька Захаров продолжал объяснять, тыча пальцем в план:

— Вот что значит невежество и неумение читать географическую карту! Посмотрите, здесь же нет того степного плана, о котором я говорил. Мы идем другим путем. Мы пойдем из Петропавловска на село Петухово, Маршихино, Дубровское. Дальше очень возможно, что мы свернем на Щучье озеро, порыбачим, посмотрим, оправдывает ли оно свое название, затем снова вернемся на тракт. Мы пройдем Шматово, Воротниково, пересечем реку Тобол, выйдем на Сладкий Лог, оттуда рукой подать до города Шадринска. А от Шадринска мы пройдем на Камышлов. От Камышлова на Екатеринбург, а затем мы всегда найдем нужную и денежную работу. Урал страна богатая. Скопив деньги, мы прямым сообщением направляемся к морскому порту, скажем, к Батуму.

Пашка осторожно спросил:

— А сколько же верст останется нам от Екатеринбурга до Нубии?

Петька Захаров поправил что-то карандашом в своем маршруте.

— Пойдем мы среди кустарей, маслоделов, салотопов, дегтярников. Народ они более веселый, не то что у нас в степи — сплошной сон.

— Петька, я хочу знать, сколько верст до Нубии.

Петька сказал торжественно:

— До Екатеринбурга по влажным и тенистым местам, покрытым высокой зеленой травой, возле прозрачных ручьев и рек, встречаемые приветливым народом, мы пройдем триста верст, а пожалуй, и меньше, так как многочисленные обозы, идущие по тракту, будут нас подвозить. Затем нас встречает радушный Екатеринбург, затем гостеприимный Урал открывает нам свои объятия.

— Я хочу знать: сколько же верст до Нубии? Не раздражай меня, Петр. Душа моя болит, и если ты совсем раздражишь меня, я способен пригласить самых плохих девок для моей матери.

Петька нахмурился:

— Я не позволю, Пашка, чтобы в моем присутствии существовал человек, позволяющий себе помышлять о торговле живым товаром. Я тебя пока еще уговариваю, я действую на твою гуманность, но если ты мне надоешь, я просто ударю тебя в зубы.

Петька Захаров важно поднял вверх свою руку, вооруженную страшным маршрутом.

— Смотри, Павел, на Всеволода. Смотри и учись. Как он держит свою шпагу! Как он бесстрашно себя прокалывает! Учись, каких высоких ценностей, духовных и физических, достигает индивидуум.

Петькино одобрение растрогало меня. Я твердо сказал:

— Ну что ж, пора нам и отправляться в Нубию!

Петька замолчал.

Пашка Ковалев сидел, положив голову на руки. Он ядовито ухмылялся. Я понимал его усмешки, и мне они были обидны. Чтобы да Петька Захаров, думал Пашка, приехал сюда ради Всеволода? Пустяки. Ясно, семейство разорилось вконец, услышали они о возможности громадного барыша, ну и направили сюда сыночка. Пашка нетерпеливо ждал, когда Петька заговорит о настоящем и важном для него, то есть о лошадях. Но Пашка слегка побаивался своего азарта: а вдруг не удержусь и Петька увлечет меня?

Петька Захаров свернул план и передал его мне:

— Но, Всеволод, в моем маршруте вы не разглядели главного — пути в Нубию. Полагаю, что если захотим, то мы поедем в эту страну несколько позже. А сейчас мы направимся в Индию. Что же касается Нубии так я говорил о лошади с таким названием.

— Ага, — боязливо и со злом сказал Пашка. — Продолжай.

Филиппинский закатил кверху глаза и спокойно сказал:

> «Судья *(обвиняемому)*. Вы украли у этого человека фрак и клетчатые брюки. Ведь это же совсем не подходит одно к другому».

«Врач на одном голландском корабле обыкновенно предписывал больным вместо лекарства пить морскую воду. По несчастью, случилось этому врачу упасть в море. При всеобщем смятении и старании спасти врача, один из матросов спросил товарища своего о случившемся. Тот, мигая глазами, как будто глаза его запорошило песком, и скребя голову, отвечал хладнокровно:

— Доктор наш упал в свою аптеку».

Петька Захаров в своем маршруте предвидел все ожидающие нас препятствия и бедствия не только географические, климатические, но и, как он называл, «прочие пищевкусовые случайности». Выходило, что глубокой осенью мы приедем в Батум, а там пароходом ли, или с контрабандистами перейдем турецкую границу. Он не убеждал нас «идти с гривенником в кармане», он надеется, что Филиппинский поможет нам открыть какое-нибудь театральное предприятие. Мы выручим деньги и доберемся до Индии. Но театральное предприятие — это дело второстепенное, нас выручит гэнтэр. Странное слово ошеломило нас. Мы даже забыли выбранить Петьку за то, что он, не спросясь нас, составил индийский маршрут. Пашка Ковалев быстро оправился. Он ядовито попросил сообщить подробнее, какие причины заставили господина Захарова прийти к решению о приобретении коня Нубии.

Петька Захаров ответил охотно:

— Самовоспитание, а главное — передача знаний из рода в род создали у Захаровых способность с первого взгляда замечать, какими достоинствами и недостатками обладает лошадь, насколько хорошие качества перевешивают дурные. Это называется экстерьер. Страна наша равнинная. Хороший конь или хороший знаток коней всегда найдут здесь пропитание и удовольствие. Только вашим крайним невежеством объясняю я, что вы путаете слова «Нубия» и «гэнтэр». Нубия и есть гэнтэр.

— Так, значит, ваше семейство ищет гэнтэра? — спросил Пашка.

Петька помолчал, подумал, а затем снисходительно объяснил:

— Гэнтэр, дорогие мои, значит охотничья лошадь. В какие бы условия местности ты ни поставь гэнтэра, она везде сохранит свои достоинства. Гэнтэр всегда

чрезвычайно высок по крови, хотя и не подходит складом к скаковой лошади, так как низок в ногах. В гэнтэре, милые мои, главнейшим образом обращайте внимание на поясницу и скакательные суставы.

Пашка Ковалев уныло сказал, подавленный знаниями своего соседа-павлодарца:

— Мало нам своих скакательных суставов?

— Цена гэнтэра зависит и от того, как он прыгает, но еще больше от того, каковы приемы и характер его прыжка и соответствуют ли они препятствиям. То же самое происходит и с человеком, который отправляется в Индию. Впрочем, к тебе это, Пашка, не может относиться, так как ты дальше пяти верст от мамашиного дома не отойдешь. Продолжаю. Через обыкновенную изгородь, то есть слабое препятствие, хороший гэнтэр прыгает спокойно, без усилий. Высокое и крепкое препятствие гэнтэр преодолевает, напрягая все свои силы, но он должен прыгнуть прямо, верно и опять-таки спокойно. Прыжок через речку имеет абсолютно иной характер! Гэнтэр смело натягивает голову и шею, легонечко берет упор на повода, растягивается и весело и лихо, как бы радуясь своей смелости и силе, устремляется в прыжок. Одно плохо в гэнтэре — дорог!

— Казначейство заплатит, пускай папаша ваш попросит ссуду, — сказал Пашка.

Петька Захаров невозмутимо объяснил:

— За самого обыкновенного прыгуна платят от семи до восьми тысяч франков. Выдающийся гэнтэр доходит до пятнадцати тысяч франков, а редкостный имеет совершенно индивидуальную цену.

— Приличные деньги, — с уважением проговорил Филиппинский.

— Все потому, что гэнтэр единственная лошадь, на которой вы можете охотиться во всех странах света без исключения.

— На кой черт мне гэнтэр?

— Англичане, Павел, дорого ценят жизнь, гораздо дороже, чем ты. Вот Всеволод, факир, знающий Индию, подтвердит общее мнение о завоевателях этой страны.

— Правильно, — сказал я, — они ценят.

— Англичанин на охоте целиком вверяет свою жизнь лошади. Поэтому ради сохранения своей жизни англичанин не остановится перед ценой.

— В Англию поведешь?

— Соображай, Пашка. Зачем вести гэнтэра в Англию? Союз сибирских маслодельных артелей, правление которого найдем в Кургане, то есть в двухстах верстах от нас, поставляет масло для англичан.

Я спросил:

— Где же ты нашел гэнтэра и какая нам от него польза?

Петька не мог оторваться от своих любимых объяснений:

— За деньги, Всеволод, хорошей лошади не купить. Истрать ты великое множество денег на покупки, но если ты сам ездок посредственный, не знаешь лошади, то ты не видишь, чего и как от нее потребовать. Если экстерьер выразить в цифре один, то экстерьер гэнтэра выражается цифрой сто. Кроме того, это не знание, а великое искусство.

С лица Филиппинского исчезло оживление. Он ушел той особой задумчивой походкой, которая часто овладевала им. Он шел, высоко поднимая толстые ноги и описывая хромой ногой два маленьких полукруга, а третий очень большой.

Петька подмигнул:

— Прожгло. Медленный, медленный, а помаклачить хочется. Даже Филиппинский понимает, какое это громадное дело — встреча гэнтэра.

— Сколько же он стоит? — спросил я.

— Весь в язвах. Запущен до неприличия. Поклажу возили! Спина истерта сиделками. Ноги избиты.

— Сколько же он стоит? — беспокойно, уже подхваченный азартом, спросил Пашка.

— Запросили шесть рублей. За четыре с полтиной отдадут.

— Как же ты узнал об его подлинном имени, если лошадь стоит шесть рублей? Шестирублевая лошадь не может иметь имени.

— Всеволод, у тебя есть способности к изучению экстерьера. Вдохновение охватило меня, Всеволод! В этой лошадиной морде было что-то африканское. Едва я прокричал: «Нубия!» — как гэнтэр яростно повел ушами. И пойдет этот гэнтэр вместе с нами по низменности среди пышных зеленых лугов и светло-синих гущ, разъединенных белесыми песками. Гэнтэр толстеет, и, пока мы дойдем до Екатеринбурга, он откормится. Я полагаю,

что на Урале чаще встретятся англичане, нежели в Кургане.

Пашка Ковалев уже не мог больше сопротивляться чудовищной логике курчавого павлодарца. Пашка весь дрожал, он шел бледный. Теперь он боялся одного: как бы Петька Захаров не удрал на этом редкостном гэнтэре. Я тоже верил Петьке. Я верил его крайней осторожности и в гипотезах и в выводах. Я верил, что гэнтэра он хочет приобрести ради нашего путешествия, а не ради блага своей павлодарской семьи. Он сказал, что ко всяким дедукциям, не подтвержденным фактическими данными, он научился относиться с недоверием. Математики, по преимуществу науки дедуктивной, он не любит и мало к ней способен. В собирании фактов, в проверке своих предложений он неутомим. Здесь он обнаруживает громадную настойчивость и трудоспособность.

Он на память нарисовал на заборе схему тела гэнтэра. Этот рисунок еще более распалил Пашку Ковалева. Курчавый павлодарец перевел этот рисунок на клочок бумаги и для проверки потащил нас в публичную библиотеку. Однако фигур гэнтэра в библиотеке мы не обнаружили. Тогда Петька Захаров повел нас к знатоку лошадей, который имеется в каждом городе и который похож на всех остальных лошадиных знатоков. Казачий полковник Мясницкий был худой черный человек с рыжими усами, в поддевке, стриженный в скобку и в необыкновенно высоких сапогах. Пожаловавшись на приближение старости и выпив по сему случаю на глазах у нас пять рюмок водки, полковник достал книгу Филипса «Основы выездки», раскрыл ее с великим щегольством, но не обнаружил портрета гэнтэра. Полковник растерялся. Он имел всего 12 книг, так как полагал, что достаточно прочесть в течение года одну книгу, а через 11 лет неизвестно, доживешь ли до прочитанной книги, а что забудешь ее, так уж это наверняка. Он достал фотографии, ибо во всей его библиотеке не обнаружилось гэнтэра. На выцветшей фотографии молодой, но невероятно усатый Мясницкий стоял возле туманного пятна — низкого и длинного. Полковник налил шестую рюмку водки и сказал, что это туманное пятно как раз тот самый гэнтэр, которого мы ищем.

В узком и бледном дворе бойни, окруженном черным забором, возле светло-зеленых столбов мы увидали табун коней, приготовленных для уничтожения. Кто мог

предполагать, что возможно соединение стольких уродов! Здесь ржали, бились или стояли чудовищно неподвижно множество коней неописуемых мастей, неописуемой грязи и худобы. Табун чихал, кашлял, чесался, ржал. Всюду мы видели коросты, следы побоев, раздробленные головы, на каждом шагу мы наталкивались на кости.

Петька Захаров, изображая на лице бесстрастие, подвел нас к низенькой лошадке. Он мизинцем указал на нее приказчику. Приказчик вывел лошаденку из табуна к воротам. Петька с напускным презрением сказал мне:

— Ты посмотри ей в очи, Всеволод. Это единственное, что не разъела в ней парша.

Глаза у Нубии были серые, умные, ясные и какие-то детские. Весу в ней, полагаю, не больше пяти пудов. Спина ее, как и спины остальных коней, оборвана, в ранах. Торчат ребра. Постукивая по ребрам, Петька сказал одобрительно:

— Очень удобно, между прочим, вся внутренность наружу. Лечить легко.

Масть ее вроде соловой с пушистым хвостом, как у лисицы. Шею Нубия имела длинную и тонкую. Одно ухо у ней, то, которое стояло, отливало желтым, а другое, лежащее, было разорвано на три части и обладало странным фиолетовым цветом, словно его исписали химическим карандашом.

Пашка Ковалев не мог оторваться от глаз Нубии. Он собрал все сведения, которые имел с детства о конях, но ни одно из них не подходило к этой удивительной лошади. Азарт удерживал Пашку от неодобрительного приговора. Кто знает, а вдруг в этом коне есть нечто удачное? Вонь, кашлянье и лошадиные жалобы наполняли сердце мое тоской и тревогой. Петька подумал, что я не одобряю Нубию. Он отвел меня в сторону:

— Ты осмотри ее, Всеволод, внимательно. Мало того что это гэнтэр, но это еще редчайшая порода гэнтэра, более всего уважаемая в Англии, то есть религиозно-филантропическая. Но мало того, что она религиозна, она никак не замыкается в узкой сфере личных религиозных переживаний. Ты не найдешь в ней, Всеволод, созерцательного отшельничества. Это, Всеволод, не лошадь, это даже не филантроп, а это моралист — проповедник, направляющий свое внимание не на

догматическую основу учений, не в сторону интеллектуальной критики веры, но в сторону соответствия данного учения той жизни, которую она наблюдает!

Я вернулся к лошади. Мне не хотелось обижать Петьку. Я робко спросил:

— За каким лешим лошади надобна религия?

— За таким лешим, за каким она нужна и человечеству. Когда человечество разочаруется в религии, в ней разочаруются и лошади.

Петька повернулся к приказчику:

— Не рекомендовал бы я вам держать здесь религиозных лошадей. Ведь если она начнет петь перед смертью псалмы да подхватят вдобавок другие лошади, вас же совесть замучает?

— Шесть рублей, — холодно сказал приказчик.

— Последняя цена четыре семьдесят, — проговорил Петька. — Лошадь заморена, ни в шкуру, ни в мясо. Я беру ее из сострадания.

— Мы ее берем, — сказал Пашка.

— Мы ее берем, — повторил Петька, — за четыре семьдесят.

— Пять пятьдесят, — еще холоднее сказал приказчик.

— Пять! Обратите внимание, что даю пять.

Пашка Ковалев вдруг крикнул:

— Пять двадцать.

Азарт овладел не только Пашкой, но и мной. Я чувствовал, что если приказчик будет упорствовать, то мы заплатим не только шесть, но и семь рублей. Я ударил ладонью приказчика по руке:

— Пять восемьдесят.

— Берите, — сказал приказчик. — Ведите, если доведете, но недоуздка я вам не выдаю.

Петька взял Нубию за гриву. Я привязал ей на шею мою «соломенную собаку». Пашка Ковалев поддерживал ее за хвост. Конь, вихляя задом, ставя каждую ногу на свой особый манер, плелся среди нас в густой теплой петропавловской пыли. Он чихал и кашлял без устали.

Азарт быстро покинул меня. С горечью думал я, что теперь нам не ехать по железной дороге. Где поезда, где полки, на которых отлично дремлется, где кипяток, которого сколько хотите на станциях, где жирные шаньги, которые продают жирные бабы?..

Мадам Легрева не пустила Нубию в свой притон. Она считала, что этот несуразный конь заразит весь скот. Мы пасли Нубию по очереди за зеленым домом, возле пожарища, длинного и заросшего крапивой.

Филиппинский останавливался возле, неподвижный под жарким неподвижным солнцем. Он задумчиво смотрел на свою кривую и толстую ногу. Мне казалось, что он думает о своей жене. Петька Захаров уже успел пленить Ирину Терентьевну Филиппинскую. Он натащил ей множество слабых и несчастных животных. Она восклицала, что никак нельзя было подозревать о существовании в городе стольких несчастных! Кошки быстро тучнели у ней, собаки приобретали сразу же зычный лай и мохнатую шерсть. Откормив, она собственноручно обдирала животных и собственноручно красила и выделывала шкурки. Филиппинский говорил нам:

— Она раздаст всю мою лавку несчастным.

Петька жал ему руки.

— Единственное спасение, Константин Степаныч, идти вам в Индию. Когда вы научитесь произносить анекдоты с интонациями, вы станете самым знаменитым анекдотистом Индии, выпишете жену. А если вы не пойдете, я навсегда остаюсь в Петропавловске, притворюсь больным, слабым, остановлюсь возле вашего дома. Кошку ваша жена может откормить и ободрать, а если она откормит нищего, так ведь его не обдерешь? Но и отпустить тоже жалко. И тогда ваша жена влюбится в меня!

— Я все-таки не пойду.

Петька каждые два часа осматривал и ощупывал Нубию. Он выпрашивал овес и хлебные корки в казачьих казармах, собирал помои у соседей, а в промежутках по-прежнему упражнялся на турнике. Он приказал Пашке заниматься музыкой. Мы купили на толкучке балалайку за семьдесят копеек. Искали сборник куплетов, которые бы распевал Пашка, но сапожник с падающей дверью убежденнейше сказал нам:

— В нашем городе ни волшебства, ни куплетов быть не может.

Однажды, когда курчавый павлодарец приготовлял лекарство для Нубии, посыпая краюху хлеба «калганом», я вспомнил о Волшебной библиотеке, которая бы могла принести и пищу, и более быстрое выздоровление

Нубии, съедавшей часто то, что мы приготовляли для себя.

— Волшебная библиотека? — спросил Петька. — Если там хоть одним словом обмолвились о производстве фальшивой монеты, — библиотека в Петропавловске! Фальшивомонетчики по наружному виду самый равнодушный народ, а кроме того, и весь-то Петропавловск фальшивая медаль!

Я рассказал о своем хождении на петропавловскую толкучку.

— Выше! Выше бери, Всеволод.

В Петропавловске печаталась тощая газетенка, сообщавшая городские происшествия. Полагаю, что это была самая равнодушная газета в мире. Вы засыпали на первом же столбце. Действие ее обыватели знали отлично, поэтому объявлений в ней не водилось. Петька Захаров придумал напечатать наше объявление на первой странице: «Волшебная библиотека» — эти слова должны были разжечь сердца фальшивомонетчиков. Они пожелают откупиться от нас, и если мы не получим Волшебной библиотеки, то тысячу-то рублей наверняка. Петьку Захарова смущало только то обстоятельство, что эту тысячу придется, как обещал он, отправить учителю Вячеславу Иванову для организации лебяженского банка, а хотелось бы на эти деньги откормить Нубию!

Редактор, белесый и дряхлый, в серой рубахе ниже колен, лениво прочел наше объявление. Я открыл было рот. Я хотел сказать речь о том, сколь важно для России изучение факиризма. Я хотел просить напечатать это объявление бесплатно. Редактор вернул объявление и сказал кратко:

— Начальство запретит. Бессмыслица. Откуда Волшебная библиотека? Адресоваться к Филиппинскому? Кто адресуется к Филиппинскому, если всем известно: «Давно ли насморк?» — спросите вы его. Ответ через год. Медлительность таковая начальством не одобряется.

— Мы укажем наш адрес.

Редактор выслушал этот «наш» адрес.

— Начальство запретит. Зачем справки пойдут в публичный дом? Много пишут о домах терпимости. Зря. Здесь начальство рекомендовало бы медлительность. Пусть существуют «они» молча.

Петька купил десть бумаги. Мы ее разрезали на мелкие клочки. Мы от руки размножили объявление: «Ищутся книги из Волшебной библиотеки, относящиеся к области телепатии, ясновидения и факиризма». Дабы начальство не беспокоилось, мы указали адрес «До востребования».

Несмотря на то что мы оказывали мадам Легревой всяческое почтение, когда мы вернулись после расклейки объявлений, сеновал оказался запертым на висячий замок. Возле лестницы плакал Пашка. Мадам Легрева грозила полицией и написала жалобу Пашкиной матери.

Петька прикрепил удила к недоуздку. Мы распутали Нубию.

В лавочке Филиппинского произошел длинный разговор об Индии. Филиппинский целовал жену. Мокрые его поцелуи, казалось мне, лежат всюду. Мне было грустно. А в середине разговора Петька Захаров задумал пошутить:

— А вам известно, Ирина Терентьевна, что начальство не одобряет медлительности вашего супруга? Начальство видит в этом символ. Оно право. Судите сами: медлителен, толст, широк в плечах и прочих местах, наполнен анекдотами, хром. Колосс на глиняных ногах. Россия!

Ирина Терентьевна побледнела. Кулек с изюмом выпал из ее рук.

— Вы бы, господин Захаров, при покупателях не говорили такого.

— Я говорю всегда при свидетелях, Ирина Терентьевна. Кроме того, слышал этот разговор и Всеволод. Печать, а следовательно и начальство, не одобряет вашего супруга. Всеволод никогда не лжет. Всеволод подтвердит.

Петька подробно изложил наш разговор с редактором. Филиппинский попробовал было рассказать анекдот, но жена его начала нас расспрашивать об Индии. Вторая половина нашего разговора была чрезвычайно серьезна. Азарт овладел Пашкой: он жаждал путешествия с Филиппинским, хотя и сам не понимал выгоды этого.

— Направляясь в Индию, вы, Константин Степаныч, с одной стороны, докажете, что вы не символ, раз вы интересуетесь индийской мелочной торговлей. — Петька Захаров подошел вплотную к Ирине Терентьевне

и сказал тихо: — С другой стороны, мы уничтожим разговор о неодобрительной медлительности вашего супруга. Уничтожим его тем, что он идет пешком в Индию. В-третьих, он докажет самое главное, что он не воплощенная Россия, которая хоть и много лет стремится к походу в Индию, но никак не раскачается!

— Долго ли идти? — спросила Ирина Терентьевна.

Петька взял меня и Пашку за руки:

— Выйдем, а супруги пока посоветуются.

Мы стояли у палисадника. Из дома слышались крики, визг, что-то, звеня, покатилось. Я вспомнил «бочку Пима», пароход, Иртыш, матросов...

— На графин наступил, — сказал Петька спокойно. — В сущности, на кой прах он нам нужен. Но нет такого животного, которое бы нельзя выдрессировать. Я его приготовлю для лебяженского банка швейцаром.

— Оставим его, Петька.

— Он жирный, Всеволод, — сказал мне Петька на ухо. — Ему надо много жрать, спать, а для этого он будет доставать деньги. А кроме того, без него Пашка Ковалев не пойдет, да и жалко мне толстяка!

Выкатился, тяжело пыхтя, Филиппинский с узелком и темно-серым байковым одеялом в руке. Оторопело осмотрел он Нубию. Так как раны еще не зажили, то Петька укрепил кое-как наше имущество к ней на зад, возле хвоста. Туда же добавил он и узелок и одеяло Филиппинского.

— Как же я сяду на эту лошадь? — сказал Филиппинский. — Она переломится.

— Будь она здорова, она б увезла и всех твоих конкурентов, Константин Степанович. А сейчас ты пойдешь пешком.

— Пешком? Я не переношу физической работы.

— А ты пойди посоветуйся с женой, Константин Степанович.

6

Далеко позади оставлял я спутников. Я размахивал руками. Я говорил вслух. Я пламенел восторгом. Мне представлялась Индия. Я видел ее в стихах. Я уходил вперед для того, чтобы показать свою неутомимость. Я подражал Петьке Захарову. Я страдал, когда Пашка и Филиппинский требовали отдыха для ночлега.

— Еще пятьдесят один столб, — просил Петька.

— Неужели вам не пройти трех верст? — говорил я пересохшим ртом.

Мы почему-то считали, что верста вмещает 17 телеграфных столбов. Трудно тащиться эти последние три версты, но я с Петькой добросовестно считал столбы, тогда как Пашка накидывал лишние, а Филиппинский, мокрый с ног до головы, пытался руками передать анекдоты, чтобы отвлечь наше внимание от столбов...

Я безмерно уважал Петьку Захарова, этого «человека без заплат», как называл его Пашка Ковалев. Какого бы напряжения умственного и физического ни требовала работа, курчавый павлодарец не утомлялся. Он обладал способностью засыпать мгновенно. К тому же он, как лошадь, мог спать стоя.

Я сочинял стихи об Индии, но тяжелый путь, песок и ветер сокрушали меня. Я верил, что дойду до Индии, но стихи не верили. Я объяснял это своим неумением изобразить словесно то, что я видел впереди за бурым трактом. Постепенно дружба пересиливала индийские красоты. Я верил в дружбу. Вернее, стихи мои верили в дружбу.

Я читал громко свои стихи. Я их читал медленно, каждое слово вмещало три шага. Медлительность, казалось мне, усиливает густоту их раскраски, обнажает их смысл, уравновешивает Индию и нашу дружбу. Это были странные стихи, вязкие и длинные. Я помню их плохо. Приблизительно они таковы:

Час, длинный час усталый Пим шел на высокий холм.
Песок, песок и вновь песок мешал ему идти.
Озерный дол, индийский дол с холма увидит он,
С того холма, где, говорят, кончалися пустынь пути!
Журавль покой здесь стережет
У красных и закатных вод.
Метелки устремил камыш
Здесь в голубую тишь.

Так, вожделением томим, шагал песками бедный Пим.
Взошел. Взглянул. Протер глаза.
На небе облаков воза.
А вдоль и поперек — вновь степь, —
Не смерить и не оглядеть!
И снова бурый беркут в ней.
Вдоль тракта ленточка костей.
Не утешение же в том, что Пим осилил дикий холм?
И сел в пески наш бедный Пим. (Мы слабости ему простим.)
Но ветер дул, но ветер дул, но ветер все играл,
И на иное повернул он ветряной штурвал.

Пим взбешен, Пим взбешен!
По песчинке унесен
Из-под Пима дикий холм!
И Пим поет, и Пим кричит: — Я с холма не сойду,
Пускай намечут к небесам иную мне гряду!
Молва обманет нас, друзья! Индийский дол — ветла.
Друзья, обманут холмы нас. Обманут нас ветра!
Но дружба выведет нас в индийские края!
Но дружба вдохновляет нас, иную жизнь кроя!

Одно только смущало меня в мыслях об Индии: это необходимость колоться. Пытался я думать, что это развлечение для европейцев. Едва факир войдет в родную страну, как окажется совершенно лишним колотье. Пытался я утешаться и тем, что смотрел на то, как Нубия бодро переносит свои страдания. Ее раны куда глубже моих! Удивительный характер был у этой лошади! Наблюдая за ней, трудно было отрицать знание коней, которыми хвалился Петька Захаров. Если Нубия видела чьи-нибудь страдания или усталость, она, витиевато расставляя ноги и махая разноцветными ушами, подходила к пострадавшему и долго с великой нежностью смотрела на него. Особенно она любила стоять возле Филиппинского, когда тот у перекрестка падал на траву и каким-то распухшим голосом говорил, что дальше он не идет. «От моего пота трава вокруг мокра». Филиппинский перекатывался, показывая землю, мокрую от его пота. Нубия, не моргая, смотрела на него, и я убежден, что, если бы Филиппинский влез на ее спину, она тащила бы его, преисполненная счастьем.

Петька немедленно собирал кизяк, наливая в котелок воды, быстро кипятил, заваривал и, подавая большую чашку чая, резко говорил:

— Подкрепись и не распускаться вперед, Константин Степаныч!

Иногда мне казалось, что Филиппинский и побаивается, и ненавидит, и завидует Петьке Захарову. С каким-то особым, злым выражением Филиппинский поднимал глаза вверх и говорил:

«Арестант, входя в камеру одиночного заключения, приглаживая редкие, уже поседевшие по краям волосы, вежливо говорит тонкогубому надзирателю:

— Позвольте затруднить вас вопросом, выставляют и у вас за дверь сапоги для чистки?»

Петька спокойно выслушивал и деловито отвечал:

— Пристрелить! Для мужиков не годится. Плывите к другому анекдоту, Филиппинский! Анекдот нужно рассказывать на разные голоса.

— Какие там разные голоса!..— говорил Пашка Ковалев.

Пашка лежал на животе, безнадежно уставившись в песок испуганными и заплаканными глазами. Пашка брал горсть песку и быстро пропускал его сквозь слабо окрашенные пальцы.

— Дедушка мой, Евграф Ковалев,— говорил он плаксиво,— был вполне приличный человек. Ему приходилось торговать салом и солью. Но привстречался ему случай, когда исправник попросил помочь соблазнить крестьянскую девицу. И покажись это дедушке Евграфу более выгодным, чем торговля салом и солью! Держит он у себя соблазненную исправником девицу, а та собирает подруг, тоже соблазненных различными чинами. К подругам похаживают гости. Призывает исправник дедушку и говорит: «Я тебе зла не желаю, помня твое добротолюбие, оказанное мне, однако надо б тебе патент выхлопотать!» Пришлось деду Евграфу патент взять. Помирает отец, передается девичник моей матери. Она не отказывается, так как с детства существовала в развращенной семье. Возобновляет она патент, крестясь на икону.

Пашка вскрикивал от злости:

— Вот этого я ей никогда не прощу!

— И не надо прощать. Ты копи побольше обид, Пашка. Обиды, как яблоки, зреют, глядя друг на друга... — И Петька наливал Пашке чаю. — Отец-то у матери кто был?

— Кабатчик. У них весь род кабацкий. Водку у них по гостям разносили девушки. Это еще издавна, когда на девушек патентов не требовалось.

Петька улыбался, клал руку Пашке на плечо и говорил:

— Вот тебе и надо теперь такое средство открыть, чтобы от продажных девушек народ отучить и от водки. Теперь ты из степи, Пашенька, вышел...

— Ничего я не вышел и никуда я не выйду!

Петька указывал на горизонт:

— Эка! А вон там, вглядись, горы. А за ними море.— Он сжимал пальцами ноздри и смеялся.— Я даже чув-

ствую, как водой пахнет, ноздри стягиваю, чтобы не побежать.

Вдалеке была такая же степь, что и рядом с нами,— тусклая, отливающая снизу фиолетовым. Мне казалось, что Петька, обладая редким разведывательным даром, действительно видит горы и море.

Пашка брал новую горсть песку:

— Ну, научился я типографскому ремеслу, а что толку? Как я напечатаю свою кабацкую жизнь? Опять я голь! Опять я страдаю!

— Ты забудь, Пашка, забудь! Забудь, что ты несчастный. Несчастного, брат, и на слоне собака укусит. Имей короткую память на страдания. У меня, уверяю, было их не меньше, а вот не помню. Хорошо только помнить, что приятелям твоим скучно слушать жалобы на одно и то же. Вот Филиппинский, так тот рассказывает анекдоты, но различные. Мы выберем из них десяток, который принесет ему полную и приструганную славу, вроде той, которую имеет Всеволод.

— Какая у Всеволода слава?— говорил уныло Пашка.

Петька не желал, чтобы я слушал эти разговоры. Он говорил мне обычно:

— А ты иди вперед, Всеволод, размышляй, общее дело! Фокусы придумывай! Если тебе лень их производить, ты мне набросай принцип, а схему, чертежи и всю аппаратуру я сделаю сам. Объерзаю все ремесла, но причалю к смыслу!

Мне не хотелось отказываться от факирства и превращаться в фокусника, но мысль о предстоящей боли терзала меня. Я скромно говорил:

— Пожалуй, ты прав, Петька. Зритель не любит, когда выходит этакий дядя и начинает в себя вгонять гвозди. Им все равно, что фокусник, что сила воли.

— Ну, как сказать! Номер с колотьем тем хорош, что публика сразу видит — дело без надувательства, а дальше ты ей какие угодно аппараты подсовывай.

Впадая в свойственное ему восхищение, Петька Захаров начинал говорить несколько туманно и обильно, снабжать свою речь «репками мудрости», как он называл свои присказки. «Кругла, гладка, бела моя речь, как мытая репка, Всеволод!» Он не был болтуном. Все, что попадало в «репку мудрости», он считал продуманным и требующим выполнения. Идеи его распределялись

по трем сортам. Он держал книжку, куда их и записывал. Идеи первого сорта — это были: путь в Индию, капитанство, наука. Идеи второго сорта: помощь друзьям и приятелям. Другом числился я, приятелем — Пашка Ковалев, Филиппинский и Нубия. Идеи третьего сорта: сбор общеполезных сведений. Эта графа была всегда пустой, так как все «общеполезные сведения» он держал в голове.

Я страдал, но страдал я, должно быть, не очень сильно — Нубия еще не подходила ко мне, в то время как степень страданий Пашки Ковалева и Филиппинского мы узнавали по ее приближению к ним. Особенно часто она торчала около Пашки Ковалева. Пашка злился, кричал, что она его непременно заразит сибирской язвой. Он требовал, чтобы мы на ночь спутывали ее подальше, иначе она непременно лизнет его в лицо.

— А ты глаза не мой слезами, а мой водой,— совал ему Петька свою «репку».

7

За станцией Петухово, возле села Житки, нас встретили первые березовые «колки», рощи. Мы разожгли громадный костер, и Петька дал нам целый день отдыха.

Мимо шли обозы. Возчики подходили «за угольком» для трубки.

— Откедова, православные? — важно спрашивал Петька.

— Села Нижней Мостовки,— так же важно отвечали возчики.

— Чаво обозите, православные?

— Хомуты, клей, кожа.

— Выростковая али сыромятная, православные? Али обувью?

— Всякая. А вы чего обозите, парни?

— Пух.

Возчики оглядывались. Петька показывал на нежные — желтые и синие — облака. Возчики потирали усы:

— Ну и с богом везите его.

Петька глядел им вслед и сообщал, что в Житках, например, выделывают до пятисот тысяч штук овчин в год, зимой отсюда идут обозы по ярмаркам, мужики се-

мьями шьют шубы, а часть овчин продается в Нижнем. Он издали узнавал обозы. «Эти,— говорил он,— с рукавицами, исподниками, шерстяными опоясками. А это гончары. А это тащат башмаки, сапоги, бахилы, «коты». Филиппинский вздыхал. Он завидовал его внимательному взору, его разгадчивому разумению.

— Громада не в телесах заключается, Филиппинский, — кричал Петька, — учитесь!

— Грозно мое учение,— бурчал Филиппинский.

Мне хотелось узнать, что же он думал об Индии: верит ли, что мы туда дойдем, чему он собирается там научиться. Но его трудно было расспрашивать: он или рассказывал анекдоты, или жаловался на тяжелую дорогу.

Нам уже попадались озера. Лесная долгожданная тишина охватывала нас. Костры наши занимали все более обширное пространство. Я опасался лесного пожара. Петька собирал с деревьев великолепные куски смолы и кидал их в костры:

— Дегтю сколько пропадает, дегтю! Неправильные, должно быть, у них аппараты: дорогие и громоздкие. Примечай, Всеволод, подумай насчет дешевого смологоночного аппарата!

— Филиппинскому надо примечать,— отвечал я внушительно. — Факир же занимается психической деятельностью, а не промышленной.

— У тебя же огромный ворох психики, отдели хоть немного и для промышленности!

Мы проходили мимо пшеничных полей. Петька щупал длинные колосья. Замечания его были верны и дельны. Филиппинский вздыхал. Петька собирал кучки овса и кормил ими Нубию. «Для здоровья» он примешивал корни одуванчика... Ему казалось, что Нубия поправилась, поздоровела. Пашка Ковалев говорил, что в той породе, к которой Нубия принадлежала, если и имеются какие-либо достоинства, то отнюдь не лошадиные. И точно, Нубия никогда не ржала, на лошадей она не обращала внимания и даже чуждалась их, а затем, откуда это неиссякаемое сострадание, которое светилось в ее глазах? Если нам встречались по дороге нищие, она останавливалась и качала головой, и будь у ней ломоть хлеба или несколько копеек денег, она сумела б выбрать из нищих самого несчастного.

20 июня, вечером, мы подошли к селу Мокроусову, Петька сообщил нам, что село стоит у верховья реки Кы-

зак, что это центр хлебной торговли, что отсюда отправляются обозы хлеба для сплава на Урал, что с 24 по 27 июля здесь ярмарка.

На площади, приминая крапиву, купцы «громили», разбивали ящики с товарами. Колыхались высокие, иссиня-черные весы, ярмарочные, веселые. Прыгали вокруг гирь парнишки. Стаи голубей носились над балаганами. Балаганы все новенькие, из приятно пахнущего искристого теса. Я вспомнил ярмарку, на которую ездил с дядей Кузьмой Македоновым. Будь бы мокроусовская ярмарка среди наших казаков, приезжай бы сюда знаменитый факир и дервиш, казаки б пришли толпами на представление, а позже хвастались бы, что «факиришко» научился прокалыванию у них, казаков, потому где ж иначе найти ему великую храбрость и волю?

Мне казалось, что мокроусовская ярмарка и мокроусовские жители сполна набиты и снабжены, как боярышник шипами, подозрительностью. Они маклачили, торговали, покупали, воровали и ни на одну минуту не доверяли друг другу. Что перед ними Пашка Ковалев! Ребенок! Муравей, попавшийся им на палец, казался им конокрадом. Они до боли в глазах разглядывали товары, до опухоли в пальцах ощупывали их, и трудно было понять, откуда же все-таки у них появилась уверенность, что вещь придется купить.

Но Петька не унывал. Мне он говорил: «Готовь уколы», Филиппинского торопил с анекдотами — «мужицкими, увертливыми», от Пашки требовал, чтоб балалайка ходила «тычком, намеками, попреками, одним словом — куплеты». Два дня он потратил на то, чтобы уговорить школьного попечителя, лавочника с китайскими глазами и с истрепанными губами, отдать нам для представления «классы». Попечитель, тряся губами, говорил ему:

— Нельзя, господин, в школу вводить лошадей.

— Да у нас, господин попечитель, не лошадь, а знаменитый факир и дервиш.

Попечитель не знал и не хотел знать объяснений.

— Вот я и говорю вам, господин, зачем нам в школу лошадиное рыло? Еще нагадит на пол, а у нас в переднем углу иконы в серебряных ризах.

— Все мы фокусники, а не лошади.

Петька для убедительности привел с собой Филиппинского.

— Вот этот господин из брюха вытащит вам три пуда бумажной ленты!

Попечитель отвечал резонно:

— А зачем вы тогда всюду с таким «тряхтряхтным» конем?

— А вы знаете, господин, что такое гэнтэр?

Участковый пристав, Тевкелеев встретил нас подозрительно. Лицо у пристава было как ушат, а ноги как прутья. «Ухо-парень», — шепнул мне про него Петька. Пристав прочел нашу афишу и сказал вежливейше:

— Если вы под видом какого-нибудь фокуса пропустите в школу коня, мы отправим вас по этапу.

В присутствие вошла приставская дочь Татьяна. Это была спелая девица, розовая и легкая. Ее киноварное ситцевое платье весело развевалось. Она кротко улыбнулась нам, и мы поняли, что она одна во всем этом громадном длинном селе смотрит на мир без подозрительности.

— А вы, господа, спектакль не предполагаете ставить?

Петька ответил ей немедленно:

— «Евгения Онегина»?

— «Евгения Онегина» у нас ни к какому сроку не присрочить. Очень много об ревности. У нас народ крайний и не захочет возникновения в себе лишних чувств про своих жен и дочерей.

— Тогда мы поставим «Красный фонарь». У нас большие мастера насчет красных фонарей?

— О пожаре? Что вы!

— А разве у вас нету брандмейстера?

Пристав сказал:

— Я и есть брандмейстер.

Петька вежливо поклонился ему:

— А вы думаете, я не узнал? Я пожарника за пять верст вижу. У них голос борзый.

Девица кротко продолжала:

— У нас село не горело лет пять, трущоба, зачем их беспокоить?

Мы долго беседовали с ней. Она так же, как и отец ее, была приторно вежлива. Но вежливость больше свойственна ей, чем этому ушату коленкорового цвета. Удивляло и то, что она необычайно ловко улавливала всяческие шорохи и шумы. Достаточно повести губами, а она уже понимала, что вы говорите. В прихожей чешет-

ся стражник. Она скажет: «А вы бы жука с шеи сняли, Семен». Сидит спиной к окну, слышит, как на подоконник вспрыгивает воробей.

Возвращаясь от пристава, Петька сказал про нее:

— Один из нас ушиблен девицей. Солнцепек. Притаяла она нас!

— Ананас,— сказал вдруг Филиппинский.

Петька обиделся:

— Не девица ананас. Нубия наш ананас! С ее помощью я скачки в Мокроусове открою.

И тут же он предложил нам устроить представление на площади. Надо натянуть канат между двумя ветлами и пусть, для начала, пройдет по этому канату Филиппинский. Впервые я увидал, что Филиппинский испугался. Он вздрогнул, остановился, вытаращил глаза и реденьким голоском сказал:

> «— Иван, как тебе не стыдно напиваться! Тебя могут в участок забрать!
>
> Лакей покачал головой, харкнул в ладонь, гася в ней таким образом папиросу.
>
> — Не беспокойтесь, ваше превосходительство, у меня завсегда с собой ваша визитная карточка».

Они умиляли меня!

Я прочел им свое длинное стихотворение о дружбе и бедном Пиме.

Петька чрезвычайно растрогался. Он обнял меня и поцеловал сначала в губы, а затем в щеки:

— До полусмерти ты поразил меня, Всеволод. Большемерный ты человек. Я желаю тебе: пусть будет восьмиверстной гора, на которую ты выйдешь.

Он подумал, помычал под нос, очевидно, вспоминая мое стихотворение, и сказал:

— Стихи хороши, но трусоватые.

— Чем же они трусоватые? Впервые слышу, чтобы стихи были трусоватые.

— Трус значит не только трус, но трус значит землетрясение, трепет, страх и дрожь. Здесь есть страх перед неизвестностью, а человек должен быть храбер. Затем, их понять можно только с голоса, Всеволод. Вот к примеру: «Индийский дол — ветла». Когда ты говорил мне скорбно «ветла», а «индийский дол» восхищенно и с насмешкой, мне понятно — ты хочешь сказать, что вместо индийского дола этот самый бедный Пим встретил жал-

кую ветлу. Но и тогда грустить ему не о чем! Если ветла — значит, есть намек на воду. Другое дело, если у Пима в желудке спазмы и он не способен дальше двигаться, но спазмы не упоминаются.

— Да дело не в Пиме, а в дружбе!

— Правильно. Я и одобрил стих твой за дружбу.

Он пожал мне руку. Филиппинский тоже протянул мне потную свою длань.

— А главное, эти стихи плохи тем, Всеволод, что их петь нельзя.

Он прислонился к дереву и, глядя на село, которое мы миновали, высоким голосом запел:

Вы, ребята, собрались,
За веревочку взялись...
Да, ух!..
Золотая наша рота
Тащит черта из болота...
Эй, катай, братцы, катай, знай покатывай, катай,
Эй, валяй, братцы, валяй, знай поваливай, валяй!

Он щелкнул пальцами, сплюнул и сказал:

— Вот как надо составлять стихи. Ты, Всеволод, теперь напишешь для Пашки куплеты про мокроусовские порядки, проучи их. И насчет Нубии вставь. Стихи, брат, убеждают лучше любого опыта.

Я учтиво сказал:

— Допотею и до куплетов. Не знаю, как вы думаете, друзья, но я вам скажу, что перед мокроусовским зрителем трудно с факирством выступать. Если я даже и проколю себя шпагой насквозь, по-настоящему, то и тогда они не поверят! А еще менее поверят они моим шпилькам. Что для них шпильки, когда они ежедневно режут себя ужасными серпами подозрений?

Петьке, видимо, нравилась моя витиеватая речь. Он кивнул головой.

— А опыт со шпагами? Мокроусовцы влезут на сцену и заметят, что я меняю шпаги. Разве их удивишь индийскими факирами? Вот если бы пришли и без подозрительности купили у них всю ярмарку, тогда б они поверили в любое наше волшебство.

Филиппинский пропыхтел:

— Чего ж тут в грязи полоскаться? Ползком, но домой.

— Твои подозрения основательны,— сказал Петька,— растрогал ты меня стихами, Всеволод. Вот что я вам

предлагаю. Брось дуть губы, Филиппинский. Я сватаюсь за Татьяну. Девка гривастая, дикая, это, брат, тебе не корова. Ты видал у ней рот, Филиппинский? Кровяной. Это, Филиппинский, не твоим грибам чета! Причудилось мне или как, но что-то она глазами шагала в мою сторону...

— Глазами нельзя шагать,— сказал я.

— Всеволод, я ей делаю предложение — и скачу! Отец — в слезы. Я ему — выкуп. Папаша у ней вор, мошенник, что ему стоит выдать тридцать рублей ради сохранения невинного образа дочери.

Экий лукавый! Уже пришатался. Татьяна уже была мне близка, а этот хотел ее угнать, как коня... Но не столько предложение Петьки волновало меня, сколько усмешечки Пашки. Девка «гривастая» действительно, а с Пашкиным родовым опытом увести ее легче, чем с Петькиной удалью.

— Есть способ менее причудливый, чем увоз,— сказал я.

— Пришвырни его, Всеволод.

— Заменить представление факира драматическим спектаклем.

— Но у нас, Всеволод, нет ни одной пьесы.

Я протянул руку вперед с пальцами, сложенными так, словно держал карандаш, и торжественно сказал:

— Рука способна написать стихотворение? Способна написать куплеты? Она способна написать и любой спектакль.

Петька звучно поцеловал меня в лоб.

— Ты великий человек, Всеволод,— сказал он, еле сдерживая слезы.

Умиление еще более сильное, чем прежде, охватило меня. Я громко повторил им свой стих о дружбе. Они промолчали.

Мы вышли на полянку, где Пашка сидел у костра, упершись руками в колени и с ненавистью уставившись на Нубию. Петька быстро рассказал ему о нашей выдумке.

— Сейчас спектакль к нам прицепится, вдругорядь какая-нибудь эпидемия. Если вдуматься, так сдутые мы с земли люди. Права была моя мамаша,— сказал, выслушав нас, Пашка.

Петька спросил, вытаскивая карандаш и бумагу:

— Какое ж название твоей пьесы?

— «Игра счастья».

— «Игра счастья»? Для здешнего зрителя подозрительно. Ярмарка — и зараз: игра счастья. Давай другое.

— «Капризница».

— Капризниц здесь бьют. Другое!

—«Картина с натуры».

— Пристав не разрешит. Он вежливый, но не воодушевленный.

— «Китайская роза».

— А ты чаем торгуешь?

— «Когда мужчина плачет».

— Ну, что с тобой, Всеволод? Мужчина здесь плачет тогда, когда его бреют в солдаты или когда разорился. Ты такое, которое им и невдомек, что ты ехидный сочинитель.

— «Благородные люди»?

Пашка безнадежно свистнул. Филиппинский сказал:

> «— Послушайте, господин Б., ведь собака, которую я у вас купил, не кобель, а сука.
>
> Господин Б. сел и, согнувшись, медленно поправил загнувшийся край брюк. Его собеседник с недоумением увидел, что господин Б. без носков. Поправив брюки, господин Б. сказал:
>
> — Ах, сударь мой, уж это порода такая: ее мать также была сука!»

Помолчали. Петька сказал задумчиво:

— Благородных людей здесь нет, но все же, обсуждая основательно, придут мокроусовцы к выводу: а любопытно ведь посмотреть самих себя! Покажи, что это за благородные люди?! Но не комкай, не мни. Помни, Всеволод, что зад лучше рта, не умеющего говорить. Не прыгай через смысл, изъясняй вдосталь, сигнализируй вспышки страстей...

— Оборотится же вот эдак неудачно природа, — вздохнул Филиппинский завистливо, отворачиваясь от Петьки. — Обыкновенную пыль назначат оберполицмейстером!

В Мокроусове за десять копеек мы купили каравай хлеба и молока, вместе с глянцевитой, оранжевой с красным, холодной крынкой. В золе костра пеклась картошка. Мне отрезали ломоть и первому поднесли молоко.

Держа в руках крынку, не спеша отхлебывая, я рассказывал:

— Сорочко, пожилой и пухлый вдовец, «полпьяна» дает обещание Илье Тяготейчику, квартальному надзирателю, мужчине под сорок, из военных, тоненькому и хриплому,— выдать за него дочь свою Настеньку. Тяготейчик тоже подвыпил, ну и соглашается на брак. Пляшут, целуются. Тут можно будет песни спеть. Проспавшись на другой день, Тяготейчик и Сорочко оторопело смотрят друг на друга. Да, наделали они делов! А как же поступить теперь? Ведь они люди благородные, но ведь не хочется брать назад свои слова. Приходится Тяготейчику, женихом, ходить ежедневно к Сорочко, подарки носить невесте, любезности рассыпать. А невеста от него прочь. А ему кажется, что подарки малы, а крупнее и жалко, и, с другой стороны, ему, как человеку благородному, неприятно видеть свою жадность. А невеста Настенька, этакая румяная и спелая, любит молодого факира Черемухина. Тут происходит множество недоразумений, столкновений. Черемухин узнает, что Настенька его надувает, принимая подарки. Черемухин даже топится в реке, но не совсем. Происходит опись имущества у Черемухина, производит ее Тяготейчик, и он же находит письмо Настеньки к факиру. Читает: оказывается, она любит другого! Тяготейчик думает: я-то благородный, но остальные-то как? Он пытается узнать о благородстве и показывает письмо Настеньки ее отцу, просто как любопытный документ, найденный, мол, в болоте. Сорочко читает и высказывает свое мнение. И тогда Тяготейчик предлагает быть благородными до конца и скрепить брак несчастных молодых людей своим согласием... Дьячковы, Осипов, Волчков фон Зейден и молодая женщина Ульяна Гусева явятся, надеюсь, подставными, но довольно метко очерченными характерами.

Петька воскликнул:

— Здорово придумано!

Пашка, мешая палочкой в костре, обратился к нам и сказал:

— Я знал в жизни своей только одного факира. Но мой факир, по его же словам, встречал других факиров, которые были точной его копией. И он утверждал, что у этих бездельников нет никакого имущества. Впрочем, обтолкуйте.

Петька ухмыльнулся:

— Нечего и обтолковывать. На кой леший факирам имущество, Пашка?

— А как же? Там описывают имущество факира Черемухина. И что это за факир с фамилией Черемухин?

— Мы назовем его Черему,— сказал я поспешно.— А имущество...

— Пашка — он способен все обтонить, любое разумное бревно превратить в тупую иглу,— проговорил Петька,— Черемухин не факир, конечно. Он приказчик. Полное его наименование Иван Григорьевич Черемухин, приказчик торгового дома «Брусникин и сыновья».

Петька немедленно добыл сверток обоев. Я составил афишу. Подсчитали действующих лиц. Нам не хватало четырех мужчин и двух женщин. Пашка предложил было просто-напросто вычеркнуть «подставных метко очерченных лиц», но Петька не уступил ему: «Тебе и куплета не соединить, а он целую драму составил».

Татьяна Тевкелеева, кроткая дочь пристава, согласилась играть Настеньку. Она уговорила школьного попечителя сдать нам школу. Она отправилась вместе с нами собирать «любителей драматического искусства». Позже много раз приходилось мне сбирать любителей, но мокроусовские любители были сидни из сидней!

Все они жаловались на болезни. Однн не хотели играть с Григорием Петровичем, а Григорий Петрович с Софьей Алексеевной, а Софья Алексеевна с Григорием Петровичем. Выбирали не мы их, а они нас. Они расспрашивали нас подробно о нашей родне; о том, как и откуда мы попали в Мокроусово; часами они осматривали нас вдоль и поперек! Им казалось, что мы хотим занять у них денег или утащить одежду. С мужчинами еще туда-сюда, при помощи Петькиной энергии и толстого брюха Филиппинского, к которому они чувствовали уважение, нам удалось убедить, но вот женщины! Мужья, женихи, любовники, матери, тещи, дети, племянницы, тетки, зятья — все поднялось против нас. Все это гнало наших любительниц, толкало их обратно в комнаты, оборачивало к нам их толстые мокроусовские зады!

Петька клялся, что поцелуев в пьесе не будет, что ближе как на три сажени ни один из нас не подойдет к дамам; наконец, возьмите ножи и встаньте за кулисы!

Петька достал топор и несколько обрезков тесу от ярмарочных балаганов. Он соорудил комнату, из обоев мы склеили занавес.

— Нет грима?

Петька купил столярного, так называемого «шубного» клея. Петька осторожно остриг гриву Нубии. Лошадь наша помолодела.

— В любой чаще охоться,— сказал Петька,— ни за один кустарник гривой не заденет!

Черновик пьесы я написал на обороте обоев. За пятак мы купили десть дрянной бумаги, и я мелко-мелко переписал свою пьесу. Свою роль я соорудил так, что мне удобно было одновременно и суфлировать и играть: я постоянно лежал за сценой пьяный и только изредка высовывал голову и говорил: «Безошибочно, но она невеста!»

Мои друзья сбирали в селе скамейки и табуреты. Пьесу мы репетировали на крыльце, а если сбирались мальчишки, мы шли в пригон. Мы репетировали, сидя на бревнах, окруженные кустами бурой крапивы. Татьяна кротко говорила нежные слова. Мне казалось, что она говорит мне. После каждой сказанной ею фразы мое сердце разводило невероятную сумятицу во всем моем теле. Язык присыхал к небу, а руки отсыревали. Я ее любил! Я любил ее легкие шаги, ее способность улавливать шумы. С великим замешательством слушал я, как она, далеко до кудахтанья, говорила: «А вот выпало яичко, курочка освободилась». И пять минут спустя оторопело выскакивала из кустов курица, широко распластав крылья. «Сказать ли Петьке о моей любви?— думал я.— Он высокий и великий друг! Он поможет мне умчать Татьяну. Он найдет попа, уговорит пристава — и пристав простит нас».

— Исправник разрешил спектакль?— спросил пристав, вечером подойдя к школе.

Я ответил:

— Полагаю, вам присланы циркуляры с разрешенными пьесами, господин пристав?

— Я знаю их наизусть,— сказала кротко Татьяна.— Но я не встречала там «Благородных людей».

Мы пошли с приставом в присутствие. Он достал две маслянистые синие тетрадки. Мы прочли их от начала до конца. Пристав сказал наставительно и вежливо:

— Нету. Вот кабы такую, а?

И он ткнул пальцем в строку, где значилось название пьесы: «Жена, карты, или Вред алкоголя», комедия-водевиль, сочинение П. И. Г.

Господин пристав страдал запоями. Я вежливейше ответил ему:

— Видимо, вы еще не получили того списка, в котором значится наша пьеса?

— Видимо, не получил, господин Иванов.

— Тогда мы играем «Жену, карты». Она у меня есть.

Я вставил в свою пьесу несколько фраз: о женах и картах, восхваляющих трезвое поведение, о вреде запоя. Пристав подписал афишу. Но тут возникло еще недоразумение. Для смеху я соорудил в пьесе дьячка-заику, постоянно спотыкающегося и пьяного. Роль дьячка мы назначили Пашке. Во втором действии дьячок оказывается переодетой женщиной Ульяной Гусевой, которая читает длинный монолог о пользе воздержания. Пашка завопил:

— Множество несчастий претерпевала моя семья, но чтоб такой заворот!.. А если мама узнает? Я смеюсь над лицами духовного звания? Я, который, в сущности, переодетая женщина?

Пашка отказался играть.

— Так его и тащит обратно в свое дупло, сову ночную! — сердился Петька.

— Поэзия прежде всего — искусство, — сказал я наставительно, — искусство владеть пером.

Я вычеркнул дьячка и заменил его поваром.

Голубая наша афиша занимает почти всю стену школы. Мы сидим у входа. Мы радушно ждем посетителей. Наши мысли «нараспашку». Мы смеемся, шумим, переругиваемся любовно с парнишками.

Солнце закатилось. Сторож орудовал колотушкой. Пели и бранились на ярмарочной площади пьяные мужики. Но и они стихли. Пропели петухи. Мы все сидели, постепенно стихая, возле крыльца школы. Забрезжил рассвет, а мы все еще не продали ни одного билета. И когда взошло солнце, мы поднялись и пошли к нашей полянке.

— Где там до Индийского океана дойти, — сказал Пашка, и никто не возразил ему.

Так провалилась первая моя пьеса.

8

«Благородных людей» забросили в крапиву, и на обои вылез обрюзгший, широкоплечий, в яхонтового цвета чалме факир. Шпага прокалывает его сердце, а другой рукой он поддерживает лошадь, которую, согласно сообщению, он обязан держать в зубах, — но лошадь не поместилась. «Лошадь ржет рядом», — объяснял Петька любопытным.

Еще задолго до заката появилось в школе семейство Тевкелеева. Щеки кроткой Татьяны рдели. Первый ряд состоял из табуретов, которые мы с трудом выпросили. Тевкелеев постучал пальцем по табуретам — и приказал стражнику принести «присутственные стулья». Семейство сидело на этих «присутственных», давая нам советы, как лучше раскрыть занавес: обои рвались, и занавес капризничал. Палящий зной делал руки, лица эмалевыми. «Сварюсь, в голове будто кипяток», — бормотал Филиппинский.

— Переряжаться пора, сбор десять рублей, — сказал важно Петька. — Я выступаю первым, а то, боюсь, декорация не выдержит: турник вам не шпилечки!

Турник мы укрепили столь неудобно, что отовсюду мы натыкались лбами на эту железную полосу. Опасаясь, что мы разболтаем школу, я советовал водрузить турник снаружи.

На кувыркание Петьки публика смотрела чрезвычайно поощрительно: ноги его задевали потолок, летели мимо оконных рам. Декорации тряслись. Петька покрикивал. Пашка бренчал на балалайке. Попечитель опасливо поглядывал на окна и потолок, явно разболелся.

После турника вышел Пашка Ковалев с балалайкой. Он вынужденно, бодрым голосом, тощим и сиплым, пропел куплеты, которые я составил о Мокроусове, об ярмарке и торговле скотом, о том, что надо торговать умеючи, не пьянствовать. Пел он боязливо. Публика слушала без единой улыбки, словно ожидая, что куплетист вот-вот расплачется.

За день до представления Петька дал Филиппинскому список анекдотов, одобренных «мной и Всеволодом, а Пашка свободен смеяться, чему он хочет». Филиппинский вышел с этим списком. Он еще не решил: нужно

ли говорить по списку? Он долго и молча стоял, упершись рукой в потолок. Хрупко-желтый свет керосиновых ламп устремлен в его раздавшееся без толку брюхо. Наконец он скомкал список, разжал кулак. Список выпал. Он наступил на него ногой и высыпал беспорядочную кучу нелепых, не смешных рассказиков. Петька, обтирая потное тело грязным полотенцем, бушевал: «Много его еще придется наезжать! Я его теперь возле турника заставлю потолкаться!» Он прервал рассказы, выйдя на сцену:

— Для идиота вся планета в ямах, он и на льду растает. Вот это анекдот!

Пристав рассмеялся. Публика тоже. Петька весело продолжал:

— Сейчас выступит знаменитый факир... А после чего я буду показывать вам карточные фокусы.

Кто-то сказал, икая и сопя:

— Надо бé лошадь...

— Если к тому времени лошадь не околеет, — сказал Петька, — то будет и лошадь. Не советую вам очень-то натыкаться на нашего гэнтэра.

— Чего?

— Лошадь, говорю, кусучая.

Подозрительно-настороженно смотрели на факира зрители. Они не верили ему! Им казалось, что факир делает опыты с какой-то темной целью, хочет в чем-то их обскакать. Петька стоял возле моего стола. Он понимал чувства зрителей. Он пробормотал: «Недославили, недосахарили твое выступление, Всеволод. Будет с них». И я стал колоть щеки. Тот же сопящий, икающий сказал:

— Надо бе лошадь, слышь ты, курчавай!

— Ввели себя в тело, ишь, опился, болван! Знай свое стойло, — крикнул вдруг бойко и зло Петька.

В классе наступила тишина, напряжение. Все ожидали драки. Но сопящий струсил, и Петька сразу пересоздал зрителей. Они круто повернулись к нему, они уважали его смелость, находчивость! Во время фокусов, нехитрых, гимназических, они охали и хлопали себя по ляжкам. Я услышал возглас того икающего и сопящего, возглас почти восторженный:

— Этот тебе не пересовывает глаза, не отводит, не надувала!

Это я-то надувала! Я «отвожу» глаза, морочу их? Горько мне было. А Петька, упиваясь успехом, шаркая ножкой, показывал туза, плевал на него, и в руке его лежала дама. А в переднем ряду, на венском стуле, вспыхивая и тоже шаркая ножкой, смотрела на него кроткая дочь пристава. Я скреб себе грудь, истыканную шпильками, наполненную режущей, рваной болью. Я думал: эти торгаши, кустаришки много раз были обыгрываемы на ярмарках странствующими шулерами. Сейчас им мнится: они учатся ловить шулера, забреди-ка к ним теперь шулер!

Представление окончилось — никто не спросил о лошади. Петька, чванно осматривая сбор, сказал:

— Сегодня десять, а завтра будет не меньше двадцати. Тридцать целковых наскребем — приятно!

Сердясь на свою обиду, на плохие мысли о Петьке, на его успех, я все же не смог осилить себя:

— Ранняя спесь! И хоть ничто не имело такого успеха, как твои опыты с картами, однако я боюсь, не подумает ли Иван Иванович про Ивана Петровича: вот, мол, он, Иван Петрович, понял сегодня в картах гораздо больше моего, и сядь теперь я с ним за стол, он в одну минуту обжулит и обыграет меня. Поэтому Иван Иванович начнет Ивана Петровича отговаривать идти на следующее представление фокусников. Мы и затратим совсем лишние деньги на керосин и на афиши. Кроме того, попечитель, увидав, что мы ни с того ни с сего зарабатываем деньги, запросит у нас пять рублей за школу, а не три, как сегодня...

Пашка уныло сказал:

— Вдобавок этот сиплый непременно не Петьке, а мне, по ошибке, челюсти своротит!

— Твои размышления, Всеволод, не лишены основательности,— ответил мне Петька.— Начнем-ка проверку с попечителя. А ты, Пашка, совсем засмердел!

— Не засмердел, а выскорбел, господин Захаров. Одна религия осталась у меня, но и ту ты своим дьячком вывихнул!

— В следующем представлении, Пашка, тебе под балалайку псалмы петь, раз в тебе религия воссияла.

Утром, когда мы пришли в школу, попечитель, как я и предсказывал, потребовал с нас пять рублей. Мы отменили представление.

Побродили по ярмарке, среди узких лотков, крытых бурых холстов. Скрипели возы, визжала карусель, деревянные кони хорькового цвета неслись мимо, бренча шаркупцами, бубенчиками, гарматунами. Торговцы предлагали пряники, длинные, разноцветные, с бумажной бахромой по краям, «карамель избалованных, для сворковавшихся, для слюбившихся». Мануфактурщики зазывали Петьку. Он заходил, просил развернуть «самого свербежного сукна», щупал и говорил:

— Гнильем промышляете, бороны для такого бурьяна нету, сволóчь бы да сжечь!

Торговцы ругали его. Он заламывал фуражку и отходил, сплевывая.

— Для меня вы теперь не зрители, чего ради мне вас чмокать...

Филиппинский пыхтел и бормотал:

— Устал я... пренебрегаю я такой торговлей...

— Не пренебрегаешь ты, Константин Степанович, а формы не поймешь. А форма-то уже здесь, Константин Степанович! — И Петька стучал себе по голове.

Филиппинский от волнения колыхал животом в жилетке, делавшейся вдруг просторной. Он верил и не верил Петьке.

— Ты щеголь, — бормотал он, — ропот во мне поднять хочешь?

— А ты поерзай, поерзай мозгами-то, Константин Степанович. Ты посмотри: на бурьяне, на сору наживают тысячи, а ты им анекдоты рассказываешь, а баба твоя в Петропавловске, наверное, с брандмейстером под руку гуляет...

Филиппинский багровел:

— Ну, это ты прекрати, Петр!

— Зачем ты его мучаешь? — спрашивал я, когда Филиппинский отставал.

— Всеволод, он будет у нас еще на турнике крутиться. И рассказывать во время кручения анекдоты. Вот тогда-то и рассмеется публика. Каждый номер программы требует своей причудливости, Всеволод.

Мы вернулись на полянку. У костра сидел Пашка, приглаженный, в чистой сатинетовой рубашке. Поодаль стояла Татьяна и две ее подруги. Они шли по ягоды, видите ли! Еще издали, разглядев Татьяну, я немедленно повторил Петьке мое стихотворение о Пиме и дружбе.

Петька сказал, что куплеты мои гораздо лучше. Тогда я сообщил ему следующее:

— Петр! Существует в данном селе особа, которая возбуждает во мне живейшее сочувствие... хотя бы в том, что Пашка Ковалев посматривает на нее весьма многозначительно. И вот, по дружбе говоря, как нам с ней поступить? В селе она перестигла девиц! Если ее оставить, искромсает ее без толку приставский дом...

Петька пожал мне руку:

— Правильно рассуждаешь, Всеволод! Сегодняшним рассуждением ты прямо изваял нашу дружбу навеки! Я тебе очень благодарен, что ты указал мне на нее, я сомневался: относится ли она ко мне благожелательно? Разве она тебе намекала на меня?

Я не говорил с девушкой о Петьке, и вообще я с ней сказал не более двух десятков слов, но обидно ж сознаться, что у нас, Петьки, меня и Пашки, одинаковые надежды. И я сказал:

— Говорила.

— И в каких смыслах? Устраняя или возвеличивая?

— Во всех, — ответил я мужественно.

Петька Захаров был отличным другом, но дружба его часто утомляла меня своими неожиданными извивами. Сейчас, например, он заявил, что «тебе, Всеволод, удалось переступить через рутину и поравняться с глубочайшим замыслом». Если бы он пропустил ее, Татьяну, мимо, она погибла бы в Мокроусове, угнетаемая дикой и невежественной средой. Надо ее уравнять с нами! Это и нас, главное, возвысит, это придаст нашему путешествию в Индию громадный смысл. Мы идем, возбуждая сердца. Пусть не только таращат глаза, но и восхищаются нами. Как жаль, что мы не прочли предварительную лекцию о том, куда и зачем мы идем. Вокруг нас собираются толпы пробужденных нашими идеями, мы тормошим их, за нами идут самые разнообразные, но не имеющие больше сил балансировать на кончике языка этих мокроусовских подлецов!

И Петька заговорил с девицами таким замысловатым языком, какой я встречал только в «оракулах». Пожалуй, язык этот можно назвать языком любви, ибо он необычайно понравился девушкам. Вот тут-то я и сверил наши силы. Еще полчаса назад мы трое, Пашка, Петька и я, были перед ней равны.

У ног ее стоит лукошко, подруги торопят ее, а она смотрит на Петьку «обвенчанными», новыми, сияющими глазами.

Пашка Ковалев расстегивает чистую рубашку, подталкивает меня:

— Этой же ночью уезжаем, иначе зарубит нас пристав!

Для виду только девушки свернули в лесок и тотчас же возвратились.

Петька щупал спину Нубии. Ему хотелось прокатиться перед девушками на гэнтэре. Нубия уже приобрела живот не менее широкий, чем живот Филиппинского. Петька подает мне письмо и просит сунуть девушке. Он назначает ей свидание в бане. Меня ужасает его цинизм, хотя в деревне свидание парня с девушкой в бане событие отнюдь не редкое. Но это особая девушка, она не пойдет в баню.

— Придет,— говорит Петька,— я, брат, туда твое стихотворение о дружбе вписал и добавил, что сочинено мною только для нее. А кроме того, будь другом, Всеволод, до конца: покарауль возле бани. Пристава мне не страшно, а вот — Пашка!

Пашка нас действительно смутил. После обеда мы имели обычай лежать в различных частях нашей стоянки. Петька Захаров полагал, что это помогает размышлениям, и, кроме того, Филиппинский невыносимо сильно храпел.

Петька подполз ко мне и показал на Пашку. Я изумился. Пашка катился по склону. Когда он оглядывался, мы закрывали глаза.

— К девушкам?— спросил я тихо Петьку.

— Едва ли...

Мы поползли. Нубия паслась, стреноженная, возле ручейка. Пашка подошел к ней. Он накинул нашу самодельную узду, положил на спину мою «соломенную собаку» и вспрыгнул. Нубия, полагаю, исключительно из сострадания к Пашке, бодро побежала вдоль ручья. Петька зажал мне рот. Он подождал, когда топот замер вдали.

— Вот теперь, Всеволод, ты смотри мой самый удивительный фокус и сверяй со своим. Вот кабы да зрителей сюда. Домой поскакал, Пашенька? По мамочке соскучился?

Я страдал, ошеломленный Пашкиным вероломством. Это его-то я учил наборному искусству, его повел в Индию? Жалко мне было и Нубию, я привык к ней, к ее наблюдательным глазам.

— Ты слышишь топот, Всеволод?

— Нет.

Петька сложил рупором крепкие загорелые свои руки и пронзительно и высоко закричал:

— Ну-у-бия-а! Ну-у-би-и-яаа!!!

Эхо понеслось по теплому лесу, одичалое, ямистое, ухабистое — иначе мне его трудно определить. Оно то замирало, то возникало из соседнего куста, то стлалось по цветоносному ручью, то почти падало на муравейник, возле наших ног. Муравьи, толстобрюхие, сдобные, блестящие, столпились и смотрели на нас.

Петька внезапно умолк. Он приложил ладонь к уху. Мы услышали топот. Сквозь кусты скакала Нубия. Пашка елозил телом, прижавшись головой к ее остриженной гриве.

— Чем тебе не Уэльс, или не Эдгар По, или, попросту, Майн Рид? — сказал торжественно Петька, указывая на Нубию. — Зря ее хлебом удобрял? — И, не глядя на Пашку, он повернулся к полянке: — Я попрошу вас, господин Ковалев, спутать нашего коня, а также повесить на прежнее место уздечку.

Как же после этого мне не передать письмо Татьяне, не сопровождать Петьку? Я приправил свое огорчение гордостью за Петьку, я верил в Индию! Сегодня она встала передо мной в удивительном коне — Нубии!

Баня была низенькая, цинкового цвета, вся заросшая сизой крапивой, с зеленовато-оранжевыми, расцвеченными долгими ветрами окнами. Баня стояла па обрыве. «Хоть бы Татьяна не пришла, — думал я. — Но если Петька так приучил Нубию, то что ему стоит приучить Татьяну?»

Приблизилась глухая ночь. Мне было немножко страшно. Петька неподвижно сидел в предбаннике, а я возле забора из жердей, положив руку на крышу крытого мягкой и теплой соломой сарая. «А если нападут? — думал я. — Ведь у нас нет даже перочинного ножа, мы даже не вырубили палки!» Еле разобрал я робкие девичьи шаги. Она шла-таки, кроткая Татьяна. Да, это было свидание. И вот я стою совсем как Ленский, а мой друг...

— А ты «Евгения Онегина» читал? — спросил я.

Петька ответил спокойно:

— Не понравилось. Пестом бы этого Евгения по голове, а не тратить на него бумагу и время.

Вряд ли он будет поучать эту Татьяну, как ее поучал Онегин.

Она прошла мимо. Я нарочно пошевелился. Она, так улавливавшая шумы, не заметила меня. Она прислушивалась к тем шумам, которые были в ее голове. На ней белое в полоску платье. Петька обнял ее за шею и поцеловал в губы. Оказывается, я отлично вижу в темноте? Но эта способность нисколько не радует меня. Татьяна не оттолкнула его, и они захлопнули за собой дверь бани.

Я стоял долго, неподвижно. Тихая ночь постепенно вводила меня в свои пестрые шумы. Казалось, что девушка оставила мне свою способность улавливать шорохи, тонкие, быстро исчезающие. Ах, лучше б мне поменьше способностей, лучше б не стоять тупо и неподвижно, как эта заросшая травой баня, лучше б мне не влюбляться столь мгновенно и столь горько!

Они покинули баню. С вершин леса, фиолетового с черным, уходила радостная для них ночь. Девушка шагала медленно, расслабленно. Кладя руку, теплоту которой я ощущаю издалека, на плечо милому, она обращается к нему:

— Петя, а возле сарая стоит факир и гладит солому.

— Да вам, Таня, чудится, — сыто отвечает Петька Захаров.

Она рассмеялась: иным смехом, чем раньше, измятым и в то же время обновленным. Она переняла многое у Петьки.

Я остался одинокий, опечаленный. Я впился руками в солому крыши. Я переполнен страданьями, как внутренними, так и наружными, ибо грудь моя свербила нещадно. Я даже взвопил на голос, но быстро смолк. Где-то рядом послышался шепот, легонькие присвистывания. Сквозь крапиву пробирался, сладострастно посапывая, зверь. «Ють, ють», — уськал кто-то. Я кинулся в баню. Пристав, подумал я, таки хватился дочери! Он натравливает собак, громадных, «кустарных».

Баня оказалась запертой. От волнения и страха я не мог найти засова. Собаки лаяли в крапиве, еще не решаясь выскочить. У меня, наверное, был такой необык-

новенно испуганный голос, которого они не слышали никогда. Позади их кто-то хихикал. На мгновенье мне показалось, что это Пашка Ковалев. Но откуда в нем уменье и смелость вести за собой чужих собак?

Я с крылечка прыгнул через забор и побежал по улице. Было очень темно, но я не спотыкался. Меня догнала целая стая разноголосо лающих псов. Но я не слышал человеческого топота и уськанья,— это еще больше убедило меня в том, что собак натравил Пашка. Собаки присоединялись из каждой подворотни. Так как их натравил чужой человек, то они обсуждали яростно: стоит ли бежать и не отводят ли их в сторону. Благодаря собачьим спорам я успел выхватить из забора обломок жерди, и когда наиболее смелая подскочила ко мне, я ударил ее по носу. Зрение мое необыкновенно обострилось. Я даже различал цвет собачьей шерсти. Та собака, которую я ударил, цвета золы. Палка переломилась от удара. Я побежал дальше, визжа и ругаясь. Я кричал «караул»! Но село ничем не отвечало мне, кроме собачьего лая. Я задыхался. Время от времени я падал. Холодные зубы хватали меня за ноги. Штаны мои погибали. И все-таки какая-то частица моего мозга непрестанно думала о том, что пусть оторвут у меня ноги, пусть уничтожат то, что прикрывают мои брюки, по нельзя дать искусать руки и грудь, иначе друзья мои подумают, что раны эти от проколов. Как видите, во мне уже давно разветвилась профессиональная гордость факира!

Душная ли ночь, взаимные ли споры или собаки испугались сторожей возле ярмарочных балаганов, но, едва я выбежал на площадь, собачий лай стих. Однако я не уменьшил ни своего испуга, ни быстроты своих ног, ни спотыканий. Кто знает собачью душу, не передумают ли они, не обходят ли меня стороной?

Петька добавил хвои в костер, и без того свирепо высокий. Филиппинский храпел, коротколапые красные руки его мерно вздымались па животе. Смолистое пламя отражалось на гуттаперчевых его манжетах. Пашки Ковалева, как я и предполагал, на полянке не было. Я не щадил своих чувств:

— Уходит она?

— Остается,— сказал Петька.— Она еще не успела разочароваться в своей семье. Мало испытала. По-моему, Всеволод, наше факирское шествие должно не только

захватывать с собою сильных, но и слабым давать испытания, дабы они догоняли нас, бежали нам вслед или, по крайней мере, мечтали о нас. А помимо всего прочего, приятно быть отцом.

Во мне тлела еще надежда, и я спросил:

— Приставу приятно быть отцом?

— А не приставу, а мне приятно быть отцом, Всеволод. Теперь хочет она или не хочет, но она уже вошла в шествие факира. И эта лютость проснулась во мне только благодаря одному твоему намеку, Всеволод, благодаря твоим стихам. Она заплакала от них, хотя и не поняла многого. Благодаря им и пришла. Иначе где мне осмелиться? К тому же вдруг родится у нее девочка, а не мальчик. Признаться, не люблю я девочек.

Я склонил голову набок, и так же обвисли мои чувства. Но ответил я твердо:

— Мальчик куда веселее.

Проснулся Филиппинский. Охая, потирая бока, он поправил мелкие ветки берез, заменявшие ему постель. Лег на спину и, зевая, сказал:

> «Учительница музыки. Простите, Анна Петровна, я не виновата, но я должна сказать вам, что у вашей дочери нет никакого музыкального таланта.
>
> Анна Петровна (*отодвигая высокую с крошечным дном чашку своими тонкими в синих жилках руками*). Как это странно! Я вам плачу по два рубля в час, и вы еще таланта спрашиваете».

Он со свистом выпустил воздух, вытер ладонью рот и продолжал:

— Женился — и сразу схватил меня сон. И сколько вот ночей идет — и все об одном. Перед свадьбой мне жена говорит: «Выхожу за вас, Константин Степанович, хотя несчастным вас не чувствую, и поверьте мне, если будете вы несчастным, то мнение о вас переменить трудно». Что это, думаю, за намеки, прости ты меня, господи. И в первую же ночь — сон. День солнечный, жаркий. Против моей лавочки покупатель живет, естественно. Вытер я это пот с глаз и вдруг смотрю — нет покупателя! Одна лавочка напротив, другая, третья, четвертая. Весь квартал — сплошь лавочки. А покупатель растерялся и — не идет ни в одну. Проснулся. Эх, думаю, неладно. Ла-

вочники рассчитывают: улица, где Филиппинский живет, «неравнодушная», водится в ней покупатель. Иначе с чего же ему, Филиппинскому, толстеть? Иначе с чего же ему жениться? С каких капиталов? И началось — каждую, господа, ночь. Вот и сейчас... Даже спать противно.

— А лавочек-то прибывает напротив?

— Прибывает,— грустно ответил Петьке Филиппинский. — От ночи к ночи все больше. И вывески, как павлиньи перья. К чему бы это, господин Захаров?

— К Индии, господин Филиппинский.

— Так ведь вот вы, господин Захаров, тольке ведете, а не указываете, где и чем действовать, каким капиталом и каким товаром.

Голос у Филиппинского походил на тон, каким он беседовал в Омске с директором Летнего сада. Концы фраз он выговаривал несвойственной ему фистулой. Но Петька безжалостен. Он похлопал себя по ляжкам, потянулся, положил руку под щеку. «Ну, а я на часок отойду»,— сказал он и мгновенно заснул. Из тьмы, зыбкой и рассветной, появился Пашка Ковалев. Лицо у него было испуганное, жалкое. Указывая локтем на Петьку, он спросил Филиппинского:

— Фитиль-то ваш заснул, Константин Степанович?

— Фитилем поджигают также и потешные огни,— грустно сказал Филиппинский.— Вам все смешно, господин Ковалев, а у меня каждую ночь тот же сон. На пороге напротив все тот же лавочник вислоухий, фирма желтеет «Финтифлюшкин с братьями». Знаю, не может существовать такой фирмы, а все-таки страшно.

— Страшно-то оно страшно,— ответил Пашка, оглядывая Петьку и думая о своем.

Я тайно перевязал раны. Я решил не наказывать Пашку, который, казалось мне, и без того сильно наказан Петькой. Да и противен мне был Пашка!

Утром упал легкий дождь. Ярмарочную пыль прибило. Возле дома пристава караван попридержался. У ворот стояла Татьяна. Толстые косы свисали с ее плеч, концы кос, украшенные фисташковыми лентами, она держала в левой руке. Лицо у нее напряженное, но лицемерие, которым наполнена ее семья, помогает ей. Она прощается с нами холодно, спокойно. Она ждет нас к осенней ярмарке с новыми представлениями. И жалко мне

ее, и сержусь я на нее, и думаю с грустью: нет, иные представления начнутся у тебя к осени.

— В случае чего,— тихо говорит ей Петька,— маршрут нашего шествия вам известен? Везде его сопровождают афиши факира. Так и адресуйтесь.

Мы кланяемся приставу, его жене, деткам и двигаемся к околице.

Проходим мимо зеленых озер. У берега белые лилии, а берега из красной глины. Жжем костры, купаемся. Филиппинский вспоминает, что он большой рыболов, но сейчас ему не до рыбалок. Он настойчиво расспрашивает: сколько же верст, без шуток, до этой самой Индии? Он не верит тому маршруту, который показывал нам Петька. Я расспрашиваю Филиппинского. Оказывается, он слышал об Екатеринбурге, Петербурге, Москве. Известна ему еще Лодзь: «Гнилая мануфактура, господин Иванов, все же берут. Особенно штаны из нее быстро протираются». Оторопело смотрю я на него. Индию он считает ближе Туркестана, где-то за Челябинском, если свернуть с железной дороги. Всякий раз, когда через дорогу сигает заяц,— а здесь их великое множество,— он говорит:

— Опорожнить карманы удается, да не всем, смотришь — и тебе опорожнили. Вот и Петр Захаров: есть рецепт, но не раскрывает рта...

Мне хочется, чтобы он разговорился. Я поддакиваю ему:

— Но ведь и с одного рецепта можно разбогатеть, Константин Степанович.

Он поспешно рассказывает анекдот. Ему кажется, что он махнул лишнего! А после анекдота он возвращается к своим снам, которые мы называем «множество лавочников». Один из его противников — бывший пароходчик, разорившийся, с Волги. Это который черноусый и постоянно хмельной. Мужчина дошлый, и с ним надо осторожно вести себя. От него-то и главная тревога. Ласково и со скрытой злостью посматривает Филиппинский на Петьку Захарова. Только бы достать рецепт, уж как бы Филиппинский цепко за него схватился! Ради этого рецепта он переносит все: путь в Индию, насмешки над его женой, гуляющей с брандмейстером, дорожную слякоть и неудобную постель. Из угодливости к Петьке он даже подтрунивает над постоянными переполохами Пашки Ковалева.

В селе Эмуртла нас останавливают: проверяют паспорта. Узнав, что мы фокусники, нас немедленно освобождают.

— Конокрады везде появились,— хрипло объясняет нам староста, косматый, толстогубый, в синем ватном пиджаке и новой фуражке.— А конь ваш вроде как бы для отвода глаз. Одначе предупреждаю — мужики могут ошибкой избить. Вы сторонкой, сторонкой.

Пашка бледнеет и, отвернувшись, крестится. Петька тычет пальцем себе в правую черную бровь:

— А ты такой глаз видел, дядя? Не дай бог вам потревожить его!

Староста отворачивается. Он верит и не верит дурному глазу. На всякий случай лучше верить. Он дает нам на дорогу три шаньги.

Мы переваливаем через реку Тобол, пересекаем Ялуторовский тракт. Воскресенье. Мы пробуем показать факира в селе Сладкий Лог. Грудь у меня все еще болит, вдобавок я стер ногу стоптанным ботинком. Но я решил держаться твердо — и я держусь. Мимо школы, сплевывая шелуху подсолнухов на афишу, ходят парни цепью, с гармошками — по одной на каждом конце. Девки в шелковых платьях идут позади и вопят песни. Мы терпеливо ждем зрителей, но зрителей нет.

— Да вряд ли и будут, у нас зритель вроде морского зверя,— говорит школьный сторож.— Покажи ему семь голов на одном тулове, так он скажет: «А к чему мне, раз из них вода не течет».

— Седлай Нубию!— весело командует Петька.— Поднимай паруса.

Вот и Шадринск. Длинный, деревянный, он сплошь окручен ветвистой зеленью. Над нами картаво лепечут листья. Деревья оставляют на улице только узкий проход для солнца. И в этом оранжевом с зеленым проходе шагает наша Нубия. По бокам ее Филиппинский, Петька, позади, понурив голову,— Пашка Ковалев. Как всегда, я иду впереди всех. Возле казначейства выбеленный известью забор и на нем желтая афиша.

Зеленые листья застят от меня афишу.

Цирк А. Коромыслова извещал, что завтра назначено грандиозное представление — французская борьба, где выступит чемпион Трансвааля Роальд Азгерц, а также первый выход «знаменитого факира и дервиша Бен-Али-Бея».

9

Петька радостно уперся в мое плечо. Глаза его сверкали. Голос его дрожал. Он обожал меня:

— То-то, я смотрю, ты в Шадринск торопишься. Ты что же, Всеволод, письменно с ним сообщался?

Я онемел, охваченный ужасом. Мои друзья еще не заметили, что рядом с именем факира напечатано его «клише». Длинноусый, длиннобородый, с ввалившимися щеками, пятидесятилетний мужчина презрительно смотрел на меня. Глаза у него навыкат, наглые, вместо чалмы на голове его круглая низенькая шапочка с пером, сизым и тонким. Да, непременно сизым. «Стонет сизый голубочек...»—полезло мне в голову.

Я еле повернул язык. Но стоило мне сказать первое слово, как я почувствовал бодрость: силы не иссякли во мне, я еще покажу этому старому черту, который и одеться-то по-индусски не способен!

— Кто-то украл мою фамилию,— сказал я,— беспрестанны случаи воровства фамилий у настоящих факиров.

— Еженочны,— сказал Филиппинский, упершися спиной в забор и тяжело пыхтя.— А что же будет в Индии?

Он, взглянув в листву, рассказал:

«Кухарка по неосторожности сожгла пять фунтов телятины. Чтобы избежать брани, она сказала своей барыне, что жаркое съедено кошкой.

— Это мы сейчас увидим,—сказала хозяйка: пошла в кухню и свесила кошку. Кошка весила ровно пять фунтов.

—Видишь, Катя, —сказала хозяйка, —я верю, что это пять фунтов телятины, но скажите —где же кошка?

Кухарка, уставившись в хозяйку прозрачно-серыми глазами, окруженными толстыми веками, ответила сразу:

— А она, кошка-то, со страху убежала, барыня!»

— Геенна, тартар, бездна преисподняя! —закричал Пашка, тыча в меня пальцем.— Подохнем мы. Я вам говорил, не связывайтесь вы с этим обормотом! Факир! Дервиш! Юрод ты малоумный, а не дервиш! Разве приличный дервиш позволил бы себе такие подлости?

Он вырвал из афиши «клише» факира и поднес его к моему лицу. Филиппинский пыхтел пренебрежительно. Я молчал. Я с трепетом ждал слов Петьки Захарова. Я забыл все обиды: собак, которые гнались по моему следу, девушку Татьяну, которую он обнимал. Я ждал его ласки.

Петька, увидав, что злобы «напласталось достаточно», сказал, что, раньше чем заплевывать Всеволода, надо разобраться. А что, если факир учитель Всеволода? А если факир и не учитель, то почему бы ему не стать учителем? Если Всеволоду нечему у него поучиться, поучимся мы! Платить за ученье? С самозванцами-факирами церемониться нам не приходится...

— Он еще и убийством ему пригрозит! — закричал Пашка.

— Тебе я пригрожу убийством, а на факира у меня духовное оружие есть, Пашка. Я тебе еще припомню увод Нубии! Если ты вступил в шествие, так иди смирно.

Желваки на Петькиных скулах вздулись. Пашка замолк испуганно. Филиппинский вздохнул, рассказал анекдот и предложил искать постоялый двор.

Мы обошли несколько постоялых дворов. Нам надоело спать в лесу, надоели костры, надоели анекдоты Филиппинского. Но постоялые дворы отказывали нам. Они согласны принять нас, но без лошади. На разные голоса они говорили одно и то же: «мало ли коней мы встречали, но такого взгляда опасаемся».

— Взгляд как взгляд, конский взгляд! — говорил Петька.

— Конский-то он конский, но маленько и не конский. Я вот мельком взглянул, и сразу на душе муторно... Поищите еще, господа проезжающие.

Петька возмущался, стучал Нубии в лоб, показывал ее зубы, тыкал кулаком в живот. Хозяева были непреклонны. Да и трудно кого б ни было убедить, что Нубия имела обыкновенный конский взгляд. Даже когда она ела траву, то и тогда морда ее и особенно глаза выражали сожаление, что ей приходится уничтожать такую приятную растительность. А если встречалась в траве букашка, Нубия буквально содрогалась. Она переминалась с ноги на ногу, отходила — и возвращалась с трудом. Ручаюсь, что на своем лошадином языке она шепотом уговаривала букашку убраться отсюда, пока не

поздно,— иначе совершенно непонятно, зачем Нубии так долго шевелить губами.

Меня слегка удивило, что фигуры владельцев «постоялых» выражали легкий стыд. Вначале я полагал, что городская ветвистость придает особую игру лицам мещан. Города и села, пройденные мной, редко украшались деревьями. Даже сады, встречаемые мной, больше всего походили на ряды неизвестно для чего воткнутых бревен, а рядом с ними в небе, тоже неизвестно для чего, нарисована листва. Особенностью Шадринска была ветвистость и стыд. Ветвистость была, например, такова, что наклейщики афиш часто не находили солнечного места на заборе, а тень от деревьев была так густа, что глотала слова афиш. Здесь, в Шадринске, мне казалось, что целиком полагаются на суждения других людей, причем все эти суждения заранее считают для себя неблагоприятными, отвратительными, полагаются и страдают. Страдают оттого, что город ветвистый; что нет солнца, а если б было солнце, то они страдали бы от его изобилия; страдают, что приехал к ним цирк; страдают оттого, что посещают этот цирк. Я уже не говорю о том, что шадринцы испытывали стыд оттого, что по их городу сегодня прошли четыре странных человека и с ними конь Нубия, лошадь с разноцветными ушами и с поклажей на крупе. И ветвистость и стыд Петька Захаров объяснял «солями шадринской воды. Вода у них вроде гардин, пемзовая какая-то». Точно, воды в Шадринске, даже ключи, были легкого пемзового цвета, но смысл гардин Петька не успел объяснить, так как усиленно искал возле города полянку не столь ветвистую.

— Боже нас упаси, Всеволод, всунуться в ихнюю ветвистость. Отсюда и до стыда недалеко!

Пашка язвил:

— Ага, бога вспомнил! Божий стыд способен самого черствого человека распаять.

— Чего ж он твою мамашу не распаял? А бог в поговорке еще не бог, а шадринский стыд еще не стыд. И вообще, Пашенька, лучше быть зерном репейника, чем божьей соломой. Закрой гардины, говорю, продует!

Петька Захаров чувствовал к Нубии нежность еще большую, чем раньше. Он вымыл лошадь в ручье, наказал беречь, а сам убежал в город. Мы, трое оставшихся, вряд ли думали хорошо друг о друге. Стараясь изобразить усталость и скуку, мы легли головами врозь. Но все

же мы ждали с волнением Петькиного прихода. Филиппинский, урча животом, зная, что мы страдаем от анекдотов, рассказывал их непрестанно. Пашка заставлял себя слушать их. Я думал со скуки о гардинах.

В своих рассказах мой отец часто упоминал о гардинах. Все его многочисленные любовницы, прежде чем отдаться ему, снимали туфли и задергивали гардины. И туфли и гардины были непременно шелковые. Менялись только цвета и толщина шелка, причем чем знатнее была любовница, тем толще был шелк. О мещанках отец говорил пренебрежительно: «Так задернула пестренькую гардинку, ну, и началось обычное лобзание». Отец быстро разочаровывался в своих любовницах. Вновь появлялись гардины! Из-за них выступал муж или отец, который и убивал обычно отцовскую любовницу. Если любовница была очень богата, то отец выскакивал в сад, завернувшись в гардину, а затем продавал ее богатому ростовщику за великие деньги, ибо богач не мог подыскать пару к этой гардине, а кроме того, родственники вдруг спросят: «Каким это образом, Матвей Климентич, пропала из спальни вашей дочери гардина?» Отец был высоких чувств и понятий, он не позволил бы взять деньги у любовницы, но гардина и не деньги и не вещь, так, болтается какая-то нелепая и чужая «чепуха вроде лопуха»,— говорил он. Полагаю, что пренебрежительное определение гардин Петька взял от моего отца. В отцовских рассказах участвовало немного предметов и лиц, но все это отец мог описывать бесконечное число раз и каждый раз по-новому. Сад, двери, балкон, гардины, розовые плечи, отец, муж, трое братьев, сестра его возлюбленной, дорога, тройка лошадей, церковь, поп, пьяный дьякон, помогавший при венчании, злодей, поджигающий церковь во время венчания, отчего оно считалось недействительным. Курган в степи. Лопата. Отец роет. Кубышка. Клад монет. Капитан Лянгасов. Нумизмат, рыхлый и пучеглазый граф или князь Кабак. Шесть цыган-собутыльников, помогавших отцу пропивать клад. Горсть монет, оставшаяся от пьянства. Новое платье, гребенка, помада из Парижа, бриллиантин для усов. Идет, поддерживая рукой платье, красавица. Очи. Очи непременно синие. Опять сад. Двери. Балкон. Гардины... «Вечная мне неприятность из-за этих гардин,— восклицает отец, строго оглядывая слушателей,— но вы посмотрите, как мы, казачки, увертливы!»

Часа через три вернулся Петька, сияющий и бодрый. Он кинул фуражку оземь, наступил на нее ногой и подал нам лист. Вверху листа красными чернилами было написано: «Представление разрешается. Шадринский исправник Седомский». А внизу излагалось, что послезавтра в театре Вольно-пожарного общества выступит автор-куплетист на злобу дня Всеволод Савицкий, который помимо присущих ему куплетов «разоблачит тайны магии и все опыты, производимые факирами, в частности же факиром и дервишем Бен-Али-Беем».

Петька сказал:

— Для жизни нужна часто ловкость, а не наука, ибо Россия, милый Всеволод, есть, в сущности говоря, сплошной фокус.

Я перечел афишу и сказал тихо:

— Здесь написаны опыты, которых я и не видывал, а мне их нужно объяснять?

— А мы зайдем в цирк сегодня, посмотрим. А завтра ты их разоблачишь, Всеволод. Твоей да голове и не придумать увертку.

— Вы как хотите,— сказал Пашка,— а я не ходок сюда.— И он ткнул пальцем в афишу.— Еще изобьют. И обязательно! Народ здесь стыдливый, бить будут не по костям, а все лицо ногтями попортят.

Неприятно сознаться, но мне становилась понятной Пашкина боязливость. Неизвестно, что придумает Петька Захаров через минуту! Неизвестно, куда он скакнет, кого обовьет, кого свалит! Но самое страшное не это, а то, что Петька Захаров придумывает такие поступки, которые кажутся нам вполне исполнимыми. И вот исполнимость, эта сила пугала нас. Вот сейчас Петька написал в «афишу» те опыты, о которых я только мечтал, а пройдет час, и мне будет казаться, что Петька не мог поступить иначе. Вот он раскрыл рот, и мы уставились в него. Рот у него большой, усеянный таким количеством жадных и крепких зубов, что их хватит на целый полк.

— А кроме того, Всеволод, тебе и не обязательно их знать, фокусы-то. Абы они существовали на афише!

Филиппинский оживился:

— Со сбором убежать?

— И со сбором бежать не придется. Сбор принесут на ладони. Женской, душистой, Всеволод! Истратить три рубля на задаток — и все хлопоты и вся аппаратура! Каково?

Он взял Филиппинского под руку и отвел в сторону. Расспрашивать Петьку о его планах бесполезно. Самонадеянный, он желает, чтобы они целиком созревали в его голове. Я молчу. Пашка ворчит: «Константина Степановича на убийство подговаривает».

Филиппинский покрасил ваксой усы, вымыл теплой водой воротничок. Я скромно предложил напечатать афишу в две краски. Страдать — так страдать хоть в две краски! К сожалению, говорит Петька, афиша тогда будет стоить на два рубля дороже. Риск велик, я соглашаюсь с Петькой. Филиппинский и Петька уходят в типографию.

Пашка говорит, глядя вслед уходящим:

— Удивляюсь я на тебя, Всеволод. Такой щепетильный, а здесь на убийство согласен, на каторгу.

— Филиппинский убьет?

— Убьет и кожу сдерет. Много ты лавочников знаешь, эх!

Я смотрю на Пашку во все глаза. Он похудел, пожелтел, его диагоналевые зеленые штаны в прорезах. Он держит в пальцах иголку, и она дрожит. Мне его жалко и сердит он меня! До появления Филиппинского и Петьки я терпеливо спорю с ним. Я начинаю с иносказания: давно пришло для него время переобуться в иную обувь. Все наше шествие — это вынянчить в себе высокие мысли! Зачем ему о мелочах? Вот, например, два дня ноет он, что сломал гребенку, а ей битая цена гривенник.

— А ты вшей любишь?— огрызается Пашка.— Ну и люби, если так полагается в Индии. А я хочу свои кудри уважать.

— Какие там кудри,— говорю я,— кого ты, Пашка, перенырнуть хочешь? Петьку! Смачиваешь ты утром волосы водой, сушишь, расчесываешь — и все равно как были лохмы, так и остаются.

— Вот не ждал от тебя, Всеволод, свинства! По мне лучше «публичный» содержать, чем быть таким гадким факиром, подлипалой. Петькиным подмазулей. Донесу я на вас начальству, не хочу я каторжником быть, скажу — из дома меня увели. Меня поймут, меня-то поймут, они вам срок еще за меня увеличат, конокрады проклятые, цыганы! Филиппинского считал за честного человека. Антрепренер! Из всего антрепренерства и понял он только с кассой бегать. Ишь как оживился. Нет, для

бога облыжности не существует, он вас еще покарает, ренегаты! Я вас без микроскопа вижу, пингвины!

Всхлипывая, он долго гнусит нелепые и необидные прозвища. Он ненавидит нас, презирает, но в нем нет ни силы, ни хитрости, ни изворотливости. Он и браниться-то способен только при мне, зная, что я не скажу о его брани.

Увидев Петьку, он испуганно закрывает голову курткой и притворяется спящим.

Петька приказывает развести костер пошире. Филиппинский послушно тащит хворост. По всему видно, что погасавшая было в нем вера в Петьку вспыхнула с новой, жалящей его силой.

— Скоро начнется наш главный фокус,— говорит Петька, указывая на дорогу к городу.— Не фокус, Всеволод, производить фокус, а фокус производить фокус в соответствующей обстановке.

Филиппинский подобострастно и тупо останавливает взор свой на Петьке. Стараясь придать голосу своему мягкость и шутливость, говорит:

> «— Посыльный, вы отнесете по адресу это письмо и букет цветов.
>
> Посыльный отказывается.
>
> — Почему же?
>
> Посыльный указывает имя девицы на адресе, утирает длинную слезу и говорит сухо:
>
> — Я поклялся больше с нею не видеться».

Мне хотелось попасть в цирк, увидать Антуанетту Сирбо, ее сияющую проволоку, вытянутую испуганную рожу А. Коромыслова. «В первом ряду,— раздается шепот среди артистов,— сидит разоблачитель знаменитого факира и дервиша Бен-Али-Бея. Где, где? А вон, вон!» И пальцы, унизанные кольцами, указывают на меня. Но я с бледной торжествующей улыбкой смотрю на пол, в опилки. Что поделаешь, если я догнал вас и смеюсь над вами, над вашей провинциальной роскошью, над вашим дешевым убранством. Каждый смеется в свое время! У вас аппараты, у меня куплеты. Посмотрим, чья сила крупней!

— Едут,— сказал вдруг Петька Захаров.

Среди ветвистых деревьев показался белый конь и за ним черный, почти лакированный тарантас. Мгновенно я вспомнил того белого коня, на котором ездили Велич-

кин и его жена пани Марина. Странно, что я раньше не думал о ней. Не боялся ли я встречи с ней? Должен ли наборщик В. Иванов посягать на то высшее, что она признала равным себе, то есть арену цирка? А вдруг она скажет: «Становитесь к реалу, пан Всеволод, занимайтесь тем делом, которое более присуще вам».

И стыд... я его еще робко называл шадринским, я еще пытался смеяться над ним... стыд охватил меня. Я не мог найти предлогов отойти от него! Я краснел, бледнел. Белый конь грузно приближался. В тарантасе сидела пани Марина! Кучер в алой рубахе с закрученными вверху усами, седой и важный, правил конем. Еще более волоока пани Марина, еще более покаты ее широкие плечи, и перетянута донельзя ее талия. На черной шляпе у ней светло-фиолетовое перо. Пани Марина склоняет к нам фиолетовое перо. Лицо ее бесстрастно. Эти четыре оборванца возле костра и странная сказочная лошадь, глядящая на нее с состраданием, нисколько не удивляют ее. Она говорит, глядя поверх наших голов:

— Господин Савицкий? Или распорядитель его вечера?

— Я распорядитель вечера, госпожа Азгерц,— весело говорит Петька.

Пани Марина спускает маленькую ножку в черненькой шелковой туфельке, поправляет длинную белую перчатку. Петька подкатывает к ней обрубок дерева. Я делаю руки по швам, выпячивая грудь и стараясь победить багровость своего лица, пристально смотрю ей в глаза.

— Здравствуйте, пан Всеволод,— говорит она грудным голосом.— Если бы я знала, что вы здесь, я не так страшилась бы ехать.

Ничего она не страшится. Ей хочется показать, что она молода и робка. Она продолжает:

— А я вчера получила письмо от Викентия Викентьевича. Дела у него благополучны. Вы давно из Павлодара?

Так же, как и там, в Павлодаре, в типографии, и здесь пани Марина неустанно мучается ответственностью за ход предприятия. Она вспоминает приказание господина Коромыслова, и лицо ее делается еще более деловым. Она должна затратить много труда и средств для расширения и улучшения дела — и она затратит их! Она говорит:

— Я не знаю, господа, что в вашей афише истина и что ложь. Это...— Она презрительно указывает пальцем на жалкое наше имущество.— Это, возможно, гарантирует ту аппаратуру, которая вам необходима для разоблачения тайн нашего факира и дервиша Бен-Али-Бея!

Пашка скинул с головы куртку. Он вскочил на ноги. Лицо его наполняла та удачливая наглость, которую я наблюдал в Павлодаре. Странно, я не испытывал к пани Марине ни жалости, ни уважения. Это был представитель чужого мне предприятия. Если внутренно я и сопротивлялся ее уводу, то лишь из брезгливости: уводчик-то мой приятель, а будь бы он со стороны, кто знает, испытывал ли бы я брезгливость!

Пашка, нагло играя глазами, сказал:

— Вся наша аппаратура переведена в город, пани Марина.

— Повторяю вам,— ответила пани Марина,— меня мало волнует ваша истина, господин Ковалев. Дирекция поручила мне переговорить с вами, вернее, предложить...

Петька Захаров сказал небрежно:

— Если вы предлагаете, госпожа Азгерц, вступить нам в цирк...

— Любопытно...— пробормотал Филиппинский. Пани Марина взглянула на это перепущенное в росте животное, на эти черные усы, из-под которых, словно из-под кровли, рокотал голос. Петька резко прервал и этот взгляд, и рассуждения Филиппинского:

— Любопытно, но не более, господин Филиппинский. Любопытно, но не более, госпожа Азгерц. Мы отказываемся от поступления в цирк! Мы обойдем его вокруг, и безошибочно могу утверждать, что вам после этого обхода вдуется множество неприятностей и потерь. Освоившись с нами, госпожа Азгерц, вы поймете смысл моего пророчества! Много лет, а еще больше трудов положили мы на то, чтобы научиться разоблачать всех фокусников, факиров, престидижитаторов. Возрыдают они, а народ восславит господина Савицкого! Я не в обиду вашему цирку, он и сам введен в заблуждение, к тому же цирк как исполнял полувольты на галопе, так их и будет исполнять. Россия, госпожа Азгерц, и без того невежественная страна, а нам, молодежи, быть бактериями этого невежества...

Пани Марина вздохнула хорошо мне известным вздохом. Она вспомнила Польшу:

— Да, Россия страна невежественная, пан Савицкий.

Петька широко улыбнулся и указал на меня:

— Это он — пан Савицкий, а я — пан Захаров.

Пани Марина ласково кивнула мне головой:

— Я рада вас видеть, пан Савицкий.

И, так же ласково разглядывая нас, она продолжала:

— Моя дирекция предлагает вам отменить ваше выступление, пан Савицкий.

Петька улыбнулся еще шире, еще ласковее, чем пани Марина.

— Как же так не выступать, пани Азгерц? Уже заказаны афиши, уже сделаны крупные расходы для перевозки, а главное — установки аппаратуры в театре. Мы наняли помощников, кассиров! — И Петька указал на Филиппинского.— Все расходы,— и какие!— город стыдливый, а за свой стыд дерет втридорога! А приходов нет.

— Сколько же вы истратили, пан Захаров?

Глаза у Петьки зажглись. Он сдерживал себя. И я понимаю его: он хотел добыть денег на дорогу, ни более ни менее. Но можно добыть на дорогу и до Екатеринбурга и до Батума. Хочется до Батума, но хорошо и до Екатеринбурга. Где тот предел, за которым нас посчитают обманщиками, и где ошибка дирекции цирка?..

Пашка помешал размышлениям.

Пашка оглушил:

— Двести рублей, пани Марина.

Эка плюхнул! Но что поделаешь? Петька скромно разводит руками:

— Двести рублей, пани Марина.

Пани Марина не показывает, что названная сумма велика для ее дирекции. Невелики люди, ее спрашивающие, вот что! Она сказала деловито:

— На двести рублей, господа, можно начать постройку цирка, а также и достроить. По вас хватит и тридцати. Кроме того, мы берем на себя расходы типографские. Имейте также в виду, что вы даете нам расписку и торжественный глагол: уехать навсегда из Шадринска и навсегда прекратить разоблачения артистов цирка А. Коромыслова и его наследников, буде они случатся.

Пашка весь трепетал. Жадность овладела им. Он чрезвычайно противно привизгивал. Эти взвизгивания взволновали даже Филиппинского. Константин Степанович бродил по нашим лицам глазами и, не найдя гла-

венства, уставился в небо,— и не нашел сил рассказать анекдот! Тогда он вздохнул так сильно, что травы вокруг заколебались.

Пани Марина сказала мягко:

— Вот вы меня знаете, пан Всеволод. Едва ли кто упрекал меня, что я бесхозяйственная. Я, уезжая, сдала дела мужу в полном порядке, я не калечила его. Я нашла, что по-иному возможно освободить Польшу. И теперь я говорю полную истину! Азгерц, муж, меня любит, работает он отлично, но, к сожалению, оказалось, что у мужа нет ничего, кроме мускулатуры. Вот вы все, наверное, школьники, помните, что гладиаторы в Риме превращались в императоров. Или Рим был глуп, но в наше время гладиаторы должны иметь еще и голову...

Петька прервал:

— Бросили б вы вашего гладиатора и организовали женский чемпионат борцов. Такой чемпионат, пани Азгерц, разоблачить трудней, и не встретятся у вас неприятности вроде разговора с нами. Вот вам о Польше приходится говорить, Сенкевича вспоминать, на доброту нашу действовать, плохо!

— Вы правы, пан Захаров, человек должен идти по возможности прямым путем. Поэтому я скажу прямо: для меня большой вопрос чести, когда дирекция доверила мне поговорить с вами по такому, в сущности, щекотливому делу.

— Двести рублей, пани Азгерц, или организовывайте женский чемпионат.

— Двести,— сказал Пашка.— Мы люди коммерческие, понимаем: дела цирковые неважные, вся страна интересуется факирами, Шадринск тоже. За выход заплачена сумма, а мы — сбор предполагаемый сорвем и вообще все его гастроли! Так-то, пани Марина.

— Не будем торговаться, — сухо сказала пани Марина.— Я даю окончательно тридцать пять рублей.

— Две «катеньки», пани Марина.

Пани Марина поднялась с обрубка:

— Вы бы угомонились, господа, это же форменное помешательство. Неужели вы думаете, что дирекция выдаст каким-то прощелыгам и оборванцам двести рублей? Достаточно дирекции дать сто рублей исправнику, чтобы он вас выслал из города в двадцать два часа!

— Исправника я не знаю, — сказал Петька, — но, предвидя ваш ход, я уже познакомился с городским

корреспондентом «Русского слова», Ой, не прогоняйте нас, пани!

Пани Марина улыбнулась:

— Да, люди вы с достоинством, пан Захаров. И неужели мне доплакаться до тех слов, по которым вы должны понять, что женщина поставила себе целью освободить несчастную Польшу. Я открою цирк! Заработаю денег для восстания! А сейчас я завоевываю доверие хозяев, а их трое, компаньоны. Я попадаю в директрисы и одновременно изучаю наездничество... я ушла от законного мужа, и неужели вы, вместе с остальными мещанами, будете смеяться надо мной?

Петька хлопнул в ладони:

— Ну, ради «Пана Володыевского» и «Камо грядеши» окончательная цена, пани Марина,—сто семьдесят пять рублей.

— Он выплеснул мозги!— вскричал Пашка.— Кому ты бросаешь двадцать пять рублей? Двести рублей! Я вам не прихоть! Вот тут она цена стоит!

И он сильно стукнул кулаком в тонкую свою грудь. Филиппинский промычал:

> «В одной газетке под объявлением о вызове ученика к портному-мастеру было напечатано крупными буквами: «Нужен мальчик». В тот же день вечером портной нашел у дверей своей квартиры корзину с надписью: «Если нужен, возьмите». В корзинке действительно оказался новорожденный мальчик. «Вот это водевиль», — сказал портной и заплакал».

Пани Марина оторопело взглянула на Филиппинского.

— Сорок рублей,— сказала она, вспрыгивая в тарантас,— сорок рублей и бутылка водки.

— Двести, — крикнул Пашка. — Двести! Мы не пьющие!

Кучер водворил тарантас в колею и важно повел его.

10

Пашка, привизгивая, кинулся к Петьке:

— Тебе все смешки! Упустил, жеребец!

Петька сверкнул перед ним своим «белозубьем»:

— Ты, Пашка, как тень: куда ни пойдешь, везде с тобой, передразнивает как человек, а помощи нету.

— От тебя велика помощь! Обтаяла она тебя своей черной шляпой, предатель!

— А что нам сейчас делать?

Пашка замолчал.

— То-то, брат. А сейчас, главное, надо сделать так, чтобы циркачи думали: ой, обтекают они нас, други! Ой, не обтаяли мы их ни черными шляпами, ни сорока рублями!

И Петька торопливо отправился в город. Он настрого поручил мне блюсти коня: «У пани взор распалился, как она взглянула. Обрати внимание: не охаяла коня». Пашка и Филиппинский обязаны молчать, на «горячительные предложения» не поддаваться. По-прежнему главным распорядителем дела остается он, Петр Захаров,— и горе изменнику!

Вечерело. Пора поить коня и путать на ночь. Когда я вернулся от реки, забытый костер догорал, а Филиппинский, описывая ногой невероятные дуги, уходил к городу. Пашка беспокойно метался возле дороги. Все лицо его было в испарине. Я встревожился. Зря Филиппинский два раза в город шагать не будет.

— Куда он?

— Махорка вышла,— нагло и слегка испуганно ответил Пашка.

— Петьку уговаривать, чтобы он не уступал?

— Уговаривать? Да, и уговаривать.

Приятно получить двести рублей, думал я. Мне представлялся поезд железной дороги. Мы четверо усаживаемся в купе. Соседи завидуют нашему веселью и дальней нашей дороге. Мы едем в Индию, вокруг Европы, шутка ли сказать! С общего согласия я привираю, что в Индии нас ждут родственники, брамины. А кто они такие, спрашивают соседи, богатые, что ли, наследство, что ли? Потому при такой комплекции,— соседи указывают на Филиппинского,— индийскую жару возможно переносить только в северных странах...

Филиппинский вернулся распаренный, размокший, махал бумажкой со штемпелем. Пани Марина подписала контрамарку на «три персоны».

— Зря взяли контрамарку,— сказал я,— лучше на последние купить билет, а не унижаться. Теперь из-за контрамарки мы потеряем верные пятьдесят целковых.

— Какой же ты артист, если купишь билет? — резонно ответил Пашка.— Скажут, неопытный жулик. Собирайся.

А Нубия?

Но тут выскочил из кустов Петька Захаров. Он уже успел найти «сократительную» тропу к городу. Весело сверкали его широкие зубы, синяя рубашка раздувалась от движений, из карманов серых брюк топырились афиши.

— Купцы из рук в руки начали перехватывать!— крикнул он.

Он быстро рассказывал, как по дешевке, без задатка купил он пятнадцать ящиков, каждый длиной в сажень, шириной в пол-аршина, такой же вышины.

— Это что же, гроба? — боязливо спросил Пашка.

— Ну, не в пол-аршина, а в аршин, но вполне подходящие для наших целей.

— Для наших целей? — спросили мы в голос.

Петька обождал, когда мы разожгемся. Поглаживая Пашку по голове, он говорил:

— Ты не дряхлей духом, Пашенька, не дряхлей. Ты думал: потяну ниточку, и начнут жемчуг нанизывать! Двести рублей добыть — это велика заноза. Вот через час привезут наши ящики, и будем мы складывать в них имущество.

— Наше?

— Наше, Пашенька, наше. Подкатит его к Купеческому собранию несколько подвод. А соглядатаи из цирка уже близко бродят. И видят они: а предприятие-то не шуточное? Станет пасмурно им на сердце.

— Землей мы ящики нагрузим, что ли? — сказал я.

— И землей отчасти, и хвоей, лапником, кто чем может. Каждому возчику «на водку» по рублю. Всем в Шадринске известно уже, что наш разоблачитель, чтобы не слишком узнать много городских безобразий, поселился вне городской черты и войдет в город только завтра. Ты к завтраму не забедней, Всеволод, ты смотри свободно!

Петьке не сиделось. Он убежал торопить возчиков. За полчаса он успел распороть мою «соломенную собаку», собрал большой ворох сучьев и «соломенной собакой» и мешками прикрыл этот ворох. Дабы не раскрыть тайну, мы собственноручно переложили имущество в ящики — «на версту возчиков не допуская»!

— Если придет пани Марина, — сказал он, — двести рублей, а начни она прихотливиться — все постромки

переломаем, весь цирк разоблачим! Всеволод, будь тверд!

— Я-то буду, но вот...

Я хотел сказать о контрамарках, но Петька уже нырнул в кусты. Он так быстро исчез, что, естественно, ни Пашка, ни Филиппинский не успели сказать ему о полученных контрамарках.

Пашка и Филиппинский собирались в цирк. Я отказался. Завтра имеет смысл идти, завтра выступает факир...

— Доживем ли мы еще до завтра, — безнадежно сказал Пашка.

Я остался один. Возле ручья громко чавкала Нубия. Фиолетовая птичка с красной грудкой уселась на сухой сучок как раз против меня. Бойко и резко болтала она о своих птичьих нуждах. «Давно бы тебе пора спать», — думал я. Она взмахнула крыльями. «Перестрел, перестрел, перестрел», — полилось из ее горла.

Петька подошел к «имуществу», сорвал мешки, схватил охапку хвои и кинул ее в костер.

— А где наши, Всеволод?

— В цирке, Петр.

— Сказать — не уступаем?

— По контрамарке.

Петьку трудно огорчить. Он смеялся над забавным пламенем костра.

— Жена взбаламутила моего купца. Потребовал в последнюю минуту задаток. Не люблю я вздору. Ах, вам задаток? Получите сполна. Вкатываюсь я к Иоанну Михайлову.

— Иоанн?

— Иван Михайлов, шадринский великан. Пудовую гирю меж ладоней плющит. Парень для нас необходимый. Саженного роста, на кулачках против него вся губерния лежит!..

— Не нравится мне, Петр вся эта затея с разоблачением, силачами. Разве так воспитывают волю? Надо ж какие-то свежие способы находить!

— А чем эти не свежи? Ты разоблачаешь факирство, а Иоанн Михайлов укладывает любого ихнего борца. Он только бедный, робкий, никак не осмелится в цирк войти. «Как же, спрашиваю, ты осмеливаешься на кулачках?» — «А это, говорит, дело извечное. Небось и Ер-

мак свою жизнь на кулачках начинал. В цирк мне входить стыдно».

— Ты его уговорил?

— Я? Еще нет. Я только предупредил, что вот, мол, дама явится перед твои очи, так ты ей скажи: не все возможно купить за деньги, пани Марина. Она хочет ему взятку сунуть, чтобы ее любимый Азгерц шлепнул Иоанна в три секунды. Понял, кто чем щетинится?

Я ничего не понял, но сказал, что понимаю. Меня тревожили ушедшие. Петька лег и, как всегда, мгновенно заснул.

Поздно ночью я услышал осторожные шаги.

Пашка сел у костра. Он достал уголек, подул, добыл огня — и плевком погасил его. Сердце мое заныло.

— Ты чего скис? — спросил я тихо.

— Филиппинский-то, Константин Степанович, в цирке остался, — так же тихо ответил Пашка.

Петька Захаров проснулся, вскочил одним толчком:

— Параболы отставить! Сколько дали?

В Пашкином голосе послышались слезы:

— А ты меня бить пе будешь, Петька?

— Бить буду, но степень избиения зависит от высказанной правды. Тки ткань, но не притыкай лжи! Хлопок есть хлопок, шелк есть шелк.

В самые тяжкие, горькие минуты «мастерски загнутая репка» не оставляла Петьку. Матерно Петька никогда не бранился. Иногда мне казалось, что в «загнутости» Петька прятал свое раздражение.

— Петька, я и без того жестоко убит. Пани Марина говорит мне: разве мы возьмем в цирк капельдинером сына бандырши? А еще днем обещала взять. Кто мог сказать дирекции, что я сын бандырши? Может быть, он сам, директор-то, сын трех бандырш!

— Артисты ездили к твоей Ковалихе.

— А где им помнить меня, Петр? Она сказала! Она, пани Марина. Она предчувствует, что имеется заказ...

— А в морду хочешь, забулькать носом?.. Я покажу заказ!

Пашка захныкал притворно. Он утирал слезы, которых и не было. Омерзителен был он мне. Петька продолжал допрос:

— Сколько они заплатили Филиппинскому? Почему он остался? Ноги натер, что ли, от долгой ходьбы с нами?

— Кассиром его назначили. А меня выгнали...

— Любопытно узнать, что такое про нас открыл им Филиппинский? Неужели мы без Филиппинского их не разоблачим?

Слезы, настоящие крупные слезы, прозрачные, плотные, показались на глазах у Пашки.

Он ответил, рыдая:

— Шпаги он им отнес.

— Обе?

— Обе, Петр.

Я зажег смолистую щепу. Мы осмотрели наше имущество. Мои шпаги, тщательно завернутые в прокаленную бумагу, дабы не заржавели; тщательно перевязанные бечевкой, мои любимые шпаги; мои «дамские шпильки»; мои гирьки «от одного до трех фунтов весом» — все утащил Филиппинский. Мне было стыдно за Филиппинского, за Пашку. Мне было так стыдно, что я даже жалел их. Какое глубокое негодование они чувствуют к себе, к своему падению, к своей низости!

— Меня удивляет не то, что он утащил, — сказал Петька, — а то, откуда Филиппинский мог это сообразить?

Пашка торопливо объяснил:

— Сообразил-то не он. Отчасти я, отчасти пани Марина. Она выспрашивает нас: какие у вас способы, а я ей...

— Ты бы, Пашка, отошел слегка, а то невзначай махну рукой и обечайку с морды сдеру.

Пашка отскочил.

Петька свалил в костер остатки хвороста. Огромный столб пламенно поднялся над деревьями.

Нубия подскакала к огню. Несчастия притягивали ее. Упершись головой почти в самый костер, она мерно двигала взад-вперед разноцветными своими ушами. Губы ее шевелились. Она, видимо, произносила речь на своем лошадином языке. «Несчастия прилипают и отлипают, — говорила она, — сперва раны, затем шрамы, а еще позже воспоминания».

— Кассир? Продавать билеты! Да он так долго будет размышлять над сдачей, что зритель воссомневается — и тут же деньги обратно.

— Через суд потребую свои шпаги, — сказал я.

— Судиться с ним, Всеволод, у нас нет ни времени, ни денег; даже на гербовые марки. Да и что с Филип-

пинским судиться? С цирком надо судиться, который пускается в грязные подлости. И судить бы этот цирк нашим факирским судом. Спалить его, например. Но люди мы честные, спалишь — там останутся голодные и невинные артисты.

Петька назначил Пашке: три недели день и ночь пасти Нубию, мыть ее четыре раза в сутки и убирать ее хвост цветами.

На рассвете мы уже стучались в дверь кузнеца Иоанна Михайлова. Хибарку его, единственную в городе, не считая острога, миновали деревья. Нас встретил саженного роста, волосатый, с багровыми глазами мужик в грязном фартуке и высоких сапогах. Упершись втулкообразным подбородком в грудь, он склонил над нами плечи свои ширины необъятнейшей.

— Иван Лаврентьич, — крикнул ему Петька. — Слышь, Иван Лаврентьич, а мы по твою душу.

— Ну, ну, прито́нивай, прито́нивай, парень. — И он показал длинными своими руками, как мужики «притонивают» на берег невод и как трепещется рыба. Видимо, ему нравилась затейливая Петькина речь.

— Никто тебе, Иоанн, не приобретет такой инструмент, как наша компания, наше шествие.

— А ты притонивай, притонивай, парень!

Самолюбивый, упорный Михайлов уважал инструменты. Он постоянно расспрашивал, где и каким инструментом сделана эта вещь, и если вы не знали, он презирал вас. Над ним все смеялись, что он мечтает приобрести такой «вседельный» инструмент, которым он и тесать бы смог, и ковать, и сверлить, и точить: от часового колесика до мельничного жернова.

— Струмент этот притужной, изнурительный, а ты посмотри-ка мои руки, парень! Где против меня есть тяжкая работа?

Руки у него щедро налиты мускулами, жилы тверже кирпича, цвета они бронзового, покрыты сивым волосом.

— А палец-то — болт, а не палец. Разожми!

Слушатель охает, пытаясь разжать его палец, втайне содрогаясь, а вдруг прищемит — и навсегда?

И вот на этого кузнеца устремился со своими речами Петька Захаров. Кузнец, ухмыляясь, выпил громадную крынку молока, выглянул в окошечко: пора. И он направился в кузницу. Петька не отставал от него.

Усевшись в кузнице на «бабку», небольшую наковальню, Петька осыпал кузнеца знанием инструментов.

— А каким снарядом колокол сделан? — спрашивал кузнец.

Петька объяснял.

— А какой снаряд для пятака существует?

Петька объяснял и «пяташный» снаряд. Выслушав десятка два объяснений, кузнец спрашивал:

— А вседельный снаряд есть?

— Поищем, — говорил Петька. — Главное, чтоб не присмиреть, Иван Лаврентьич.

— Присмиреть-то оно... — задумчиво соглашался кузнец, — присмиренье-то оно в тряску кидает, вроде как телега без шин. Это ты правильно, парень, — зачем смиряться?

Кузнец любил и «вседельный» снаряд, любил кузнец, как и подобает такому верзиле, крохотную, беленькую, бледненькую дочку кожевника М. Н. Измалкова. Кузнец сватался, писал ей письма из «гренадерских рот», из Питера, с воинской службы. Измалков отказывал, да и дочка не стремилась к Ивану. Девица стыдилась, что ее любит кузнец, над которым подсмеиваются в городе. Она мечтала об учителе географии, чахоточном, постоянно харкающем. А учитель географии стыдился, что его любит дочь кожевника, диви бы дело велико, а то сам Измалков постоянно с красными руками, постоянно сам в заведении.

— Ты мне предоставь вседельный снаряд, а там и кузню заложу! — вдруг гаркнул кузнец. — Ты мне, Петра, слова не тряси!..

Он побагровел. Петькины речи проняли-таки его. Как я понял, Петька предлагал ему вчера заложить кузницу и вступить в наше шествие, причем самое удивительное — Петька нашел и закладчика: мукомола Васильева, поклонника кулачных подвигов Ивана. Кузнец обещал подумать. Но мужик он был добрый и, гаркнув сейчас на Петьку, тут же пожалел его. Любоваться на бледную дочку Измалкова ему трудно без взаимности, да и стыдится он своей любви — пустой, бледной.

— Вот что, Иоанн, — сказал обиженно Петька, — не надо твоих денег, прощай.

— А без денег ты не берешь?

— Без денег представление отменяется. А по уезду куда ж тебе с нами идти. Тебе надо на девицу любо-

ваться. Венчанье с географией у ней того гляди произойдет, ты на венчанье опоздаешь, да и осень близко, заказы упустишь.

— Чего мелешь! До осени сколько осталось.

Кузнец осмотрел пустую кузню. Заказов нет. Черта ли доковывать в этом стыдливом и скучном городе?

— А ты ручаешься, Петра, допрею я с вами до снаряда?

Кузнецу не столько снаряд «вседельный» сейчас нужен, сколько подыскать уважительный предлог для того, чтобы утечь из этого ветвистого города, из этой запылившейся кузницы, где скоро от безделья «белила выделывать, а не инструменты».

Петька указывает на Ковалева:

— А вот посмотри: с таким безнадежным лицом только свиней пасти, а ведь тоже в нашествии находится, тоже свой инструмент ищет.

Пашка робко посмотрел на кулаки Иоанна и подобострастно рассмеялся.

— Зачем он тебе нужен? — спросил я Петьку, когда мы покинули кузню.

— Сгодится. Как-никак богатырь, а мы калики перехожие. Кроме того, пани Марина способна и не такого уговорить. Зачем им делать лишние сборы? Кузнец он искусный, а вдруг он выкует шпаги, да получше гамбургских?

— Кресты он нам могильные выкует, а не шпаги, — сказал Пашка.

Мы поравнялись с цирком. Двери широко раскрыты. Жара, да и город стыдится заглядывать на репетицию, — вдруг нагую наездницу увидишь? Подходя к цирку, Петька советовал нам соблюдать бледность: дабы совесть «воздрузить» в сердце Филиппинского. Я и так был бледен: я жаждал увидеть Антуанетту Сирбо; Пашка — страшась предстоящего убийства Филиппинского; Петька — из презрения и гордости. Но цирк был пуст. Мы обошли его кругом. Когда мы вернулись к входу, через раскрытые двери мы увидали: по манежу бежала лошадь, жирная, пегая. На широком, как стол, седле подпрыгивала пани Марина. В центре арены, в туфлях на босу ногу, с расстегнутым воротом рубашки, через который видна была толстая, противно-розовая грудь, размахивал бичом сам А. Коромыслов. Пани

Марина изучала вольтижировку. Щелкал сухо бич. Коромыслов командовал:

— Вы не на шенкелях, не на шенкелях идите, мадам! Посылайте, мадам, вашим телом лошадь вперед, не давайте ей задерживаться на втором темпе долее, чем на первом! На галоп, мадам, на галоп. Не откидывайте, прошу вас, зада из круга!

— Как я и предчувствовал, — сказал с уважением Петька, — цирк довольно сложная наука.

На порог встал капельдинер, рыжий, длинноногий. Приглаживая рукой бурую ливрею, он, жмурясь, оглядел нас:

— Проходите, господа. Представление начнем ровно в половине девятого.

Это был Сережка Трошкин. Он стоял в раздумье. Как и в Павлодаре, он по-прежнему любил свою бурую ливрею. По-прежнему его рыжая морда неприятна мне. Мимо него прошел борец с кривыми плечами. Трошкин подобострастно поклонился. «Прежде нежели Сережка станет борцом, — со злорадством подумал я, — он всю свою силу потеряет в поклонах». Удовлетворенно смотрел я, как Петька, приседая перед Трошкиным, соорудил из сложенных рук фигуру, которую солнце превратило на серой стене цирка в тень корабля.

— Как ты оснащен, парень, как оснащен! Как этот фрегат. А ты не боишься, если на тебя факир циклон напустит? Вот так!

Он дунул в пальцы. Корабль закачался, исчез.

Трошкин сказал непоколебимо:

— И циклоны способствуют совершенствованию человека. Проходите, господа!

Громадные тесовые двери цирка, скрипя и скребя землю, скрыли Сережку Трошкина, господина Коромыслова с его бичом, подскакивающую пани Марину, взбитые желтые опилки манежа.

11

Петька Захаров изменил маршрут. Мы согласились беспрекословно, ибо жажда мести влекла нас в Челябинск! Цирк Коромыслова приехал в Шадринск из Камышлова, направляясь, в сущности, в Челябинск на зимний сезон. Мы вам покажем зимний сезон! — безмолвно

вопили мы. Для выступлений, разоблачений и мести, в Челябинске на афиши и прочие предварительные расходы мы заработаем денег по воскресным базарам в богатых селах, степных и маслодельных.

Но воскресные базары плохо питали нас. Мы сворачивали с тракта, выбирая села побогаче. И все же нас кормил Иван Михайлов. В обширной равнине, поросшей ковылем и кипцом, часто попадались озера. Иван Михайлов быстро плел «морды» и ловил жирных карасей. Он работал в кузницах, он всюду находил дело. Руки его постоянно чем-нибудь заняты, и, если он не умел выполнить какую-нибудь работу, он никак не соглашался, что не способен к ней, а утверждал, что не хватает настоящего инструмента. Он любил труд, он постоянно говорил и думал о труде. Чего доброго, и девица Измалкова полюбилась ему за какую-нибудь особую работу, которую он не смог выполнить, а вот она выполнила! Ему нравилось исправлять наши работы, да и многое в мире он готов был исправить. Если разведешь костер, Иван непременно исправит его, и огонь действительно горит лучше. Он ненавидел бездельников, людей, которые долго спят, он будил нас на рассвете и говорил Пашке:

— Подольше богу молись, Павел, подольше...

Пожалуй, он думал, что Пашка способен только к молитве. Пашка, не то страшась его, не то пришли к нему новые мысли, подолгу стоял на коленях, лицом к востоку. Лицо у него боязливое. Михайлов смотрел на него тогда с уважением, ему казалось, что именно с таким лицом человек обязан стоять перед богом.

— Мы неученые,— говорил кузнец,— а тут смотри, какая грамотная сделана у него фигура. Мне в Питере много молитв преподавали, а не одной молитвы об настоящих инструментах не нашлось.

— Рассчитываешь, Пашка подыщет молитву? — спрашивал я.

Кузнец говорил уклончиво:

— Кто его знает, может, и подыщет. Он ведь прямо как святитель: бога нашел в пустыне.

Но Пашкину работу он, видимо, не считал особенно нужной.

Он осторожно спрашивал:

— А для чего вы его тащите?

Михайлов присматривался ко мне. Петьку Захарова он уважал безмерно и пошел с нами только ради этого уважения, о Пашке Ковалеве быстро решил, что тот готовится к монастырю, я для него был непонятен. Иногда ему казалось, что меня держат вроде лекаря, и он однажды спросил: нет ли какой-нибудь травы для излечения бледности девицы Измалковой. Он успокоился, только когда узнал, что у меня утащили «фокусные» инструменты. Его громадное тело, покрытое жестким и черным волосом, размерами своими похожее на Филиппинского, смущало меня. Я старался говорить о том, что мне более всего известно.

— А тебе, Иван, понятно, что мы идем в Индию?

— Понятно.

Я старался узнать, что же все-таки ему понятно, но он отвечал мне очень осторожно. Он говорил чрезвычайно уверенно, что брехня, будто в Индии нет христиан. Купцы есть? Храмы есть? Значит, и христиане есть, кому же как не купцам строить храмы. Купцу, кроме храмового инструмента, остальной «снаряд» — второстепенное значение. Его рассуждения раздражали меня, а еще больше, что он одобрял Пашкины моления. Когда Пашка начинал крестить себе грудь, стукаться лбом в траву, я подходил к нему и говорил возмущенно:

— Врешь и притворяешься. Хочешь, чтобы Иван нес на себе твой багаж. Нельзя, Павел, с притворством написать ту книгу, ради какой я тебя учил типографскому делу.

Кузнец нес уже несколько дней Пашкины вещи.

Пашка глядел на меня со злостью и говорил:

— Никогда я не собирался писать. Я это глаза тебе отводил, потому что ты любишь читать книги. Мне машинным ремеслом заниматься нельзя. У меня к женщинам страсть, а в нашем ремесле должно быть спокойное поведение к женщине. Ты думаешь, я гонюсь за пани Мариной для мамы и для павлодарских купцов? Для себя гонюсь я. Любая баба заставляет меня жаждать ее, а главное беспокойство: ревновать. Вот я и рассчитал, денег у мамаши много, сердце у ней... Умрет, продам ее заведение и открою типографию в Павлодаре.

— Зачем же ты идешь с нами? — спросил я, потрясенный.

— У мамаши сердце ветхое, говорю я тебе. Она меня и гнать-то особенно не гнала, я ушел от нее своими

ногами, чтобы еще больше сердце всколыхнуть. Теперь я его доколыхаю до такого состояния, что оно совсем остановится. Все мадамы из всех городов пишут ей письма, что вот, мол, ваш сынок Пашка босой, изнеможденный прошел среди бродяг и каторжников.

Он наслаждался тем ужасом, который, видимо, появился на моем лице.

— Книжку! В какой книжке ты расскажешь, Всеволод, про всю нашу жизненку. Люди и более ученые, например, знаменитый поэт Чехов не нашел в себе смелости и умения сказать о заведении больше, чем одну строчку[1]. А про бога? Я бога здесь понял! Только бог у меня особый, сибирский, я ему не молюсь, а беседую, потому что он имеет храм. И мой дом тоже храм. У него лики святых, у меня тоже лики больших угодниц. У бога люди отдыхают и в мамашином доме тоже отдыхают.

Он торопливо выкрикивал мне свои мысли, боясь, как бы кузнец или Петька Захаров не услышали его:

— Бог со мной тоже сговорится. Мамаша отдала ему мальчиков для его попов и монахов, а себе забрала девиц. Вот мы и разделили прихожан. Не все ли равно, у кого исповедоваться в своих грехах: у пьяной ли девки или у пьяного попа?

Мои обличительные слова, прежде отлично действовавшие на Пашку, теперь не пугали его и даже не обижали. Мне было тяжко. А тут еще Петька Захаров не замечал моих страданий. Петька весело подсмеивался

---

[1] Напоминаем читателям строки А. П. Чехова, над которыми ухмыляется Пашка Ковалев. Подозреваю, что, страстно желая денег (тогда многие покупали «Красный фонарь», «Дневник падшей»), книжицу о ковалевском несчастии он начал-таки писать, но по трусости и неспособности излагать свои мысли он ограничился мечтаниями, предпочтя для денег замучить свою мать, которая его очень любила.

Вот что говорит А. П. Чехов («По Сибири», т. XXI, изд. А. Маркса).

«Если не считать плохих трактиров, семейных бань и многочисленных домов терпимости, явных и тайных, до которых такой охотник сибирский человек, то в городах нет никаких развлечений. В длинные осенние и зимние вечера ссыльный сидит у себя дома или идет к старожилу пить водку; выпьют вдвоем бутылки две водки и полдюжины пива, и потом обычный вопрос: «А не поехать ли нам туда?», т. е. в дом терпимости. Тоска и тоска! Чем развлечь свою душу? Прочтет ссыльный какую-нибудь завалящую книжку вроде «Болезни воли» Рибо или в первый солнечный весенний день наденет светлые брюки... да кстати ли читать о болезнях воли, коли самой воли нет? В светлых брюках холодно, но все-таки разнообразнее!»

над Пашкиными молитвами, непрестанно восхищался силой Ивана Михайлова, показывал ему, как нужно бороться в цирке. Едва лишь скрылся Шадринск, как Петька Захаров перестал думать о Филиппинском, а если и пробовал говорить, то Петька Захаров одобрял, что Филиппинский скрылся от нас: «Если вдуматься, так даже приятно, что этого толстяка затянуло в цирк. Филиппинский думает слишком медленно. В нашей теперешней профессии думать нужно воспламененно». Он радовался, что Иван Михайлов способен тащить на себе все наше имущество. Если кто уставал, Михайлов немедленно отбирал у него поклажу. Михайлов молчалив, ест мало, и нам теперь становится заметно, сколь много сжирал Филиппинский. Петька говорит: «Этот вроде Нубии: он сырой травой способен питаться». Глубоко затягиваясь, кузнец смотрел в землю и расспрашивал Петьку о различных инструментах, которые могут «досыта» перекопать землю. Казалось, что разговоры подкрепляли его, и усталость его исчезала, едва лишь докуривал он папироску.

Наблюдая, с какой легкостью срывались люди и уходили, сами не зная куда, смотря в их тревожные глаза, разговаривая с многочисленными странниками, бродягами, мой поход в Индию казался не столь громадным и важным предприятием, каким он еще казался мне совсем недавно. На тракте постоянно попадались странники. Они изумленно шарахались при виде громадного кузнеца, черного, задымленного, в прожженном фартуке, который, морща брови и тараща глаза, быстро шел вперед. Бродяги посмелее спрашивали:

— Каторжник-то из какого централа бежит?

Иоанн Михайлов пропускал их молча. Он презирал их. Себя бродягой, «вздорной свербежкой» он не считал, он разыскивал необходимый ему инструмент! Когда один прохожий с пухлым бабьим лицом и бойкими синими глазами попробовал с ним пошутить, назвав его братцем, кузнец схватил его за грудь и поднял над собой. Бродяга закатил глаза и потемневшими губами прошептал:

— Да что ты, да что ты!

Иван швырнул его далеко в пшеницу. Бродяга упал на спину. Когда мы подбежали к нему, у него из пухлого рта текла кровь. Увидав нас, он задрыгал ногами, за-

плакал, решив, должно быть, что мы его подбежали бить.

— Братцы, да что вы, господь с вами? Да что вы!

Петька Захаров посмотрел вслед кузнецу, который по-прежнему упорно шагал вперед, даже не обернувшись к бродяге.

— Вот откуда у него, Всеволод, грозное имя Иоанн. Отличная звезда заблестела в созвездии факира, не скоро испарится!

Мне подумалось, что если не сейчас, то вряд ли найдется иное время для искреннего разговора с Петькой Захаровым. Мы перерастем наши теперешние мысли, головы наши склонятся в иные стороны, и будет поздно разговаривать. Я сказал:

— Созвездие факира? А знаешь ли, что ты говоришь, Петр?

Петр пригладил курчавые свои волосы, улыбнулся свежим своим ртом. Петр любовался своей свежестью, нашим «созвездием», Нубией, полями пшеницы, меж которых мы шли, коричневым ястребом, который медленно кружил. Я заглядывал в «мысли мудрых людей», давно заготовленные. Я боялся сбиться:

— Я знаю, Петр, ты дорожишь истиной.

— Еще бы!

— И ради этой истины я тебе должен объяснить, как ты понимаешь созвездие. В этом созвездии ты себя считаешь солнцем, а остальных планетами. Ты «дорожишь» истиной. Но ты «дорожишь» истиной только потому, что она принадлежит тебе. Ты перестал бранить Пашку Ковалева, потому что он полезен нам, потому что он удерживает кузнеца Михайлова, который хотя и не говорит вслух, но предполагает с помощью Пашки увлечь бледную девицу Измалкову. Но самое важное то, что, вместо общего обсуждения смысла нашего путешествия в Индию, ты захватил идею в полное свое владение и совсем ненамеренно, даже нехотя, ты потерял подлинную идею путешествия. А теперь ты свое заблуждение уже начал называть истиной. Мало того, ты требуешь, чтобы и мы твое заблуждение тоже признали истиной. Ты начинаешь всеми способами всаживать это твое заблуждение в нас. Я чувствую, что скоро подойдет время, когда, если мы откажемся признать твое господство, ты, Петр, наполнишься неприязненным чувством соперничества, зависти, ревности...

— Я — ревностью?

— Да, ревностью. Но дело вовсе не в ревности, а в том, что ты приобрел во время похода огромное количество тщеславия.

Петька, сияя глазами, сказал:

— Никогда не задумывался над этим словом — тщеславие. Никогда не грозило оно мне.

Я незаметно заглянул в приготовленный листок.

— Напрасно! Если мир что и скрывает, то тщательнее всего скрывает тщеславие! Тщеславие, Петр, есть страсть разновидная, изменчивая, тонкая. Рассмотреть и узнать ее возможно только самым зорким взглядом, но предостеречь от нее еще труднее. Все остальные страсти просты, а эта многообразна. Тщеславие встречает тебя всюду, со всех сторон — и когда ты еще бреешься, и в особенности тогда, когда ты появляешься победителем! Тщеславие похоже на микроб, находящийся в прекрасной ягоде, скажем — в малине. Ягода сочна и ярка. Ты глотаешь ее, а микроб, смертельный и грозный, проскальзывает в тебя. Одежда, твоя фигура, твоя походка, голос, ум, курчавые волосы, неистощимое желание работать, способность к чтению книг, отличная память, все твои лучшие качества способны служить пищей тщеславию. Тщеславие льнет ко всему. Ты способен тщеславиться хорошей одеждой и способен тщеславиться плохой. Если ты хорошо говоришь, ты этим тщеславишься, если ты умеешь молчать — ты опять тщеславишься. Ты делаешься похожим на куб, который, как ни брось, все равно будет виден сверху одной плоскостью. Вот тебе кажется: ты прогнал тщеславие, а смотришь, оно возникло в тебе по-новому, в новой форме. Молния указывает на приближение грома, Петр! Тщеславие указывает на приближение гордости.

— Гордости?

— Гордости, Петр. Гордость — страсть свирепая, алчная, страшная, и страшнее всего она в молодости, потому что чем нам гордиться в молодости? Знаниями? Мы их приобрели мало. Опытом? Мы только подходим к нему. Нужно уничтожить тщеславие, нужно, чтобы не сверкнула молния. Иначе гордость охватит тебя, Петр, и ты почувствуешь себя факиром.

— Ну, какой же я факир, Всеволод? Они неделями сидят на корточках, а я всегда стоя.

Он несколько оторопело приглядывается ко мне. Нужно торопиться. У него светлый ум, глубокий, ясный, отчетливый. Он быстроглазый, но взгляд его лишен язвительности. От напряженных мыслей щеки у него стали совсем алые. Бледно-желтая рубашка прильнула к его телу, горячему, сильному. Мелкие кольца волос на висках почти синие, это вода дает им такую окраску. Мы только что искупались в озере. Его резко очерченный лоб, его надбровные дуги мощности необыкновенной. Все его тело на удивление свежее, во всей его фигуре нет ничего переросшего, но нет и ничего убавленного. Он должен понять меня!

И вдруг, я слышу, он говорит свежим своим голосом:

— Тщеславие! Какое же здесь тщеславие, мы все идем в Индию ради тебя, Всеволод. Было бы великолепно, если бы ты, Всеволод, научил меня, как же сейчас нужно поступить. К сожалению, ты ищешь славу в том, чтобы мы признали тебя большим, чем ты есть на самом деле.

Он хочет перехитрить меня! Они, видите ли, идут в Индию ради меня. Я, видите ли, ищу славу!

Я замолчал. Я чувствовал, что многое изменилось во мне во время этого разговора. Я огорчился, что вышел опять в степь, без спора и сопротивления. Если бы мне остаться за реалом с верстаткой в руке в Омске, думал я, то это принесло бы мне больше пользы и я бы скорее смог выехать в Индию. Я понимал, что Петька никак не виноват в моем отъезде из Омска, что приехал он в Петропавловск как раз благодаря моему отъезду, и все-таки я обвинял его! Грусть частая, густая, сплошная обступила меня.

— До Крутихи верст двадцать осталось, — сказал внезапно Петька. — Надо нам факирское представление там устроить, Всеволод, а то ты совсем загрустил.

— Я не хочу факирского представления.

И то, что Петька согласился со мной, тоже показалось мне хитростью.

— Пожарный сарай есть? Тогда мы вкатим туда чемпионат французской борьбы.

— Чемпионата нам не хватало, — притулившись к моей грусти, сказал Пашка Ковалев.

Я огорчился еще больше, меня обижало Пашкино со-

седство. Я согнал с лица «элегию», я рассмеялся и, притопывая ногой, сказал:

— Чемпионат — это лучше, но откуда мы его возьмем?

— Чемпион Бельгии — ты, Всеволод. Ты, Пашка, борешься под желтой маской — чемпионом Китая и Тихоокеанских островов. Я — черная маска. С открытым лицом борется Иоанн Михайлов, наш сибирский чудо-богатырь.

Пашка спросил ехидно и боязливо:

— А если выйдет любитель, силач, ихний какой-нибудь?

— На появлении любителя мы выстроим всю славу нашего чемпионата. Надо уметь вожделеть, Пашка! Но помимо вожделения надо уметь размышлять, притуманивать чужие мозги. Кто самый сильный человек во всех окрестностях? Иоанн Михайлов. Способен ли он побороть любого ярмарочного силача? Способен. Теперь если Иоанна Михайлова кладет самый слабый из нас, например Пашка, то какую же славу имеет самый сильный из нас, например Всеволод?

Этот Петька Захаров умел обольщать людей! Я притопнул ногой и сказал:

— Ну, а если допустить, что любитель пожелает проверить самого слабого, например Пашку?

— Мы говорим тогда любителю: «Нет, молодой человек, вам нужно побороть вначале слабейшего, а затем уже перейти к сильному». Естественно, кузнеца ему не побороть, тогда как мы будем бороть нашего кузнеца без натуги.

Иоанн Михайлов сухо и помраченно спросил:

— Каким же инструментом будете вы меня бороть?

— Сговором.

— Каким таким сговором?

— А таким, Иоанн, что ты обязан лечь под меня, быть поборотым в течение, например, часа. Пашка поборет тебя в полчаса. Всеволод поборет тебя в десять минут.

Кузнец легонько стукнул пальцем в Пашкину грудь. Пашка потемнел и качнулся. Кузнец сказал:

— Вот этот меня в полчаса? Мало он еще молился. Я в гвардии служил, и со мной сам император Николай Александрович Второй имел честь разговаривать. Выстроились мы во фронт, он проезжает в коляске и гово-

рит жалобно: «Здравствуйте, братцы». Если я упаду, так это будет позор на всю гвардию!

Кузнец повернулся ко мне и сказал:

— Нет, Всеволод, и тебе меня в десять минут не положить.

Эта фраза ему, видимо, понравилась. Несколько раз он повторил:

— Нет, и тебе, Всеволод, меня никак не положить.

И когда мы шли по красновато-розовому базару, направляясь к пожарной, кузнец сумрачно осматривал бурые лари, синего с черным козла, который торопливо семенил через площадь — и все говорил:

— Никак, никак, Всеволод, не положить.

Петька кричал:

— Но почему, почему, наваренная твоя голова, почему ты не хочешь лечь? Тут тебе и факир, тут тебе и знаменитый песенник-балалаечник Пашка Ковалев.

— Не могут они меня побороть.

Петька обернулся ко мне и пожал мои руки.

— Ты на него не обижайся, Всеволод, в нем расовое чувство, он, видимо, органически не выносит индусов.

Но Петька все-таки потребовал, чтобы плакат изображал мою борьбу с кузнецом. День был воскресный. Навстречу толпе, выходящей из церкви, мы несли на шестах громадную афишу, объясняющую наше представление. Базар постепенно наполнялся народом. Лихо звонил звонарь. Мальчишки сопровождали нас. Мы шли к церкви берегом речки. На берегу ее возле дощатого сарая стояла оранжевая пожарная машина, похожая на самовар, ручки которого вытянуты до невероятных размеров. Возле машины лежали два плуга и борона с выбитыми зубьями. Смирный, теплый ветер веял нам в лицо запахами камыша. Щедро крякали утки. Впереди шел Пашка с унылым лицом, играя на балалайке. Петька Захаров кружился вокруг, объясняя, рассказывая, приглашая.

Я спросил у кузнеца:

— В гвардии ты, наверно, фельдфебелем служил?

— Рядовой. Не подошла мне гвардейская наука. Не нашел я всеобщего снаряда.

— Во всем Петербурге?

— Можно и в деревне физике обучиться, можно и в Петербурге не найти головы. Да и ходили мы в мун-

дирах, поставили меня на три года вроде коня для подковывания в станок. Мундир мешал.

Вдруг толпа мальчишек отхлынула от нас с криком:

— Ребята, еще один борец забушевал! Ну, этот всех положит.

— Эти в нем завязнут!

Мужики, выходящие из церкви, останавливались изумленно. Замолчал звонарь. Перестали скрипеть телеги. Забыли крякание утки.

По Крутинской улице шагал, описывая ногой гигантские дуги, подняв глаза к небу, сам Константин Степанович Филиппинский. Тучи мух облепляли его громадное тело. С него сыпалась хвоя, осыпался сон. В громадной руке он нес крошечный узелок клюквенного цвета. По-прежнему он не затруднял себя несением тяжести!

Мы поставили перед ним наш пегий плакат. Филиппинский, медленно шевеля губами, прочел афишу и уперся в конец ее: он искал подпись антрепренера. Петька вышел из-за афиши и сказал, обращаясь к безмолвно стоявшему населению Крутихи:

— Я поздравляю вас, господа. Вы увидите сегодня борьбу чемпиона южной Германии Констанцио Филипи с чемпионом Сибири Иоанном Михайловым.

Филиппинский вздохнул так шумно, словно он долгие годы хранил в себе этот вздох. Он поднял глаза еще выше и сказал:

«Жена упрекает мужа в чрезмерном употреблении водки.

— Зачем ты так много пьешь?

— Вовсе не много, — возражает он. — Ты не знаешь, что доктор велел мне выпивать утром и вечером по рюмке водки.

— Но почему же пьешь двадцать рюмок?

Муж потер лысину, оперся на локоть, погрыз ногти, сердито крякнул и сказал:

— Потому что я был у десяти докторов!

— Почему ты, Лизочка, думаешь, что Михаил Саввич хочет просить твоей руки?

Дочь пошла из комнаты, шлепая туфлями, она обернулась на пороге, передернула плечами и, кладя палец на губы, сказала:

— Потому, мамаша, что он очень обстоятельно спрашивает о твоем характере».

Подошел привлеченный грохотом удивительных словес мальчишка, посасывавший толстую краюху хлеба. Филиппинский быстро протянул руку, вырвал краюху и сунул ее в рот. Два раза он сжал челюсти. Краюха исчезла. Мальчишки разбежались, наполненные крайним удивлением. Петька Захаров обрадованно смеялся:

— Цирк сгорел, что ли?

— Зачем ему гореть.

Филиппинский не медлил! Ему нельзя откладывать рассказ: Петька хотя и смеется, но глаза у него такие, что лучше не перечить.

— Взяла она шпаги. Обещала кассирство. Сажусь вечером в кассу. Гоподин Коромыслов спрашивает: «Вы залог когда внесете?» — «Какой такой залог?» — «Самый, — говорит, — обыкновенный: одну тысячу рублей».—«Дорогой мой,— отвечаю ему,— кабы да мне тысячу рублей свободных, да хороший совет, я бы через три года миллионер». А тот мне: «Прекратите анекдоты рассказывать, здесь не базар, здесь цирк, серьезное учреждение, вынимайте тысячу, иначе начинайте жизнь свою сызнова». Имей я хоть бы сто рублей, дело б уладилось, но тут вдобавок выступает некий капельдинер и говорит: «Пожалуйте, господин Филиппинский, на сцену репетировать, вы боретесь сегодня любителем!» Я не выношу физической работы, господа.

— По шее били? — спросил неизвестно почему испуганно Пашка.

Филиппинский побагровел:

— Меня жена не бьет, которую я люблю несметно.

Я спросил как мог ядовито:

— И вы их пронзили моей шпагой, Константин Степанович?

Филиппинский спокойно сказал:

— Шпага осталась.

— Говорите яснее!

— Чего же яснее, господин Иванов. Шпаги остались у пани Марины.

Петька Захаров побледнел. Глаза его сузились. Губы его задрожали. Филиппинский отсырел еще более. Подняв глаза вверх, высыпая анекдоты и оставляя дуги в пыли, он отступал.

— Я тебе не капельдинер, гадюка. Я тебе Петька Захаров! Вот в этой руке нож, а вот в этой через пять минут — твои кишки. Сейчас ты идешь репетировать, а ве-

чером ты борешься два с половиной часа. Внятно я говорю, без крайностей?

Филиппинский послушно двинулся к сараю.

Я остался один. Опять крякали утки, опять гудел базар. Я думал: все, оказанное мною о тщеславии, — все оказалось правдой! Петька идет не ради меня, а ради себя. Кто его знает, не придумал ли он еще раньше меня этот поход в Индию. Петька самовольно распоряжается шествием факира! Он самовольно прощает подлейшего из людей, Филиппинского, он улыбается паршивым его анекдотам. Он забыл, что Филиппинский украл ту шпагу, о которой Петька кричал, что с помощью ее Всеволод завоюет весь мир. Петька еще выдаст благоприятный совет этому подлому, отвратительному лавочнику! Филиппинский уверен в Петьке. Петька Захаров уверен в Филиппинском. Вот сейчас Филиппинский ходит по опилкам в том конце пожарного сарая, который приготовляется для арены чемпионата. Петька весь свежий. Бледность и злость его исчезли. Он доволен тем, что Филиппинский удачно репетирует борьбу с Иоанном Михайловым и что Михайлов согласился бороться с Филиппинским.

Я взял зеленую свою «соломенную собаку».

— Ты куда, Всеволод? — спросил Петька.

— Купаться.

В бумажке, которую я приколол к столику «кассы», я писал: «Прощайте навсегда, ухожу домой, тщеславные вы люди!»

12

Уездные города мне ближе и роднее. Люди в них казались мне проще. Через Белый Яр, через реку Миас, мимо Воскресенского я вышел на линию железной дороги к станции Мишкино. Отсюда, полагал я, мне легче выбрать путь, ближайший в Индию. Дойти до линии было нелегко.

Покинув «созвездие», я купил на 15 копеек, которые остались у меня, хлеба, но на второй день я уже съел его. Я пытался не думать о еде, и для этого я шел быстрее. Но чем быстрее я шел, тем больше я думал о еде. Я старался думать о факирстве, о своей необыкновенно крепкой воле, о своей неустрашимости. Особенно требовалась для меня неустрашимость, когда сгущались

сумерки и нужно было выбирать место для ночлега. Приходилось сознаваться, что или раньше я был смелее, или недостаток пищи делал меня слабым, или я думал о себе раньше лучше, чем бы это следовало. Едва только исчезло солнце, как мне становилось очень грустно. Я залезал в овраг, и тогда теснота обступала меня. Все кусты сливались в одну наполненную гулким шумом массу. Кусты ползли ко мне, все шорохи приобретали одно намерение: напасть на меня. Я знал, что это чепуха, что мне так кажется, но я не мог побороть страх. Я боялся тьмы. Мне думалось, что во тьме ко мне подползут змеи. Я очень боялся змей, но в то же время я боялся развести костер. На огонь подойдут люди, грабители. Откуда им знать, что я иду совсем пустой, они могут принять меня за первейшего разбойника, который бежит с деньгами.

Я выползал из оврага на пригорок. Здесь светлее и меньше комаров. Но здесь ветерки, они меня пугали не меньше тишины оврага. Они текли вокруг меня — и во мне — острыми и разнообразными струями. Они шелестели, рылись, шаркали. Я ложился на спину и старался смотреть в непрозрачное синее небо. Я лежал на спине до тех пор, пока небо не приобретало перловый, жемчужный блеск утра. Я слышал шаги. Я привставал на локте. Шаги исчезали. Едва я вновь ложился на спину, как шаги, с перебоями, вновь приближались.

Когда я проходил сквозь деревни, я думал, что в детстве я был гораздо умнее и смелее... Я бы залез в любой огород, а теперь веселая зелень огурцов проходила мимо меня и я говорил себе: отложим кражу до утра. Утром я утверждал, что лучше залезть в огород вечером. Иногда мне казалось, что я не ворую потому, что утратил какую-то долю уважения к себе, бежав от друзей. Тогда в голову мне приходили вязкие стихи о Пиме. Я чуть было не вернулся, но, вспомнив Филиппинского, вспомнив Пашку, который сделает беспокойное лицо и скажет: «Ну вот, еще лишний рот явился, сдохнем мы с голоду», — я устремлялся вперед.

Я голодал. Легче всего попросить хлеба, но просить я не мог по множеству разнообразных причин. Прежде всего я чувствовал себя странно слабым и ничтожным. Уже перед самым выходом к станции Мишкино я несколько раз воскликнул в отчаянии: «Какой там факир!» Я называл себя всяческими подлыми именами: предате-

лем, трусом, перебежчиком. Кто будет кормить такого чурбана и рохлю! Если мне приходила в голову мысль о том, чтобы выдать себя в деревне за богомольца или странника, я обижался еще сильнее. Я знал, что в любом селении найдется богомольная старушка, которая накормит и направит меня к знакомой своей в следующем селении. Я передам поклон и пойду отыскивать еще знакомую. Так можно пройти всю Россию. Но это значило превратиться в божьего нахлебника и божьего «ездока». Однажды я даже догнал нескольких старушек, идущих на богомолье. Они заговорили со мной. «Эх ты, ездок», — подумал я с презрением. Я намотал на голову зеленую свою «соломенную собаку» и, стараясь шагать бодро, спросил их:

— На Индию я правильно иду?

И, не дожидаясь ответа, стараясь ступать на пятки, потому что старушки шли, ступая на носки, я обогнал их. Я не верю в бога и не буду верить в него никогда. Опять я вспомнил свое детство, отца, черный выгон в Лебяжьем, медный самовар, искры из трубы. Еще бы да мне просить Христа ради!

Я стер ноги. Идти пришлось медленнее. Линии железной дороги, уже совсем приблизившиеся ко мне, теперь отдалились. Отчаяние овладело мною. Я сочинил записку. Я написал ее крупными печатными буквами. Я сообщал, что я глух и нем, ищу хлеба и заработка. Я приколол ее на грудь и с этой запиской вошел в село Кабанье.

Я разыскал дом с железной крышей. Я не надеялся встретить там добрых людей, но думал, что встречу грамотных. Я увидал в окне хозяина, бородатого важного лавочника. Было воскресенье. Семья кушала. В палисаднике кусты смородины, над ними вьется хмель. По улице идут под гармошку парни. Вышитые портянки выпущены из голенищ, новые галоши сияют пегим блеском.

Я промычал нечто похожее на «кpolitičанье», жеребий в игре: «Одиан, другиан, тройчан, черчан, падан, ладан, сукман...»

Хозяин поправил бороду и сказал мне забавным вялым басом:

— Знаем мы вас, погорельцев! Проходи.

Когда я отходил, то подумал, что кто-нибудь да прочел мою записку, кто-нибудь да догонит меня. Но ничей

голос не остановил меня, ничьи сердобольные шаги не догнали меня. Я шел, нарочито наваливаясь всем телом на свою больную ногу.

За селом я увидал тощую полоску гороха. Чья-то легкомысленная душа, не знаю зачем, посеяла его возле самой дороги и возле самой деревни. Прохожие дергали его: не по нужде, а чтобы наказать глупость Я влез в горох. Я ел долго и жадно. Я чувствовал, что много есть зеленого гороха опасно, но я ел, не останавливаясь. Возле меня лежала груда стручков. Несколько таких груд лежало внутри меня. Я набрал половину «соломенной собаки». Я шел и кидал пустые стручья в пшеницу. «Зелень есть самое важное для человека», — говорил я, грызя стручья. Нога болела меньше, но больше и больше болел живот. Я зорко оглядывался: не встретится ли еще какая-нибудь пища. Пробовал лущить пшеничные колосья, но зерна во рту слипались, вызывали жажду, а вода встречалась редко. Я старался встать с рассветом, но встать было трудно: из-за холодных ночей, из-за страха я засыпал как раз на самом рассвете. И, помимо всего этого, у меня болела грудь. Проколы гноились. Вот тебе и факирское тавро! Вот тебе и румяная дорога в Индию!

Я вышел на шпалы. Налево я увидал станцию Мишкино. Направо шпалы шли к Уралу. Совсем недалеко от Мишкина есть город декабристов Курган. Много раз Петька Захаров сообщал нам, что город Курган, если считать от Урала, есть первый сибирский город. Вблизи его находится огромный курган 80-ти сажень в окружности и 4-х в вышину. Здесь жили сосланные декабристы: Нарышкин, Лорер, братья Розен, Свистунов. Декабристы Фохт и Новало-Швейковский похоронены в Кургане.

Я стоял, положив больную ногу на рыжую шпалу. Пологие крыши храмов индийских, смоляно-бурых, сменялись маршировавшими рядами гвардейцев. И над храмами и над гвардейцами неслась иглистая метель. Декабристы, звеня прикладами, врывались в ажурные ворота храмов. Брамины в смарагдовых ризах пятились от них. Декабристы стреляли. Кто похоронен в храме? Розен? Свистунов? «Ах, здравствуйте, капитан Свистунов!» — кричал я подбегающему поезду. Я махал зеленой своей «собакой».

— Здравствуйте, капитан Свистунов, здравствуйте, — кричал я. — Мое почтение, братья Розен!

Декабристы пробегают через храм, через его алтарь. Они во дворе. Они топчут серые розы. Множество будд окружает их. Канонада. Декабристы скачут мимо меня, колючая метель по-прежнему крутит над ними. Брамины в сиреневых ризах едят из больших котлов, черпая суп круглыми деревянными ложками. Я смеялся. Я вспомнил, как мимо нашего шествия, мимо Петьки Захарова, Филиппинского, Ковалева мужики везли громадные обозы круглых деревянных ложек, завернутых в рогожу. Как это только я не мог догадаться, что ложки эти везут в Индию. Неужели для нашей страны нужно столько ложек, неужели в ней столько пищи? Воду черпать и то воды не хватит!

Я заснул возле шпал. В полдень меня разбудил грохот подходившего поезда. Я встал, умылся в ручье. Я решил вернуться в Сибирь.

Я миновал несколько разъездов. Стрелочники смотрели на меня мрачно. Они выходили мне навстречу со своими красно-зелеными сумками. Одному я сказал развязно:

— Поезд прямого сообщения из Индии в Сибирь. Путь свободен?

— Поворачивайся, поворачивайся, пока по морде не получил, — сказал он мне сипло. — Куроед.

Несомненно, какой-то проходящий юноша, вроде меня, слопал у этого стрелочника курочку. Юноша поступил правильно. Почему бы мне не залезть в курятник и не удушить парочку кур, а затем зажарить их на медленном огне? Мне нравилось говорить: «на медленном огне». Или зажарить их в песке, покрытом раскаленной золой, оставшейся после костра. Или завалять их в куске глины, как об этом пишется в романах, а затем кусок этот положить в костер.

Остальных стрелочников я обходил. В конце концов приятнее ругать самого себя, чем слушать ругань от других.

Вечером я увидал неподалеку от насыпи костер. Костер манил меня. Я остановился, я размышлял. С бродягами мне сидеть не подобает. Я не бродяга, я ищу заработка. Если Кургану не надобно наборщика, я поступлю в ученики к слесарю. А если у костра начальство, то о чем мне с ним разговаривать. Но какие бродяги будут жечь костер возле линии? Охотники? Спрошу, сколько верст до Кургана.

Над костром висел котелок. Семь баб, завернутых в рваные полушубки, сидели нахохлившись. Рябая баба поднялась мне навстречу.

— Сахару принес? — весело спросила она меня.

— Конфет, — ответил я хрипло.

— Ну, и конфеты хорошо. Садись.

Рябая баба сдвинула подруг.

— Откуда ты такой?

— С каторги, — ответил я.

Веселый и легкий голос рябой бабы развеселил меня.

— Оно и видно. На сколько лет, за что каторга-то тебе?

— На сто сорок. Курицу живьем съел, — ответил я скороговоркой, заглядывая в котелок.

Каша закипала. «Эти непременно угостят», — сказал я сам себе и еще более развеселился.

— На работу, что ли?

— По работу, — ответил я.

— По какую?

— Детей строить.

Баба с медленными и сизыми глазами, сидевшая против меня, сказала строго:

— И для этого дела требуется не валежник.

Бабы рассмеялись. Рябая сняла котелок. Я получил деревянную ложку. Баба с медленными сизыми глазами, с крепким ртом села подле меня. Она расспрашивала меня. Кто, откуда, зачем? Прервав расспросы, она вдруг рассказала историю о том, как вот в такой же вечер подошел странник к ремонтным теплым бабам на линии возле Златоуста. Я понял, что наткнулся на группу рабочих, ремонтирующих линии. Неподалеку я увидал шанцевый инструмент. Бабу с медленными глазами звали Софьей.

— Выходит этот странник. Собой он неряха, завалящий... Одежда на нем чудная, длинная.

Рябая баба улыбнулась и кивнула на меня.

— На этого не похож?

— Бабы прислушиваются, разговор у него тоже чудной, длинный. Они его ругать. Странник молчит. А тут прибегают служки. Ой, господи, до чего ж тут бабы перепугались, когда оказалось, что к этому страннику надо под благословение подходить. Епископ, видишь ли, он был.

— Мне бы туда, — сказала рябая баба,— я бы у него все свои грехи вымолила. И которые позади, и которые впереди моей жизни, прямо чтобы в рай.

Мне хотелось спросить у рябой бабы так же весело, как я начал разговор, подойдя к костру, много ли грехов у нее. Но вопрос прятался во мне. Медленные глаза Софьи мешали мне. Меня срубили эти глаза! Я слушал плохо, хотя понимал, что мне нужно усиленно вслушиваться. Временами костер, котел над костром и даже запах каши отодвигался от меня. В ушах что-то хлопало, и опять вспоминались декабристы, брамины и чрезвычайно хотелось спать. Я протирал глаза. Бабы приближались. Ночь позади костра походила на смородинно-черный ящик с навесной крышей. Меня нисколько не удивило, когда однажды после исчезнувшего видения моя рука очутилась в чьих-то чужих сухих и гладких «гарусных» пальцах. Так и должно быть. Истязания мои кончились. «Ведь я возвращаюсь,— сказал я сам себе,— ведь я возвращаюсь обратно в Сибирь». Погасли все мои болезни. Я смотрел в круглые, сильные и медленные глаза и слушал:

— Мы-де поломанный народ. А я как могу о себе думать, будто я поломанная? Мне просторно, мне весело, я себя увела от горя. Осталось мне здоровье да богатство. Я всегда в праздничном платье работаю. У меня муж вначале говорил, зачем, говорит, на тебя чужие будут любоваться, а потом и замолчал. Я с мужем строгая.

— Она строгая, — пугливо сказала рябая баба.

Я рассмеялся. Софья наклонилась ко мне и спросила тревожно:

— Молодой, а смеешься, как старик. Али голоден?

Слезы показались у меня на глазах. Ее тревожный вопрос о молодости и о голоде растрогал меня. Я не знал, что меня больше умиляло: то ли что ей нравится моя голодная молодость, то ли что она жалеет меня, как всякого голодного человека. Я отвернулся.

— Ничего, потерплю.

— А зачем тебе терпеть? Ты ешь.

Она отрезала мне ломоть хлеба, посыпала его крупной крестьянской солью, положила сверху луковицу. Едва лишь я откусил, как мне мучительно захотелось каши. Она издавала чудесный и забавный запах. Софья рассказывала о своем муже и, балуясь, щекотала мне

пальцем загривок. Бабы смеялись. Видимо, в начале, когда я подошел, они испугались меня, но когда теперь поверили тому, что я один, они уже считали меня своим и даже надеялись на защиту. Любая из них была сильнее меня раз в пять, но все-таки перед ними сидел мужчина. Так думал я. И думать мне это было приятно.

— Друзьев, приятелей у нас с мужем везде сколько хочешь. Дороги ко всем дворам проторенные. Власти у меня много. Почестей тоже сколько хочешь шатается вокруг. Потому на земле я не на костылях, а на красоте. Вот у нас тут по линии десятник. Толстый такой, важный, Владимиром Павловичем зовут. А я его за бороду таскаю и сейчас за водкой послала. Я могу, милый мой, тасовать людей. Десятник за двенадцать верст к водке поскакал, а спать я с ним никогда не лягу, а вот лягу с тобой, парень.

— Да ты очумела, двумужняя, — крикнула рябая баба.

Софья скинула платок. Волосы у ней были соломенно-желтые, почти прикрывавшие лоб. Она сняла котелок и поставила его передо мной.

— Вот заработаю денег. Уйду в город. Вот этот парень-то и слабже меня и моложе, а тоже идет в город. Надо во всем новое рассмотреть — и в человеке и в инструменте. Вот вы в этом парне что разглядели? Думаете, идет себе бродяжка, ну, дадим ему сухарь, и пусть он идет дальше. Вот он говорит: слесарь. А какой он слесарь?

Рябая баба вылила в кашу ложку прозрачного масла и протянула эту ложку мне. Софья сказала ласково:

— А ты бы добавила масла ради гостя.

Рябая баба подумала, посмотрела па меня, улыбнулась и положила три ложки. Как это в жизни все таинственно и странно, думал я. Шел полем человек, увидал в кустах костер. Мог подойти, а мог не подойти. Но вот он подошел, и уже через час он любит женщину и женщина любит его. Добро бы они, эти двое, полюбивших друг друга, говорили бы о себе, о своих радостях или страданиях. А разговор был о каком-то небывалом епископе, о ситцевых платьях, которые бабы сшили к празднику, о трех рублях, которые рябая баба засунула куда-то в паз и никак не может найти. А ведь Софья действительно любила меня! Она пододвигала

котелок все ближе и ближе ко мне, с нежностью, необыкновенно цельной, смотрела на меня. Я чувствовал себя здоровым, сильным, веселым,

— А ты ешь, парень, не думай. Мы сыты, нам торопиться некуда, а ты ешь.

В тело мое входил тихий и ласковый покой. Вот она, подлинная любовь, думал я. Вот где я ее совсем неожиданно встретил! Да и как же иначе, любовь всегда неожиданна. А то писал письма: об индийском принце, об островах, лгал и себе и другим. Оказывается, достаточно взглянуть друг на друга, даже не спрашивая имени. Ее имя я узнал из беседы подруг, я для нее был «слесарь», и вот этому слесарю она готова отдать всю жизнь. Ах, какие хорошие мысли шевелились в моей голове! Мне были приятны ее быстрые ловкие движения, все ее маленькое и сильное тело, и это ощущение непрестанной радости, которое наполняло ее, которое исходило от нее и которому поддавались и понимали все, кто когда-либо встречал ее. Да, она обладала целительной и удивительной властью. Бабы ели молча. Изредка они подвигали мне кто хлеб, кто соль. Они догадались о нашей любви, и вначале они растерялись, но теперь уже думали, что иначе и быть не могло.

Я старался есть медленно. Но глаза Софьи торопили меня. Она подвигала мне котелок, и я сам подвигал его. Во мне свертывалась отличная и сверхмерная теплота. Софья улыбалась. Зубы ее сияли. Она скинула полушубок. Она дышала быстро.

— А ты ешь, ешь, парень.

Я поспешно отодвинул котелок. Я насытился. Я не заметил, как бабы покинули нас. Софья положила мне руки на плечи и тихо сказала:

— А я-то тебя ждала. Изныла вся.

Во мне была самая отборная, самая лучшая, слипающая глаза нежность. Как раз эти слова, сказанные ею, и нужны мне. Откуда в этой деревенской девке или бабе, кто ее знает,— откуда она умеет так говорить? Там не умеют так. А где это «там» — я и сам не знал, да и не хотел знать. Я положил ей голову на грудь.

— Спать? — спросила она гулким медным голосом.

— Пора, — сказал я.

Мы встали, держась за руки. Я шел, пошатываясь. Это пошатывание было мне необычайно приятно. Во мне расплавилось... Во мне расплавилось все!

В стороне за пригорочком лежало несколько дерюг и подушек. Позже я догадался, что бабы отдали нам все, что имели для спанья. Я упал на полушубки. Один из полушубков был с разодранной полой. Мне было приятно, не знаю почему, видеть эту разодранную полу. Я подержал ее в руке.

Софья сидела, охватив колени руками.

— Полынью-то как пахнет, ты понюхай, парень. А вот перед росой так она запахнет еще гуще. Я все эти травяные запахи далеко вижу. Они для меня никак не замалеваны. Ты бы лег, а то роса падет, а под тулупом-то ты ее и не увидишь.

Она, посмеиваясь, поправила на мне полушубок и сказала:

— А вот дегтем запахло, мужик, должно быть, едет по тракту. Телеги не слышно, в колеях-то пыль да трава, а телега-то смазана густо, чтобы не скрипела, мужик-то, должно быть, разбойников боится, а дегтем-то как молодым несет, а мужик спит себе. А разве сейчас можно спать, а парень?

— Невозможно, — сказал я, так же смеясь, как и она.

Она положила мне руку на голову. Я не ощущал ни запаха полыни, ни запаха дегтя. Но вскоре я расслышал на тракте дыхание сильной лошади, и сонный голос сказал: «Но ты, дрема!» Телега понеслась.

— А теперь из лога клубникой шибануло, клубника крупная нонче, крепкая. Завтра встанешь, пойди набери себе, пока мы со шпалами возимся.

Она легла рядом со мной. Ее рука упала мне на грудь. Как только я почувствовал рядом со мной ее горячее тело, непреоборимая сонливость охватила меня. Глаза мои смыкались. Я старался поднять веки. Я протягивал к ним руку, но руки мои скользили куда-то в зыбкое и шаткое. Я пытался найти эту исчезнувшую проворность, эту остроту, резвость. Софья гладила меня. Она хотела меня разбудить. Мне показалось, что на меня упало несколько слезинок. Она не верила мне и говорила:

— Ты, парень, не балуйся, ты открой глаза, а то девки подумают — надсмеялся он над тобой!

— Сейчас, сейчас,— говорил я, и слов во мне не было.

Я чувствовал, она прислушивается напряженно к тому, что я хочу сказать. Она сдергивает с меня

полушубок. «Это хорошо», — сказал я про себя, и сонливость еще более охватила меня. Я понимал, что Софья ощупывает меня, мою грудь, мои ноги, не верит, что я так необыкновенно устал. Она еще думает: он сильный, крепкий, здоровый, рыжий!

— Вставай, девки-то за пригорком смеяться начали. Будет тебе, парень. Они сейчас ко мне подползут, на всю жизнь осмеют.

Смеяться? Как же можно смеяться над тем, что человеку хочется спать. Я обиделся. Я сел. Я оглядел огромное тепло-синее пространство, сонное и молчаливое, расстилавшееся вокруг меня. Софья радостно рассмеялась:

— Выспался.

Но опять — едва она обняла меня, едва дотронулась горячими своими руками, как сон охватывал меня. Я прислонился к ней и заснул.

Когда я проснулся, солнце стояло высоко. Роса исчезла. Девки пели возле насыпи. Пронесся, пыхтя, локомотив. Машинист махал девкам грязной тряпкой. Меня изумило его радостное и веселое лицо, его огромные глаза.

Я чувствовал большую и какую-то извилистую усталость. Возле меня лежала моя «соломенная собака», мое кепи, мой черный плащ с жестяными львами, все выхлопанное, аккуратно сложенное. Я сел, протер глаза. Я отлично выспался, я проснулся как бы процеженным, ловким. Но постепенно глухой и далекий стыд охватывал меня. Почему убрали от меня девки всю свою «лопатину»? Если они убрали, аккуратно вычистили мою, то это не значит ли, что мы люди разные и чужие? Я прислушался. Голоса у них тоже чужие, и я понял, что они пели лишь для того, чтобы показать: не останавливайтесь, бродяги, отгружайтесь! И стоит ли думать, что приехал ихний десятник или муж и они испугались? Кого они могут испугаться?

Денек серенький-серенький. Солнце тоскливо спряталось за тучку. На пригорке полынь. Дальше пыльный и одинокий тракт. Скрипит телега, пахнет дегтем, словно телега еще со вчерашней ночи не стронулась с места. Ах, как плохо. Не ястреб ты, Всеволод, не птица ты! Я жался, ежился, корчился, я переминался с ноги на ногу. Тесно мне было. Я на цыпочках сошел с пригорка и направился к тракту. Не окрикнут ли меня?

На мгновение девичья песня смолкла. Я убавил шаги. Нет, никто не окрикнул. Пение смолкло для того, чтобы перейти к другой песне. Я обиженно поставил ногу свою на тракт.

Пройдя версты четыре по тракту, я свернул к насыпи. Не встречу ли я еще ремонтную партию, не встречу ли я еще девицу, не встречу ли я любовь? Я жаждал утешения. То я говорил себе, что вот и прекрасно, что не остался возле Софьи. Ну, бил бы лопатой, вытаскивал бы гнилые шпалы, развинчивал гайки. Работал бы я плохо, мужики попрекали бы меня каждой коркой хлеба, а на следующую весну пустили бы меня пастухом. Но могло быть иначе. Красота и ловкость Софьи заставила бы меня учиться, уехали бы мы в город, стал бы я заведующим типографией, читали бы мы вместе веселые книги, ходило бы ее ловкое тело в шелку, завел бы я рысака и поехал бы с ней в кинематограф, или бы вдруг появился чудеснейший Петька Захаров и в две недели научил бы ее ходить на проволоке! Как бы сияло на ней платье — бабочкой, как бы чудесно переливались золотые шары в ушах. Офицеры и купцы подносили бы ей цветы, а я бы радовался ее верности.

Насыпь оплетает полынь. Шпалы от угля и от масла грязно-табачного цвета. Облака тоже какие-то несуразные, похожие на махорку. Плохие сведения получил я о самом себе. Я уныло переставлял ноги и собирал стихи:

Здесь полынь и в сердце полынь.
Нет ни дружбы и ни любви.
Ты идешь, одинокий и бедный Пим,
Нескончаемым морем травы.
Небо серое над тобой
И дурацкий колпак в руке.
Ты идешь, одинокий Пим,
Мимо счастья и кораблей.

Я пел и плакал. Я записал стихи в тетрадку, и мне стало легче. Я шел, размахивая «соломенной собакой». Увидав разъезд, я решил не сворачивать. Пусть меня бранят, не все же бранить мне самого себя. На разъезде стоял товарный поезд. Я считал взмахами «соломенной собаки» длинные платформы, груженные лесом. Кондуктор с томпаковыми подусниками сидел на площадке вагона. Он скорбно посмотрел на меня и указал пальцем на мой кашемир:

— Зеленое?
— Зеленое, — ответил я.
— Сигнализируешь, что жизнь благополучная?
— Кабы благополучная, так ехать бы мне в первом классе, господин кондуктор.
— Класс еще не обозначает благополучия. В первом классе большей частью больные ездят. — И он спросил, еще более грустный: — Тебе куда, зеленый?
— В Курган, город добродетельных людей, потомков декабристов, господин кондуктор.
— Садись, подвезу.
Едва поезд тронулся, кондуктор сказал жадно:
— Гони полтинник.
— Откуда у меня полтинник?
— Что ж, бесплатно мне тебя везти?
Он тупо оглядел меня.
— Нету — тогда давай играть в носы.
Он долго тасовал карты.
— Предупреждаю, если ты выиграешь, мне все равно тебя бить, потому что ты безбилетный, у тебя зеленое знамя, у тебя все благополучное, а у меня грыжа и жена двойню родила.
Я старался играть не торопясь, долго думал над ходами, ронял карты, пытался разговориться с кондуктором, но он даже не хотел назвать своего имени:
— Какое там имя, оно мне и дома надоело. Подставляй нос!
Он сильно, с отдачей, бил меня жирными картами по носу и злобно говорил:
— Я тебе покажу благополучие. Я тебе покажу размахивать зелеными сигналами.
Нос краснел и пух. Поезд шел медленнее и медленнее. Я спросил у кондуктора:
— Сколько же верст до Кургана?
— Надоело мне считать версты. Будет тебе тасовать. Сдавай!
Я смотрел на эти седые усы, на его одышку и скучное лицо, на фонарь, который стоял возле ног, обутых в широкие сапоги. Ах, не все ли равно — колоться ли шпильками или кондуктор бьет тебя по носу. И здесь и там ты получаешь известное вознаграждение, а воля твоя воспитывается!
Бурое шоссе, огибая привокзальный поселок, вело меня к городу Кургану. Возле чайной «Общество трез-

вости» три парня дрались толстыми сосновыми сучьями. Топчась на месте, они старались ударить друг друга в голову. Из окна чайной вываливалась белокурая женщина, держа в зубах рваный пуховый платок. Из глаз ее лились слезы, а за ее спиной причитала беззубая старуха: «На кого ты меня покидаешь...»

Я миновал парней. Я читал по-иному мое стихотворение:

Небо серое над тобой
И дурацкий колпак в руке!
Подошел одинокий Пим
К Великолепной реке!

13

Я поступил в типографию Кочешева набирать газету «Курганский вестник». Типография находилась в сыром и длинном подвале. Вверху был магазин «Писчебумажных принадлежностей и книг». И наборщики и печатники были оборваны, усталы и грязны. Рядом со мной за реалом стоял Алешка Жулистов, как и я, «на сплошняке». Это был долговязый, развязный и красивый парень.

Поздно ночью, окончив верстку номера, мы вышли с ним из типографии. Ночь влажная и прохладная встретила нас. Я остановился задумчиво на углу, хотя особенно думать мне не над чем: я устал, мне хотелось спать и надо было идти на постоялый.

— Ты где остановился? — спросил меня Алешка.

Когда я шел по городу декабристов, я решил быть искренним. Но как скажешь, что ты приехал из Павлодара, откуда-то с глухого Иртыша? Кому интересно слушать меня? Большинство наборщиков, работавших в типографии Кочешева, спали на постоялом. Кому интересно знать, что ты тоже спишь на постоялом? И я сказал:

— На Тоболе, в лодках сплю. Утром встану ранымрано, половлю рыбку, сварю уху, искупаюсь.

— Осень ведь, небось вода холодная?

— Я всю зиму купаюсь.

— А ты откуда явился? — спросил с любопытством Алешка.

— Из Самары.

Я считал, что Самара, — это не сильная ложь. Другое дело, если б я явился из Москвы, или Петербурга, или из Берлина.

— А какой город Самара?

— Широкий. Вокруг река.

— Какая там река? Обь?

Сразу заметно, что у Алешки отвратительная память. Он перепутывал подробности, лица, дни; если передавал только что слышанный рассказ, то делал вставки совершенно несуразные. Слушал он плохо и думал о своем. Меня он начал расспрашивать, красива ли река Обь, много ли на ней военных судов и как одеты обские морские офицеры. Доверчивость его и шальные его вопросы взволновали меня. Я чувствовал, что «декабристская» искренность покидала меня.

— Мне плохо удалось рассмотреть Самару, — сказал я. — Произошел тут со мной чудной случай. Выхожу на пристань посмотреть пароход, а навстречу по тротуару идет капитан.

Алешка прервал меня:

— Ты через всю страну прошел? Ты обратил внимание, сколько форм и на всех формах золото? Я вот из Кургана еще не выезжал, но я отсюда вижу, что пышность превыше всех стран. Свыше донизу пышность. Ну, ну, а ты рассказывай. Какая форма-то на капитане? А матросы в синем или в другом? А ты думал, когда тебя забреют, в каком полку быть? Тебя, Всеволод, в Павловский полк назначат, туда, брат, всех курносых определяют.

Напоминание о носе моем несколько огорчило меня. Это огорчение и расспросы Алешки совершенно погубили мою искренность. Я сказал торопливо:

— Все, что произошло в Самаре, как раз и произошло из-за носа. Я сам думал, что нос мне вреден, а тут оказалось, что цапнуло по-другому!

— Нос как нос. Очень даже прочный. Ты обожди, Всеволод. Мы с тобой ляжем спать в голубятник, там и расскажешь. А утром посмотришь, какой формы у меня голуби.

— Я привык спать на реке.

— Ну, одну ночь испробуй в голубятнике. А понравится — «на хлеба» к нам перейдешь.

Если бы Алешка сразу захотел выслушать мой рассказ о самарском капитане, я бы ограничился тем: ка-

питан напоил меня в трактире чаем, потому что мой нос походил на нос его умершего брата, возможно, я добавил бы, что матросы, по ошибке, вместо капитана, избили меня, но я вырвался, вскочил в поезд и приехал сюда, в город Курган, славящийся своей справедливостью. Но Алешка угостил меня молоком, дал мне два ломтя сдобного хлеба и под голову мою положил свою подушку. На чердаке было жарко, душно, по железной крыше бегали коты, но запахи дома нравились мне, нравилось мне и то, что голова моя лежит на подушке. По углам голуби сонно перебирали крыльями. Да, здесь придется рассказать что-нибудь высокое и большое. Алешка торопил меня:

— Так, значит, идет по площади адмирал? Форма-то на нем какая?

— Идет навстречу тротуаром капитан. Останавливает меня, молча поворачивает со всех сторон и говорит басом: «Не по форме одет».

Алешка даже взвизгнул от восторга.

— Молодцы наши капитаны. Люблю!

— Очень, говорит мне капитан, очень ожидают вас большие несчастия из-за носа. В нашем мире, говорит, с таким носом, как у вас, молодой человек, жить невозможно. Я это испытал на себе, пока не пробрался в капитаны, потому что тут мой нос был заменен пароходным носом.

— Скажи ты пожалуйста. Как же это ему заменили-то?

— Обращали больше внимания на капитана, потому что он командовал направлением пароходного носа.

— Так, понятно. — Но, видимо, Алешка не понимал меня. — Очень понятно.

— Идемте, говорит мне капитан, нужно исправить ваше счастье, молодой человек.

— В полной форме?

Дальше я рассказал Алешке о том, как пароходный капитан Николай Николаевич Лянгасов, усатый и солидный мужчина, привел меня к себе и угостил чаем. Лянгасов, видите ли, сразу почувствовал ко мне приятное расположение, увидал, что я человек с высокими стремлениями. Лянгасов недавно потерял сына, который как две капли походил на меня. Сын его Сеня, видите ли, влюбился в гимназистку, но так как он был курнос до поразительности, то гимназистка отвергла его,

и Сеня застрелился. Капитан сочувствовал мне. Я подробно описал гостиную капитана Лянгасова. Зеленый бархат украшал ее. Даже клетка, в которой сидел попугай, была из бархата.

— А попугай-то какой формы? — спросил Алешка.— Ты мне о попугае побольше расскажи. Вот, говорят, нет в нашей России попугаев, не растут. А я не верю. Не такая страна Россия, чтобы попугайных форм не существовало.

— Попугай славен не формой, а способностью говорить человеческие слова.

— Говорить и вороны могут, — сказал Алешка и вдруг крикнул во весь голос: — «Каркнул ворон: НУВЕРМОР!»

Алешка знал наизусть стихотворение «Ворон», потому что там хорошо описана «воронья форма». Правда, Алешка предпочитал формы яркие и воронью форму принимал только потому, что «описано складно». Он прочел мне стихотворение, перепутав строчки, переиначив слова, например, вместо «ворона» он говорил «коршун», а иногда «цапля».

— Каких цветов-то попугай? И клюв у него какой?

Я смутился. Я никогда не видывал попугаев, но и Алешка, оказывается, их тоже не видал. Тогда мне стало легче. Я подробно описал длинные светло-зеленые крылья, крутую серую спину, а когда попугай взмахивал крыльями, я видел низ крыльев оранжевого мягкого цвета. Звали попугая «Худак». Но Алешке и этого было мало. И я рассказал ему историю о попугае и о капитане Лянгасове, которую любил рассказывать отец мой. Я выбрал Лянгасова, потому что мне трудно было от усталости и сонливости придумать что-либо свое.

— Надоели Худаку наши серые края, у него и без того серого цвета уйма на крыльях. Вот собирается Лянгасов плыть в тропические страны, а попугай ему и говорит: «Есть у меня к вам просьба, Николай Николаевич. Отправляетесь вы на Яву. Будете вы останавливаться в портах Батавии, и войдете вы в искусственный рейд Танджонг-Приока. Когда ваш пароход отпустит якорь, вы сядьте и поезжайте по реке. И как только заплывете в такое место, где ветви переплетаются над рекой, образуя свод, вы увидите на ветвях множество попугаев, и я попрошу вас крикнуть им: «Худак кланяется вам! Вот и все». Капитан удивился. Приплывает он

в порт Танджонг-Приока. Пароход останавливается, грузит уголь. День грузит, другой. Капитану делать нечего, пил он сельтерскую, квас, содовую, ничего не помогает: жара и духота. Лоцман ему предлагает: «Прогулялись бы вы, господин капитан, прохладными местами, скажем, этой рекой». Лянгасов и поплыл. Согнулись ветви в виде свода, запорхали попугаи, вспомнил он свою птицу, оставшуюся в Самаре, и крикни: «Худак вам кланяется! Сидит он в стране Урал, в городе Самаре, в зеленой клетке!» Только услышали это попугаи, упали все в воду, сыплются мимо лодки, как листья. Капитан испугался, еще больше вспотел и повернул лодку обратно.

— Испугаешься, когда они все одинаковой формы. Или разной?

— Одинаковой.

— Что же это за страна, если всех попугаев в одинаковую форму нарядили?

— Приезжает капитан домой, сидит в кресле возле клетки и грызет орехи и пьет чай внакладку. Попугай тоже грызет орехи. Вспомнил тут капитан Лянгасов прогулку по притоку реки в рейде Танджонг-Приока, говорит он Худаку: так, мол, и так, передал твой привет, но повалились все твои соотечественники в речку. Только услышал попугай эти речи капитана, как хлоп с жердочки на пол клетки. Смотрит капитан, а попугай вытянулся, клюв раскрыл, язык наружу, глаза под лоб. Вот дурак, думает капитан о попугае. Раскрывает клетку, щупает: сердце молчит у попугая. Рассердился капитан и на себя, и на попугаючью слабость. Для чучела Худак некрасив. И выбросил капитан попугая в окно прямо в ручей, потому что только что прошел дождь, и ручьи волочили всяческую гадость в реку Волгу. Но не проплыл попугай и трех шагов, как расправил крылья, вспорхнул и говорит, летя в поднебесье: «Сам ты дурак, хотя и капитан дальнего плаванья». Оказывается, это попугаи посоветовали ему притвориться мертвым и таким способом освободиться от плена. Вот летит попугай на родину в Африку. Летит он день, два, а пища все пшеница, да изредка картошка, ни тебе ореха, ни тебе тропических ягод. Попробовал попугай смородину есть, только брюхо болит. Залетел он под облака, огляделся, а вокруг все пшеница на тысячи верст. Вот и вернулся попугай к самарскому капитану Лянгасову и говорит:

«Оказывается, тропические-то законы для России необязательны».

— В Сибирь бы летел, балбес! Здесь его форма больше годится, здесь и для его пищи кедровый орех растет.

Алешка нисколько не сомневался в справедливости рассказа, и это доставляло мне громадное наслаждение. Впервые я встретил необычайно доверчивого слушателя. Он был не мечтатель. Когда, например, на другой день я пожелал поселиться у них нахлебником, он торговался со мной долго и упорно. Он тщательно перечислял стоимость продуктов, расходы, беспокойство. Попробуй займи у него денег, думал я. Но со всем тем он слушал мои рассказы упоенно.

Утром нас будило хлопанье голубиных крыльев. Ломовой извозчик Степан Кочетков, Алешкин дядя, кормил овсом коней. Голуби рвались к овсу. Алешка выпускал их по одному, подробно объясняя мне достоинства каждого. Мы залезали на крышу. Я видел отсюда, что крыши всего города покрыты голубями. Город пламенел от белизны голубиных крыльев. Казалось, что крыши стонали от страсти. Общеизвестно — голубь птица любвеобильная и вежливая.

Вскоре подошло время, когда я ощутил в себе эту голубиность.

В доме, куда привел меня Алешка, жило две семьи — Жулистовы и Кочетковы. Семьи различались только фамилиями. Собой они были громоздки, грудасты, усаты. По двору ходили грудастые ломовые лошади. По крыше степенно гуляли грудастые голуби. И дом, казалось, идет по Курганской улице грудью вперед, сизый, воркующий.

Соседи были грузины-булочники, тоже грудастые, румяные. Меня удивляло, что они не отличаются ничем от русских, так же пьют водку, ругаются. Только по праздникам они обряжались в черкески. Плечистые, веселые они шли в церковь.

Через забор я смотрел, как грузины ловко орудуют тестом и мукой. Сашенька Кочеткова степенная, молчаливая, громоздкая не по летам: ей было всего 17, садилась на забор и тоже смотрела на грузин. Я думал, что она влюблена в кого-нибудь. Но оказалось, она любовалась на всех, как делают быстро и ловко они свою работу. Любовалась она, как осенний ветер ловко сдирает с де-

ревьев листья, любовалась, как толстые грузины быстро хлопают крышками ларей, быстро черпая оттуда громадные ковши муки. Однажды булочники подрались. Сашенька всплескивала руками, глаза ее горели.

— Смотри, Всеволод, как ловко!

Голубоглазый грузин пырнул черноглазого ножом. Сашенька еще пуще обрадовалась.

— Ой, кишки, Всеволод, полезли, ей-богу, кишки. А этот еще лучше работает.

Черноглазый грузин, всовывая кишки в живот, догнал своего противника на улице и все-таки ударил его ножом в спину! Булочники оба умерли через полчаса. Сашенька смеялась над тем страхом, который появился у меня, когда я увидел смерть. Посмеявшись, Сашенька бросилась помогать вдове. Она работала не менее ловко, чем покойные грузины. Она расспрашивала меня, как работают в типографии, знала размеры шрифтов, не будучи там ни разу. Она ловчей любого ломовика умела запрячь, распрячь, погрузить. Но обольстила меня вовсе не ее ловкость.

Рассказав Алешке из вежливости о капитане Н. Н. Лянгасове, я этим самым возвращал себя в Индию. Долго я не хотел выезжать из Самары. Я рассказывал Алешке о капитанах, о волжских лоцманах, о водоливах на баржах. Алешка расспрашивал меня и не верил, что я был только в Самаре.

— Нет, ты дальше ездил. Ты не скрывай!

И я сообщил дополнительно нечто о капитане Лянгасове. Сострадательный капитан, дабы улучшить мою жизнь, предложил мне через посредство знакомого ему хирурга сделать мне более благородный нос. Ужасная судьба его сына пугала меня, но и хурург не внушал мне доверия. Алешка Жулистов обладал вполне приличным носом, и страдания из-за рыхлости носа его не трогали. Он признавал ценной форму одежд, но не людей, не их частей тела. Когда я отказался резать свой нос, Алешка сказал:

— Правильно. Можно такую красивую форму подобрать для человека, что любой нос окажется сносным. Ну и как же отнесся капитан? Наверняка разозлился?

Мы перешли спать в комнаты. Спало нас в одной комнате шесть человек, рослых и здоровых. Пятеро спали на полу, «вповалку». Сашенька спала на кровати.

То ли коротко было одеяло, то ли жарко в комнате, но Сашенька постоянно открывала во сне свои ножки.

Голуби, думал я, тоже вежливы.

— Капитан Лянгасов почувствовал ко мне еще большую любовь,— вежливо рассказывал я.— Ему я был близок не менее чем его погибший сын! Он повез меня в Индию. По дороге он захворал оспой. Несколько дней я самоотверженно ухаживал за ним, но все-таки бедный капитан в бреду, путая меня со своим сыном, ушел к праотцам, оставив на мое попечение корабль и все свое имущество. Несчастного капитана бросили в Красное море, привязав к ногам чугунное ядро. Напали было пираты, но я так здорово командовал, что мы отбились. Итак, я приехал в Индию. Наш корабль остановился в рейде Бенареса.

Должен сказать, что, покинув на шпалах Индию, я тотчас же многое забыл о ней. Сейчас я утешал себя тем, что возвращение мое временное, на несколько дней, поэтому мне было приятно, что я не мог вспомнить, чем же город Бенарес отличается от других индийских городов. Впрочем, Алешке было вполне достаточно, что там сливается фиолетовый Ганг с черным Индом. Хуже дело было с одеждой —с «формой». Алешку не удовлетворяли белые тюрбаны и светло-синие халаты индусов. А когда я сказал, что факиры ходят в лохмотьях, он не пожелал знать что-либо о факирах.

— Наше государство богаче, выходит, индусского,— сказал Алешка. — Одели, сволочи, факиров, самых умных людей, в тряпье!

Помню, мы стояли на кургане, том самом, о котором говорил Петька Захаров. Осенние деревья окружали Тобол. Было солнечно. Истомленный рассказами, я чувствовал, что мне давно уже пора вернуться в Россию, но меня обидело Алешкино равнодушие к факирам. Перед тем как идти на курган, я купил в магазине дамских шляп несколько длинных булавок. Я хотел показать их Алешке и поведать ему о тех чудесах, которые свершают факиры.

Каждое утро Алешка сообщал мне свои сны. Странные это были сны! Белка, играющая на скрипке. Медведь, ревущий в пожарный рукав про свою жизнь. Подробное описание танцующих голубей, их замечательные формы: белые, оранжевые, зеленые. Алешка чрезвычайно уважал музыку. Он целые ночи сидел, бывало,

на скамейке, возле дома, где одноглазый гармонист, слесарь, рябой и тоскующий, играл «хаэавату».

Когда я показал Алешке булавки, он вдруг вернулся к сновидению, уже рассказанному мне утром. Я рассердился. Я вытер полой рубахи булавку — и быстро воткнул ее в грудь. Алешка смотрел на меня с ужасом и восхищением.

— И не больно?

— Вроде комариного укуса,— сказал я.

Алешка рассмеялся:

— Кто же тебе поверит, что факиры ходят в лохмотьях!

На другое утро он мне рассказал, что видел во сне Индию. Его страна очень походила на ту страну, о которой думал я. Небо розовое, а не такое, как у нас — серое. Деревья распускаются наверху громадными пучками листьев, а не так, как у нас ель ползет от самой земли мелкой, как песок, хвоей. Медведя, самого крупного нашего зверя, легким ударом хобота убивает слон. А у нас слоны схоронены подо льдами, и, для того чтобы не было обидно, мы их называем поиному — «мамонтами».

Нет, и люди там иные! Нет, не вернуться мне из Индии.

— Вот кабы ты перед тем, как ехать в Самару, в Курган наш завернул,— сказал Алешка,— я бы тогда тоже побывал в Индии.

Я купил себе гуттаперчевый воротничок и манжеты. Я сам стирал белье. Я копил деньги. Сновидения мои и Алешкины быстро надоели мне. Я мечтал о Волшебной библиотеке. Я бросился на последние страницы газет. Я получал заказные бандероли, покрытые сургучными печатями, штемпелями «Петербург». Я купил: «Практическую магию» Папюса (черная и белая), 3 тома, 1912 г.; Павел Седир — «Магические растения, включающие в себя Оккультную ботанику, Геометрическую медицину, Палингенезию, Универсаль из росы, Ботанический атлас», 1909 г.; издания д-ра филос. Б. Сидис: «Психология внушения», 1902 г.; «Психометрия», пер. с английского, под ред. Синга, 1908, этого же автора «Френология», «Астрология», «Хиромантия», «Спиритизм», «Магнетизм и гипнотизм»,— лекции профессора психологии доктора Ю. Охоровича, изд. редакции журнала «Ребус», 1896 г. Затем на меня посыпа-

лись соображения, которые высказывал йог Рамачарака: «Наука о дыхании индейских йогов», «Религия и тайные учения Востока», Соуми Абедананда: «Как сделаться йогом».

Жить надо, говорили книги, по системам. Ни одной главы не обходилось без того, чтобы меня не обвеяла какая-нибудь новая система. Система Санкия! Система Веданта! Система йога Петанджали! Все эти системы никак не могли сговориться с собой, даже слова они писали по-разному. В одной книге добро напечатано было с большой буквы, а в другой с большой буквы печаталась сила, а добро с маленькой. Поначалу я думал, что у них не хватает букв, как это случалось у нас в типографии Кочешева, где иногда, набирая афишу, приходилось ставить буквы различных шрифтов, но позже я понял, что каждая система старается обвесить, обмануть другую систему! «Нехорошо, очень нехорошо, господа индусы»,— думал я.

14

В простенке горницы висело зеркало, в которое разглядеть себя невозможно. Дабы не вызывать душевного разлада, в зеркало посматривали мельком. Я поставил к зеркалу маленький стол, купил керосиновую семилинейную лампочку. Прямо из окна, по ту сторону улицы возле кирпичной ограды виден ряд тополей, постоянно покрытых дождем. Ограда тщетно старается скрыть водочный завод. Поздняя ночь служит ему оградой. Я читал книги о факиризме до тех пор, пока пурпуровый восход не открывал мне кирпичную трубу завода. Я добросовестно беседовал с каждой системой и покидал ее неудовлетворенный, потому что она неизбежно говорила в конце:

> «Однако мы хотели бы вполне ясно установить, что приводимые здесь объяснения не относятся к высшему классу явлений, производимых учителями и высшими оккультистами. Эти люди высокого духовного достижения подчиняли себе силы природы высшего порядка и употребляют свои знания для блага и развития человечества».

Я тоскливо смотрел на кирпичную трубу. С тополей лилось такое количество воды, что было непонятно, почему здесь нет реки. Шел пьяный мужик, через каждые два шага падая с тротуара. Спать бы ему, а он шляется. Из-за тополя выскакивала баба. Она пыталась поднять мужика, — и вдруг: раз-два! — мужик ловко бил ее по уху. Баба падала. Мужик поднимал ее, опять бил по уху и падал сам. Баба пыталась поднять его. Я смирно смотрел на эту нелепицу. Осень заглушала их голоса, и мне казалось, что никогда они не будут стоять рядом. Да и нужно ли им? Вот тебе и благо человечества.

Тот же йог Рамачарака говорит подальше: «Индусская мысль идет по своему пути, чуждому точке зрения Запада, который видит преимущество и добродетель в гласности. Восток твердо держится того мнения, что истина — только для избранных, готовых принять ее».

Книги теребили меня, издевались надо мной. Обо мне они нагло говорили: «У факира нет ни научных побуждений, ни высокого духовного идеала».

А мне казалось, что они просто не могут научить более того, чем я знаю сам. Тот же йог Рамачарака, вместо объяснений, напечатал: «Многие из психических явлений могут иметь место только в Индии благодаря преобладающему там психическому состоянию масс». Как будто боясь того, что я могу явиться в Индию и проверить его слова, он торопливо добавлял: «Факир с презрением отказывается от предложенных ему денег и скорее умрет, чем выдаст тайну. Безрезультатны были все усилия многих европейцев проникнуть в эту свято хранимую тайну факиров».

Системы связно излагали лишь ритмическое дыхание, служащее способности производить м а й ю, то есть «уметь вводить в заблуждение чувствования присутствующих и заставлять их видеть то, чего нет в действительности».

Я дышал вполне им послушный. Я дышал месяц, еще месяц, три месяца. Но я не завладел ни одной хотя бы самой маленькой тайной.

Заставлять видеть то, чего нет в действительности!

Я смотрел в тусклое зеркало, и мне казалось: вот я беру пустой ящик и поворачиваю его. Из ящика выползают змеи, изгибаются, раскачиваются, толстеют. Змеи уже толщиною с добрую жердь. Я щелкаю паль-

цами, змеи исчезают. Затем я беру конец веревки и бросаю его вверх. Веревка поднимается. Я оставляю ее. Она не падает, а нижний конец ее болтается в нескольких аршинах от земли, как будто где-то высоко над землей привязан ее конец. Я приказываю своему помощнику. Мальчик поднимается по веревке все выше и выше, исчезая в облаках. Я хлопаю в ладоши. Он выпрыгивает из толпы. Затем я сажу в землю семя подсолнуха. Я машу руками. Появляется зеленый росток. Он быстро развивается, вот уже листья, вот уже широкий цветок. Я обрываю лепестки — и лепестки покрывают всю лужайку. Затем я беру своего помощника, толкаю его, и он вертится, как волчок. Его движения ускоряются. Мальчик воронкообразно исчезает в воздухе. Я беру ведро воды и лью. Вода льется непрестанно и заполняет всю лужайку. А в конце лужайки, прислонившись к осине, стоит Филиппинский, тяжко пыхтя: Пашка Ковалев считает сбор. Петька Захаров бойко сверкает глазами, думая, как бы так понатужиться, чтобы на следующее представление вместо двух сотен пришло две тысячи человек!

Истинно, нет ни научных побуждений, ни высокого духовного идеала, ни тайны! Я тосковал о шествии факиров, о своих друзьях, в которых некогда разочаровался. Изредка я думал, что тоска моя оттого, что приближается зима, что у меня нет шубы, что мне трудно подобрать учеников.

> «Ученики факира должны ввести толпу в состояние ожидания. Они должны играть на легких инструментах, создавая заглушенные звуки, под которые факир медленно и сонно поет слова, оканчивающиеся на «у-ум».

Ведь экие болтуны! Напечатали «у-ум», а какие слова должен медленно и сонно петь факир, черт их знает. Я беру тетрадку и придумываю:

Перпетум...
аквариум...
террариум...
консилиум...
усиль ей ум!
как много сум!
красивый оппосум!
пуля дум-дум...

Сашенькины ножки выбиваются из-под одеяла. Топят, что ли, чересчур жарко? Я говорю старухе Кочетковой:

— Вы бы, Максимовна, топили поменьше.

— Замерзать, по-твоему, книга?

Меня нежно называют «книгой». Обе семьи дружные и легкомысленные. Они почему-то решили, что я хочу сдать экзамен на учителя. А в комнате все жарче и жарче. Конечно, факир должен искать всяческие испытания, но почему же им начинаться с девичьих ножек? Лучше воспитывать в себе искренность, вставать раньше, а не думать об этих семнадцатилетних ножках, крепких и длинных, с удивительно прозрачной кожей.

Я пристально смотрю в зеркало, я думаю о словах йога Рамачарака, а на самом деле мне хочется помочь Сашеньке освободиться от тяжелого стеганого одеяла. Кто знает, может быть, она привыкла спать голой?

Вот уж никак не ожидал я от своей воли, что она выкинет такую штуку. Я старался смотреть в книгу. Я прикрепил к воротнику куртки булавки так, что, обернись я, они кололи бы щеки, напоминая о моих решениях. Но я все-таки оборачивался и терпел булавочные уколы. Я смотрел назад до тех пор, пока ножки не расплывались, не теряли очертаний. Мне мучительно хотелось дотронуться до них. Мне казалось, что ножки холодные, как дерево. Нужно б проверить. Я с радостью привязал бы свои руки, но как тогда перелистывать страницы? Я поворачивал только одну голову, боясь повернуть все тело. Когда шея начинала нестерпимо болеть, я смотрел на Сашеньку в зеркало. Она лежала, закрыв голову, и сквозь муть зеркала, блеклую и водянистую, мне видны только ее ноги.

Женщина без головы! Наконец-то я увидал тот фокус, который мне хотелось видеть давно и который я хотел проделать сам. Я вспомнил Петьку. Мне делалось немножко грустно. Петька не только бы давно дотронулся до ножек, но и лег бы рядом с нею. Но я не совсем еще простил Петьке мои обиды. Я твердил, что из всех книг, прочитанных мною о воле, ясно, что не надо торопиться исполнять свои желания, а желания Петьки тем более.

Кормили меня хорошо. Я раздобрел. Щеки мои горели. Я ежечасно ощущал ту примесь, которая льнула

ко мне в этом голубином доме. Я очень сильно чувствовал свой возраст. Мне казалось, что Кочетковы и Жулистовы хотят, чтобы все в их доме было солидное, крепкое, примеренное к ним самим, и я натуживаюсь для того, чтобы быть таким же, как они. Вот, например, в сенях жила нищенка Аграфена Пычкина. Это была рыхлая и вялая баба, растолстевшая на голубиных хлебах. Меня сердила ее грубость, ее рыхлость, хотя она была и молода, лет 22. Она восхищалась грубой силой мужчин. Увидав драку, она даже визжала от восторга, а если проходил мимо здоровый мужик, она его хватала за руку и говорила: «Дай двадцать копеек», и глаза у нее бороздящие.

Я наполнялся такой тайной, которую меньше всего хотел иметь. Я с негодованием рассматривал в зеркало свои розовые щеки. Факирские системы не изнуряли меня. Труд их был легок. Я решил придумать свою собственную систему.

Я гулял подолгу вдоль курганских улиц. Давно выпал снег.

Однажды я возвратился поздно. Светила луна. Двор заставлен кожаными верхами пролеток. На зиму приехали извозчики из соседних сел. Извозчичья пролетка раскачивалась. Я подошел ближе. Из-за сарая вышла собака со скучной зимней мордой. Она посмотрела на меня так, как будто хотела сказать, что в наблюдаемом происшествии нет никакой тайны. Я понял ее, но мне хотелось проверить. Я пошел за сарай, обождал.

Из пролетки вылез Степан Кочетков, а за ним нищенка Аграфена. От обоих шел густой пар.

— Замерзнешь в сенях-то без этого, — сказала Аграфена, подпрыгивая.

Голос у нее молодой, и в ней нет той вялости, которая наполняла ее всегда. Она продолжала говорить, видимо, уже давно начатое:

— Хвалят больше мертвых? Хорошо! Умирать не так страшно. Слава далеко пойдет. Жизнь наша узкая, Степан. Узнаете, зачем я сплю в сенях! Вот он возле меня полежит и уйдет. Ни спросу тебе, ни тебе разговору, ни тебе плачу, ни тебе денег. Это тоже радость! Глядишь, после смерти пользователи будут рассказывать о моей простоте, пойдет славушка об Аграфенушке!..

У этой нищенки было свое понятие славы! Она чрезвычайно удивила меня. Кроме того, я понял, почему Алешка выходит ночью на улицу и почему долго не возвращается, а как он только вернется, так на улицу выходит Сережка, молчаливый брат Сашеньки.

Действительно, снисходительность нищенки пойдет в отдаленные страны и века!

Сашенькины ножки пронизывали тусклость зеркала своей рельефностью. Даже зеркалу не остановить их. Я не мог читать факирских книг. Я не мог думать о своей системе. Я не мог гулять по зимним курганским улицам. Оно само виновато, это голубиное семейство, что так мощно кормит меня!..

В доме предрассветная тишина. Я отодвинул табуретку. Но я не мог подойти к Сашенькиной постели. Я побаивался скандала и поэтому думал, что близкое приближение чересчур низменно для моих чувств. Я даже не пожимал ее ручки, никогда не посмотрел на нее особенным взглядом. Остатки моей воли вели меня к иной, более высокой любви! Если развивать свою волю, то ее надо развивать возвышенными способами. Вот неизвестная жалкая нищенка ищет славы, чтоб рассказы об ее снисходительности разнесли по всему миру. Если я, всемирно известный факир и дервиш, обойду весь мир, то не на мне ли лежит обязанность разнести эту славу и не стыдно ли будет мне, если я Аграфену обижу? А кроме того, Сашенька лежит в тепле и от теплоты раскрывает свои ножки, а там другая замерзает в сенях, и ее нужно пожалеть.

Она спала влево от дверей. Я зажег спичку, взятую на кухне, и оглядел ее. Она лежала, закрывшись рваным лоскутным одеялом. Спичка погасла. Я сел рядом.

— Подвинься.

Она привстала на локте, спокойно отодвинулась и сказала:

— Хоть бы предупредил вечером. Меня все предупреждают, а то эдак и за домового примешь. Видишь, голос-то у тебя какой зыбучий.

Вернувшись, я спокойно прикрыл Сашенькины ножки одеялом.

Я заснул таким необыкновенно крепким сном, каким не спал ни при каких трудах. Утром я проснулся, наполненный необыкновенным стыдом. Этот стыд мучил меня целый день, и только сильное желание еды за-

ставило меня вернуться домой. С болью думал я о встрече с Аграфешей. Но она еще не возвращалась со своей сумой. Особенно меня почему-то возмущала эта грязная ее сума. Я вспоминал, как она болтается сбоку, наполненная кусками хлеба, вспоминал особый вязкий голос, которым Аграфена просила подаяние, вспомнил то, что, уходя на сбор, она мазала лицо копотью, чтобы не ругали ее за молодость и здоровье. Я вспоминал ту ласковость, с которой она приняла меня, и то, что не смеялась над моей неопытностью. И все-таки я очень мучился. Все это мне казалось чрезвычайно низменным и грубым, несмотря на то что я разнесу ее славу. Может ли это в какой-либо степени отразиться на моем факирстве? Могло ли это быть искушением, которое я не поборол? Слово «искушение» соприкасало меня с церковью. А я хотел, чтобы моя система никак не походила на церковную систему! Следовательно, это не было падением? Факир не отказывается от «этого», но мне было больно, что должное произойти первый раз в жизни произошло именно с Аграфешей.

Я написал послание к Аграфеше! Я сообщал ей, что все происшедшее было минутным заблуждением, что похоть, охватившая меня, не повторится, но я признателен ее дружескому поведению и навсегда остаюсь ее другом. Запечатав письмо и наклеив марку в 7 копеек, я вдруг подумал: а ведь местное письмо оплачивается в 5 копеек! Мне стало стыдно, что я как будто пожалел 2 копейки. Я написал второе письмо. Перед тем как писать это письмо, я наклеил на конверт марку в 7 копеек.

«Несомненно,— писал я,— должно произойти множество несчастий в твоей жизни, Аграфеша, дабы прийти к выводу высшей мудрости, что только снисходительность, спокойствие, управление страстями есть то счастье, которого добивается человек, что, в сущности, все — «тайные учения Востока» — все Веданты и Сутры как раз говорят то же самое. Едва я попаду в Индию, я признаюсь, что как раз ваша помощь, Аграфена, открыла мне великую душу русского народа и помогла мне дойти до Индии. Только дрянное мое тщеславие позволило мне стыдиться наутро тех ваших поцелуев, которыми вы проводили меня. Все это я вытравлю из себя! Уже сейчас ваш образ, Аграфеша, становится для меня высоким и радостным, и когда прой-

дут многие годы, этот образ светлой любви встанет передо мной в необычайно ярком ореоле! Вы для меня не друг, а подлинный и настоящий учитель».

Оба письма показались мне вскоре несправедливыми. Я написал третье. Я наклеил на него две семикопеечные марки. Я написал, что ее слова о знаменитости и славе открыли мне многое. Я благодарен ее чуткости, с которой она увидела, что именно я обладаю способностью передать ее слова потомкам. Поэтому пусть она хранит письма знаменитого факира и дервиша Бен-Али-Бея, творца великой системы, еще не имеющей имени. Пусть хранит их, как ни разноречивы они, ибо только в той разноречивости их ценность, потому что Бен-Али-Бей искал тогда великую истину своей системы. Придет время, я устремлю майю, и все люди увидят чудеса, которых прежде не замечали они, и среди чудес будет раскрыто чудо вашей души, Аграфеша! Я появлюсь в Кургане, осененный славой, и возьму у вас письма, чтобы их напечатать в книге с золотым обрезом как руководство для людей, которые будут изучать мою систему. Книга эта будет стоить дешево. Я приложу портреты вас как моей первой ученицы и последователя Бен-Али Бея!

Нельзя сказать, чтобы и письмо третье мне очень понравилось. Но я боялся, что на четвертом я уже совершенно не справлюсь с собой. Я хотел было передать только последнее письмо, но подумав, что это событие для меня и для нее чрезвычайно выдающееся, — «передам все!». Пусть разберется сама.

Утром во время чая Аграфена обычно садилась у дверей и ждала, похлопывая пухлой рукой по суме, когда мы все уйдем на работу. Она была ленива, и когда уходили все, тогда и ей приходилось уходить, иначе б ее выгнал старик Жулистов. Ребята ждали меня у ворот. Аграфена ждала, когда я уйду. Проходя мимо нее, я кинул ей на суму письма.

Она побледнела. Руки ее затряслись.

— Повестка? — спросила она заплетающимся голосом.

Бедняга, она знала из переписки только повестки мировых судей!

Я ласково сказал ей:

— Не повестки, а письма.

Она вертела их смущенно в руках:

— Кому передать-то?

— Не кому, а тебе. Видишь адрес: Аграфене Пычкиной.

Она все еще не понимала:

— А кто пишет-то? Откуда? Ведь в деревне все перемерли. Диви бы церковь у нас горела, ну, звали бы меня на сбор. Ошиблись! Разве кому с передачей? Вот напасти, господи. Да ты прочитай адрес хорошенько, парень.

Меня обидела ее бестолковость, казавшаяся мне даже намеренной.

— Написано тебе лично. Написано не из деревни, а из города от меня.

— Да, я вижу, что от тебя, но только кто бы мог послать? Ведь эдак до смерти можно перепугать! Ведь если на церковь деревенские не соглашаются сбирать, так я могу согласиться, но ведь не сгорело же три церкви, да и я не могу собрать на три.

— Пойми же ты, дурья твоя голова, что это пишу тебе я, Всеволод Вячеславович Иванов, который стоит перед тобой, наборщик типографии А. Кочешева.

— Кому бы это писать? — оторопело твердила она, крутя письмо.— А ты не сердись. Я тебя читать их не заставлю, а вот Сашенька придет с работы, так я ее попрошу. Как лезть, так вы все лезете, а как дело, так вам и письмо жалко неграмотной прочесть.

Она смотрела на меня испуганно.

Ужас овладел мною. Как я мог забыть, что она неграмотная! Я смотрел на ее пухлое лицо, засунув руки в карманы. Я буду мужественным. Я не стану вырывать письма. Пусть все читают, пусть знают! Моя воля должна закаляться в несчастье.

Она положила письма в свою суму.

— Ну, наделала ты мне хлопот, книга!

Я не знаю, как она с ними поступила. Несколько раз я пытался спросить у нее, но она, тупо ухмыляясь, говорила мне:

— Дай двадцать копеек.

Хотелось мне поговорить об этих письмах с Сашенькой, но и та молчала. Только однажды, щеголевато улыбаясь, она спросила меня:

— А что, Сиволод, писать письма трудная работа?

— Не столько трудная, сколько мучительная,— строго сказал я.

— Я б хотела ловко писать. Которые так пишут, что после этого три или четыре ночи непрерывно плачешь. Много непонятного, но все жалобно, все про страданье, а я так вот думаю, что никаких страданий нет, а есть только одни песни.

Глаза у ней были прозрачные, легкие, и действительно верилось, что для нее нет и не будет никаких страданий.

Недели две я спокойно читал книги, недели две в комнате было холодно и Сашенька спала тихо, но затем опять началось прежнее: жара и длинные ноги с прозрачной кожей.

Мне должны помочь звезды! Высокий духовный идеал и научные побуждения вряд ли способны посетить меня в этой душной комнате, где люди от жары спят голыми. Кроме того, мне казалось, что на дворе лают собаки и возле сарая бродят конокрады. Мне необходимо проверить свою смелость, накопленную мною во время долгих упражнений. Короче говоря, я отправился в сени даже без спичек. Аграфена сонно промычала:

— Да ты бы предупредил меня, меня все предупреждают...

Но, расслышав мой голос, она испуганно завернулась в одеяло и торопливо сказала:

— Нет, ты уходи, уходи. Не надо мне повесток, Сиволод.

— Да ты что, спятила, глупая!

— Уходи, а то закричу во всю голосянку. Закричу, что режешь, что деньги отнимаешь.

Она лягнула меня ногой в лицо, и я покатился по ступенькам.

Я ушел. Я не спал всю ночь. На другой день утром я уехал из голубиного дома. Я ждал, что Сашенька будет грустить, но она проводила меня весело и спокойно. Она, лениво ухмыляясь, выслушала мои объяснения, что высокие научные побуждения, искание тайны заставляют меня покинуть их дом, где для моих занятий нет отдельной комнаты, а следовательно, нет возможности причалить к науке.

Я долго колебался, прежде чем решился придумать новую факирскую систему. Уверяю, что только крайняя необходимость вынудила меня. Деньги, зарабатываемые мною, уходили бесславно. Я купил суконные брюки

за девять рублей, пиджак за семь, часы за два с полтиной. Двенадцать рублей послал в Лебяжье. Отец мой удивленно и обиженно ответил, что он не нуждается в моих деньгах и что двенадцать рублей пойдут как мой пай в постройке банка. Отец приложил письмо от банкирской конторы Вальтера Брета из Чикаго, которую отец пригласил участвовать в Лебяженском банке. Отец прислал письмо с американским конвертом, дабы у меня не было сомнений.

Нужно торопиться. Разврат приближался ко мне. Я привыкал к излишеству. Мне нравилось пить чай в трактире с баранками и стуком бильярдных шаров в соседней комнате. Но отказывать себе в чем-либо, изнурять себя без системы, лишать себя того, что я позже могу признать необходимым и достойным, благодаря рассуждениям системы, я считал излишним. Вот если бы я не прочел множество книг о факиризме, если бы не знал, что факир без системы существовать не может, — тогда дело другое! Но все-таки хорошо, прежде чем кидаться в дебри трудно постигаемой новой системы, посоветоваться мне с кем-нибудь.

Я спросил у корректора — кто бы мог поделиться со мной своими размышлениями о факиризме. Корректор Костич, удивлявший Курган тем, что один во всем городе носил белый полотняный костюм, сказал, что факиров не существует и что для убедительности каждому читателю стоит заглянуть в труд Рубакина «Среди книг», где указано по меньшей мере сто тысяч брошюр и томов, но ни одной книги о факирах. Костич даже принес мне «Среди книг». Но Рубакин не убедил меня. Я только скрыл в себе вопрос о Волшебной библиотеке, который хотел задать корректору Костичу. Несомненно, книги о факирах идут где-то особо, и это есть тайна, которую не знает высокообразованный, сияющий стеклами очков корректор «Курганского вестника» господин Костич. Потомок декабристов знает несомненно больше! Потомок декабристов, несомненно, слышал что-нибудь о Волшебной библиотеке, легенды которой заполняли всю Сибирь. Должны же быть в добродетельном городе Кургане потомки декабристов! Мне указали на единственного потомка декабристов, бывшего каторжника Севастьяна Максимовича Кухаревского, который занимал теперь должность библиотекаря и переводчика в союзе маслодельных артелей.

Кухаревского я нашел в пивной. Алешка Жулистов указал мне на него в окно и отошел прочь, потому что ненавидел людей «хромой формы». Кухаревский был весь какой-то протухший, в рваном пальто буровато-мясного цвета, лысый до необыкновения. Каждую фразу он начинал говорить высоко, но к концу угасал и последние слова говорил заикаясь, обдавая вас запахом гнили.

Кухаревский долго смотрел на письмо, которое переслал мне отец. Кухаревский потребовал, чтобы я выставил «пару пива». Он перевел мне письмо. Вальтер Брет предлагал моему отцу акции медноплавильных заводов. Господин Брет перечислял те прекрасные прибыли, которые получит отец, если вложит одну тысячу рублей. Прибыли необычайно увеличивались, если почтенный Вячеслав Иванов вложит десять тысяч рублей, а если он пожелает рискнуть пятьюдесятью тысячами, то господин Брет пришлет своего уполномоченного для личных переговоров.

Кухаревский, переведя письмо, почувствовал ко мне почтение. Он велел поставить еще полдюжины. Мне было лестно, что моего отца считают богатым, — и я поставил.

— Вам надо заняться языками, — сказал Кухаревский. — Я вам могу преподавать английский. Мужчина без языков почти ничтожество.

— Благодарю вас, — ответил я с достоинством, — но меня сейчас более всего занимает факирская система.

Из-за поставленной полдюжины я чувствовал себя более независимым. Я боялся получить пренебрежительный ответ и поэтому начал издалека.

— Не объясните ли вы, господин Кухаревский, какие у вас родственные отношения с декабристами?

— Прадед мой был подполковник Ухаревский, который женат был на дочери декабриста, откуда и сохранились все декабристские несчастья в нашей семье. Николай I рассердился на свадьбу Ухаревского и сказал: «Уничтожить этого ухаря самым унизительным способом, дать ему грязную кайму». Министры думали-думали и прибавили к фамилии моего прадеда букву К. И тогда мы сразу впали в полное ничтожество, и со всеми нами происходило такое необыкновенное, что вот я, например, облысел в одну ночь не только головой, но и голосом, а затем попал на каторгу.

Мне страстно захотелось узнать, как это так Кухаревский в течение одной ночи облысел не только головой, но и голосом. Кухаревский потребовал еще дюжину. Он рассказал мне ужасную историю, которую я передам вкратце. История эта заставила меня быстрее придумать свою систему. Вдобавок я испугался. Я понял, как бессмысленно плыть увлекаемым неизвестным течением, мне хотелось «вести свой корабль на своих парусах», захотелось быстро забыть этого каторжника, дабы самому миновать каторги, — и я выдумал свою спстему!

15

Повесть о чудовищной страсти Севастьяна Кухаревского, библиотекаря и переводчика с английского

«Я был красив и кудряв, господин Иванов. Я наслаждался большим счастьем и был спокоен. Мои деды и отцы, забыв о декабризме, который разрушил благосостояние нашей семьи, ушли в беличий промысел. Они промышляли «заводской» белкой, за Уральским хребтом в северной полосе. Доброта шкурки «заводской» белки и густота волоса выше «зырянки» на семь процентов, а цветом она приближается к чердынской. Как видите, преимуществ на нашей стороне было множество. Старики знали местонахождения белки и местонахождения эти тайно передавали от родителя к сыну.

И стрелял я не плохо. Белку, изволите видеть, бил одной дробинкой куда укажете. Не пил, не курил. Просватали за меня девицу с именем, которое легко освоить: Елена. Лицом и ростом всем на зависть. Поехали мы, невеста, тесть и мой папаша, на масленице в Екатеринбург продать белку и докупить кое-что из приданого. Приезжаем, пересвистываясь от радости, вылазим из кошевы. Папаша и мой будущий тесть, по профессии торговец щепным товаром, направились в трактир, а нам говорят: «Развлекайтесь, дети, как хотите, но чтобы в номерах быть ровно к полночи. Особенно не напрокутьте и вот вам на расходы по красненькой». Судите сами, какая в голове «набель», вроде как бы мы перед открытым морем. Вышли на улицу — и разбежались глаза. Вдруг перед нами остановилась афиша, название такое зазывное: «Идеальный муж», будь она проклята! Пой-

дем, говорю, Елена, в театр. Купили билеты и конфет. Сидим в бархатных креслах, все очень любопытно вокруг. Ну, представление там идет, ходят лорды во фраках, следуют дамы друг за другом, говорят все соблазнительно. Выходим мы, а Елена спрашивает:

— Любопытно, кто бы это мог написать так складно?

Читаю: Оскар Уайльд, перевод с английского. Книг мы множество прочли по декабристскому нашему наследию и стремлению просвещаться, но Оскар Уайльд нам не встречался. Елена сверкнула на меня глазами, сама вся в мехах, такая румяная, такая красивая.

— Вот,— говорит она,— очень замечательно провели мы вечер, я очень довольна и очень довольная уеду опять в таежную глушь и в тайге буду жить припеваючи, но только одного прошу тебя, Севастьяша,— угощения.

— Чего угодно, говорю, требуйте, Елена Дмитриевна.

— Хочу, говорит, в память об счастливом времени в Екатеринбурге, чтобы ты, Севастьяша, выучил английский язык и говорил со мной в страстные часы по-английски. Иначе жизнь не в жизнь и любовь не в любовь, а детки вырастут — ты их тоже научишь, так как сама я не осмелюсь к английскому подойти и у меня вокруг него страх и трепет.

Голова у меня молодая, горячая, из-под шапки кудри вьются. Елена говорит свои слова высокой точки и завивает кудри мои на свой тонкий пальчик. Эх, думаю я, а ведь будет приятно, если я обниму ее и скажу нечто на ухо по-английски! А если не по-английски, то разве она проверит? В тайге можно и приврать, потому что сейчас она «метлыш»-мотылек, а детки пойдут — не до английского ей языка.

— Отлично, говорю, исполню твою просьбу. У нас помощник волостного писаря понял по самоучителю полный гитарный строй, неужели я не дойду.

Метель, сугробы, рядом с нами древний дом с балконами в саду. Приятно. Обняла она меня, поцеловала.

— А я, говорит, со всей тебя женской нежностью так приласкаю, как и медведица в тайге не проявит силы!

Эка, думаю, девица-то какая. Откуда и слова. Распарило ее, должно быть, в театре. Если бы не почтенные родители, так думать мне б: с кем-то другим Еленушка теплилась! Поцеловались и пошли домой.

Попросил я совета от волостного писаря, а через два месяца получаю из Лодзи ворох книг, 375 предметов на 2 р. 50 к. Посмотрел, раскрыл я эти книги, — и сразу же вижу, не сжиться мне с ними, не свыкнуться. И так меня цапнуло за сердце, что я чуть не упал с ног. Но вспомнил, что особенно коснеть в горе не стоит, — есть возможность обмануть Елену. Но девица Елена оказалась с норовом, действительно медведице не уступит. Спрашивает меня, как и с кем занимаешься. Да ничего, отвечаю ей, занимаюсь, сохну. И говорю ей: «Тала, бала, мала»,— чтобы ничего не поняла. Она ухмыльнулась и говорит:

— Этак и комары умеют жужжать. А вот прислали за полтораста верст от нас в село Суровье бородатого ссыльного, который все языки произошел. Скачи, Севастьяша, иначе откажу.

Девка такая, — ее и отец боится. Она весь ихний дом в руках держала.

— Куда же, говорю, скакать? Время весеннее. Подождем дороги.

Сверкнула она глазами.

— Скачи, говорит, Севастьяша, не от любви поскачешь, а к любви.

Ну и поскакал.

Сидит на березовом пне человек с глазами кроткими, с бородищей до пояса, сам молодой и свежую книжку читает. А глаза у него такие фиалковые, очень нежные.

— Не по-английски ли? — спрашиваю.

— По-английски, говорит. А вы разве способны? Не студент ли вы?

Бух ему в ноги. Надо бы со слезами сказать, думаю. И сам говорю ему, действительно, со слезами.

— Спаси, говорю, и помилуй, господин студент. Сам я не студент, а настоящий охотник за белкой, а кроме того, люблю я Елену.

Тот было отнекиваться, а я ему — сорок две белки под ноги. Парень, должно быть, или жадный был, или надо было ему для его движения, но согласился. Сел я у его ног, и он мне говорит: «Английская азбука, говорит, состоит из таких-то и таких-то слов и слогов». И пошло чистить, и пошло чесать. Он было ко сну, а я ему: «Нет, говорю, раз вы уже, господин Томашев, взялись учить, потрудитесь продолжать». И так я его гонял без просыпу четыре недели.

Начали мы между собой изъясняться. До любовных слов еще не дошли, но уже предвиделись. Я посылаю немедленно нарочного к Елене, а она мне отвечает: «Продолжай». Так сидим мы месяц, другой, время не охотничье, зверь линяет, студент норовит всю свою бестолковую жизнь рассказать и перейти благодаря этому на русский язык, а я его ставлю на ноги: «Русский, мол, и без тебя мне папенька и маменька, почтенные люди, преподавали, а ты ходи в других языцех». Но он пропотеет и опять начинает язык ловить. К середине лета наткнулись мы и на любовные фразы, так как Елена требовала не только любовных слов, но и любовного смысла. Как я сказал «объятия» по-английски, то меня даже слеза съежила. А студент Томашев говорит пренебрежительно: «Экий вы грубый народ. Нет для вас ученья — увеселенье, а только любовь. Одним словом, сверху донизу — тайга».

Приезжаю домой. С коня спрыгиваю. Елене кланяюсь в пояс и говорю по-английски:

— Здравствуйте, несравненная Елена прекрасная, люблю вас лучше всего неба, и туч, и окрестностей. Вы жгете мое сердце, и тем эта моя речь великолепна, что окружающие вас папенька и маменька ничегошеньки не понимают!

Она мне улыбается и вдруг сурово спрашивает:

— А где же учитель твой?

— А я, говорю, его по-английски обогнал, и надобности мне в нем нету.

— Привести, говорит, учителя Томашева.

Повернулась — и в дом. Я сначала распалился, а потом думаю: все лето учился ради ее, неужели сейчас не смогу уступить. Конечно, из-под венца придем, морду за все страданье набью, но пока пускай щепит мое сердце в мелкие щепки. Сел на коня, скачу обратно. Студент Томашев мне говорит: «Я эти дороги, эти бесчисленные мили с вами месить не намерен. Переохайте ваше горе сами». — «Нет, — говорю ему, — если ты, господин Томашев, умел учить, так умей и расхлебывать!» Он побледнел. Взглянул он в мои глаза, а они тогда помоложе были, и говорит: «Где же ваш экипаж?» Молчал он всю дорогу от злости, ну, и я тоже понатужился и молчу, хотя и надо было б мне поупражняться в английском. Приехали. Елена говорит:

— А ну, объясняйтесь!

Мы покатились, разговорились, хотя обоим и противно друг на друга смотреть, да думаем: куда ни шло в последний раз! Она послушала, послушала и говорит:

— А ну, повторите.

Мы повторяем. Она вдруг среди разговора останавливает:

— Правильно. Нельзя такие слова придумать и так их точно повторить.

И повторяет она нам то множество слов, которые мы сказали друг другу, а говорили мы слова друг другу совсем неразборчиво, причудливо, прихотливо, а главное с бранью. Заметьте, господин Иванов, что с одного раза она их запомнила и повторила, тонко и грамматически изящно произнеся. Мы разинули рты. Елена говорит:

— Через месяц в этот же день свадьба. Я думала, Севастьяша, ты скоро не научишься, и с приданым не торопилась, а ты смотри как скручил мое сердце, как себя памуравил. Спасибо, Севастьяша, век тебе буду верна, век буду помнить твою услугу. Да и английский язык зря не пропадет. Зачем тебе возить белку в Екатеринбург? Будешь возить в Англию, партиями. Любовь любовью, а белка — белкой. Хватит нам, покормили мы своей кровью таежную мошкару.

Вот голова! Я ей поклонился, простил злость свою на учителя и сверх указанного выдал ему десять белок собственного убоя. Он посмотрел на Елену, от подарка отказался и говорит:

— Ради такой женщины я бы все языки мира выучил.

Я смеюсь и отвечаю:

— А вам не требуется, достаточно английского.

Ходим мы с Еленой, радуемся, готовимся к свадьбе, а в ту пору и снежок и пора бы на охоту, а я все подле нее и выбираю самые лучшие английские слова, которые с полным форсом говорили бы ей о моих чувствах. А тут внезапно сообщают, что едут к нам охотники из города Екатеринбурга. Охотники к нам приезжали всегда богатые, потому что живем мы в усиленной глуши и нужно напрягать много средств, чтобы к нам ехать. Но уж если приезжали, так мы на их деньги после отъезда всем селом пировали почти полгода. Охотники убивали возле нас медведей. Мы этих охотников презирали, медведей бы мы давно перебили, медведь не белка. Мы медведя держали ради этих охотников. Правда, скоту приходи-

лось трудно, пастухов медведи пугали, но все-таки выгоднее было, чтобы появлялись у нас самые настоящие великие князья русских и иностранных фамилий. Как услышал я, что едут охотники, то говорю, что надо б скорее отпраздновать свадьбу, а Елену будто укусило:

— Нет, говорит, куда торопиться, надо этих князей ободрать, и чем нам на свои деньги пировать, так лучше на княжеские.

А я подозреваю, что ей в девках напоследки хотелось покрасоваться, потому что охотники на нее всегда заглядывались. Но кроме того, девка неторопливая, а это нами, таежниками, ценится. Согласились мы на ее слова. Приезжают. Охотников человек 12 и среди них такой мешковатый старичок с рожей вроде намыленной, маленький весь, но винтовку держать горазд. Медведиха, как буря, выскочила, старичок не мигнул и прямо ей в соответствующее место разрывную пулю — и наповал. Остальные его уважают, и все ему: «сер» да «сер». Вот тебе, думаю, хоть ты и сер, а бить здоров. Елена их слушает и ходит вокруг них, а потом и спрашивает меня: «Что этот маленький про меня сказал?» А я отвечаю:

— Откуда мне знать? Они промеж себя по-французски.

— Зачем по-французски? — И Елена говорит ласково князю из русских: — Дорогой барин, вы по-каковски объясняетесь?

— А мы, — отвечает князь, по-английски объясняемся.

— Может быть, у вас, — говорит она, — разные слова бывают, вроде как нам, сибирякам, трудно понять без привычки харьковских или киевских мужиков?

— Нет, — говорит князь, — в общем мы говорим на книжном языке, на котором все учатся. А почему ты, красавица, спрашиваешь?

— А потому, — говорит Елена, — что у меня жених знает по-английски, но вот вас не понимает.

— Что за чародейство, — говорят князья и удивленно обращаются ко мне с английскими вопросами.

Я — ни слова! Переглянулись они. Тогда я обращаюсь к ним с английскими вопросами. Они разводят руками и говорят:

— Очень странно, но мы вас тоже не понимаем. Что за чародейство!

Я вижу — им уже смех трудно удержать. Елена со стыда вся закраснелась и говорит:

— Уходи прочь, чебак!

И обращается еще ласковее к русским и к иностранным князьям:

— Он у нас самый большой врун во всем селе и такое соврет, что самому станет стыдно, хоть бесстыден он до невозможности.

— Как же так, — говорят князья, — ты о женихе столь нелепо отзываешься?

— А какой он жених мне! Мало ли с кем я баловалась. У нас страна холодная, без чужого тела не проживешь.

Вижу, у князей загорелись глаза. Осматривают они ее тело. А я понимаю, что она врет на себя и готова такое принять необъятное, чтобы свалить стыд, который я на нее навалил. Стала она «маскалистая», как у нас называют. Раньше б никогда с барином рядом не села, глазами бы не сияла, а тут он ей сказал: «Придвигайтесь, чаю с ромом не хотите ли, Еленушка?» Она ему в ответ: «Отчего, говорит, не побаловаться, наша страна холодная, и нужно уметь извернуться в ней». Выскочил я и мчусь через тайгу. Волки воют вокруг. Винтовка в ногах. Думал застрелиться, но потом решил раньше узнать, в чем моя губительная тайна. Волки и те сторонятся моей злобной тоски, воют в отдалении. В полдень прискакал я в Суровье. Стоит мой студент на высоком крыльце, а сам белее обыкновенного снега, и говорит мне этот господин Томашев:

— Померещилось мне, или вправду ты скакал без передышки, Севастьян Максимович?

Вижу — дрожма дрожит Томашев, должно быть, уже все знает о приехавших англичанах — лордах. Я бросаю вожжи и говорю ему:

— Не примерещилось тебе, господин Томашев, а отвечай, отчего ты меня таким позором покрыл.

— Прости, говорит, Севастьян Максимович, все произошло из-за подлой ошибки. Я учился этому проклятому языку со скуки уже в ссылке по самоучителю, но английскому языку по самоучителю учиться невозможно, так как произношение его можно изучить только из уст в уста. Ты им попробуй, Севастьян Максимович, от руки написать, они все поймут.

— Нет, говорю, пускай теперь за меня другие пишут.

Вернулся к тележке, поднял винтовку. Господин Томашев на колени. Кричит, что он переймет у лордов этих произношение в два дня и передаст его мне. А я ему отвечаю, что перенимать теперь поздно, что суженая моя перенимает у них английские серые объятия. Отошел я немножко в сторону, чтобы не противно смотреть на человеческую кровь. Свалился он бездыханным. Помрачилось у меня все внутри, не помню, как и доскакал. Вхожу в избу, а Елена сидит на лавке, и лорд у ней голову на плече держит. Я опять отошел к дверям и поднял винтовку. Она на меня посмотрела с терзанием и спокойно говорит:

— Промышлять бы тебе белок, а не девок, дурак!

Я ей всадил пулю в то же страданье, что и студенту Томашеву. А лорд как лежал у ней на плече, так и замер тут со страху. Удивительно, сколько медведей он убил, а как гулящую девку кончили у него на глазах, он и ругани вымолвить не смог. «Заплехтень» — столбняк, если говорить по-московски, его посетил. Так, с головою набок, мы и оттащили в сторону. Прихожу я к старосте. Снимаю шапку: «Убил двух и не жалею». Староста и понятые собрались вокруг меня — и хохочут. А посмотрят вниз на шапку — и еще более. Я, видите ли, шапку оземь кинул, как полагается в предании для всех убийц. Вгляделся и я в свою шапку. А все мои кудрявые волосы лежат там. Действительно, больше смеха, чем горя. Но я не унизился перед ними своим горем, я тоже рассмеялся и говорю им: «Дадут мне судьи большее число лет каторги, чем полагается. Туда же, мол, лезет... Лысый, а от ревности убивает!» Староста слушает меня и хохочет. И понял я, что у меня и голос облысел».

16

Разговор мой с Кухаревским происходил под воскресенье. Когда Кухаревский окончил рассказ, пивная была набита народом. Песни, разговоры, пьяные поцелуи — все это помешало мне покинуть Кухаревского. Я рассуждал, что за соседними столами, может быть, рассказываются еще более страшные истории, где еще менее лжи, чем в этом рассказе. Но ведь сидел же он за что-то на каторге? Или стыдно признаться в этом гаме и шуме в своей высокой силе, в своих «декабристских» поступках. Я спросил его растерянно:

— Сколько же вы сидели?

Кухаревский зловонно дохнул на меня:

— Семь лет, но и теперь продолжается каторжное мучение. Писать по-английски пишу, а если вздумаю учить разговор, то вместо запоминания выговора вижу я укоризненный лик Елены и ее две медные косы.

— А если приезжает англичанин?

— С англичанами по заповедям господина Томашева объясняюсь письменно. Обидно! Вроде я нем, вроде как бы держат меня при правлении союза ради смешного несчастья, а не ради знаний. Всем известен! Сто лет маслодельные мужики будут помнить, что ради судебного процесса Кухаревского приезжали в город петербургские адвокаты, а больше всего запомнили смех публики при моих показаниях, что был я когда-то кудряв и голосом игрив.

Я спросил смущенно библиотекаря:

— Следовательно, вы поглощены собой и вам не припомнить, откуда в Сибири легенда о некоей Волшебной библиотеке?

— Нет, куда же мне волшебство. Я человек, озаренный своей лысиной, — ответил хрипло Кухаревский, поглаживая зеркальный череп.

17

Я поселился на окраине, возле реки Тобола. Я жил у солдатки Павлы Николаевны Рязевой в бане за рубль 50 коп. в месяц. Решив сберечь денег, я рассчитал, что, получая 18 руб. в месяц, я отлично просуществую, если буду тратить только 8. Через два года я сберегу 240 руб., буду знать свою науку, и, когда призовут меня на военную службу, я напущу такую удивительную м а й ю, что Присутствие отмахнется от меня навсегда! Я ненавидел казармы, прыгающих через деревянную «кобылу» солдат, трапеции, мишени для стрельбы, плац — пыльный, серый, плоский.

Я таскал из-за Тобола валежник и топил им печь. Пока накалялась «каменка» и закипал обед, я готовился к размышлению. Я далеко убрал все свои факирские книги и прекратил чтение газет, дабы свободно работать над своей системой. Я набрал и оттиснул в типографии наклейку:

«Бен-Али-Бей. — ЕГО ВЫСШИЙ ДУХОВНЫЙ ИДЕАЛ».
«Бей-Али-Бей. — ЕГО НАУКА».
«Бей-Али-Бей. — ЕГО ТАЙНА».

Так как идеал был, по-моему, очень несложен, то я уделил ему две из 15 клеенчатых тетрадей, приобретенных мною. Восемь тетрадей занимала наука, 5 тетрадей — мои тайны.

Уважение — вот мой высший духовный идеал!

Уважать нужно все, что видим мы вокруг. Уважать нужно все, что мы делаем. Мудрецы ошибались, когда велели людям любить друг друга. Где там любить, добиться б хоть небольшого уважения.

Но едва только я начал думать об уважении, как это слово, которое занимало так мало места в моих прежних размышлениях, вдруг приобрело множество оттенков, подразделений, значений. Оказывается, есть уважение к работе, к пище, к мыслям, а главное, совсем неодинаково уважаем мы друг друга! Например, по моему идеалу получалось, что я должен уважать Филиппинского, но мне трудно было подобрать поводы для этого уважения. Я никак не уважал его, хотя в то же время слегка и скучал по нему... Я уделил Филиппинскому несколько вечеров. Я сидел на полке, поджав ноги и уставившись в маленькое окно, которое каждую ночь закрывал сугроб. Утром, перед выходом на работу, я раскидывал этот сугроб, но вечером опять поднималась метель. Я решил, что пусть Филиппинский сам научится уважать других! Я записывал свои мысли в тетрадке «Его высший духовный идеал», и едва я записал свое отношение к Филиппинскому, как сразу же перестал думать о нем. В этих тетрадках я нашел того учителя, которого давно не хватало мне. Вечером я записывал свои мысли, утром перечитывал их с восхищением.

«Его наука» заполнялась теми полезными сведениями, которые я давно сбирал: из отрывных календарей, из «смеси» в журналах, из растрепанных книжек, покупаемых на толкучке, вроде «Доктор Гам. — Буфет всевозможных водок. Неоцененный источник дохода буфетчиков железных дорог. Драгоценный подарок погребщикам, буфетчикам, дворецким и водочным заводчикам. Репертуар всевозможных средств домашнего приготовления спирта, водок, ликеров, эссенций, экстрактов, искусственных вин, сиропов, дрожжей, уксуса,

с прибавлением предметов, необходимых для домашнего туалета». Я считал, что если свести в одно все эти сведения, то это будет как раз та наука, которая необходима людям. Но кроме выписки я должен был и сам изобрести нечто свое, опиравшееся на эти полезные сведения! Фокусы, ранее пренебрегаемые мною, теперь, когда я потерял свои шпаги, наполнились прелестью необыкновенной. Фокусы, рассуждал я, это как раз то, что способно возбуждать грубых и мрачных людей, среди которых я находился. Для прогресса моего учения мне необходимо уважение. Именно фокусы и могут мне дать это уважение.

Упоенно я придумывал фокусы и еще более упоенно объяснял те, о которых мне приходилось слышать. Например, я никогда не видал «говорящую голову», но я знал, как на столе появлялась голова без туловища. Она отвечала на вопросы, ела, пила, курила. «Этот на первый взгляд чрезвычайно замысловатый фокус, — писал я, — в сущности очень прост:

> Закажи полукруглый стол на трех ножках. Между этими ножками вставь два зеркала так, чтобы одно было под прямым углом к другому, а третью, самую широкую сторону оставь открытой. В середине стола делается отверстие с дверцею, в которую могла бы свободно пройти голова. Убери из комнаты все, чтобы оставались одни голые стены. Стол поставь открытой стороной к задней стене, а зеркалами к зрителю так, чтобы та ножка, где сходятся оба зеркала, приходилась посредине, прямо против зрителей. Боковые стены отразятся в зеркалах, а зрителям будет казаться, что они видят между ножками стола заднюю стену. Но расстояние от стола до боковых стен и до задней должно быть одинаково. Тогда линия пола, отражаемая в зеркалах, и действительная составят одну прямую. Факир все время держится впереди стола, не заходя в глубь комнаты. Убедив зрителей, что на столе и под столом ничего нет, он берет кубический ящик около полутора футов длины, ширины и вышины и, дав публике осмотреть, что ящик ничего не содержит, опрокидывает его на стол, как раз над дверцами. Пока он рассказывает публике, что в ящике появится голова, способная делать

все, что может делать всякая живая голова, его товарищ, сидящий под столом и скрытый от публики зеркалами, отворяет дверцу и просовывает в нее голову. Когда ящик снят со стола, то публика видит на столе говорящую голову».

Каждый день я или вспоминал какой-нибудь фокус, или придумывал такие аппараты, которые, казалось, легко было сделать. Вот, например, писал я, *«Револьверный выстрел»*. Он гасит три зажженных свечи и в то же время зажигает три других. Я ставлю на стол шесть свечей, с одной стороны три зажженных и с другой три погашенных.

> «Факир просит зрителя зарядить ему пистолет, взяв который он стреляет на расстоянии пяти шагов по зажженным свечам. Свечи угасают, а три незажженные загораются. Это легко сделать! Надо взять три целых свечи свежего литья и, растрепав светильник иглою, вставить в середину их по зернышку фосфора. Вся тайна в том, чтобы не касаться фосфора пальцами, но употребить иглу. Загорится фосфор от движения воздуха, производимого выстрелом».

Или вот *«Птица с магическим голосом»*:

> «Вы видите ее сидящей на устье бутылки, напевающей песню, какую ей прикажут, не исключая и тех арий, которые искусный зритель тут же на месте сочинит и пропоет перед птицей. Она распевает так же отлично, когда ее снимут с этой бутылки, посадят на другую бутылку или поставят на тот или иной стол. Изо рта ее исходит дыхание, которое колышет огонь — свечу, которую факир держит как довод того, что птица эта имеет магический голос. Происходит это потому, что позади занавеса, который закрывает часть стены, находятся два пустых металлических кегля. Эти трубы служат помощнику факира вместо разговорной трубы, или, лучше сказать, они составляют эхо, которым его напевы отражаются в разные углы, подобно тому как два выпуклых зеркала различного выгиба через разные расстояния отбрасывают подхваченное изображение из своего фокуса. По-

мощник, подражая птичьему голосу, напевает песни на память или по данным ему нотам. Если же ария, заданная птице, трудна и помощник ее просвистать не в состоянии, факир объявляет зрителю, что птице нужно начать какую-нибудь знакомую арию, дабы она могла перейти к требуемой арии. Этим замешательством и воспользуется скрытый музыкант, он разбирает трудности и начинает заданную арию, когда другой помощник окончит первую знакомую арию. В теле птицы находится небольшой двойной мех, приводимый в движение вертлугом. Вертлуг этот пропущен в горло бутылки и закреплен на деревце, которое видеть нельзя, потому что бутылку нужно брать темного стекла. Кусок дерева, укрепленный перпендикулярно в подвижном дне бутылки, которое отрезается прочь, приводит мех в действие, потому что к самому дну приделан подъемный рычажок, пропущенный сквозь стол. Рычажок факир потягивает за проволоку, подведенную к столовой ножке. Когда же факир берет птицу в руки, то он надавливает на дно бутылки пальцем и от этого изо рта птицы выходит равномерно дыхание, освобождающее зрителей от догадки, что в столе утаена машина».

Или *«Два яйца»*:

«Факир показывает два яйца, которые подает на выбор, чтоб одно из них разбить в знак того, что они простые куриные яйца. Из оставшегося целого яйца выходит мышь, которая вдруг превращается в канарейку. От ударов об пол ногой канарейка опускает крылья и умирает в руках самой красивой зрительницы. Если зрительница начинает сожалеть о смерти, то играет музыка и канарейка, по приказанию факира, приходит в движение и улетает, сделав поклон зрителям. Происходит это, когда при изломе яйца показывается мышья головка, то подставное лицо испуганно восклицает: «Ах, мышка!», и женщины, естественно, пугаются этого восклицания и верят, что там выглянула действительно мышка. Тогда факир заявляет громко и мгновенно, что превращает мышку в канарейку, которую и отдает замечательной даме, у которой она умирает на руках. Факир, показав мертвую

птичку зрителям, относит ее на стол под стеклянный сосуд, где она и оживает. Для производства этого фокуса надо распилить крошечной пилкой пополам два куриных яйца, предварительно их выпустивши. Распилить их по длине яйца и по шву скрепить полоской почтовой бумаги. Таким образом, нетрудно вложить в яйцо живую птичку и к носку яйца нечто схожее с мышьей головкой. Не нужно забывать, чтобы в том месте, в котором находится птичья голова, было просверлено отверстие, чтобы птица не задохлась. В то мгновение, когда факир отдает птичку даме, он слегка давит большим и указательным пальцем птичью шейку. Кто к этому привык, то следствием от этого удавления будет, что как будто птичка задохлась. Поэтому-то введенная в посудину, наполненную кислородом, она немедленно оживает. Но если факир не способен искусно придушить птичку, он должен ее мертвую посадить под такую посудину, под которой находится тайная отпадающая дверца, через которую его помощник, находящийся под столом, способен на место умершей впустить живую. Нужно запомнить, чтобы, подавая приготовленные яйца к выбору, то, в котором находится птичка, надо положить поодаль, потому что выбирающий всегда возьмет ближайшее яйцо. Но если бы сверх ожидания случилось, что особа возьмет яйцо с приготовленной в нем птичкой, в этом случае надо употребить проворство и, разбивая яйцо, подменить его простым».

Я составил проект «перевозного» *стола факира*. Стол имел множество всяческих отделений, перегородок, приступок, пустых ножек. Для *«оптических превращений»* я сделал из дерева резные изображения медведя, льва и кошки, оклеенных шкурками. Зверей этих я поставил среди поддельных деревьев. Я смотрел на мой деревянный зверинец и воображал, что вот мы вводим зрителя в комнату и осматриваем ее. Никто не подумает о раздвижной кулисной стене, оклеенной обоями. Осмотрев комнату, зрители выходят и становятся у дверей. Они видят факира, сидящего на обыкновенном своем месте в обыкновенном своем платье. Факир опускает занавес. Он берет из-за кулис чучело, втыкает его вниз

головой над собой в потолок посредством железных спиц, находящихся в ногах чучела. Факир поднимает занавес и в то же мгновение задвигает зрительное отверстие, сделанное в двери, трехсторонним стеклом или призмою пяти дюймов длины и двух высоты. Зрители видят факира, превратившегося в медведя!

Я наполнил средину большого пивного стакана фольгою, а прочие места покрыл черной краской. Если на дно этого цилиндрического зеркала положить перевернутое изображение, как это делают в волшебных фонарях, и хорошенько его осветить, то оно кажется в воздухе над устьем зеркала таким натуральным, что его хочется схватить руками. Если изображение, положенное на дно зеркала, подергивать посредством волоска, оно шевелится. Я смеялся. Теперь я могу показать влюбленному его суженую или «душу» усопшего. К сожалению, я не располагал большими зеркалами, особенно выпуклыми. Тогда я придумал выгнуть зеркало из слюды и навести его зеркальною фольгою.

Наука давалась мне легко. Я очень радовался. Без устали я составлял свою Волшебную библиотеку!

Когда мне казалось, что мой высший духовный идеал может быть съеден моей наукой, я стал думать о более глубоких тайнах. Мне мало тех тайн, которые вылились в серые тетрадки «*Его науки*». Мне нужно иметь нечто скрытое, которое бы давало мне уважение, нечто неведомое, благодаря которому я выработал бы свой духовный идеал. Умей придумать не только снаряды, производящие фокусы, но и управление собой, зверьми, растениями.

Если к фокусам, размышлял я, мне удалось подойти умозрительно, потому что я не обладал ни умением делать, ни деньгами для аппаратуры, то к животным я смогу приблизиться с большей легкостью, стоит лишь подольше собирать валежник, подольше быть среди растений и птиц. Эти размышления привели меня к идее воздержанности.

Хозяйка моя, Павла Николаевна, высокая, крутая — «сплошного камня» — продавала мне крынку молока в день и пекла хлеб. Хозяйка боялась поблекнуть. Ее тревожило то, как я понемногу отвыкал от мясной пищи.

— Зачахнешь, Сиволот, — говорила она крутым своим голосом.

— А я медленно.

Медленное отвыкание казалось мне более удачным. В Омске я или не ел совсем, или сразу съедал по две сотни пельменей. Теперь от фунта колбасы я перешел на полфунта. Три месяца я держался на осьмой фунта. Я подолгу смотрел, как эта осьмая, нарезанная тонкими пластинками, просвечивала сквозь бумагу. То мне думалось, что птицы в лесу смеются над таким человеком, пожелавшим приблизиться к ним столь странным способом, то — на четыре копейки, которые стоит осьмушка колбасы, купишь ты в колбасной обрезков и съешь уже не осьмую, а значительно больше, то — не проще ли всего купить на четыре копейки фунт плохого мяса и сварить щи?

Постепенно я привыкал к воздержанию. Суконные мои штаны, стоившие 7 рублей, износились от частого хождения в лес. Ботинки тоже лопнули. Я бы гулял босиком, как Лев Толстой, но у меня не только плохо росла борода, но и усы-то еле-еле подавались. А кроме того, меня мало прельщала та «пустобающая» любовь, которую проповедовал Толстой. По мерке износившихся я сшил себе из «чертовой кожи» длинную, ниже колен, рубаху и широкие штаны, которые скрывали мои рваные ботинки. Шил я долго, недели две. Шитье было очень приятное занятие. Труднее всего давалось обметывание петель. Я косился на свои сапоги, но считал, что у меня недостаточно мудрости, чтобы приступить к их шитью.

Когда я уставал сочинять Волшебную библиотеку, я садился на банный полок, подбирал под себя ноги, словно киргиз или индеец, и привыкал к размышлениям. Записывать или обдумывать фокусы гораздо легче, чем размышлять о высшем духовном идеале! Прочие философы, как выяснялось, все множество своих мыслей умели отделять от предметов. Для них береза просто дерево, окраску которого они могут еще представить, но вот листву вряд ли, а самое главное — все березы походят одна на другую!

Стоило мне подумать о березе, я тотчас же видел березовую рощу и ощущал легкий запах, который несся от нее, жужжание пчел в траве. Я с удовольствием наблюдал бы эту рощу в отдалении, но меня неудержимо влекло к ней. Вот я уже приблизился и пристально рассматриваю стволы и листву. Один ствол расщеплен, словно вилы, и в том месте, где он расщепляется, у него

маленькое дупло; другой, крайний ко мне, с таким громадным количеством распростертых во все стороны веток, что будто оттесняет всех, кто пожелал бы к нему подойти. Кора у одного почти черная, другой отливает серебристой белизной, третий — палевый, четвертый — цементный. Я вглядываюсь в листву. Выпрыгивает птичка, свистя. Роща вяло шелестит. По пригорку бредет наш караван. Пыхтя, останавливается тучный Филиппинский. Утирая жирный подбородок, он смотрит спокойно на Пашку, который испуганно семенит возле него, Петька Захаров хохочет. Ему кажется, что Филиппинский облокотится сейчас на Пашку и раздавит его.

«— Половой посмотрите: какой же факт копошится у меня в тарелке с супом.

Половой чешет за ухом, переминается с ноги на ногу и беззаботно отвечает:

— Пусть его копошится, не выберется!»

Чем сильнее ты хочешь быть дальнозрительным, тем быстрее обмакиваешь себя в то, из чего ты хочешь вылезти! Я пытался думать о зимней березе, и тотчас же я видел поленницу дров возле сугроба. Перед тем как положить дрова на руку, ты отряхнешь с них снег, звенящий и синеватый. Два воробья копошатся возле кучки конского навоза, от которого идет пар. Они торопят друг друга: ешь скорее, не то застынет! Я, улыбаясь, слушаю ту ругань, которой они обдают друг друга. Ве́рхом сарая, поднимая клочья соломы, покрытые ветками тополей, сипит поземка. Она того и гляди спрыгнет по-зимнему, и тебе приятно думать, что сейчас ты затопишь печку и, посмеиваясь над поземкой, сядешь за длинную книгу. Трещит, горя, березовая кора. Из серых поленьев идет синевато-молочный дымок и ползет, шипя, влага табачного цвета. Полено догорит, обвалятся угли, и обнажится другое полено, и вновь затрещит березовая кора. Или мне вспомнилось, как в Долоне, возле Семипалатинска, мы возили из бора дрова. Отец мой впервые послал меня: «Ты уже взрослый, Всеволод, пора возить березу». Парни Смоляковых, у которых мы квартировали, смеялись над моей неуклюжестью и, заехав глубоко в бор, столкнули меня с воза, ударили по лошадям. Я вылез из сугроба и долго стоял среди сияющей морозной дороги. Широкое солнце повисло надо мной. Вдали скрипели полозья. Вкруг меня, по

пояс в снегу, стояли рыжие сосны и, щурясь, улыбались. Я вытряс валенки, освободил их от снега и пошел, всхлипывая. Я вспомнил, что могут напасть волки. Я сломал громадный березовый сук и шел, размахивая им. Мне было весело, и я чувствовал себя чрезвычайно сильным.

16/XII 1912 г. отец прислал мне длинное письмо. Отец негодовал на дядю В. Е. Петрова. «Этот пимокат даже головы себе не мог выкатать, соображает старым валенком!» — писал отец. Дальше на шести страницах шли совершенно не относящиеся к делу стихи о далекой жизни, процветающей в Америке. Прошу не подумать, что мой отец мог писать бессмысленные письма, но он так далеко умел прятать смысл того, что он хотел высказать, что получалось гораздо непонятнее, чем просто бессмысленное письмо. Кроме того, ясности писем мешала его странная привычка писать разноцветными чернилами. Заглавные буквы он непременно выведет красным, ободок буквы — зеленым, а все вокруг усеяно лиловыми точками. Разглядывая эту букву, непременно запнешься, и смысл, почти пойманный, ускользнет от тебя! Кое-как разобравшись в стихах, я уткнулся в длинные рассуждения о банкире Вальтере Брете. Затем отец на протяжении трех страниц радовался, что сын его живет в большом городе, где по переписи 1892 г. считается 18 тыс. жителей и где, несомненно, найдется человек, знающий Вальтера Брета, человек, который скажет, насколько Вальтер Брет добросовестен и стоит ли ему доверить 50 тыс. денег. Чем лежать деньгам зря, пусть уж лучше они лежат в акциях! Дальше отец мой переходит к причине брани В. Е. Петрова, который мешал приобрести отцу моему 50 тыс. руб.

Нужно сказать, что степь вокруг родного моего поселка Лебяжье вся усеяна курганами, а совсем недалеко, верстах в шести, сохранились остатки старинной крепости. Как помните, в рассказах своих мой отец многократно находил клады, но в подлинной жизни ему еще не удалось найти ни одного археологического клада.

Клады, о которых рассказывал мой отец, чрезвычайно разнообразны. Это разнообразие зависело часто от того, какой язык изучал мой отец. Языки он изучал преимущественно по словарям и по детским учебникам, потому что эти книги дешевле всех прочих. Он обычно

учил слова, начиная с буквы «А». Он редко доходил до конца алфавита и свои занятия языком прекращал обычно на букве «И», считая свою фамилию завершающей многие дела не только в одном поселке Лебяжьем. И несмотря на эти, казалось бы, необходимые препятствия, он ухитрялся высказывать все свои желания посредством одной буквы. Если ему, например, нужно было сказать: «Жена, как бы мне выпить чаю», то он сначала переводил эту мысль на русский язык так: «Ариша, авось апрокину адну аппетитную апрокидушку?» Отец мой долго путался в прилагательных и затем эту фразу говорил по-французски: «Aricha, avec adresse ectionner avaler abat-fain». Как ни удивительно, но моя мать понимала его, и даже ей нравилась эта манера разговора. В кладах, которые отец мой находил, обычно встречались предметы, начинающиеся только на ту букву «А» или «Б», ту, которую он теперь изучал, причем все эти предметы находились нетленными, и он так убедительно о них рассказывал, что мы верили, будто они сохранились до того времени, пока Вячеслав Иванов не пожелал откупорить клад. Естественно, что для оправдания появившихся в кладе таких предметов, как, скажем, детские пеленки, или абажур для лампы, или пресс-папье, отцу моему приходилось долго вилять среди событий истории, дабы подобрать доводы. Нам, детям, нравились его скитания среди исторических лиц. Мы сидели неподвижно, с вытаращенными глазами, и нам казалось, что отец вынимает из какого-то длинного волшебного мешка чудесные предметы, вроде тех, которые показывали разносчики-китайцы, изредка появлявшиеся с яркими товарами в нашем поселке.

Отец разводил руками, быстро говорил и быстро крутил длинные папироски из махорки. У него, как я уже сообщал, был любимый портсигар черного лака, на крышке которого изображена девочка Губонька с кривыми ножками в голубом платьице, перепоясанном ниже живота розовой лентой. Девочка в руке держит белое письмо с густой красной печатью, а в левой руке — букет роз. Девочка стоит на зеленой площадке в черных туфельках с алыми бантиками, а позади и вокруг всей табакерки царит тьма, не унимавшаяся и в самый ясный день. Мы почему-то называли этот портсигар «примётка». Когда отец слишком запутывался в рассказе, он

вынимал табакерку, прокуренным пальцем дотрагивался до края крышки и говорил басом:

— Простите, что тревожу, Губонька, — и затем продолжал, указывая на девочку: — Так вот, входит эта Губонька и подает мне письмо...

В письме обычно говорилось о том, где и как найдет клад Вячеслав Иванов, причем сообщали отцу тайны самые странные люди: монахини, мгновенно влюбившиеся в его голос, когда он читал псалтырь по покойнику; каторжник, которого он вылечил от запоя чтением Корана; какой-то польский граф, дальний наш родственник, разбитый параличом и потому не смогший сам откопать клад; богомольные старухи, подслушавшие историю с кладом и решившие, что учитель Вячеслав Иванов только тогда придет в себя, примирится с богом и станет на праведный путь, когда приобретет денег. Иногда отец мой получал письмо просто «по почте». Это вполне всех удовлетворяло, настолько почта и особенно опрятные чиновники казались слушателям его существами почти волшебными.

Передав письмо, девочка Губонька скрывалась впредь до того момента, когда отец запутывался вновь. Тогда он вынимал табакерку и вставлял описание прихода Губоньки. Мы уже знали, сколько ей лет, что родители ее — мельники с фамилией «Торговый дом Савелий Отгрянули и сыновья», что это очень веселая и дружная семья, что у них пекут блины через день. После рассказа мне казалось: вот откроется дверь, появится эта Губонька с письмом, которое адресовано мне. Но странно, я не мог вообразить, что бы ей мне писать! Так же, как и отцу, письмо это выложит передо мною тайны кладов.

Хорошо, что отец мой не нашел клада, иначе б ему грозила опасность превратиться в «тушило» кладов. В нашем краю много водится людей с вытаращенными глазами, которые подолгу способны безмолвно сидеть возле вас. Но стоит только почему-либо заговорить о любви, как этот человек поспешно в ужасных и скучных подробностях кинется перечислять вам достоинства своей любви. У нас в Павлодаре таких людей называют «тушило». Эти люди любили только единожды! Им совестно этого обстоятельства, и поэтому им не высказать сразу и кратко, что вот, мол, любил, что это чрезвычайно приятно. Нет, им нужно доказать причину своего

редкостного чувства. Когда вы зевнете, они начинают перечислять вам телесные достоинства, и так как редко заглазно можно пленить человека, если два или три дня подряд твердить о длинных ресницах или о бровях, которые срастаются у переносицы, то незамолкавшее «тушило» переходит к чудесным родственникам его любви. Тут уже не ждите конца его словам. Я встречал нескольких людей, которые поленом ли, кулаком ли в висок, стамеской ли, но прикончили несколько «тушил». Эти убийцы пользовались всеобщим уважением. Предприятия их отличались большим успехом.

Иногда отец мой, не в поисках доказательств к своим рассказам, а чтобы щегольнуть археологической опытностью, брал лопату и уходил в степь разрывать курганы. У отца была странная теория о курганах, не лишенная, по-моему, основания довольно веского. Отец мой считал, что те курганы, которые мы видим, суть не курганы. Курганы перерыты много раз, и то возвышение, которое мы называем теперь курганом, есть земля, отброшенная в сторону, когда искатели разрывали подлинный курган. Опираясь на лопату, отец мой долго размышлял возле лживого кургана, часто доставал черный свой портсигар, извинялся перед Губонькой и, наконец, складывал пальцы в виде четырехугольника, измеряя курган. Так он находил одному ему ведомым способом как раз именно ту точку, где обретается настоящий курган и где, по его мнению, должен был лежать клад. Рыл он непременно с рассвета до позднего вечера. Правда, он никогда ничего не находил, но неудачи свои он считал вполне естественными, потому что курган стоит тысячелетия и странно, чтоб не нашлось человека, который бы не сделал открытие, сделанное сейчас моим отцом. Все дело в том, рассуждал мой отец, что надо найти такой курган, куда не подходил еще догадливый человек вроде Вячеслава Иванова.

Однако я боюсь, что передаю письмо моего отца путано и вам трудно найти его смысл так же, как и мне, когда я впервые читал его. Дело в том, что я буду писать правдиво и полно, часто даже против своего желания. Вернемся все же к письму моего отца. Отец мой сообщал, что, разрывая курган, он наткнулся на огромные залежи алебастра. В один вечер он накопил его не менее 500 пудов. Отец мой пригласил В. Е. Петрова приехать проверить, годится ли алебастр для по-

стройки банка. Василий Ефимович ответил отцу моему чрезвычайно обидно. Подрядчик писал, что «лучше бы вам, Вячеслав Алексеевич, заниматься плясовым учительским делом, а не банковским». Отец ответил ему ругательным письмом на шести языках, с подстрочным переводом на русский.

Отец мой требовал, чтобы я приехал немедленно в Лебяжье и помог ему рыть алебастр, дабы блеск горы виден был плотовщикам, которые гонят мимо Лебяжьего плоты Василия Ефимовича Петрова. Пусть плотовщики расскажут своему подрядчику, что алебастровый блеск будущего банка способен осветить всю Сибирь, что постройка этого банка будет чрезвычайно лестным делом для любого подрядчика, даже для строителя Исаакиевского собора! Он, отец, будет рыть этот алебастр до той поры, пока подрядчики не передерутся между собой, стремясь выстроить Лебяженский банк.

Алебастром наши края изобиловали. Его продавали по 2 коп. за пуд, но и то находилось мало покупателей. Так что не удивительно, что отец мой нашел большие его залежи. Удивительно было только то, каким образом отец мой нашел его зимой в начале декабря и почему в середине зимы у него по Иртышу гонят плоты. Надо думать, что отец написал письмо еще осенью и забыл его отправить. Мне казалось, что отец мой этим непрестанным рытьем алебастра хочет вознаградить себя за то, что он все еще не нашел ни одного клада. Кубышки находите? А вот вам сразу вырыт из кургана трехэтажный алебастровый банк о 40 комнат!

18

Даже сферическое зеркало не могло скрыть мое испитое лицо, серое и унылое. Я утерял все румяна, нагулянные в голубином доме. Ключицы мои выдавались. Глаза расширились. Нос, столь тяжкий для моих чувств, сбросил присущую ему округлость. А система расширялась и уже не укладывалась в отведенные ей тетради. Я постоянно вводил в нее улучшения. Я сбирался применить на практике всю свою систему, и естественно, что с волнением ждал весны 1913 года.

Словно назло, весна получилась докучливая. Только я выходил в поле, чтобы проверить, насколько прибли-

зился к природе, — на меня опрокидывался дождь. Я понимал, что нужно привыкать и к дождям, но ведь не ради же дождей и вязкой холодной грязи до колен я изучал и закалял свою психику? Нетерпеливо хотел я солнечных дней, но если я просыпался на рассвете, то непременно был ветреный дождь, а если спал долго и торопливо бежал в типографию, то надо мной сияло солнце. Правда, я утешался тем, что у меня больше препятствий, чем у прочих факиров. Я работаю, а не бездельничаю!

Я гордился своей голодной жизнью, своим воздержанием. Я мало думал о пище и еще меньше старался думать об иных соблазнах. Я держал ведро сырой ключевой воды возле изголовья и носил с собой наполненную водой бутылку. Как только вспоминался чей-либо женский образ, я пил эту воду. Я пил ее до полного отвращения, до тех пор, пока девица не выскакивала из моего воображения. Хотя я спал всегда крепко, но если встречалось во сне нечто соблазнительное, я приучил себя пробуждаться. Я рассортировал свои сны! Встретив соблазнительную девицу, я, проснувшись, пил слегка подсоленную воду, если же встречал менее соблазнительную, способную рассуждать со мной о высоких материях, о системе моего духовного идеала, — я пил пресную. Но хитра женщина! И во сне даже она начинала часто с рассуждения о моей науке и о тайнах моего дела, а затем вдруг вытягивала ножку в черной туфельке, и я внезапно просыпался, и соленая вода казалась мне пресной. Тогда я подходил к банному окну и, уткнувшись лбом в стекло, ждал рассвета.

Дабы не получить извращенного мнения о женщине, я решил, что не должен избегать их. Я посещал мою хозяйку Павлу Николаевну Рязеву. Хозяйка моя носила длинные томпакового цвета юбки. Вверху была она широкая, такую же ширину она хотела донести до полу, но ее громадные юбки не могли скрыть длинных, тонких и стройных ног. Я одобрял ее за то, что все вещи в доме она любила, как украшение. Даже ведро, в котором носила она воду из колодца, было постоянно свеже окрашено отличной серой краской, и всякий любовался им. У ней часто собирались гости. Они привыкли к тому, что я сижу тихонько в уголке. Приземистый писарь из полицейского управления Петр Афанасьевич Хмелин сидел, положив на стол необычайно длинные сухие

руки. Рядом с ним Трапезникова, худая, малосочная, крикливая, а по комнате бестолково мечется вдова Богодайщикова, для которой все новым-ново. Вдова пекла просвиры, да и сама она белая-пребелая. Великое ли чудо таракан, но стоит вдове увидать его, как она непременно всплеснет ручками и удивленно вздохнет: «Посмотрите-ка, православные, таракан!» Удивлялась она столь замечательно, что, бывало, уставимся на таракана, а он, дегтярно-черный, ползет не спеша, словно говоря: «А любуйтесь на меня, пожалуйста».

Трапезникова крикливо говорит писарю:

— Чувствую я, Петр Афанасьевич, ходит ко всем от меня теплота приятнейшая. Не убежать, не уйти, не уклониться. Да и то, Петр Афанасьевич, готова я всех обнять. Справедливо находят, что обвешана я вся нежнейшими словами, много во мне убожества. Народ ноне обветренный и злой и притворяется, будто ему не нравится солнце, а оно светит умеренно, тихое пристанище дает.

Богодайщикова с удивлением смотрит на Трапезникову:

— Верно, Марья Степановна, как я раньше не разглядела: глаза-то у вас какие нежные. Приют, а не глаза!

Мы пристально смотрели в глаза Трапезниковой, а Петр Хмелин говорил канцелярским своим голосом:

— Глаза каменные.

В его устах это определение было величайшей похвалой. Он чрезвычайно уважал мою хозяйку Павлу, и это он сказал о ней — «сплошного камня». Он ненавидел деревянные предметы. Ненависть его я пытался объяснить тем, что он много раз горел. Он скопил много денег, спрятал их, предположим, в полено, а тут-то и подойди пламя!

— Желаю, чтобы обгорело все вокруг! — начинал он говорить внезапно и заканчивал почти с отчаянием: — Когда же здесь каменная жизнь начнется?

Богодайщикова оборачивалась к окну, вздрагивала так удивленно, что казалось — на лице ее уже отражается полыхающий пожар. Трапезникова же, испытывая нежность к огню, а еще более сильную нежность к погорельцам, говорила сострадательно:

— И без того много полыхает, Петр Афанасьевич.

— Прошу не называть пожарами шаенье. Пусть так

горит, Мария Степановна, чтобы губерния за губернией полыхала. По порядку!

— А начальство?

— Начальство тогда станет умнее и расторопнее. Я не утверждаю, будто оно глупо, но главный его недостаток: медленные приказы, а приказы не о том. А как сгорит, тут ты немедленно приказывай: или строй каменные, или живи в норе, в землянке. Выстроят! А то, видите ли, мужики завтракать приучаются. Я б их так пленил приказами, они в полчаса отучились бы завтракать. Тлен, гнилушка, дерево, Росея!

Павла вступалась за мужиков. Я думал, что она вступается за своего мужа. Она с великим трепетом ждала его. Не часто встречаются люди, которые способны так ожидать, как умела ожидать эта солдатка. Она постоянно думала и говорила только о своем ожидании. Павла работала на водочном заводе, и когда я пробовал спросить ее, что же она там делает, она отвечала неопределенно: «Посуду мою». И тут же она просила прочитать мужнино письмо. Муж ее служил гусаром под Петербургом. Письма она получала редко. Это были обычные солдатские письма: наверху страницы герб полка, под ним барабан, скрещенные сабли, а ниже напечатан текст, излагающий обязанности солдат, а еще ниже подпись издателя: «Березовский». Я спрашивал:

— Печатное читать?

— Все читай.

— Да ведь их миллионы таких страничек печатают, Павла.

Она боязливо сверкала глазами. Она и письма хранила так же, как украшение. Мне казалось, она непрестанно думает о том, как бы ей встретить своего мужа в полном ладу. Она, сидящая здесь в Кургане, от постоянных размышлений поумнела больше, чем муж ее, гусар. Ее волнует совсем не то, о чем говорят письма. Однажды Алешка Жулистов не застал меня в бане и пришел к Павле. Алешка выспрашивал, какая форма у ее мужа и не покажет ли она фотографию. Павла разгневалась:

— Злюсь я на него! Чем я его оправдаю? Ты его какой-то формой оправдываешь. Поступил на службу в мельницу, жизнь устроилась, а тут его схватили за горло и оттащили от меня! Изба сгорела без присмотру, поле

пустое, я два года шляйся без работы, старуха — мамаша его, Матрена Семеновна, — померла с голоду.

— Ну, не с голоду, а, предположим, с перепою.

— Он придет, он придет! Он вас пережгет, потребует вас к ответу, весь этот окаянный город. Ишь ты, формой любуешься! А вот — война, снимут с тебя разноцветную форму, дадут винтовку да братскую могилу. Какова форма?

Слезы потекли из ее черных крутых глаз.

— Ты думаешь, мне полтора рубля нужно от Всеволода за баню? Нет, я вроде травура. Как мне мыться без мужа?

Алешка смеялся:

— Муженек твой с княжескими горничными моется. Моя ерудиция такая, что ихние переднички лучше всякой другой формы.

— Государство всяческую на вас подлую форму напяливает! Я здесь мою бутылку из-под водки, которой народ опаивают, а муж мой с горничными моется. Пусть! Горьки ему эти горничные! Кабы не мужицкая сила, так он бы обошел их двумя улицами, вбок. За меня, за горничных он и тебя, Алешка, к ответу явит!

В голосе ее почувствовалась такая ненависть, что Алешка вздрогнул, сказав растерянно:

— А сама зачем писарей из полицейского управления принимаешь?

Павла подскочила к нему, замахнулась было, но только сильным движением пальцев взъерошила его тщательно напомаженный чуб.

— Писарей я больше всех прочих ненавижу. Писаря ко мне подзолачиваются, а я им говорю: «Мелки вы, чтобы зимовать. У меня муж гвардеец. Мне надо равного. Приведите вы сюда господина исправника!»

Она отступила назад и, пугаясь своих слов, но непреклонно веря в них, сказала:

— Соберу, перезнакомлюсь — и пожгу!

Она достала с богато украшенной божницы связку писем, перевязанных узористыми лентами. Протягивая мне связку, она сказала:

— Перечитай, Всеволод. Непрестанно грозные письма пишет.

Ничего грозного в письмах не было, и Алешка насмешливо говорил:

— Ну, просто солдатские эскизы.

Павла отвечала многозначительно:

— Сказала бы я правду, да ты, небось, Алешка, в полицейском служишь.

— И поступил бы, будь форма получше. Вот в жандармы поступлю, у них аксельбанты.

— Да ты закажи себе аксельбанты, подвесь и ходи, дурак.

— Над моей формой всяк посмеется, а тут ее защищает государство. Оно в этой форме Туркестан, Сибирь и прочие части света завоевало.

Чем чаще я бывал у моей хозяйки, чем больше прислушивался к ее речам, тем все сильнее, казалось мне, ее охватывает тяжкое чувство неопределенности. К весне она стала сомневаться: вернется ли муж. Она знает, что муж ей не поверит, будто соблюдена верность. Улыбаясь тоскливо, она говаривала:

— Да что же, я разве не человек? Он разве не солдат?

И хотя она ничего не добавляла к своей улыбке и вздоху, но все понимали, о каком солдатском чувстве она говорит. Меня удивляло, что Павла здоровая, молодая, что ходит к ней много гостей, но приставать никто не пристает. Мещане побаивались ее ненависти, ее страстей. Свяжешься — и кто знает, что она способна устроить: окна побьет или зарежет насмерть.

Павла только и ждала какого-нибудь замечания Хмелина или Алешки. Она вскакивала, упиралась в бедра руками и яростно поносила государство. Трапезникова переполнялась нежностью к будущей страдалице. Богодайщикова млела перед новизной слов и мыслей, которые вставали перед ней и которых ей никогда по-настоящему не понять. Алешка Жулистов качал сокрушенно головой и говорил, что к таким бы страстям хорошую форму, а то какой смысл дразнить самого себя! Один только Хмелин не слушал ее и ждал, чтобы она сказала какое-нибудь слово про дерево, и тогда он хапал это слово и жадно обвивался вкруг него. Если она восклицала: «Продолблю!», он вдруг начинал выкрикивать:

— Дерево ты можешь долбить, надолбить, издырить, выдолбить, а камень только исковыряешь!

Меня прельщала сила Павлиной злости, особенно когда спорила она с Алешкой Жулистовым. Чем крепче

Алешка хвалил форму, тем сильнее ненавидела она тех, которые придумали это лицемерие. Она громко говорила:

— Погубят они и тебя, Алешка, и тебя, просвирня, и тебя, писарь! Завянете, засохнете, как и я блекну.

Алешка, смеясь, говорил ей:

— Пусть губят, но чтоб в новой форме. Я согласен в гроб залезть, если он особый ото всех. Я мертвецам, которые в цинковых гробах, завидую.

— Причертили нам дерево, а дерево не в пример гадостнее, — говорил таинственно Петр Хмелин.

И тогда я отзывался из своего угла:

— Воля и терпение извиняют многое.

Ах, эта воля и терпение! Наконец-то дни стали теплее и суше. Солнце светило тускло, без лучей, и над полем стоит сухой туман, как дым. Я часто выходил в поле. Изредка с горизонта бежал ко мне дождь. Тогда я вставал под березу. Так как я ел мало, то в голове моей странно шумело и я покачивался. Деревья плыли мимо меня. Но эта слабость быстро исчезала, оставляя внутри какую-то чадящую радость. Иногда слабость падала в ноги, и тогда небо и земля охватывались травянисто-зеленым цветом, и, вместо того чтоб не замечать теплый и болтливый дождь, начинаешь дрожать, косо посматриваешь на тучу и выбираешь ту березу, которая кудреватей. Поэтому я становился под осину, дерево, которое по слабости своих листьев почти не удерживает дождя. Слабость исчезала, но в голове долго вертелась песня:

Разовьем мы березу, разовьем мы кудряву!
Да эх, да эх кудряву...

Я выбрал «небаюкающий» путь среди осин на полянку, тоже окруженную осинами. Я его назвал «серебряной дорогой», потому что осины были бледно-матового цвета. Я зачастил на эту полянку. Она отстояла от города километров на пятнадцать. Путь лежал по глинистым оврагам, где в дождь сильно скользили ноги. Я опасался не скользкой дороги, а змей.

Мне казалось, что я никогда не приучу ни себя к змеям, ни змей к себе. Змей возле Кургана много, хотя встречаются в большинстве ужи. Я нанял баню с тем, чтобы можно было работать над своей системой, куда входило также и приручение животных. Представьте,

что вы открываете корзину и выпускаете змей. Чувства зрителей сразу же со всей благоприятностью перейдут к вам. Я приобрел корзину. В бане тепло и сыро. Но чем же мне их кормить? — спрашивал я сам себя. Увы, я давно бы мог найти книги, которые рассказали бы мне о змеиной пище, но я умышленно не искал этих книг. Мало того, стоило мне подумать, что я возьму это холодное существо в руки, как меня обливал пот ужаса.

Я врал и хвастался Алешке Жулистову о многих своих чрезвычайно победоносных приключениях. Но вот сказать, что я способен укрощать змей, — я не сказал. Я очень уважал себя за это молчание. Я шел по оврагам, и слабый шорох, возникавший рядом в траве, потрясал меня. Я вздрагивал. Но постепенно я привык. Я говорил: «Это шуршит осина». Удивительно, но в осинниках мне не встречалось змей, и тогда я страстно полюбил мою серебряную дорогу.

Нужно приучить себя к змеям у них в дому, а затем приучить змей к моему дому. А получилось наоборот. Я нарезал короткие куски веревок. Я мочил их в ключевой воде, закрывал глаза и раскидывал в бане, дабы, наступая на них неожиданно, тем самым завести привычку спокойно переносить холодное прикосновение змей. Я клал веревки с собой на соломенную мою «собаку». Утром я наступал на веревку ногой, но это мало помогало — я не вздрагивал! Тогда я раскидал веревки по своей серебряной дороге. Когда веревка неожиданно встречалась мне, я прихватывал рогаткой воображаемую голову, брал воображаемый хвост. Но и эти упражнения плохо помогали мне. По-прежнему я вздрагивал, когда видел змею. Я сказал, что заведу змей следующей весной. Я возьму гнездо змей молодых, потому что старых способен приучить только старый факир, а сейчас лето, и змеиной молодежи нет. Я лгал себе. Была середина весны. Я быстро поверил в свою ложь. Мою любимую полянку, имевшую вид девятки пик, пересекала упавшая осина, чем-то похожая на знак «пики». Я подолгу сидел на поваленном дереве, прислушиваясь к непрестанному лепету осины. Я сидел днем, а через месяц стал приучать себя к ночному сидению.

Страшновато было-таки ждать ночи! То мне казалось, что здесь припекает солнце и что к моему дереву

перед закатом приползут греться змеи, то — что здесь сыро и тепло и змеи приползут сюда ночью. Я свешивал ноги с дерева, стараясь сосредоточиться. Я уже давно бросил сосредоточиваться на тех мыслях, которые рекомендовали мне факирские книги, и теперь думал о том, что говорила любезная мне Волшебная библиотека. В типографии приходилось много работать, я появлялся на серебряной полянке уже после заката и уходил, когда показывалась заря. Иногда падала холодная роса. Было туго, но я сидел неподвижно, прижавшись к осине. Я надвигал кепи на шею и, дрожа, повторял, что факиру так и подобает страдать!

Толстый сук упирался мне в спину. Я смотрел в просвет между осинами, куда скрылось солнце. Я смотрел долго, всю ночь, затем я перебрасывал ноги на противоположную сторону дерева и ждал восхода. Иногда я засыпал. Я просыпался от боли в спине, и когда я вставал, то осиновый сук долго не покидал моей спины. Я несколько раз обегал полянку и опять садился к своему суку. Дабы не соблазниться огнем костра, я ходил без спичек.

За осинами лежал проселок. Если выпадал дождь, то лужа, окаймленная блестящей грязью, — будто в никелированной оправе, — долго отражала закат. Птички подлетали пить воду. Прыгали воробьи, синицы, затем появлялись жаворонки, грачи, стрекотали сороки, и, наконец, раздвигая птиц своими словно литыми крыльями, подходил ворон. Он медленно и солидно опускал в лужу клюв. Я улыбался и вполголоса читал:

Птица ясно прокричала, изумив меня сначала,
Было в крике смысла мало, и слова не шли сюда.
Но не всем благословенье было — ведать это посещенье
Птицы, что над входом сядет, величава и горда,
Что на белый мрамор сядет, чернокрыла и горда,
С этим криком: «Никогда!»

Нувермор, если я не приучу змей!

Я ждал, что ворон обернется ко мне и крикнет какую-нибудь гадость, но он даже не смотрел на меня. Изредка он поднимал хвост и совсем прозаически выплевывал то, что и подобало ему выплевывать. Зачем проделываешь ты это здесь, в этом таинственном для меня месте? Мне казалось, что ему хочется рассмешить меня.

19

Ах, если говорить правду, то надо сказать, что состояние, которое охватывало меня на любимой полянке, я называл тогда «серебряным очарованием». Как видите, я не всегда счастливо перекраивал название своих ощущений.

Полянка привыкала ко мне! Я пробовал читать ее жизнь. В тихие теплые вечера, когда не было дождя, она открывала мне свои удачи и горечи. Вернулись птицы, которые раньше спали где-то в глубине леса. Я удивился: зачем бы им возвращаться сюда? Я подошел. Оказалось, что у них здесь весной были гнезда. Птицы вспархивали, пощелкивая, но они тотчас же возвращались, и мне это было приятно, потому что прежде, когда я их вспугивал, они улетали совсем.

Однажды в лунную ночь, когда над осинами стлалась светло-розовая дымка, я увидел, что по тропинке, задумчиво пыхтя, двигается жирное животное, величиной с кошку. Оно шагало не спеша, видимо, много раз обдумав тот поступок, который свершало, то есть пройти самой краткой дорогой в свою нору, вход в которую как раз возле того сука, у которого я сидел постоянно. Это был солидный и важный барсук, чем-то напоминавший Филиппинского. Я тихо сказал ему:

— Здравствуй, Константин Степанович!

Он профыркал что-то неразборчивое, по-видимому, рассказывая на своем барсучьем языке унылый анекдот. Он неуклюже лез в нору, выпячивая зад. Мне хотелось шлепнуть его, но вежливость, мне присущая, избавила нас от неприятной продолжительной ссоры.

Затем мне пришлось увидеть, что на кучке листьев, возле корней, которые, падая, выворотила осина, в десятке шагов от барсучьей норы дремлет заяц. Он прибежал сюда на рассвете, усталый и обеспокоенный. Он тщательно присматривался ко мне, но я-то сразу узнал его. Это был Пашка Ковалев! Я мгновенно вспомнил его веснушчатую мордочку, его трусливые розовые глазки, его серую тужурку, плотно облегавшую тело. И кому, кроме него, дремать так боязливо?

И я сказал:

— Пашка, здорово!

Заяц прыгнул в кусты, будто стукнуло по носу. Долго он сидел там неподвижно, приглядываясь к моим поступкам и браня тех, кто посоветовал ему показаться мне на глаза: зверей, признававших меня за своего. Но в конце концов он все-таки доверился общему мнению. Он робко вылез и, весь дрожа, мелким шагом — «макмаком» — направился к своему логову. Ему трудно идти — и я понимал его. Как только я шевелился, он останавливался, готовясь бежать. Тогда птицы чирикали, бормотали, щелкали. Мне казалось, что они уговаривают его и смеются над ним. Он устало ложился на примятые листья.

Я ждал появления Петьки Захарова. С каким зверем сравнить его? — думал я. Волк? Нет. Коршун? Нет. Лисица, деловито пробегая на охоту, осмотрела меня и осину, на которой я сидел. Она фыркнула презрительно. Нет, и лисица не похожа. Заяц по-прежнему лежал неподвижно, не пугаясь лисицы. Я понял, что жители поляны не выдают лисице этого серого шута, потому что им не над кем тогда смеяться. Зайцу противна эта история, но быть лакомством для лисицы тоже не особенно приятно.

— Кыш! — сказал я лисице, и она скрылась.

Особенно любопытен короткий час перед рассветом, когда звери возвращались с ловли. Опять я вспомнил Петьку Захарова, который мог удивительно мало спать. Звери спят чрезвычайно мало. Я сплю так же мало, как и они, и от этого все мои чувства удивительно обостряются. Я могу узнать, удачна ли у них была охота. Я называю по имени и отчеству всех зверей, проходящих мимо меня.

Зайцы постоянно сыты. Кабы не пугливость, им бы жилось лучше всех. Их теперь пятеро на моей серебряной полянке. Первый заяц, которого я назвал Пашкой, молодой прыгун, со слегка припухшими веками и со шрамом на темени, совсем осмелел. Он любит бегать возле моих ног. Он занимает пригорок, остальные спят пониже. Один из зайцев постоянно на страже, дабы кто-нибудь не захватил их врасплох. Особенно лисицы беспокоят их. Лисиц много, они всегда пересекают полянку с восточной стороны. Я не слышу их шагов, но сторожевой заяц будит своих друзей: «Спите, рохли!» Зайцы прячутся. Лисицы беззвучно скользят по тропинке, играя своими высоко поднятыми хвостами. Хвосты

при еле брезжущем свете, влажном и рассеянном, совсем золотисто-белы.

— Ну, как дела, тетки? — кричу я лисицам.

Лисицы не оборачиваются на крик грязной и лохматой птицы, похожей на человека. Они пересмеиваются, как те курганские девицы, которые по воскресеньям сидят на завалинках и мимо которых я прохожу. Я не трогаю девиц. Мало того, я не смотрю на них, но они смеются надо мной. Мне обидно слушать лисьи пересмешки, но мне хочется завести знакомство с ними. Я клал на тропинку кусочки колбасы, особенно прельстительной в дождливую погоду, когда с охотой не ладится. Сам я уже перестал есть колбасу и питался овощами и хлебом.

Барсук Филиппинский часто приходил сытым. Он лаконичен и не любит задерживаться на полянке, подобно другим зверям. Иногда, чавкая, он остановится и надменно посмотрит на лисиц, которые осмелели до того, что, держа в зубах кусочки колбасы, перемигиваются между собой. Эти перемигивания относятся ко мне! Они все еще видят во мне иностранца. Барсуку противны они. Я благодарен ему. Иногда я дружески шлепал барсука по заду. Он оборачивался, ворча снисходительно. Он понимал шутки. Он терся у моих ног. От него шел запах мокрой шерсти и гниющих листьев.

Мне бы пора расставлять капканы, петли, вырыть яму, на тропинке протянуть сети. Мне бы пора ловить зверей и заставлять их исполнять то, что я хочу. Но мне трудно думать, что я должен с ними обращаться властно. Они близки мне, они одной со мной семьи. Мне жаль их. Мне жаль причинять им испуг, когда они попадут в капкан или сеть. Но, с другой стороны, я не очень верил в свое красноречие, рассчитывая на которое я хотел увести зверей с этой полянки к себе, в город. Мы жили дружно, но между нами не было страстной любви.

Я привык ходить на серебряную полянку, привык идти среди бесконечных, покрытых перламутровым блеском полей пшеницы. По дороге я вспоминал наше «шествие факира». Иногда мне казалось, что мы прошли весь наш маршрут, что мы рыбачили в Аральском и Каспийском морях, вытаскивая странных рыб. Буря уносила нашу лодку далеко по волнам, а на берегу плакала скорбная Нубия. Вот перед нами пепельного цвета

порт. Я вижу множество кораблей. Они гладкие, железные, не похожие на речные наши пароходы, что смахивают больше на дома из досок. А еще что есть в порту? Я видел портовые кабачки, где сидят загорелые матросы с таинственных островов, названия которых сыплются с их уст непрестанно. Отважные матросы пьют чужие вина с неведомыми названиями, не хмелеют и рассказывают те истории, которые я уже давно читал, но которые в устах живых участников кажутся непобедимо убедительными. Наконец мы садимся в шхуну. Мы долго плывем пурпуровым морем. На палубе гуляет Филиппинский, у него по-прежнему закинуты руки за спину, из-под мышки торчит клочок верблюжьей шерсти. Буйный ветер заглушает наши удалые голоса и вырывает у Филиппинского шерсть клочок за клочком. Дело в том, что мы плывем Индийским океаном. Проплыли. Вновь море. Тишина. Потускнели наши души. Мы, трепеща, ждем бури. Но она миновала, и мы входим в порт. Мраморная белая набережная усеяна высокими стройными людьми с крашеными бородами, в ярко-зеленых тюрбанах. Они машут платками нашему кораблю, и вдруг дикий радостный крик потрясает воздух: «Ура великому факиру и дервишу Бен-Али-Бею!» Наш корабль гудит ответно. Стреляют пушки, взвиваются флаги. «Не подобает дарить такие почести факиру, — скромно, с достоинством говорю я, — вы забываете, что моя система основана на взаимном уважении».

Брат мой Палладий иногда вкладывал свои записки в те частые письма, которые слал мне отец. Палладий жаловался на пищу. Особенно плоха в этом году мука. Хлеб из нее получается тяжелый, как из глины. Отец сбоку, возле слов Палладия, приписывал, что «чепуха вся эта мука», а вот важнее — как обстоит дело с алебастром. Отец мой накопал алебастру много тысяч пудов. Он провел тропинку к реке, сам соорудил тачку и скатывает алебастр, дабы его легко было грузить на плоты и на баржи, а затем поднимать по Иртышу к Лебяжьему, которое отстояло от алебастровых россыпей в шести верстах. Иногда в просветы осин мне мерещился Иртышский берег, песчаный, поросший полынью. Из рыжего берега торчат длинные серые плети корней осолотки. На берегу громадная алебастровая гора, обдающая вас матовым блеском. Если в надломы камня попадает солнце, то глазам больно смотреть. Возле горы

стоит мой отец. Он одной рукой раздувает сапогом самовар, а другой держит табакерку и, большим пальцем откидывая крышку, обращается с обычным своим извинением: «Придется потревожить вас, Губонька!» Отец закручивает длинную кривую папироску, наполняет ее вкусно пахнущей махоркой и становится спиной к ветру. От табачного дыма пальцы рук его буро-желты, а ногти толстые-претолстые. Он ласково улыбается, закуривает, и лицо его «исчезает в табачном дыму». Алебастровая гора блещет невыносимо. Гора поднимается все выше и выше, и тень от нее косо пересекает Иртыш, ложась тяжелой ультрамариновой плотиной. Отец мой читал газеты, которые получали в поселковом управлении. Я попросил его сообщить мне, что делается «в мире внешнем». Отец с радостью выписывал мне сведения, которые, по его мнению, должны меня интересовать. Мы выжимали из семикопеечной марки все, что возможно. Иногда, благодаря словоохотливости отца, мне приходилось доплачивать к письму 14 копеек. Выгоднее б просто подписываться на «Газету-копейку», но я не мог ни менять своего решения, ни лишить отца удовольствия учить меня. Но сообщать сухие сведения о мировых событиях он считал занятием «токмо не для учителя». Он вспомнил о тщеславии!

«Пароход «Император», — сообщал мой отец, — имеет 52 тыс. тонн. Он в 20 раз больше каравеллы «Святая Мария», на которой Христофор Колумб достиг славных берегов Америки».

Описав пуск парохода, отец мой цитировал Шопенгауэра, Соловьева, Вундта, которые по-разному мыслили о тщеславии. Отец вспомнил юбилейные марки с портретами царей, наклеенные на конверт, в котором пришло к нему мое письмо. Отец сообщил об умном чиновнике в городе Павлодаре, который отказался штемпелевать марку с портретом Николая II. «Как я могу, — сказал чиновник, — бить железным штемпелем по лицу моего императора». Патриотизм чиновника был оценен, и его наградили 200 руб. «Кабы у нас было пять императоров и я был бы штемпелевальщиком, то иметь бы мне тысячу рублей», — горевал отец. Он подробно описывал мне романовские торжества, закладку памятника Минину и Пожарскому в Нижнем; разукрашенную Кострому; старшин, обвешанных медалями; бородатых епископов в митрах, залитых бриллиантами;

коляски, медленно катящиеся среди шпалер «безмолвствующего» народа; высочайшие выходы; световые транспаранты, мерцавшие и восклицавшие «Боже, царя храни». Всюду освещают соборы, открывают церкви, словно вся страна готовится перейти в монашество! Тут отец мой считал уместным процитировать Петрарку, Лукиана, Калидаса и Петрония-арбитра, которые, оказывается, тоже не одобряют тщеславия!

Исключительно из тщеславия, чтобы не отстать от всей страны, в Омске вздумали праздновать столетие кадетского корпуса. Жара, пыль, середина лета. Плац перед кадетским корпусом. Генералы в меховых шапках, в мундирах, темных и мешковатых, подпоясанных позументовыми широкими поясами, стоят неподвижно. Рядом кадетики в широких, похожих на колеса фуражках, сдвинутых вбок. Кадетики вытаращили глаза, и такие же вытаращенные пуговицы бегут по их мундирчикам вниз — и сияет напряженно трехсотлетний герб царствующего дома на этих пуговицах. Беспримерная чепуха! Двести кадетов устроили сокольскую гимнастику под командой капитана Подкорытова. Фамилия-то какая? Кадетам выдали в память юбилейных торжеств по серебряному рублю, чекана 1913 г. Возле пожалованного юбилейного знамени генерал-лейтенант Медведев прочел им высочайшую грамоту.

Дальше отец мой под картинкой, сделанной через копировальную бумагу, «Подписание мира» сообщал, что балканская война счастливо закончилась миром, подписанным в Лондоне. «Кто будет спорить о том,— писал отец, — что кончилось пятивековое владычество турок над европейскими народами, и вся Европа может радостно праздновать фактическое изгнание азиатских завоевателей обратно в Азию!» Азия, наверное, опять напомнила ему о тщеславии. Отец высыпал великое множество цитат. Весь мир вместе с моим отцом на шести языках обличал мое тщеславие, требуя покаяния.

Отец мой писал также о господине Вальтере Брете, об его бойком банке и еще раз — об алебастре, который никто не ценил. Что же, неужели алебастр не входит в круг того технического переворота, который мы наблюдаем во всем мире? «Закончились автомобильные гонки по круговому маршруту: Волхонское шоссе — Красное село — Гатчинское шоссе — Волхонское шоссе. Эти 200 верст господин Суворин на «Бенце» прошел

в 2 час. 22 мин. 54 сек. — и получил первый приз в 1000 рублей». Отец мой не был великим поклонником техники, но тысяча рублей, писал он, ему бы сгодилась больше, чем господину Суворину. Вот банкир Вальтер Брет торопит его, а плоты этого дурака Василия Петрова, вместо того чтобы возить алебастр, возят мимо арбузы! За арбузами шли опять цитаты о тщеславии, а затем выступал господин Де-Мульнэ, облетевший Европу. Из Парижа в Берлин, Варшаву, Петербург, Копенгаген, Гамбург, Гаагу, Париж — он облетел всего с 28 мая по 18 июня — 4910 км, употребив на самые полеты только 40 часов! «Завоевание воздуха,— иронизировал мой отец,— возможно, но как же мне быть, чтобы достать хоть 10 тыс. руб. для начала строительства Лебяженского банка, а кроме того — чем хвастаются эти обжоры?» Отец мой выписывал слова Де-Мульнэ: «Мотор моего аэроплана выдержал испытание в 5 тыс. км и не устал, а устал лишь мой собственный мотор — желудок: от широкого русского гостеприимства!»

Вечера холодели. К утру мутно-желтые лужи, видневшиеся с полянки, цепенели. Многие птицы скрылись. Приближалась осень. Скоро останутся только сороки и вороны. Сороки хлопотали больше всего, они чувствовали себя хозяевами. Сорока — птица осенняя, думал я. Сороки переняли даже крики воронов: «Никогда». Однако вóрона, как я понял, не уважал никто из зверей и птиц, кроме сороки. Я очень сожалел, что странное ослепление поэта придало ворону такую напрасную многозначительность. «Глупая и бестолковая птица, — говорили о вóроне жители полянки,— она кричит не вовремя, не по нужде, а дабы обратить внимание». Если ж произошел случай, когда ворон сел на бюст Паллады и воскликнул: «Нувермор», то это произошло, несомненно, из вороньего тщеславия.

Озлобление мое против ворона было понятно. Я пропустил время. Я не поймал ни одного зверя и не увел за собой из лесу ничего, кроме осени. Мне остался один лишь ворон, который придет со мной вместе в город, имея полное право смеяться надо мной. Кроме того, у меня совсем истрепались ботинки, и я, возгордившись владычеством над зверьми, решил сам сшить себе сапоги. Я истыкал все пальцы шилом. Когда раны мои зажили, я пытался шить вновь, — и проткнул ладонь.

Рана гноилась, набирать буквы трудно, а главное — обидно, что пришлось-таки купить ботинки.

Осенью в типографию поступило много заказов. Нас оставляли на ночные работы. Отказаться нельзя, потому что наборщиков приходит много и если не работать старательно, то уволят. За сверхурочные нам не платили. Если летом наборщики ворчали, то теперь они молча исполняли все поручения заведующего.

Заведующий, толстый и злой человек, Людвиг Осипович Гейгер, весь был наполнен отвратительнейшей бранью. Он ходил постоянно в грязно-зеленом костюме, словно только что вылез из тины, и мы его называли «лягуховатый».

— В лес вас манит, бачька Иванов? — кричал он. — Чего глаза выпучил, рыжих усов не видал? В кассу смотри, бачька.

Он происходил из немцев. Он презирал русских и называл их «бачьками», как мы называем инородцев. Слушая его брань, я говорил самому себе: факир, что б ему ни балабонили, будет терпелив! Я отвечал ему скромно:

— Трудно работать, скипидару мало отпускаете, шрифт вымыт плохо, слипается.

Гейгер много подворовывал. Подворовывал он в том числе и скипидар. Он багровел и кричал:

— Кто смеет скипидар воровать, бачьки?

Тогда типография начинала переругиваться, всю брань мысленно направляя на заведующего. Это называлось «запластырить». Печатники уважали меня за способность ловко «запластырить».

Я скучал по своей серебряной полянке. Я скучал по зверям.

Когда затвердел снег, я пришел туда. Снег лежал приятной ровностью и от заката был красновато-роговой. Но моя осина уже не походила на знак «пики» и вся полянка была иная, чем девятка пик. Она бесформенна. Если б не поваленная осина, я бы с трудом нашел полянку.

Я вскарабкался на осину. Сучья свалили твердый, сухой снег. К осине не было следов зверей. Я посмотрел на мертвые пятна заката, на облака, похожие на осенние осиновые листья,— и уныло направился обратно.

Ни змей, ни опасности, ни трав!

Мною владела усталость. Питаться зеленью летом легко, но теперь квашеная капуста, соленые огурцы и картофель ужасно надоели мне. Мне казалось, что никогда не насытиться ими. В типографии все худы от водки. Моя худоба никому не любопытна, и только заведующий изредка орал на меня:

— Молодой, а так язвительно водку жрешь. Черт длинноволосый, ведь тебя же бабы в канаве обольют!

Я отвечал тихим голосом:

— Набор стоит зря, потому что нет бумаги для машин. Бумага зря лежит на станции, а работник возит вам сено на хозяйской лошади.

Заведующий багровел:

— Кто говорит, бачьки, что я хозяйскую лошадь пользую?

Без конца тянулось «запластыривание».

Моя Волшебная библиотека имела для факира и зимние упражнения. Я выходил голый в ночь и в пургу на мороз. Мне полагалось для начала стоять две или три минуты. Постепенно это «просветленное» стояние я догнал до 20 минут. Но все мои размышления, упражнения, обтирания холодным снегом, сидение на корточках никак не успокаивали меня.

Я хотел хорошей жирной пищи с мясом и маслом!

Сон мой заполняли колбасы, сдобный хлеб, пельмени. Я смеялся над своей пищей, над этими огурцами и кочерыжками капусты. «Монастырское, схимническое не уясняет, а затемняет», — говорил я. Моя хозяйка Павла, по-прежнему стройная и крутая, хотя и стремящаяся завянуть, встретив меня с постной моей пищей, ехидно говаривала:

— Молиться идешь, Сиволот? Ну, меня язвит и сушит наше царство, а тебя кто подрезал?

Она злилась на мою, непонятную ей, систему. Иногда ей казалось, что я с кем-то в сговоре, с кем-то согласился погубить ее мужа, ее счастье. Беря с меня плату за баню, она долго смотрела на полтора рубля:

— Загубили мою чистоту такие, вроде тебя, Сиволот, государственные люди.

Она многозначительно и злобно выговаривала это слово «государственные».

Я думал, что понимаю ее. Вот скоро приедет муж, и она так трепещет перед встречей, что уже не разгова-

ривает о нем и не просит читать полученные письма. Однажды я сказал ей:

— Вот ты все говоришь, Павла, все ругаешься, а когда же действовать? Болтают, что пристав у тебя вместе с исправником ночевал. Чего же ты их не сожгла? Или губернатора дожидаешься?

Тут я впервые увидал, что глаза у ней действительно стали какие-то засохшие. Она положила мне руки на плечи — и внезапно расплакалась. «Плохо, — подумал я, — проповедую уважение, а разговаривал грубо».

Я избегал ее. Павла тоже избегала меня, видимо стыдясь своих слез.

Я получил толстый пакет. Я развернул лист бумаги, по которому голубой акварельной краской выведено только три слова: *«Что ты делаешь?»* Под сердцем защекотало. Я узнал эти буквы, хотя они и печатные. Спрашивал Петька Захаров. И точно, несколько дней спустя он прислал пространное послание. Он сообщал, что учится в Омском сельскохозяйственном училище, рассчитывая года через три быть агрономом. Нубия питается у знакомого на заимке под Омском. Экстерьер двигается успешно. Петька спрашивал: «Неужели ты, Всеволод, все еще наборщик?»

Он обидел меня. Я не желал рассказывать ему о своих подвигах, но я верил его догадливости. Я отправил ему свою серую тетрадь с наклейкой «Его наука». Ответ я получил телеграфом:

«Всеволод, ты Леонардо да Винчи.

Немедленно рисуй. Петр».

Телеграмма эта столь потрясла меня, что я купил акварельных красок и толстой бумаги. Акварельный мир выходил иным, чем тот, с которого я списывал. Неудачу я относил к малой моей опытности. И здесь необходим учитель. Я достал книжку по рисованию. Она немного прибавила к моим знаниям. Люди по-прежнему получались мутными. Небо пемзовое. Деревья в какой-то пестрой ряби. Цветы крапчатые. Из-за туч непрестанно выплывала порфировая луна, и радушные звезды, рубиново-красные, ухмылялись ей. Когда я нарисовал достаточно картин, чтобы обвесить все стены бани и предбанника, я взглянул на них сразу. Я узнал эту страну. Предо мной была Индия!

Через две недели последовала краткая телеграмма:

Делаю. Петр.

Я догадался, что он делает, и веселая радость обрызгала меня тяжелыми и неуклюжими брызгами.

Я ждал письма, наполненного Петькиным восхищением. Но Петька, видимо, считал, что телеграмма есть самый восторженный способ сообщения. Он молчал. Мне захотелось поразить его еще более.

Я купил часы за 1 руб. 75 коп. Их карманное тиканье заполняло лаской всю мою баньку. Синий свет, отражавшийся от снегов, струился в мое окно. Я долго не зажигал моей керосиновой семилинейки. Я готовился к новому удивительному опыту. В городской библиотеке я раскрывал номера «Нивы», подыскивая короткую, но трогательную фразу.

В 9 час. 45 мин. вечера 8 ноября Петька Захаров сел за стол в дортуаре Омского сельскохозяйственного училища. Он закрыл глаза, уши. Он принимал то, что за 500 километров в г. Кургане мысленно диктовал я ему. Дортуар спал. Петька сидел, записывал, исправлял, вычеркивал те слова, которые казались ему лишними и которых он не слышал от меня. Затем он заклеил в конверт получившуюся фразу. 10 час. 45 мин. вечера того же числа я отправил мой конверт с фразой, которую я диктовал Петьке. Фраза эта была из 42-го номера «Нивы» от 19 октября 1913 г., страница 831, строка 8-я: «Здесь не оставляет сомнений прежде всего близость Тургенева и Виардо, родство их как двух художественных натур и основанная на этом их дружба».

Я радовался, что столкнул и свой и Петькин разум в пропасть. Фраза, которую он получил от меня «мысленно» 8 ноября в 9 час. 45 мин. вечера, отдаленно походила на мою, посланную ему. Я был этим доволен, а он писал мне встревоженно и непонятно. Он требовал повторения опыта: «повтори для полной ясности, иначе придется твой и мой рассудок — в бинты, Всеволод!»

Я колебался. Повтори, а опыт-то и не удастся! Квашня забродила и поднялась ранее обыкновенного. Не от того ли получился успех, что оба мы любили Тургенева, что Виардо и нежная дружба привлекали нас, что нам надоели романовские торжества, что, наконец, мы оба часто читали «Ниву» и что фраза, переданная — мысленно — на расстоянии, взята не из отдаленных номеров журнала, а из ближайшего? От испуга и от уважения к своим силам я прекратил переписку с Петькой, хотя мне очень хотелось узнать, где и что делают Пашка Ко-

валев, Филиппинский и «грозный мастер Иоанн». Петька не обижался на мое молчание. Первого числа каждого месяца он неизбежно присылал мне телеграмму, состоявшую из двух слов:

Делаю. Делай!

20

Я неустанно смотрел в небо и ждал, когда ветки осветятся теплым солнцем, задрожат, балуясь, и покроются нежной разбавленной зеленью.

Я вышел в поле. Меня встретила молодая, негнущаяся трава новой весны 1914 г. Голова моя кружилась. Во всем теле я чувствовал слабость. Вокруг меня, в расхлестнутой настежь весне, кружилось многоголосье. Однако это многоголосье было полным согласием звуков. Мой голос может быть здесь чужим? — тревожился я. — Не вышел ли поздно? Полянка не забыла меня?

Я ошибся. Полянка предпочитала меня всем людям. Я привлекателен ей. Птички защелкали, здороваясь. Лужа, та, которая с никелированными краями, по-прежнему видневшаяся сквозь осины, качнулась, улыбнулась, приветствуя меня. Осины покрыты радужно-ртутным убором. Сердце мое билось. Я присел к суку на сломанное дерево. Голова моя закружилась еще сильнее. Многоголосье прерывалось какими-то мямлящими звуками. Я ощутил множество бессмыслицы вокруг. Руки мои дрожали. Я вынес их к солнцу, весеннему и пышному. Они были синевато-серые.

Я очень устал. Я много расточал своего здоровья. Я вспомнил, что работал усиленно всю зиму, но ни на один день не прекращал я законов своей системы. На морозе в 25 градусов я выстаивал голым почти час. Я ослабел. Мне нужно отдохнуть и этим развеять подступающую тоску, которая объясняется слабостью.

Я с нетерпением ждал вечера.

Вот я увидал барсука, которого я привык называть Филиппинским. Он направился на охоту, пройдя мимо моих ног, по-прежнему что-то спокойно жуя. На нем я убедился, что звери и птицы не выразят особенной радости, увидев меня. Благодеяний я им не оказывал, и странно надеяться, чтоб они плясали, увидав меня! Они встречают меня как друга, а не как родственника. На-

пряжение, которое существовало между нами, тревожило меня. Я не надеялся на свои силы.

Разумеется, я прав. Мне нужно торопиться. Я узнал тайну приближения к животным, и мне пора понять тайну растений. Это труднее!

Я каждый день приходил на серебряную полянку. Я мало думал о зверях. Я умел уже различать на ощупь, закрыв глаза, многие травы. Без чьих-либо наставлений я знал, какая трава съедобная, какая нет. Если объяснять вкратце это ощущение, то можно сказать, что съедобное имело ласковый цвет. Пока не спускалась глухая ночь, я прислушивался к тому, как растут травы.

Да, я слышал, как росли травы! Они выходили, шурша и тихо поднимая почву. Я ощущал их особые беззвучные голоса. Эти голоса возникали во мне. Я стоял у тропинки и понимал, какая трава осмеливается выползти па тропинку, а какая отклоняется. Я понимал, как растение поглощает свет. Я видел явственно, что струи света входили в растение, а воздух возле листьев терял свои очертания, делался мутным и певучим. Растение боролось с воздухом. Он сопротивлялся, не пуская свет, и я думал с радостью, что люди ошибались, будто растение легко захватывает воздух. Он упорно упирается, этот особенно крепкий весенний воздух!

Я чувствовал, что вот-вот пойму тайну произрастания растения: от семени до цветка в течение одного часа. Очевидно, я должен помочь растению с большей легкостью уловить свет и воздух, тогда в один час они проделают тот путь развития, на который уходит поллета. Окруженный зверями, птицами, растениями, я войду к осени в мою заполненную Волшебную библиотеку.

Когда я шел домой, вокруг меня висели облака свежего хорькового цвета. Утро было хрустальное. Я перерос себя! Ночь, казалось мне, вдунула в меня множество великолепных мыслей — и плотно идет рядом со мной моя замечательная система.

В предбаннике на лавке ожидала меня хозяйка моя, Павла Николаевна. Она держала в крепких пальцах кусок веревки, изображавшей некогда змею. Она равномерно хлестала веревкой по полу. Солнце поднялось высоко. Ее разведенные врозь глаза сухо горели. Сейчас

у ней было другое лицо. Чего доброго, не произошло ли какое горе с ее мужем? Увидав меня, она швырнула веревку в угол и сказала сдержанно:

— Ишь ты, как подшмыгнул.

После того что произошло на полянке, я чувствовал к людям большое снисхождение. Мне казалось, я понимаю ее. Несчастье «подшмыгнуло» к ней более незаметно, чем я, и не обо мне она думает.

— Ведь я тоже человек, — сказала она протяжно, и глаза ее вдруг наполнились слезами.

Я молчал. Я смотрел на нее пронзительно. Я видел всю хилость, которая появилась в ней. Но, бесконечно уважая людей, я должен тщательно обдумать, прежде чем помогать ей действовать. Никаких резвостей! Я мастер.

Она схватила веревку. Она говорила горячо и быстро, опять хлеща веревкой по лавке:

— Чадом запахло!

Она говорила о душевном чаде, а не о чаде — ребенке. Я кивнул головой. Мне отлично знаком этот горький чад, но мастер так правит конями, что в одну минуту перемахнет через туман и чад. Я слушал ее внимательно, подбирая утешительные слова. Она качалась на лавке:

— Не могу я терпеть. Как ты, Сиволот, сказал, что болтаю, а действуют другие, что языком слоняюсь без толку, пустословлю, так начала я себя поносить! А только начни себя поносить, так оно отовсюду забьет, потечет, забрызжет. Но все-таки я люблю себя, отчего и зачахнуть боюсь, так лучше мне замолчать! Я перестала даже с писарем Хмелиным ругаться, не только с Алешкой. И получилась у меня на сердце такая мокреть с ветром.

Она застенчиво улыбнулась. Я смотрел на ее длинные стройные ноги, которыми она болтала.

— Погадал ты мне, Сиволот, что ли, бы? Как мне смотреть? Все забраковано. Вещи даже и то стала покупать какие-то негодные. И муж каков придет, не знаю. Слушаю его письма, а они бренчат. Раньше они пели! Страшно мне, Сиволот. Получается вроде как самые простые солдатские письма. Хрупка я стала, Сиволот.

— На чем же тебе, Павла, погадать? — сказал я, улыбаясь.

Она тоже улыбнулась очень застенчиво и в то же время заботливо. Она пеклась обо мне, чтоб я и себя не обидел, и ей не сделал огорчений:

— Тебе ли не знать. Ты совсем отрок делекатный, святой.

Я взял ее руку. Глаза устремлены на меня с тоской. Забота ее обо мне исчезла, она озабочена была собой. Понять ее, успокоить ее — не сложно, думал я. Я утешал ее. Я сказал, что муж ее приедет совсем изменившимся, понимающим и справедливость и несправедливость, что череда ее жизни будет иная, как она того желает.

Она повеселела. Когда она проходила мимо моего окна, она затянула песню.

Утром на камушке, возле бани, в молодой крапиве я нашел десяток яиц и крынку сметаны. По всей вероятности, это Павлины подношения! Я весело рассмеялся, но скоро я загрустил. Как потчуют нас годы, как они проказят! Я повторяю проделки бабки моей Феклы. Кроме того, я сваливаю свои проделки на заботы и на сострадание. «Ой, негоже, Всеволод, негоже. Устрани!»

Я бросил крынку в огород за плетень. Туда же я выкинул и лукошко с яйцами. Мне хотелось есть, но если убирать, приводить в порядок свою душу, то делай это немедленно!

Я услышал в огороде сдавленный крик. Я отставил чайник с холодной водой, который мне служил рукомойником. Было раннее утро. Парень, что ли, любовался там с девкой и на них вылил я мою сметану? Или баба копала огород? Или попал я в собаку, которая глодала кость? Я подошел к плетню.

По ту сторону его, коленопреклоненно на сырой земле, лицом к бане, стояло пять баб. С ужасом смотрели они на разбитые яйца и расколотый горшок. Их знобило, ногти их посинели. Видимо, они стояли здесь долго. Я узнал этот взгляд! Таким же диким и странным взглядом смотрели, крестясь на восход, «исцеленные» бабкой Феклой.

Я стою спиной к западу. Лицо мое — восток.

Я понял Павлино выражение «святой отрок». Слово же «делекатный» принадлежало ей. Эти два определения выходили из одной души. Я быстро разыскал бешеный смысл слова «делекатный», даже раньше, чем смысл «святой отрок». Озноб потряс меня. Но это был иной озноб, чем у этих пяти коленопреклоненных баб.

Великий стыд овладел мной. Вот тебе и сражение с богом. Вот тебе, Всеволод, и факирство. Вот тебе и новая система. Так вот, значит, куда ты пришел со всеми своими тетрадями! Но самое страшное, что я и сам не заметил, без всякого притворства, превратился в юродивого. Тут же я вспомнил, что уже зимой прекратились смешки надо мной, что люди оглядывали меня со смущением и что даже рыжий заведующий не ругал мои длинные волосы, нечесаные и немытые. Я исхудал, ослаб. Меня посещают ветхие мечты. Губя свою строптивость, я уперся в безумие! Вот сейчас бабенки встали передо мной на колени, ждут от меня чуда, принимают меня за схимника.

Я упал грудью на плетень. Я тупо смотрел на баб. Они опустили взоры. Достаточно одной фразы, чтобы они сделали все, на что я выражу желание. В руках бабы держат узелки с приношениями. Головы у них наклонены. К стоптанным каблукам прилипли куски навоза.

Ай да бабка Фекла! Ах, как бы она посмеялась над своим зятем. Ах, как бы посмеялся над сыном своим учитель Вячеслав Иванов. Нет, плохо, плохо. Плохо еще потому, что мне мучительно хотелось крикнуть бабам: «брысь!» А крикни, и ты превратишься в безвозвратного юрода. Вот тебе, Всеволод, и победоносная система.

— Милостливые государи и милостливые государыни, — сказал я бабам, — прежде чем начать свои опыты, я неправильно сказал самому себе, откуда и когда появились на земле факиры!

Я вернулся в баню и снял мою «самосшитую» одежду. Я достал накопленные деньги и надел то тряпье, еще уцелевшее, которое я совсем недавно презрительно называл портновским. Я купил на базаре синие штаны, сапоги с короткими голенищами, галоши, розовую рубаху. Я переоделся и тут же свернул в парикмахерскую. Я коротко остриг свои волосы. Из парикмахерской я пошел в баню. Я долго мылся и парился, обливая себя горячей водой с великим наслаждением. Я поддавал пара в парильне, кряхтел, размахивая веником, и мне не хотелось уходить.

Затем я купил фунт ветчины и два фунта вареной колбасы. Это мне показалось мало, — и я прикупил еще полтора фунта сальтиссону. Я приобрел дюжину слоеных булок, два фунта баранок, три французских сайки.

Пищу эту я выложил на промасленную бумагу около предбанника. Мне противно заходить в баню!

Я ел долго и жадно.

Я уснул на скамейке в предбаннике и, проснувшись, опять ел. В этот день я не пошел на работу. Я варил в котелке на лужайке суп из жирного мяса. Я пил молоко и густо намазывал маслом хлеб. Меня обвивала приятнейшая сонная теплота. Я злорадно ждал бабенок и думал: а вот подойдите, я вам такого желанного ерша загну, что вы со страху кавалерийской побежкой друг друга не догоните.

Поздно ночью я постучался в Павлино окошко. Я увидал ее побелевшее лицо. Она молча впустила меня. В сенях темно, но и в темноте видно, что она на голову выше меня. Я положил ей руку на плечо. Я обнял ее. Плечи ее вздрагивали. Она подхватила меня на руки. Мне было несказанно приятно, что я такой легкий и что она так величаво несет меня. Она меня несла, я прославлял ее и себя, болтая своими слабыми ногами вдоль ее тела. Ей было это приятно, она кичливо посмеивалась. Она внесла меня в горницу, и ею овладела ярость.

— Вот тебе и гаданье, — повторяла она мои слова, — вот тебе и зачахла!

Она, смеясь, откатывалась от меня. Она важно и степенно говорила: «Кровать продавишь», и это была совсем иная важность, которую я когда-либо слышал. Она восклицала: «Эх ты, велемудрый звездочет!» — и ласково бросала в мое лицо красиво вышитую подушку. В комнате светло. Я помню эту комнату до мельчайших подробностей, хотя и до сего времени, как бы усердно я ни вспоминал, я не могу понять, откуда там был такой яркий свет.

Мы болтали и смеялись. Мы подлинно и без лести были счастливы.

Она непрестанно гладила меня по голове и ласково говорила:

— Ишь какой стриженый!

Но вот Павла вздохнула счастливо и прижалась ко мне:

— Теперь я, Сиволот, настоящая солдатка.

Я рассмеялся:

— Тоже человек?

— Тоже солдатка, — поправила она, засыпая.

Мы проснулись поздно. Она целовала мои руки и ноги. Она была страшно ласковой и вся крутая иной крутостью, чем я думал о ней прежде. Я смотрел на склоненную ненасытную голову и думал, что вот она даже не спросила меня, люблю ли я ее, а теперь косами своими она вытирает мои ноги. А надо бы спросить! Если быть откровенным, то я ее не люблю, и все происшедшее произошло потому, что я напугался. Моя система принесла мне совсем иные тайны, чем я ожидал.

Нужно уважать и других, но и себя не переставай уважать. И я сказал то, что еще вчера ночью я бы никак не сказал:

— А ведь я тебя, Павла, не люблю.

Она спокойно ответила:

— А кто же солдаток любит?

Эти спокойные и страшные слова еще более отрезвили меня. Стыд, с которым я признался ей, исчез. Эта женщина не только любила меня, но и первая поняла мою систему и пожелала помочь мне. Я продолжал с легкостью:

— Я от тебя сегодня уеду, Павла.

Она, продолжая целовать мои ноги, сказала:

— Вот я и нацеловываю. Ты гадал, Сиволот, а я и без гаданья поняла, что уедешь. Разве тебе возле солдатки жить?

Она помогла мне собрать книжки. Она донесла мой жалкий скарб до извозчичьей пролетки. Уйти мне пешком было трудно. Своими крутыми и ласковыми глазами она смотрела на меня, положив руки на крыло пролетки. Она молчала о власти проклятого царства, о которой могла говорить с такой ужасной силой. А я ведь переезжал к Алешке Жулистову, тоскующему по-прежнему о великолепной царской форме. Она не хотела меня обидеть! Я страдал, но я был уверен, что иначе поступить невозможно, раз я не чувствую любви.

Три дня я отдыхал и на четвертый вечером отправился к серебряной полянке.

Я сел на любимое мое дерево. Мне скучно сидеть. Я зевал. Мне хотелось есть и спать, но я пересиливал себя.

Я просидел до солнечного восхода.

Огромная тишина свалилась на меня. Я находился в самом ее центре. Ни звери, ни птицы, ни растения не

шумели вокруг меня, словно все усердствовало, чтобы показать, насколько я здесь чужой. Возле моего ботинка плыл жилой запах барсучьей норы, но хозяин ее не выходил на охоту. Допустим, что виденное мною на полянке пригрезилось мне.

Я подходил к заячьему логову. Я поднимал кусочки заячьей шерсти, еще теплой. Я чувствовал, что здесь какой-то сговор. От меня распространяется все увеличивающийся радиус пустоты. Обо мне по лесу бежит слух как о предателе и болтуне! Кто-то ретиво шмыгает между осин, хлопоча о расширении радиуса. Ах, звери, вы его считали благодетелем и заступником! Ах, звери, вы думали, что на основании своей новой науки он преобразовал жалкую свою душу! Кто вас надоумил? Перевяжите ваши сердечные раны, развейте тоску, забудьте его!..

Звери, птицы, насекомые, растения — покинули серебряную полянку. Серебро линяло на глазах. Листья осин висели надо мной бестрепетно в горьком негодовании.

Когда я утром покидал навсегда серебряную полянку, навсегда уходил серебряной дорогой, я понял кое-что обидное для себя и своего факирства. Неужели ж я мог быть серьезно убежденным, что если мало есть, мало спать и есть преимущественно траву, а спать на корточках, то благодаря этому поймешь зверей, птиц и растения? Неужели оттого, что не будешь целовать женщин, ты почувствуешь способность передавать мысли на расстоянии? Неужели я мог думать, еще идя сюда, что все происшедшее здесь не бред и не выдумка, и неужели я всерьез полагал, что надо выбрать иную полянку и начинать знакомство не с радушных зверей, вроде барсука или зайцев, а со змей и волков? Неужели змея глупее и злее барсука?

Надо признаться, что я был прежде всего болен: от голода, от жажды, от одиночества, черт возьми! Моя воля восторжествовала в том, что я смог опомниться и выздороветь. Теперь пора мне забыть свой бред. Я вспомнил письмо Петьки Захарова с его фразой, благодаря которой я поверил в свою способность передавать мысли «на расстоянии». Я повторил ее. Только мое голодное воображение могло поверить, что она походила на ту фразу из «Нивы», которая говорила о дружбе Тургенева и Виардо. Она совсем иная, а Петька на-

мекал мне, что в голове моей происходит что-то неладное!

Возле палисадника жулистовского дома я услышал хорошие, «зрелые», засидевшиеся в девках, смешки. Я заглянул. Незнакомый белокурый парень целовался с девушкой. Девушка закрывалась от меня широкой веткой сирени.

Я подумал одобрительно: «Прекрасно! Сирень, весна, поцелуи, прекрасно!»

— Сказочно одобряю, — сказал я.

Целующиеся тихо рассмеялись. Когда я раскрывал калитку, девушка, чтобы не столкнуться со мной, лихо перескочила через забор. Бойко стуча ножками, она вбежала в сонный голубиный дом.

Я разделся тихонько. Я положил свое платье на стул. Возле Сашенькиной кровати такой же стул, как и возле моего стола, венский, засиженный. На этом стуле лежало ее платьице, сложенное наспех. Из-под ситцевых оборочек выглядывала ветка сирени, растрепанная и широкая. Сашенькины ножки тщательно закрыты.

Читая, я иногда оглядывался. Но напрасно мое оглядывание. Байковое одеяльце плотно прикрывало Сашенькины ножки и плечики.

Голубиный дом всем составом гулял по ту сторону улицы, под тополями возле кирпичной стены. Изредка Алешка выпускал из-за пазухи голубей. Я бродил по двору, посматривая в небо, наполненное белыми трепещущими крыльями. Пора, хотя и трудно, вернуться к моей Волшебной библиотеке. Пора заполнять серые тетради, воспитывать в новом, исправленном, направлении свою волю, воспитывать непрестанно свой разум, свою науку, свои высокие духовные идеалы, воспитывать непрестанно, потому что меня тянуло к хозяйке моей бывшей, Павле Николаевне.

Разве мало полянок в нашей России? Разве я не воспитал в себе чудовищную волю, волю первого сорта, черт возьми!

Я подошел к старому моему знакомому — тусклому голубиному зеркалу. Я достал свои шпильки, которые вынимал из бумаги последний раз на знаменитом Курганском кургане. Сейчас я погружу эти шпильки в свое тело со злостью и с наслаждением. Вот тебе, чтобы ты

не тянулся, шальная голова, к бабам! Вот тебе, чтобы ты понимал и умел правильно избирать полянки!

Я услышал крик с улицы:

— Бен-Али-Бей!

Вслед за тем у палисадника завопил Алешка так восторженно, словно он получил-таки ту форму, которой давно добивался:

— Да выгляни ты в окно, факир!

Я распахнул окно.

У палисадника, весело опершись на частокол, стоял, наблюдая за гуляньем, мой друг Петька Захаров. По-прежнему он весь в кудрях и в белых зубах. На него безнадежно и грустно смотрит Пашка Ковалев. Нубия качает головой. Она вся увешана странными приборами, сбоку привязан стол с широкими ножками, но она такая же худая и тощая и так же нежны и любезны ее глаза. Упершись хромой ногою в тополь, закинув руки за спину, возвышается над всеми курганскими жителями Константин Филиппинский. Он по-прежнему засален, громаден, и вата по-прежнему торчит из лопнувшего шва. А выше его на голову, в переднике и рваных сапогах, ходит возле каравана «грозный мастер Иоанн Михайлович». Увидав меня, Филиппинский поднял вверх узкие свои глаза и проговорил скучнейшим своим голосом:

«— Я хотела бы повидать милую Маню.

Он посмотрел на вонючий окурок в полоскательнице и, хрипло и старательно выговаривая слова, сказал, жуя губами:

— Извините, хотя вы и давнейшая ее приятельница, однако я не могу допустить вас к моей жене в этой новомодной шляпе. Доктор предупредил меня, что больной вредны сильные потрясения.

— Человек! Мне этот ростбиф не нравится. Можно вместо него котлету?

— Можно-с.

Котлета съедена. Господин, играя сжатыми челюстями, похлопывая толстой и потной рукой по карману, направляется к дверям, из которых несет сырым холодом.

— Господин, за котлету дозвольте получить.

— Так я вам вместо нее отдал ростбиф!

— Так вы и за ростбиф не изволили платить.

— Но ведь я его не ел!..

Один портной, проснувшийся после двухнедельного летаргического сна, рассказывал между прочим, что он был на том свете, где ему показали огромную пустую комнату со стоящим посредине столбом с прибитыми кусками материи, которую он когда-либо отрезывал от материи заказчика. Желая исправиться, портной просил всех своих подмастерьев, как кто-либо заметит его намерение вырезать при кройке в свою пользу часть материи, напоминать о столбе.

Прошло несколько дней. От одного заказчика принесли кусок прекрасного английского сукна. Схватив его, портной умелой рукой начал кроить, отрезав и себе порядочный кусок. Подмастерье напомнил ему о столбе.

Портной, почесываясь и зевая, косо глянул на раздвоенную губу подмастерья, из-за которой выглядывал гнилой зуб, и сказал сердито:

— Столб я помню хорошо. А если я отрезал кусок для себя, так потому, что этого куска на столбе не существовало.

Отец вышел на террасу дачи, чтобы посмотреть, как на лужайке играют его дети.

— Дети, во что вы играете?

— В мужа и жену, папа.

Отец, закрывая глаза и тряся головой, серьезно сказал:

— Э... нет, нельзя! А не то вы будете ссориться и драться.

— А вы не скучаете? — спросил хозяин своего гостя.

Гость осмотрел выгорающую лампу, с отвращением подумал, что комната невыносимо провоняла табаком, но вслух тонким фальцетом сказал:

— О нет, напротив. Мне очень забавно смотреть, как ваши гости сидят и зевают.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ФАКИР ВХОДИТ В ЦИРК

Мы искали физическую Индию и нашли Америку; теперь мы ищем духовную Индию — что же мы найдем?

Г. Гейне

1

Я лежал животом на подоконнике. Друзья, признавая необходимость моих серьезных размышлений, не мешали. Нубия, существо менее догадливое, но более жалостливое, просунула сквозь частокол свою голову и смотрела на меня неотступно. Она потолстела, раны ее зажили, но взгляд у нее прежний.

Я рассматривал вещи, которыми обвешана Нубия, переулок, гимназиста, который шел, выпятив важно живот, пьяного извозчика, ехавшего наискось.

— Всеволод, тем, что прислал мне свои тетради «Его наука», ты уже согласился на второй рейс в Индию.

— Не торопи меня, Петр!

Аппараты, висевшие вдоль и поперек Нубии, сделаны по моим чертежам, и без меня в действие их не привести! Вижу и стол фокусника, и клетку с искусственной птичкой, и таинственный зверинец. Но все-таки эти желанные вещи мало занимали меня. Я хотел осмотреть всю свою жизнь, дабы понять смысл и причины, по которым произошло то, что вызвало мои размышления в этом переулке, на этом подоконнике с его удивительно кислым запахом квашеной капусты.

Много страшных моментов случалось в моей жизни. И те, о которых рассказано в предыдущих частях, и те, о которых будет рассказано в последующих, и те, о которых автор умолчал, предоставив, буде понадобится, работу другим людям, — моменты эти позволяли б, казалось, думать, что он испытывал знаменитое ощущение, когда перед человеком в одно мгновение проскальзывает вся его жизнь. Мой отец, Вячеслав Алексеевич

Иванов, утверждал, что ему много пришлось испытать таких мельканий. Этим я объясняю, почему отец мой мог необыкновенно гладко и красиво рассказывать без передышки три или четыре дня какое-нибудь самое неважное событие, например, что у станичного писаря от запора умер породистый петух и как станичный писарь по этому поводу крепко ругался со своей тещей. Но ни в один из страшных моментов, случившихся со мной, — а часто они, в силу моего пышного воображения, бывали гораздо страшнее, чем у прочих людей, так что мне можно б знать не только мою жизнь, но ряд жизней моих друзей и знакомых, — имея страстное желание видеть мелькание всей моей жизни, я все-таки и до сего дня не встретил этого мелькания. Признаюсь, это мне было неприятно и тогда и сейчас не потому, что я хотел с кем-нибудь сравниться, а потому, что просмотр моей жизни позволил бы мне выбрать наиболее красивые и удачные куски, вот хотя бы для упрощения этого романа, для уменьшения действующих лиц, и, наконец, кто знает, может быть, я писал бы тогда более опрятным стилем, и замысел мой поняли бы с первой страницы, так что не только критику, но и читателю не пришлось бы идти дальше заглавия.

«Мелькание» необходимо мне было также и для того, чтобы хорошенько подумать о тщеславии, о том, почему произошли все предыдущие события, и прав ли мой отец, который вместе с мудрецом говорил, что «тщеславие есть начало всякой славы и добродетели». Отец мой утверждал, что тщеславие, а не что иное, еще в каменном веке заставило изобрести первый костер и первое жаркое. Уже позже изобретатель сказал, как и многие современные изобретатели в своих мемуарах, что это скромное открытие сделано ради любви к людям. Однако изобретатель и после этого признания по-прежнему с большим удовольствием принимал похвалы и весьма ожесточенно отзывался о тех, кто утверждал, что огонь весьма глупая затея, что этак можно спалить не только себя, но и предметы всего племени, столь долго и тщательно изготовляемые. Кроме того, огонь привлекает врагов, и они, несомненно, пожелают отнять наше изобретение, всех нас перебить, а в общем огонь — это нелепый пустой эксперимент, разве что любопытный, но не более, для которого, помимо всего прочего, требуется еще и обучение, а у нас и без того тратится много вре-

мени на учение, так что для личной жизни совершенно нет свободного времени. То же самое было и с изобретателем соленых огурцов или с тем, кто заменил цепной механизм в часах стальной пружиной.

Но выходило, что, прежде чем рассуждать о моем тщеславии, так как не появлялось «мелькание», надо думать о тщеславии павлодарском и лебяженском. Вот, например, лебяженский поп в блестящем тяжелом платье, очень неудобном и поднимающем пыль, под желтым солнечным лучом, который устроен так лихо, что всегда находится в алтаре, а перед окончанием обедни залазит даже на амвон, поп поет от всей души, задрав кверху вдохновенную бороду, в которой еще торчат крошки табака, потому что еще десять минут назад он крутил папироску. Денег попу уже не надо, он их накопил достаточно, его мучает сердце, мешает одышка, но посмотрите, как ему лестно стоять здесь, размахивая посудой, из которой идет дым, только потому, что все верят, будто он разговаривает с богом, то есть с существом, создавшим наш мир, который будто бы, по утверждению ученейшего астронома Джемса Г. Джинса (Кембридж, 1931 год, «Движение миров»), среди миллиарда звезд является редчайшим исключением, так как, видите ли, «вселенная активно враждебна жизни». А как лестно прихожанам верить, что этот разряженный дурак помогает им в личной беседе с богом! А вы бы посмотрели на попа, которому хватит воображения и смелости описать, как он своими глазами видал бога и слышал его не внутренним слухом, а наружным, вот этим самым отверстием на голове, из которого лезут волосы и сера. Поп должен главным образом передавать голос бога и сияние вокруг его лица, что же касается смысла его речей, то это совершенно не важно. Рассказывать трудно только вначале, а дальше в речах бога уже появится и смысл. Я помню, как бабушка Фекла рассказывала о первом свидании с Христом. Слушали ее с отвращением, так как голос звучал неуверенно, хотя она пыталась объяснить эту неуверенность испугом, который будто бы все еще не исчез. Год спустя бабка Фекла без затруднений описывала, и притом весьма искусно, какого цвета были сапоги на Христе и почему из кармана у него торчали крендель и кисет с табаком.

О, это Лебяжье! О, этот Павлодар! Я и посейчас вижу, как во сне, эти бесконечно пыльные улицы, по

которым не спеша шагают люди, каждый из которых непременно самородок. Павлодар, в сущности, есть расширенное Лебяжье, с прогимназией, казачьим управлением, городской думой, с полицейскими участками. В Лебяжьем вместо полицейского — поселковый атаман, вместо прогимназии, городского училища и сельскохозяйственной школы — Вячеслав Иванов с его тремя десятками учеников. Но возле высокого песчаного берега в Лебяжьем такая же пристань, как и в Павлодаре, а за поселком несколько мельниц, курганы, степь. Вдоль улицы ни одного дерева, и всегда, когда бы и сколько бы там я ни бывал, вдоль улицы идет теленок. Будь лебяженцы грамотными, они написали бы о своем поселке, о своих чувствах, о своем теленке великое множество книг, но и то, будучи почти неграмотными, они уверяли, — и притом с весьма крупной изобразительной силой, — что именно здесь, в Лебяжьем, работали: на поприще практической геологии, отчасти палеонтологии, Асмус, П. Вагнер, Языков, фон Вальдгейм, Чихачев, Фишер, Лавров, Оливьери, Соколов, братья Бутеневы, Макеровский. Некий римский историк Саллюстий (86 г. до Р. Х.) составлял здесь, возле Трубочевской ветряной мельницы, историю Римской республики. Г-н Добшюц, прусский генерал от кавалерии, который во время войны 1813 года собрал и устроил селесский ландвер, съел возле Иртыша за один присест пять фунтов язей и шесть с половиною стерлядей. Ангальд, специалист по долбленым изделиям, тот, который кроме десяти видов семеновских ложек (складные; староверческие, с вырезкой на конечности черенка — ручки — двуперстия; детские; межеумки; носковые, то есть обыкновенно — столовые; дюжинные или чайные; тоники или хлыстовки; сибирские или баские; похмельные), еще установил: «бутырку», самую крупную в России ложку; «угластую» или кривую с ручкой, изогнутой под углом «для удобства еды»; поваренок-разливушку; обыкновенную грубую крестьянскую ложку, которая до сих пор еще не имела всеобщего для книг названия — «лузик», — так вот этот Ангальд сидел здесь, на берегу Иртыша, после охоты, и пойнтер Масай съел у него на триста рублей бумажных денег. Ангальд был ученый сообразительный: он дал глупому псу слабительного, и вместо 300 рублей удивленные лебяженцы насчитали 425. Пьер Теофиль Динокур придумал близ этих мест множество

своих романов, а Фридрих Диттес, немецкий педагог, составил «методику первоначального обучения, изложенную на основании исторического ее развития». Здесь Карл Линней ввел двойную, «бинарную» номенклатуру при описании животных и растений, всецело господствующую в науке до настоящего времени. В Лебяжьем употребляют анисные семена для лечения: они, говорят, укрепляют желудок и кишки и разбивают грудные мокроты и ветры, скопившиеся в кишках. Атаман Трубочев, любитель еды и спанья, употреблял за один раз до полутора фунтов этих анисных семян. Франциc Пекосинский, юрист, профессор Краковского университета, приезжая в гости к Савицким, развил свою теорию «наезда поморских племен в Польшу», откуда вытекало, что польская шляхта произошла от викингов. Полковник Г. Г. Ковалев, раненный в грудь, в самый Георгиевский крест, при Альминском сражении, выпил здесь за ужином полторы четверти водки и без дрожания ног влез на седло, чтобы ехать дальше. Еще раньше его проезжал здесь Вобан, знаменитый французский инженер, который, осмотрев остатки лебяженской крепости, смог изложить свое учение о необходимости артиллерийской поддержки соседних укреплений фланговым огнем в статье своей «История фортификации»; он изумлялся поразительному искусству лебяженцев, умеющих применять свои постройки к местности; с восхищением он рассказывал, что «разнообразие от построек бесконечно, у них нет и двух тождественных фортов». Тахир бен-Гуссейн бен-Мусак, полководец халифа Мамуна, после усмирения восстания Раффи-бе-Ляйся в Самарканде (806—810 гг.) посетил Лебяжье, и здесь он при чтении пятничной молитвы (худбы) выпустил имя халифа, и хотя он (Тахир, а не халиф) много пил кумыса, но тем не менее поступок его посчитался мятежным действием, вследствие чего Тахир бросился к Мерву, дабы защищаться, но скоропостижно скончался в том же году, еще до начала вооруженной борьбы, от привычки, приобретенной в Лебяжьем, то есть из-за кумыса. Здесь, в кружке защитников Порт-Артура, имеющем целью объединение и взаимопомощь всех артурцев, собирание материалов для составления истории Порт-Артура и устройство музея, М. А. Боголепов сказал большую речь о способе лить свечи, из которой стало ясно, что формы, в которые отливаются свечи,

есть цилиндрические трубки, длина и ширина которых соразмерны величине свечи, какую хотят лить, а так как свечи бывают разной толщины и длины, то и формы бывают разных родов. От озера Теке, что в Кокчетавском уезде и что на дне имеет слой соли в один вершок, а вода его грязно-молочного цвета, сюда приехал некогда сам Телефос, сын Геракла и Авги, а кстати мы напоминаем, что, из боязни перед своим отцом, Авга спрятала своего сына в святилище девственной богини Афины, которая наказала за это иртышскую страну чумой, и что Телефоса покинули где-то возле Тобольска, — там его кормила рогатая оленица, но весьма неисправно, — и что в Лебяжье он приехал на щуке в сто двадцать семь пудов весом, и что мать его хотели утопить, но мать убежала в Китай, где вышла замуж за царя Лу, а Телефос служил в Лебяжьем звонарем и умер в церковной сторожке. Ка-Дево предложил именно здесь свой способ мыть белье картофелем: белье надо мочить в большом количестве холодной воды целые сутки, затем, вынув белье из воды, бить, пока не устанешь, вальком, после чего выжми воду, а картофель вари в воде как бы для еды, однако ж так, чтобы он был довольно тверд и способен к употреблению наподобие мыла, причем кожицу, находящуюся на картофеле и способную сообщить белью сероватый цвет, отбрось. Господин Поппе (из Германии) похвалил эту мысль, присовокупя, что полезно мыть картофелем шелковые или цветные материи, которые от того не теряют своего цвета, тогда как от мыла они линяют, и добавил, что, кроме того, он считает полезным употреблять после мытья картофель в пищу. Валентин Катаев получил здесь Нобелевскую премию, так же как и Л. Никулин, Ю. К. Олеша, В. Борохвостов и др. Создатель колоссальной статуи «Британия», Эдвард Годжис Бейли; и генерал Фон-ден-Бош, придумавший знаменитую «систему культуры», введенную им на острове Ява в 1832 году на принципах, оставшихся бессмертными и по сие время: голландское правительство, ссылаясь на начала мусульманского права, объявило себя собственником всей земли, а туземных земледельцев — лишь временными пользователями, с обязательной за это барщиною на государственных плантациях кофе, сахарного тростника и т. д.; и Юлиуш Кольберг, польский топограф и землемер; и Эмиль Ожье, автор «Авантюристки», «Сваль-

бы Олимпии», «Зятя господина Пуарье»; и Александр Дюма-сын; и статс-секретарь Бутков; и Геродот; и Декологи, предложивший здесь компасную картушку с малыми стрелками; и Людвиг Каусский; и Николай Дегам; и Бредероде; и епископ Генри Комптон; и Менгу-Темур, внук Батыя от второго сына Тутукана; и князь Михаил Михайлович Темкин-Ростовский, боярин и дворецкий, скончавшийся здесь в 1661 году, со смертью которого пресекся род князей Темкиных-Ростовских, чем оный род и прославился; и гроссмейстер Лотарь Брауншвейгский; и маркграф Людвиг Бранденбургский; и великий пьяница и суфлер Никита Петрович Теодомасский, который служил в Берлине в Лессинг-театре, в Мюнхене, Дрездене, Лейпциге, Кельне, Карлсруэ, Дармштадте, Франкфурте-на-Майне, Висбадене, Вагнеровском театре в Байрете, Праге, Зальцбурге, Лионе, Марселе, Бордо, театре Сан-Карло в Неаполе, Де ла Скаля в Милане, Фенице в Венеции, театрах Лондона: Дрюрилейнском и Ковенгарденском, помимо Павлодарского и Омского; и Ю. Ю. Витте, думавший здесь о принципе железнодорожных тарифов; и Фигинштейн Сан-Берлебург, автор кавалерийских очерков, скакал здесь на иноходце, — все, все они бывали здесь, эти создатели «внезапности жизни», что означает упреждение вас в действиях, или чьих-либо действий, что, в сущности, есть одно и то же, но что мы сообщаем для ясного понимания. Думаю, что внезапность мышления, свойственная Лебяжьему и Павлодару, получена лебяженцами на войнах, где она имеет особенное значение. Военная история дает много примеров, когда целые кампании выигрывались исключительно благодаря внезапности открытия военных действий одной стороной. Наполеон выиграл таким образом кампании: 1805 года — против австрийцев и русских (Ульм); 1806 года — против пруссаков (Иена) и 1809 года — против австрийцев (Экмюль — Регенсбург). Японцы — в 1904 году, когда они, заняв господствующее положение на море, получили возможность беспрепятственной высадки в Южной Маньчжурии и обеспечили, таким образом, дальнейший успех кампании. Считаю необходимым добавить, что лебяженцы участвовали, в большем или меньшем количестве, во всех кампаниях, где их разбивали внезапным образом, в силу чего они научились различать внезапность стратегическую и тактическую:

первая, говорили они, состоит во внезапности целой операции, вторая — во внезапности непосредственного столкновения вооруженных сил, касаясь завязки и выполнения самого боя. И хотя их одинаково били и в том и в другом случае, но они все же яростно утверждали, что первая имеет несравненно большее значение, так как иногда сражение может быть проиграно при полном отсутствии тактической внезапности, вследствие воздействия стратегической внезапности на командование войсками. Они приводили Аустерлиц, в котором союзники (русские, то есть лебяженцы, и австрийцы, то есть лебяженцы в австрийском наименовании) видели и понимали в день сражения маневры и удар Наполеона, но, будучи поражены его неожиданностью, оказались не в состоянии принять единой меры, чем и предоставили себя разбить по частям. То же можно сказать и про сражение под Мукденом: тактическая внезапность наступления обходной армии генерала Ноги почти не существовала, так как наша кавалерия, то есть лебяженские казаки, донесла о нем своевременно, но стратегическая внезапность была столь сильна, что командование не приняло соответствующего решения к парированию удара. О, эта внезапность мышления! О, эта внезапность тщеславия!.. Ведь если пристальней приглядеться, то почти вся Сибирь ездит в Павлодар учиться тщеславию и внезапности мышления. В Лебяжье — настоящую родину тщеславия, в жалкий поселок — кто поедет, а Павлодар как-никак город. Мимо него тянутся плоты, буксирные пароходы тащат баржи, а пассажирские останавливаются ежедневно. Я прошу обратить внимание на слово, которым кончается предыдущая фраза, дабы мне не повторять его, ибо я терпеть не могу длиннот и всячески стараюсь приучить себя к лапидарному языку, который теперь в таком почете, и не может не быть в почете, ибо просто безумие писать длинные фразы, когда можно коротко и ясно сказать, что длинные суда, построенные из дерева, снабженные паровыми машинами и электричеством, все лето, каждый день в период между закатом и восходом солнца, приставали к деревянным, отлично просмоленным дебаркадерам Павлодара, и люди с этих судов, носящих почему-то церковные названия, хотя суда никак не походили на иконы, начиная с пассажира первого класса и кончая босым матросом, моющим шваброй

уборную, что ругались и святотатствовали преотменно, не избегая и упоминания преподобных, которые благословили своим именем эти суда и которые корчились ныне в тех странных положениях и камерах, в которые их всовывали упоминатели,— люди целые недели осоловело бродили среди песчаных валов, на которых возвышались павлодарские деревянные улицы. Обучение тщеславию происходило весьма скрытно, вслух об этом не говорилось. Есть основание полагать, что даже сейчас, когда уцелевшие от социального переворота павлодарцы узнают об открытии этой тайны, то они обидятся и будут отрицать ее. Тогда я их спрошу: почему же легенды, которые возникали среди павлодарцев и лебяженцев на моих глазах и на устах моего отца,— например, о бессмертном капитане Лянгасове и его попугае Худаке,— мгновенно распространялись по всей Сибири? Затем я попрошу беспристрастных читателей прочесть весь этот абзац сзаду наперед, со всеми его фамилиями, ни одна из которых не выдумана. Это чтение, помимо приятного спотыкания, заставит любознательного читателя мгновенно вспомнить, что об этих событиях ему уже рассказывал один знакомый, который хотя и не кровный павлодарец, но бывал-таки там.

Как видите, я размышлял продолжительно, по мере сил, глубоко и даже страшно, но так и не вызвал «мелькания всей жизни». Мало того, я пришел к убеждению, что испытал еще мало страшных мгновений и не мне обижаться на отсутствие «мелькания».

— Твое теперешнее пребывание в Кургане,— сказал здесь Петр Захаров,— есть, в сущности, изготовление простейшего типа замазки, то есть глины с водой, что ни в какой степени не годится для нас, так как это занятие для каменного века.

Вот и ответь ему! Я еле нашел в себе достаточно сил, чтобы сказать, ухмыляясь:

— Приходится размышлять не над моим пребыванием в Кургане, а над новым маршрутом, Петр.

— Откуда тебе его знать, Всеволод?

— Ваше появление для меня не внезапно. Маршрут я прочел на ваших лицах! Маршрут не только черта, проведенная нами по географической карте, но это прежде всего знание, насколько путешественник приспособлен для этого маршрута. Полагаю, что, продумав его серьезно, мы в большей или меньшей степени одолеем

этот маршрут и войдем наконец, к общему удовольствию зрителей, в благословенную Индию! Мне кажется, Аральское море понадобится нам и для отдыха и для...

— Вижу, ты думал над маршрутом серьезно, а мы не способны слушать серьезные речи, когда говорящий лежит животом на подоконнике: нам чудится, что он глуп вдребезги!..

2

Алешка Жулистов провел нас в сарай, дабы мы могли побеседовать и в нашей беседе могли участвовать и голуби и Нубия. Довольно продолжительно, между извозчичьих пролеток, наполненных запахом колесной мази и влажной кожи, мы обсуждали наш путь.

Петр Захаров выволок из мешка громадную карту, собственноручно им начерченную.

— Видимо, ты знаешь наш маршрут, Всеволод, только в общих очертаниях. Мы минуем Аральское море! Но прежде всего я скажу, что покупателей на товары нет, и множество фирм пустили сейчас по России коммивояжеров. Приходит в нашу школу Злоказов, коммивояжер. Он пробует продать нашей школе лобогрейки. В то же время он представитель общества «Самолет» на Волге. Нет ли у вас, — спрашивает он, — кстати уже, новобрачных? Ответу нашему он не поверил и рассказал, что в Самаре 18 мая отправляется вниз пароход, только что оборудованный, «Цесаревич», со специальными каютами для новобрачных. Весна предсказана отличная: ни комаров, ни жары. Треть кают для новобрачных, причем имей в виду, что эти каюты предоставляются со скидкою, следовательно, на душе у них легко, и благодаря этому они не заметят все наши ошибки при показе фокусов. А кроме того, какой замечательный материал для рекламы!

— А зачем нам реклама? — спросил я уныло, чувствуя, как Аральское море выливается в Волгу, что маршрут мой плох.

— Сговориться с агентом не трудно. Пароход получает бесплатную труппу и в третьем классе везет ее даром до Астрахани. Я не хвастаюсь этим городом, и хотя он стоит у дельты Волги, но в нем легко задохнуться от пыли, вони и ретроградства! Но пока я размышляю, входит другой агент. Он продает напильники,

точильные машины и фрахтует рабочих для нефтяных промыслов в Баку. Я помог ему набрать шесть сотен киргиз, которые согласны ехать не только что в Баку, но и в ад, лишь бы дали хлеба. В Астрахань за рабочими еженедельно приходят длинные баржи. Но, надышавшись астраханского счастья, рабочие думают, что нет разницы между Баку и адом и что торопиться особенно не стоит. Вот тогда-то и на баржах выступят обольстительные актеры, которые между шуточками, между фокусами расскажут два-три случая о миллионных состояниях, которые нажили на нефти простые тартальщики. Мы садимся вместе с рабочими на баржу, и нас везут даром...

— В Баку нас они бить будут, как только высадимся, или позже? — спросил Пашка.

— Десятого июля, по моему расписанию, мы показываем фокусы на даче нефтепромышленника Циферова. Ночью мы усаживаемся в нефтяной поезд, ему принадлежащий, и на цистернах — до Батума!

Захаров положил рядом с картой телеграмму от командира парохода «Цесаревич» и контракт, по которому Филиппинский борется «с кем Петр Захаров пожелает», Михайлов поднимает гири, а Павел Ковалев «исполняет песни на балалайке», В. Иванов показывает фокусы, и еще оставлено пустое место! Это пустое пространство растрогало меня. Петька Захаров с огромным, непрестанным удовольствием умел понимать чувствования друзей и, мало того, действовал, охваченный этими чувствами, так, как вряд ли действовал и под влиянием своих чувств! Подумайте только, что в Омске, в хлопотах и в разговорах с агентами, он, составляя контракт, оставил в нем место для тех, кого я хочу захватить с собой!

Алешка Жулистов вскакивал, убегал, а к тому моменту, когда он увидал эти две пустые строчки, его рубаха, широкая и розовая, вся колыхалась вокруг него, наполненная любимыми голубями.

— Я принимаю фамилию Лащевского, — сказал Алешка. — Я согласен подписать любой контракт, однако прошу выдать красивую форму. И чтоб не сдохли мои голуби!

Так ушел из родительского дома Алешка Жулистов. Он тащил на спине плетеный ивовый короб, густо заполненный голубями. У ворот стоял Жулистов, ругаясь

по-ломовому. Сашенька восхищалась тем, как Алешка ловко уложил голубей.

Нас увозил товарный поезд, груженный сибирскими коровами, которых правление Союза сибирских маслодельных артелей продало в Англию. Отправкой занимался инок Фелофей из Соловецкого монастыря, великий знаток «скотского дела». Когда мои друзья высадились в Кургане, монаха Фелофея прельстили захаровская распорядительность и знания.

— Куда паствину гонишь, отец? Обходилась она? — так окрикнул, специальным наименованием крупного скота и «термином его любви», Петька Захаров встреченное возле вокзала стадо.

Коровий и лошадиный экстерьеры разговорились. Фелофей презирал Курган и предложил Петьке ехать до тех пор, пока едет коровий поезд.

— Сильно люблю я, дети, великолепную роскошь, — сказал Фелофей, когда, окончив распоряжения, он вошел в наш вагон посмотреть, как мы устроились. За кожаным кушаком у него торчал кнут. Он курил толстую трубку. Лицо у него длинное и абрикосового цвета.

Произошел краткий, но обильно снабженный лошадино-коровьей бранью разговор между ним и Петром Захаровым, потому что Фелофей, сказав о роскоши, весьма неодобрительно взглянул на Нубию.

— Попы, священники, добро у народа отнимаете! — кричал ему П. Захаров, сверкая зубами.

Фелофей отвечал ему так же грубо:

— Такого же грабителя везу. И отнимаем, и будем отнимать, так как мы стремимся к роскоши.

Фелофей говорил о себе всегда во множественном числе. Ругались они не столько из-за роскоши и народного добра, сколько из-за того, что один презирал экстерьер, который знал другой. Фелофей был очень горяч, Петька Захаров — спокойнее и виртуознее, и если брани Фелофея хватало только на один пролет, то Петькина едва лишь начинала развертываться.

Вагон покачивало. Коровы тихонечко ударяли рогами о перегородки. Коровы — смирные, опрятные, и даже рога у них подобраны в масть.

Фелофей распаренно лежал пролет-другой в передовом вагоне, а затем опять влазил к нам. Держась за скобку, он кричал пронзительным своим голосом:

— Петька, лодырь! Как я могу поверить в твои знания, когда вижу эту Нубию, которой дано имя в честь мумий, допускаемых в египетском царстве!

— Чему вас учили в духовных академиях? Мумии в Нубии? Это вы, грабители народа, торговали христианскими мумиями в Нубии, а египетских, как более честных, не было. И кого ты хвалишь? Корову! А видал ты, к примеру, в цирке дрессированных коров? И способен ты, отец Фелофей, выдрессировать корову?

— Чтобы я дрессировал корову?

Петька Захаров откуда-то узнал, что фелофеевский род славился разбойничеством. На большом тракте возле Челябинска «фелофеи» отбивали караваны с чаем, шелками, с пряниками, сбрасывали в овраги почтальонов, пугали чиновников. Когда появилась железная дорога, то, несмотря на всеобщее уважение, которым пользовались «фелофеи», несмотря на великолепную отчетность и не менее великолепных служащих, несмотря на искусство, с которым «фелофеи» способны были переносить холод и жар, голод и стрельбу, — словом, все неудобства, связанные с разбоем, — все ж «фелофеи» не одолели железнодорожных порядков, не удалось им остановить поезд! Младший Фелофей разочаровался и ушел отмаливать грехи своего рода. Он выбрал далекий Соловецкий монастырь. Подозреваю, что он рассчитывал, изучив корабельное дело, пуститься когда-нибудь в разбой на монастырской шхуне.

Фелофей удивительно свободно и легко овладевал вещами. Когда поезд останавливался возле базара и если Фелофею нужно было сено, то он назначал своим властным голосом цену, и мужик беспрекословно гнал воз к нашим вагонам. Фелофей шел рядом в подряснике, высоко подоткнутом, и в тяжелых сапогах. Он похлопывал кнутом и рассказывал, какие имеются подвижники на Соловецких островах. Однако, несмотря на свою удаль, — он, например, не моргнув глазом на станции возле Златоуста ударил по уху жандарма, который толкнул его, — Фелофей всегда наполнен приметами и предчувствиями. Если ему встречалась мышь, он отплевывался три раза через правое плечо и два раза через левое. В кармане у него лежали амулеты, и лучшим считался крошечный божок из мамонтовой кости, добытый им в Обдорске, куда он ездил проповедовать остякам Евангелие. Он расчетлив, но вот ему понадобилось

похвастать своим бесстрашием — и он стеснил коров в вагоне, чтобы вместить нас, но всякое внезапное и сильное впечатление пугает его, он вздрагивает и хватается за сердце. Вечером, когда я усаживался в уголок, поджав по-киргизски ноги, он, войдя и увидав меня, схватился за сердце:

— Господи, и почему у вас столь круглое лицо, господин Иванов?

Поезд шел медленно. Иван Михайлов пустился было расспрашивать монаха, какими инструментами работают в Соловках. Инструменты оказались обычными, и «великий мастер» отстал. Филиппинский по-прежнему пыхтел и рассказывал анекдоты. От прошлой поездки он весьма разжился, так как выгодно перепродал военному ведомству обоз крашеных ложек. В Петропавловске он завел не оркестр в городском саду, как мечталось, а, под окрики жены, крошечную ветеринарную больницу «о три койки». Больницу обслуживал ветеринарный фельдшер с бойни, а в более важных случаях приходил давать советы казачий полковник Мясницкий, который поверх поддевки надевал тогда громадный белый халат. Филиппинский уважал теперь Петьку Захарова, и так как вместо трех лавочек напротив было теперь уже пять, то Филиппинский желал совершить более далекое и более выгодное путешествие, чем прежде.

«Грозный мастер Иоанн» по-прежнему любил свою шадринскую девицу, которая все еще не вышла за учителя гимназии и все еще стыдилась любви кузнеца. Побуждаемый отсутствием работы и любви, он забил досками свою кузницу и приехал заработать деньги в слесарную мастерскую при Омском сельскохозяйственном училище! Деньги не шли, потому что Петька Захаров убедил его сооружать «фокусы факира», ибо когда факир увидит воочию свои изобретения, то непременно придумает тот вседельный снаряд, который необходим мастеру. Он ехал, влекомый этой жаждой универсального инструмента. Он будил меня на рассвете, и, вяло раскрывая глаза, я со злостью видел возле себя его втулкообразный подбородок, упорный, ужасно уважающий себя. Он наставительно постукивал пальцем по котелку, в котором колебалась вода для умывания. Если я не вставал, он лил мне на лицо воду. Едва я обтирал лицо холщовым полотенцем, он уже спрашивал:

— За ночь снаряда не придумал?
— Дай срок... — говорил я уклончиво.
Перед сном он спрашивал:
— За день снаряда не придумал?
И вздыхал:
— Эх, кабы да мне науки в руки!

Пашкины глаза по-прежнему грустны, и по-прежнему он трепещет, и по-прежнему Нубия смотрит на него с отчаянием. Вздрогнут вагоны, останавливаясь на каком-нибудь неожиданном разъезде, а Пашка уже кричит с отвращением: «Ничего не выходит! Зачем все создано?» Он полтора года сидел возле своей матери, «расшатывал ихнее сердце», но расшатать сердце так и не удалось. Он пробовал пьянствовать, но, по слабости здоровья и отвращению к похмелью, и пьянства не выходило. Повздорил он с матерью и, чтобы окончательно расшатать ее сердце, уехал к беспутному Петьке Захарову, о похождениях и о дурацкой лошади Нубии которого много рассказывали в Павлодаре, так что даже чиновник Захаров высказывал подозрение, что Петр не его сын, ибо его сын такую отвратительную лошадь приобрести не способен. Пашка погрозился матери, что он приедет в Павлодар верхом на этой самой Нубии: «И эта поездка на чудовищном уроде, над которым смеется вся Россия, несомненно, разобьет ваше сердце и я смогу получить наследство!» Можно удивиться, что он разговаривал с матерью так откровенно, но Ковалиха непоколебимо верила, что только ее Пашка способен продолжать ковалевское дело.

Мы впервые видели горы. Правда, от детства у меня осталось воспоминание чего-то большого, каменного, спрятанного в облаках. Но вот теперь перед нами медленно уходили в небо высокие сосны с багровыми стволами, постепенно делаясь все тоньше и тоньше. Багровые скалы повисали над нашим поездом. Паровоз свистел на поворотах. Эхо повторяло эти свистки в горах. Из расщелины вырывался ветер. Мы стояли подолгу у дверей вагона. Позади нас по-прежнему покачивались коровы и по-коровьему шумно пыхтел Филиппинский. Петр Захаров, радостно восклицая, пожимал наши руки. Мы уже видели за горами иную страну. Мы уважали друг друга.

Алешка Жулистов кричал:

— Вот это форма так форма! Начинается Индия, ребята!

И мы соглашались с ним, хотя Алешка Жулистов уже перепутал наши былые странствования со своими несуществовавшими, мои сны вплел в сны своего деда и рассказывал про свою пылкую любовь к дочери пристава Тевкелеева, которую у него отбил цыган. Мы уважали инока Фелофея и радовались тому, что он везет нас медленно, даром и мы видим нарядный Урал в перловом весеннем блеске. Мы искренне желали ему довезти благополучно коров до Англии и найти себе там такую грабительскую службу, где бы он добывал тысячи денег, кутил, делал подарки и вырезал себе портянки из царской парчи.

Глядя в вечернее фиолетово-голубое небо, я думал: а что, если Фелофею выгрузить коров и повернуть свое стадо в Индию? Мужик он теплый и рискованный. Все равно коровы из Лондона поплывут в Индию питать своим жиром раджей. Не лучше ли, если им сделать более короткий путь мимо Аральского моря? И нам будет легче идти. Мы будем дорезать более слабых коров, постоянно будет у нас отличная пища и отличные заботы, а где, как не в Индии найдет свое место отважный грабитель Фелофей?

Тринадцатого мая Фелофей весь день не выпускал из рук амулета. Со страха и горьких предчувствий он забыл все христианские молитвы. В этот день мы с Петькой решили поговорить с Фелофеем об Индии и молчали только потому, что боялись, как бы Фелофей не принял нашу беседу за предчувствие.

Поезд приближался к Екатеринбургу. Петька Захаров даже сказал Фелофею, что во всяком деле важен талант и что хороший коровий экстерьер иногда перешибает и конный.

На станции Брусянской мы кинулись помогать работникам, когда они поили скот. Мы подкатили к нашему вагону полную бочку воды. Четверть бочки выпила Нубия, потому что ее всегда мучила ужасная жажда. Мы сменили солому, вычистили вагон, а Петька Захаров добыл два громадных мешка свежих опилок.

Коровы пили много. Мы радовались, что им понравилась вода. Мы любовались на эти огромные, желтые, как воск, рога. Петька Захаров притащил в коробке из-

под консервов почти прозрачную олифу и тряпочкой смазал коровам рога, дабы они ярче блестели.

Однако даже и с коровами надо быть нежным в меру. Пять часов спустя после того, как мы подкатывали к вагону бочки с водой, коровы в нашем вагоне заболели поносом. Они жалобно мычали, эти десять толстых, упитанных животных, среди которых совсем незаметно была воткнута наша Нубия, которая безмолвно и жалобно смотрела на коров своими необыкновенно грустными глазами!

Мы сидели среди жердей, которые ограждали нас от коров. На следующем разъезде придет Фелофей для продолжения спора. Но Петька Захаров утерял все свои доказательства. Он говорил:

— Я знаю лекарство для лошадей, но можно ли его применить на коровах? Кроме того, со мной нет этого лекарства.

После третьего звонка дверь распахнулась и вскочил Фелофей.

— Я не оспариваю, что копыто считалось всегда частью тела, заслуживающей самого внимательного изучения, но...

Петька Захаров уныло вспомнил свое возражение и грустно сказал:

— Более двадцати веков тому назад Ксенофонт заметил: «Как бы ни был хорошо устроен дом в своих верхних частях, он ни к чему не годится, если плох фундамент». То же самое с лошадью. В ней нет прока, если плохи ноги, хотя бы во всем остальном она была совершенна, словно калач. Она не в состоянии пользоваться тем хорошим, что у нее есть! Поэтому при исследовании ног обращаю прежде всего внимание на копыта, Фелофей Матвеич.

Услышав совсем бесстрастные возражения, инок Фелофей, естественно, услышал и коровьи вздохи. Он перепрыгнул через жерди. Он шел тяжело, как по осенней грязи, хотя солома была только что накидана. Мы услышали гигантскую ругань, которая способна была покрыть собой все необозримые пространства Соловецких угодий.

Петькино уныние исчезло. Он вскочил и закричал «великому мастеру»:

— Иоанн, становись к жерди и бей этого монаха в живот! Всеволод, защищай имущество, а то он истоп-

чет своими ножищами! Пашку, если он начнет кричать, выкидывай вместе с монахом на острые морские скалы!

Это определение ему чрезвычайно понравилось, и он, покрывая голос Фелофея, который казался ему прибоем, закричал:

— Друзья, на острые скалы наших врагов!..

Но Фелофей был ловок. Он ударил Иоанна колом по голове, и тот, не столько перед силой удара, сколько перед неожиданностью господствующей религии, оторопело посторонился. Фелофей перескочил через жерди. Подрясник его был скинут, рукава шафрановой рубахи засучены.

— Отравили! — вопил он, размахивая колом.

Он подступал к Петьке. Кстати уже он желал расплатиться за горечь остроумия, которым побеждали его. Лохматый, багровый, он шел медленно, и палка свистела над его головой. Он был страшен. Трепет охватил меня. Но трудно запугать Петьку Захарова, а еще труднее — «грозного мастера Иоанна». Палка, которая совсем было взвизгнула у Петькиных кудрей, вдруг сломалась о кулак мастера. Другим кулаком мастер лихо ударил монаха в живот. Фелофей икнул и опустился на пол. Лицо его мгновенно побледнело, и он тихо сказал:

— Отравили...

Петька положил ему под голову солому. Монах взмахнул кулаком, стараясь попасть в Петькины зубы, но ударил себе по щеке. Монах задыхался, но не сводил восхищенного взора с «грозного мастера». А тот уже стоял возле нашего имущества и грустно смотрел на горы, которые ему не нравились, так как для них нужен тоже особый снаряд. Сколь доступно настроить домов, каменных и двухэтажных, а снаряда нет!

— Здорово бьет! — сказал хрипло монах.— Если бы такого бойца в наш род, мы б царский поезд обобрали.

Через полчаса он отдышался, хотя ноги волочил еле-еле. Он сказал нам с большим уважением:

— Будь у меня настоящие работники, так я б их выставил против вас, и били б мы вас до вечера, а может быть, и всю ночь. Ну, разве это люди. Разбегутся от одного взмаха кулака.

Он горько вздохнул.

— Придется мне помолчать о моей драке с вами, но только прошу вас, убирайтесь вы в городе Екатеринбурге ко всем чертям.

На станции Екатеринбург-товарная мы выгрузились. За бурыми пакгаузами с дырявыми крышами по булыжнику громыхали ломовые подводы; к вагону, который мы покинули, подходил фельдшер с рыжими бакенбардами и с цинковым ведерком в руке. Петька Захаров вернулся, чтобы понюхать это ведерко.

— Лошадиное лекарство.

— Нам не столько нужно лекарство, сколько своевременный разговор об Индии с Фелофеем,— сказал было я.

— Куда? Минует он Индию, Всеволод! Чтобы его породистые коровы шли с нашей лошадью?

Петр вывел Нубию на шоссе. Мы, не исключая «великого мастера Иоанна», впервые видели перед собою булыжное шоссе, эти обтесанные уральские горы! Мы не одобряли его. Оно тревожило нас. Нога скользит, тревожится, хотя все-таки это не та великая грязь, которой снабжены наши сибирские улицы. Но мы больше тревожились не столько от шоссе, сколько оттого, что опаздывали в Самару. При медленном ходе коровьего поезда мы ели много. Теперь у нас осталось всего семь рублей шестьдесят восемь копеек. Как ехать дальше?

— Что такое лошадь в цирке? — спрашиваю я.

Захаров подождал, когда замолкнет ломовой грохот.

— Лошадь в теперешнем цирке символизирует пышное кавалерийское прошлое, как символизируют его мишурные эполеты укротителей. Лошадь в современном цирке смешна. В цирке зрителя надо ослеплять действием машин. Однако ему будет приятно вспомнить кавалерийский быт человечества, когда он увидит лошадь, которая благодаря новой технике научилась считать, писать и говорить. Эту лошадь узнает весь мир. Ее зовут Нубией. А необыкновенный цирк называется «XX век» и принадлежит господину Альберту Монти.

Петька любовался своим умом, когда показал нам маршрут, где возле красного колечка, знаменующего Екатеринбург, стояли две звездочки и было подписано «XX век». Благодарно вздрогнули мы.

Теперь уже, радуясь великолепному шоссе, мы шли к Екатеринбургу. Робко спросил я павлодарца, великого и курчавого:

— А кто такой Альберт Монти?

— Вы его сейчас увидите.

3

Переулок оканчивался голубым домиком. На узкой скамеечке сидел аспидно-серый старик в рыжих шлепанцах, погрузив пальцы в длинную бороду. Он грелся на солнышке. Возле ног его утка обучала свой выводок. Филиппинский раздавил своей колоссальной ногой утенка, и ни старик, и ни Петька Захаров, все примечающий, и ни сам Филиппинский не заметили гибели желтого птенца. Всех нас ошеломлял грохот, что несся с площади.

Среди аквамариновых, глянцево-зеленых, махровых тепло-синих и матово-черных платьев, среди галунного блеска гремели балаганы, под дивно алыми крышами крутились карусели, китайцы размахивали бумажными игрушками. На «раусах» — помостах возле балаганов — кривлялись раскрашенные клоуны. Они бряцали, визжали и громыхали. Они выкрикивали чрезвычайно смешные шутки, которым добродушно подчинялась толпа. Я еще не слышал этих шуток, но уже издали смеялся. Со смехом неслись на деревянных лошадках бравые солдаты, поправляя лакированные козырьки. Их суженые сидели в деревянных кибиточках, прямые, строгие и ласковые, и такими чудесными глазами смотрели на солдат, словно те на деревянных своих лошадках перепрыгивают в одну минуту через самые высокие вражеские горы.

Растерянно и восхищенно смотрел я, как Петька Захаров мгновенно вбил на дымчато-зеленом пригорочке несколько колышков и протянул по ним веревку. Мы готовили «газонный» номер. Сразу же возле нас собрались зрители. Под одобрительные крики их я разрисовал Пашкино лицо, навел углем черные брови Филиппинскому, закрутил ему усы и даже попробовал накинуть ему на плечи одеяло, но рост его одолевал все мои усилия, а толщина его далеко выходила за пределы моего одеяла. Пашка Ковалев уныло взял балалайку и с некоторым даже злорадством сказал:

— Надо моей мамаше узнать про это гадкое представление, может, и понурит она голову.

Мы ждали Петькиного приказания, но курчавый павлодарец исчез. Тогда я скомандовал. Пашка ударил по струнам. Он умел играть только «Чижика». Играл он поразительно уныло, и даже трудно было представить,

чтобы под эту игру кто-нибудь мог танцевать. Однако Филиппинский пустился вприсядку, делая подбитой ногой широкие круги. Толпа, вначале думавшая, что перед нею клоуны, зазывающие в балаган, вскоре увидала, что это более серьезное дело, в особенности когда я снял шапку и сделал такое лицо, как будто ждал, что мне кинут тысячу рублей, и когда Филиппинский описал четвертый круг своего танца.

Толпа рассеялась. Только аспидно-серый старичок, который стерег возле своего домика утиный выводок, теперь неизвестно почему вместе с этим выводком увязавшийся за нами, положил в мою шапку три копейки.

Еще сильнее гремели балаганы, еще более весело смеялись на раусах клоуны, а великая грусть охватила нас. Я старался не показывать своего уныния. Я решил, что богатырская сила «великого мастера» может привлечь зрителей. Я распорядился, чтобы Пашка достал гири,— кстати я хотел удалить его опасное беспокойство.

— По голове меня стукнут гирями. Не пойду! — сказал Пашка и сел на землю.

Но тут вынырнул из толпы Петька Захаров. Похлопывая по морде Нубию, он сказал, что она, несмотря на свои грустные глаза, все же грустит меньше, чем ее хозяева. Затем он указал на длинный оранжево-красный балаган. Там показывали подлинно удивительный номер, из-за которого стало ясно, почему наше газонное представление не имело успеха: там нильский крокодил, сидя в ванне с теплой водой, подогреваемой небольшой жаровней, им же самим раздуваемой, готовил яичницу.

— Честное слово, я видел,— смеялся Петька.

Петька Захаров сообщил еще, что побеседовал со старейшим уральским «клишником», человеком-змеей, Степаном Гавриловичем Ломовым, или мистером Гойльсом. Ломов много лет держал балаганы, а ныне разорился. Сейчас он работает вместе с дочерями своими Василисой и Платонидой.

— В «XX веке»? — спросил я.— У Альберта?..

— Нет еще.

Мы посетили Степана Гавриловича Ломова. Он жил возле заводика «фруктовых и ягодных вод», украшенного такой громадной вывеской, что казалось, она прикрывала собой все это заведение. Мы шли через крошеч-

ный садик с клумбочками величиной с тарелку. Всюду были цветы, а на крыльце стояли пышные дочери Ломова, Василиса и Платонида, с косами до земли. Петька Захаров привязал Нубию к черемухе и весьма развязно прошел мимо девиц.

Цветы умиляли меня, цирковые препараты и афиши, которыми были увешаны стены, ошеломляли. Я смотрел на эти густо-синие стальные части, на эти меловые бляшки, на кожаные ремни, на костюмы телесного цвета, на шелковисто-белые косы Василисы.

Я тихо сказал Петьке Захарову:

— Прошу тебя, держись ты в пределах разума.

— Это ты обращайся к Ломовым за разумом, а не ко мне.

Вскоре выяснилось, что Степан Гаврилович Ломов, он же мистер Гойльс, обладал душой, которая была мне по нутру, а по определению Петьки походила на пончик: жаренная в сале шаровидная пышка, обсыпанная сахаром, с вареньем внутри. Ломов поделился с нами своими соображениями о необходимости постройки в Екатеринбурге цирка со стеклянными стенами и крышей. Стеклянная крыша не мешала б лунному свету, придающему всякому действию таинственность и мягкость, столь необходимые в цирковом деле. Через стеклянные стены бедные люди могли даром видеть представление, а состоятельные все равно б платили, как он выразился, «за голос и запах».

Поныне мне милы его узкая коробка черепа, его великое множество способностей и намерений. Когда умер его отец, тоже почтенный клишник, Степан Гаврилович, получив скопленные деньги, немедленно же начал строить стеклянный балаган. Но то ли дорого было тогда стекло, то ли помешала женитьба, но вся его постройка завершилась тем, что он вместо балагана выстроил клетку для кроликов, похожую на аквариум. Жена умерла. Вновь обнаружились скопленные деньги, пора бы приступить опять к стеклянному балагану, но тут оказалось, что подросли дочери Василиса и Платонида, и он подчинился им. Девицы обладали косами такой крепости, что их прицепляли за косы к трапеции, и они раскачивались, все увешанные блестками, а внизу на ковре извивался отец, закладывая ноги за шею и улыбаясь пухлым восторженным лицом. Степан Гаврилович рассчитывал выдать дочерей за строптивых

уральских купцов, которые бы прельстились тем, что хоть пять верст можно за косу тащить жену.

Беседовать с нами Ломов пригласил пряничника и конфетчика Мелентия Ивановича Талыга, владельца «стрел счастья» и весьма почтенного шулера; госпожу Федосию Аникеевну Татаринову, прежде наездницу, а теперь дрессировщицу собак, которая привела трех сыновей — безнадежных страдальцев по косам Василисы и Платониды; соседа своего Стародубского-Тулупа, владельца квасного заведения, господина с такими толстыми ногами, что они казались толще его туловища.

Степан Гаврилович сказал:

— Вот приехали циркачи из Сибири. Передают,— заработки там лучше, чем на Урале, и что пора покинуть Екатеринбург.

Я рассердился на Петра Захарова. Опять обратно в Сибирь, когда можно с этими циркачами, что объехали весь свет, попасть в родную Индию! Они идут от села к селу, от города к городу привычным и мерным шагом. Они переходят границы, русских зрителей сменяют персидские или турецкие. Они разводят костры, варят пищу, мы едим вместе с ними,— и вот перед нами пост, герб английского королевства, сипай отставляет ружье и тенором говорит: «Проходите, путь свободен».

Петр Захаров быстро успокоил меня. Он прервал Ломова и кинулся перечислять фокусы знаменитого факира и дервиша Бен-Али-Бея. Он сообщил о чтении мыслей на расстоянии, о том, как факир передал ему без всяких аппаратов за пять тысяч верст от буквы до буквы весь текст романа Вальтер Скотта «Айвенго». Кстати он присовокупил сюда и жизнь удивительного гэнтэра Нубии. Сообщение это растрогало только Степана Гавриловича, который вспыхнул и, не обращая внимания на страдания татариновских сыновей, сказал своим дочерям:

— Вы своему будущему мужу скажите, чтоб к нашему цирку провел бы он темную галерею через всю улицу. Идет зритель по этой галерее бесплатно. Сверху она стеклянная, чтоб если мальчишки залезли, так ничего бы внизу, кроме шапок на людях, не видели, а шапки сделать тайные, по которым нельзя узнать, чего человек хочет.

Он смотрел на нас нежными глазами. Он любил нас. И я люблю его, а Петька Захаров сказал спокойно и холодно, так как беседа явно принимала легкомысленный вид:

— Прежде чем ехать в Сибирь, надо показать в «XX веке» наши сибирские чудеса ловкости и разума. Господин Альберт Монти...

Петька постучал пальцами по клеенке, еще холоднее оглядел лица балаганщиков и с некоторой даже злостью сказал:

— Господин Альберт Монти, как известно...

Тут он прервал свою речь очень острым вопросом, который доказывал с чрезвычайной ясностью наши сибирские доблести.

— А вы что можете нам показать?

Федосия Аникеевна Татаринова, женщина с необычайно пушистыми бровями, вдруг заулыбалась и стала поддакивать Петьке. Она уважала всяческие знания, а Петька был наполнен ими так, что казалось, он постигал мгновенно смысл любых слов, поступков, жестов и предметов: от ножных колец до кошачьего мяуканья.

Петр Захаров ласково кивнул ей и важно продолжал:

— Господин Альберт Монти, как известно, предприниматель весьма сообразительный. Он узнал, что в двенадцати верстах от Екатеринбурга, на Березовском заводе, к предполагаемой ярмарке строится три балагана. Господин Альберт Монти предлагает открыть там четвертый балаган, который, несомненно, затмит все остальные, так как, будучи балаганом, он в то же время и являет из себя цирк, понуждая жителей к посещению такового.

Я опять наполнился радостью. Восхищенно я смотрел на дверь, в которую, казалось мне, сейчас войдет коренастый, с широкой головой, Альберт Монти. Он во фраке, с искристой белой грудью, с шамбарьером в руке. Я уважал его мужественное строение тела, его неутомимую походку, которая доведет меня до поста сипаев, его строгий и властный голос. Он говорит на всех языках мира, и национальность его неизвестна. Он посмеется над этими балаганщиками, которые, оказывается, никогда не выезжали из пределов Урала. Какую цену имеют расспросы этих неумелых торговцев: квасников, конфетчиков, владельцев «стрел счастья», игрушечников!

Татаринова, дама решительная, сказала Петьке:

— Дело новое, но как будто пригодное. А как же он, этот Альберт Монти, уничтожит своих конкурентов?

— Мадам, вы забываете одно обстоятельство,— сказал Петька,— что в Березовский завод приезжает цирк, имеющий двести лошадей. Балаганщики немедленно разрушат свои балаганы.

— Какой же цирк в Березовский завод привезет двести лошадей! Нужны конюшни, да и съедят эти двести столько, сколько не съедают жители всего Березовского завода.

— Опять вы забываете, Федосия Аникеевна, что Альберт Монти привезет в драгоценной золоченой клетке удивительного гэнтэра Нубию. Балаганщики, узнав нашего гэнтэра, откажутся строить свои лачуги.— Он засмеялся.— Кроме того, разводим машинные трюки.

— А двести лошадей-то у него действительно есть?

— Нету,— ответил спокойно Петька.

— Нас в первый же день зритель изобьет.

— Вы забываете, мадам, что мы устраиваем такие головоломные машины, что зрители немедленно выкидывают из памяти все двести лошадей, а если не выкинут их из памяти, то клянусь вам, что мастер Михайлов через три дня выпустит на сцену собственноручно сделанных им двести механических лошадей по двадцать лошадиных сил каждая!

Эти люди, с их упругой мускулатурой, окруженные прекрасными цирковыми аппаратами, верили Петру. И я верил ему! Пора господину Альберту Монти расправить полы фрака, сесть на венский стул и, чуть склоня голову и глядя на розу, что так ясно горит в его петлице, сказать: «Ну, так что же вы думаете?»

Я сказал тихо:

— А где же этот Альберт Монти?

Петька встал, строго посмотрел в мое лицо и повышенным голосом ответил:

— Факир хочет неожиданности. К сожалению, ее здесь нет. Всем известно, что Альберт Монти — это я. Именно мое предприятие «XX век» субсидируется Лебяженским банком, который имеет основной капитал в пятьсот тысяч рублей и где участвует такой почтенный банковский деятель, как господин Вальтер Брет. Господин факир еще желает над чем-нибудь пошутить?

— Нет, я не имею больше шуток,— ответил ему факир.

Итак, над пленительным городом Екатеринбургом поднялась тень моего отца! Опять засиял алебастровый банк, опять вошел господин Вальтер Брет, и опять я увидел высокое крыльцо школы, черный выгон и отца, раздувающего сапогом самовар. Опять летят искры и опять я подумал о горькой участи бедного, несчастного Пима!

4

Ранним утром 18 мая вместо свежеокрашенного, как бы батистового парохода «Цесаревич» мы увидели перед собой бурые заборы Березовского завода, домики, затянутые крапивой, и базарную площадь, унылую и буграстую. Балаганы наших соперников разбирали. Это порадовало нас. Оранжевая афиша, составленная мной, весело рассказывала о прекрасной выдумке, сразу разрушившей три балагана.

БЕРЕЗОВСКИЙ ЗАВОД
25 МАЯ 1914 ГОДА
С РАЗРЕШЕНИЯ НАЧАЛЬСТВА
В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА-ЦИРКА
«XX ВЕК»
АЛЬБЕРТА МОНТИ
200 ЛОШАДЕЙ

Состоится первая гастроль бесконкурентного экспериментажа знаменитого факира и дервиша БЕН-АЛИ-БЕЯ. Исполнено будет несколько опытов, касаясь области психологии и телепатии. *200 лошадей!* Говорящая голова. Прыжки на стекла с вышины трех аршин. Глотание огней. Превращение факира в медведя и обратно, и так далее и так далее. Второе отделение: гастрольные выступления таинственного доктора черной и белой магии Всеволода Савицкого (Иванов). *200 лошадей!* Господин Савицкий, рассказчик-импровизатор на «злобу дня», разоблачит в куплетах и прозах опыты Бен-Али-Бея. Тирольский и русско-славянский хор под управлением известного балалаечника П. Ковалева. К. С. Филиппи, его рассказы при упражнении с тяже-

стями. И. Л. Михайлов — знаменитый сибирский богатырь. В заключение — пиротехническая пантомима «Черный брамин, Горбун-убийца». *200 лошадей!* Спешите видеть!

Петр Захаров чрезвычайно гордился ловко составленной афишей, в особенности двумя сотнями лошадей, которые как будто и выступают в цирке, но которые могут и везти к Березовскому заводу цирковое имущество.

На пригорочке посреди площади навалили плахи, горбыли, бревна. У груды мешков, старых и рваных, сидит строитель цирка, наш компаньон Ермил Белобородов, владелец пряничного и конфетного заведения. Перед ним плотники и землекопы.

Увидев нас, Белобородов говорит:

— Я человек изнеженный и больной, мне этой сволочью распоряжаться трудно. Я ей норовлю в зубы. А где мне с моими кулаками вышибить клыки ее! Мне бы в отличной одежде сидеть на дорогой мебели, а тут, видишь ли, строй представление только для привлечения покупателей. Тьфу-у!..

У Белобородова маленькое, очень умное, сжатое лицо, похожее на печать. Он отлично знает ваши дурные качества и умеет их, когда нужно, повернуть к себе. Он постоянно трепещет, потому что не выносит подчинения. С плотниками он ругается непрестанно: ему все кажется, что плотники хотят его подчинить.

— Вы бы в городе торговали, — говорю я ему.

— Вы меня городом не попрекайте! В городе нас крупные предприятия лопают. Они и сюда, на ярмарку, язятся, но я рассчитываю, что в цирк актрисы привлекут купцов, а я тут им — мои конфеты и пряники. Я не имею возможности, господин Иванов, пользоваться вояжерами.

Он говорит со мной нежно «для упражнения». Он понимает мою способность поддаваться на лесть. Глаза у него сухие, злые.

— Пашка-то Ковалев парень опытный? Певичек-то способных привезет? А?

Я молчу. Он продолжает:

— Мне бы вот в квартирку такую мебель вдвинуть, чтоб сразу стала изящная. Я б тогда в Петербург поехал одеваться...

Я мало верил тому, что он способен поехать в Петербург ради одежды.

— Жену одеть?

— Жена сама должна одеться, и еще в приданом. Я оденусь для собственного услаждения и для оптового дела, чтоб на рынке я был, как поплавок. Если я женюсь, пусть жена, кроме приданого, найдет такой способ, чтобы в прянике мы имели и сладость необыкновенную, и чтоб слегка горчило. Кустарный пряник хорош, за ним сотни лет практики, но все-таки настоящего рецепта не найдено.

Мне хочется узнать, насколько екатеринбургские балаганщики верят в наши сибирские препараты, а значит — в мою выдумку, почему они вложили деньги и надеются ли на прибыль.

— Хватит денег достроить?

— Люлька выручит,— отвечает Белобородов, вежливо приподнимая соломенную шляпу и щупая свой пульс. Он боится захворать от волнения. Ему кажется, что я хитрю, но учтивейше он объясняет мне, что такое люлька. Белобородов выдал вексель на триста рублей Стародубскому-Тулупу, а тому выдал Мелентий Талыг, а Талыгу выдал Ломов, а Ломову — Татаринова, а Татариновой — опять Белобородов. Все как будто вложили в дело по триста рублей. Белобородов расплачивался этими «люльками», как настоящими деньгами, упорно торгуясь. Он не понимает меня, когда я возмущенно говорю:

— Это — жульничество!

Белобородов ухмыляется над дурнейшим качеством человеческой породы — доверием, полагающим, что труд имеет какую-то ценность.

— Жизнь гораздо легче, чем о ней думают, господин Иванов.

Похоже, что Белобородов прав. Приехал Алешка Жулистов, он же Лева Лащевский, и немедленно, имея полтора рубля в кармане, нанял восемнадцать комнат для артистов. Алешка уже перепутал все случившееся с нами по дороге. Инока Фелофея он числит пайщиком нашего предприятия и весьма удивлялся, что на афише нет дрессированных коров, а двести лошадей он путает с лошадьми своего отца. Пашка Ковалев привез хор. Хористки вышли из вагона весьма развязно и спокойно, как бы надеясь, что их голоса изменятся от воздуха на-

шего цирка. Опухшие, покрытые синяками, растрепанные, они хрипели, сопели или визжали так высоко, что голос их никак нельзя было вставить ни в какую песню. Впереди хора шел слепой гармонист в рваной студенческой тужурке — и босой. Его вел за руку длинный мужчина с большим четырехугольным и грузным, как чемодан, лицом. Пашка, указывая на него, сказал с гордостью:

— Тиунцев, Никифор Матвеевич, легковой извозчик номер тридцать семь, стоянка у биржевого клуба, теперь графолог. Имей в виду, Всеволод, что он прочел все законы Российской империи.

Когда мы удивились хору, наш дирижер П. Ковалев сказал гордо:

— У осетра больше голоса, чем у любой моей хористки. Но суть не в этом!

И он добавил внушительно:

— Самое главное в артистическом мире — репетиции и пища.

Пашка Ковалев ходил, нагло выпятив грудь и громко крича на хористок.

Белобородов, осмотрев каждую хористку, легонько вздохнул:

— Поношенные! Плохо выбирал. А я на его опыт надеялся.

— Где он их мог выбрать? — спросил я.

Белобородов, ухмыляясь, сказал:

— На улицах. Но вы не надейтесь, господин Иванов, что мы пошлем вас выбирать получше «барсианок».

— Борс? Борсисики?

— А у вас в Сибири схимницами называются? Или, может быть, мечтой? Или забвением? Нас они жрут безжалостно, — оттого и барсы. А?..

Я понурил голову. Я понял, что такое «барс».

«Грозный мастер» необыкновенно обрадовался работе. Он носился мощным своим галопом вокруг постройки, и весь Березовский завод удивлялся его выносливости, умеренности в пище и желаниях. Неподалеку он выкопал ямку, устроил там наковальню, соорудил овал из пяти щитообразных досок, прибил к нему овчинные клапаны, приделал сопель и горно. Он ковал скобы, петли и все, что нам было необходимо. Он не спал всю ночь и не давал спать другим. Вокруг стройки горели костры, а из его ямы постоянно летели толстые

бронзово-багровые искры. На бревнах, обшиваемых горбылями, уже качались керосиновые фонари. На лесах распевали плотники, взмахивали топоры, а внизу уже мазали горбыли известкой и в конюшнях — *«200 лошадей!»* — устраивали стойла. В стойлах пока спали барсианки.

Ярмарка наполнялась товарами. Ночью сквозь щели лавок мы видели, как молодые приказчики раскладывали ситцы на полке, распарывали мешки с изюмом, урюком, вскрывали ящики конфет. На постоялых дворах стояли возы с блестящими горшками, и Белобородов насчитал тридцать шесть сортов пряников, которые он привез сюда. Пожилые приказчики ночью играли в «дураки», и лампы-молния освещали их почтенные бородатые лица. Я вспомнил Урлютюп, свою работу у купца Лыкошина и дядю своего Кузьму Македонова. Но и плотники и приказчики разговаривали здесь совсем о другом — о драгоценных камнях-изумрудах, что находят возле Березовского завода, о былом уральском золоте, да и песни были длиннее и протяжнее наших. Затянет песню тоскующий уралец и поет, переливаясь, до самого рассвета, да так и не окончит...

24 мая мы встречали нашу труппу. Несколько ломовых, принадлежащих нашим пайщикам, везли товары для ярмарки и привязали поверх возов наше цирковое имущество. Всюду зелеными громадными буквами было начерчено: «XX век! Цирк Альберта Монти. *200 лошадей»*. В зеленой телеге, запряженной парой лохматых битюгов, приехал сам Петр Захаров. Он стоял перед клеткой, сколоченной из березовых жердей. Шамбарьер колыхался в его руке, из-под цилиндра вываливались кудри, фрак обтягивал его талию, манишка и галстук были хрупко белы.

Над клеткой тряслась длинная вывеска, а под ней — барабан, в который Петр Захаров время от времени ударял тяжелым концом своего шамбарьера. Лошади вздрагивали. Возчики ругались. В клетке, оглядывая мир неколебимо грустными глазами, ехала Нубия. Гриву ее и хвост обвивали ленты: тепло-синие, шалфейно-желтые, серебристые, красные. К ушам ее были привязаны цветы, а прямо по шерсти с одного боку извещалось: «XX век», а с другого — «Альберт Монти». Телегу окружали цирковые артисты в своих мантиях и колпаках.

— Но ведь это же чепуха, Петр! — сказал я, указывая на Нубию.

— Чепухи на свете гораздо больше, чем ты предполагаешь, Всеволод.

Ах, как он был прав!

Перед нами стоял цирк, построенный на «люльку». Сверху донизу он был тщательно побелен известкой. На скамейках я разместил места. Цирк, считая галерку, вмещал шестьсот восемьдесят зрителей. Если только по полтиннику, то и тогда мы соберем в вечер свыше трехсот рублей!

Верх, или «небо цирка», мы сшили из рваных мешков. В шитье нам помогали хористки. За шитьем они пели, тихо и очень жалобно. Они сидели рядом возле стены цирка. Тугие тени ползли по их одеждам, придавая легкость их лицам. Забыв «барсы» и страшную их профессию, я любовался песней и ловкими движениями их пальцев. Но едва они откладывали иглы, вставали и потирали руки, как невероятно грязная брань закрывала эту стародавнюю бабью песнь. Поражала, собственно, не брань, а опытность, с какой произносили ее.

Но вот мы повесили верх. Солнце устремилось на него, и заплаты казались тенями листьев, падающих на полотно.

Утром наши пайщики потребовали, чтобы, согласно балаганному обычаю, на раусе перед цирком, доказывая правдивость нашей афиши, выступили с короткими номерами все участники представления.

Я сказал:

— Тащить на раус всю аппаратуру? Предпочитаю выступить с тем, что в моих гастролях незначительно и недостойно арены цирка.

Пайщик Мелентий Талыг, шулер и владелец «стрел счастья», строго взглянул на меня глазами такими большими, словно он старался раскрыть их всю жизнь и вот наконец распахнул, а теперь закрывать не хочется,— всем надобно показать. С мудростью, свойственной всем много битым шулерам, он сказал:

— Природу мы все любим, господин Иванов, но хороший пейзаж только тогда пейзаж, когда он переделан согласно человеческим вкусам. Роща без дорожек, посыпанных песком, еще не роща. Соловей без клетки еще не соловей. Я это говорю к тому, что в человеческом

пейзаже платят деньги за убийство и смех, а это как раз есть переделанная природа. Убивать вы будете себя на арене, а смехом зазывайте публику.

Круглое мое лицо весьма часто портило мои предприятия. Я не удивился, когда пайщики подумали, что вместе с факирством я обладаю даром клоуна. В нашем балагане клоуном «возле перша» был Анисим Щукин. Я не хотел отбивать у него хлеб:

— Если только раусным клоуном, то пожалуйста.

Я чувствовал необыкновенное уважение к своему дарованию и к своей способности трудиться. Это дарование помогло мне выстроить цирк, наполнить его странными механизмами и не менее странными людьми, которых сегодня «ровно в 8 часов вечера» мы приведем в действие. Я уважал мою Волшебную библиотеку, над которой размышлял так упорно. Мне было приятно, что я не отношусь свысока к людям цирка. Я работаю с удовольствием и радостью!

«Раусный» — это очень редкая особенность среди клоунов. Надо уметь разговаривать с толпой, шутить, а кроме того, вы должны обладать мощным и молодым голосом, чтобы перекричать ярмарочный шум. Весело сказал я:

— Сейчас сибиряки покажут, как надо зазывать!

Я натянул костюм «галана»: яркую атласную куртку и широкие штаны до колен, усыпанные узорами из желтых блесток. Лицо и шею я осыпал мелом, а мочки ушей и губы залил пунцовой краской. Высокие черные брови изломанно пересекали мой лоб. В толпу я поставил Алешку Жулистова и Петьку Захарова. Шталмейстер Ломов спросил:

— Ты зачем сюда приехал, Коко?

— У барышников ловкости учиться.

— Какая же у них есть особенная ловкость?

— Глазами могут не моргать.

— Где же это ты видел, Коко?

— Это все видели, а не только я. Говорят ему на ярмарке: «Иван Иванович, а ты ведь надул меня, лошадь-то проданная околела через два часа». А он отвечает не моргнув глазом: «Ай-яй-яй, у меня такого с ней не случалось!»

Заиграл гармонист. Перекувырнулся и пошел на руках по раусу «першник». Я склонил голову на перила и, взвизгивая, зарыдал. Алешка Жулистов спросил:

— Над чем ты плачешь, Коко?
— Завидую нашему пуделю.
— Вот странно, почему же ты завидуешь пуделю?
— А как же! Березовская барышня упала в реку и со страху очнулась только тогда, когда ее вытащили и благодетель ее скрылся. Барышня загорелась и говорит отцу: «Не жалей, папа, приданого, я хочу выйти замуж за моего спасителя».— «Невозможно тебе выйти»,— говорит ей отец. «Разве он женат?» — «Нет, моя дочка, тебя вытащил цирковой пудель».

Затрещал барабан, заплясали артисты, и, покрывая этот шум, я закричал в картонную трубу:

— Березовский завод и вообще весь народ! Стойте и любуйтесь, дома не балуйтесь, а приходите баловаться к нам, фокусникам и прыгунам, жонглерам и клоунам, борцам и певцам, укротителям и слепцам. Для вашего наслаждения открыто наше заведение «XX век», где превзошел себя человек. Сидит в нем Альберт Монти, но не в ремонте, а в полной исправности, не требующей давности. Вокруг него двести лошадей, а он не боится, злодей! За ним знаменитый факир Бен-Али, почтенной индийской земли, делает такие чудеса, что охнут и небеса! На волосах действуют сестры Ломо, нет таких ни за границей, ни дома. Хор поет тирольский, а у гармониста нос польский. У входа сидит графолог, приподнимая над будущим полог, и за двадцать копеек расскажет вам о будущих потерях, а если заходить почаще, то отвалит и счастье! Полтинник за вход, полтинник за вход. Пробирайся вперед, березовский народ, торопись к нашему кассиру, лишай его жиру, торопись увидеть чудо двадцатого века, редкость для любого человека, а то подойдет двадцать первый, к тому времени истреплешь ты нервы, и не только не дойти тебе до театра, но не дожить и до завтра. Подходи, налетай, о горе забывай, а помни наслаждение, которое даст тебе наше терпение, не говоря про нашу удаль, в которой участвует ученый пудель, под руководством мадам Татари, который бьет себя по харе, говоря человеческим голосом: «Зачем я зарос волосом?»

Тишина. Шталмейстер, лихо поставив мизинчик на барабан, осматривает мое веселое лицо и спрашивает:

— Чему ты радуешься, Коко?

— Я радуюсь, что в Березовске можно жить весело, и богато, и легко.

— Как же так можно жить богато и легко?

— А вот здесь березовец, охотник, украл кружку из церкви, пропил ее, хотел украсть вторую, но не удалось, и тогда он почувствовал, какой он большой грех совершил. Приходит к попу и говорит, что если батя устранит ему великий грех, то он лису подарит. Ждет поп неделю, а лисы все нет. Спрашивает охотника: «А что же ты лису-то не шлешь?» Удивился березовец: «Нешто она у вас не была? Чудно! Да ведь я вчерась послал». Удивился поп: «С кем ты ее послал?» — «Увидал я ее на опушке леса и говорю строго так: «Пошла сейчас же к отцу Николаю!» Она посмотрела на меня испуганно и как пустится бежать, вот я и подумал: будет она у вас минут через пять».

Толпа подле рауса увеличивалась. Высоким крикливым голосом я повторял анекдоты Филиппинского, и постепенно раусные номера заслонились этими анекдотами. Из кассы на смех вышел Филиппинский. Он стоял темный и мрачный, а я смотрел в его толстое лицо, показывая ему язык, попрыгивал, свистел, стучал себя расщепленной палкой по бедрам,— и толпа веселилась вместе со мной. Впервые я наслаждался смехом и зрителями!

Анисим Щукин обнял меня за плечи и, подмигивая, прищелкивая пальцами, тихо сказал мне:

— Хватит. Оставь до вечера.

— Вечером я выступаю в другой роли.

Анисим сменил меня.

Директор пожелал со мной беседовать.

Петр Захаров сидел в своем кабинете, нарочно заставленном реквизитом. Против него колыхался в негодовании Филиппинский, а лицо господина директора напоминало мне омский летний сад, и так же Петр вопил:

— Может, вы объясните мне, Филиппинский, зачем вы шесть часов рассказываете бесплодные анекдоты, не умея оживить раус?

Он повернулся ко мне:

— А вы что еще за анекдот?

— Я не анекдот, а знаменитый факир и дервиш Бен-Али-Бей.

Захаров отозвался с похвалой:

— Ты выработал в себе большое достоинство, Всеволод. Прекрасные анекдоты!

Захаров пожал плечами, слушая шумные вздохи толстяка.

— Ничего не поделаешь, господин Филиппинский, вам придется расстаться с вашими анекдотами, но вы взамен этой скучной материи приобретаете нечто.

Захаров встал, строго скрестил на груди руки и сказал с достоинством:

— Ввиду того, что ваше выступление, господин Иванов, имело большой успех, дирекция решила прибавить вам две марки и, дабы не затруднять вашей прекрасной клоунской работы, избавила вас от факирских выступлений, с тем чтобы вы с сегодняшнего вечера выступали перед публикой, исполняя антре, репризы и прочее соответственно вашей клоунской работе, а кроме того, вы также управляете пантомимами и всем, что веселит!..

Петька сел и, почесывая пальцами висок, сказал менее официально, хотя и более витиевато:

— Согнуть дуб, Всеволод, значит напрячь его, напружинить, и это кроме пользы дубу ничего не принесет. Согнуть сосну — значит сломать ее. Дуб — это ты, Всеволод, а Филиппинский даже не сосна, а настоящая осина, ибо он без боли воткнет в себя не только булавку, но ржавый гвоздь. Он — факир!

Я тоже сел. Доска подо мной была тяжелая и чужая. Я тихо сказал:

— Понимаю, что впредь факиром будет выступать Филиппинский? С моими аппаратами и в моем костюме?

— Да, именно это я и хотел вам сообщить, господин Иванов. А костюмы и аппараты у нас, господин Иванов, общие.

— Благодарю вас, господин Захаров, за разъяснение.

— Не за что. Решение дирекции, согласно контракту, непреклонно и отмене не подлежит.

5

Мы гримировались в стойлах, предназначенных для лошадей. Возле моей комнатки висел портрет белоногой лошади с надписью: «Мессаут, рыж. жер., род.

1887 г. у Али-паши-Шериф в Каире; вывезен в Англию г-н Блынт; породы Сеглауи Джедран; кровно арабский». Я поставил перед собой осколок зеркала; казалось, что, глядя в него, мне легче страдать. Шпаги, которые возродил мастер Иоанн, опять утащил Филиппинский, не говоря уже о прочих моих фокусах. Больше всего обидно, что помогал воровству верный друг мой, Петр Захаров. Мне вспомнились те клоуны, о которых я читал. На сцене они все веселы, но в жизни их торжественно сопровождают ужасные несчастья. Не успел я сделаться клоуном, как несчастье обрушилось на меня! Это было чрезвычайно обидно, тем более что я не был профессиональным клоуном!

Я достал «Его высший духовный идеал», чтобы найти себе утешение, но тщетно я пытался понять этот пантеон мыслей, тщетно пытался разобраться, чем меня хотят успокоить люди, которые доселе духовно сопровождали меня: Шекспиры, Милли, Верньо, Гуцковы, Стали, Вовенарги, Рошеры, Курье, Кузены, Дидро, Фуксы, Маколеи, Буденштадты, Руссо, Гете, Шамбетты, Мирабо, Бентамы, Бокли, французские поговорки, Лессинги, Джоны Рескины, Паскали, Гумбольдты, Ламартины, Фихте, Локки, Дрепперы, Берне, Саади, Беконы, Веберы, Бульверы, Новалисы, Карлейли, Жорж Занды! Разве им растолковать, почему я должен жить в стойле для коней, — 200 лошадей! — которых нет и быть не может; почему так убежденно орет на плотников в коридоре директор Захаров и почему они, ни копейки не получая, уважают его, трепетно смотрят в его лицо...

— Шерстобиты вы, а не плотники! Какие вы стойла наделали? Щенят держать в этих стойлах, а не наших коней! Я расскажу о вашей работе зрителям, и никто впредь не пригласит вас к себе. Поймите, эти кони не для дам и подростков. Это парадные лошади, которых одобрит любой спортсмен. Это прежде всего чистокровные ирландцы с грациозной позой, с благородной походкой, с выразительной физиономией, со взглядом гордым и интеллигентным, с аллюром изящным и картинным. Это верховые лошади большого шика, а главное — большого роста.

— Прикажете расширить? — спросил старший плотник.

— Поздно. Кроме того, кто стойла делает из горбылей и красит их известкой? Вы понимаете, как действует известка на лошадиные легкие?

Его ученость потрясла плотников. Им, видимо, хотелось поговорить о плате, но они отошли безмолвно. Я протянул ему свою тетрадь. Я надеялся, что он поможет мне разобраться в «Его духовном идеале», потому что если теперь я клоун, то факирский идеал уже не идеал клоуна. Он распахнул тетрадь, но тотчас же вспомнил, что усиливается ветер и надо перекинуть через крышу цирка веревки, дабы не лопнули ветхие мешки.

— А как ты полагаешь, Всеволод, выдержит меня постройка, если я заберусь наверх?

Петр вернул мне тетрадь, сказав, что из нее годится только одна фраза. Я поспешно прочел заготовленную фразу:

— «Для того, кто мало знает, но много говорит, все возможно».

— Ты прав, Всеволод. Эта фраза удачная, хотя и длинная. Но здесь есть фраза, которая более ободряюще подействует на зрителя. Мы ее вставим в следующую афишу, когда коснемся опытов факира: «Обнаженная белая магия есть прежде всего обнаженная правда, с которой ты говоришь о самом себе». Правда, эта фраза тоже длинна, но мы возьмем из нее первые три слова. Это будет и красиво и в то же время женственно.

Он вернул мне тетрадь. Я быстро повернулся к нему спиной. Он спросил вдогонку:

— Ты готовишься к антре?

— Готовлюсь.

— Ярмарочный парикмахер?

— Да.

— Мастера Иоанна прислать?

— Да.

— Люблю деловой разговор!

Я обижался на Петра, но нельзя было не признать его удивительной памяти и наблюдательности. Мастер Иоанн пришел от него со списком всех предметов, которые необходимы в моем антре. Возле мастера мгновенно вырос верстак, появились инструмент, дубовые и березовые доски, гвозди разных фасонов. Мастер должен был помогать мне не только в сооружении инструментов, но и своим участием в пантомиме. Кроме того,

мне отрядили в помощники Леву Лащевского, он же Алешка Жулистов. Лева доволен был обилием форм, которые надели на себя циркачи:

— Вот кабы они не потертые были, Всеволод! Из-за чего я обожаю военные, что они всегда новенькие. Иван, сделай ты мне такой снаряд, чтобы он голубей дрессировал, а то ведь их целый короб, и если они не дрессированные, так их эти формы сожрут.

— Снаряд я могу сооружать, другими придуманный, —сердито отвечал «грозный мастер». — Для придумывания во мне мало науки.

Прибежала Платонида Ломова, девица легкая и с таким тонкостным лицом, что казалось, из птичьих оно косточек и видны сквозь него все ее стремления. Она любила шумную, «под музыку» жизнь, болтовню и прибежала только для того, чтобы сказать о ссоре тирольско-славянского хора со своим дирижером П. Ковалевым.

— А тебе на косе висеть больно? — спросил вдруг мастер Иоанн. — Или у тебя снаряд такой искусный?

Она ответила небрежно:

— Муж найдется, прикажет не висеть, я и буду не висеть, только бы к мужу разговорчивые люди ходили. Ты любишь, Иван, с людьми разговаривать?

— Снарядов мало. О чем мне с ними разговаривать?

Она ласково улыбнулась ему. Она остро осматривала нас, чтобы, убежав отсюда, было о чем рассказать. Она сообщила, что Филиппинский натягивает факирский мундир, а он лопается по всем швам и особенно под мышками. Но тут загремел звонок, который нес слепой гармонист, один владевший в цирке подлинным странным именем Клеоник и подлинной иностранной фамилией Дорстер. На нем были зеленая засаленная куртка и новые, тщательно начищенные сапоги. Он звонил в большой звонок, поправляя на носу синие очки. Лицо у него злое; он постоянно смеется над нами, и держат его только потому, что дешево: он выторговал себе крынку молока и два фунта хлеба в день, без всяких марок или жалованья.

Вслед за гармонистом Дорстером идет Петр Захаров. Лицо у него веселое и румяное. Он целует меня в щеку и говорит:

— Ты не обижайся, Всеволод. Человек с такими чувствами, как у тебя, Всеволод, не может колоть себя булавками: у него слишком близки нервы.

— Благодарю вас, господин директор. Как сбор?

— Сбор полный.

Он опять поцеловал меня в щеку.

— Ну, тебе, Всеволод, пора. Повторяю, ободрись!

Гармонист заиграл дотла ободряющее. Я полагал, что лицо у меня должно быть весьма страдающим, но как только я побежал, припрыгивая, к выходу, так сразу развеселился. Я распахнул полотняный занавес, проскользнул мимо капельдинеров и остановился возле арены:

— А вот и я, господа! Здравствуйте!

Петр Захаров вовремя ободрил меня.

Мне не с кем здороваться.

Гармонист играл в пустом цирке. Керосиновые лампы с жестяными рефлекторами освещали пустые ряды, и я видел тщательно нарисованные мною цифры.

Шпрехшталмейстер Лева Лащевский спросил меня:

— Рыжий, что ты будешь делать сегодня? Ты глухой, рыжий?

Я тщательно оглядел галерею, надеясь хоть там увидеть зрителя. Галерея тоже пуста.

— Рыжий, что ты будешь делать сегодня?

— Не больше того, что вы делали до меня, — отвечаю я. — А вы привыкли делать то же, что делаю я, то есть ничего не делать. Может быть, я попытаюсь петь, но так как я петь не умею, а это умеют делать все зрители, — значит, им это мое учение так же нужно, как если бы я укрощал собак, потому что зачем укрощать собак, если им предназначено кусаться? Следовательно, сегодня мне нечего бояться: если даже я обзову зрителя собакой, все равно он меня не укусит. Я решил обучить на свободе моего маленького подмастерья стрижке и брижке.

Лева Лащевский негодует:

— Здесь цирк, рыжий! А в цирке кувыркаются или прыгают.

— А я думал, парикмахерская. Мылом все вокруг вымазано.

— Это не мыло, а известка.

— Из воска! Значит, это не цирк, а свеча. Она быстро сгорит?

Выходит великолепный мастер Иоанн, поддергивая штанишки, детские и коротенькие. С его головы то и дело падает крошечная матросская бескозырка. В по-

мойном ведре, разрывая взбитую пену, торчит метелка. Мастер распахивает колоссальный чемодан, только что сделанный нами из фанеры. С трудом вытаскиваем мы ножницы и бритву, каждая в половину моего роста. Я объясняю мастеру Иоанну, что с людьми, которые хотят побриться, надо обращаться вежливо и деликатно, потому что березовцы делают это очень редко и их надо не запугивать: движения ваши должны быть легки, простыня тепла и нежна.

— Вот как ты делай!

Я хватаю за горло мастера Иоанна, поспешно привязываю его к стулу, закутываю в рваные масляные тряпки. Он сопротивляется. Я влепляю ему несколько «опачей» — фальшивых пощечин. К арене приближается, спотыкаясь на каждом шагу, длинноволосый Анисим Щукин. У него высокий плоский приклейной нос.

— Что ты здесь делаешь? — спрашивает он пискливо.

— Зрителей, взамен представления, бреем. Надо полагать, им это любопытно.

— Ай как прекрасно, ай как прекрасно!

Клоун Анисим целует нас. Я быстро вытаскиваю ножницы. Они лязгают, и клоун Анисим бежит от меня. Но я его хватаю за горло, он судорожно дрожит, губы его не могут вымолвить ни слова, штаны у него сваливаются. Я привязываю его ко второму стулу. Искры, треск хлопушек сопровождают раскрытие прекрасной нашей бритвы. Она тупа. Я хочу ее выправить на ремне. Куда прикрепить его? Я осматриваю. К столбу? Он далеко, а я ленив и мпе скучно. Тогда я прикрепляю ремень на длинную шею мастера Иоанна. Мастер орет. Звонко бью я его по шее. Он орет еще громче, и тогда я хлещу его ремнем. Он ползет на четвереньках. Я пытаюсь намылить его метелкой. Пена брызгает! Я намылил ему спину, затылок. Я хватаю его за длинный красный нос — и отрезаю его. Кстати я отрезаю нос и у клоуна Анисима. Стулья трещат, рассыпаются. Я свищу, стреляю, и все мы трое, кувыркаясь, катимся к входу в конюшню.

— Прекрасный номер! — сказал, хлопая в ладоши, Петр Захаров.

— Что же, я играл перед пустым залом, так значит ли это, что и другие будут играть?

— Мало играть, Всеволод: колоть себя будут дамскими шпильками, навешивая на оные гирьки...

— Удовлетворен вполне!

Петр Захаров подставил мне свою щеку. Я поцеловал его.

Филиппинский в длинном балахоне важно шел на арену, описывая ногой высокие, широкие круги. Петр Захаров поступил правильно! Филиппинский очень внушительный мужчина, и если опыты его провалятся, так никакие индусы не смогут убедить в своих достоинствах березовскую публику. С нетерпением ждал я, как Филиппинский обомлеет, когда увидит, что публика отсутствует.

Я забыл о медлительности Филиппинского. Он не заметил пустоты. Важно он глотал шпаги, спокойно прыгал на стекла, показывая отрезанную голову, которая отвечала на вопросы, и доставал птичку с волшебным голосом, что сидела на горлышке бутылки. Несомненно, пока я полтора года писал Волшебную библиотеку, Филиппинский упражнялся в ловкости!

Горько мне было. Я утешал себя тем, что Филиппинский потому быстро научился фокусам, что прежде он ловко обвешивал покупателей.

— Что шпаги, — сказал я Петьке Захарову, — когда всем известно об их немецком происхождении!

Ах, я повторяю слова Филиппинского! Мне оставалось добавить.

— Вот если бы он мог вынуть глаз из орбиты и вставить его на прежнее место...

— Хор на сцену! — крикнул Петр Захаров.

Прислушиваясь к хриплому вою хора, директор, заложив руки за спину, ходил рядом с Филиппинским по коридору.

— Отлично поют! — говорил директор. — Вы бы им порекомендовали жженый сахар есть: весна, голоса отсырели.

— Хлеба мало, а вы сахару! — сказал я директору.

— Дорогой Всеволод, для организма певца сахар иногда важнее хлеба.

Они не унывали, эти компаньоны «XX века»! Петр Захаров объяснил, что мы неправильно выступили на раусе: слишком много показали зрителю. Завтра он, Альберт Монти, сам выступит и расскажет о своих двухстах конях. Завтра быть полному сбору, а пока хватит! Березовцы видят, что программу мы исполняем при любом количестве посетителей.

— Туши огни! — крикнул он.

Огни и без того были потушены, потому что керосину хватило как раз на два действия. Цирк опустел. Я взял было соломенную свою «собаку», но Петр Захаров сказал:

— Придется тебе, Всеволод, покараулить сегодня. Караульщики — народ, избалованный ярмарочными купцами, они деньги требуют.

И он положил передо мною деревянную колотушку.

Я слил остатки керосина в одну лампу и поставил ее в стойло «Мессаута».

Когда я выходил на площадь, чтобы постучать в колотушку, я убавлял фитиль: мне хотелось, чтобы огня хватило на всю ночь. Иногда я раскрывал свою тетрадку и вяло пробегал глазами тщательно выписанные строки. Это хорошо, что цирк не получил зрителей, размышлял я. Завтра же станет ясно, кто из них мои друзья, а кто просто жалкие жулики. Я подбирал фразы, чтобы сказать завтра речь о необходимости идти дальше. Я умолчу о далеком и, пожалуй, тяжелом пути через Персию, — многим из них доступна только Бухара. К тому же какой циркач не мечтает о медали эмира Бухарского! Идем в Бухару!

Нубия отвечала мне вздохами. Она стояла через несколько перегородок. Я взял лампу и поместился в соседнем с нею стойле. Сидеть с нею опасно — и все равно, и в щель видны грустные ее глаза. Зачем же ее разрисовывали, зачем везли в клетке, когда ни один зритель не пришел взглянуть на нее?

Я сходил к ней, похлопал ее по шее и высыпал остатки овса. С едою у нас плохо: я дожевал последнюю краюху, но от этого только чувствовал, что голод увеличивается. К тому же и холодело. Я грел руки у лампы, а когда стали замерзать ноги, я крупной рысью сделал несколько кругов по манежу.

Нубия постукивала копытами в такт моему бегу. Я вернулся к ней и склонил голову свою на завитую ее гриву. Слеза упала из моих глаз.

Поплакав нужное время, я вывел Нубию на манеж, взял бич, и она, весело подпрыгивая, понеслась вокруг меня.

Крыша уже лопнула в нескольких местах, и свет, фантастический и лунный, о котором мечтал балаганщик Ломов, наполнял сейчас всю арену, в центре кото-

рой я стоял. Я махал бичом, а в левой руке трещала деревянная колотушка.

Вдруг широкая дверь конюшни распахнулась.

Впереди тирольского хора шел пьяный и мокрый Филиппинский. Он размахивал фонарем. Уцепившись за фалду сюртука, распустив гармошку, икал возле него гармонист в студенческом мундире.

— Очистить арену! — сказал с великим достоинством Пашка Ковалев.

Он шел не быстро и не медленно, целиком управляя своими движениями. Никогда не видывал я его таким: словно на три роста выше меня. В каждом его слове чувствовалось, что он имеет право говорить, и вряд ли найдется человек, который посмеет прервать его речь.

— Останови лошадь! Мы устроим пир на арене. Не могли найти способа привлечь зрителя! Сорок лет работают они в балаганах, а первое представление в пустом зале! Вот кто приведет зрителей и продаст билеты!

Он показал рукой на свой хор.

Бледная остроносая женщина в бордовой юбке, заглядывая ему в лицо, спросила:

— Первые ряды продавать, или галерку тоже можно?

— Галерка сама придет, когда продадите первые ряды. Всеволод, тебе говорят, останови дурацкую лошадь!

Он вытер ладонью лицо, сплюнул и со злостью осмотрел Нубию.

— Моя лошадь! — вскричал он вдруг в азарте. — Все мое! Все покупаю за свои деньги и на свою выдумку: лошадей, факирские аппараты, компаньонов. Захочу, из факиров наделаю вышибал. Останови лошадь!

Я остановил Нубию как раз против него. Он влез на барьер, схватил ее за гриву, и, видимо, только потому, что она стояла неподвижно, он вдруг поднял ногу и влез на нее, дабы оттуда продолжать хвастливую свою речь. Хор подобострастно хохотал над каждой его фразой.

Я щелкнул бичом — и Нубия понеслась.

Пашка вспомнил, должно быть, как Нубия возле Шадринска волокла его по кустам. Он уцепился за гриву. Лицо его побледнело. Ругаясь, он кричал:

— Останови, тебе говорят, Всеволод! Останови!

Я щелкал бичом, крутил его над Пашкиной головой. Бич мог ударить по лицу каждого, кто попытается

остановить бешеную нашу лошадь! Вот она где, охота! Вот он где нашелся и понадобился, гэнтэр!

Я кричал, сопровождая каждое слово щелканьем бича:

— Пашенька, помилуй, пощади. Все мы конченые, все мы погибшие, и только ты один вознесся над нами. Спасибо тебе, Пашенька, что ты спас нас! И вы, девицы, радуйтесь, что он нашел вам настоящую работу! Много дней были мы несчастными, а стоило нам поклониться тебе, Пашенька, ты и спас! Теперь и мамаша будет довольна, что наконец ты нашел верное дело и что беспутных своих приятелей поставил к достоверному заработку... Вперед, Нубия, африканский зверь!

Нубия перешла в галоп.

Я кричал громко:

— «Кто при звездах и при луне так поздно скачет на коне»!

Приказчики, дожидавшиеся, когда девицы введут их в цирк, подумали, должно быть, что на арене внезапно оказался хозяин. Пьяные толстые щеки, которых никакая лунная таинственность не могла уменьшить, показались в дверях:

— Ну, если не в цирке, так мы платим по четвертаку! Барсианки, сюда!

Девицы кинулись к дверям.

— Всеволод!..

Я хлестнул бичом возле Пашкиных глаз. Он зажмурился и замолк.

— За этот четвертак продал ты свои честные намерения, Пашка. Скачи, покуда ночь не взбесится и не ударит тебя головой о скамейку. Вперед, Нубия, индийская зверюга!

Пашке стало дурно.

Я не убавлял галопа, пока голоса барсианок не потерялись среди ярмарочных ларей.

Пашка свалился на манеж и, рыдая, сказал:

— Не бей меня, Всеволод! Я заблуждаюсь, но тут больше виноват Талыг, этот окаянный шулер... Он мне предложил пустить хористок в барсианское дело.

С горячностью, еще не остывшей, я воскликнул, размахивая бичом:

— Насчет шулеров мы поговорим завтра, а сейчас отведи Нубию в конюшню и немедленно усни на соломе

возле ее стойла. Если вздумаешь разыскивать барсиа-нок, убью на месте.

Пашка поспешно уснул, но сам я лежал с открытыми глазами.

Приближался нежный пунцовый рассвет. Мне хотелось хорошей и плотной пищи, дружбы и нежного разговора. Я вспоминал тех нежных людей, которых я знал сам или о которых слышал, но не было ни одного человека нежнее капитана Лянгасова, а этого самого Лянгасова, по моему глубокому убеждению, как раз совсем и не бывало, хотя отец мой и все мои родственники утверждали, что капитан Лянгасов обладал известной всему миру чрезвычайнейшей нежностью. Он стремился обнять все, он даже редко пускался в море, потому что не мог обнять такого обширного пространства. Правда, объятиям его мешал живот, на котором никак не сходились штаны, какой бы искусный портной их ни шил, причем в последнее время капитан тратил на штаны до двенадцати аршин двойного сукна, и все же, спустя неделю после обновления, в штаны приходилось вшивать клинья. Обширный живот тем не менее не мешал капитану испытывать постоянное чувство удовольствия. Он двигался медленно, всегда находя время отдохнуть и подумать о прелестях передвижения. Так же медленно он двигал и свои корабли, что в Японскую войну ему было поставлено в заслугу. Он был единственным капитаном, который не погубил своего корабля «Кречет», хотя, правда, и не довел его до Цусимы: корабль развалился на полдороге. Капитан Лянгасов объяснял это странное происшествие тем, что Индийский океан возле острова Малый Андаман в проливе Десяти Градусов создает опасную «вибрацию корпуса корабля», проистекающую от силы инерции, от движущих частей машин, не говоря уже о действии винтов или столовых ложек в кают-компании. Дело в том, что при движении поршня, штока и шатуна вниз, что вы можете проверить хотя бы на штопоре при откупоривании бутылки, — капитан Лянгасов весьма искусно показывал этот пример, — центр тяжести машины хочет опуститься, а когда поршень, — «в данном случае рука», говорил капитан Лянгасов, размахивая штопором, — поднимается вверх, то происходит обратное движение. Таким образом, машина испытывает ряд правильных колебаний согласно числу оборотов вала, и эти колебания могут действовать чрез-

вычайно разрушающе на связи судна и машины, вдобавок если сюда присовокупить второстепенные, мало изученные колебания вибрации, как это случилось с ударами волн в Индийском океане. После разрушения корабля капитан Лянгасов много думал о вибрации. Он пришел к заключению, что самое важное — это ходить и двигаться по возможности медленно. Испытывая неусыпное стремление к малой деятельности, капитан Лянгасов признавал полезной только деятельность празднования. Он постоянно праздновал всяческие радостные события, да и обширная жизнь человечества давала к тому много поводов. Кроме того, он считал, что земля должна радоваться его пребыванию в черноземных пространствах, а не в морских волнах, и это подавало тоже повод ко множеству праздников. Он постоянно стремился собрать вокруг себя гостей, и естественно, что круг гостей расширялся, так же как и его штаны, так что в последнее время он совсем утерял способность, возможность, а главное — желание пускаться в море. Отец мой любил его. Капитан Лянгасов постоянно жил где-то возле Самары, на берегу высохшей речки, но однажды проезжал он, согласно подорожной, через Лебяжье, и отец мой долго беседовал с ним. Отец мой состоял с ним в переписке, и письма, которых, к сожалению, я сам не видал, вполне удовлетворяли моего отца, он жалел только об одном, что не имел возможности услышать в письме некоторые звуки, довольно внятные, которые в последнее время посредством уха научился издавать в нужные моменты капитан Лянгасов, причем должно добавить, что ухо он имел самой обыкновенной величины и оно ничем особенным не отличалось от ушей преподавателей гимназии. Отец мой считал капитана Лянгасова своим ближайшим другом — обратно и капитан. Капитан Лянгасов имел большую семью, много раз разорялся, влюблялся; почтенный папаша в молодости его изгонял из дома, а в зрелых летах находил. Капитан Лянгасов выгодно женился, отбив невесту у своего друга, причем друг даже пытался застрелиться, но в назначенный для смерти день у друга открылась ангина, и он предпочел свинцовой пуле малиновый отвар. Капитан Лянгасов, несомненно, был многоопытный человек: носки он предпочитал темных цветов, а галстуки имел фабричные, завязанные навечно, ибо завязывание галстуков для мужчины есть пред-

приятие самое несносное, тем более что они, по утверждению капитана Лянгасова, развязываются в самом неподходящем месте. Однажды капитан Лянгасов, отдавая пасхальные визиты, уронил галстук, и его сгрызла свинья, настоящая пузатая свинья, бурая и с разодранной губой. «Объясните, — спрашивал капитан Лянгасов,— как она могла залезть в пролетку?» Отец мой понимал этот ужас капитана Лянгасова и цитировал в таких случаях четвертую часть «Этики» Спинозы, где говорилось, что добро и зло не показывают ничего положительного в вещах, если их рассматривать самих в себе, а составляют только понятие, образуемое нами путем сравнения вещей друг с другом. Вещь может быть одновременно и хорошей, и дурной, и безразличной. Музыка хороша, например, для меланхолика, дурна для носящего траур, а для глухого она ни хороша, ни дурна; то же самое и по отношению к любой свинье и к любому галстуку. Размышляя о добре и зле, отец мой вспоминал попугая Худака, который, как известно, жил у капитана Лянгасова. Иногда отец мой утверждал, что капитан Лянгасов, в силу своей нежности, научил попугая твердить: «Ах, как прекрасна русская земля! Ах, как прекрасно, если она останется такой навсегда!» Когда попугай летел в свою Африку, то он от нечего делать и твердил эти слова, а русский народ смотрел в небо, слышал этот голос — и швырял в попугая разнообразными дешевыми и грязными предметами. Вот почему возвратился Худак, а вовсе не потому, что у него не хватило силы крыльев для одоления русских просторов!

6

Артисты искали пищу. Цирк до полдня пустовал. Голодала и Нубия. Я спутал ее в ближайшем лесу, перед тем долго смывая в ручье белую краску с ее боков.

После горького размышления я направился к Белобородову.

Около розовых пряников теснились ребятишки. Сам Белобородов был для них, пожалуй, привлекательнее пряников. Он стоял в светло-синей рубахе, в желто-зеленом картузе, упершись руками в прилавок. Его соседи по торговле — квасник Стародубский-Тулуп и почтенный шулер Мелентий Талыг — беседовали с ним о колокольном звоне.

Я приподнял фуражку. Они снисходительно поклонились мне.

— Как торгуете? — спросил я.

Стародубский-Тулуп, похлопывая длинными руками по толстым ногам, рассказывал, как знавал он человека, который имел семьдесят шесть медалей за колокольный звон и спасение утопающих. Но важно не то, что он спасал, а важно, кто указывал ему, где и кого нужно спасать. Мне показалось, что он думает, будто я хочу утопиться. Я не мог отвести глаз своих от пряников в засученных мешках.

Белобородов бросил в медную тарелку весов пригоршню заплесневелых пряников. Он моргнул мне. Я поспешно взял пряники.

— Ты не полагай, однако, Иванов, что мы всех артистов будем кормить.

— Ты Плутарха читал? — внезапно спросил меня Стародубский-Тулуп.

— Нет, Изречения кое-какие записаны.

— И не стоит читать! Возгордишься.

Они одобряют меня. Пряники и Плутарх указывали мне на это. Я сунул заплесневевший пряник в карман и взял из мешка более розовый.

— Не учи его скромности, Стародубский. Может быть, он не о твоей нужде заботился, а об своей, — продолжал Белобородов. — Своим ли ты умом, Иванов, дошел или по внушению, что в двадцать первом-то веке, да и то в конце его, барсианки сгодятся для циркового хора, а сейчас они вредны? Каждый знал ее в Екатеринбурге, так что же, он свою жену поведет показывать барсианке?

— Они даже отказываются «стрелы счастья» поворачивать, — добавил Талыг. — Обиделся зритель.

Но все же дела у них, видимо, шли отлично. Они не очень сердились на цирк. Я высказал мысль, что неудача цирка происходит из-за равнодушия компаньонов к точным знаниям.

— Вот вы стоите трое, а если понадобится заявление, то вы еле-еле составите, а цирк носит название «XX век», да и о Плутархе вы знаете по отрывному календарю.

Стародубский-Тулуп похвалил меня, немедленно добавив, что в себе-то он имеет хорошие знания, и если ему противно пробовать бурду, которую он выделывает, то

это только от удивительно развитого вкуса его на питье и на еду.

— Знания? Пальцем чистит зубы! — сказал Белобородов. — Какие же у тебя знания, Стародубский? Столько у меня конфет задарма поел! Или ты считаешь знанием твои кутежи? Поверите ли, господин Иванов, ходит он из кондитерской в кондитерскую, сядет там перед зеркалом, любуется на себя, невозможными талантами себя награждает и кушает одни пирожные.

Мелентий Талыг тоже пожелал показать свои знания. Пока он считает до трех, надо быстро загнуть пальцы один на другой: указательный на большой, средний на указательный, безымянный на средний и мизинец на безымянный. Это называется «набережная»! Талыг внимательно наблюдал за моими движениями.

— Большого мастера не выйдет. Парень ты, однако, Иванов, упорный, пожалуй, в подмастерье растешь. Ты мне вечером подмогни, у меня с купчиком подвертывается дело. Придешь, полюбуешься, поучишься.

Он оглядел край леса, вдоль которого с утра неслись черные с желтым тучи.

— Не карты бы мне подделывать, а вот эту уральскую природу, господин Иванов. Смотрю я на эти набухшие тучи, на безобразные эти леса и считаю, что паркам бы здесь быть. Жил я всегда на медяки и ни разу, ни среди своих карт, ни среди своей жизни, не встречал подстриженного пейзажа.

Во мне прибавилась гордость. Я попросил Белобородова еще раз кинуть пряники на свои весы. Весьма кстати вспомнил я, что цирк оставлен мною без присмотра.

Курчавый павлодарец, улыбаясь, подводил к цирковым воротам Нубию. Он добыл где-то котелок овса.

— Ты ел сегодня? — спросил он, смеясь так беззаботно, словно завтракал два раза.

Он похвалил за пряники Белобородова, добавив:

— Но скуп. Во всем цирке нет ни карандаша, ни керосина...

— Возьми мой!

— Хотелось — программу синим и красным, чтобы вывесить возле рауса. Краски наш внутренний глаз делают как бы навыкат. Для цветного карандаша надобно только семь копеек. Я им говорю: «Если вы полагаете, что мы сожрем ваши семь копеек, так купите карандаши

сами». Они ухмыляются и отвечают: «Надо тебе керосин, карандаши и прочее, обращайся к зрителю, желающему видеть представление. С нас довольно!» Ломов с ними, старинный балаганщик.

Он, улыбаясь, погладил мое плечо:

— Вот почему нам необходимо быть рядышком. Ты, Всеволод, о Пашкиной глупости забудь. Он хотел нам добра. Он поступил, как известное животное, которое способно только ловить мышей. Пожелай оно сделать тебе подарок, оно притащит мышь.

Я слушал его с холодным сердцем. Одобрение и пряники, полученные мною от пайщиков, уже наградили меня манежем, обвешали орденами и медалями наших компаньонов. Мне переданы огромные предания и знания балаганства! Не директором ли «XX века» суждено мне быть?

Петр Захаров заискивает. Он хочет, чтобы я отказался от директорства! Я улыбался снисходительно.

Я посмотрел на тучу и сказал важно:

— Нам ли беспокоиться о несущихся облаках! Ты, Петр, виновен в том, что не почувствовал Пашкиного замысла. Наш цирк опозорен барсианством, и ты, директор, вместе с ним.

— Правда! Но компаньоны «XX века» беседовали со мной о тебе, Всеволод. Мне горько сказать, но они признали, что ты не имеешь права избивать артиста, а также крушить нашу дисциплину, выводя ночью лошадей.

— Кого я избил?

Пашка показал синяки.

Я почувствовал, что через щель стойла смотрят на меня с ненавистью Пашкины глаза.

— Жалею, что не проломил голову.

Захаров сказал тихо:

— И я не смог защитить тебя, Всеволод, потому что морально я считаю тебя директором. В сущности, процветание «XX века» вызвано твоими машинами.

— Какое уж там процветание! — сказал я скромно.

— Ну, предстоящее процветание. Я буду считать тебя морально директором до конца моей жизни, хотя сейчас компаньоны и сместили тебя с выступных должностей, определив тебя, Всеволод, во фрак. Но тем не менее ты останешься величайшим изобретателем!

— Значит, меня поставили в коридор?

— Билетером и капельдинером, Всеволод. Учись! Плохой ты клоун, да и шутишь как-то вбок!

— Мне надеть эту штуку?

И я указал на одного капельдинера, проходившего мимо, во фраке чудовищного покроя и цвета: верблюжьей шерсти с морковными искрами. Фраки эти горбятся на спине, и у них необычайно длинные и острые фалды, которые постоянно забегают вперед. Г. Ломов купил шесть этих фраков на аукционе, где шло имущество разорившегося горнозаводчика Степана Чужакина. Фраки куплены по 1 руб. 75 коп. за штуку.

Чужакин знаменит был скупостью. Он разорился только потому, что боялся пустить отцовский капитал в дело, когда все пускались в невероятные предприятия и получали барыши. Действия его показались столь неразумными, что родственники подали в суд, дабы проверить: не сумасшедший ли. Узнав о суде, С. Чужакин решил найти дело. Он обзавелся кузнечно-слесарными, плотничьими, портновскими, сапожными, пекарными, штукатурными и «чай, сахар и кофе» предприятиями. Он действовал так усердно, что через полгода пошел с молотка.

Так вот этот Чужакин сшил своей прислуге фраки из «дерюги» — сукна деревенской выделки, которое, по мнению его, отличалось неизносимостью.

— Да. Есть свободный фрак, Всеволод.

— И даже в этом фраке ты морально будешь считать меня директором?

— В сумасшедшем халате ты останешься для меня им, Всеволод.

— Ну, Петр, ты — месторождение редкой доброты!

Он не понял ни моей рифмы, ни моей насмешки. Улыбаясь, он поцеловал меня в щеку. Из стойла выбежал Пашка Ковалев. Он насмешливо жал мне руку. «Грозный мастер Иоанн» остановился возле нас, тщательно рассматривая наше рукопожатие. Лицо его изображало голод, но все-таки он имел силы спросить:

— Как же насчет снарядов, Иванов?

Я ответил:

— Снаряда не предвидится.

Мастер Иоанн зарычал:

— А кроме снаряда, имеется во мне потребность мяса. Понимаешь ли ты, Петр, мне надо мяса! Я могу сейчас два пуда мяса съесть! Ты это разбираешь или

нет, Петр? Я сегодня всю ночь хожу по Березовску и думаю: уговорили меня выступить в ребячьих штанишках и намазали мне морду взбитым мылом,— отчего? Оттого, что в брюхе у меня нету мяса.

Он вытянул руки, жилистые и крепкие.

— Разве эти снаряды не нужны? Они все могут сделать! Весь мир небось не верит, что можно выпустить двести механических коней, а я их выпущу.

Голос его грохотал под сводами цирка.

Полузажмурившись, покачиваясь, Петр Захаров слушал его.

— Ну, какой голос, Всеволод, какой великолепный голос! Если бы ему выдавать по два фунта мяса в день, да прибавить еще пять фунтов гречневой каши, да полфунта масла, да овощей фунтов десять,— ах, что бы он наделал, Всеволод!

Захаров вдруг широко открыл строгие свои очи:

— Я сам, почтенный наш мастер Иоанн, не кушал со вчерашнего дня. А я тоже люблю мясо!

— На то ты и директор. А мне нельзя без мяса!

— Однако я выйду на раус, и представление состоится. Я вас прошу подумать над тем, чем отличаются артисты цирка от артистов балагана. Артист цирка специализируется на одном номере. Артист балагана исполняет все! Он работает и на перше и на турнике, он и клоун, и участвует в пантомиме, и ухаживает за лошадьми, и сидит в кассе, и дерется, в случае неудачи, со зрителями, и зашивает, если понадобится, мешочную крышу. Кроме того, он должен голодать, в то же время думая о своем балагане, как соловей. Ибо посадили соловья в пуховую постель, а он просится в кустарник...

— В пуховой постели его ведь не кормили изречениями, Петр.

Захаров перевел строгие свои очи на меня:

— Для капельдинера ты чересчур резко рассуждаешь, Всеволод. Кроме того, мы просим снять эту дурацкую бархатную куртку и надеть твою униформу.

Пашка Ковалев в моем позоре увидел свое возвышение. Взвизгнув, он спросил:

— А ты приказал, Петр, чтобы мне сегодня к чаю подали баранок и варенья?

— На серебряном блюде? — ехидно спросил я.

— Молчи и умирай, Павел! Благодаря твоему поведению ярмарочное мещанство презирает наш цирк,

считая его переездным «барсом». Мамаши не пускают дочерей. Жены бранят мужей. Вся надежда на холостяков.

Глаза его засияли. Выдумка осенила его!

Он поцеловал Пашку в щеку и велел пригласить тирольский хор.

Он глубоко вздохнул. Он улыбался. Доброта и тепло лились от него. Было ясно, что ему жаль хористок, безвинных и зря презираемых. Он ласково посмотрел в их встревоженные лица, и они немедленно поняли его доброту. Они полагали, что их выгонят и, может быть, даже изобьют. Они боялись компаньонов, а больше всех Талыга, вокруг которого вертелись ярмарочные воришки и хулиганы.

— Барсианки! Вы пошли в хор не потому, что вам хотелось петь тирольские песни?

Он гордился своей добротой и выдумкой. Он прошелся перед двенадцатью хористками, погладил свои волосы и сказал несколько фраз, мало относящихся к делу, преимущественно о наводнениях Нила и о гэнтэре Нубии. Он признавал необходимым подобные отступления: можно преподать несколько полезных истин, которые впоследствии пригодятся.

Он быстро вернулся к судьбе хористок:

— Если бы вы хорошо питались, то, говоря о вчерашнем приключении, я бы подумал, что заиграла кровь!..

Куда хочет двинуть их Петр Захаров? Фраков вряд ли хватит. Милостыню собирать — все равно никто не подаст. Я завидовал его уму.

— ...Однако наша пища не позволяет мне думать так. Но и в отсутствии пищи есть достоинства. Имеется возможность так изморить себя, чтобы мы превратились в щепки. Когда наполнимся новой и свежей кровью, то все былые увлечения останутся в том, «щепном» нашем существовании. Мы устремимся к иной профессии! Конечно, важно соблюсти себя так, чтобы действительно не превратиться в щепку навсегда, то есть подохнуть. Я чувствую, что еще день-два — и начнется рождение в нас новой крови. Парни, которые только еще вчера ходили вокруг вас, наполненные блудом и барсианством...

Голос его возвышался. Нет, не капельдинерами будут барсианки, — сказал я про себя, — а, наверное,

Захаров придумал нечто вроде монастыря. Как я заметил, голод способствует весьма странным выдумкам.

— Парни, которые вчера блудили, сегодня женятся на вас! Мещане повалят валом на ваше представление! Ибо тяжесть работы, которую вы исполняете, удалит от вас какие бы то ни было подозрения о барсианстве. Таким образом, тирольско-славянский хор отменяется.

Любопытство овладело мною.

— Не вижу возможности придумать что-нибудь реальное, Петр.

— Капельдинер Иванов, не вмешивайся в чужие дела, а скромно проверяй билеты. Я не выдумываю, а приказываю. Взамен хора вечером вступает в дело чемпионат французской женской борьбы! Распределение чемпионов по странам вы получите через нас. Вы, Иоанн Михайлов, боретесь с чемпионом согласно правилу, по которому мы когда-то боролись, то есть вы падаете от каждого, с тем, что, если любитель пожелает бороться с каким-либо чемпионом, мы направляем его на вас, как на самого слабого.

— Ты полагаешь, Петр, что эта выдумка привлечет зрителей?

— Капельдинер, я штрафую вас на дневной заработок. Но тем не менее вопрос капельдинера остается вопросом всех. Я отвечаю. Одно дело — уличная девица, другое — чемпион целой страны, например Дании. Каждому парню любопытно жениться на Дании. Я не утверждаю. что будут свадьбы, но женихи — обязательно. Жениху, помимо игры на его тщеславии, дирекция, в случае верности, обещает в конце сезона сто рублей приданого, а пока выдает расписки. Борцы, обзаводитесь женихами! Ковалев, заготовь расписки!

Слезы капали у него из глаз. Он глубоко любил каждую невесту. Он желал ей счастья и доброй семейной жизни. Он будет уничтожать ссоры между женихом и невестой.

— Чемпионы! Отныне вы не барсиане. Чемпионессы!.. Французская борьба не развлечение, а тяжелая работа. Я убежден, что борцы прекратят пить. Правда, некоторые из них прекратят пить еще и оттого, что возникнет соперничество: каждому захочется сохранить свои силы, дабы выделиться и быть чемпионом Урала. Борцы работают без сговора, вчистую! Один только мастер Иоанн ложится по сговору. Все-таки я утвер-

ждаю, что каждому борцу будет лестно подумать, что он в полминуты уложил на лопатки детину девяти пудов весом, то есть мастера Иоанна.

— В полминуты? — переспросил хмуро Иоанн.

— Ты прав, Иоанн, полминуты мало. Зритель не поверит. Семи минут достаточно?

— Суток и то недостаточно.

Иоанн от голода и негодования перепутал Петькину выдумку с моей. Или я вздыхал чересчур сострадательно? Но, как бы то ни было, он вдруг положил тяжелые свои руки ко мне на плечи. Колени мои подогнулись, и я глухо отозвался:

— Перестань баловаться!

Голос Иоанна гудел надо мной:

— И тебе, Всеволод, никак не побороть меня!

Голос его поднимался к вышине, в то время как я опускался.

— А им меня тем более не побороть!..

— Я вас прошу разговаривать не с капельдинерами, господин Михайлов, а с директорами. Вы подписали контракт и скоро получите необходимое вам мясо..

Петр Захаров сказал это сухо и строго.

— И хотя нет керосина и нет даже цветного карандаша, тем не менее представление состоится, и вы, мастер Иоанн, боретесь.

— Не буду я бороться! — сказал мастер Иоанн.

Вдруг мы услышали медленный голос Филиппинского, который сказал:

— Я борюсь.

Петра Захарова трудно удивить даже тем, что Филиппинский смог быстро сообразить. П. Захаров сказал спокойно, как будто давно ждал согласия Филиппинского:

— Конец труда — радость. Конец торговли — долги. Боясь долгов, вы направились в цирк, Филиппинский, и долги, Филиппинский, дали вам решимость. Вы же, мастер Иоанн, скоро поступите, как кот, который, тщетно пытаясь пробраться в корзину с мясом, сказал: «А я и забыл, что сегодня день постный».

— Не побороть вам меня!

Филиппинский держал в руках телеграмму и от волнения так покрылся испариной, что вся телеграмма была влажной. Ирина Терентьевна сообщала, что выехала из Петропавловска. Она решила, что циркачить

более выгодно, чем торговать. Филиппинский трепетал: и оттого, что мелочная торговля в его отсутствие будет разорена и что цирковые соблазны потрясут верность жены. Кроме того, он боялся труда, с каким надо добиваться физической цельности, которая сравняла бы его с прочими балаганщиками. Описывая ногой такие круги, что казалось, ему скоро не хватит циркового манежа, он все же повторил:

— Буду бороться, согласно ваших пожеланий, господин директор.

7

Антон Егорович Похлебаев появился к нам из Верх-Исетского завода с улицы Опалихи. Едва только я попытался разглядеть его широкое лицо и крошечные ножки, как он навалился на меня с подробными рассказами о своей жизни. Прикладывая руку к сердцу и вытянув губы, он жаловался на своих жадных братьев:

— Они думают, счастье себе нашли! Нет, я с вами померяюсь. Я всем расскажу про вашу грубость!..

О дружной семье Похлебаевых у нас много говорилось в балагане. Братьям завидовали. Весь их балаган был наполнен только одними актерами — «похлебаевцами». Они никогда не ссорились и из рода в род передавали друг другу балаганные тайны. Его сообщения удивили нас.

— А ты зачем тут, в этаком грустном фраке? — спросил он меня.

Он не слышал моего ответа. Он опять вернулся к братьям. Вот умер отец, и ссоры увеличились: «Это другим говорили, что между нами нету ссор, а на самом деле ругались с утра до вечера». Выстроили они в Режевском заводе балаган, и произошла такая ссора, что Антон Егорович получил балаган, а братья уехали прочь, увезя остальное балаганное имущество.

— Вот я и приехал за вами. Почему иметь десять хозяев, когда лучше одного?

Возле него улыбался Петр Захаров.

— Чем тебе труппу набирать, поступай к нам. О братьях скажешь, что уехали они на пароходе «Цесаревич» в Астрахань.

— Наш род похлебаевский идет от древних скоморо-

хов, которые при удельных князьях кружились. Я чувствую сборы в Режевске, а здесь вы зрителей испортили.

— Ой, Похлебаев, вступай лучше в нашу компанию!

— Надоели мне компании, хочу быть хозяином. Вы своим скажите по балагану, что буду я завтра с восходом сидеть на тракте в Режевск. Будет лежать возле меня в корзине по три фунта черного хлеба на человека, да четверть фунта свиного сала, да бабам будет выдано по французской булке. Скушаете вы это, перекреститесь на восход и пойдете прямо в мой балаган. Ходу, кажись, верст семьдесят, а жалованье назначу на подмостках.

О появлении почетного балаганщика скоро узнал весь «XX век». Компаньоны увидели здесь хитрость и встревожились.

Меня не только согнали с рауса, по даже не дали стоять у входа, прогнали чистить конюшни.

Я тер скребницей Нубию, перенес в ее стойло осколок зеркала, тетради с моими мыслями и соломенную мою «собаку». Я сколотил койку и подвесил над ней зеркало, а затем попытался исправить фалды фрака, неотступно торчащие вперед.

В зеркале я увидел длинные косы Платониды Ломовой. Глаза у ней обиженные. Она раскачивала жердь, за которой стояла Нубия, и, глядя в грустные лошадиные глаза, передавала о ссоре с благоразумной своей сестрой Василисой:

— Пойдем, говорит, к Похлебаеву, дело, говорит, наше невыгодное, не получить тебе, Платонида, праздничной жизни, да и к тому же муж твой будущий плохо работает.

— А кто ваш будущий муж, Платонида?

Вопрос показался ей забавным. Она рассмеялась и сразу забыла все огорчения. Опа передразнивала сестру, как та любит «наведываться» к подругам, чтобы покушать чего-нибудь даром. Все думают, что Василисины косы лучше Платонидиных, а того не понимают, что она начесывает каждый день пригоршню выпадающих волос. Чешет и плачет, чешет и плачет. Вот так! Она показала, как плачет Василиса, и тут же забыла про нее.

— А ты в русалок веришь? — вдруг спросила она.

Я рассмеялся таким же легким смехом, как и она.

— А как наши билеты продаются?

Мне хотелось отделаться от забот, чтобы смеяться еще легче.

Не отвечая мне, она продолжала:

— А я вот и в русалок верю и в лешиев.

Она неожиданно пощекотала пальчиком мою шею. Это движение указывало мне, что билетов продано много. Я положил ногу на ногу, подставил локоть и, упершись в ладонь подбородком, слушал ее внимательно.

— На каждой версте сидит леший, который управляет своим участком. Иначе откуда же быть порядку в лесу? Или, скажем, русалке. Если в воде не наблюдать за делом, так ведь щука всю рыбу сожрет. Она и проворная и сильнющая и зубы вон у нее какие! А почему щук мало? Из лишних щук русалки делают себе пироги по воскресеньям... Ты вечером боишься выходить? А я вот боюсь, вдруг в лес попаду. Мне в лесу не ужиться, я шум городской люблю. Вот тут мне не страшно.

Ее вопрос о вечере совсем взволновал меня.

— Уже вечер,— сказал я.

Я обнял ее и поцеловал. Положив голову ко мне на грудь, она смотрела на Нубию.

— А лошади целуются? Я вот целоваться люблю. А ты?

— Жених тебя не ревнует, если ты со всеми целуешься?

Я уже ревновал ее.

— Лягаев? Если ему ехать надо, так он не думает, стоит ли ехать, а прыгает прямо в поезд. Ревность, Сиволот, требует размышлений.

Платонида поцеловала меня. Я подумал, что Лягаев совсем ничтожный человек. Он действительно беззаботно брался за все, что хоть сколько-нибудь казалось ему горячим, пылким и на чем он мог выиграть. Он охотник и любит бродить возле озер. Перед тем как отправиться, он ищет спорщика о заклад, сколько настреляет уток.

— Он говорит и даже спор держит на триста рублей, что если цирк здесь до зимы доживет, то он обложит берлогу, достанет медведей, выдрессирует их, и наступит тогда праздничная для меня жизнь, Сиволот. Мы тебя кучером возьмем. Вот если бы кто нашелся с Лягаевым на триста рублей поспорить!

— Не верь ты ему, Платонида.

Она поцеловала меня еще раз.

— А сейчас медвежонка можно достать?

— Если познакомиться с лешим, то можно, Платонида.

Она перебросила косы к себе на грудь. Я взял тяжелую ее косу в руку.

Вошел Лягаев в кубовом трико и спросил строго:

— Выходит?

— Плохо!

— А ты постарайся, Платонида. Компанейское дело! Я тут кстати и спор держу на трешку, что достанешь ты бочку керосина.

Он поправил над моей головой обломок зеркала, ласково поправил мои волосы и воротник рубашки.

— Старайся, Платонида. В нашем деле самое главное — первое представление.

— Противно мне!

— Мало ли что кому противно! Керосин дороже поцелуев.

Изречение это не относилось ко мне, но я все-таки обиделся за поцелуи. Я хотел было встать, но горячности моей мешала его мускулистая фигура. Я прищурил глаза и сказал спокойно:

— Бывают такие поцелуи, которые навеки остаются в памяти.

— Кухтерина, керосинщика, знаешь? Пускай, говорит, меня эта длиннокосая поцелует, а я керосин отолью. А как нам без керосина открывать представление? Платонида, видишь ли ты, воспротивилась. Ну, я и говорю: «Попробуй на нашем капельдинере, у него морда с кухтеринской схожая».

Так вот почему она жмурила свои глаза, а если открывала, то глядела на Нубию! Гнев запылал во мне.

Она пощупала мое лицо, все так же закрыв глаза.

— Схожее, верно! Э, раз я его поцеловала, так и Кухтерина поцелую!

Она убежала.

Лягаев морщит высокую морду, похожую на колокольню. Рот у него черный, как подвал. Он говорит, не обращая на меня внимания, а чтобы высказать то, что назначено было для Платониды:

— Разве здесь азарт? Я предлагаю Кухтерину сыграть со мной в карты на мою невесту. Он мне пыхтит: «Зачем мне в карты, когда я могу в обмен на керосин?»

— И тебе не стыдно?

Он смеется, вспоминая толстое кухтеринское лицо:

— Сковорода, а не лицо!

Я говорю грозно:

— Если ты оживляешься только при азарте, то давай сыграем со мной на смерть.

— На смерть?

— Тот, кто проиграет,— умрет.

— Значит, мне играть больше не придется, если я тебе только один раз проиграю? Дорогой мой, но ведь проигрыш иногда зависит от случайности. Диви, кому-нибудь проиграть дельному, а то просто копии. Это не азарт, а глупость!

— А поцелуи невесты продавать — не глупость?

— Я становлюсь рядом и наблюдаю за кухтеринскими поцелуями. Он же керосином платит, какая ж тут глупость?

На скорбный мой голос вышел клоун Анисим Щукин. Он очень уважает авторитеты. Например, он почитает Льва Толстого, хотя романы его «ерунда». Романы Лев Толстой писал только для того, чтобы привлечь внимание к своим проповедям. Щукин любит повторять: «В церкви попы музыку вводят, хоры почти светские. Надо же привлекать прихожан. Вот и Лев Толстой романы свои — вроде музыки».

Он поправляет мне фалды фрака и говорит:

— Скоро тебя выгонят, господин Иванов. Во фрак наряжают всегда перед тем, как выгнать. Мне тебя жалко, но лучше уж тебя сразу выгнать, чем страдать целую жизнь.

Соболезнование его только злит меня.

— Сколько билетов продали, Анисим?

— Пятьдесят, Всеволод.

Лягаев хочет «заклад», — он утверждает, что нонче продадут двести билетов. Анисим пытается ему рассказать что-то из «Краткого изложения Евангелия». Говорит он длинно и скучно, по нескольку раз повторяя одну и ту же фразу. Закончив мысль, он кашляет, глотает слюну, сморкается и вытирает узкий бледный лоб.

— Врешь, врешь! — восклицает Лягаев.— По полтиннику спорю, что уже забыл ты сказанное.

Анисим повторяет снова. Лягаев утверждает, что неправильно, и тогда они просят меня разобрать их спор. Мне скучно и противно смотреть на них.

У дверей цирка скрипит телега, и гнусавый голос спрашивает:

— Куда бочку скатить?

Шестьдесят первый билет купил торговец Кухтерин! Он приехал за билетом в телеге, окованной железом и запряженной громадной волосатой лошадью. На бочке керосина сидит Платонида Ломова. Как безобразен купец! У него круглое опухшее лицо, в которое, как говорит Лягаев, «можно бить без промаха». Рыженькие усики торчат над толстой синей губой. Он навеселе.

Мы подставляем к телеге горбыли, и купец командует:

— Катите мои поцелуи!

«Что ж, если похож, так пусть похож»,— твержу я, помогая скатывать тяжелую бочку. Я решил утопить горечь свою в работе. Вот сейчас скачу бочку, заправлю лампы, выпачкаюсь в керосине, чтобы ни одна душа не вздумала поцеловать меня.

Я принес воронку, ковш, лампы. Я наполнил ковш керосином, но переливы его показались мне странными. Я обмакнул руку и понюхал.

— Вода! — крикнул я.— Нас обманули!

Я протянул руку к Платониде.

— Прежде чем целоваться, проверьте ваше получение, Платонида.

Купец хохотал.

Платонида держала косу в руках, и слезы падали на ее волосы.

— Парень смышленый,— кричал вставший со мной рядом купец,— и ты, девка, слушай его, а за меня моли бога, потому что увидела неиспорченного человека!

Он выхватил из-под полы две четверти, наполненные керосином. Смеясь, поставил он их на пол. Он доволен своей выдумкой. Фигура его сразу стала тоньше, строже и, пожалуй, менее безобразной. Я подумал, что строгость будет мне больше к лицу.

— На раус, на раус! — вбежал со звонком Петр Захаров.

Целый день раус вопил о женском чемпионате. Двадцать мальчишек, под звуки трещотки, носили по ярмарке портреты борцов, акробатов. Лягаев проиграл. Билетов продали только шестьдесят пять.

Петр Захаров предложил зрителям пересесть в первые ряды. Он сказал мне на ухо, что завтра березовские жители будут говорить, что на представлении присутствовали самые состоятельные люди.

— Завтра остальные пожелают смотреть, что же видели состоятельные люди!

Я зажег лампы. Гармонист заиграл. Капельдинер помогал ему на балалайке, а другой чирикал что-то посредством скрипки. Я остановился возле манежа. В проходе был уже виден первый номер — клоун Анисим.

Вокруг балагана кружился ветер. Он швырял в горбыли спичечными коробками, окурками, подсолнечной шелухой. Тучи, теперь уже совсем сизые, выскочили из-за леса и закружились над ярмаркой. Буря чем-то походила на громадный штопор. Она заворачивала деревья, неслась с визгом мимо наших дверей; вдруг упал гром, словно выдернули с треском пробку,— и все это произошло над мешочной нашей крышей.

— Господин Иванов, что вы здесь делаете?

Пища и корча рожи, хотел было перепрыгнуть через манеж клоун Анисим, но тут над его затылком как раз треснули мешки, и неизмеримое количество дождя повалилось на его атласный аметистовый колпак.

Крыша долго не спорила с дождем: она лопнула и по шву и без шва, словно торопясь пропустить возможно больше дождя. Мгновенно на арене образовалось озеро, и зрители, разинув рты, смотрели, как вода перехлестнулась через барьер и поползла к их ногам. Лампы шипели.

— Керосин-то с водой, Кухтерин! — крикнул, указывая на лампы, Петр Захаров.

Он не унывал. Зрители вскочили, но курчавый павлодарец, в полном костюме и гриме, прыгнул в воду, взмахнул шамбарьером и сказал:

— Сама природа требует, чтобы вы заняли места согласно взятых билетов. Мы переставляем отделение. Будет наоборот. Представление начнется с водяной пантомимы.

Зрители, однако, покинули балаган.

Как меня ни обижали, но все же я мало радовался нашему разорению. Кроме того, я надеялся, что после представления нам удастся покушать. Когда закрутил ветер и ярмарка стала закрывать лари, я зашел к Белобородову. Он сказал, что дешевые сорта пряников распроданы, а коврижкой он в крайнем случае попотчует архиерея, а не голодного капельдинера.

— Балаган имеет, господин Иванов, две профессии, хотя и обе чеканят монету. Первую поощряет закон,

но она плохо кормит, вторую закон преследует, она опасна, но благодаря ей вы наденете узорные рубахи и шелковые носки. Наблюдайте за своими руками, господин Иванов. Вот вам стыдно просить пряники, но если бы вы у меня умело украли коврижку, я бы одобрил вас.

Пока мы осматривали разрушения, произведенные дождем, на манеже появился пьяный и действительно грозный Иоанн Михайлов. Благодаря разорванной крыше своды цирка увеличились, но все равно они не уменьшили его голоса. Так как капельдинер не особенно обязан заботиться о цирке, то, услышав этот голос, я направился на галерку, чтобы оттуда с полным удобством наблюдать за действиями грозного мастера.

Михайлов умел не только строить, но и разрушать! Размахивая громадной плахой, он ревел:

— Обманули! С кем я подписал контракт? Меня будет бороть пустоголовый Сиволот и барсовые девки!

Я похвалил свою предусмотрительность и, чтобы не раскаиваться в ней, подвинулся к дверям. Мне жалко было «мастера Иоанна», который мог в гневе разрушить не только цирк, но и чью-нибудь голову.

Трещали скамейки. Щепы, тряпки, лампы летели во все стороны. Разрушив все окружающее, Иоанн побежал в коридор. Затем через сцену с багровым лицом, описывая обеими ногами невероятные круги, проскочил Филиппинский. Он давно скрылся, но мы еще слышали его пыхтенье. «Мастер Иоанн» вытащил на манеж все мои препараты, над которыми он так долго и тщательно трудился.

Неустрашимый курчавый павлодарец шел позади него. Весь цирк разбежался, в том числе и я, потому что хотя я и видел разрушение, но действовать не мог, да и не очень хотел.

— Прошу тебя, Иоанн, ломай половчее! Я полагаю, что твои силы еще сегодня сгодятся. Если арена не высохнет, будем бороться под открытым небом. Представление состоится.

— Меня не укротишь выдумками! — крикнул Иоанн и столь ловко ударил плахой по уцелевшим лампам, что все они мгновенно потухли, раскололись и выпустили из себя керосин.

Этот удар, казалось, расколол тучи, потому что над цирком появилась луна.

— Лихо бьет,— сказал Петька.— Придется использовать в аттракционе твой удар. Вот жалко, нельзя использовать, как ты водку пьешь. Жернова, что ли, тебе раскалывать? Много у нас в цирке чугунных голов, но у всех крепость слабая. На чьей же?

Но этого курчавого человека, похожего на пряник, ничем не смутишь. Цирк явно прогорел. Того и гляди, прибегут плотники и маляры, которых натравит на нас Белобородов. Они уже точат свои кулаки. А Петр Захаров, вместо того чтобы поберечь силы Иоанна для нашей защиты, придумывает ему свежий аттракцион. Глаза господина директора сияют. Он весь наполнился румянцем, он улыбается и любуется тем, как ловко «мастер Иоанн» громит цирк, хотя раньше никогда не занимался подобным делом.

— И ребром, главное, бьет, обратите внимание!

Петр Захаров смотрит на веревки, которые свисают с крыши цирка. Они закрепляли мешки. Ветер и дождь унесли мешки, а веревки новые, и знамениты они тем, что куплены компаньонами за наличный расчет.

— Чувствую, что от цирка оставишь ты, Иоанн, одни веревки. Топоры я попрятал, не плахой же тебе рубить.

Захаров весело выкрикнул:

— Мастер Иоанн, есть номер! Ты колешь жернова на голове Нубии! Всеволод, заготовляй афишу.

«Мастер Иоанн» так потрясен этой выдумкой, что выпустил плаху и хмель и негодование покинули его.

Петр Захаров тотчас же построжал. Он вспрыгнул на плаху, топнул ногой.

— Собирай имущество, а главное — все эти веревки! Там по дороге свяжем. Представление отменяется. Мы уходим рано на рассвете.

На его голос собрались артисты. Компаньоны, оказалось, уже скрылись из Березовска. С нами остались только Ломовы и мадам Татаринова, которая тоже покидала нас, но хотела, чтобы женихи шли вместе с Платонидой и Василисой. Компаньоны увезли весь реквизит, и у нас остались две шпаги с маркою «Омск», Нубия, несколько одеял и ворох новеньких желтых веревок.

Мы вышли на цыпочках из Березовска ранним травянисто-зеленым утром.

За городом на Режевском тракте нас встретил с большой корзиной у ног Антон Похлебаев. Мы ожи-

вились, увидев эту корзину, и я подумал, что, в сущности, не ради ли этой корзины мы столь торопливо покинули остов цирка?

Мы получили по три фунта черного хлеба, четверть фунта свиного сала и сверх того по печеному яйцу. Похлебаев сказал наставительно:

— Не обжирайтесь, а то брюхо заболит. Ешьте малыми порциями. Дальше дорогу себе указывайте сами, а я вас встречу возле балагана.

Он подхватил мадам Татаринову под руку, и они скрылись в переулочке среди плетней.

Недолго мы рассматривали предстоящую дорогу, голодную и холодную. Петр Захаров торопил нас, попрекая полученной краюхой хлеба, а Нубию горшком овса:

— Мыла еще не пожелаете ли?

Он покрутился возле «грозного мастера», который волок огромный узел веревок.

— Наивный, так ты их сзади и потащишь? Каждая вещь способна накармливать до отвалу.

— Накося, — сказал «мастер Иоанн», сделал простодушный жест рукою и направился вперед.

Петр Захаров шел со мною рядом, размышляя:

— Похлебаев зря в балаган не пригласит. У них там снаряжения имеются, нам бы лишь добраться. Вот только как поступить с веревками?

Версты три он шагал молча, то быстро, то медленно. Затем он запел и опять вернулся ко мне.

— Толпой идут. Дорога заросла, а они все-таки ухитряются поднимать пыль.

Дорога еле обозначалась среди чистых и зеленых трав, упиравшихся в пурпуровое небо. Утро было веселое. Мы отлично поели, и крутая бодрость владела нами. Опять я шел впереди всех, мурлыкал легкие и необидные куплеты. За мной шагали: Ломовы, Капитолина Пономарева, раньше модистка, а ныне певица тирольского хора, Лягаев и клоун Анисим Щукин, Алексей Жулистов, весьма одобрительно поглядывавший в уральское небо, одетое в такую отличную форму, графолог Тиунцев, Николай Дурасов, что — турник и прыгун; вздыхал Павел Ковалев; «мастер Иоанн» шагал в стороне; смеялись хористки; капельдинеры шутили солидным басом, а позади всех, возле Нубии, тащился К. С. Филиппинский.

— Веревки, «мастер Иоанн», связать! — воскликнул вдруг Петр Захаров.— Зачем идете кучей? Пусть за узел возьмется один человек, а другую руку протянет.

— Репетиция хороша, когда предстоит обед, а мы только позавтракали.

— Капельдинер Иванов, научитесь размышлять подальше от завтрака. Репетиция будет одновременно и обедом. Протянутая веревка и наши руки будут напоминать жителям села о подаянии!

Неутомимый павлодарец не мог жить без выдумки. Мы рассмеялись и согласились протянуть руку. Будь нас поменьше, мы бы не так стеснялись, а в одиночку наверное каждый бы попросил милостыню.

Однако мы прошли село хотя и держась за узлы веревки, но еще не поднимая руки. Мы растянулись чуть ли не на полкилометра, и все село выбежало нас смотреть. Впереди шел, держа начало веревки, Петр Захаров, а за ним, положив веревку на плечо, откинув назад голову, играя на гармонике, напевая какой-то страннический стих, балаганный наш слепой гармонист. Его куртка, студенческая и рваная, горела всей своей маслянистой грязью на солнце.

Мы весело и торопливо вошли в село, где нам предстояло протянуть руки. Петр сосчитал до трех раз. Веревка лежала у наших ног. Он свистнул. Мы наклонились, подняли веревку, одновременно протянув правую руку. Мы шли довольно стройно, крепко держась за узлы, мимо окон правой стороной улицы, крича:

— Подайте милостыню прогоревшим!

Полагаю, лица наши были чересчур веселы: подали лишь Филиппинскому и мастеру Иоанну, да и то навряд ли из жалости, а боясь страшных их грабительских рож.

За селом,— совсем зря,— наши лица погрустнели.

— Вспомните этот унылый проход, когда увидите Нанизье, — сказал Петька.

Мы запылились и к селу Нанизье приближались вместе с вечером и весьма страдающим желудком.

Нанизье лежит «на подоле горы». Из труб к широкому оранжевому солнцу шел голубой дым. Наши ноздри жадно вдыхали запах приближающейся пищи.

Мы выровнялись. Петька привязал веревку к поясу: он решил для нашего ободрения идти с обеими протянутыми руками. Сейчас он щитком приложил ладонь к глазам и осмотрел длинную нашу цепь.

— Передай по линии, чтобы вспомнили прошлый поход! И побольше тоски. Кричи, студент: тоски!..

— Тоски, тоски! — провопили мы по всей нашей линии.

Мне довелось стоять десятым. Я прокричал весьма старательно и справедливо это требование тоски.

Петр спросил:

— А Нубия как? Морда у ней грустная?

— Грустнее всех,— отозвался Филиппинский.

— Помните о Нубии. Вперед!

Веревка дрожала, извивалась.

Мы поравнялись с церковью, за которой начиналось село.

Из рощи, что окутывала кладбище и церковь, выскочил верхом на пузатой лошаденке урядник с коротенькими усиками, бледным носиком и чрезвычайно солидным голосом.

Пузатый конь его уперся в грудь Петру Захарову.

— Что вы за люди?

— Это не люди,— ответил спокойно Захаров,— это пространство, занимаемое голодной вещью, пространство, все время текущее, ибо вещь гонят, не давая ей возможности покушать.

— Не давай мне возможности угадывать! — воскликнул урядник, поправляя кушак и привставая на стременах.

Он осмотрел длинную нашу цепь. Лицо его стало вдруг желто-зеленым. Он опустился в седло, от пыли и ветхости почти фиолетовое, и вяло сказал:

— Прекрати.

Он слез с коня, глубоко вздохнул и, держа руку на луке седла, чем как бы храня свою официальность, спросил совсем по-другому, дискантом и нерешительно:

— Закурить нет ли?

Он жадно затянулся и сказал уныло:

— Жил я человек человеком, по воскресеньям даже ел пироги с маком и каждый день спал с удовольствием и сколько мог. Ты бы посмотрел, какая у меня конче рассада! Да и весь участок мой просто был всегда спокойный, как огород. А вот с этой весны начиная, когда снег растаял,— заныло мое сердце. Ну, думаю, встретишь ты, Трофим Абрамович, горе. Жду. А горя нету, наоборот — полный порядок. Сон у меня улучшился,

желудок тоже,— и вдруг сообщают мне: идет, говорят, твоим участком веревка.

Он взял из рук Захарова веревку, поднес ее к глазам и скорбно кинул обратно.

— Тут у меня сердце и лопнуло. Ну, думаю, появилась! Почему веревка? Почему, я спрашиваю тебя, крапивная твоя душа, веревка?

— Если ты не умеешь размышлять, так лучше не спрашивай,— ответил Петр.— Очень странные получишь ответы.

— Какие же могут быть странные ответы?

— А выйдет тебе предсказание: повеситься.

Урядник побледнел, отбросил папироску и вскочил в седло.

Опять он оглядел нашу цепь и даже слегка зажмурился от горьких предчувствий:

— Разве добром нельзя просить?

— Попробуй,— сказал Петр.

— И попробую!

Он повернул коня, крикнув нам:

— В полуоборот за мной!

Мы, путаясь в нашей веревке, толпой побежали за пузатой лошадью урядника.

Он охал, всплескивая руками, плевался и неимоверно стегал коня.

Он проскакал через всю деревню, ударяя нагайкой по ставням и крича:

— Подавай нищим, теткины вы дети!

Далеко внизу остались церковь и роща.

Он остановил коня и опять солидным голосом сказал:

— Видели, как милостыню просить надо? А веревку давайте мне. Я ее сожгу, окаянную, чтобы она меня не смущала. Сейчас вы вернитесь в село, соберите положенную вам милостыню, и чтобы в прочих селах моего участка, буде понадобится, сбирать, как сбирают прочие нищие. А почему сумы нету?

Он перекинул веревку через седло и поскакал от нас.

Он обернулся. Лицо у него опять испуганное, и Платонида Ломова сказала убежденно:

— Он в леших верит!

Но тут урядник повернул коня.

Опять конь уперся в Петькину грудь.

— Почему, спрашиваю, сумы у вас нет? Кстати, уж я и протокол составлю.

Он воззрился на слепого нашего гармониста:

— Кто ты такой, студент? Я тебе покажу, как слепым притворяться. В каком институте проходишь курс ученья?

Некоторые из нас так испугались этого случая, что не вернулись сбирать милостыню, но жалость граждан села Нанизья была так огромна, что они сами догоняли нас и совали нам хлеб и яйца. Тем не менее мы довольно торопливо покинули радушное село.

Мы шли, жуя калачи, и через пять верст уже забыли об уряднике. Милосердие и пища заставили нас искать отдыха.

Мы остановились на лугу возле речки, заросшей камышами, неподалеку от высокого прошлогоднего стога сена. Мы развели на берегу костер, сварили поданной нам картошки и вновь покушали весьма плотно.

— Плохо я с этим Абрамычем толковал! — сказал Петька.— Глядишь, он нас до самого Режевского завода проводил бы.

Мы достали сена из стога и устроили постели.

Луна поднялась высоко. Я сидел, прислонившись к ветле, смотрел в реку, где возле молодого камыша кувшинки распустили тяжелые свои листья. Вода, густая и неподвижная, и луна в ней, словно накрошенная. Среди дорожек в камыше, которые мне не были видны, пролетела над водой какая-то птица, так низко, что вода от колебания ее крыл слегка зашевелилась.

С моего возвышения видно, как спят актеры. Лица их наполнены удовольствием. Великое множество забот мешало им улыбаться, и вдруг встретилось нечто странное — и мечты их исполнились! Ломов уже выстроил стеклянный цирк, к скорбному графологу Тиунцеву вернулась его жена Нина; Лягаев женился на Платониде, которая живет постоянно в шумном городе, праздно, много болтая и сплетничая (но не обидно ни для кого); у Василисы, сестры ее, полнейшее во всем благоразумие — и все устроено, как у прочих приличных людей; клоун Анисим рассказывает всем о проповедях Толстого, а Никодим Дурасов может издеваться над кем хочет! Все они видели полные сборы, из которых им причиталось множество денег. Да что деньги, разве они важны! Важна слава. Вокруг них гремели оркестры и аплоди-

сменты. Публика стоя приветствовала их. Мало того, она встречала их у подъезда цирка, где актера ожидал нетерпеливый лихач. Публика жала им руки, прося сувенир. А в цирке все еще гремел оркестр, и множество зрителей не способно покинуть очарование, которое они встретили, и капельдинеры в униформах, расшитых золотом, никак не могут уничтожить у публики это очарование. Да и уничтожено ли оно у них самих, капельдинеров? Дома их ждет веселая семья, где нет,— как ни пытайтесь узнать, но положительно нет ни одной заботы! Костюмы новенькие, один лучше другого, ботинки без заплат, лакированные, белье и чулки без единой штопки. На столе сколько угодно пищи, а захочешь выпить — пожалуйста, выбирайте любой графин, а тем, кто любит сладкое, — полные вазы варенья, конфект и печенья фабрики Эйнем! Вот почему у них такой замечательный сон и столь счастливые лица, что даже луна удивляется на них.

Я тоже удивлялся на них.

Пашка Ковалев подполз ко мне:

— Это меня, Всеволод, беспокоит.

Мне не хотелось, чтобы он думал так же, как и я.

— Что тебя беспокоит, Павел?

— Беспокоит меня, Всеволод, удовольствие, которое на ихних мордах. Ты всмотрись только! Они такое задумали, такое плохое, что тут даже Петр Захаров не уснет. Кто знает, а вдруг они нас в реке утопят?

— Ну зачем им топить нас, Павел?

— А на всякий случай.

Он отполз.

Я отвернулся к реке. Когда я хотел опять перевести нежный взор свой на актеров, глубоко вздохнув от удовольствия, от теплоты, легкого воздуха, от всего, что указывало на приближение лета,— я задремал.

Я проснулся от шипения. Мне даже почудилось, что на руках у меня лежит нечто холодное и длинное. Но в глаза мне било пламя, и луну закрывали клубы дыма.

Вокруг стога, с головешкой в руке, бегал Пашка Ковалев.

Стог пылал.

Ужас сковал меня. Губы мои ссохлись. Гортань горела. Размахивая головешкой, Пашка Ковалев, попры-

гивая на одной ноге, ждал с мучительным любопытством пробуждения актеров. Он заглядывал им в лица, счастливые и веселые. Он трепетал. Ему бы отбросить головешку и бежать,— он понимал, что его ждет горе,— но любопытство так овладело им, что он не мог оторваться.

Но в то же время страх мешал ему крикнуть то слово, которое он приготовил для их пробуждения. Я видел, как шевелились его губы, которые безмолвно кричали: «Вставайте!»

Раздался треск. Это загорелись жерди, которые удерживали сено от ветра. Петр Захаров, который спал всегда чутко, мгновенно вскочил. Он легонько ударил Пашку по шее и спокойно скомандовал:

— Держись, не разбегайся! Отвечаем всеобще.

Пашка Ковалев был так потрясен этим ударом, что, поверив во все ужасное, чудившееся ему, пополз, плача, к реке. Если топить, так лучше он утопится сам! Хуже, если балаганщики кинут в горящий стог.

Вскочившим балаганщикам было не до Пашки. Некоторые бросились на темную, фиолетовую дорогу, некоторые побежали вдоль юрко-серой речки, а несколько человек лежало на спине, слегка подрыгивая ногами.

Петр Захаров, казалось, только и ждал возможности властно распоряжаться.

— Всеволод, проснись! — командовал он.

Его бодрый голос уничтожил мой ужас, хотя его властолюбие и возмущало меня. От возмущения я закрыл глаза и даже нашел в себе силы зевнуть. Я встал, лениво потянулся и сказал небрежно:

— Ну, в чем дело? Что это за иллюминация?

— За такую иллюминацию мужики устроят нам самосуд. Сворачивать, идти на Режевск лесами! Собирай пищу, которую они тут разбросали. Нам придется туго, Всеволод.

— К тугости мы привыкли, как рыбак к своей сети на шесте, — сказал я наставительно.

Захаров свистнул.

Подскакала Нубия, спутанная на лугу.

Захаров сломал прут, длинный, похожий на укрючину, и помчался, размахивая руками и прутом.

В несколько минут он нашел разбежавшихся балаганщиков. Нельзя было не одобрить его чутья. Услышав

топот, балаганщики решили, что за ними уже скачут мужики. Они падали ничком куда попало: в темный куст, в ложбину или лужу. Нужно было знать досконально душу каждого, чтобы догадаться, куда и какое место выберет он, падая.

Петр говорит им кратко:

— Иди к Всеволоду. Он укажет безопаснейшее место, где тебя мужики не убьют.

Я стоял у ветлы, гордый и важный. Я скрестил руки и нахмурился. Волосы мои отросли до плеч, и я думал, что пламя пылающего стога делает их прекрасными и возвышенными. Я оглядывал тальники, из которых мы вырубим колья для защиты.

Стог пламенем своим почти соединил небо и землю. Когда луна скрылась за дымом и актеры полностью собрались около меня — в селе ударил набат.

— Прошу! — сказал Петр Захаров, похлопывая Нубию по гриве и явно наслаждаясь опасностью.

Мы перешли реку вброд.

Мы углубились в дремучий темный лес.

Позади нас, всхлипывая, брел Пашка Ковалев. Он трепетал встречи с лютыми волками, но еще более — с мужиками. Он предчувствовал, что актеры осудят его не менее страшно, чем мужики. Время от времени он хватал меня за руки и говорил:

— Скажи им, Всеволод, что я больной. У меня весь род эпилептики!

Сплевывая слезы и ломая руки, он слушал мой ответ.

— Я не поклонник теории Ломброзо. Ты разговаривай о своих преступлениях с Петром Захаровым.

— Как же я догоню его, когда он на лошади, а у меня еле волочатся ноги?

Петр Захаров не допускал его до себя.

— Закон пустыни будет говорить с тобой! — кричал он, если Пашка Ковалев пытался подойти к нему.

Петр Захаров пропускал нас вперед, а сам скакал куда-то назад в лес и, возвращаясь, говорил, что мужики нас ищут усиленно, что нам нужно ускорять шаги.

Ноги у Пашки Ковалева подгибались. Мастер Иоанн брал его за шиворот, волочил за собой, приговаривая басом:

— Вот когда требуется, Павел, молиться пустынному богу!

8

— Нам необходимо покрыть себя бодростью так же плотно, как мы покрыты кожей! Впрочем, я полагаю, Всеволод скажет речь о бодрости, потому что, будучи сыном директора Лебяженского банка, он видел много бодрости, в которой столь нуждаются банковские деятели, не менее, чем и балаганные, хотя их разделяют кресла, удобства и пища, подаваемая вовремя! — так начал свою речь П. Захаров.

Мы едва выбрались из топи, через которую проложена сгнившая гать. Позади нас остались кочки, осина, сырость, крики неизвестных птиц. Мы стояли на пригорке, измученные и грустные. Петру Захарову пришлось испытать вдвое больше трудностей, чем нам. Гэнтэр Нубия если и годилась для охоты в любых странах, то уральские, без сомнения, надо было исключить. Едва Захаров вытаскивал свои ноги, как он спешил на помощь увязшим ногам Нубии. И все же Захаров не потерял способности говорить речи. Больше того, чем крупнее затруднение, тем горячее пылал в нем ораторский дар, и протянись бы топь верст шестьсот или тысячу, из него получился бы великий и несокрушимый оратор.

Захаров поставил позади себя тяжело дышавших Нубию и Филиппинского, мокрых с ног до головы. Захаров очищал себя от бурой тины. Филиппинский изможденно делал ногой полукруги, которые помогали ему выбраться из топи. Я стоял впереди Петра. В руке у меня сверкала шпага, которую я пронес через всю топь, потому что Филиппинский, освобождаясь от лишних тяжестей, кинул было ее прочь. Мне приятно, что шпаги вновь принадлежат мне, что блеск их как бы подчеркивает красоты Петькиной речи.

На высоком пне засияло пряничное лицо Захарова с неправдоподобным румянцем и кудрями. Он продолжал:

— Хочешь воровать — воруй один! Вздумаешь пойти вдвоем — получишь только свидетеля. Вот как думает тот, кто живет в одиночестве и кому остается только воровать. Мы же здесь, выбравшиеся из топи, полагаем, что телячьи языки отвариваются в соленой воде, кожа с них снимается долой, разрезаются вдоль в самой середине, а затем уже языки подрумянивают в подо-

жженном коровьем масле. К ним делают сладкую обливку хорошего темного цвета, с лавровыми листками, с толченой гвоздикой, с мелко сеченным луком, изюмом, коринкой, с тоненькими и долгоненькими кусочками миндаля и так же продолговато изрезанной свежей лимонной коркой. Все это немножко подмачивают и один раз вываривают, дабы горечь из них вышла...

Филиппинский сказал, и его мгновенная сообразительность встревожила всех, кроме Петра Захарова.

— Тут корни жевать приходится, а он несет такое!

Петр Захаров сразу же начал говорить о другом. Он не гнался за связностью речи. Он считал, что для воспитания бодрости достаточно несколько отлично запоминаемых жестов. Сейчас он говорил, обратив к небу лицо и взор и выставив перед собою обе открытые руки с ладонями наружу:

— Учитесь размышлять не только о пище, хотя бы вас обстоятельства и побуждали на это. Пойте! Кто знает, не вызовет ли наше пение любострастных мужиков из ближайшего села, и не добудем ли мы денег, чтобы купить мяса, и не сгодятся ли тогда сведения, мною оглашенные. Весна теплая, сухая, голоса ваши слышны далеко. Пойте! Размышляйте над разносбразием жизни! Вот смотрите на это дерево. Из него течет смола. Известно ли вам, что Китай и Япония производят деревья, дающие редчайшую смолу, если в коре их произвести разрез? Смола с некоторыми приготовлениями, наложенная на дерево или металлы, сохраняет их, делая их блестящими. Но Восток не открывает тайны своих лаков. Часть лаковых производств с огромным трудом познали ученые миссионеры. Однако я мало вижу смысла, чтобы ради звания лакировщика обращать в христианство страну, которая отлично живет и без того.

Здесь он дотронулся кончиком правого указательного пальца до кончика левого указательного, и пальцы его быстро отбежали друг от друга. Затем обе открытые его руки, ладонями к груди, правая повыше левой, сделали два-три движения вверх и вниз, как бы показывая готовность помочь или унести какую-нибудь тяжесть.

Блеск шпаги, казалось, нагонял на нас дремоту. Слепой гармонист уже спал, положив свою голову на мокрый инструмент. Филиппинский раскрыл рот, прислонился животом к Нубии. Он выдернул из лопнувшего

шва кусочек верблюжьей шерсти и задремал, держа его в пальцах.

— Как же теперь меня жена найдет? — пробормотал он, засыпая.

На лицах наших спутников обозначился страх, не столь заметный в топи. Капитолина Пономарева, рыженькая хористка, удивлявшая нас своим бесстрашием, и та вздрагивала. Устали люди, измучились! Соснуть бы...

Петр говорил, сблизив одна к другой обе открытые руки, горизонтально лежащие. Он требовал, чтобы все находились от него в окружности в тридцать метров, дабы перед ними никогда не исчезало видение цирка и его манежа. Он размахивал березовым прутом, который заменял ему шамбарьер.

На небе был полдень. Нам не отодвинуться и на три метра. Мы засыпали. Сквозь смежающиеся веки я все же успел разглядеть, как Петр Захаров, окончив свою речь, подскочил, схватился за сук и полез на высокую обнаженную сосну.

— Ждите полдника! — крикнул он сверху.

Меня разбудили толчками в бок:

— Где остальные?

Возле меня спали «мастер Иоанн» и Филиппинский. Я понял страх их. Балаганщики посчитали нас сумасшедшими. Капитолина Пономарева увела их. Пашка Ковалев тоже исчез.

— Вот чурбаны! — сказал, улыбаясь, Петр.— Зря их приглашал к полднику! С вершин я увидал большое село, где смогли бы питаться. А теперь блудить им дней десять, впредь до могилы.

Нубию балаганщики оставили нам — настолько она казалась жалкой.

Село радушно угощало нас. До Режевска идти нам еще верст тридцать. Мужики горевали о приключениях, испытанных нами в топях, откуда «редкий человек вылазит, не полинявши». Впрочем, они не пожелали сейчас пускаться разыскивать наших спутников.

— Вот поедем косить, ну и найдем,— сказали они.

— А если они умрут? — спросил Петр.

— Грехов меньше. Значит, бог хотел.

На базарной площади Режевска нас ожидал балаган, узкий и длинный. Я смотрел на него и думал, что ничего балаганного во мне не осталось, что мне пора

уходить. Петр Захаров, увидев балаган, замер. Он довел нас! Теперь он преисполнился добротой к тем, которые покинули нас в дремучих лесах.

Филиппинский тоже остановился. Он побледнел, и нога его описывала кривые полукруги. Возле артистического входа мыла тощего и длинного щенка Ирина Терентьевна.

— Если нельзя выпустить здесь механических коней, потому что нет манежа, и если нельзя выпустить наших артистов, потому что они погибли в топях,— вернувшись, я выпущу механических коней! — воскликнул Петр Захаров, вскакивая на Нубию.

Через два дня балаганщики пришли, оборванные, грязные, браня Петра Захарова, который, казалось им, вел их чересчур сложными и длинными дорогами. Петр Захаров говорил, улыбаясь:

— Велел я вам громко петь, а вы хрипите! Оттого и блудили вы лишние версты.

Пайщики «XX века» тоже приехали в Режевск. Похлебаев, оказалось, пригласил в Березовске каждого из них особо. Вообще этот господин был странный и суровый. Семейная дисциплина его семейства так и осталась при нем. Но, то ли из ненависти к своему семейству, то ли он хотел разбогатеть иным путем, Похлебаев не обращал внимания на балаганные представления.

Наш балаган превращался в «Стрелу счастья»!

Вокруг балагана гудели шарманщики, торговали пряничники и конфетчики, усиленно шныряли воришки. Я много толковал с одним из них. Его звали «Накрест». У него шелковисто-белые волосы и широкие синие глаза. Он заискивающе просит вызвать из балагана Мелентия Талыга:

— Полет у меня предстоит! Посоветоваться бы...

Мелентий Талыг перед приходом зрителей показывал нам, а главным образом Похлебаеву, великие свои таланты. Зрительный зал занимает лишь треть балагана, остальное — буфет и комнаты для игроков. Похлебаев умел строить! Комната, сразу начинавшаяся за сценой, подковообразно завешана коврами, и у стены ее длинный стол.

Мелентий Талыг в золотисто-серой рубахе, подпоясанной кожаным ремнем, сидел за столом. За ковром вполголоса хор пел «жалобное». Хор решено не выпускать на сцену, а иметь только для веселья игроков.

Талыг держал в руках три карты. Прищурясь, он показывал нам шестерку бубен, даму червей и короля треф. Он репетировал знаменитую ярмарочную игру «Самсон». Дама червей и король треф находились в его правой руке, шестерка в левой; поднимая немного руки, он просил заметить порядок карт. Он бросал карты на стол. Влево от нас лежала шестерка, дама в середине, король справа.

— Тут мы их перемещаем по несколько раз. Мы их запутываем. Пашка, не порти пейзажа, не проявляй азарта, не мешай сбираться толпе. Если Всеволод отказывается сопутствовать, Пашенька, делай вид, что не знаешь меня.

Переместивши карты, Талыг предложит на пари любому зрителю узнать, где находится дама. Публика рассмеется, вызов не примет, боится.

— Тогда выступает Пашка... Господи! Веселей смотри! Морду сделай добродушную и простую.

Пашка, будущий деревенский приказчик, выкладывает полтинник и указывает карту. Он выиграет пять раз. Он уйдет, получив от Талыга семь рублей. Публика остается довольна, простачок взял! Едва лишь он скроется, как найдутся желающие играть.

Вечером мы действительно дождались этих «желающих». Теперь Мелентий Талыг действует по-иному. Бросая карты на землю, он изменяет их положение. Шестерку кидает на прежнее место, а на второе, взамен дамы, он кладет короля, на третье — даму. Уловка эта, вследствие быстроты его рук, совершенно незаметна. Когда карты открыты, взамен дамы вы всегда видели короля. Проиграв ставку, закладчик хочет отыграться.

Перед вечером Талыг говорил:

— К игре, господин Иванов, нужно приступать холодно и спокойно. Из Ковалева или из Лягаева игроков не получится, им мешает страсть, а со страстью игрок не имеет счастья. Вот вы, Иванов, обладаете спокойствием и добродушной рожей. Если не со мной, так у другого учитесь, но быть вам шулером!

Приходили мастера с завода, конторщики, приказчики, мелкие торговцы — «ларники». Ковалев превратился в «телеграф». Он становился за спиной обираемого и условными знаками сообщал о его картах. Ему трудно делать вид, что он не интересуется игрой. Ночью он плакал и спрашивал у меня совета, как же быть

бесстрастным. Я читал ему отрывки из Волшебной библиотеки.

Если Ковалев смотрел на Талыга, то это обозначало туз, если на игру противника — король, если в сторону — дама, на стол — валет и т. д. Для обозначения мастей он действовал ртом: полуоткрытый — обозначал пики, сжатые губы — трефы, верхняя губа положена на нижнюю — черви, наоборот — бубны.

Таланты Мелентия Талыга возрастали. Он работал и скошенной колодой, и липкими картами, и наколотыми, и теневыми колодами. Он имел перстень с резервуаром для хранения светлых чернил, которыми он метил нужные карты. В перстень вделано заостренное возвышение с тоненьким отверстием внутрь. Вследствие волосности жидкость не выливается из перстня и только при легком нажатии в точке соприкосновения перстня с картой на бумаге остается крапинка. Зеркала, небольшие и выпуклые, скрыты у него в табакерках, часах и в трубке. Отовсюду он видит в этих отражателях сдаваемые карты.

Он гордится своими способностями, своей сухостью. Положив руки в карман, сутулый, хмурый, ожидая гостей, он шагает по комнате и говорит, что у него нет ни семьи, ни дружбы, что он зарабатывает деньги, дабы приспособить себе эту паршивую уральскую природу.

— Я ее подстригу! Соловьи у меня полетят садом с бубенчиками на шее. Хороший механизм не вредит природному голосу.

Старик Ломов сидит целыми днями возле «мастера Иоанна», рассказывая о будущем стеклянном цирке. «Мастер Иоанн» слушает его внимательно, изредка спрашивая:

— Когда же строить-то? Ты чего о материале не хлопочешь?

— Надо сначала обдумать. Выстроишь, а стекло от морозов и лопнет.

— Все вы только думаете...

«Мастер Иоанн» уже смастерил приспособление для Талыга. Он поместил ему в рукав жестяной ящик, охватывающий кисть. В ящике лежит колода карт. Когда ее нужно подменить, Талыг накладывает на ящик свою руку, затем незаметным движением давит локтем на кнопку механизма — и приготовленная колода выталки-

вается. Подлинную колоду захватывает и утаскивает особый зажим.

На сцене балагана Похлебаев разрешил нам делать все, что мы желаем.

— Вы поскорее кончайте, чтобы публика игрокам не мешала,— говорил он.

В особенности сократилась работа, когда Похлебаев услышал, что на ярмарку приехали екатеринбургские гуртовщики-скотоводы: Малков, Огибалов, Чудиновский и Шабаршин. Они гоняли стада с юга на север. Сейчас они возвращались в Екатеринбург, скупая по дороге почти весь скот.

Лягаев, багровый и трясущийся, кричал:

— Великого желания они пополевать!

— Для тайных покупок привезли с собой сто семьдесят тысяч наличным золотом, — подхватывал Пашка.

— А как их заманить сюда?

Мелентий Талыг заглядывал в лица женщин:

— Разве такими заманишь? У них вкус на морды избалованный.

— А если для них балаган редкость? Если они покровителями себя почувствуют?

— Из приказчиков они. Балаганы видывали.

Заманили вначале кучеров.

Мелентий Талыг играл бледный и спокойный. Кучеров напоили. Талыг проиграл им все свои паи и сбережения — триста пятьдесят рублей,— сумма, несомненно, громадная, для меня увеличивающаяся еще и оттого, что я не мог никак достать двух рублей на ботинки. Мои ботинки совсем развалились. Пальцы постоянно скользили по земле. Я прислушивался к разговорам о сапогах. Раз у воза с морковью я услышал, как мещанин, смеясь, рассказывал о чиновнике Игнатии Гиряеве — «из поляков», такого великого гонора, что он, «видишь ли, если ботинок чуть прорвется, выбрасывает».

— Где же он живет такой?

— По акцизному делу у нас живет,— ответил мне мещанин.— Все жалованье на ботинки тратит. Из-за того и жениться неспособен.

Я нашел домик этого Игнатия Гиряева. Я ждал долго. Вышел высокий мужчина, усатый, с наглым лицом и в ботинках, необыкновенно новых. Я шел за ним следом, думая, что он не скоро бросит свои ботинки.

Но я не знал и не встречал уже таких людей, и недаром я три дня дежурил возле его домика. Утром, в праздник, он вышел с рваными ботинками в руках. Он припас три пары, чтобы выбросить их непременно во время ярмарки. Выйдя, он оглянулся, ища глазами свидетелей. Он остался доволен моим лицом: оно показалось ему болтливым. Я жадно шел за ним.

Он остановился у помойной ямы, возле поповского дома. Размеры ямы, видимо, не понравились ему. Он направился к помойной яме управляющего заводом. Однако эта яма показалась ему чересчур велика. Он пошел к содержателю номеров, к мельникам, к кабатчику, он посетил ямы четырех кожевников. Так мы с ним обошли все помойные ямы, и наконец мы увидали жалкую школьную яму. Он даже не замахнулся ими, как замахивался у прочих ям. Он сплюнул, еще раз посмотрел на свои ботинки и свернул на базар, где продал их за рубль двадцать копеек, взамен чего приобрел бутылку красного вина. Он возвращался домой очень довольный, держа бутылку под мышкой. Я забежал вперед, остановился и воскликнул:

— Корону носите на пуговицах, а пьете публично: чиновник!

От строгого и злого моего голоса он остолбенел и выронил бутылку. Лицо он имел наглое, но душу смиренную.

9

Кучера, как и рассчитывал Талыг, объяснили екатеринбургским гуртовщикам причину своего похмелья. Купцы заинтересовались игрой, где даже их глупые кучера выигрывают по триста пятьдесят рублей.

Я приготовлял куплеты для пения. Слух у меня плохой, и с великим трудом перенял я от Пашки балалаечное дребезжание «Ах вы, сени, мои сени». Под этот мотив я и составлял куплеты. Там рассказывалось, как чиновник бережет ботинки,— но для того лишь, чтобы бросить их в яму. Затем:

Через форточку больного
Врач свидетельствует здесь,
Заражения лихого
Опасаясь приобресть.

Все мои обличения оканчивались припевом:

Берегете, господа-с,
Берегете вы карманы,
Не заметив, что у вас
В голове изъяны.

Куплеты и старательное треньканье мое на балалайке так и не появились на сцене. Не до представлений! Алчность охватила наш балаган! Действительно, обойди весь Урал — не продашь и одной телушки, а тут четыре купца скупают одним махом целую площадь, наполненную скотом! Для чего? На какие деньги? «Чума предстоит»,— сказал было Пашка Ковалев. «Какая чума?» Но Пашка Ковалев так испугался предстоящей чумы, что объяснений дать не смог.

Скотоводы ходили по ярмарке в чесучовых поддевках и белых фуражках. Были они обветренные, широкоплечие, важные. И в наш балаган они вошли важно. Заложив руки за спину, они любовались на карточную игру так же небрежно, как любовались на все, окружающее их. Вот приказчик, трогая сатинетовым рукавом свой длинный нос, выросший неизвестно для чего, вдруг выиграл семьдесят пять рублей. Купец Огибаев, что помоложе, сел небрежно за стол, облокотился на ковер и так лихо вытянул из кармана «катеньку», словно носовой платок.

Мелентий Талыг спросил:

— В каком размере испытываете счастье, ваше степенство?

— Испытываю на пятерку.

Петр Захаров молча вдвигал и отодвигал попеременно обе открытые руки, одна после другой, ладонями вверх, подобно действию подающего и принимающего. Только он не имел на лице услужливости и угождения, хотя и заметно было, что и его охватила алчность. И он еле удерживал себя от торопливости. И у него мысли перегоняли одна другую, думая, изыскивая способ захватить деньги раньше других. Филиппинский, от волнения весь мокрый, словно из-под ливня вышел.

Похлебаев сказал поспешно:

— Отменить представление! На раус не выходить. Караулить! Посторонних в балаган не допускать!

Челюсть у него вытянулась, и зубы были на виду. Он оглядывался, голос его охрип, казалось, что кто-то вот-вот опередит его.

Скотоводы играли ловко. Проигрывали они мало, да и Талыг осторожно «вводил их в поле зрения». Вообще в балагане преобладала осторожность. За коврами осторожно пел хор. Девицы осторожно подходили к купцам, выпрашивая «трояк». Купцы отмахивались, не глядя на них,— и девицы немедленно исчезали. Купцы тогда брали стаканы, не говоря о том, что им нужно: воду, водку или вино. В стакане оказывалось как раз то, что им необходимо. Скотоводы — собой подтянутые, сухие, привыкшие к бессонным ночам, когда гнали они из оренбургских и казачьих степей табуны по тысяче голов. В карманах их бешметов лежат револьверы. Голоса у них гулкие.

— На все имущество дерзаешь, Похлебаев? — кричали они.

— Дерзаем, ваше степенство. Ответить сможем и нашим имуществом, и братья тоже накопили не мало.

— Ой, врешь, Похлебаев! С братьями ты разделился. Вернуться тебе к ним голым!

Утром выяснилось, что скотоводы проиграли тысячу двести рублей.

Неимоверная жадность овладела нашим балаганом. Филиппинский то и дело подбегал к Захарову. От его торопливости тряслись стены и визжали половицы.

— Меня в дело поставить! Я б их давно обобрал. Чего Талыг тянет?

— Для тебя, Филиппинский, большая польза в том, что ты научишься думать молниеносно!

Петр Захаров добавил:

— При быстроте и ласке, Филиппинский, змея выползает из норы, а при грубости и медлительности — из башни выскочит последний ум.

В углу «мастер Иоанн» тоже утешал свою алчность: он делал новый инструмент для Талыга. Алешка Жулистов смотрел на стол, восклицая о формах, в какие на сто семьдесят тысяч рублей можно одеть человечество! Платонида увидала здесь возможность праздной жизни. Лягаев тряс руками и кричал, что он много видывал азартов, но такого... Ушло благоразумие Василисы! Утром в шесть часов, едва только солнце осветило розовым наш балаган, она качалась на косах. Внизу под трапецией без конца кувыркался клоун Анисимов. Все это — для успокоения.

— А ты что же, толстовские проповеди прочитал? — спросил он меня.— Тихий такой?

У стола скотовод Малков выронил из кармана «Екатеринбургскую неделю». Я подобрал ее, надеясь найти завернутые тысячи, дабы немедленно вернуть их. Тысяч не нашлось, но я прочел объявление, что в Екатеринбурге распродается цирк А. Коромыслова. Я показал газету Петру Захарову. Он мельком заглянул туда, чтобы вытащить «репку».

— Несущий жернов стонет, несущий сито тоже, Всеволод, стонет. Вот когда Павлу Ковалеву ехать за пани Мариной! Но кому смотреть, как играют? Он-то пусть смотрит, но скотоводы в игре чего ищут? Денег? Я, Всеволод, не зря изучал экстерьер. Если они скупают скот в таком количестве, то знают, кто им поручил скупать. Зачем же они играют? Сова, получивши глаза, попросила еще брови.

Я держал газету в руках, смотрел на купцов и думал о цирке Коромыслова и об Индии. Купцы мешали мне! Вот кто мог бы одним взмахом выбросить нам столько денег, что десятки балаганов с десятками факиров в неделю добрались бы до Индии. Поступок более достойный, нежели проигрывать деньги в карты, потому что выигранные нами деньги не суть пожертвованные для поездки в Индию. Однако к полудню скотоводы прервали мои размышления, так как вернули проигрыш, а к двум часам начали обыгрывать Мелентия Талыга.

Похлебаев бежал мимо меня за квасом для купцов. Взглянув в мое лицо, он вдруг сердито закричал:

— А ты чего спокойно столб подпираешь? Тебе понятно или нет, что деньги уходят?

— Не мои деньги,— ответил я,— да кабы и мои...

Он бросил пустую корзину на пол и взмахнул отчаянно руками:

— Не его деньги! Да ведь ты, гнида, облагодетельствуешься вместе с прочими, если вытащим эти сто семьдесят...— И он добавил теплым шепотом: — ...тысяч. А тут сказывают, будто едут шулера из Екатеринбурга. Ты понимаешь, шулера? Вдруг сообщат шулерам, где играют скотоводы. Попробуй не впусти! Шулера всему Режевску откроют Талыга. Предвижу я также, что найдется такая сволочь, которая укажет екатеринбургским шулерам дорогу к нам. А?..

Он посмотрел мне в лицо. Меня удивил не его разговор, а то, что я не заметил, как корзина у его ног наполнилась квасными бутылками. Он схватил бутылку за горло и постукал себя легонько ею по лбу.

— Коробку размозжу, будь хоть каменная! Отойди от столба! Делай лицо человеческое, мысли о приезжих шулерах прекрати. И на этих заработаешь достаточно.

— Да я и не думаю...

Я сел на табурет и попробовал читать печатающийся в подвале газеты роман Борна «Евгения, или Тайны французского двора». Немой ускользнул. Маркиза содрогнулась. За дверью шептались карлисты. В переулке, возле дворца маркизы, раздался выстрел. И хотя, перед подвалом, мелкий шрифт передавал содержание романа, все же нельзя понять, почему страдает маркиза, почему стреляют и куда ускользнул немой.

Мимо скользили балаганщики. Руки, карманы их, губы их бешено шевелились. Кто-то, с лицом совсем лиловым, бормотал другому на ухо, что к скотоводам уже приехали «ихние папаши», дабы отговаривать. Мало того, появился приходской их «иерей Алексей». Описывался даже рост его — весьма высокий; бородатый, крытый синей рясой, с желтым перстнем на безымянном пальце и серебряной цепочкой подле золотых часов, что со звоном.

— И жены, сказывают, приехали? — бормотал лиловый.

— Жены еще вчера приехали. Жены хулиганов нанимают, чтобы дегтем нам ворота мазать.

Выскочил откуда-то Пашка:

— А если прикажут подожечь?

Капитолина Пономарева беззаботно смеется:

— Вот кабы подожгли! Я тогда возле стога немножко испугалась, а тут, когда люди вокруг гореть будут, совсем, наверно, струшу. Я б сама подожгла, но ведь тогда не испугаешься. Или ты подожгешь, Всеволод?

Я отложил газету и сказал:

— Зачем мне жечь, если вы и без того сжигаете сами себя? Тем более, хочу попасть в Индию.

Я смотрел в лицо хористки, думая о несчастной пани Марине. Вот кто сейчас горько страдает и у кого тоже пылает сердце! Волоокая, стоит она возле манежа цирка, размышляя об освобождении прекрасной своей Польши.

Ее костюмы продает с молотка сутулый старичок в длинном черном сюртуке. У ног ее скулит черный пудель.

Пробежал Похлебаев, взглянул остро на меня и торопливо шепнул хористке:

— Нельзя допустить! Тебе что сказано?

Капитолина Пономарева потянула меня за руку.

— Сюда! Здесь они.

Мы оказались среди декораций пантомимы «Синяя борода», мною же составленной. Натянутые на рамы полотнища, размалеванные зеленым и пурпуровым, изображали замок ужасного злодея. Нам трудно рисовать деревья, и поэтому мы нарубили настоящих сосен и поставили их в кресты, как это делается с рождественскими елками. Возле замка, за тумбой, подле сосны, где Синяя борода должен упрекать в неверности свою жену, стояли хористки Елизавета Скукова, Мария Ландезен и «волосяное чудо» — Платонида Ломова. Капитолина встала с ними в ряд.

— Выбирай! — кричит Скукова.— Чего глаза пучишь?

Скукова, черноглазая, с узким лбом, смотрит на меня в упор. Она жаждет власти и соперников, но ищет их в областях весьма странных. Например, она хвастается, что у нее лучший наперсток по всему Уралу, и хочет, чтобы кто-нибудь нашел еще более лучший. Она груба и злобна, но полагает, что грубости у ней еще мало: кабы больше, так и жизнь куда б лучше.

— Ну, садись, сопляк, напротив. Ишь губы-то распустил! Баб увидал! А тебе понятно, что они приткнуться к тебе хотят?

Мария Ландезен застыдилась, покраснела. Собой она бела. Ей нравятся румяна, хотя она и без того краснеет каждую минуту. Она долго служила в кондитерской в Кракове. Она часто вспоминает пышные краковские вечера и теплые ночи.

— Зачем же приткнуться? — говорит она грудным голосом.

Капитолина Пономарева, как всегда, спорила со Скуковой. Сначала о женах Синей бороды — семь или одиннадцать, затем быстро переменила разговор: желтые или синие подвязки у Шурки Легат? Скукова и на такую чепуху сердится и грубит. Капитолина, смеясь, заговорила о вороньих гнездах: часто ли оттуда выпадают птенцы и можно ли есть воронят?

Скукова прикрикнула и сказала:

— Вот эту чебурешенку кладу я, Всеволод, на тумбу. Ты слушай. Эх, в морду бы тебе таким предметом, а ты им выбирать должен! Марья, не стыдись, не отворачивайся. Он хоть и унылый, но кто знает, не твоему ли стыдобству жить при нем?

Скукова с бранью положила на тумбу желтую брюкву, крупную, весьма тщательно очищенную. Брюквой с утра лакомились купцы.

Пономаревой бы поговорить о брюквах, Ландезен покраснеть, но Скукова, извергая ругательства, дрожа, говорит так грубо, что Капитолина уставилась на нее во все глаза, будто надеясь найти тот огромный страх, от которого можно «сразу околеть».

— Выбирай! Чего ты рот раскрыл, дурак? Ты брюкву возьмешь, а не свою голову. Той бабе, которой передашь брюкву, суждено — за тобой. Суждено и приказано — на всю ли жизнь, на час или на ночь, как ты хочешь. Понял, Всеволод? Господи, никогда я таких тупых мозгов пе видала. Ведь в тебя любая баба плюет! Радоваться, что получил приглашение, а он только ноздри шевелит!

— Извините меня, Елизавета Матвеевна,— сказал я.— Приходится думать совсем о другом.

— О чем же ты думаешь? Очень нам любопытно!..

Но я думал о том же самом. Я хотел, чтобы в голове собралось больше мыслей. Вначале я полагал, что это подстроено Пашкой, но довольно быстро я вспомнил сказку о прекрасном Парисе, яблоке и трех богинях. Только пришла в голову эта сказка, я тотчас же сообразил, что это работа Петра Захарова. Только он мог поставить возле тумбы, у стен замка, четырех девиц, только он полагал, что я знаю одни приключенческие романы, а не учил мифологии. Он сидит за кулисой и наблюдает в щелку! Нет, дорогой мой Захаров, простодушный дурачок исчез, и я подстрою тебе такое...

Между тем Елизавета Скукова говорила, выпячивая грудь и разглядывая мое лицо грубыми своими черными глазами:

— Машка конфузится да боится. Ишь ты, она привыкла к барсу, а тут вспыхнула у ней в груди настоящая любовь. Не знает она, как разговаривать с молодым человеком! У каждой из нас горит эта самая любовь на сердце. Между собой мы подруги. Зачем нам

драть из-за тебя волосы? Три остальные поплачут и подерутся позже, а пусть хоть одна получит счастье. Ты любви ищешь, Всеволод. Получишь и будешь благодарен! Лед с лица сойдет, будешь ты теплый и ласковый!

Мне хотелось им верить. Лица у них чистые и убранные. Скукова говорит, что если девица «ихнего порядка» обещает, так она возле парня держится. Приданое? Приданое, конечно, небольшое, да и жених не ахти как велик. Впрочем, хор добудет тебе денег. Она разрезала брюкву пополам, чтобы «оба поели. Каждому половинка,— вот тебе, Всеволод, и вся свадьба».

Я спросил с остатками ехидства:

— Прошлый раз вы, Платонида, пробовали меня для купца, а теперь для кого?

Я надеялся, что ей захочется болтать и сплетничать. Но Елизавета Скукова не дала ей и рта раскрыть. Впрочем, я плохо слушал Елизавету Скукову. Я понял, откуда появилась брюква. Похлебаев! Понятно его беспокойство, его боязнь шулеров. А что поделаешь, если нашелся в балагане предатель? Надо подкупить его самым дорогим для него. Деньгами? Что для него деньги? Самое дорогое для него — Индия. А что такое Индия? Страна. Мало ли стран? Любовь — вот что такое Индия! Скорей подкупайте его, скорей обыгрывайте, подпаивайте гуртовщиков!

Вот обыгранные скотоводы проснутся, хватятся денег. Прибежит полиция за балаганщиками, а от балагана — груда пепла! Балаганщики спалили имущество и скрылись! Ищи!..

Я смотрел в глаза четырех девиц, которые согласились пожертвовать собой для того, чтобы удержать меня при балагане, дабы я не привел екатеринбургских шулеров, жен, отцов и священников. Я думал: прежде чем полиция поскачет за вами, я приду к купцам и дам возможность всем балаганщикам получить за сто семьдесят тысяч давно искомое вами счастье. Я скажу скотоводам:

— Вас обыграл я.

И я укажу иную дорогу, чем та, по которой ускакали балаганщики.

Я смотрел на эту сочную желтую брюкву. Я был голоден.

Я взял половинку и поднес ее к губам. Девицы смотрели на вторую половинку. Они ждали, кому я укажу

взять ее. Глаза Платониды наполнились любопытством. Ах, как ей хочется рассказать обо всем, что произошло со Всеволодом в парке, возле стен древнего замка! Она капризно надула губки, и руки ее трепещут. Она сердится, что я размышляю слишком долго и не надкусываю брюквы.

Я отодвинул брюкву от губ и сказал грудным голосом, коротко и отчетливо:

— Будем откровенны. Девицы вы отличные. Если бы я обнял любую, то был бы вправе записать в тетради «Его тайны»: «Любовь, ты создала нас, чтобы любить!» Но вы торопитесь не к любви, а к деньгам. Вы хотите меня удержать от поступков, о которых мне даже думать противно. Вы разыгрываете грубую сцену, заменив яблоко брюквой! Будем искренни и расстанемся.

Я положил свою половинку брюквы на тумбу.

— Помните, что я не предатель!..

И вышел на крыльцо.

Мне необходимо отдышаться, подумать, чтобы поговорить с Похлебаевым.

Из балагана доносились восклицания картежников. Как обычно, солнце склонялось к закату, и, как обычно, было тепло, и я, как все прочие, «вдыхал полной грудью бальзамический воздух гор».

Тут меня ударили в загривок, и я прямо с крыльца, минуя ступеньки, рухнул в пыль площади, пушистую и широкую.

Я не торопился вставать, ибо узнал мастерской удар «грозного Иоанна». Однако удар был легким, так сказать, вступительным. Не знаю, сознательно ли он промахнулся, или просто торопился доделать свой аппарат, когда ему предложили удалить из балагана пустоголового Всеволода.

Я приподнялся на локтях, наблюдая за пылью, которая оседала возле капель крови, падающей из моего носа. Постепенно из пыли вырисовывались Уральские горы, скалы и леса. Я не торопился вставать, так как размышлял об уральском изобилии.

Хотя Урал и не столь подавляюще величествен, как почтенный седовласый Кавказ, хотя не имеет детски ослепительных красок Крыма и ландшафт его всегда спокоен, однако он изобилует как меридианами, так и православными соборами; долинами; бульдогами, легавыми, мопсами, сеттерами и дворнягами, почти по-

хожими на ньюфаундлендов; железной рудой; крикливыми подпасками; узкоколейками; изношенными кожаными подметками; широкими ноздрями, как у людей, так и у животных; изделиями из низших сортов пищи, бумаги и картона; гвоздикой; ледоходами; гарусом, весьма разноцветным; волдырями из-за крутых горных подъемов; мраморными пресс-папье; вязигой — хрящевым шнуром из хребта осетровой рыбы; спутниками изумруда: фенокитом, хризобериллом, александритом, апатитом, плавиковым шпатом, в то время как изумруд по зеленому цвету и прозрачности не уступает изумрудам Колумбии; винегретом изумительной окраски: из картофеля, огурцов, свеклы, моркови, причем все это полито уксусом, маслом, солью и перцем; асбестом, не уступающим канадскому, дающим крепкое и гибкое волокно, принадлежащее трем фирмам: барону Жирарду, Карево и торговому дому «Наследников А. В. Поклевского-Козелл»; дрекольем, хотя здесь отлично дерут также и розги, помимо местных бритв; свиным заливным: холодным кушаньем, подаваемым в студне; черноземом и суглинками; крепкой закупоркой бутылок: пробкой или втулкой, причем их здесь иногда обматывают еще проволокой, а сверху покрывают бумагой, осмаливают, обвязывают веревкой, заливают сургучом с таким расчетом, что когда вы откроете бутылку наливки, то в нос ваш ударит запах необыкновеннейшего состава, а если человек выпьет, то почувствует приятнейшую и необъяснимую пустоту, весьма отличную от той пустоты, которой он обладает обычно; чугуном и торговыми рядами; крупными дыхательными органами, находящимися в груди; пожарами сердец и крыш, в большинстве крытых тесом; сафьяновыми мерлушками; холодными закусками, из которых прославлены на весь мир селедка, икра, балык, сардинки, кильки, анчоусы, колбаса, ветчина, сыр, копченья, маринованные грибы, корнишоны, а также и конским пороком того же наименования, заключающимся в том, что конь «закусывает», то есть грызет все, что попадется ему под зубы,— например, в 1777 году, когда Ирбитская слобода была возведена в степень города и получила герб (кажется, серебряное поле с голубым Андреевским крестом) за то, что население ее, побуждаемое священником В. Удинцевым и писарем И. Мартышевым, отбило пугачевские войска, «несмотря на общий беспорядок в том

крае», то неизвестно кому принадлежащий рыжий конь съел соответствующий подвигу указ Екатерины II вместе с подштанниками целовальника, который привез этот указ, так что за то преступление «был конь тот бит кнутом до кровавого насморка»; хвойным лесом, а также и лиственным; полустанками; ревматиками, паралитиками, золотухой, рахитизмом и малокровием; скорняжным и овчинным промыслом; обжорством; куделью, солью, пером и пухом; закоулками; непочтительными иногородцами, склонными весьма к бунту; хождением «кубарем вследствие запоя»; картографией; метеорологическими станциями, а также изготовлением вручную спичечных коробок; словесностью и арифметикой; медно-слесарным делом: самоварами, подсвечниками, кастрюлями, топорами, подковами, ухватами, замками, ведрами, заслонками; ловчими птицами: соколами, кречетами и орлами; подорожниками и подорожными; вододействующими колесами и турбинами; разорениями, то есть крупными крахами; частями женского платья, в особенности лифами, весьма сладостными для взора и осязания жителей; судками для уксуса, перца, горчицы, растительного масла, сахара и соли; лихачами о шесть пудов; высотами в футах над уровнем моря; листовым железом; рябиной; производством якорей и окрестностями, которые видны на несколько десятков верст; лишаями и чугунным литьем Каслинского завода: пепельницами и бюстами государственных деятелей; озерами и склонностями обитателей оных в пьяном виде ходить нагишом, оканчивающимся обычно упорным говением и одышкой; мостами, деревянными преимущественно; кумысниками, также деревянными, как и почтовыми отделениями; замшевыми подмышниками; глухарями и лесными малиновками; платиной и серой полынью; подливками к жареному гусю; узкими глазами лавочников и узловыми станциями; отличной связью пластики гор с особенностью их населения, то есть их усами и бородами; земляникой и трактирами; гончарами и деликатесами; а больше всего Урал отличен,— и это мнение как исследователей, его посетивших, так и обитателей,— это удивительной способностью быстрой смены настоящего будущим, то есть почти мгновенного превращения настоящего в прошедшее, о чем я и размышлял, привстав на локтях и смотря, как улеглась пыль, политая кровью из моего носа.

Пока я думал об уральском изобилии, рядом со мной очутились, упав беззвучно в пыль, соломенная моя «собака», мои тетради и две шпаги. Я рассматривал все это, и мне казалось, что не стоит домогаться пая, который принадлежит мне в «XX веке». Я получил все, что хотел бы получить из балагана.

Я встал. «Лучше бы мне еще полежать»,— думал я, глядя на свои ноги. Ботинки мои совсем лопнули. Пора искать сапожника!

В селе мне встретилось несколько вывесок сапожников. Я заглядывал в окна, но, к сожалению, деньги были преимущественно «катеньки», да и то виденные у скотоводов. Так дошел я до конца села и остановился возле запертой наглухо кузницы. Железный ходок красного-прекрасного цвета упирался в станок для ковки лошадей. Тут я вспомнил коварного «мастера Иоанна», но мне не удалось предаться горечи воспоминаний, потому что очень хотелось есть.

Размышляя над тем, что же больше всего требуется: починить ли ботинки или же хорошо покушать, я вышел за село.

Миновав много десятин с прекрасными всходами, миновав тенистые рощи и крутые холмы, я пришел к глубокому заключению, что мне больше хочется есть, чем ходить в новых ботинках. К тому же ботинки совсем свалились, и я шел босиком, ловко ступая по теплой и высокой пыли. Вдоль дороги росли белые цветы. Чтобы разнообразить несколько горечь своего голода, я срывал цветочки и нюхал. К сожалению, голод не приобретал легкости и беспечности цветов, а по-прежнему остро резал мой желудок и дрожью падал в ноги.

С глинистого берега речки я видел, как в верхних слоях воды плавают отличные вкусные рыбы, по-прежнему не понимая того, что их пребывание в ухé было бы более осмысленно, чем в уральских омутах. Я напился. Под ноги мне попала лягушка, но, к сожалению, я, несмотря на все усилия, по-прежнему чувствовал отвращение к холодным животным.

Когда приближалась телега, я садился спиной к дороге и клал голову на колени. Мне казалось, что костистая моя спина и поднятые острые плечи должны внушать жалость, говоря: этому человеку нужно немного, несколько фунтов хлеба, без всяких приправ!

Как и прежде, мне трудно просить милостыню, хотя я и попрекал себя, что нет разницы, если ты вместо руки протягиваешь спину.

Поравнявшись со мной и разглядев мою спину, возчик вдруг басом кричал:

— Но, но! Сдохла ты, што ли?

И гнал коня в галоп.

Пробовал я сидеть, повернув лицо к возчику. Это вызывало в нем странные рассуждения, вроде того, что:

— Чего ты уселся у дороги лошадей пугать!

Или:

— А ты еще не сдох? Скажи пожалуйста, какой живучий!

Меня возмущало, что, благодаря голоду, они смотрят на меня так, как будто знают меня давно. В конце концов своими дурацкими шутками они заставили меня презирать их. Услышав стук колес, я спускался в овраг, или ложился в траву, или же делал крюк по пашне.

Ночь я провел в колке между берез, толстых и гладких, которые изгибом своих стволов образовали нечто вроде кресла. К сожалению, хоть я и владел толстыми тетрадями, наполненными, как я говорил самому себе, «огнем размышлений», но я не мог ими даже разжечь костра, потому что не имел спичек. Спустив ноги с березы, я думал об уральской природе весьма неодобрительно. Приятно смотреть из вагона, когда вокруг тебя поднимаются горы, но когда ты поднимаешься сам на эти горы, да вдобавок без куска хлеба...

Бедный Пим на горе!
Велико его горе:
Ему хочется есть.
В долине яств не перечесть.
Но удастся ли ему,
И вдобавок одному,
До нее добресть?

Я заснул, так и не «докрутив» стиха. Выспался я отлично, хотя во сне мне казалось, что по стволу ползут змеи.

Поковыряв кору в надежде, что оттуда потечет березовый сок, я решил, что береза не более милостива ко мне, чем остальная природа.

Впрочем, я шел отлично. Тому помогали прохладное утро, ветер с гор и пустынная дорога. Я решил в бли-

жайшем селе зайти к сельскому учителю и променять на хлеб все мои книги мудрости. Я начну с разговора о замечательном моем отце. Мы коснемся хождения его в Иерусалим. Если учитель религиозный, он умилится; если безбожник, он позабавится вместе со мной. Так от слова к слову доберемся мы до вопроса, одинаково сладостного для обоих: «А вы ели сегодня, молодой человек?»

Я поднимался в гору отличной березовой рощей. Стволы, белые и прямые, упирались в тугую землю, густо покрытую зеленой травой. Вверху колыхалась ярко-прозрачная листва, а над нею — бледные прозрачные облака. Я шел, размахивая «соломенной собакой» и разучивая беседу с учителем.

— Читаете ли вы книги мудрецов? — спрошу я его.

— Наша библиотека пополняется лишь «Русским паломником», а вы сами знаете, сколько там мудрости,— ответит он мне.

— Могу показать вам тетради, идя по которым легко пройти путь от Платона, мимо позднейших мудрецов, до скрытой мудрости факиров,— скажу я ему.

— Это чрезвычайно любопытно! У меня сейчас каникулы, и я рад бы познакомиться с мудростью. Но ведь это, наверно, чудовищно дорого,— ответит он мне.

— Какое же дорого! Краюха хлеба дороже и тяжелее моих тетрадей,— скажу я ему.

И вот тогда-то он поправит на носу стальные очки, вскинет бородку и, скосив серые глаза, воскликнет:

— Позвольте, а вы ели сегодня, молодой человек?

Взор его упадет на курицу, которая медленно шагает мимо крыльца. Он вспомнит, что курица и не несется, и не садится на яйца, тогда как собой чертовски жирна.

— Ловите ее! — крикнет он мне.

...Я протянул было руки, чтобы, в случае ловли фарфорово-белой курицы, не промахнуться, как позади услышал топот.

Закинув руки за спину и отложив ловлю курицы до того времени, когда телега минует меня, я шел, наклонив голову, беспечно и весело. Если не успел свернуть, то будем гулять!

— Факир! Всеволод, ты?

Я повернул голову. На меня смотрели грустные глаза Нубии.

Держа в одной руке очищенную брюкву, в другой ломоть хлеба, намазанный медом, весь в сиянии отличных своих зубов, ехал верхом Петр Захаров.

Молча подошел я к Нубии. Я хотел потрепать ее по шее, но вместо этого рука моя взяла ломоть.

— Или ты не мог его прикрыть бумагой? — сказал я с полным ртом.— Жевать невозможно, сплошная пыль.

Но, по правде сказать, мне казалось, что пыль способствует быстрому жеванию, так как лишает и хлеб и мед присущего им вкуса, а значит, и поводов для размышления. Затем я взял брюкву. Она распалась на две половинки. Я хотел было спросить, та ли это брюква, которую подавали мне хористки, но я никак не мог вспомнить, положил ли я ее тогда на тумбу или к себе в карман. Как бы то ни было, брюква показалась мне крошечной.

Тогда Петр Захаров достал из кармана яблоко.

Отстраняя яблоко, я сказал с обидой:

— Проезжай! Ты совсем перестал уважать меня, Петр: ты даже думаешь, что я не знаю мифологии.

Петр, вздохнув, сказал:

— Я и сам понимаю, что опростоволосился, хотя в последнюю минуту и заменил яблоко брюквой. Впрочем, должен тебе сказать, что они сами мне признались в любви к тебе.

Он слез с коня.

— Садись.

Я взялся было за гриву, но вдруг сказал:

— Не вернусь и отказываюсь от морального директорства.

— И не думаю уговаривать тебя, Всеволод. Вряд ли мы вернемся с тобой даже из Екатеринбурга.

Я вспрыгнул на коня, взял яблоко.

— Как же ты догадался о пище, Петр?

— Ты не даешь мне докончить любовное признание. Так как мы не вернемся, то я расскажу тебе истину. Платонида проболталась первой. Карточная игра, брат, у многих повернула души. Девицы они с мечтаниями, хотя, казалось бы, барсианство не должно способствовать возвышенным думам, как ты это можешь проверить хотя бы на Пашке, который обещал «мастеру Иоанну» пятьсот рублей из денег выигрыша, если тот саданет Всеволода, который, будучи догадливым, сразу убежит из села!

— Я ушел совсем по другой причине.

— Понимаю! Но ведь так думал Павел Ковалев. Ты слушай о девицах, а не о Павле Ковалеве. Ну так вот, как только у девиц всколыхнулись души, то они, естественно, стали присматриваться к людям, у которых душа подходящая к теперешнему ихнему измерению! Смотрят они, стоит возле столба Всеволод. С лица он не миф, но внутренности возвышенные и лишены алчности... Засосало им сердце...

— Ты полагаешь, что они разговаривали со мной серьезно?

— Утверждаю, что впервые в жизни они разговаривали серьезно, не касаясь, конечно, того случая, когда они начали ходить и восклицать: мама! Если б ты столь же серьезно подумал о них, а подумать тебе, я признаюсь, помешала моя глупая выдумка с яблоком, ты выбрал бы! Посмотрел бы я, как ты не поверил в ее перерождение, когда б лицо ее загорелось счастьем. Я убежден, что и скотовод не отмахнулся бы от нее тогда! Ты получил бы от скотовода несколько тысяч на свадьбу.

— Считаешь, Петр, что я способен торговать женой?

— Во-первых, Всеволод, она еще тебе не жена, а во-вторых, какая же это торговля, если мы охотимся за купцом? Или купец нас съест, или мы его слопаем. Да что спорить, раз мы не вернемся туда, а брюква и яблоко съедены!

— Я б не ел брюквы, считай я себя Парисом.

— Уверяю, Парис был довольно безобразен. Его украсили последующие века и усердные поэты. Главное, он уважал себя и свою балаганную работу.

Так, шутя и распевая легкие песни, мы двигались к Екатеринбургу. Горы были оранжевые, синие, затем все вокруг покрывалось теплым и серым, и вновь от востока прорывался фиолетовый луч, сменяемый желтым.

Нубия старалась не опередить своим шагом хозяина. Я любовался уральской природой и чувствами, которые ко мне питали барсианки. Пока курчавый павлодарец пел, я размышлял о любви. Напрасно он думает, что я не уважаю себя! Кому же мне передать яблоко? Правда, оно съедено, но разве мне так и не найти десяти копеек, для того чтобы купить новое?

Я передам яблоко Платониде! Мне нравится ее подвижность, ее способность то плакать, то хохотать, то впадать в гнев, а то быстро забывать все, как она, наверно, забыла сейчас и любовь ко мне. Ее сдерживает практичная и бережливая Василиса. А рядом старик Степан Ломов все время будет требовать стеклянного цирка. Старик теряет свои силы и скоро прекратит выступления, но все-таки он успеет передать мне тайны «клишника». Чем больше я думал о Платониде, тем для меня становилось яснее чувство, питаемое к ней:

— В сущности, я давно люблю Платониду.

Петр Захаров не удивился:

— Из Екатеринбурга мы ей отобьем телеграмму. Телеграмма, брат, вернее яблока. Храбр не тот, кто имеет яблоко, а кто имеет жалость. Яблоко всегда хочется съесть.

Он опять было раскрыл рот, чтобы затянуть песню, но я воспользовался случаем, когда после «репки» к нему можно было обращаться с вопросами, и он отвечал просто:

— Зачем, Петр, ты едешь в Екатеринбург?

— Затем же, зачем и ты, Всеволод. Только ты будешь посылать телеграмму о том, что любишь Платониду, а я — телеграмму о том, что приобрел коней в цирке А. Коромыслова.

— Тебе дали денег?

— С деньгами купит лошадей любой дурак. Правда, лошадей там не двести, а пока пятнадцать, ну, я все-таки куплю их без денег, и задешево. Смотрю, как ты стоишь у столба в задумчивости, и думаю: поощряешь шулерство, Петр. Нельзя!

— Верно!

— Но и купцов мне не жалко! Как быть? Если самому ввязаться в игру, я немедленно увижу, что Талыг жульничает, и сразу — в морду!

— Ты мог остаться зрителем.

— Я не мог остаться просто зрителем. Я сказал балаганщикам, что пока вы обыгрываете купцов, я приобрету на предполагаемые деньги цирк Коромыслова. Это был хитрый ход. Вряд ли бы они согласились на приобретение, выиграй бы они деньги. Я подумал: обыграют они или нет, а мне надо поступить так, чтобы выиграть цирк. К дверям нашего балагана, Всеволод, подошли счастливые и удачные события. Люлька, Все-

волод, отброшена! Ребенок «XX века» уже держит в руках пачку банковых билетов, и ты опять стоишь возле манежа цирка, Всеволод.

— Я вернусь туда не ради ребенка, который держит в руках банковые билеты, а ради того ребенка, который будет держаться за мою руку.

Он сказал с уважением:

— В предстоящем цирке, убежден, с такими мыслями ты даже у меня отобьешь любой предмет, не говоря о девушке.

Я простил ему все обиды! Я опять любовался им, его курчавой головой, пряничным лицом и его способностью запоминать все, что встретится. Вот мужик гонит корову, а Петр Захаров с одного взгляда узнает, чем больна корова и чем таких коров лечат. Он даст хороший совет и тут же нарвет целебных трав. Пройди хоть двадцать человек, а он способен вспомнить, что у третьего с краю надет сыромятный пояс с пряжкой, скрученной из проволоки, а к поясу привязаны кисет и молоток, что у шестого из кармана торчит «почаевская» книжка, что у восьмого — подстриженные рыжие усы и на желтом гайтане серебряный крестик. За плечами у Петра холстяная котомка, в ней синий фрак, ботинки и цилиндр. Он выхлопает фрак перед Екатеринбургом, свернет котомку и покроет ее газетой, а сверху положит цилиндр. Так он появится перед А. Коромысловым.

— Не махнуть ли нам вдвоем в Индию? — протяжно говорю я.

— У тебя слабо развито чувство товарищества, Всеволод. Мы придем туда со всем нашим цирком, вооруженные знаниями и машинами двадцатого века.

— Дурацкая мысль! — говорю я ему. — Неужели ты думаешь, что англичане не догадались привезти туда хороший цирк? Не сами ли мы находимся в шестнадцатом веке, а Индия в двадцатом?

— Тогда тем более скучно нам жить с людьми двадцатого века, так как люди из шестнадцатого, которые сопровождают тебя вместе с нашим балаганом, будут нам приятны и веселы. Впрочем, у нас еще много времени впереди, чтобы обсудить путешествие в Индию.

Где-то далеко с горы спускаются девки. Они поют.

Петр Захаров подтягивает им. Постепенно мы повышаем голоса и, сами не замечая того, ускоряем шаги.

Песня приближается. Девки спускаются к селу. Голос Петра совсем уже освоил песню. Вот он врезался в толпу. Он поет и в то же время показывает знаками, что нравится ему у этой вот пунцовой девки и чего не хватает у той, молочно-белой, и зачем вон та, опаловая, убрала то-то. На меня и на Нубию никто не смотрит.

Вот мы уже в селе. Девки, смеясь, расходятся.

В руках у Петра появилась крынка молока и груда шанег.

Он протягивает мне пищу:

— Питайся и размышляй. Помни, что принесшего воду презирают, а разбившего бутылку возвеличивают.

10

Круглая будка высотою в три моих роста припухлыми афишами повествовала о красотах и талантах екатеринбургских подмостков. Где мне обойти эту мачту, на которой как бы укреплены паруса, несущие этот город в необыкновенное! Я миновал много заборов с афишами, но круглая будка с ее обольстительным запахом клейстера остановила меня.

Цирк А. Коромыслова разноцветно сообщал о французской борьбе. Возле — громадный лист с калошей «Треугольника», хотя небо уже много дней сухое и высокое. Рекомендуется также посетить ресторан с «римскими террасами, увитыми розами», с открытой сценой, имеющий удивительное название «Золотой рог». Крайне удивленный, я прочел, что там выступают Антуанетта Сирбо и пани Марина Владычек с «каскадными песенками».

Цирку Коромыслова приходится туго! Иначе зачем бы уйти прелестной канатоходке Сирбо и скрыться круглым плечам пани Марины?

— Кони твои, Петр! Ты угодил.

Но тщетно я искал фрак и цилиндр Петра Захарова и разноцветные уши Нубии. Или праздничная толпа оттащила их от меня, или его так неудержимо влекло к цирковым коням, что он и не заметил, как я остановился возле будки.

Он не мог покинуть меня сам. Всю дорогу он веселился тому, что идет со мной. Он вспоминал Павлодар,

поселок Лебяжье, Черный выгон, самовар, раздуваемый сапогом, «XX век», существующий только благодаря Лебяжьему. С памятью, ему только свойственной, он смеялся над узкой коробкой черепа Степана Ломова, над толстыми ногами Стародубского-Тулупа, пушистыми бровями мадам Татариновой, пушистыми и глупыми ее пуделями. Он восхищался упругой мускулатурой балаганщиков, утверждая, что она возникла в результате долгих испытаний и что точно такая же мускулатура уже начала появляться у нас! Голос его звучал истиной. Дорога узка для него, и он часто сворачивает в сторону, гоняясь за молодыми птицами или прыгая в реку. Ему не хватает губ для рассказов, ему мало сорока верст, которые мы проходим в день.

Я перечел афиши. Возле синей калоши я долго изучал сообщение чайной фабрики «Торгового дома Кузнецова и К^{0}» и вновь уперся в ресторан «Золотой рог». На кухне, что под наблюдением французского повара С. Сосна, изготовляется кушание, которое ест пани Марина, А. Сирбо, Феофилакт Челпанов, знаменитый мастер русских плясок, Евдокия Воронцова со множеством цыганских романсов, жонглер Матильда Эзоп, г-жа Фридрих, обладающая даром удивительно свистеть, и г-жа Ольга Филосова с ее мимическими сценами в окружении прекрасных девушек...

Я долго стоял у будки, размышляя о достоинствах и недостатках французской кухни и русской дружбы.

Мне бы зайти в парикмахерскую, но тому мешали мои ботинки, которых, в сущности, не было, так же как и денег. О парикмахерской я думал исключительно из вежливости перед опрятными афишами и французской кухней, а направился я на толкучку. Я ждал Петра Захарова возле будки ровно столько времени, сколько ему нужно для того, чтобы купить не только лошадей, но и цирк. Так как он лошадей не купил, то ясно, что он придет на толкучку обедать.

Ожидая встречи, я предлагал екатеринбургским торговцам свои шпаги. Торговцы осматривали их пренебрежительно, ни один даже не пожелал взять удивительные шпаги в руки. Обжорный ряд вызвал во мне жажду. Кстати я вспомнил, что Петр Захаров увез наш общий хлеб. Надо полагать, он вспомнит о своем голодном товарище! Расхаживая между рядами, я мысленно осматривал все пространство дороги возле афишной будки,

но Петр Захаров не оставил там хлеба. Тщетно ждал я: он не принес его и на толкучку.

Припухлый господин, больше всех напоминавший мне омского торгаша, у которого я некогда купил две шпаги с маркою «Гамбург», показался мне добродетельным.

— Дайте мне какие-нибудь ботинки, а я оставлю вам, господин Климентов, в залог свои шпаги.

Полагаю, голос мой показался ему опасным. Он торговался не долго. Он выдал мне желтые дамские туфли на высоком и стоптанном каблуке, присовокупив нравоучение о вреде краж. Туфли едва влезли на ногу. Торговец сказал, что теснота — лишний повод к тому, чтобы я вернул быстрее деньги. Покупателей так мало, безработица так велика, что он согласен считать дурацкие шпаги за какую-то надежду. У него чрезвычайно плотная кожа на пальцах, которая, видимо, не очень склонна выпускать собственность.

Ресторан «Золотой рог» упирался в сосны, которые бежали от него на высокий песчаный холм, оставляя за собой песчаные дорожки. По этим песчаным дорожкам мимо веерообразных ковровых клумб, мимо клумб, похожих на мотылька или на холм, в центре которого стоит высокая сивая агава, я подошел к веранде, столь великолепно воспетой в афише. И точно, ее обвивали розы: желтые, белые, ярко-кармазиновые, опять белые и телесно-розовые. Для них очень годилось сухое солнце, но никак не годился я.

Я подошел к другому крылу ресторана. Весь ресторан сверху донизу окрашен в голубое ласковое сияние. В узких окнах, сверкая белизною фартуков, ходят широкоплечие татары-лакеи.

Щурясь и громко сморкаясь, я размышлял о том, что если в ресторане повар — француз, то директором непременно должен быть американец. Не Вальтер ли Брет, случайно?

— Мадам Владычек потеряла портмоне,— сказал я проходившему мимо меня лакею, брови которого показались мне чересчур строгими.

Я смотрел бесстрастно. Лакею не хотелось унизиться передо мной, и хотя ему было трудно, но он все же состроил бесстрастное лицо и сказал в достаточной степени важно:

— Обожди, солдат, на ступенечке.

Слово «солдат», видимо, казалось ему страшно унижающим человека. Я спросил его:

— А ты не за японскую кампанию медаль получил?

— За японскую,— ответил он скромно, и бесстрастие покинуло его.— Какие же это генералы! Обезобразили только наш мундир, и японцы гнали нас, как почтальонов.

— Зови, зови мадам! — сказал я строго.— У меня у самого отец был на сопках Маньчжурии.

Сев на ступенечку, я почувствовал усталость и длинную дорогу от Лебяжьего до Екатеринбурга, которую словно я прошел в один день. Мне хотелось пить. Ничего не стоило попросить у лакея стакан воды, но я не мог встать, потому что я утерял булавку, и носки у меня теперь соскальзывали, обнажая пестрое тиковое белье. Белые костюмы лакеев заставляли меня думать об опрятности! К тому же брюки мои чересчур коротки, и мне, пожалуй, выгоднее разговаривать с мадам Владычек сидя. Но едва среди пустых столиков, хотя и украшенных множеством цветов и хрустальных судков, я увидел круглые плечи пани Марины, ее бархатные очи, как почувствовал, что не разговаривать мне с нею сидя. К тому же я пришел к ней, чтобы просить, не порекомендует ли она меня в типографию!

Я одернул фрак. Стараясь выпрямить ноги, потому что правильным линиям мешали стоптанные каблуки, я хотел было напомнить ей о Павлодаре. Она, как бы стараясь затушить воспоминания, легонько дунула перед собой, склонила бархатную голову и спросила глубоким голосом:

— Вы за письмом?

«Даже если она принимает меня за другого, то и это отличный повод для разговора о типографии»,— подумал я.

— За письмом, пани Марина.

— Сейчас я его вам вынесу, пан Всеволод.

Кто мог писать мне? А главное, кто знал, что я приду именно к ней? Но пани Марина не так важна, как прежде. Несчастия, должно быть, усмирили ее, и она стала понимать, что Польшу не так-то легко освободить. Раньше она бы уже давным-давно принесла мне письмо и давным-давно ушла бы от меня, а сейчас она не прочь поболтать, и ей, должно быть, даже льстило, что я о ней отличного мнения, раз на ее имя присылают мне письма.

Опираясь нежными своими руками на белый переплет лестницы, по которому ниспадали красные розы, она сказала мне:

— К сожалению, пан Всеволод, у меня нет ни одного знакомого типографщика, чтобы рекомендовать вас. Даже муж мой не пишет мне. С грустью я признаю, что в Шадринске помогла уничтожить господину Филиппинскому ваше счастье, которое заключалось в двух немецких шпагах.

Я посмотрел на желтые носки своих туфель и сказал:

— Оно уничтожилось бы и без вас, пани Марина.

Однако ей понравилась дума, что она уничтожила мое счастье. Даже и спустившись с пышного манежа цирка, обитого бархатом, до крошечного полукруга гулкой ресторанной сцены, ей хотелось быть величественной. «Ах, где много кушаний, там мало славы!» — изредка восклицала она, обсуждая несчастья, случившиеся со мной. Ей было жаль меня, и жалость эта была для меня обидна, так как она не говорила со мной, как с равным.

После одного восклицания касательно горестей возле множества кушаний я сказал ей:

— Вам бы поработать в «XX веке», пани Марина.

Положив афишу на колено с таким расчетом, чтобы она закрывала концом своим мои упавшие носки, и тыча пальцем в то место, где стояла моя фамилия, куплетиста и разоблачителя тайн Бен-Али-Бея, я говорил ей глубоким тоном истины, которая охватила меня:

— Мы понимаем теперь, пани Марина, что такое служба. Нам обоим тяжело, но ни вам, ни мне нельзя рекомендовать возвращение в Павлодар, хотя мы там оставили весьма многое. Клянусь капитаном Лянгасовым, уральским изобилием, всеми замечательными людьми, которые посетили Лебяжье, клянусь и обещаю, что вы и я не вернемся в Павлодар до полного моего освобождения, так же как и до вашего освобождения, которое, несомненно, будет одновременным освобождением Польши. Не нужно думать о кушаньях, а нужно думать о славе, а также и об истине! Какой припев для куплетов: «Истина, ты нага, но, к сожалению, непривлекательна!»

Рядом с собой я услышал грубый хохот.

— Это наш хозяин,— сказала пани Марина,— он смеется так же сильно, как и танцует. Вот бы нам так танцевать, пан Всеволод!

Хозяин «Золотого рога» Феофилакт Челпанов одет во все серое и легкое, в руках у него тоже серое и легкое платье. Подвигая мою афишу к серой шляпе, пани Марина сказала, что наиболее важным в человеке она считает заботу о предприятии, в котором тот работает.

— Нельзя ли его испытать, пан Феофилакт?

Важность опять звучала в ее голосе. Эта важность повторяла, что полукруг шантана никому не унизителен.

Феофилакт Челпанов был немногословен.

— Пой,— сказал он мне.

Я не хотел обижать пани Марину, повторяя, что я пришел ради павлодарских воспоминаний. Но, не имея желания поступать в шантан, я пропел возможно грубо и плохо единственное, что я мог петь: «Ах вы, сени, мои сени». По правде сказать, все остальное я совсем не умел петь.

Челпанов рассмеялся еще грубее:

— Смешно! Глупо и деревянно, но смешно. Дам шестьдесят рублей. Петь будет в этом фраке? И в туфлях? Ты мне поешь все мои стильные комнаты, помимо екатеринбургской злобы дня. Кроме того, будешь петь биографии моих артистов.

— С биографиями семьдесят пять,— сказал я.

— Ну, пускай семьдесят пять. Тащи паспорт в контору. Подпишем контракт. Авансов не даю.

— Без аванса не поступаю.

Меня возмущали его расчетливый и грубый голос, его сильная и злая походка и бескровное серое лицо. Я говорил так же коротко и грубо:

— Аванс!

— Сколько?

— Пятнадцать.

— Копеек.

— Нет, рубликов.

— Ну, ладно, черт с тобой!

На верху лестницы он остановился:

— Савицкий! Имей в виду, костюм твой для сцены, а не возле роз.

— Ладно, уйду.

Я направился в беседку возле песчаного холма. Я ожидал, пока Феофилакт Челпанов еще раз поговорит обо мне с пани Мариной и заготовит контракт.

Лысый садовник с длинной рыжей бородой поливал коровяком розы. Я вспомнил сельскохозяйственное свое учение и сказал:

— При засухе предварительно полей землю водою, иначе воду из удобрения всосет земля, и само удобрение станет слишком концентрированным и обожжет корни.

— Вот еще один дурак навязался! — сказал садовник, не поднимая бороды.

Пани Марина вместе с приглашением Челпанова принесла письмо моего отца. Я держал письмо растерянно. Мое появление здесь мог предвидеть только Петр Захаров! Неужели он предвидел и мое поступление в шантан? Не для этого ли ударили меня по уху? Не хочет ли он, если сорвется в балагане, затащить скотоводов с их тысячами сюда, чтобы обыграть?

— После контракта вы присутствуете на репетиции, пан Всеволод.

— Благодарю вас, пани Марина. Я уже соскучился по репетициям. Полагаю, что вы не репетируете здесь голода?

Она не поняла мою шутку:

— Нас кормят превосходно, пан Всеволод.

Длинный голубой зал назывался «орлиным», потому что на потолке нарисованы парящие короткокрылые орлы. Здесь же стояла сцена. Остальные три зала назывались «гостиными». Стены и потолок темно-желтого цвета изображали египетскую жизнь, а на потолке умирала Клеопатра, — эту гостиную называли «Пересnастка». Вообще названия зал были мало понятны: «Рубрика» — черное с красным, сплошь замалеванное рыцарскими сценами, и «Снежник» — зеленое с фиолетовым, рассказывавшее об Италии.

В круглой красной комнате неподалеку от рояля полулежали на широком диване отлично откормленные и вымытые женщины в ярких платьях, с высоко взбитыми волосами. Изредка они лениво вставали. Тапер подвигал круглый табурет. Женщина, положив на рояль розовую, украшенную искусственными бриллиантами руку, выпятив грудь, притопывая ножкой, пела о том, что и как можно купить за «средние» деньги.

Через комнату протягивали проволоку. Иногда Антуанетта Сирбо внезапно вскакивала, взбиралась по бронзовой лестнице к металлическому стулу, от ножек которого шла проволока, и долго сидела там, ударяя носком в проволоку. Проволока гудела, и тапер старался подобрать к ней тон. Мне казалось, что актрисы не упражняются в работе, а допевают песни, которые почему-то не успели спеть вчера.

В противоположном от нас углу несколько купцов и какой-то необыкновенно бледный офицер в зеленом кителе, с полузакрытыми глазами, занимали кресла. Купцы говорили между собой вполголоса. Вдруг офицер выпрямился, открыл глаза и поднял кверху обе руки.

— Донашивать! — крикнул он.

Официант подскочил к нему с вином. Туго завитой тапер ударил плясовую. Толстая танцорка Анастасия Климшина, прозывавшаяся «Вятские поляны», любовница офицера, пустилась вокруг рояля. Она должна, танцуя, проскочить в щель между роялем и стеной так же быстро, как она скачет на свободе. Купцы вынули часы и по секундомеру следили за ней.

Антуанетта Сирбо в ярко-зеленом платье и желтом трико помахивала батистовым платочком. Пани Марина подошла к роялю той важной походкой, о которой она, наверное, думала, что это и есть подлинно присущая ей походка.

Феофилакт Челпанов, проходя через комнату, спросил:

— К завтрему залы воспоешь?

— Попробую, Феофилакт Иванович.

— Присматривайся к ним, Савицкий. Расписаны, как во дворцах, а ни одной песни нету: восемьсот шестьдесят рублей заплатил за роспись.

— Восемь рублей стоит, пожалуй.

— Ты не оценивай, а ты песни пиши. Роза вон — она пятак стоит, а сколько про нее песен написано.

До двадцати лет Феофилакт Челпанов служил кучером у екатеринбургского купца. В армии он был гусаром. Он отличался плясками и, вернувшись на родину, поступил в трактир «народным танцором». В трактире он быстро разбогател, — говорят, он так удачно проводил пьяного купца домой, что купец во всю остальную жизнь не пришел в память, а тем более не

вспомнил, куда девался тугой его бумажник. После этого Феофилакт открыл трактир возле базара. Через несколько лет он приобрел шесть больших домов, два мыловаренных заведения и давал крупные деньги в рост. Из деревни, услышав об его богатстве, приехала его семья. Он питал ее водой и хлебом, скупая у нищих «куски». Семья в шесть человек живет в двух комнатах под крышей, куда ведет лестница, называемая нами «в розницу». Там же у Челпанова кабинет и контора. Он сам покупает провизию для ресторана. Он спокойный, холодный и презирает своих «дам», которые признают любовь. Пани Марина чрезвычайно уважает его и старается доказать, что у нее нет любовника, не считая, конечно, тех, которые платят ей за песни, выдавая мужа своего Р. Азгерца за двоюродного брата.

— Он очень понимает в деле,— сказала она, когда Челпанов ушел.

— Понимает, а дал мне семьдесят пять рублей. Я в балагане получал больше.

— Прошу вас, не упоминайте слово «балаган», пан Всеволод! Это унижает и вас и нас. Затем, неужели вам мало семидесяти пяти рублей в месяц с обедом и завтраком, где дают по две бутылки пива?

— А?

Я сделал серьезное лицо и умолк, потому что г-жа Сирбо вскочила на проволоку. Я уважал серьезную работу и не мог не удивиться, что семьдесят пять рублей мне будут платить в месяц, а не за весь сезон, как вначале подумал.

Контора тесна, так что когда Челпанов разводит руками, он касается пальцами обеих стен. В углах пыль и паутина: Челпанов из презрения не убирает сам, но и прислугу, из опасения, что поймут тайны его преуспевания, не пускает сюда. Три окна позволяют ему видеть сад, веранду и кухню. Если он высунется и наклонится, то через нижнее окно он видит «орлиный» зал.

— Дайте-ка мне, Феофилакт Иваныч, контракт.

Я подписал прошлый раз контракт, не прочитав. С недоумением смотрел я в графу, где значился оклад. Действительно, Челпанов обязывался платить мне семьдесят пять рублей в месяц! Даже дядя мой Македонов получал у купца Лыкошина только шестьдесят рублей.

Челпанов говорил строго:

— Рассказывать будешь, что получаешь двести. Кроме того, сейчас вписываем добавочный пункт: лицо красивое. Со сцены после пения в зало не сходить.

— Да и зачем мне сходить?

Он дотронулся до моего носа:

— Нос тебя в публику не пускает. Издали она приклейного носа от настоящего не разберет, а если артист садится с нею рядом, она любит его лапать. У меня танцуют и поют только красавцы. Надо, чтобы публика утром, вспоминаючи свое пьяное безобразие, не стыдилась. И зачем ей стыдиться, если оно происходило в красоте! Ну, согрешил, не устоял перед красотой...

— А как же одежда?

— Одежда может быть как угодно смешна, по лицо чтобы красивое. Из-за чего цыган не перебили и позволяют им коней красть? Лицом пугают! Красотой! Понял, что такое «Золотой рог»?

Я пощупал свой нос и беспрекословно позволил ему вписать добавочный пункт. Меня наняли на три месяца. Я получу двести двадцать пять рублей, бесплатные обеды, ужины, комнату. Дрожащими руками я взял копию договора. Я взял Индию!..

Пани Марина внимательно прочитала договор. Она заботилась о предприятии, но в то же время ей хотелось позаботиться и обо мне.

— Как вы могли согласиться, пан Всеволод, не выходить в публику?

— Зачем мне выходить? Вина я не пью.

Удивленно спросила пани Марина:

— Зачем же вам тогда поступать в шантан? Главные доходы артистов — это десять процентов со всего, что выпьют гости. С пива вы немного получите.

Она шутила над моим пивом, которое за обедом и завтраком оставалось непочатым.

— И пива я не пью, пани Марина.

— И не курите, пан Всеволод? — спросила она, улыбаясь.

— Вам бы можно помнить, пани Марина, что я не курю.

Она вздохнула:

— Ах, с того времени жизнь так изменилась, пан Всеволод, что многие стали курить и пить!..

Она вынула из ридикюля тонкий золотой портсигар.

— Хотя вы молоды,— сказала она, раскуривая ко-

ричневую папироску,— но вы крепки душой, пан Всеволод.

— У меня в роду все такие...— И я добавил медленно: — ...куплетисты.

11

Шантанщики жили в двух крыльях, соединявшихся стеклянными галерейками с «орлиным» залом ресторана. Правый флигель занимали женщины, левый мужчины. Флигеля назывались «виталищами». Когда я спросил, откуда и почему попало сюда это церковно-славянское слово, мне объяснили, что некий игумен Липат и монахиня Агния украли большую казну и приехали в шантан кутить. Они закатили такую «камчугу», что за два вечера потеряли двести пятьдесят тысяч. Происходило это событие в Самаре, и уже оттуда пошло по всей России слово «виталища».

Комнаты в левом флигеле оказались занятыми. Хотели было сунуть меня в кладовую, но пол в ней прогнил, и когда хозяин, пробуя соврать, что доски его выдержат, слегка присел,— Челпанов провалился до пояса.

— Чего тебе с мужчинами жить? — сказал он тогда.— Еще научат «осетрину» кушать. Поселяйся с дамами, там, возле ванной.

— В одной комнате с дамами?

— Не в одной комнате, а ты будешь в одной комнате.

— Боюсь, Феофилакт Иваныч, дам по коридору смущать.

— Нашу даму смущают люди с доходом не менее трех тысяч в месяц, а краснеет она только перед миллионером. Ты не беспокойся, болезнью твоей ты их не напугаешь, но целомудрие благодаря тому соблюдешь.

— Какие мои болезни?

— Ну такие, при которых, известно, водки не пьют. Не ангина же!

— Господин Челпанов! Я лишен болезней.

— Почему же, господин Иванов, ты не пьешь водку и бесплатное вино?

Тут я вспомнил странную усмешку пани Марины и взгляды моих соседей за столиком. Я объяснял эти взгляды тем, что, когда официант взял от меня опорожненную глубокую тарелку, я вспомнил диккенсовского мальчика из приюта и повторил его слова:

— Сэр, нельзя ли еще тарелочку?

Лакей ответил мне:

— I'll serve you in a moment, sir! [1]

Оказалось, что лакеи говорили на трех языках. Это были инженеры, из-за безработицы поступившие в ресторан. Челпанов считал, что лакеи, говорящие на трех языках, привлекут посетителей. Когда я узнал об этих трех языках, я уже не хотел больше супа.

Получив аванс, я поверил в свой предстоящий заработок, в эти великолепные двести двадцать пять рублей! Поверив, я растерялся. Вместо того чтобы купить обыкновенные ботинки, я купил лаковые. Затем приобрел желтую шелковую рубашку, пышный зеленый галстук, но тут выяснилось, что на брюки уже у меня не хватает. Добавив полтора рубля, остаток моих денег, я обменял свои короткие брюки на очень длинные у того самого старьевщика, которому заложил свои шпаги. Шпаги помешали мне выбрать брюки впору. Я стеснялся старьевщика.

Когда я вошел в свою розовую комнату и увидал мягкую кровать, электрическую лампочку, тоже покрытую розовым абажуром, высокий умывальник с розовым мраморным столом, я одобрил лаковые свои ботинки. В зеркало над умывальником я увидел розы в саду. Я умылся, протер очки и надел свои ботинки.

Если брюки можно было завернуть и подшить, то с ботинками я ничего не мог поделать, как ни распускал шнуровку. В магазине они мне жали чуть-чуть. Робея,— опять-таки из-за коротких брюк и довольно ветхих носков,— я не осмелился просить приказчика о перемене. Теперь, забыв магазинные приличия, ботинки словно капканом схватили мою ногу. Я прошел только через мою комнату до порога, затем попробовал встать на каблук, но не только каблук — иные положения моей ноги никак не освобождали меня от клещей.

Багровый, со слезами на глазах, вытянутый, прошел я через террасу, увитую розами, и через песчаную дорожку, будто посыпанную битым стеклом и мелкими гвоздями, я еле добрался до зеленой железной скамейки.

Я сдернул свой фрак. Укоротил брюки.

Я распустил галстук.

---

[1] Я обслужу вас в одну минуту, сэр! *(англ.)*

Ботинки по-прежнему давили и давили.

Тогда я снял их, поставил перед собой, а за ними свои ноги. Колена вплоть до ботинок прикрыл фраком, а сверху положил серую свою тетрадь.

Пани Марина качалась на террасе в плетенке:

— Вам жарко, пан Всеволод?

— Не столько жарко, сколько привычка, пани Марина. Я пишу стихи всегда в рубашке, но мои ступни и голени требуют тепла.

— Вы пишете стихи? Я полагала, вы их снимаете из печатных сборников.

— Я не такой идиот, как вы думаете обо мне, пани Марина.

— Зачем же? Мне жаль обезображивать ваши иллюзии, пан Всеволод. Однако они уменьшают траекторию вашего полета и делают взор ваш несколько тупым.

— Я мог бы обойтись совсем без траектории, только бы мне попасть в цель, пани Марина.

Но и пустые ботинки, и тщательно прочтенная газета «Екатеринбургская неделя» не помогли мне, а только увеличивали траекторию. Тщетно мерил я ладонью четырехугольники будущих куплетов. Тщетно стояли передо мною вычитанные события: член управы Алашеев потребовал у дежурной фельдшерской ученицы земской школы, чтобы будущие фельдшера, увидав его, вставали из-за стола и раскланивались с ним; екатеринбургские дамы решили заняться благотворительностью и уничтожением дурных пороков, а для этого отказались употреблять белила, румяна, корсеты; городская дума решила уничтожить барышников, запретив им скупать сельские продукты раньше двух часов дня, и наконец,— разве не смешно придумано? — екатеринбургские аптекари ходатайствуют перед управой о следующих мероприятиях: проходящие мимо аптеки люди платят за это удовольствие двадцать пять копеек, рядом живущие пятьдесят рублей в месяц, а кто появится в аптеке с капиталом менее двадцати пяти рублей, предается суду, как виновный в оскорблении действием, все же остальные граждане обязаны болеть в году одиннадцать месяцев...

Пришлось пропеть куплеты, составленные еще в балагане: о теще, о зяте, о зубном враче. Челпанову сказал:

— Роспись внутри меня шевелится, как червь. Дайте мне, Феофилакт Иваныч, опомниться и забыть ошеломление. Роспись серьезная, а куплеты мои смешные.

— Почему же посетитель не смеется на них?

— Посетитель ваш пьян.

Он уважал пьяных людей. Уважал он и себя за то, что многих мог сделать пьяными. Поэтому он сказал мне менее сурово:

— Ну, пиши, пиши. Ты вставай пораньше. На рассвете мысли приходят самые расчетливые.

— У меня столько перед глазами рассветов, что я мог бы рассчитать свою жизнь на множество лет вперед, Феофилакт Иваныч.

Действительно, я просыпался рано. Я лежал долго, закрыв глаза и стараясь думать о смешных куплетах, столь необходимых мне. С визгом хлопала дверь, и стройные шаги слышались в коридоре. Это проснулась Ольга Филосова. Я сразу вспомнил ее низкий лоб, удлиненные миндалины глаз, между коротким носом и круглым, как яблоко, подбородком постоянно улыбающиеся губы, длинную прямую шею и высокую походку. Кожа у нее слегка желтоватая, и красное платье похоже на контур. Утром я верил рассказам о ней, что знаменитый художник Александр Дорофеев, увидав дикую красоту ее, решил писать ее. Но чем дольше он приглядывался к ней, тем красота ее казалась ему недоступней! Он предпочел умереть, оставив картину неоконченной. Красота головы и шеи оказалась такой, что ни один его ученик и последователь не решился закончить картину.

Я лежал, прислушиваясь к шагам. Мимо моей двери дамы проходили в ванную, а затем на террасу завтракать. Они идут, размахивая тяжелыми полотенцами. Удивительно, но едва лишь раздавались их шаги, как дверь моя приоткрывалась сама собой. Цветущие лица их еще влажны, а мочки ушей совсем розовые. Сон и холодная вода создали на лице их нежную грусть, но вряд ли это чувство вызывает в ком-либо опасения. Грусть их не вечна, а отчаяние их не долго!

Голоса замолкали. Дамы уходили в сад или уезжали в город, чтобы вернуться к двум часам, когда начинались наши «репетиции». Мне тоже хотелось спуститься в сад, но тесные ботинки держали меня на террасе. Я сидел за столиком, положив тетрадь перед собой,

разглядывая готовый припев: «Истина, ты нага, но непривлекательна!» Припев отличный, но все-таки куплетов нет. Я размышлял также о смехе. Что могло рассмешить уральцев?

Неужели уж так серьезен мой гумозный нос? Я вынимал его из кармана и рассматривал. Он робко и мягко лежал на моей ладони. Я вспомнил, как приходилось придавать красивый изгиб дугам бровей, чтобы они без всякого промежутка от самого основания непосредственно продолжали боковые линии гумозного носа. Видимо, эта прямая спинка носа являлась весьма существенным условием для серьезного отношения к моим куплетам, так же как и для получения красивого профиля. Спинка носа находилась на одной плоскости со лбом, не отделяясь от него углублением. Эта спинка способствовала, несомненно, грустным стихам, но никак не веселым куплетам! Вспоминая эту спинку, утром откормленные полуголые женщины, смеясь, заглядывали в щель моей комнаты:

— Почему у вас такое грустное лицо, господин Савицкий?

— Не могу подобрать припева.

— А вы берите его на голос!

— Как я его возьму на голос, когда мой голос не годится для пения?

— Женитесь! Женитьба очищает голос,— смеясь, говорили они, и опять в щель я видел розовую штукатурку коридорной стены.

Пел я отвратительно. Неизменный мотив «Ах вы, сени мои, сени» надоел и дамам, и завитому донельзя пианисту. К тому же мотив постоянно убегал от меня.

— Пойте без музыки, черт вас дери! — кричал пианист.— Я буду играть в промежутке между куплетами, а вы в эти промежутки приплясывайте.

— Я, господин Башмаков, не умею приплясывать.

Пианист ложился щекой на клавиши и сквозь зубы говорил:

— Для каких дураков меня заставляете играть? Я консерваторию окончил! Поднимите ногу, стучите ею, ощущайте музыку!

Пока я поднимал ногу с медлительностью, свойственной разве Филиппинскому, ко мне подскакивало следующее четверостишие, и пианист поднимал руку, что зна-

чило — пора открывать рот. Я поспешно опускал ногу, тут не раскрывался рот. От плохого ли пения, оттого ли, что я не пил водки, или оттого, что постоянно смотрел в тетрадь, дамы быстро привыкли ко мне. Доверчивость их пугала меня. Добро еще, пока они вели беседы об уральском золоте:

— Золота давно нет, остались одни золотопромышленники,— говорила пани Марина.

Мне казалось, что она больше всех имеет оснований говорить так грустно. Иногда на рассвете, пока ресторан спал, я гулял по саду босиком. Однажды я встретил ее у входа. Она возвращалась необычной для нее грузной походкой — пожалуй, слегка пьяная. Поднимаясь по ступенькам террасы, она гордо посмотрела на меня. Я увидал, что плечи ее горят длинными багровыми полосами. Несколько дней она ходила, набросив на грудь и плечи кашемировую шаль.

— Это очень унылый летний сад, пан Всеволод. И в городе очень унылый разврат,— сказала она, поймав мой взор.

— Надеюсь, вы не рекомендуете мне это изречение как припев, пани Марина?

— Траектория вашего полета, пан Всеволод, уже приближается к глупости.

О золоте и богатствах обычно начинала Матильда Эзоп, жонглер и танцорка. У ней удивительные золотистые волосы, длинные, вьющиеся. Иногда мне казалось, что она способна бы удержать на них весь мир, тогда как Платонида Ломова держит только свою сестру. Зеленые глаза ее необыкновенно веселы, и она улыбается даже во сне. Весь город завидует ее волосам, и любая одежда украшает ее. Городские дамы приходят вечером гулять в сад, и все знают, что они пришли смотреть, какое платье у жонглера М. Эзоп. Ровно в десять часов вечера она облекается в парижское свое платье и величественно идет по дорожкам сада. Все расступаются. Тишина. Только слышно, как каблучки ее вдавливаются в песок, который еще не успел отпустить солнечного тепла. «Какие еще богатства нужны ей?» — думаю я, глядя на ее золотисто-белые локоны, и меня удивляет, что она новое платье надевает с боязнью, что она любит старье, и деньги увлекают ее только потому, что помогают ей сохранить старину. Она часто говорит о семье,

— Мне бы, господа, семью любить, она больше, чем кто-либо, сохраняет старинку, а тут произойди такое, что мамаша моя была гувернанткой и вследствие лютого случая родила меня вне брака, и это неожиданное появление так испугало меня, что я возненавидела новшества при самом моменте моего рождения. Собственность! — воскликнула она. — Собственность удаляет от вас множество новшеств, берегите ее, берегите, дамы, золото, как бог бережет вас. Одевайте в золото бога!..

Ольга Философа смеется над расчетливостью и религиозностью жонглерши. Мне нравится ее смех, он длинный, прямой и прекрасный, как ее шея.

— Любая собственность обременительна, Матильда! Даже любовь. Лучше всего жить нам, дамы, без собственности. Жизнь хитра, она хочет собственностью заставить нас отвернуться от полной чаши, потому что эта полная чаша достается немногим.

Женский нос, видимо, весьма отличается от мужского, размышляю я. Вот не помешал же короткий нос успехам Ольги Философой! Едва она появляется в своем розовом камзоле с голыми ногами, очень сильными и длинными, окруженная девушками, которых изображаемый ею маркиз должен соблазнить, как сладострастие мгновенно сушит души зала. Официанты бегут с бутылками. Купцы завидуют каждому, кто идет к ней. Мне смешна их зависть, но все-таки я ухожу в репетиционный зал, прыгаю, хватаюсь за проволоку и долго раскачиваюсь на ней. Когда я отпускаю проволоку, она низко жужжит. В это время Ольга Философа смеется со сцены и так крепко и звонко целует девушек, что в зале раздаются возгласы:

— Ух, он какой, этот самый маркиз!

Ей нравится сидеть на террасе, окруженной дамами, стучать ноготком в краешек тонкой розовой чашки, на дне которой лежат ломтики лимона. Прислушиваясь к тонкому звону чашечки, она старается говорить так, чтобы не заглушать этот звон:

— У меня все размышления, дамы, около такой полной чаши, которую все мы называем настоящей и необыкновенной жизнью и от которой все мы отворачиваемся. Благодаря этим размышлениям, меня еще в гимназии прозвали Философой, тогда как настоящая моя фамилия Герц, и мой папаша тоже был Герц, хоть и

Иван Карлович, надворный советник, имевший полукаменный двухэтажный дом и службы.

Я слушал ее, и мне казалось, что она действительно знает, где находится эта «полная чаша». Едва она появляется где-нибудь, как сразу же вокруг нее шуршат блестящие шелка, тонкие и красивые меха обнимают ее шею, золотые украшения ниспадают с ее рук, драгоценные камни колышутся возле ее ушей, и кружева, похожие на ее ресницы, заполняют даже ее сны. Ее постоянно осаждают любовники. Она отбивается от них букетами! Мало того — целыми снопами цветов. Она возила своих «маркизовых» девушек на Балканскую войну и говорила, что это уменьшило сражение под Гряньую на двадцать тысяч орудийных выстрелов и на три полевые батареи, не считая людских потерь. Все свои балканские «заработки» она прокутила в Петербурге в четыре дня. На Урал она явилась не ради золотопромышленников, а ради волчьей и утиной охоты. Действительно, я видел в комнате ее два футляра с легкими ружьями, и в понедельник она непременно уезжала на горные озера. Она скакала по дорогам на вороном коне в голубом костюме — и лохматые уральские мужики шарахались от нее. Постоянно вокруг нее — веселые собеседники, она хочет строить дома и церкви, ей нравится, когда ее обнимают красивые люди, платья ее издают блеск, она любит сукна с длинным ворсом и предпочитает голубой атлас. Денег она получает много, но их у нее никогда нет. Близорукий двоюродный брат ее Харитон Сырчин, мужчина с такой вытянутой шеей, что иногда кажется, не придерживай он ее руками, так голова свалится на спину, считается управителем ее дел. Когда приходят портнихи со счетом, Филосова говорит небрежно: «Деньги достанет управитель». И Сырчин достает.

«Маркиза» постоянно сопровождает Анна Фридрих, знаменитый свистун, про которую екатеринбургские купцы говорят: «Хорош соловей, купить бы мне тебя, но мамаша у нас религиозная, из-за надсмехательства над природой отравит тебя, госпожа Фридрих». Госпожа Фридрих, толстенькая, низенькая, очень уважает Ольгу Филосову. Одно только смущает ее: Ольга имеет несоразмерно великие ноги. Однако госпожа Фридрих говорит:

— У античных женщин ноги были еще больше.

Меня удивляют ее способности к свисту и ее чувствительность к шутке. Ей кажется, что каждый улыбающийся хочет уязвить ее самолюбие, и поэтому она бранится заранее, причем бранится чрезвычайно искусно и зло, находя в человеке такую обидную слабость, которую тот прячет глубже всего. Знавал я Скукову в балагане «XX век», снабженную тысячами ругательств всяческих тысячелетий. Она умела изображать ругательства и жестами, и междометиями, и личными местоимениями, умела сочетать это оскорбление и с вашими родителями, с братьями, сестрами, сыновьями, дочерьми, дядьями, тетками, дедами, бабками, всеми высшими и низшими знакомыми, друзьями, любимыми существами и вещами, но она поняла бы, что ее усилия тщетны, если б услышала хоть одну фразу госпожи Фридрих. Больше же всего госпожа Фридрих бранила и ненавидела труд, а в особенности почему-то труд в лаборатории. С наслаждением она рассказывала о том, как приезжает она в новый город, как ищет лабораторию, где сидят возле микроскопов ученые. Найдет, выберет кирпич потяжелее и — трах в окно!

Кривя не только рот, но и все свое тело, сплевывая и мурлыкая, она говорит:

— Махаоны! Сидят, уставились в стекло. Ищут! Я одному такому прямо кирпичом — в лысину! Он кровью облился вплоть до пят.

Я пробовал ей возразить:

— Пастер изобрел средство от бешенства, сидя возле микроскопа. Неужели, госпожа Фридрих, вам хотелось бы взбеситься?

— Деды и прадеды мои трудились, и никто до сего времени не видит в труде пользы, а они хотят пользу в микроскоп разглядеть. Не дам!

Она протяжно выкрикивала это слово: «Не да-а-ам!» Нижняя челюсть ее тряслась, все ее толстое тело дрожало. Мне было тяжело смотреть на нее.

Ольга Филосова говорила ровным голосом:

— Зачем же так бранить микроскопы? Вино, например, благодаря микроскопам, стало лучше, чем в древности, так же как притирания. Гречанки, я убеждена, мазались белой глиной.

Госпожа Фридрих подскакивала, сжимала кулаки, лицо ее делалось цвета умбры, бурое, землистое, и со-

всем странно лежали на нем черные брови, из-под которых светились злые глаза.

— Не дам! Не да-а-ам! Пусть перепрягают свои микроскопы!

Она поднимала вверх ладонь и кричала:

— Слушай!

И она испускала свой, как писалось в афишах, «коронный номер», — разбойничий свист. Купцы считали длину этого свиста по хронометру. Говорят, что она однажды тянула его две минуты. Силу его измеряли количеством людей, затыкающих себе уши. Если половина присутствующих затыкала уши, считалось, что свист не удался! Иногда, если извозчик вез ее медленно, она могла так засвистеть, что лошадь, прижав уши и задрав хвост, неслась с быстротой, ею самой не предвиденной.

12

Я просыпаюсь поздно, хотя накануне сговаривались с почтенным нашим поваром, Софронием Петровичем Сосна, подняться раньше:

— Вместе с солнцем уйдем рыбачить! Внутри меня горячности больше, чем в любом супе, господин Иванов. Рыбу ловить способен я целый год, пе отходя от удочки. Уйду!

— Зачем стоите у котла? Разучиться боитесь?

— Поварству разучиться нельзя. Конечно, службу потерять жалко, но иду, потому что остывать приучен быстро. Охоты много, а походки мало.

— Вы один раз попробуйте, а дальше будет легче. Мне так чудится, что вы ни разу не бывали на реке. Неужели нельзя испробовать?

Я спрашивал не столько его, сколь себя.

Повар смугл, длинные темные волосы его падают на широкие плечи. У него кривые руки и ноги. Словно пряча их, он переминается так быстро, что того и гляди уронит свой белый колпак и выскочит из халата. Ему чрезвычайно обидно, что он признается в слабости. Смущение его увеличивает пани Марина, которая, заботясь о процветании хозяйства, очень часто заходит на кухню.

— Трудолюбивейший, удивительнейший повар! — говорит она.

Софроний шепчет мне:

— За поварятами наблюдаю, вот и не могу собраться на рыбалку. Если взялся учить, так и учу хорошо! От них отступись на час, они всю жизнь пересолят и разжижат.

На кривых своих ножках он спешит к порогу кухни, чтобы оттуда преподать науку. Его бег отражается в бесчисленных медных кастрюлях. Ярче вспыхивают поленья в плите. Поварята делают по швам. Он спрашивает строго:

— Известно ли вам, молодые люди, как сделать мутное пиво светлым?

Мне нравится записывать его сообщения в серые тетради. Иногда я пробую прочесть ему, что записано еще до встречи с ним. Он хвалит мои записки, но перенести к себе их не желает. Мало того, мне кажется, он ненавидит эти полезные сведения. Тогда я спрашиваю, откуда же в нем те советы, которые он сообщает поварятам. Опять тихим и робким голосом он говорит мне:

— В юности папаша в меня вколотил! И вколотил так крепко, что я о своем папаше без трепета и посейчас вспомнить не могу. У папаши,— он из кавалеристов,— кулак был психический, весьма разнообразный, так что он с полным успехом выколотил из меня всю смелость. Осталось одно томление к рыбалке, потому что не доглядел папаша.

Он вспоминает необходимость и важность поварской науки, стучит кривой ногой о порог и поднимает оробевший было голос:

— Известно ли вам, молодые люди, что повар всегда сойдет за буфетчика, но буфетчик за повара — никогда!

Это изречение он выкрикивает потому, что ему не нравится мое замечание — сведения о пиве больше годятся для буфетчика или подавальщика, чем для повара.

— Сперва возьми полную горсть хорошей жженой соли и две бутылки воды. Затем соль эту ты распустишь в бутылях и вольешь в бочку. Вот и весь секрет! Пиво отстоится и перейдет в светлое состояние. Главное достоинство пива — чистота и прозрачность, а у нас в ресторане случается, что иное пиво не хочет быть чистым, хотя ему это и полагается по цене.

Пани Марина важно идет мимо кастрюль и чанов. Софроний уважает ее понимание хозяйства. Она способна по запаху узнать, хороший ли выйдет сегодня

обед. Повар говорит о ней: «Ноздря у них еще не испорчена ресторанными запахами». Увидав меня, она вспоминает, что все еще пою куплеты под один мотив: «Ах вы, сени». Она улыбается и говорит:

— Музыка, пан Всеволод, мне знакома мало, но можно попробовать научить вас хотя бы одним пальцем играть «Чижика».

Мне кажется, что «Чижик» поможет мне написать куплеты. Я иду за ней следом. Так как я посещаю кухню или рано утром, или поздно вечером, то я хожу без ботинок, в темных носках. Носки мешают мне идти с ней рядом, и это обстоятельство уясняет мне причины, по которым мне с ней трудно говорить. Кстати я вспоминаю письмо отца, полученное в адрес «Золотого рога». Отец благословляет мою женитьбу на актрисе. Он желал бы только, чтобы я женился на почтенной даме, так как молодая может покинуть мужа и тем испортить репутацию директора Лебяженского банка. Сам он за свою жизнь не видал ни одной актрисы, а тем более умеющей петь в ресторане, но в монастырях он встречал множество несчастных людей, которые клялись не посещать ресторана. Унижение в монастырях казалось ему совершенно несправедливым возмездием за те удовольствия, какие люди получали, кушая и развлекаясь. «Впрочем, не столько важен характер жены,— заканчивал он письмо,— сколько баланс банка».

Разговаривать о «Чижике» унизительно. Кстати я вспоминаю бледное лицо Платониды Ломовой, потому что затылок пани Марины богато украшен локонами. Пани Марина запрещает говорить о балаганах, но ведь косы существуют везде!

— Считаете ли вы, пани Марина, хозяйственным и ресторанным увеселением, если дама будет качаться перед публикой на косах?

— Разве к нам поступил такой аттракцион?

— Можно рекомендовать, пани.

Любой вопрос, как ни странен он, кажется пани Марине естественным, если он хоть немного помогает тому хозяйству, где она работает. Подумав, она спокойно и важно говорит:

— Не советую. Кому любопытно, кушая свиную отбивную, смотреть, как люди качаются на волосах? Нам необходимы, пан Всеволод, легкие, нежные увеселения, противоположные той разочарованной жизни, которую

вы встретите, едва лишь ступите за решетку нашего сада. Разве зря создан этот фон темно-зеленых сосен, которые как бы напоминают ущелья Уральских гор? Разве без смысла стоят перед вами розы, выписанные по моему совету из заграничных питомников?

Указывая на розы пухлым пальцем, она с наслаждением называет их сорта: штамбовые, пирамидные, кустовые, вьющиеся, ковровые, чайные, ремонтантные. Я внимательно рассматриваю газоны и центры клумб. Я вспоминаю древнее сравнение, убедительней которого вряд ли что можно подыскать! Ах, как правильно назвали эти свежие, веселые лица; эти золотистые тела; эти широкие плечи, выступающие из платьев, плечи, линии которых такие, как вечерние волны равнин, трогательные и еле заметные, где не встретишь скал и ущелий, а если поднимешься на пригорок, то видно на десятки верст; эти круглые спокойные овалы щек, которые, кажется, так и пройдут, не изменяясь, через всю жизнь; эти большие задумчивые глаза, которые, кажется, рассматривают не вас, а нечто, стоящее за вами, пожалуй, ваше великолепное будущее, — прекрасными розами назвали их!

— Петь можно так нежно, чтобы вас едва слышали. Смех должен быть такой нежный, акробатические номера допускаются изредка, чтобы как цветок на проволоке. О пан Всеволод, искусство шантана требует большого рассудка! Вы полагали, имеет человек голос — может выйти, петь и получать деньги? Нет, человек, не обладающий рангом привлекательности, уйдет со сцены ресторана. Здесь и пить нужно слаженно, чтобы, извините меня, вас не тошнило. Земная, но и неземная программа, пан Всеволод!

— К земному относится постель, пани Марина?

Пани Марина молчит. Не потому, что она не может ответить на этот вопрос, а потому, что вопрос этот невежливо сказан. Если б я ее спросил о любви, — о разнице земной и небесной, — она бы пояснила мне.

Пани Марина останавливает Евдокию Воронцову, которая поет у нас цыганские романсы. Воронцова постоянно перебегает с места на место и даже на сцене пересаживается со стула на стул. Так же она прыгает от мысли к мысли. В разговоре она любит возвращаться к судьбе своей подруги г-жи Фридрих, которая вносит горькую участь в ее воронцовские дни!

Пани Марина подозвала ее, чтобы прекратить со мной скучные разговоры. Воронцова понимает это. Она тянет меня за руку, садится рядом со мной на скамейку. От нее пахнет вином.

— Ты за ней, Савицкий, не ходи. Она пока надеется, что ты для хозяйства окажешься полезным. А ты способен подумать, будто она думает о другом. Испортишься.

Она шумно, по-пьяному вздыхает.

— Ой, и напьемся мы сегодня, Савицкий!

— Дорожите своей жизнью, Евдокия Федотовна. Если она не нужна вам, она необходима госпоже Фридрих. Зачем вы пьете?

От удовольствия она хлопает в ладоши. Собой она полная, белая, со вздернутым носиком и маленьким ртом. Мне нравится ее рассказ, как, будучи в училище, она призналась попу в фиолетовой рясе, с наперсным крестом, что созрела, что ей пора любить, что иначе нельзя. Она вспоминает с хохотом, как законоучитель пытался преподать ей законы любви.

— Ты полагаешь, Савицкий, что я дорожу своей жизнью ради госпожи Фридрих? Я государственных людей вижу возле нее и здесь понимаю смысл государства. Для меня государство важнее всего! Вот ты, Савицкий, вышел и поешь. Ты поешь, что гласные нашей думы могут спать спокойно, когда на главной площади города не горят фонари, когда дремлет пожарный, а где-то в переулке уже шагает пожарище. Все улыбаются, а у меня сердце обливается кровью из-за государства. Один я у тебя пониматель, Савицкий,— я!

— Какой же вы пониматель, если вы всегда слушаете меня в пьяном состоянии?

— Или вот горы...

Она волнообразно проводит рукой вокруг себя.

— Все горы на Урале прямо окованы золотом. Извозчичьим шинам быть золотыми! А тут — железа не хватает! Другие права — людям. На государство наложу такие обязанности, чтобы у него хрустело в голове, когда оно подумает о моей воронцовской судьбе!

Она вскакивает и бежит. Иногда она возвращается, иногда ловит меня за кулисами и в репетиционном зале, но всегда говорит об одном и том же: о государстве и об ее воронцовской судьбе:

— Шести лет обнаружили во мне сопрано...

Мы стоим у лестницы, которая называется «в розницу».

— Родители! — восклицает она, указывая на лестницу.

— А сколько у Челпанова детей?

— Я о других родителях. Да и мои родители тоже были хороши. Обнаружив сопрано, повели меня в табор. По мнению моих родителей, которые бывали только в кабаках, цыганские романсы самое выгодное дело. Цыгане, когда исполнилось одиннадцать лет, уступили меня старичку, который торгует церковными свечами.

— Нужно протестовать, Евдокия Федотовна.

— Протестуй, когда старичок бьет тебя по голове этими самыми свечами, а они и для пятидесятилетнего возраста покажутся тяжелыми. Натурального воска! Затем свечной торговец и златоустовский мещанин Павел Евграфович Звездин...

Она сооружает руками две скобки и, улыбаясь, говорит в них:

— Главный проспект, дом Клушиной, против театра!

И хохочет.

— Бросил Павел Евграфович свои свечи и пустился торговать музыкальными инструментами, и тогда ему потребовалась девица, которая обладала бы способностями игры на скрипке. К тому времени я подросла. Павел Евграфович уступил меня ресторанному владыке на берегу Волги в Самаре. Владыка направил меня в гимназию, считая, что с таким сопрано необходимо образоваться, перед тем как продать его в шантан.

— В двадцатом веке позорно торговать людьми,— смущенно говорю я.

Она меня поражает своей откровенностью. В гимназии она научилась только воровству и глупым анекдотам. Она стремилась попасть на сцену ресторана, чтобы посмеяться над купцами, которые не уважают своего государства.

Дотрагиваясь легонько пальцами до моего плеча, она откровенно сознается:

— У своих дам воровать нельзя. Я это понимаю. Сейчас вхожу, а у Матильды лежит на столе бриллиантовое кольцо. Зачем ей волноваться, если она его потеряет? Еще хуже, если она его найдет и опять потеряет. А я могу Ольге за все ее благодеяния сделать подарок.

— Как вы можете говорить не такое высокое!

Смеясь и приплясывая, она покидает меня. Мои мысли плоски и неубедительны для нее. Она может мне говорить все, что хочет, потому что если я изложу своими плоскими словами сказанное ею, то мне никто не поверит, никто не будет слушать.

Куплеты мои скучны. Ботинки мои тесны. Меня уже не прельщала ресторанная пища, а розовые откормленные женщины, жившие со мной о дверь, долго не давали мне заснуть. Из-за тонких перегородок доносилось их здоровое сильное дыхание. Как ни напивались они, утром дамы вскакивали с хохотом. Запевала Воронцова. От неудержимого здоровья и молодости подхватывала другая, и весь стеклянный флигель дрожал от песни:

За заморскою певицей,
Чернобровой, круглолицей,
Стал ухаживать корнет...
За любовь ее и ласку
Подарил ей — не коляску,
А свой собственный портрет...
Дева зло в кругу товарок,
Покрасневши, как морковь,
Говорит: «Дешев подарок!
Дешева его любовь!»

Но самое плоское лицо и слова делал я перед канатоходцем Антуанеттой Сирбо. Если я читал об ее выходе в программе, сердце мое наполнялось тоской. Едва она вспрыгивала на проволоку, как голос мой ломался, а часто мой номер следовал за ее выходом. Стараясь исправить свой голос, я помогал служителям и брал у них лаковый зонтик ее, незакрывающийся и цвета мыльной пены.

Раскачивая зонтик, я тихо говорил ей:

— На слабо натянутой проволоке труднее танцевать, госпожа Сирбо?

— Господи, как вы глупы! — восклицает она.

Тщетно искал я в себе веселую шутку:

— Глупость, госпожа Сирбо, часто происходит не от природы, а несчастных обстоятельств.

— Господи, он совсем глуп! Ну скажите же вы что-нибудь более связное!

Я умолкал, краснея. Она смотрела на меня пристально. Ей трудно понять, почему человек не способен связать более двух фраз. Она может по любому поводу говорить плавно и свободно целые часы, причем она го-

ворит не так, как, например, велеречивый Петр Захаров, обставляющий себя постоянно названиями городов, учеными, датами. Она говорит как раз о том, о чем нужно сказать, разъясняя это понятие поступками и мыслями, нам всем доступными. Г-жа Сирбо быстро и легко пишет, а в особенности любит разбирать юридические кляузы. К ней приходят советоваться купцы, промышленники, ремесленники. Адвокаты уважают ее. Они говорят, что она незаконная дочь Карабчевского.

Г-жа Сирбо уважает собственность.

— Собственность, господин Савицкий,— это необходимое и важнейшее условие оседлой жизни. Разве я не имею права на оседлую жизнь, не имею права снять плоды, наполненные золотом, с деревьев, посаженных мною? Я говорю о яблоках. Каждый лепесток на этом дереве вырос под моим глазом. Тень от этого лепестка в жаркий полдень должна ложиться на мое лицо. Собрать плоды в большие корзины, получить с них доход — вот обязанность человека, который уважает оседлость.

Но как странны средства, которыми Антуанетта Сирбо хочет приобрести богатство! Она верила в странный и смешной мир бестелесных существ, который будто бы окружал только ее одну, только ей шепча свои тайны. Ежеминутно духи, демоны, умершие люди тревожно кружились вокруг нее. Мало того, она не только верила тому, что можно с ними разговаривать, но что, при догадливости, можно их заставить служить нужному делу.

Я уважал ее. Но все же я осмелился спросить:

— Выходит, что дух Наполеона или Данте должен возить дерьмо, чтобы удобрять ваш сад?

Она воскликнула:

— И будет возить! Спиритизм есть овладение тайнами, которые принадлежат духам. Вы полагаете, демоны там, в преисподней, не сопротивляются, когда я их вызываю? Еще как! И все же я их заставлю создать и найти мне золото. Это золото лежит не в горах, а в бумажниках уральских золотопромышленников, господин Савицкий.

— А если вас бы в преисподней потревожили, госпожа Сирбо?

— Из преисподней? Пусть! Я буду весьма довольна. Я такому счастливцу весьма много тайн покажу, господин Савицкий.

Ее рыжеватые большие глаза пугали мое сердце.

Мне хотелось сказать ей, что если уж осчастливливать, то лучше сейчас. Но я лепетал:

— Спиритизм — это заблуждение, вызванное неправильным положением нервной системы.

— Зачем так говорите, господин Савицкий? Духи помогли мне найти призвание. Воспитатель мой председательствовал в земской управе. Он дворянин. Казалось, откуда бы возникнуть во мне мыслям о канатоходстве? Однажды натянули через двор тонкую бечевку, чтобы развешивать белье, а мальчишки обрежь ее и утащи. Тогда меня поставили караулить новую веревку, толстую и солидную, которую,— у нас хозяйство велось исправно,— натянули немедленно: не лежать же белью в воде, просиненному! Папаша распекает прачку. В кухне плачут и медлят выносить белье. Я стою у веревки, раскачивая ее рукой. Вдруг кто-то шепчет мне ласково на ухо: «Пройдись, ты обретешь свое богатство. Отважься!» Я встала и пошла. На конце каната я увидала физическую манифестацию, то есть облик духа. Я разговаривала с ним, прикасалась к нему, в то же время сознавая все окружающее. Господин Савицкий, я получила полное доказательство!

— Вас в детстве много били, госпожа Сирбо?

— Пусть бы попробовали! Зеницы и веки выдеру.

Я понимал, откуда у этой здоровой умной женщины гордая убежденность в своих способностях «письменного медиума». Она еще не перешла «стадию говорящего медиумизма», еще не впадает в транс, она, к сожалению, только сильно бледнеет, теряя контроль над движущей рукой! Тело ее раскачивается. Дух отвечает ей письменно. Горнозаводские чиновники, полупьяные и осипшие, с желтыми лицами, «создают цепь», и статский советник Игнатов, казнокрад и картежник, вставляет ей в пальцы карандаш. Карандаш толстый, тяжелый, бумага плотная и шероховатая, так как госпожа Сирбо пишет неясными буквами.

— Мы вместе и каждый порознь способствуем установлению общения между землей и высшими сферами,— говорит она мне.

В голосе ее чувствуется легкая обида, так как она дает советы о «желтом порошке» совсем чужим людям. Кто же ей даст совет? Она задумывается.

— Духи испытывают терпение и веру, господин Савицкий.

Иногда после таких слов она всматривается в мое плечо и, постукивая в пол каблучком, говорит:

— Почему вы такой унылый, господин Савицкий? Как вы обязуетесь петь веселые куплеты? Я боюсь, что вдруг дух скажет мне: «Савицкого подослали сюда торговцы из Петербурга для рекламы косметических мазей. А вид у него скучный, так как наши дамы покупают заграничную косметику». А мне дух рекомендует не пробовать вообще косметики, ибо я потеряю цвет кожи.

— Презираю косметику, госпожа Сирбо.

Она отходила от меня, и мне непонятно, шутит она или говорит правду. Куплеты мои казались мне тогда совсем скучными, и я считал справедливым то безразличие, с которым смотрят на меня в «Золотом роге».

И пани Марина тоже странно думала обо мне. Иногда она, вспоминая прочитанные книги по истории Польши, говорила, что мечта ее не брошена, что она в Екатеринбурге увеличила свои политические связи, что она возьмет меня в польскую армию. Иногда она язвительно упрекала меня, что мастер хорошего типографского дела кинулся в омут, где сплошное воровство и торговля живыми людьми, где трудно не пить водку, не превратиться в лакея. В такие минуты ей, должно быть, совестно, что она покинула Павлодар, что богатство не приходит, что надо лгать и мужа своего, господина Роальда Азгерца, выдавать за двоюродного брата. А вокруг люди очень плохого тона! Как бы вознаграждая себя за страдания своего хорошего вкуса, она поучала меня ровным и мягким голосом:

— Вам следует, пан Всеволод, как можно реже прибегать к жестам, всегда стараясь, чтобы жесты соответствовали словам. Не следует выражать свою радость чересчур громким смехом, сопровождая его хлопаньем в ладоши. Это значит относиться пренебрежительно к правилам приличия.

Я смотрел на ее широкие плечи, на мягкие ее очи и думал: «Почему ей никогда не придет в голову мысль о поездке в Индию, о пленительных факирах?..»

— Существуют и другие недостатки в манерах и осанке...

Она с презрением указывает на пустую деревянную урну, предназначенную для мусора. По аллее раскиданы окурки, конфетные бумажки, обрывки газет.

— Вы поворачиваете часто голову с одной стороны в другую, и это во время разговора. Вы склонны протягивать ноги на каминную решетку в гостиной! Но опаснее всего, пан Всеволод, склонность самодовольно смотреть в зеркало!

— Что касается зеркала, то тому виновны ноги, которые в ботинках...

Пани Марина не слушает меня:

— Вы склонны постоянно поправлять свое платье, класть руку на своего собеседника, водить во все четыре стороны света глазами, поднимать кверху глаза с аффектацией. Подмигивать! Пристукивать ногой! Барабанить в такт руками! Манерами, господа, называется тот образ действий в обращении с людьми, который составляет истинную вежливость или учтивость. Люди рождены для общественной жизни и завоевания, поэтому они обязаны беспрестанно стараться, чтобы взаимно понравиться. Кто не обладает приличными манерами, подвергается неблагоприятным для него суждениям со стороны общества, особенно польского.

Пани Марина повышала голос. Казалось, она говорила теперь не только со мной, но со всеми грубыми и плоскими людьми, которые встречаются ей на каждом шагу, наступают на ее платье, пачкают ее ботинки, смеются над ее любовью к батистам. Она говорила о поклонах, о прогулках, о том, как подниматься на лестницу, как держаться на улице, в экипаже, на пикнике и рауте, на балах и верхом.

— С такими знаниями, пани Марина, — говорил я,— вам трудно обойтись без самостоятельной Польши.

— Ах, еще далека моя Польша, пан Всеволод!

Пани Марина выходила петь свои песни тихо и скромно. Она старалась не привлекать внимания ни повышением голоса, ни жеманством. Она ждала, когда зал смолкнет. Она пела так, как будто просто и любезно отвечала на вопрос, но в то же время показывала, что она благодарна за внимание, с которым ее слушают. Ей было весело, но и веселость свою она тоже показывала очень умеренно. Но вот величественность ее возрастала. Голос ее строжал, хотя она пела ужасающую дрянь, вроде любимой песенки екатеринбургских коммерсантов, которую ей приходилось повторять бесчисленное количество раз:

У нас уж так давным-давно
Во всех домах заведено,
Что дамы все должны давать
Мужчинам руку целовать!
Так рассудил наш мудрый свет,
Таков обычай, этикет,
И потому, мои друзья,
По временам твержу и я:
Целуй, коль хочешь целовать,
Одну лишь руку можно дать.
Целуй, но только до сих пор!
Целуй, но помни уговор.
На днях меня один брюнет
Просил в отдельный кабинет.
Сидя со мной наедине,
Стал приставать с мольбой ко мне:
«Позвольте вас поцеловать
И гибкий стан мне ваш обнять?»
Но я ему, без лишних фраз,
Ответ дала ему тотчас:
Целуй, коль хо-о-чешь це-е-еловать...
Ах, ах, ах!
Одну лишь руку можно дать!
Ах, ах! Ах, ах!
Но самовольно не лезь! Не люблю!
Поцелуй сама я дарю!
Целуй, целуй, но только ручку мою.
Не-ет!.. Не-е-льзя-а.
Ах-ах! Ха-ха-а...
Тра-ла-ля-ля-а!
Что? Хорошо?

На ней всегда бархатное черное платье, желтая роза колыхается возле плеча. Великолепный ее стан чуть склонен, и голова тоже чуть склонена набок. И она стоит, поет и презирает всех.

Ух, как она их презирала! И голос, и стихи, которые она пела, были весьма посредственны. В поведении ее нет ничего шантанного, то есть того «голоногого пения», которое ежедневно видели екатеринбургские купцы и чиновники в «Золотом роге». Несомненно, они думали, что так петь способна только польская царица. Именно польская, а не русская, так как никто не мог поверить, чтобы у русской царицы нашлось столько величественности! Почти все посетители ресторана были в нее влюблены, да и трудно не влюбиться. Я стоял за кулисами рядом с искусственной пальмой и банановым кустом, реквизитом г-жи Фридрих, смотрел на пани Марину и думал, что напрасно она не едет освобождать Польшу. Она пела, и «ноздри ее раздувались от негодования и других страстей». Я много читал об этих раздувающихся

ноздрях, но тут я впервые увидал их и, мало того,— поверил в страсти, от которых эти ноздри могли раздуваться.

Поздно ночью приходил «двоюродный брат ее» Роальд Азгерц. Он обрюзг, глаза у него теперь красные, и он не пользуется у зрителей таким успехом, с каким он выходил в Павлодаре. Он много пьет и жалуется на плохую распорядительность Коромыслова. Мне хотелось спросить, купил ли Петр Захаров коромысловских лошадей, но я так презирал его, что, увидев его серый котелок, немедленно уходил спать. Он отнимал у пани Марины те десять процентов, которые она получала с Челпанова за то, что уговаривала гостей пить больше вина. За эти десять процентов ее раздевали и лапали купцы, торгующие гнилыми ситцами, торговцы киргизскими кожами, управляющие железоделательными заводами, адвокаты, чиновники или купеческие сынки, укравшие деньги. Она сидела неподвижная и величественная, все еще надеясь освободить свою Польшу. Роальд Азгерц, взяв ее деньги, уходил с Матильдой Эзоп в отдельный кабинет, и пани Марина знала об этом и прощала ему, а Матильда злилась, что она получает только десять процентов с того, что зарабатывает пани Марина.

В уборной, где я гримируюсь, громадное зеркало. Оно тянется от пола и до потолка. Зеркало это устроено для того, чтобы вошедший в уборную гость уже с порога видел себя во всем великолепии. Это зеркало — одно из тех удовольствий, которые он надеялся встретить здесь! Перед этим громадным зеркалом я снимал свой гумозный нос. Я сдувал пудру, от которой лицо походило на лицо статуи. Держа в руках ботинки, я заглядывал в коридор, и если никого не было, я рысью мчался в свою комнату. Я размахивал ботинками и горько вздыхал, и пар от моих вздохов ложился на блестящий лак:

— Бедный Артур Гордон Пим! Несчастный Артур Гордон Пим!

13

Если мне было чересчур тяжело, я шел на кухню. Рядом с собой на высокий табурет я клал свой бурый фрак, который обладал способностью не поддаваться утюгу

и пыли, а поверх его ставил лаковые свои ботинки, на случай, если в кухню войдет пани Марина или Феофилакт Челпанов. Повар Софроний орудовал возле плиты. Он вздыхал. Каждое утро он собирался на рыбалку, но перед рыбалкой надо получить от Феофилакта Ивановича распоряжение на обед, и лицо у хозяина такое грубое, что где там думать об ужении! Повар говорит:

— Взошел бы ты к нему в кабинет, Всеволод! Сообща усмирим его.

Я ему кажусь чрезвычайно смелым человеком, и то, что я отказываюсь идти к Челпанову, он объясняет малыми моими сведениями в поварском искусстве. Он рассказывает мне о кушаниях и напитках, о молочных похлебках, о том, как резать дичь и дворовую птицу, как приготовлять баранью ляжку по-султански, как хороши телячьи молоки с мелкими травами, как готовить свиную голову и голубей с лавровым листом и что такое соус, возбуждающий аппетит.

— Поднялся бы я с тобой, Софроний, но ботинки тесные, да и куплеты не подобрал, которые позволяли бы мне думать, что Челпанов выплатит мне жалованье, а не ограничится пятнадцатью рублями аванса.

Все же я сопровождаю его до челпановской лестницы «в розницу».

— Французское поваренное искусство, милый мой,— говорит Софроний, утешая себя,— заставит тебя с надлежащим аппетитом есть дальнейшие блюда, даже когда ты совсем не голоден или слишком много поел. Повар умеет и обязан дразнить человеческое брюхо!

— Один ли повар?

— Конечно, и хозяин ресторана много значит, у него тоже имеются духовные удары на аппетит, но повар для пьяного человека — гигант!

Под лестницей маленький чуланчик, в нем зимой держат дрова. На двери пробой без замка. Однажды ударил ливень, и мы зашли с поваром в этот чуланчик. Позже я всегда пережидал здесь, когда Феофилакт Челпанов вернется в свой кабинет, потому что каждого посетителя хозяин непременно провожал до конца лестницы. Склонив голову и выпятив тяжелую шею, Челпанов с последней ступеньки глядел своими серыми и жадными глазами на меня и говорил со злостью:

— Эх, уж эти мне куплетисты! Разрисовку видят, а поют свои картины.

В чуланчике я садился на сучковатое полено, испещренное ударами колуна. Лестница скрипучая, и скрипит она с каким-то особенным тщанием, злым и обиженным. Глядя на тех людей, которые ходят по ней к Челпанову, я понял, почему она называется «в розницу», так же как и слова Воронцовой о «родителях».

Однажды у лестницы собралось много посетителей.

Шантан ожидал Савву Устиновича Троегубова, главного акционера многих чугуноплавильных и железоделательных заводов, которые вырабатывали знаменитое листовое железо, шедшее даже в Англию. Передавали, что С. У. Троегубов скучает, что заказов у него мало и что на заводах ожидается увольнение. Для поддержки своей славы он привез в Екатеринбург многих своих заказчиков — частных и казенных — и намерен устроить великий семидневный кутеж, который на языке шантана называется «камчуга». Весьма особым мастерством камчуг славилась Ольга Филосова, поэтому выходило, что С. У. Троегубов никак не минует нашего ресторана: камчуга начнется отсюда. Камчуга Ольги Филосовой имела и ту особенность, что она, принимая свойственные ей грандиозные размеры, оканчивалась иногда смертью человека, пожелавшего ее узнать.

Повар Софроний долго вспоминал те кушания и приправы, которые могли возбудить аппетит, достойный камчуги. Он советовался с Филосовой и пани Мариной. Он не надеялся угодить. Люди избаловались, трудно возбудить их аппетит.

— Вот увидишь, кремом из белого вина будут руки мыть!

Я весьма жаждал посмотреть камчугу и высказал сожаление, что по контракту не обладаю правом спускаться в зал.

— При камчуге контракты недействительны,— сказал Софроний.— Тут не только что ты, а и повара пьянствуют вместе с гостями, а часто даже приглашают кухонных мужиков!

Вот почему повар Софроний спустился с лестницы весьма задумчиво, забыв окрикнуть меня. Вместо обычного клочка в руках у него — три громадных листа, сплошь исписанных кушаниями, которые должен приготовить. Я хотел было идти, но возле чуланной двери стояла розовая рубаха хозяина. А вдруг он скажет:

«Спускайся в зало», и «камчугисты» потребуют от меня особых, «камчужных» куплетов!

Я присел на сучковатый пень.

Феофилакт ходил по свежему песочку, поскрипывая хромовыми сапогами, почти до подошвы залитыми плисом штанов. Феофилакт приготовился к «плясовому» выходу, потому что камчуга начиналась всегда неожиданно: Савва Устинович со своей компанией мог явиться в семь утра и в четыре дня. Пожилая женщина в синем платье, забыв на скамейке кашемировую шаль, побежала к нему. От куртины шла к разговаривающим молодая девушка с глазами свинцово-серыми, строгими и решительными.

— Не тесните мои мысли, мадам,— с тихой злостью сказал Челпанов пожилой женщине,— сами понимаете, какая предстоит камчуга, а от вашего предложения может произойти убыток.

Пожилая женщина ответила так же тихо:

— Никакого убытка, Феофилакт Иванович. Мы тоже понимаем склонности Саввы Устиновича.

— Вы понимали склонности, мадам, когда он был молод и когда вы тоже не были философ.

— Замолчите! При моей дочери...

Он грубо засмеялся, оскаливая мелкие зубы и прямо глядя в свинцовые спокойные глаза девушки.

— Попросите, мадмуазель, чтобы ваша мамаша оставила меня. Она еще удручается! Нашему заведению не так важна невинность, как умение петь. Пропой она «аминь» по-своему, я ее на отличный фураж поставлю и немедленно допущу к Савве Устиновичу.

— Не оскорбляйте нас вслух! — воскликнула пожилая женщина. — Мы имеем отношение к чиновничеству.

— Я тоже имею отношение к чиновничеству, госпожа Костромина.

Девица поправила и без того аккуратно лежавшую пелеринку. Лицо ее было по-прежнему спокойно, и попрежнему прямо смотрели свинцово-серые ее глаза.

— Мы попозже зайдем, мама,— сказала она.

— И попозже разговор будет такой же! — вскрикнул им вслед Челпанов.

Затем к Челпанову подошел длинноволосый старец из Горного управления. Он сказал на ухо Феофилакту Ивановичу, что дети его подросли, что требуют денег и что самого младшего он уже встретил в трактире. Ста-

рец боялся, что дети его могут попасть в «Золотой рог» и, если им не показать истинной жизни, и в особенности того, как ужасно волочиться за шансонетками,— они погибнут!

— Покажи им, Феофилакт Иванович, что ваши дамы получают деньги, живут пошлой мещанской жизнью, что возвышенного здесь не имеется, что камчуга — глупая горнозаводская выдумка...

— Театров для вас устраивать не буду,— сказал Челпанов чиновнику. — Детей хотите познакомить с Троегубовым?

Высокая белокурая дама, положив тонкую руку в белой перчатке на перила, мягким голосом сказала Феофилакту:

— Просто ужасно необходимо, Феофилакт Иванович, заработать эти деньги. По ошибке муж их пропустил и может за это пострадать. Ревизия не понимает ошибок!

Еще тише она добавила, что у нее имеется хорошая фотография. И она подала эту фотографию, вложенную в узкий конверт.

— Муж снимал? — спросил Феофилакт.

Она кивнула головой. Ей необходимо торопиться. В ее несчастии поможет только господин Троегубов.

— Не перепутал ваш муж книг,— сказал грубо Феофилакт, выставив вперед громадную челюсть,— деньги нужны вам. Ясно? Таких ко мне приходят десятки. У меня, мадам, сцена, а не свободный дом.

Рыжеволосый большеухий чиновник в коротенькой зеленой тужурке подвел к Челпанову низенькую толстую женщину. Чиновник шептал возле челпановского плеча. Челпанов долго не понимал; видимо, он впервые встретил такого. Чиновник заговорил громче. Он хотел иметь тройку белых коней, а также переманить кучера у Павла Лабзина. Тройка зачастую означает, что человек нажился на жульничестве, и тогда купцы бегут к нему за советом...

— Так ведь это же ваша жена? — сказал Челпанов, тыча пальцем в толстую женщину.

— Жена,— ответил чиновник.

— Так зачем вы ее любовницей называете?

— Для вашего удобства, Феофилакт Иванович,— сказал чиновник, одергивая зеленую тужурку.

Мне гадко было слушать все это. Я вышел из чуланчика, громко хлопнув дверью. Челпанов упрекал чинов-

ника в холодной, расчетливой подлости, а чиновник спокойно говорил ему, что он пришел посоветоваться к близкому по душе человеку, а тот вдруг — завидовать!

Недаром свинцово-серые глаза девицы показались мне решительными: через три часа пожилая женщина в синем платье, размахивая кашемировой шалью, подвела девицу к ресторанному роялю. Шесть мещан сопровождали девицу на испытание. Они присели скромно у дверей. Эти солидные и почтенные люди в опрятном и длинном платье, как заразы, боялись столиков, стоящих возле них. Они говорили друг другу на ухо, несомненно, весьма позорящие нас слова. Тапер ударил по клавишам. Семейство внимательно слушало, как поет сероглазая девица.

— Дочка? — спросил я.

Русобородый сюртук быстро ответил:

— Это дочь? Помилуйте! Привели воспитанницу свою Афанасию Беринову.

Давно принята от друга детства, над которым ныне цветет пятнадцатилетняя черемуха. Друг оставил немалые деньги на воспитание Афанасии. Они открыли салотопенное заведение, надеясь к совершеннолетию Афанасии иметь таких заведений штук семь, а заведеньице возьми да и лопни, как будто страна не нуждается в сале! Воспитателям быстро надоело домашнее пение Афанасии, они подумали: чем ей петь дома или у соседей, чем ей развращаться, гуляя с реалистами, пусть она поступит на службу. Певица в ресторане зазорное лицо, если у ней есть родственники, а когда ни родственников, ни друзей, ни салотопенного заведения,— кому важен зазор?

Девице Афанасии Бериновой тоже надоели воспитатели. Она пела старательно. Она благодарно потупила глаза, когда Феофилакт Челпанов сказал со злостью, что берет ее в учение с жалованьем ежемесячно семь рублей, а если госпожа Беринова уйдет ранее контракта, то названные ее родители уплачивают неустойку полторы тысячи. Родители спокойно подписали контракт.

Вечером на кухне собрались лучшие городские знатоки ресторанного дела, по старости способные только давать советы. Несмотря на чрезвычайно жаркий вечер, они сидели в высоких резиновых калошах и в теплых картузах с длинными козырьками. Повар Софроний

вспомнил свои рецепты, старики — свои, а Феофилакт бранился с продавцами фруктов, которые привезли хотя и «приличное добро», но требовали повышенных цен и отказывались брать продукты обратно, если «камчугисты» не приедут.

Челпанов бегал по кухне и кричал:

— Нет, ты увезешь их обратно, татарская твоя морда!

Возле кладовой шумно дышали битюги, бранились возчики, у которых кладовщик не принимал продукты, потому что хозяева не сторговались. Кухонные мужики звонко кололи дрова. Оркестр в ресторане никак не мог доиграть песню: все выбирал получше.

Продавец мяса ласково отвечал ресторанщику:

— Татарская моя морда действительно татарская, но я тебе скажу, Феофилакт Иваныч, что тебе на камчуге тысячи наживать. А я зря свое предприятие унижай, если ты не съешь моих продуктов?

— Возвышайся вместе со мной, а не отдельно! Ты хочешь нажить, когда «камчугисты» поедут в другой ресторан!

— Который возвышается в одно время, а который в другое, Феофилакт Иваныч.

Увидав меня, Челпанов вздохнул:

— Ох, уж эти мне куплетисты. Ну, что в тебе есть беспредельного, господин Иванов? Чем ты годишься для камчуги?

— Принимайте продукты, а не человеческие души.

— Прошу вас, господин Иванов, не стой у входа. Мешаешь дрова носить.

— Тем лучше. Я буду сидеть на кровати, чтобы ботинки не жали мне ноги.

— И с таким человеком я заключил контракт! Пришло же мне в голову, что он чей-нибудь любовник, что он будет стараться в пользу моего театра, а он даже не способен описать уже нарисованные на стенах картины.

— Вашу грубость да для куплетов бы! — сказал я.

— Посмотрите в его лицо, в его нос! С таким носом, накануне камчуги, он еще позволяет лаяться!

Я ушел. Я сел на свою кровать и снял ботинки. На маленьком столике возле лампы лежало пухлое письмо моего отца.

Отец мой начинал письмо рассуждениями о банке и деньгах.

Определение денег, хотя и написанное на четырех восточных языках, не отличалось особенной точностью. Отец мой отделывался главным образом обильными восклицаниями вроде того, что, мол, кому не известна великая сила денег, кто не испытал на себе их власти, что они, мол, необходимы в условиях нашего существования, как воздух, которым мы дышим и который остается, даже при дурном запахе и обилии углекислоты, все-таки воздухом. Далее отец мой сообщал, что Россия вывезла в 1912 году из-за границы на 1171,8 миллиона рублей и ввезла тогда же товаров на 1518,8 миллиона рублей. Не будь векселя как международного платежного средства, России пришлось бы отдать за границу в течение года весь свой наличный запас золота. Следовательно, рассуждал мой отец, откройся Лебяженский банк, то его увезли бы за границу в 1912 году, а в 1913 — увезли бы «и меня самого, ибо полагаю, что я равноценен золоту. Иначе как же существовать Лебяженскому банку, если я не буду считать себя золотом? Он должен иметь золотые запасы, но их нет». Торговый баланс страны не удовлетворял моего отца. Он считал, что и ценные бумаги, то есть процентные бумаги или фонды, тоже находятся в паршивом пассивном положении и стоит задуматься над тем, есть ли смысл рисковать лебяженским золотом, то есть открывать Лебяженский банк в 1914 году. И отец мой отвечал с решимостью, выработанной многими годами разъяснений: есть смысл. Он пришел к глубочайшему убеждению, что помимо банковских махинаций — международных и внутренних займов (здесь отец мой вспоминал попытку неудачного займа своего у В. Е. Петрова, самого бестолкового из всех подрядчиков Сибири) нам необходимо увеличить вывоз продуктов из России. Заемные обязательства каждый может подписать! Скоро русская рента ни черта не будет стоить. Перед нами лежит обязанность умно и расчетливо вывозить!.. Дальше с крайним удивлением я прочел отцовское определение красоты. Прежде чем вникнуть в смысл определения, я повертел в руках гумозный свой нос и посмотрел в зеркало. Не упомянул ли я где-нибудь в своих письмах к отцу об одном странном пункте моего контракта, по которому не могу даже разглядеть камчугу? Как будто не писал. Видимо, отец задумался над красотой по иным причинам, чем его сын.

Отец мой писал, что во все времена людям свойственно стремлениe нравиться, казаться более красивыми, чем им отпущено природой. Для этой цели они выбирают иногда странные способы. Например, ботокуды продевают себе кольца в нос, китаянки завинчивают ноги в тиски, индейцы раскрашивают тело в пестрые цвета, древние египтяне, «так же, как и твои спутники по сцене, Всеволод», подводят себе глаза и красят щеки. Это «окрашивание» можно бы назвать одним словом: тщеславие, если б летучая тщетность этого слова не была тому преградой. Следовательно, понятие красоты остается более неясным, чем даже определение денег. Врач дает этому определению одну форму, художник другую, молодость — весьма не схожую со старостью, а время меняет это определение иногда на протяжении десятилетия.

Но если у нас еще нет твердых правил, математически точных в описаниях и в определениях красоты, то это совсем не значит, что вы должны перестать думать о красоте, так же как и о векселях. Тут отец мой нашел уместным привести по-арабски, с подстрочным переводом на русский, попытку определения красоты великого арабского поэта, который считал, что женщина должна иметь:

Четыре предмета черных: волосы, ресницы, брови, зрачки.
Четыре предмета белых: кожу, белки глаз, зубы, ноги.
Четыре предмета красных: язык, губы, десны, скулы.
Четыре предмета круглых: голову, шею, предплечье, лодыжки.
Четыре предмета длинных: спину, пальцы, руки, ноги.
Четыре предмета мясистых: щеки, бедра, ягодицы, икры.
Четыре предмета маленьких: уши, грудь, кисти, стопы.
Четыре предмета широких: лоб, глаза, поясницу, бедра.
Четыре предмета узких: брови, нос...

Отец мой не закончил перевода последней строчки стихотворения. Он писал, что не имеет времени, чтобы оспаривать чужие вкусы, а тем более арабские. Он привел эти стихи только для того, чтобы показать, что большая часть требований красоты целиком отражает состояние физического здоровья. Здоровье! Оно дает сияющий оттенок глазам и великолепный цвет лица, блеск молодости и свежести всему вашему телу, той свежести, которая нас очаровывает и привлекает. Болезни и жизненные излишки высушивают и обесцвечивают кожу, проводят борозды, морщины, красят в желтый цвет по-

кровы, выдергивают зубы и волосы. Можно спорить с арабским поэтом, но отец мой утверждал, что, несмотря на разницу во вкусах, все народы имеют одно постоянное стремление увеличивать привлекательность лица и тела.

И вот почему можно утверждать — самое ценное, что имеет мир после золота,— это красота!

Здесь отец мой возвращался к Лебяженскому банку, предварительно немножко поговорив о красоте нашего Иртыша, Лебяжьего и Павлодара, заметив, что эти местности только доказывают правильность его размышлений, потому что встречающиеся здесь люди — здоровые, с отличными зубами, молодые, красивые, веселые. Лебяженский банк обладает благодаря своим красивым вкладчикам второй ценностью в мире, то есть почти золотом. Но так как вся Россия вывозит золото, но никогда не вывозила своей красоты, вернее ее секрета, то Лебяженский банк обладает такой ценностью, какой в России не обладает еще ни одно предприятие. И если Лебяженский банк присовокупит к русскому вывозу секрет красоты, то это, несомненно, высоко поднимет ценность русских фондов. Дирекции Лебяженского банка весьма приятно прочесть, что театр «XX век» обладает тем же, чем обладает Лебяженский банк, то есть молодостью, а следовательно — красотой и в будущем — золотом, как только русские фонды поднимутся. Отец мой выражал только недоумение, почему переименован театр «XX век», название, которое более свойственно идеям Лебяженского банка, в «Золотой рог», мимо которого отец мой проезжал и о котором должно сказать, что он более приличествен для винных погребов, нежели для популяризации новых русских фондов.

Отец мой заканчивал свое письмо уверенностью, что сегодня «Золотой рог» вернется к прежнему, более меткому названию, а также отец мой уверял, что Лебяженский банк не только предприятие коммерческое, но и философское. Если удастся поднять ценность русских фондов, то ведь это будет не только банковским делом, но и новым, совсем неожиданным определением красоты, выражающимся в денежных единицах. Валюта прыгает и опускается «подобно мячику в руках искусных игроков»,— писал мой отец,— но кто знает, не создаст ли Лебяженский банк абсолютно непоколебимую

валюту? И не будет ли это наиточнейшим определением красоты? Не означит ли это, что в мире появился новый Аристотель?

Ох, как непобедим и пышен «Золотой рог»! Помимо прочей челяди и украшений семь искуснейших екатеринбургских слесарей в том темно-желтом зале, где умирала Клеопатра, приготовляют «раму последней степени», войдя в которую камчуга должна «шарахнуться» так, чтобы жизнь твоя разлетелась в клочья от восторга! В углах зала стоят «веселительные машины», секрет которых пришел издалека, издавна. Дотронешься до цветка, а на тебя сыплется мука или мел. Думаешь спьяна обнять чучело медведя, а оно стучит тебя веником по плечам и по спине! Тут же за столом сидят два восковых попа в рясах и с завитыми волосами. Чтобы не подумали о надругательстве над православной религией, попы именуются «раскольничьими». Один поп отвечает на заданные вопросы, а если спросишь другого, он раскроет рот и брызнет на тебя водой! Шарахнешься, ступишь на половицу,— оттуда бьет фонтан воды! Ты кидаешься в угол, а там попадаешь в мешки, где пух и уголь. Усталый, вздумаешь выйти подышать воздухом. Терраса уставлена кадками с деревьями. В сад тебе спускаться лень, ты садишься на скамеечку возле кадки, ибо на деревьях порхают искусственные птицы, поют, свистят, обольщают. Присел, а на тебя опять — вода!

Великая предстоит камчуга!

Феофилакт Челпанов показывает слесарям фотографию:

— На этого господина чтобы ни одной капли. Понятно?

— Савву Устиновича мы и без портрета знаем,— отвечают слесаря.

Ольга Филосова проходит, окруженная своими девушками, для которых сшиты новые камзолы, весьма голубые и весьма пышные. На Ольге множество кружев и лент, из которых выходят мягкие кисти рук, белые и запашистые. Она гордится своими руками и старается прикоснуться до всего, что способно понять их мягкость.

— Машины хитрые, — говорит она, оглядывая «переснастку»,— хитрые, но устарели. При царице Екатерине такие бы, пожалуй, годились.

— Мы знаем или ты знаешь уральскую душу?

— Душа у купца везде одинакова, Феофилакт Ива-

нович. Даже в Африке. Я вот надеюсь без машин, после камчуги, вместо этого шантана такой вымахать собор, чтоб сверху донизу весь во фресках!

Челпанов говорит, выставляя вперед свою громадную челюсть:

— Соборов и без того много, Ольга Николаевна. Вы лучше не постройками получайте, а чистыми денежками. Зачем зря заботиться? Забот и так вдоволь. Вот, к примеру, Воронцова. Ходит, а взгляд странный. Но — уберешь, а вдруг промышленники востребуют цыганские песни? Могут востребовать?

— Цыганские песни? Востребуют.

В «орлином» зале загорается полный свет, какой требуется для камчуги. Лакеи скользят под этим светом, невероятно задрав невероятно напомаженные головы. У входа сам Челпанов. Он пропускает в ресторан только знакомых. Заботы измучили его! Помилуйте, ведь каждый незнакомый кажется обладателем отличных сумм, а говоришь ему: «Ресторан нонче ремонтируется». Ремонтируется-то ремонтируется, но если С. У. Троегубов не явится?

Иногда Феофилакт Челпанов срывается с места, бежит за кулисы и поспешно говорит встречному:

— Дыхни!

От волнения ему кажется, что все перепились раньше времени. Он восклицает в ужасе:

— Ну, так я и знал! Надрался. Окатить его водой со льдом!

14

Около часу ночи.

Челпанов бледнеет, распахивает двери. Низко кланяясь в темное и теплое пространство сада, он подобострастно говорит:

— Пожалуйте-с, Савва Устинович. Давно готово-с!

Мы сразу узнаем Троегубова. Он плотный, седоватый, с упрямым и аккуратным лбом. Чем больше присматриваешься к нему, тем сильнее кажется он серым, незаметным, и трудно поверить тем рассказам о чудовищном упрямстве, которые ходят о нем по всему Уралу. Он думает долго, с трудом, а если уж решил, так никогда не отступится. Сейчас он признал, что листовое железо самое выгодное производство, и он будет выде-

лывать это листовое железо до самой своей кончины. Он потратит колоссальные деньги на рекламу, на улучшение дела, на подкуп людей, которые могут ему помочь заказами, на выпуск книжек о пользе листового железа. Англия уже несколько лет не покупает его железа. Известно! Это не потому, что она вырабатывает лучше и дешевле, а потому, что имеются происки врагов. Для их уничтожения надо привлечь в дело англичан. Много дней он раздумывает над своими чувствами к Мавре Степановне Патрушевой, наследнице крупчаточного фабриканта. То ему кажется, что она чрезвычайно любит его и ради этой любви овдовела, то считает своим врагом, который хочет «влезть в дело». Над чувствами своими он размышляет гораздо дольше, чем над предприятиями, вот почему хитрая Мавра Степановна часто сопровождает его: в прогулках прекрасно узнаются характеры. Мавра Степановна пожелала даже увидать камчугу, и Троегубов, видимо, доволен: расходы на привлечение английского капитала и на крупчаточную муку не пропадут.

Госпожа Фридрих выскакивает на сцену. Зал содрогается от разбойничьего ее свиста. Мавра Степановна улыбается и кладет руку на плечо Троегубова:

— Наши работники, когда везут ночью кули с мельницы и «шалости» опасаются, свистят куда более лихо.

У Мавры Степановны необычайно здоровые и сияющие зубы, и она очень любит показывать их. Длинное ее платье какого-то удивительного, крайне темного фиолетового цвета. На правой руке кольцо — большое, зеленое и, должно быть, очень дорогое. Но все же главным украшением остаются ее непрестанно сияющие зубы. Она спрашивает, улыбаясь:

— Камчуга в ресторане начинается?

Ольга Филосова отвечает:

— Камчуга кончается в ресторане! Начинается она где-нибудь в неожиданном месте. Коней!

Обе женщины смеются. Ольга Филосова хлопает в ладоши:

— Давай, Феофилакт, блеск и пышность! Распахивай двери!

— Коней! — подхватывает Мавра Степановна.

Тройки несутся по широкой булыжной мостовой. Городской грохот быстро промчался. Одноэтажная тишина сменилась лесной. Кони скачут по шоссе.

Я вяло слушал конский храп, щелканье бича, вскрикивания наших дам. Пыль заволокла тройки. Пыль кисловатая, и благодаря ей и тому, что я сижу в уголке тарантаса, сжатый узлами и коврами, мне казалось, что мы едем чрезвычайно медленно. В руках я держу балалайку, и когда сидящие впереди пытаются встать и, визжа, падают на ковры, я, защищая балалайку, поднимаю ее вверх, и она чуть слышно, по-комариному, гудит. Чудесный свет луны и неба похож на золу. В небо уходит смутное колыхание леса. Иногда на повороте встают перед нами скалы, на которых лежит прозрачная луна. Я оборачиваюсь. Тени наших троек скачут по скалам.

— Хозяин, давай свету! — кричала с передней тройки Ольга Филосова.

— Какого ей свету надо? — ворчал Челпанов. — Вот еще взял себе помощничка!

— Давай свету, хозяин! Золото мчится! Золото, а не самоцветы!

Челпанов ехал с нами, «мужским флигелем». Наша тройка казалась ему солиднее прочих, кроме того — вдруг мужчины дадут какой-нибудь важный совет? Камчуга началась не солидно, лошадей гонят вскачь, дамы кричат не то, что полагается, и костюмы на них не того цвета, какой надобно. Камчуга, по убеждению Челпанова, требует цвет танго.

— Золото едет! Нашла что орать! А если разбойники в кустах засели?

Из пыли наклоняется к нам голова верхового.

— Савва Устинович торопит! Надо, чтоб тройки одним махом выскочили на поляну перед озером.

Челпанов орет на кучера. Тарантас подбрасывает, качает, и повар Софроний жалуется, что при такой езде непременно побьют драгоценную посуду. Балалайка моя гудит особенно жалобно, и я говорю:

— Полагаю, что чистый воздух способствует моему разговору и выходу к гостям, Феофилакт Иванович?

— Отрасти себе сначала нормальный нос, куплетист, а затем мечтай о прибылях.

— Я не для прибылей, а для любопытства.

Тройки остановились возле озера.

Плиты из слоистого гранита, карабкающиеся вверх по склону горы, освещаются громадными кострами. У берега дрожат лодки, плоские и широкие. Неподвижно си-

дят гребцы. На носу и на корме лодок желтые фонари. Вода и небо за лодками тепло-фиолетовые.

Мужики раскрывают ящики с продуктами, расстилают большие и голубые ковры, которые кажутся теперь совсем белыми и легкими. Мужики шепотом сожалеют, что ковры зальются вином. Я всюду сопровождаю Челпанова: и по застенчивости и по любопытству.

Челпанов непрестанно гладит челюсти, плюется, хрипит. Подошли песенники.

— Начинать, что ли, Савва Устинович?

— Начинай: «Ах ты, верная, манерная...»

Но тут же Челпанов останавливает песенников:

— Другую! «Любила Маруся друга своего». Разве так поют хоры? Волки и те поют веселее. Воронцова, закати им для поучения «Я твоя всем нетронутым телом». Во-он!..

Песенники скрылись за каменными плитами. Когда они смолкали, из-за плит доносились звуки откупориваемых бутылок. Звуки эти невероятно громки, словно бутылки — размером с дом.

— Раскидывать увеселения, Савва Устинович? — спрашивает Челпанов.

— А это ваше дело. Вы обязаны заинтересовать нас, господин Челпанов.

Гости лежат на коврах. Внизу о гранитные камни ударяются крошечные волны, покачиваются лодки, шелестя о песок, иногда конь заденет копытом о телегу и с восторгом плюнет возчик. Ночь росистая, свежая, и многим, наверно, кажется совсем ненужной эта пьяная бодрость. К тому же и Троегубов кисло улыбается холодным и скучным лицом, потирая прямой лоб. Видно, что камчуга уже надоела ему, но что поделаешь, если реклама требует!

Англичан пятеро. Из них четыре собой высокие и мускулистые, а пятый, самый главный, сэр Бецольд, строением тела настолько кругл, что мне кажется, будто его долго укатывали и выпустили таким круглым, что он способен катиться вокруг всей планеты без малейшей задержки. Да и точно, он все время крутится — и по коврам, и по берегу, и по лодкам, и по возам. Сразу же, как только разложили ковры, он начал пить коньяк большими рюмками. Он хвалит пищу и плохим русским языком непрестанно повторяет, что:

— Очень рад, необыкновенно рад, что ваш лакей объясняются английски.

— Прикажете подать что-нибудь замысловатое? — спрашивает Челпанов.

— Холодной телятины.

Лакей говорит ему:

— I'll serve yon in a moment, sir!

От англичанина так и осталась у всех в памяти эта непрестанно повторяющаяся фраза: «Очень рад, что лакей объясняются английски», да еще то, что лодочники и возчики сперва звали его «Бес со льда», а затем «Бес да соль».

Челпанов хотел, чтоб все двигалось так, как полагалось бы по закону камчуги, но, к сожалению, Ольга Филосова так и не призналась ему, в каком порядке идут статьи этого закона. Челпанова многое раздражало. Раздражал его и Салахуддин Валитов, троегубовский гость и владелец многих екатеринбургских и пермских фруктовых погребов. У Валитова багровые глаза и циано-голубой галстук. Он кажется настолько согбенным, что того и гляди упадет. Расшевелить его трудно, так же как и выпрямить, разве только множество жирной еды слегка встревожит его. Он нюхает пар из котлов, в которых варится баранина, и глаза его багровеют!

Троегубов, уныло ухмыляясь, говорит:

— Ты б уж и остался при котлах, Валитов.

— Пища, Савва Устинович, правильная, но мы ленивы стоять у котла. Мое мечтание на десять баранов, но любопытно понять и английское мечтание.

— Все врешь из вежливости!

— Наша фруктовая торговля не может существовать без вежливости, Савва Устинович.

По коврам прыгают подвыпившие дамы. Они переодеваются в палатке, разбитой возле телег. Через каждые четверть часа они меняют платья, и так как им обидно кого-либо выпустить первой, то они выскакивают все разом. Однажды, когда они замедлили с переодеванием, возчики, «чтоб и деревня имела прибыль», вдруг пропускают из-за костров хоровод девок. Девки, взявшись за руки, долго поют что-то протяжное. Их никто не слушает. Валитов велит мне снять фрак, насыпать туда пряников и конфет и отнести девкам. Дамы визгливо гонят девок:

— Запахи разводить! Мыла сначала, умойтесь! Тоже, певицы!

Озеро изменилось. Оно приобрело легкие голубовато-зеленые тона, а желтые костры превратились в красные. По дороге, вдоль берега, ходили девки, допевая свою незаконченную песню, и песня эта, отдаляясь, казалась очень жалобной.

Валитов зажег электрический фонарик. Он пускал свет в лица тех, кто пил вино. Попробовал он пустить свет в лицо Троегубова, а тот сказал сухо:

— Карта вашего лица, Валитов, не изображает осмысленности. Прекратите шутки.

Валитов захихикал. Троегубов повернулся к четырем англичанам, которые сидели неподвижно и скучно на крепких складных стульях. Багровый свет костра щедро открывал могущественные черты глупости, которыми были украшены эти лица.

Троегубов сказал, широко махнув рукой вокруг:

— Мои леса!

Затем он показал рукой на Мавру Степановну:

— Моя задумчивость!

Англичане рассмеялись, хотя и не поняли ничего, а круглый англичанин пытался говорить с Маврой Степановной о крупчаточной муке. Она отвечала ему тугим и слегка хриплым голосом:

— Я-то в себе уверена, сэр Бецольд, мне известны свои права. По наследству мне досталась крупчатка, лучшая на всем Урале, известная далеко за его пределы. Но у меня старички родители, сэр Бецольд. Они утверждают — хватит тебе, помучилась без мужа, выходи за степенного человека. А разве степенного человека найдешь на камчуге, из которой редкий выходит без позора? Когда-то моему родителю, глубокоуважаемому староверу, на камчуге вымазали лицо чем-то совсем неприличным. А вдруг возьмут да выпустят голых девок верхом на конях? Кто после этого на тебе женится? Каждый тебя голой девкой посчитает.

Англичанин крутил руками и круглым ртом старался выговорить тщательно:

— Я очень рад: ваши лакей объясняются английски.

Мавра Степановна встревоженно посматривала на г-жу Филосову. Мавра Степановна всегда приобретала вещи не для того, чтобы обладать ими, а чтобы перепродажей их обогатиться. Перепродать Троегубова

можно, да приобретешь ли его? Кто знает, какие тайны распутства покажет сейчас г-жа Филосова?

Мне вспомнились пухлые большие мешки, которые ломовики возили через город на вокзал, что украшены продолговатыми фиолетовыми клеймами: «Фабрика крупчаточной муки М. С. Патрушевой». Завтра она непременно хоть на полкопейки, но повысит цену муки, дабы как-нибудь вознаградить себя за беспокойство. Думать это было неприятно, как и неприятно слушать рассуждения Троегубова:

— Мавра Степановна выбирали жениха, выбирали и все-таки как будто остановились на мне, так как я — плачу за все. Ешьте и пейте здесь до полной смерти! Требуйте какой угодно пищи! Я заплачу! Я трачу на сегодняшнее угощение многие тысячи и желаю, чтобы Урал получал радость. Ей, возчики, садись сюда, кушай, пей, пой!

Похоже, что он решил — «люблю Мавру», а более похоже, что хитрит, испытывает.

— Веселитесь и вы, Мавра Степановна!

— Веселитесь и вы, Савва Устинович!

Троегубов хлопал в ладоши, приплясывая, свистел, но и ему и нам всем чванство его казалось холодным и скучным. Едва он закричал эти давно приготовленные слова, как из-за скал ударил фейерверк. Лошади замотались у костров, но и это казалось заранее приготовленным. Высоко над нами в скалах установили два горных орудия, и когда вспыхивали огни выстрелов, я различал мундиры маленьких артиллеристов. В лесу готовили гигантские костры, дабы, когда тройки поедут обратно, Савва Устинович мог воскликнуть:

— Раз, два, три! Мой лес, и я его поджигаю. Смотрите, англичане!

Лес зажжется, а в соседней деревне давно приготовленные звонари искусно ударят в набат. Но и это «большое пылание» тоже будет чрезвычайно скучным, как и то, что в озеро, на счастье гостей, рыбаки закинули большую сеть, и рыба, которую выволокли на влажный песчаный берег, кажется заранее приготовленной, так же как и то, что шансонетки дерутся на ковре из-за брошенной им сотенной бумажки.

— Плохая камчуга,— сказал я Челпанову.

— А ты, куплетист, ешь, если не одарен способностью предвидеть.

— Ешь, пей! — восклицал Троегубов скучным голосом.

Я внезапно увидал, что в его аккуратном и подобранном теле движется громадный, как пропасть, темный, отвратительный рот с мелкими и гнилыми зубами. Троегубов сильно пьян, иначе б никогда не открыл этого страшного рта.

Мавра Степановна сияла возле Федора Мазеина, обладающего весьма широкой нижней челюстью, похожей на сани-розвальни. На нем голубые брюки, зеленая атласная рубаха с широким желтым гарусным поясом. В Екатеринбурге Мазеин владеет гончарно-печным заводом, выделывая огнеупоры, изразцы, дренажные трубы. Он исполнителен, трудолюбив, последователен, многодетен, и дети все нежные, исполненные красоты и — неправдоподобно глупые. Всему городу известно, что он жаждет пиров в необычайной обстановке, но по возможности дешевле. Сейчас он злится, что Мавра Степановна мешает «великолепной оргии, почти египетской».

Он тихо, сдержанно говорит ей:

— Я, Мавра Степановна, несу без протестов отпущенное бремя страданий. Новейшие исследования в состоянии моих чувств доказали, что мне непонятно, как эти люди могут жаловаться на тяжесть жизни. Все на свете отлично, раз так приказало видеть начальство и старшие.

— Старших я тоже почитаю, Федор Павлович.

— Мало почитать, Мавра Степановна. Я вот благоговею. Я робок, застенчив, хотя, как видите, собой велик и здоров. Если во мне разбережено желание, то характер мой меняется только на короткое время, стоит лишь старшему неодобрительно взглянуть на меня... Могу вам сынка предложить в женихи.

— Спасибо, выбрала уже.

Из-под горы несут громадные блюда. Два желтых фонаря освещают серебро и жир. Фонари останавливаются, и к блюду подбегает повар Софроний. Он склоняется, нюхает и, неуверенный в успехе кушания, робко отходит. Как, наверное, мучается он, что вместо рыбалки он должен готовить блюда, которые никто не ест! Мне жаль его. Два высоких мужика с широкими блестящими бородами ставят блюдо перед Троегубовым.

— Куда мне его?

На блюде лежит целиком зажаренный баран.

— А мы его по частям, Савва Устинович, по частям. Англичане есть могут.

Согбенный Валитов, выкатив и без того багровые глаза, наклоняется с кривым ножом к барану. Он отрезает много мяса. Он ест быстро, и видно, что он притворяется. Даже он устал от жира. Время от времени он схватывает вазу с фруктами и обносит гостей. Цианоголубой галстук вываливается на апельсины.

— Зачем вам не попробовать фруктов собственного моего погреба?

Я сижу позади всех, но Троегубов замечает меня. Он говорит холодным и скучным голосом:

— Куплетист, можете взять баранью голову. Она вполне подходит к вашим куплетам.

Я смотрел на плотный и теплый затылок Мавры Степановны. Когда Троегубов обернулся ко мне, я растерянно встал, подошел к нему с тарелкой, и он действительно положил баранью голову на эту тарелку. «Ах, хорошо бы,— размышлял я, неся баранью голову,— если бы эта баранья голова внезапно замычала и предрекла вам какие-нибудь глубокие мучения!»

Троегубов говорил мне вслед:

— Или, может быть, куплетист, вам еще сала добавить?

Я вернулся, протянул ему тарелку и сказал:

— Можно и сала.

Мавра Степановна улыбнулась всеми своими великолепными зубами.

— Зачем вы напялили этот дурацкий фрак, куплетист? В нем любой человек покажется вне каких-либо приличных форм.

Я одернул свой фрак и перевел взор на узкую ее стопу, которая уместилась бы без всякой боли в мой узкий ботинок. Какое многообразие туфелек: аспидно-серых, замшевых и бархатных, багряного лака, вороного, глинистого, каштанового. Какое многообразие туфелек и носов! Если носик отклоняется от греческого профиля, заключающегося в том, что спинка носа соединяется со лбом совершенно прямой линией,— то этот носик поднимается вверх, и тогда его называют орлиным, как это случилось, например, у Евдокии Воронцовой, исполнительницы цыганских романсов. Но ни у кого нет узких ботинок и никто не имеет этого окаянного

углубления, которое я должен заполнять каждый вечер гумозом!

Вслух я смог ей сказать:

— Попробовали бы вы, Мавра Степановна, петь куплеты в другом фраке.

— Куплеты, так же как и свои чувства, надо делать преувеличенными, и тогда ценность их внезапно возрастет не только для вас, но и для окружающих. Однако увеличение ценности создается вовсе не фраком, молодой человек. Вы часто вспоминаете о родителях?

— О родителях вспоминаю не чаще, чем они обо мне.

— Родители знают правду. Я люблю, пишу им письма. Они живут в Перми и совсем старенькие, господин куплетист. В Кисловодск ездят лечиться, но я водам не верю.

Она взяла тарелку из моих рук и передала ее мужику с блестящей бородой.

Гости двинулись за ней к реке. Ольга Философа, сильно подвыпившая, шла, положив мягкие кисти рук на плечи Троегубова.

— Всякую собственность, даже самое себя, я считаю обременительной, Савва Устинович.

Троегубов раскрывал громадный свой рот и, невыносимо громко и в то же время холодно, смеялся:

— Но ведь и вы тогда, Ольга, не будете ничьей собственностью, а это лишит вас средств к существованию.

— Лодки к берегу! — крикнула вдруг Мавра Степановна.

Гребцы подняли весла. На носу и корме зажглись еще фонари.

Челпанов, из почтительности и жадности, распоряжался больше знаками. Челпанов злился на хитрого татарина Валитова, который ухитрился привезти на камчугу фрукты своих погребов, оказавшиеся более запашистыми и более вкусными, чем фрукты, закупленные Челпановым.

— Ну, кто обманул? Татарин меня обманул. Немаканный!

И Челпанов сказал мне:

— Дамы по-другому отражаются в мужском зеркале, так что бери инструмент и садись для увеселения на переднюю лодку.

Он передал мне балалайку.

— Я не готов, Феофилакт Иванович.

— Много ли для них нужно?

Даже приблизительная таблица цветов этих физиономий показывала справедливость челпановских выводов.

— Автор-куплетист исполнит лучшие свои номера!— воскликнул Челпанов.

15

Внизу колебался раствор медного купороса. Я переступал с ноги на ногу, проверяя устойчивость широкой лодки и своих балалаечных способностей. Множество пьяных лиц смотрело вместе со мной на медный купорос, еще раз показывая, что можно петь спокойно: я не получу ни одобряющего, ни уничтожающего сигнала. Зачем сожалеть, что, ослепленные денежным величием своего героя, они умеют только подражать его мелким способностям,— например, визгливо сморкаться в платок, не замечая того, что способности эти разместились сейчас вне круга его лица, которое совсем осоловело. Справа от него так же осоловело сидят англичане, вполне насыщенные красным вином и желтой дряхлостью своих тупых тел.

Я раскрыл рот. Слушатели захохотали. Я привык уже к хохоту, который возникал, как только люди всматривались в мой фрак, в мои узкие ботинки, которые даже неопытному взгляду показывали, что они способны жать ногу, в желтую балалайку, прижатую к впалому животу, и в необычайно круглое лицо, снабженное весьма унылым выражением. Всем становился понятным и даже необходимым договор о моем носе, который подписал со мной Челпанов! Но вместе с обидой я испытывал известное удовольствие от смеха. Этот смех как бы отделял меня от них и, кроме того, позволял мне тоже рассмеяться — над ними и над собой. Они не замечали, что почтенный торговец фруктами господин Валнтов задремал, держа в руках кусок баранины, а Евдокия Воронцова, легонько обняв его, вытаскивала бумажник из кармана. Заметив мой взгляд, она весело погрозила мне пальцем.

— Буду петь, господа, куплеты о настоящем, сочиненные мною в настоящее время.

Импровизация вполне подходила к теперешнему моему состоянию, а еще более, пожалуй, к состоянию духа моих слушателей:

В то время, как вы сидите молча
Или даже пытаетесь петь,
В ваши карманы лезут по-волчьи,
Желая их осмотреть!

Куплет, который я тут же составил и пропел, мне понравился. Я решил исполнить еще один куплет, который разрабатывал бы эту же идею, и — о волках, чтобы в следующем куплете дать лица! Я стоял на одной ноге, упершись носком другой в борт лодки, что показывало мою удаль и полное презрение к тому, что люди думают обо мне.

Но, к моему несчастью, я смотрел слишком пристально на Воронцову. Она поняла мой поступок: вставить ее «движение по карманам», вдруг сильно перегнулась туловищем через борт, лодка качнулась,— и я полетел в воду вместе с балалайкой и куплетом, который уже совсем был готов, но который с того времени посейчас я не могу вспомнить.

Лодка, люди, кушанья, вина — все качалось и хохотало:

— Это он здорово придумал!

— Танцевать ему после куплета негде, так он, вместо антракта, в воду ныряет.

— Веселей петь!

Плавать я могу хорошо, но это мое плавание было весьма затруднительно. Балалайка и утонувший куплет мешали мне. Я плавал около лодки, гребя одной рукой, и лодка не принимала меня: они боялись, что обрызгаю их. Один только Сергей Коробин, обладавший головой, глубоко ушедшей в плечи, словно ее упихивали много лет да так и не успели упихать, весь в шарлахово-красном сукне поддевки и в таких же пылающих штанах, владелец суконной фабрики, что выделывала сукно из киргизской шерсти, но более всего известный тем, что постоянно бегал по знакомым, предлагая свои услуги не столько для наживы, сколько для действия,— один он усердно помогал мне, потому что камчуга организовалась без него, а он желал в ней действовать.

— Купцы, если опрокидывают человека, должны платить! — кричал он.

Троегубов поднял руку с платком, которым сигнализировал он чуть слышно поющему хору. Лодки остановились. Сергей Коробин перескочил в троегубовскую лодку:

— Платите, Савва Устинович!

— И без вас известно, Коробин.

Тогда Челпанов протянул мне руку.

— Сколько? — спросил Троегубов.

— За него-то?

Челпанов осмотрел меня, обошел вокруг и даже легонько притронулся, как бы желая знать, насколько я пропитался водою.

Светало! Я продрог. Кроме прочего, я злился на лаковые свои ботинки, которые хоть и вымокли, но попрежнему жали мои ноги.

— За него-то? — переспросил Челпанов.— Полагаю, ста рублей достаточно. За него и за всех его родственников!

— Не торгуемся.

Челпанов протянул было руку, но Троегубов описал «катенькой» траекторию над челпановской рукой и положил деньги на мокрые мои пальцы.

Впервые в своей жизни я держал в руке сто рублей. Те самые сто рублей, благодаря которым я проеду половину индийской дороги. Индия! Я плачу двадцать пять рублей за паспорт, сверху донизу заграничный, покупаю за пять рублей широкие ботинки, и у меня еще остается на билеты семьдесят рублей! Вот я добрался до Батумского порта. Невообразимо высокий и длинный иностранный пароход третьим гудком торопит меня в далекую веселую страну, где нет холодного утра, где люди если даже и смеются надо мной, то смеются совсем на чужом языке и где о моих песнях будут думать, что они ужасно трогательны. Эта трогательность еще увеличивалась тем, что ему некуда спрятать даже сторублевую бумажку — в балалайке его и то мокро. Так он нищ и гол!

— Молодец, Иванов! Камчуга удалась! — воскликнула Ольга Философа.

Она поцеловала Троегубова. Я радовался вместе с ней. Она радовалась тому, кто хоть на мгновение умел держать в руках «полную чашу жизни» и кто мог дать ее другим. Поцелуй ее не встревожил Троегубова. Он ответил на него холодно, но, однако, ответил, потому что

камчуга устраивалась для иностранцев. Однако поцелуй этот Ольга поняла совсем по-другому. Она преисполнилась невероятного восторга, лицо ее запылало, она вся затряслась. Ей казалось, что сейчас начнется та самая камчуга, которую она ждала множество лет, и все сейчас, от мала до велика, вспыхнут так же, как вспыхнула она.

Ольга, указывая на меня нежной и мягкой кистью руки, сказала:

— Пропьет! Он такая натура, что ему суждено пропить отца родного, крест с шеи, всю солнечную систему! Ставь, Всеволод, на эти сто рублей...

Мне и некуда было девать эти сто рублей, и все смотрели на меня, а пуще всех Мавра Степановна. Я взмахнул сторублевкой и крикнул неуверенно:

— Шампанского!

Голос мой услышала только Ольга Философа, которая повторила за мной:

— Шампанского! На всю «катеньку»!

— Сию минуту,— ответил Челпанов так почтительно, как он только мог ответить почетным гостям.

Ответ его был мне приятен. Лихо передал я ему сто рублей, чтобы действительно сию же минуту показались толстые бутылки шампанского.

— Вам родимого или клико?

— Клико,— ответил я.

Ольга Философа сказала с большим знанием дела:

— Если начинаешь пить, Всеволод, так начинай с клико.

Кутеж, который устраивал мокрый балалаечник с инструментом, который разлипался у него в руках, с размокшим голосом,— совсем не понравился Троегубову, и он сказал:

— Подстроено, чтобы мы больше тратили.

Круглый англичанин сказал:

— Здесь очень хорошо, потому что лакеи говорят по-английски.

Троегубов велел повернуть лодки.

Как раз когда днище зашуршало о песок берега, шампанское раскупорили. Лакей подал мне бокал. Я оглянулся. Никто уже не смотрел на меня, а все слушали Коробина, который рассказывал, как он ловко обошел консисторию, которая хотела с него вытянуть пять тысяч за развод, а он всучил ей всего семьдесят пять

рублей на гербовые марки. Я подержал бокал в руке, все еще мокрый, и выплеснул шампанское в озеро, по которому уже плыло солнце.

— Правильно! — крикнула Ольга, прыгая с лодки прямо на руки к Троегубову.— Передай гребцам.

— Передать гребцам! — сказал я, стуча зубами от холода и тщетно стараясь залезть под солнце.

Гребцы наполнили шампанским стаканы и пили его с явным отвращением.

Я ушел в сосны,— там стояли возы с продуктами,— чтобы выжать свое платье. Повар Софроний уступил мне белый халат. Я сколол халат булавками, а сверху надел брезентовое пальто. Костер пылал, но фрак высыхал весьма медленно, как будто он впитал в себя все озеро.

Когда я вернулся на ковры, англичане посредством пищевода выражали свое отношение к русской водке, и только Бецольд все еще крутился и все еще, хотя и сонно, повторял:

— Очень рад, что лакеи говорят по-английски.

Ольга Филосова одна из всех подлинно радовалась камчуге. Она переоделась в тирольский костюм. В лодке ее ожидало ружье. Она собиралась плыть в камыши стрелять уток.

— Уплыву прямо в Ледовитый океан! Зажигай лес пока, Троегубов!

Троегубов ответил скучным и вялым голосом:

— Англичане заснули. Чего зря костры жечь? А если лес действительно подожжем? И так расходов много.

— Зажжешь, они и пробудятся! Вот тогда-то они и подумают, что камчуга удалась. Велик ты и богат, если даже во сне способен жечь свое имущество.

— Пали! — воскликнул Троегубов.

— За мной, Всеволод! — сказала Ольга.— Давай палить.

Мы старательно бегали по лесу, тыча горящей лапой в большие костры, но от этих высоких костров, словно пригревшись, англичане заснули еще крепче, и даже сэр Бецольд уснул, хотя и крутился круглым ртом на неподвижном и круглом своем лице.

Троегубов велел запрягать лошадей. Взяв свое платье, которое по-прежнему было мокро, я пошел сушиться к самому крупному костру. Троегубов вдруг вы-

соким и злым голосом, каким он не кричал никогда, топая ногами, заорал на меня:

— Убирайся отсюда, дурак! Убирайся!.. Сию же минуту убирайся!

Челпанов подхватил его возглас:

— Да, вам бы лучше отойти в сторону вместе со своими кальсонами, молодой человек.

— Дурак, скотина, идиот! Морду уничтожу!

Троегубова схватили за руки.

Я вернулся к подводам.

Костры еще пытались осветить пространство, которое уже заняло солнце. Повар Софроний, чтобы не думать о рыбалке, объяснял причины троегубовской злости:

— Лес у него заложенный, костры были составлены для виду, а ты и рад! Пожар, он даже рыбу в озере выжжет, не то что кредиты. Враги обрадуются, в газетах напишут: идиот, дескать, самодур, лес сжег,— глядишь, англичане от компаньонства и откажутся.

Я вспоминал громадный и черный рот Троегубова и радовался тому, что миллионер испугался пожара и куплетов, хотя они и в газетной прозе!.. Посмотрим, как он задрожит, когда на суде, при всех свидетелях, я воскликну:

— Милостивый государь, я не позволю называть меня дураком и кидаться на меня с кулаками, хотя они и троегубовские! Выслушайте мои куплеты!

Рукав моего халата нежно всколыхнулся.

— Можно вас на минутку, господин куплетист?

Несомненно, ее зубы были во много раз великолепнее и веселее зубов курчавого павлодарца. Ее фиолетовое платье опять приобрело необыкновенно глубокий тон, и только у нее одной от бессонной ночи лицо было розовое и веселое.

Она спустила руку с длинными пальцами от рукава моего халата к своему платью и тихо направилась к тарантасу. Я шел за ней.

Она говорила, что людям трудно учиться уважать не только чужие права, но и свои. Где уж тут сердиться на них! В тарантасе на пушистое золотисто-зеленое сено клали подушки. Она взяла длинную травинку большим пальцем и мизинцем. Она раскачивала травинку, а камень на указательном пальце горел над этой травинкой, словно громадный цветок, которому все удивляются,

не понимая, как стебель способен удержать этакую уйму красоты и пышности.

— Так-то, господин Савицкий. Вы трезвый, значит, не будете обижаться.

Она выпустила травинку. Травинка, делая мягкие круги, нежно скользила на землю.

Она сняла кольцо и, не глядя на камень, сказала:

— Изумруд.

Она прикоснулась губами к моей щеке. Я весь вздрогнул и весь наполнился бесконечно длинной строчкой из необыкновенно нежной книги: «...и холодок ее зубов...»

Явственно разглядел я также, что в то же время, как бы почувствовав вдруг свое унизительное поведение и как бы окончательно решив, что любит Мавру Степановну, Троегубов оттолкнул от себя Ольгу Филосову. Она упала на ковер навзничь, но лицо у нее по-прежнему было веселое, и по-прежнему она считала, что камчуга удалась.

Троегубов крикнул издали:

— Готовы тарантасы?

— Запрягли,— ответила Мавра Степановна, и ясно было, что она отвечала совсем о другом, понятном только им двоим, а для меня же она сказала по-прежнему, не глядя на камень:

— Изумруд, господин Савицкий.

Меня обижала и внезапность этого поцелуя, и то, что она два раза повторяла об изумруде. Правда, я раньше не встречал изумрудов, но я столько читал о них, что воображаемый блеск их далеко превосходил подлинный. Камень очень легко уложился на моем мизинце, так, как будто от мизинца тянулся стебель травы, который я тщетно искал на земле и который, несомненно, раздавили сапоги Троегубова, подошедшего к тарантасу. Я сознавал, что молчание мое куплено не столько камнем, сколько поцелуем и что мне никогда не сказать на суде того, что почти составлено так красиво. Троегубов смотрел на нее виновато, как будто понял, что целовать куплетистов так же неприятно, как целовать пьяных шансонеток.

— Ножкам удобно? — спросил он.

— Удобно,— ответила она.

— А то еще ковер?

— Не надо ковра.

Давно уже тройки скрылись в лесу, давно уже погасли костры и на дорогу медленно выходили телеги обоза, и много раз повар Софроний предлагал мне сесть на подводу и закрыться голубым ковром, той частью его, которая еще не залита вином, а я все еще думал о причине, которая заставила Мавру Степановну подарить мне драгоценный изумруд.

Давно уже лежу я под ковром и слушаю, как поскрипывают, раскачиваясь, телеги, как лошади гремят уздечками, а рядом со мной идут, беседуя о виденном, возчики, и длинные их сапоги шаркают о траву. Изредка они стучат кнутовищем по оглобле. Давно уже я дремлю, но неустанно я думаю: почему ко мне пришел изумруд? В полосу, оставшуюся между ковром и рогожей, мне видны облака над озером. Они совсем пурпурового оттенка, какой разве только встретишь в лепестках розы. Однако изумрудный цвет мне гораздо ближе, и я закрываю глаза. Мне хочется уснуть, но хочется также и узнать, почему изумрудный цвет мне дороже и ближе пурпурового, хотя стоит лишь раскрыть глаза — и я вижу, что у высокого сутулого мужика, идущего рядом с возом, его седая борода стала от солнца совсем ярко-пурпуровой, такой, какой не встретишь и среди лепестков розы.

16

Проснулся я у себя в кровати. Видимо, возчики подпили, а может быть, привыкши растаскивать гостей по постелям, и меня приняли за пьяного. Мизинец правой руки моей саднит.

Я долго рассматривал мое кольцо. Объяснения, которые я подбирал на возу и возле воза, теперь, когда я обсох и когда губы мои горели,— ложны! Мой бурый фрак, мои брюки, еще не освободившиеся от глины, узкие ботинки, лежащие возле кровати, подтверждали мне, что я думал о жизни и о поцелуях, находясь возле озера, чересчур упрощенно.

Лучше, если около меня поселится женщина спокойная и строгая. Правда, она любит торговать и выделывать крупчатку, но я видел, что стоит людская торговля и что способна женщина проделать ради любви, если она при людях с одного взгляда дарит тебе любовь и чудовищной цены изумруд! Цена изумруда была

бесспорна, но любовь окончательно решится тогда, когда она пришлет письмо. «И холодок ее зубов», — «он явственно почувствовал», — «холодок ее...».

Кольцо!

Предположим, она пришлет в письме сто рублей и попросит вернуть ей кольцо. Получив эти сто рублей, я могу с разбитым сердцем продолжать путь на Индию. А если она не пришлет письмо, то значит ли это, что она забыла меня? Едва ли.

Затрудняло то, что если относиться к жизни серьезно, то мне не подобает брать ста рублей, а лучше всего вернуть ей и кольцо, и эти сто рублей. Прими я эти сто рублей, выйдет, что я продал свой поцелуй! Но, с другой стороны, какой же это поцелуй, если она целовала меня в щеку? Нет, это поцелуй! Я необыкновенно явственно различил только ей принадлежащий холодок веселых зубов.

Певицы ходили радостные. Имелись основания думать, что камчуга удалась. По примеру Саввы Троегубова, многие заводчики пожелают устроить камчугу в «Золотом роге»! Но веселье быстро сменилось перебранками. Только встал я с кровати и натянул лаковые клещи, как узнал, что г-жа Фридрих, возвращаясь утром из гостей, проехала мимо лаборатории. Не успел извозчик «и бровью повести», как, спрыгнув с пролетки, она схватила булыжник. За столом сидел над микроскопом ученый. «Он трудился всю ночь, изучая екатеринбургскую пыльную инфузорию». Камень попал в середину микроскопа, разбил какие-то зеркальца и стекла, препараты рядом с микроскопом и очки ученого. Челпанов бранил г-жу Фридрих, а та упрекала его, что он напоил до бесчувствия всех певиц, дабы они не могли следить за «полагающимися десятью процентами».

— Семьсот бутылок выпито! — кричала г-жа Фридрих.

— Не семьсот, а полтораста, — говорил Челпанов.

— Семьсот! Я считала, когда повезли. Было семьсот.

— Ну, а вернулось сколько? Ты подсчитала?

— Как я могу подсчитать, когда ты всех «навзничь».

Дамы выскочили в коридор. Каждая пыталась сосчитать, сколько около нее выпито коньяка, водки, шампанского. Выходило, что выпито очень много. Челпанов врет! Кроме того, за вино платили втрое! Кроме того,

дамы прятали полученные за услуги деньги в чулки. Чулки есть, а деньги пропали.

— Напоил, напоил! — кричали дамы. — Давай деньги!

Тут пани Марина вспомнила, что из всего общества самым трезвым был пан Всеволод Савицкий. Дамы втолкнули Челпанова в мою комнату. Я сидел на кровати, завернувшись в одеяло. Челпанов смотрел на меня со злостью. Дамы требовали, чтобы я сказал, сколько выпито бутылок. Кто украл деньги?

— Да что я, бутылки считать поехал? Или ваши деньги?

— Бутылки считать ты не обязан,— кричала г-жа Фридрих,— но сколько ящиков тащили вина, ты мог рассмотреть!

— Вино таскали не ящиками, — сказал Челпанов.

— Извините,— прервал я его,— считается большим шиком таскать вино ящиками. Я отчетливо помню, что вино тащили именно ящиками.

— Бутылками.

— Ящиками, ящиками! — вопили дамы.

Тут весьма кстати вернулись Антуанетта Сирбо, Ольга Философа и Матильда Эзоп. Они ездили с англичанами на соборную колокольню, чтобы, при звоне заутрени, сидеть рядом с колоколами на тяжелых брусьях, пить водку и закусывать печеными яйцами. Деяние это называлось «утренний Федосей».

— Ящиками, ящиками! — закричала Ольга Философа.

— Бутылками! — ухал Челпанов.

Мне трудно было сосчитать, сколько пронесли вчера мимо меня ящиков с вином. Я весь заполнен своей великой тайной, и у меня замирало сердце, когда я думал о том, что услышу вопрос пани Марины: «А откуда у вас, пан Всеволод, на руке кольцо?» Я тихо отвечу ей: «Была беседа, пани Марина, очень нежная беседа».

Дамы потребовали, чтобы я быстро оделся и вышел на террасу. Пока я одевался, Феофилакт Челпанов убежал в город. Тогда дамы вспомнили, что, хотя они получили деньги и за бутылки, а не за ящики, все же им надо торопиться к портнихам, тем более что возле ворот сада их уже ожидали лихачи.

На террасе пани Марина пила горячее молоко из высокого дымящегося сосуда. Она сказала, что пан Все-

волод, несомненно, обладает вкусом на материи. Правда, этот вкус не оправдался на его фраке, но при его семействе и при тех деньгах, которыми он располагает, так же как и при его слабой памяти на корзины, вряд ли возможно сшить что-либо лучшее! Дамы пригласили меня в надежде, что я вспомню нечто более крупное, чем бутылка. Я сел в коляску и потому, что мне хотелось посмотреть, как изумруд мой отсвечивает на материи, когда я буду ее щупать, и потому, что в коляске я не так сильно буду страдать от ссохшихся ботинок.

Коляски обгоняли друг друга. Приказчики у дверей магазинов, улыбаясь, снимали перед нами фуражки. В их улыбке была и почтительность к покупателям, веселым и крупным, было и презрение, потому что весь базар знал о позорной профессии этих дам.

Я увидал много людей, справлявших вместе с нами камчугу. Мазеин, обладатель широких челюстей, стоял за конторкой. Согбенный Валитов щупал фрукты. Среди магазинов суетится Коробин, оправляя на голове голубую фуражку и развевая полами поддевки из шарлахово-красного сукна. Он весьма странно покосился, когда я поклонился ему.

— Неужели у меня такое незаметное лицо, что он его сразу забыл?

Пани Марина ответила с достоинством:

— Пора бы знать, пан Всеволод, что с нами здороваются только в нашем ресторане.

— Но я-то не торгую собой, пани Марина.

— Ах, я не знаю, чем вы торгуете, пан Всеволод! Может быть, население думает, что вы врач при шансонетках, а это тоже позорное занятие. О, долго еще, пан Всеволод, останется при вас позор шантана! Я боюсь предсказывать, но мне кажется, что ваши дети не будут думать о своем отце столь почтительно, сколь полагалось бы им думать, если они помнят свое происхождение.

И сама пани Марина, и ее подруги мало обижались на то, что купцы плохо кланялись нам. Отчасти это происходило и оттого, что сегодня дамы хорошо заработали, и оттого, что в магазинах показывали им свежие партии товаров. Множество кусков материй, снабженных свинцовыми пломбами, вынималось под взорами дам из скрипящей бумаги, украшенной парижскими знаками.

Дамы, накупив множество аршин, поехали к портнихам. Меня посадили в плюшевое кресло возле длинного и узкого зеркала. Если в магазине меня спрашивали о пригодности цветов, то о фасонах они решали сами. Пани Марина выбрала жакет из белого атласа с вышитыми узорами — «последний крик летних парижских мод, снятых на скачках в отеле «Иланкшан». К этому жакету понадобился туалет из белого шелка с атласной пелеринкой. Г-жа М. Эзоп украсит себя костюмом нз красного сукна и полосатым жилетом коротким, бело-красным. Юбка слегка разрезана сзади, а вторая юбка в виде передника образует тунику. Об этих туниках разговор шел с утра. Портниха, горбатая, вся в седых бородавках, офицерским басом утверждала, что в модах преобладают туники, а если допускают полутуники, то делают непременно их из кружев. Евдокия Воронцова заказала себе в результате бесед длинную тунику из кружев и корсаж «фишю Марии-Антуанетты».

Каждый лезет в особый фасон.
Золотин, Коробин, Мазеин,
Тунике не ответят на ее поклон,
Хоть пили вместе ящиками портвейн!

Я гладил облысевший плюш кресла, пытаясь вставить в куплеты Петра Александровича Золотина. Экая борода! Каждый волосок ее промыт и разделан так тщательно, словно он из золота. И такая же тщательно разделанная идет о нем слава. Добродушный, незлопамятный строитель этот, постоянно поплевывавший в широкий голубой платок, сооружал на Северной улице дом для Купеческого общества, службы и бани. Строили эту длинную четырехэтажную громаду наспех. Начали осенью 1913 года, а 2 июня 1914 года уже закончили кладку. Стройку вели под дождем. Сырая весна требовала особой заботливости о цементе, все же цеменг на две трети сдабривали песком. 5 июня стены обрушились. Когда стены пришлось разбирать, кирпич отделялся руками, а ширина стен оказалась не больше четырех вершков, потому что еще оставались пустоты для прокладки гжельских труб. Рабочим предлагали втаскивать на четвертый этаж тяжелые балки для крыш, полов и потолков. Рабочие понимали опасность спешки и еще 15 мая отказывались тащить балки, но хозяин,

архитектор и подрядчик Петр Золотин, сказал: «Кто не хочет работать, получай расчет. Придут другие». Уйди, а в деревне семью кто каждый день кормить будет? Велико ли сотрясение земли от обоза с бревнами? Петр Александрович Золотин был крайне изумлен, когда четырехэтажная стройка рухнула. Семь убитых каменщиков закопали в общую могилу, но могила оказалась тесной. Тогда гроба поставили в два ряда, а седьмой — на них поперек, так что поверхность земли над последним гробом толщиной своей не превышала четырех вершков. И здесь Петр Александрович торопился строить! Да и то сказать,— на суд надо идти. Суд собрался быстро. Осудили тоже быстро и милостиво: архитектор Петр Золотин получил полтора месяца ареста, а члены наблюдательной комиссии — выговоры и замечания:

Петь не будем о любви,
Хоть построили мы сени,
Сени новые мои!
Семь гробов
Вошли к нам в сени!
Осени нас, осени,
Ведь пропеть должны мы
Сени новые мои...

Широки и трудолюбивы челюсти Федора Павловича Мазеина! Челюсти эти повисли над зеленой шелковой рубахой, которая повисла над голубыми брюками, которые повисли над лаковыми его сапогами. Сидеть бы ему возле своего гончарно-печного завода, но где усидишь? Внезапно двенадцатилетняя племянница Дарья Свиридова, над которой опекунами состояли его старшая сестра Ирина с мужем, подала в Сиротский суд прошение о назначении ей, Дарье Свиридовой, более приятных опекунов! Ну, как не позаботиться о племяннице? Федор Мазеин так двинул дело, что через два месяца сестра его Ирина и муж ее Антон отстранились от опеки, а вместо них опекунами назначили Ф. П. Мазеина и адвоката его Б. Н. Ивкова. Немедленно же Федор Мазеин послал в институт, где училась Дарья, требование, чтобы девочку на праздники к Ирине не отпускали, а от сестры он потребовал передачи имущества опекаемой. Девочка заболела. Когда она оправилась, то подала в суд бумагу, в которой сознавалась, что первое прошение она подписала потому, что дядя Федор обещал ей каждый

день присылать в институт коробку шоколадных конфет. Новых опекунов отстранили только через три года, когда половина имущества исчезла, а девочка Дарья уже дышала на ладан...

Осени нас, осени!
Понастроили мы сени,
Сени новые мои...

Даже восходящее солнце, которое вы наблюдаете с Уральских гор, не имеет такой шарлахово-красной одежды, какой прославился суконный промышленник Коробин! Многие подсмеиваются над его поддевкой и способностью к неудержимой болтовне, но пусть вот попробуют они действовать таким «низшим чутьем», каким умеет действовать господин Коробин. Он познакомил коннозаводчика Ложева с г-жой Стебаховой, монашенкой женского Серпуховского монастыря, которая выиграла на билет Внутреннего займа двести тысяч рублей. Такую огромную уступку Коробин объясняет тем, что г-жа Стебахова, принявшая постриг монахини, не имеет права владеть собственностью, и если монастырь узнает об ее выигрыше, он билет неминуемо отнимет, а она намерена, получив эти деньги, уйти из монастыря. Коннозаводчик поколебался, но поверил,— и билет купил. Когда его приказчик явился в банк, то оказалось, что номер на билете переделан на другой номер, на который действительно пал выигрыш в двести тысяч рублей. Следствие узнало, что это уже не первая подделка, что за продажу билетов — один в сорок, а другой в двадцать три тысячи — уже судились в Москве некие приятели Сергея Коробина, а Стебахову он нанял за четвертной билет. Коробин на суде только подсмеивался над доверчивостью Ложева и выступал без защитника. Он клялся, жаловался на своих друзей, утверждая, что он человек религиозный и предвидит ждущие его в аду страдания и что земные муки ему не страшны. Суд, признав, что земные страдания действительно ему не страшны, дал ему полтора месяца тюрьмы и церковное покаяние, а из уплаченных Коробину ста тысяч коннозаводчик Ложев еле-еле получил десять.

Семь гробов
Вошли к вам в сени,
Осени вас, осени!
Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...

К обеду я составил куплеты. Я тщательно переписал их. Помню, что переписывал я их рыжим карандашом и карандаш непрестанно ломался, а я его чинил крошечным перочинным ножичком. Переписав, я понес куплеты к Феофилакту Челпанову, потому что он всегда, согласно контракту, за шесть часов «знакомился с нашей программой». По дороге я вспомнил, что, может быть, придет вечером опохмелиться Савва Устинович. Тогда я вернулся и вставил нечто о рукоприкладстве Саввы Устиновича и о том, что он выбирает не столько невесту по любви, сколько по плотности ее крупчаточных мешков.

Ну и выстроили сени,
Осени вас, осени!
Сени новые, все в тени,
И английские они...

17

Антуанетта Сирбо пробовала голубой ножкой, туго ли натянута проволока. Спрыгнув, она подбежала к занавесу и заглянула в щелку. Я тоже заглянул, хотя я никого не ждал и составленные мною куплеты казались мне необыкновенно скучными.

Удивительное зрелище ждало меня!

Рядом с оркестром, за длинным столом, в поддевках из верблюжьего сукна, сидели плечистые скотоводы, а рядом с ними Пашка Ковалев и Петр Захаров. Пашка Ковалев пьет обеспокоенно нарзан, оглядывается, а румяный павлодарец пробует розовыми губами черное пиво, и лицо его сияет. Петр наслаждается тем, что вокруг него сидят почтенные и веселые люди в почтенном и веселом ресторане. Он отворачивается от занавеса, дабы внезапно поразить своего друга, когда он выйдет на сцену, крикнув ему:

— Факир! Всеволод!

Затем он скажет с полупоклоном, размахивая салфеткой и подняв бокал с потрясающе пунцовым вином:

— Господин куплетист, разрешите вас пригласить в зал?

Господин куплетист погладит свой гумозный нос и ответит:

— Даже по вашему приглашению, господин Захаров, куплетист не спустится в зал. Его пребывание на сцене окружено тайной, как жизнь Железной маски.

Быстро я вернулся в свою комнату. Если на всех, так составлять на всех! К сожалению, куплеты выходили плохо. Я пытался соединить мои куплеты с вычитанными из разных сборников:

У нас шулера и прохвосты
Так мирно и просто живут.
В субботу попарятся в бане,
А в праздник все водочку пьют.

Спокойно глядим, — прикатили
Захаров и Ковалев.
Избавим ли нашу Россию
От жуликов и от воров?

Дамы переодевались в своих комнатах. В двери несется запах пудры и духов. Они бранят Челпанова, портних, аккомпаниатора. Едва дама успеет надеть платье, как подруга советует ей другое: «Ах, зачем вам хранить такой замечательный галунный блеск?» Дама натягивает галунный блеск, но оказывается, что лиловое больше к лицу. «Кроме того, как все слегка с похмелья, лучше надеть белое с сизым отливом!»

— Маша, разве так гладят?

— Глуша, воды похолоднее!

— Сашенька, где ты? Я же не могу зашнуровать одна корсет!

Звонят звонки. Горничные бегают из одного конца коридора в другой. Громадные артистические уборные пустуют. Там не переодеваются, там должны лежать меха, парчовые старинные платья, фальшивые бриллианты, а главное — сияют зеркала.

Возле моих дверей остановился Феофилакт Челпанов. Он в шелковой поддевке и в сафьянных сапогах, набелен и завит. Он готовится к танцу. В руке он держит листки с моими куплетами.

— Опять прежние, господин Иванов? Люди пили водку, а у вас голова не работает? Вчера вы, вместо номера, падаете в воду, уже месяц с лишним как обещали составить куплеты насчет моих расписных зал, а вместо этого поете старые куплеты? Вы получаете жалованье, господин Иванов!

— Жалованья я еще не получал. Аванс я ваш отработал. Куплеты эти составлены даром, — и свежие вдобавок. Я даже успел и про карманников вставить.

— В ресторане «Золотой рог» карманники и шулера? Неудобно!..

— Какие такие карманники?

— Здесь прямо указано:

Спокойно глядим, — прикатили
Захаров и Ковалев.
Избавим ли нашу Россию
От этих карманных воров?

Челпанов встревожился. Он уставился в листки и вдруг, побледнев, сел на мою кровать.

Челпанов пошевелил розовую лампу и розовый столик. Выпятив челюсть, он тихо сказал:

— Вот так куплеты!

— Я защищаю нашу честь, Феофилакт Иванович. Со мною и с моими дамами должны раскланиваться!

Челпанов все так же тихо спросил:

— Чтобы с моими девками раскланивался гласный городской думы? Да что они, миллионерши? Честь! Ты куплетист, пиши насчет докторов или простых девушек, которые путают беременность с блином, или лучше о том, что миновало и что уже больше не вернется...

— Я пишу то, что мне хочется. Вы, Феофилакт Иванович, можете, согласно контракту, запретить мой плоский нос, но запретить мое высокое перо...

Я взял в руки карандаш.

— Перо?

Челпанова чрезвычайно возмутило, что карандаш называется пером.

— Держать тебе другое «перо» в руках, а не это!

Он тихо встал с кровати, разорвал в клочья мои куплеты, поплевал в них и осторожно отнес в травянисто-зеленую плевательницу.

Я схватил перочинный ножик, которым чинил карандаш. Делая ножиком круги, я воскликнул:

— Ножичком орудуем не хуже кинжала! Не забывайте, что мы работали индийскими факирами. Верните мне мои куплеты!

Дамы вышли на крик. Пани Марина смотрела на меня слегка презрительно. Сколько преподано ему хороших манер, а он орет да еще размахивает ножиком!

Размахивает он, правда, не глядя на хозяина, и не поймешь, кому он хочет вскрыть живот: себе или первому встречному.

— Вы смешны, пан Всеволод,— сказала пани Марина.— Таким ножом и воробья не зарежешь.

Тут Челпанов побагровел. Не успел я привести руку свою в такое движение, которое бы ввело сталь в живот моего хозяина и тем опровергло бы утверждение пани Марины, как он выхватил нож и с такой силой кинул его в стол, что лезвие ушло до половины и, слегка подрожав, сломилось. Сердце мое замерло. Мой хозяин обладал кое-какой силой.

Поэтому я скрестил руки на груди и сказал кратко:

— Вы достойны куплета, а не драки.

Но тут внезапно вступилась за меня Воронцова. Она была совсем пьяна. Полчаса назад от нее ушел согбенный Валитов. Он требовал украденных денег. Она ему сказала: «Сам потерял, сам и ищи». Валитов выпил бутылку коньяка и не заплатил за него. Воронцова злилась на Валитова, на полицейские протоколы, которые весь день сопровождали ее, на утаенные корзины вина и на то, что выкраденный ею бумажник утащил Челпанов.

Она закричала:

— Не выгонит, Всеволод!

Воронцова подскочила к Челпанову и ударила его по щеке.

— Ты вот как его, Всеволод! Тебя выгнать? Да ты ж его спалишь! Спалишь, Всеволод?

То, что огонь чересчур часто появлялся возле меня и во мне, признаться, давно тревожило меня. Ну, пусть это будет последний раз! Нужно, чтобы флигеля уважали меня. Я нахмурил брови и сказал с внутренним огнем:

— Случается всяко. Обычны пожары в России, в стране сплошь деревянной, вплоть до голов ее обывателей.

Челпанов сразу поверил в пожар. Он встревожился:

— Мы держали его по вашей рекомендации, пани Марина. А теперь, может быть, и вы угрожаете мне пожаром?

— Пан Всеволод, неужели мы способны угрожать пожаром? Что же касается меня, то я никому, пан Феофилакт, не угрожала пожаром, даже России. Кроме того, пан Всеволод склонен иногда к странным шуткам.

— Шутки-прибаутки, а пойдут по пожарищу утки,— сказал я.

Челпанов устремил челюсть свою к пани Марине:

— Мы полагали, пани Марина, что он при вас котом, а он вымогатель и поджигатель.

— Кот? — вяло сказала пани Марина.— Зачем мне нужен кот? Вы знаете все пана Азгерца, которого я называла двоюродным братом. Он мне муж. Надеюсь, это останется между нами, а не перейдет к посетителям. Кот! Он даже не польский кот.

В глазах пани Марины я увидал слезы.

— Гоните его, пан Феофилакт, в шею! И немедленно.

— Как его выгонишь? Вы его так развратили, что он сегодня же сожжет меня!

Тогда пани Марина сказала:

— Мы все просим вас тихо покинуть наш ресторан, пан Всеволод. Иначе на суде мы покажем, что вы собирались сжечь нас живьем.

— Не покажем! — крикнула Воронцова.— Верни нам корзины, Челпанов!

Тогда заревел Челпанов:

— Бутылки, а не корзины!

— Корзины, корзины! — подхватили дамы.

Я громко сказал:

— Корзины!

Воронцова указала на меня:

— Видишь, Челпанов, он видел, что корзины. Плати!

— Бутылкой бы его по черепу! — мечтательно сказал Челпанов.— Вот когда он сразу бы покинул мой ресторан.

— Я не покину ресторан, пока вы не соберете разорванные мои куплеты. Может быть, я их пошлю в уральскую печать? Или выпущу отдельной книгой? Кроме того, заплатите мне, Челпанов, неустойку и сто рублей, которые вы меня заставили пропить.

— Вы слышите, пани Марина? Корзины, говорит он!

— Такой же случай произошел некогда в типографии, пан Феофилакт.

— Вот вы, наверно, знали в типографии, как надо поступать, а что в таком случае делать в шантане, так вы плачете, пани Марина.

— Я давно высушила свои слезы, пан Феофилакт.

— Слезы-то вы сушите, но заступаться — заступаетесь.

— Я заступаюсь? А по мне, пан Феофилакт, так вы хоть сегодня его отравите.

— Вы смеете говорить такие слова, пани Марина? Захворай он сейчас с испуга, на меня упадут все подозрения. Получается не ресторан, а притон! Деньги крадут у посетителей, хозяину грозят ножом, в стихах изображают гроба и мертвецов.

Челпанов ушел.

— Расчет мне! — закричала Воронцова.— Дамы, требуйте расчет!

К дамам подбежал заведующий сценой, седой старичок, некогда бывший суфлер, ужасно любивший рассказывать о невероятных театральных ошибках, в особенности о том, как однажды помощнику режиссера предложили заказать стадо коров из папье-маше, а он не расслышал и пригнал к третьему акту настоящее стадо.

Старичок, глядя в программу, сказал мне:

— Публика любит скандалы, господин Савицкий! Вставляю ваш номер. Публика услышала скандал, требует.

Публика действительно требовала меня, но когда я прислушался к этим крикам, то я понял, что меня требовали мои балаганные друзья. Я разобрал слова Захарова, который кричал, что если куплетист заболел, то зрители навестят его.

У входа на сцену ожидал меня Челпанов. Он сказал:

— Возле дверей поставлен околоточный. Если запоешь такое, что не разрешено мною, сейчас же теряешь паспорт и направляешься по этапу до самой своей родины. А в случае пожара у меня имеется огнетушитель.

Он вынул «бульдог», пятизарядный, толстый и тяжелый.

У дверей «орлиного» зала, возле сивой пальмы, покуривая длинную папироску, стоял хмурый околоточный. Происшедшее никак не укладывалось в систему моих тетрадей, а отнести к случайности я это не мог, потому что все это продолжалось слишком долго. Какой же я поджигатель и почему мне нужно петь под револьвером?

— Я отказываюсь петь, Феофилакт Иванович.

— Почему ты отказываешься петь?

— Выйду на сцену и скажу, что простужен. Все знают о камчуге и о том, что я упал в воду.

— Вот поэтому и хотят, чтобы ты спел им то же самое, какое пел, падая.

Челпанов с опаской держал в руке револьвер. Он боялся опустить его в карман не тем концом. Барабан револьвера так вздулся, будто револьвер обладал не пятью, а пятьюдесятью патронами, притом необычайной мощи.

Повар Софроний, косясь на револьвер, спросил:

— Упор на какое кушанье делать, Феофилакт Иванович? Вернулись Ольга Ивановна на тройке, махнули ручкой и опять ускакали. Но все же многим довелось слышать, что должны мы ожидать Савву Устиновича. Продолжение-с?..

Челпанов, видимо, считая, что с револьвером в руке нельзя разговаривать о продуктах, положил его на столик.

— Врет, наверно, спьяна твоя Ольга Ивановна.

— Никак нет. Англичане выразили удовольствие по поводу камчуги и даже, говорят, вступили в компанию. Новую вывеску уже вспрыскивали.

Феофилакт схватил повара за плечи и потащил его в сторону. Они шептались, и я слышал, как повар Софроний, тяжело дыша, шипел:

— Уж мы им в кушанье такого напустим, что живот высохнет, как бумага. Все шампанское в городе сегодня будет выпито, Феофилакт Иванович, уж вы мне поверьте.

— Ой, врешь, Софроний!

— Феофилакт Иванович, в Париже поварские штуки изучали...

— Ой, врешь, Софроний!

Тут, дабы успокоиться и разобраться в той путанице, которая происходила вокруг меня, дабы не бояться ни околоточного, ни хозяина, я переложил толстый револьвер с бархатной тумбочки в свой карман.

Впервые держал я в кармане огнестрельное оружие. Должен сказать, что я и трусил слегка, но мной уже овладела какая-то удивительно приятная спокойная теплота. Я похлопывал рукой по карману. Вот где лежат пять немедленных смертей! По-особому я глядел теперь в щель занавеса. Я сел возле этой щели на венский стул, положив нога на ногу. Кулиса против меня изображала куст роз. Я думал, что многим, кого я награжу куском свинца, на гроб положат розы. Я считал своих

мертвецов. Я выбрал околоточного, Феофилакта Челпанова, добавил сюда Золотина, Мазеина и закончил высокой грудью пани Марины, по которой весьма красиво потечет «алая струйка крови». Вот околоточный подходит к столику гуртовщиков, улыбается, крутит усы, идет к следующему. Гуртовщики хохочут, перемигиваются с дамами, а через зал к роялю величественно идет пани Марина. П. Ковалев подходит к ней. Она настукивает одним пальцем «Чижика». Любопытно, что покажут эти свидетели на суде?..

Петр Захаров вбежал на сцену. Ему не терпится. Он быстро осматривается, щупает электрические лампочки, холст кулис. Он очень рад, что я не изменил свой костюм.

— Игра, Всеволод, все еще идет! Мы приехали в Екатеринбург, чтобы захватить еще парочку-другую игроков. Целимся выиграть тысяч двести! Да и гуртовщики игрой заинтересовались. Мы за ними, они — за нами, вместе в Ирбит едем. А коней-то у нас, Всеволод, коней!

— Через десять минут я выйду в сад, и ты мне расскажешь, как балаган приобрел двенадцать лошадей у господина Коромыслова.

— Уже у нас две тысячи лошадей, Всеволод! Правда, они еще гуртовщикам принадлежат...

Лакей дотрагивается до моего фрака и говорит:

— Пожалуйте, вас зовут, господин Савицкий.

Петр подает лакею рубль, новенький, серебряный:

— Он сейчас придет. Мне надо ему сообщить нечто о двух тысячах коней.

Лакей недвижим. Петр Захаров вытаскивает второй рубль:

— Скажи, что господин Савицкий занят.

— Слушаю-с,— почтительно говорит лакей и уходит.

Однако нам говорить не о чем. Петр дает рубли только для того, чтобы показать, насколько он богат. Я спрашиваю:

— Ну, а как же Нубия?

Рука лакея опять возле моего плеча. Лицо его упорно, а голос вежлив до необыкновения:

— Извините, но вас приглашают, господин Савицкий.

— Получи третий и навсегда исчезни.

Лакей получает третий, но стоит неподвижно.

— Пожалуйста, вас приглашают немедленно.

— Кто их приглашает?

— Их приглашают Феофилакт Иванович.

Лакей — тот самый, который знает английский язык. Стыдно обижать его, и я говорю:

— Извини, дело идет о стихах.

— Все понятно,— отвечает с уважением Петр Захаров.

Сопровождаемый лакеем, я спустился в голубой «орлиный» зал.

Я впервые спускался к посетителям ресторана, чему, впрочем, ни я, ни посетители не радовались. П. Ковалев учится выстукивать «Чижика». Он и «Чижика» боится. Веснушчатый нос его бледен, а на височках жалобно бьются синие жилки.

Мы прошли через «египетский» зал, носивший странное название «Переснастка». Попутно я размышлял о том, что мне до сего времени так и не удалось узнать, кого же здесь переснащивали. Змея все еще не уничтожила жизнь Клеопатры, по-прежнему колыхались пальмы, увеселительные машины напрасно занимали углы, мужик в розовой рубахе и с толстым носом стерег их. Какие ж мне куплеты пропеть?

— Вы бы, господин Савицкий, шли побыстрее,— сказал лакей.

Медленно двигался я через зал, заполненный рыцарскими сценами, по-прежнему багровый и по-прежнему весьма странно называвшийся «Рубрикой». Толстая танцовщица Климшина пробежала мимо меня, держа в горстях крошечного цыпленка. Зачем ей понадобился цыпленок? Какие ж мне куплеты пропеть? Что мне сказать Челпанову? Или просто молча выстрелить?

Белый с золотым «швейцарский» зал остановил меня. Я смотрел на эти снежные вершины и думал, что странствования мои неудачны. Почему не смог я подобрать таких событий, которые могли б произойти на белых швейцарских горах, и которые в то же время походили бы на события, происходящие в нашем ресторане, и которые следовало бы мне изложить куплетами.

Я опасался, что не смогу влепить все пять пуль, а за одну я не хотел страдать. Я жаждал равновесия. И не лучше ли страдать за куплеты, чем за пули? Не вернуться ли мне, не восстановить ли по памяти уничтоженные Челпановым куплеты?

— Пожалуйте, вас приглашают немедленно,— повторил лакей.

Лицо у него было скучное и ленивое. Чтобы несколько встревожить его, я спросил:

— Способствуют ли, по вашему мнению, странствования развитию куплетов?

Он зевнул.

— Всякая тайна, господин Савицкий, несомненно, зависит от характера. В том числе и ваша куплетная тайна, то есть непонятная для вас неспособность к ним.

Я согласился с ним. Его слова напоминали мне странствования моего отца, которые были хоть и многочисленны, но из которых отец мой не вынес ни одной тайны, причем нужно помнить, что отец мой много странствовал по монастырям, где, как известно, много «тайны, авторитета и чуда». Мало того, отец мой утверждал, что смысл жизни совсем не в тайне, ибо если ты попробуешь сделать жизнь тайной, то она начнет властвовать над тобой, а жизнь не имеет никакой цены для того, кто остается ее рабом. Следовательно, поиски тайных мгновений есть рабство. Религия стремится привить ценность тайным мгновениям хотя бы тем, что говорит о мгновении, будто оно ничтожно и плохо. Вот почему отец мой стремился искать истину, хотя и искания ее совершал не с весельем, а с волнением и беспокойством. Отец мой пускался в путь, как только ощущал это беспокойство. К сожалению, беспокойство это не всегда сопровождалось полновесием его карманов, и вот почему отцу моему приходилось думать о религии, то есть останавливаться для пищи и отдыха в монастырях, угодиях возле церквей, скитах. Но и тогда отец мой нимало не склонялся к религии, так как он считал, что он останавливается в монастырских местах ради холодной бани. По мнению моего отца, только монахи обладали знаниями касательно того, как посредством купания в умеренно холодной воде добиться чистоты кожи, охлаждения тела и более подходящего для жизни хода нашего телесного процесса, ускоряемого действием внешнего и внутреннего жара, что производит слишком расточительное снедание органической материи, а через это повергает тело наше в слабость. Все святители знали, что холодная баня уменьшает жизненную деятельность верхней оболочки, ограничивает чувствительность нижней, благодаря чему утолщает и закрепляет

нашу кожу, делая тело менее ощутимым к переменам тепла и холода, предохраняя от насморка, разлития желчи, ревматизма, поноса, усиливая дыхание и возвышая аппетит,— впрочем, аппетит у отца был хороший и без холодной бани,— а кроме всего этого, от более короткого знакомства с водой мы перестаем питать к ней боязнь, научаемся искусному плаванью и через это получаем возможность спасать свою жизнь в случае нужды. Во избежание недоразумений отец всегда оговаривался, что, говоря о холодной бане, он понимал ту степень холода, которую имеет открытая вода в теплые летние дни и которую по справедливости вы называете холодноватой. Отец мой полагал, что, вследствие свойственного им долголетия, монахи вполне искусно овладели секретами холодной бани, и так как монашество неминуемо исчезнет, как оно, например, исчезло в магометанстве или у евреев, то искусство холодной бани надо передать нашим потомкам. Холодная баня обогащает ум человека воспоминаниями. Выйдя из холодной бани, отец мой всегда рассказывал свойственные ему истории еще более красиво, широко и бойко. «Как догадается само потомство? — спрашивал мой отец.— Почему ему не передать изустно или письменно хотя бы то, зачем, в какой степени, кто и сколько натирается сукном после холодной бани и какие сукна надобно употреблять?» Из всего изложенного вам будет понятно, что когда отец мой крестился на купола или на иконы, то, в сущности, происходило не моление и не попытка понять тайну, а разговор о холодной бане. Отец мой живо интересовался этим предметом. Желая узнать, подобает ли купаться до или после обеда и что думают святые отцы об этом, отец мой обошел все четыре российских лавры, все ставропигиальные монастыри (Соловецкий, Донской, Симонов, Новоспасский, Воскресенский, Ново-Иерусалим, Заиконоспасский и Спасо-Яковлевский, о которых он любил повторять, что они настолько же изобилуют буквою «с», насколько богоугодным жиром), все скиты при этих монастырях, и кроме того, он обошел семьсот двадцать пять обычных русских монастырей, беседуя с монахами и монахинями, штатными, заштатными, послушниками и послушницами, общим числом в 39 052 человека, причем оказалось, что каждый из них кое-что да знает о холодной бане. Отец мой упускал тех, кто не пожелал с ним беседовать или кто предпо-

читал диетические действия теплых ванн, или упускал молчание монахов полнокровных, которых было тоже немало и для которых вообще всякая баня вредна, или тех, кто были в присмотре за кобылами во время родов или вскоре после них; тех, кто наблюдал, как начинает взбивать и мутиться пиво, и заботящихся, чтобы пиво не пахло бочкою; тех, кто уничтожал пятна от колесного сала или готовил белую треску или жирных форелей, которые, как известно, бывают наиболее вкусными в июле месяце, а зимой совсем безвкусны, что совпадает и с холодной баней; тех, кто готовил замечательный «дорш», самый малый род трески, и нежнокостную рыбу, требующую, чтобы ее солили и не слишком много и не слишком мало, тогда как мясо мелких окуней, как вам известно, не очень уважается по причине его костлявости, а мясо крупных окуней по причине его жесткости. Таким образом, отец мой кстати выяснил, что святители самой красивой и самой вкусной рыбой считают речную щуку, в особенности ту, которая имеет в длину более фута, в толщину три дюйма и весит от четырех до десяти фунтов. Щука эта жирна и вкусна «до согласности» в феврале месяце, а наименее вкусна в апреле, когда она пожирает лягушек и бросает икру. В июне и августе щука опять становится хорошей, ибо получает более твердое мясо, хотя у тех, которым еще не миновало года, или у так называемых «травяных» щук, месяцы не производят резкого различия в мясе, если только эта рыба существует в текучей воде. Щуки, которые родятся в болотных и мутных водах, получают в жаркую погоду во время жатвы весьма мягкое мясо, которое имеет неблагоприятное влияние на их характер и вкус. И щуке,как видите, необходима холодная баня! Пополняя свои сведения, отец мой посетил, кроме вышеназванных, еще в пределах России тридцать пять римско-католических монастырей и несколько армяно-грегорианских. Таким образом, он обошел множество угодий, но всякий раз, направляясь в странствования, он заранее говорил, что весьма трудно будет сообщить грядущим потомкам точные сведения о русской холодной бане, ибо баню в большинстве обителей понимают посвоему. Когда, например, отец мой попробовал спросить, что же лучше — дождевая ванна или баня, то некоторые святые отцы бранили его весьма искусно, а некоторые не менее искусно одобряли, присовокупляя, что после

дождевой ванны надо иметь возле себя волосяную щетку безразличного цвета или длинный лоскут фланели, от трения чего кожа твоя примет приятную теплоту. Дождевую ванну хорошо принимать утром, но подниматься рано и разыскивать дождь вряд ли кому хочется, и вот почему отец мой соглашался с монахами, говоря, что истинное красноречие, так же как и аппетит, состоит в том, чтобы высказывать то, что относится к делу, и только это, а великим секретом красноречия остается серьезное лицо. Расспрашивая о бане, отец мой получал множество уроков серьезности, а следовательно, красноречия. Сам он боялся применять на себе как холодную баню, так и дождевую ванну, в силу чего он плавал хорошо только по волнам красноречия, к тому же он должен был предпочитать сушу, потому что суша сооружала ему только мозоли, а еще неизвестно, что соорудит ему вода. Мозоли часто останавливали его возле религии и для лечения и для пищи. Но долго он там не задерживался, потому что монахи хотели только слушать о монахах, тогда как отец, будучи человеком глубоко бесстрашным, всегда рассказывал известным ему людям про неизвестное. Вот почему, едва отец мой начинал понимать смысл холодных монашеских лиц, как он снимал сапоги и пускался в путь босиком. Правда, пройдя верст сорок, он опять упирался в церковь, в монастырь или в монастырские угодья, так что в конце концов ему надоела холодная баня, от которой, однако, он не мог освободиться, ибо иначе ему пришлось бы креститься на купола и иконы совсем по-настоящему, то есть признавая тайну мгновения. Вот почему отец мой, наконец, при одном упоминании о холодной бане впадал в озноб и в раздражение. Из попутного дела холодная баня превратилась в главное и заслонила собой многое в его жизни. Когда ему, казалось, совсем нельзя было освободиться от бани, он наливал с верхом «зеленое ведро водой». «Верхом» назывались плавающие льдинки. Я отлично помню это зеленое ведро с деревянной дужкой. Отец мой подвешивал ведро у крыльца школы на крюк таким образом, чтобы, дернув за веревочку, можно было опрокинуть это ведро на себя. Ведро долго раскачивалось, брызгая то сильно, то слабо. Отец мой приседал и лениво дергал за веревочку, стуча от страха зубами и обливаясь потом, который был гораздо холоднее воды. Измучившись и не доверяя своим

рукам, он наматывал веревку на ногу, зажмуривался и дергал изо всей силы. Вода выливалась где-нибудь рядом с отцом, обрызгав его грязью. Отец наполнял другое ведро, но и это попадало ему куда-нибудь на бок, так что, в конце концов, отец мой, весь залепленный грязью, влезал на печку и ложился под тулуп. Он обсыхал. С сухого тела грязь спадала сама собой, а в поселке Лебяжьем говорили: «Быть ему Скобелевым! Все генералы обливались холодной водой». Долго на земле валялись ледянки, долго отец мой дрожал под тулупом, а мать прятала зеленое ведро куда-нибудь далеко в угол сеновала. Отец мой, отогревшись, говорил: «Недаром устроили монастыри. В миру святым быть трудно». Однако отец мой быстро утешался, потому что зеленое ведро со льдом давало ему повод лихо рассказать, как лебяженские казаки воевали с китайцами за обладание городом Семипалатинском. Китайцы наступали бесчисленными толпами. Казаки, которыми командовал наш дед Семен Савицкий, соорудили ледяную крепость, из которой палили ледяными пушками. На Иртыше было восемьдесят семь градусов ниже нуля по Реомюру, так что река промерзла до самого дна, и когда для постройки крепости стали вынимать льды, то в них находили замороженных осетров. Этих осетров, не выкалывая, вместе со льдинами, везли прямо к царскому столу в Петербург. Казаки быстро разбили китайцев, но не столько нажились они на захваченном имуществе, сколько на продаже ледяных осетров. «Где же они, капиталы-то?» — спрашивали моего отца. «Пропили!» — с гордостью отвечал мой отец.

18

Возле куртины ожидали меня три официанта. Младший из них держал лампу. Воздух был тих и неподвижен, но свет лампы колебался на их встревоженных лицах. Удивило меня то, что официанты держали мои шпаги и мои тетради, и все это было завернуто в соломенную мою «собаку». Подальше, возле высокого куста георгин, дремал тощий городовой в широкой фуражке.

Феофилакт Челпанов спустился по лестнице. Челюсть его двигалась над моим паспортом, лежавшим на его

руке. Я быстро подумал, что хорошо бы получить паспорт без особых изменений моей внешности, но я не мог не сказать:

— Жалованье-то так, значит, и не уплатите? В куплетики я вас вставил вместе с прочими гробами. Жалею, что догадались вы, Челпанов, какие куплеты я б пропел перед сегодняшним залом. Была б вам радость.

Кстати я вспомнил, что в кармане у меня лежит револьвер, но одновременно я узнал, что обращаться с револьвером не умею. Я много читал, что герои «спускают курок», но, пожалуй, от растерянности я могу узнать только способ, как эти герои спускают курок в самого себя.

Челпанов показал мне издали бумажку:

— Подписана! Признают, что куплетист грозил мне пожаром и что вино подавали бутылками.

— Признают?

— Вот и уходи ты от нас пожалуйста, Савицкий.

Ресторан, как известно, представлял собою нечто вроде большой деревянной подковы. Сжимая рукой револьвер, я подумал, что бежать вперед к выходу из сада по самому краткому пути мне помешает официант. Я мог бы проскользнуть к воротам влево мимо клумб, но там сторожил городовой. Мне оставалось бежать только назад, туда, где были службы, среди которых шляются бездельники-конюха, всегда готовые подставить ножку, где мусор, ямы, а затем кустарники — елки и боярышник, за которыми начинается овраг. Но обидно было не замысловатое расстояние, а то, что лаковые ботинки невероятно яростно жали мои ноги.

— Весьма благодарный за ваше обращение, я попрошу вас только, Феофилакт Иванович, уплатить мне положенную неустойку — шестьдесят рублей.

Челпанов закричал:

— Благодари бога, что паспорт получаешь!

— Паспорт вы не имеете права задержать по российским законам, согласно которым...

Челпанов еще раз показал мне бумажку, которую подписали наши дамы:

— Под суд бы тебя, да не хочется тень на заведенье наводить, скажут — поджигателя кормил. Если подойдешь к моим строениям, и даже не ты, а кое-кто, похожий на твою морду,— будешь разбит вдребезги.

То, что Челпанов не бросает паспорт на пол, указывало, что он желает со мной покончить мирно. Поэтому я сказал сухим и деловитым голосом:

— Ну, так как, Феофилакт Иванович? Уплатишь ты мне неустойку? Наличными или вексель выдашь? Имей в виду — продуктами и подпорченным, слитым из разных бутылок вином — не возьму. Разве обедать еще могу к тебе приходить.

От удивления и негодования Феофилакт раздвинул челюсти, и пальцы его ослабели.

Мне трудно было прыгать, но я подпрыгнул. Я хотел действовать «молниеносно». Я вырвал подписанную дамами бумагу, мой паспорт, а затем прыгнул к лакею, схватил свои шпаги, тетради и «соломенную собаку».

— Ой, господи! — визгливо крикнул Челпанов, падая навзничь и держась за карманы.

— Зарезали! — завопил лакей, тот, который привел меня и который умел говорить по-английски.

Широко раскинув плисовые свои шаровары по песку, лежал передо мною мой хозяин. Он чуть шевелил локтями и дышал очень хрипло. Наверное, он полагал, что я пырнул его ножом.

Лакеи мужественно замерли на месте. Из кустов, одной рукой поддерживая брюки, другой — свисток, выбежал городовой. Его жесты указывали, что он не мог владеть револьвером, и тогда я выхватил свой пятизарядный «бульдог».

— Корзинами! — закричал я, размахивая револьвером.— Корзинами! Плати по контракту, иначе перестреляю. Плати!

Но Феофилакт Челпанов не мог платить. Он держался руками за карманы, думая, что держит свой живот, который давно уже распорот. Тонкий визг вышел из его носа, и по этому визгу я понял, что мне надо торопиться.

Я побежал, еле волоча ноги. Надо полагать, что этот бег признавался подлинно разбойничьим, и официанты столь тщательно желали спасти свою жизнь, что когда они бросились в ресторан, то вышибли из рук городового свисток, благодаря чему он мог схватиться за свой револьвер.

Однако свисток тоже помог мне. Гуляющие по дорожкам и кучера возле конюшен решили, что произошло

страшное кровопролитие и что лучше разбежаться, нежели попасть в свидетели.

Я проскочил сквозь елки, пролез под боярышник, перемахнул высокий забор и сразу попал в невероятно теплую и длинную темноту оврага.

Однако я продолжал бежать, размахивая револьвером перед своим лицом, так что, в сущности, я бежал в тех кругах, которые описывала моя рука.

Тьма делалась круче и влажнее. Я споткнулся о какой-то пень и покатился по такой крутой отвесности, по которой все предметы падают с одинаковой скоростью, согласно закону притяжения. Несколько раз перекувырнувшись, я этим приостановил дальнейшее развитие моего страха, который мог бы иначе превратиться в ужас.

Мне было жалко лаковой моей обуви, которая, наверное, повредилась в овраге, ибо я не чувствовал боли в ногах. Эта мысль, а также и то, что босые мои ноги могли наколоться на что-нибудь непостижимо острое, так же как и боязнь ужаса, совсем остановила движение моего тела. Едва я остановил свое тело, как подумал, что при дальнейшем усердном кувыркании револьвер мой мог выстрелить,— и ужас, которого я так трепетал, охватил меня.

Долго я пыхтел, проверяя плечами вокруг себя пространство.

Я пощупал свой карман и свою голову. Удивительно не то, что уцелели револьвер и голова, а то, что я не выронил ни шпаги, ни паспорта, ни подписки дам.

Едва я проверил свое имущество, как узкие ботинки опять напомнили о себе. Я снял ботинки и весьма порадовался жизни. Да и трудно было не радоваться! Я имел фрак и ботинки, на которые, как теперь выяснилось, совершенно не действуют дурные климатические условия. Кроме того, я обладал не очень поношенными брюками, опрятным паспортом, револьвером, кольцом с громадным изумрудом, несколькими клеенчатыми тетрадями, которые собрали в себя мудрость человечества, и «соломенной собакой». С таким имуществом кто не дойдет до Индии?

Я чувствовал к себе сильное уважение.

Я впустил полы своего фрака вовнутрь, так что получился некий куцый пиджачок, кое-как замотал в «соло-

менную собаку» свои шпаги, пришпилил к фрачному карману паспорт и направился искать работу.

На перекрестках я спрашивал у городовых, где находится типография газеты «Екатеринбургская неделя». Мне хотелось держать в руке верстатку, а кроме того, я надеялся вспомнить «огненные» свои куплеты. Кто знает, не сгодятся ли они газете?

Так как при виде городового я надевал свои ботинки, то лицо у меня было столь качающееся, что городовые говорили:

— Ишь ты, как надрался! Проходи, проходи, а то клопов в части покормишь. Туда же, ногу в лак сует!

Возле типографии я снял фрак, атласную свою жилетку и, накинув все это на плечи, пошел в наборную.

Длинноволосый фактор в синем фартуке, с глазами, глубоко сидящими и непрерывно выпускающими из своей пещеры множество неизъяснимых, но приятных чувств, сказал мне:

— Дружище, в городе полная безработица, и сколько бы вы ни спрашивали заведующих типографиями, они вам не дадут дела. Вы как сегодня питались?

Меня растрогало его внимание, шелестение бумаги, выходящей из машины, запах типографской краски и холодный цементный пол.

— Вы утверждаете, товарищ, так про все екатеринбургские типографии? А нельзя ли присмотреться?

— Тысячи людей присматриваются к работе, дружище. И все напрасно. А по России — так, наверно, миллионы присматриваются.

Он вынул из кармана жестяную коробочку, смятую, хранящую следы долгих прикосновений. Вертя папироску, он шел за мной. Ему очень хотелось найти мне работу. Он проводил меня до ворот, объясняя, где найти другие типографии и к кому обратиться. Голос у него глухой, и он, видимо, многое понимает во мне, так как нисколько не удивился, когда я, выйдя за ворота, надел фрак.

— Приходится голодать, дружище!

Хотя он ошибался, считая меня голодным, но я понял его определение моего голода как духовного голода. Не докурив папироски, он свернул другую:

— Единственно, что я могу вам предложить... У меня тоже четверо детей, и в Лодзи тоже два старика, родители.

— Тоже? Я не имею детей, товарищ. Спасибо.

Он все-таки протянул мне табак и рубль денег.

Он смотрел на босые мои ноги, и слезы были у него на глазах, но это были иные слезы, мало походившие на те, которые проливал иногда Петр Захаров.

— Что происходит в этой России? Происходит нечто страшное!

Этот еврей, фамилию которого я вскоре забыл, шел со мной до конца переулка. На углу мы остановились. Из окон типографии падал электрический свет, и видны белые высокие кипы бумаги, черные блестящие машины и синие фартуки рабочих. Фактор стоял сутулый, длинноволосый, покашливая, и мне было как-то странно знакомо его лицо, хотя я отчетливо помню, что никогда не встречался с ним прежде. Видимо, он видел много в эти дни безработных и несчастных людей, ему было невыносимо горько смотреть на них. Я не отказался от его рубля, хотя имел на пальце изумруд невероятной ценности. Я чувствовал, что если я откажусь от рубля, то обижу и его и себя, бедного Пима, у которого совсем нет друзей.

Я пожал ему руку и сказал:

— Происходящее в России очень смутно. Я ухожу в Индию.

— Полагаете, что найдете там работу?

— Найду.

— Счастливой дороги! Происходящее в России подлинно страшно, дружище.

Я не мог не согласиться с ним и потому, что испытал в эти годы, и потому, что я, встревоженный его голосом, надел, для успокоения, лаковые свои ботинки.

19

Постоялый двор, построенный возле ночлежного дома, длинного и бронзово-бурого, брал с меня за ночь три копейки. Перед тем как ложиться, я сдавал свой фрак, тетради и ботинки хозяйке постоялого, беременной бабе со злым и бледным лицом. Утром я получал фрак, соломенную свою «собаку», завертывал в нее

ботинки и шел разыскивать работу. Питался я черным хлебом, запивая его водой из колодца.

Через неделю я поступил в типографию Марка Евдокимовича Юферова. Типография эта крошечная, меньше павлодарской; плоская машина в писчий лист, две бостонки и семь реалов шрифтов. Здесь выделывали «штемпеля и печати». За работу я получал четыре копейки в час.

У входа в типографию я снимал ботинки, а чтобы было веселее ходить по бетонному полу от реала к бостонкам, тискальному станку и машине, я настилал дорожку из обрезков бумаги. Работал я в день не менее пятнадцати часов и усталости не чувствовал, объясняя это тем, что хорошо напитался в шантане.

На постоялом дворе жили нищие, босяки, которые пребывание здесь считали более почетным и дорогим, нежели ночлежный дом, а хозяйка с такой важностью носила свой живот, словно весь город участвовал в его создании. У ворот постоялого навалены бревна, которые от многих лет совсем потемнели. Бревнами собирались подпереть ночлежный дом, потому что он грозил обвалом, но все как-то не хватало не то средств, не то желания. С утра до вечера сидели наши постояльцы на этих бревнах и с презрением рассказывали о пьянстве и драках, которые наблюдаются у соседей в ночлежном доме. Иногда, напившись, наши шли к воротам ночлежки. Навстречу им выбегали опухшие люди в грязных тиковых штанах и разорванных рубахах. Они вопили:

— Опять позорить явились?

Дрались долго, пока не показывался в переулке городовой, высокий и рыжий старик с тяжелой шашкой, которой он так искусно бил по уху, что человек с одного удара «засыпал на три дня».

Накануне четырнадцатого, перед получкой, я долго приторговывал на базаре широкие ботинки. Лаковая моя обувь невероятно надоела мне, и давно бы пора ее обменять, но я полагал, что совсем плохо, если на пальцах у меня лежит драгоценный изумруд, а ноги в опорках. Наконец я подыскал подходящие ботинки. Это было широкое сооружение из желтой кожи, и по всему было видно, что их долго носил весьма аккуратный и добросовестный человек. Они лежали рядом с грудой романов «Тайны венценосцев», с истрепанными комплектами

«Природа и люди» и «Света». Я взял книгу формата, мне еще незнакомого. Я перелистывал «Вешние воды»:

> «Санин приподнялся и увидал над собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо, такие огромные, страшные, великолепные глаза — такую красавицу увидал он, что сердце в нем замерло; он приник губами к тонкой пряди волос, упавшей ему на грудь — и только мог проговорить:
>
> — О, Джемма!
>
> — Что это было такое? Молния? — спросила она, широко поводя глазами и не принимая с его плеч своих обнаженных рук.
>
> — Джемма! — повторил Санин.
>
> Она вздрогнула, оглянулась назад в комнату и, быстрым движением достав из-за корсажа уже увядшую розу, бросила ее Санину».

Если в «соломенную собаку» сложить эти книги, то как раз останется место для фрака, лаковых ботинок и серых тетрадей. Из книг, которые мне не понравятся, я склею ножны для шпаги, обмажу их сверху чернилами и, пожалуй, приобрету на гривенник лаку... Четыре копейки в час показались мне платой убогой и голодной.

И то сказать, хозяин наш, Марк Евдокимович, весьма экономлив и бережлив. У Марка Евдокимовича глаза длинные и тусклые, «выброшенные», как говорят у нас в степи, но за этой тусклостью вы сразу видите оборотистый ум и упрямую волю и понимаете, что они могут вас так обойти сбоку, что вам ввек не заметить этого обхода. Он строго следит за прибылью и убылью денег, у него множество конторских книг. Три раза в день он занимается гимнастикой, и в конторе, рядом с письменным столом, стоят весы и силомер. Марк Евдокимович явно презирает меня.

— Такой молодой человек, как вы, не должен носить узких ботинок. Узкие ботинки — удел старости, господин Иванов.

Трогая в кармане револьвер, завязанный в носовой платок, я говорю ему с наглостью наивозможнейшей:

— А зачем вы меня тогда наняли, Марк Евдокимович?

— Вы дешевле прочих, Иванов. У меня до вас работали по пять копеек в час.

— Значит, если найдутся работники за три копейки в час, то вы меня прогоните?

— Обязательно прогоню.

Марк Евдокимович старательно и подолгу думает. Каждый факт, признанный им достойным, он записывает в конторские книги, так как достойным фактом может быть только заказчик. Он молод, только что получил университетское образование, и когда видит, что наборщик и печатник работают исправно, он достает синюю с золотым обрезом конторскую книгу, на одну сторону листа которой он излагает свое «Учение и историю штемпелей», а на противоположную — возражения, которые могут последовать и которые следует устранить теперь же. Когда он пишет, лицо у него становится чем-то похоже на новый резиновый штемпель,— такое эластичное, ловкое, так что кажется, если накатать краски и тиснуть, то не заметишь, который из них оттиск, а который подлинник. У него чудесная память и на штемпеля, и на лица и фамилии заказчиков:

— Владимир Бернер, статский советник в Гомеле, владеет удивительным штемпелем, изготовленным в Самаре в тысяча девятьсот одиннадцатом году. Средина штемпеля заполнена орлом, а вокруг курсивом — имя, фамилия, отчество, местожительство, чин, год рождения. У меня штемпель этот значится за номером шестьсот тридцать семь.

Он быстро роется в столе и сразу же находит оттиск этого штемпеля. Штемпель как штемпель, но я уважаю людей с прекрасной памятью, потому что думаю, что не может быть того, будто они запоминают одно только плохое или глупое.

— Господин Иванов, каков собой заказчик, который приходил третьего дня и с которым мы разошлись из-за двенадцати копеек?

— А черт его знает! — говорю я.

Марк Евдокимович восклицает в негодовании:

— С такой памятью вам, Иванов, незачем работать в типографии! Вы даже свинопасом не способны быть, потому что свинопас должен запомнить своих животных.

Я обижался:

— Ну, одну-то я запомню.

— Это вы на кого намекаете?

— Не на себя.

— Прошу вас не отходить от реала. Быстрее берите буквы. Брань мешает работе,— говорит строго Марк Евдокимович.

В две недели я заработал 9 руб. 30 коп., авансом выбрано 3 руб. 50 коп. Жил я впроголодь и теперь был чрезвычайно доволен, что после расчета куплю мешок с книгами, ботинки и отлично пообедаю.

За окнами по голубому булыжнику подпрыгивали телеги ломовых. У них громадные черные тени. На телегах желтые мешки с мукой, сбоку которых узкие фиолетовые клейма: «Торговля крупчаткой М. С. Патрушевой». Я смотрел на свой изумруд и думал, что, продай я его, можно приобрести громадную типографию о десять машин, а сам Марк Евдокимович с радостью поступит ко мне заведующим. Четыре копейки в час казались мне заработком хотя и унизительным, но вполне терпимым, потому что хозяин мой так нескончаемо долго раскидывал костяшки счетов, что я понял,— не видать мне моего заработка! И точно,— Марк Евдокимович, точно не доверяя себе, призывает печатника для проверки счета.

— Правильно, девять тридцать,— говорит ему печатник.

Марк Евдокимович подумал, порылся в кармане и выложил на стол зеленую тройку, затем подумал еще — и добавил к ней рубль.

— В расчете,— сказал он строго.

Я положил четыре рубля в карман брюк, однако не в тот карман, где лежал революьвер.

— Следует доплатить, Марк Евдокимович, рубль восемьдесят,— сказал я тоже строго.

Марк Евдокимович взвизгнул:

— Мы уже увидели, Иванов, что у вас наглое желание! Я уплатил вам все, что полагается по вашей работе. За такую работу по морде бьют, а не деньги платят.

— Ага, по морде? — сказал я, отступая к порогу. Я рассчитал, что с порога мне удобнее выстрелить.— Помните, Марк Евдокимович: человек, подобный мне, заботится не только о пропитании и обуви, но и о духовной пище! Отдайте мне мою духовную пищу. Я повторяю, отдайте мне мою...

— Шагай через порог, Иванов. Уже нанят наборщик по три копейки в час.

— Ага, по три?

Я сунул руку в карман и сказал так строго, как не говорил никогда:

— Больше вам, Марк Евдокимович, не придется снижать часовой оплаты.

Но я плохо верил в то, что смогу попасть пулей в моего хозяина, а кроме того, револьвер не только туго-натуго завязан в носовой платок, но, чтобы не выпал из кармана, пристегнут к брюкам английской булавкой. Вот почему я обратил свой взор на полено, которым прикрыта, дабы ее не разнес ветер, пухлая афишная бумага.

Схватив полено потоньше и полегче, я со всей силой ударил им в письменный стол:

— Вам не придется снижать часовой оплаты!

Марк Евдокимович побледнел. Он схватил рукой бумажник. По его лицу было понятно, что он все равно не уплатит мне.

Я разбил вдребезги чернильницу и необыкновенно яростно раскидал приготовленные заказы: голубенькие и кругленькие штемпеля на деревянных ручках. Полено мне показалось чересчур легким, и я взял другое, березовое, сучковатое, тяжелое.

— Грабят! — закричал Марк Евдокимович.

Приседая, он побежал от меня.

Типография тесная, не больше пятнадцати шагов в длину. Печатник, хохоча, упал на бумагу, вертельщик — на колесо. Я бежал за своим хозяином вокруг машины, и мне все казалось, что об этой погоне мною где-то читано или даже видано во сне,— настолько это неправдоподобно, и в то же время — это правда. Брюки у моего хозяина позади залатанные, ботинки давно не чищенные, волосы давно не стриженные.

— Стой! — закричал я.

Хозяин, увидав, что полено нацелилось в машину, немедленно остановился и, крестясь, сказал:

— Уплачу, уплачу!

Он протянул мне два рубля из-за машины:

— В расчете?

Когда я, все еще держа полено в руке, остановился на пороге, чтобы последний раз взглянуть в его измятое лицо, которое теперь совсем не походило на штемпель, хозяин повторил:

— В расчете? Однако, господин Иванов, верните мне, пожалуйста, полено и переплаченные двадцать копеек.

— Покричи у меня! — сказал я, беря полено под мышку.

И тогда Марк Евдокимович сказал мне вслед:

— В полицию сообщу! Паспорта, скажу, нет. Стой!

Я быстро выбежал из типографии. Ясно, что Марк Евдокимович принимал работать бродяжек, беспаспортных и беззащитных, которых можно обсчитывать, а в случае чего и грозить полицией. Мне было приятно, что я не бродяга, что у меня есть револьвер и меня не напугаешь полицией, а я сам могу кое-кого припугнуть.

Я купил желтые ботинки, книги и полсотни пельменей. Наевшись и напившись кислых щей, я отправился на бурые бревна постоялого двора — читать сочинение Ивана Сергеевича «Вешние воды», но так и не дочитал. В комплекте «Вокруг света» я нашел роман Э. Сальгари о наследстве капитана Немо. Господин Санин был чересчур робок, а Джемма стремилась не к тому, к чему должен стремиться человек, желающий увидеть Индию.

20

В развесочной «Чайного товарищества Кузнецов и компания» работа производилась вручную, но уже рядом с пыльным и темным зданием, в котором работали мы, построили другое, длинное и выше нашего раз в пять. Там устанавливали котлы, и немцы-инструктора в чистых фартуках и шляпах набекрень вынимали из деревянных ящиков широкие части машин. Поглядывая в окна, я часто думал о том, что мне скоро придется перейти в жаркую котельную. Мне хотелось бросать блестящий уголь в оранжевые топки котлов, пить теплую воду из больших кружек и ругаться так же хрипло, как ругаются все кочегары.

— Скоро вы меня переведете-то? — спрашивал я старшего по отделению, китайца Кан-Си.

— Скоро, очень скоро.

А пока за семьдесят копеек с утра до вечера я подавал жестяные раскрашенные ящички узкогрудому рабочему, который устилал дно и бока их пергаментной бумагой, затем клал свинцовую, а третий рабочий под-

водил коробочку под кран, из которого непрестанно струилась коричневая, сухая и пахучая лента чаинок. Мы сортировали чай.

Кан-Си, старательный, тихий, в синем костюме, ходит совсем бесшумно. Он отлично говорит по-русски, и, говори я так по-китайски, я бы только радовался, но ему все мало. Если кто хорошо выполнил свою работу, он подходит с маленькой записной книжечкой, где необычно тонкие листы бумаги, и спрашивает:

— Знаете ли вы, господин, иные названия для браслет? Например, я видел у ваших крестьянок браслеты из серебра, меди, фольги, иногда раскрашенного дерева, иногда из кости или стекляруса, а чаще всего из ягод рябины. Неужели они все называются одинаково?

— Называются запястье.

— Прекрасно. Но, наверное, есть еще названия?

Я говорил тогда:

— Зарукавни, например. В Лебяжьем у нас их называют наручнями.

Чаще всего названия эти я придумывал сам. Кан-Си рисовал крошечный значок в книжке, и вскоре я понял, что значки эти он делает не для памяти, а из вежливости. Он воспроизводил все виденное им с точностью почти потрясающей. У Петра Захарова память большей частью пригонялась плотно к тому делу и тем знаниям, которые он применял, а память Кан-Си часто казалась мне похожей на пустые анекдоты Филиппинского.

Если мы плохо понимали нашу работу, Кан-Си мелкими шажками ходил среди нас, положив руки на живот и склонив голову. Старательно выговаривая букву «р», он говорил нам, как произрастает чай и почему мы должны его уважать. Уважение к тому, что ты выделываешь, есть уже начало хорошей работы!

— Подумайте о том, как чай, принесенный в корзинах с плантации, рассыпается на циновках. Ему дают слегка подвянуть на солнце. Вот чай собирают в кучи и лепят комья величиною с голову ребенка, мнут их ногами в плоских корзинах, так что течет зеленый липкий сок...

Он соединял вместе ладони и смотрел в узкое пространство между ними.

— Вот таким ручейком, господин Иванов, стекает этот сок. Чай опять рассыпают на циновках, сушат, пока

он не потемнеет и не приобретет запах сена. Зеленоватыми остаются только самые грубые листья, что можно сказать и о жизни человека. Все остальные собирают в кучу и в совочки, сплетенные из бамбуковых листьев. Если после брожения в чае все-таки останутся зеленые листья,— значит, чай не перебродил, а когда он перебродил и когда его высушат, он приобретает название «мао-ча».

Он брал горсть этого мао-ча и заставлял нас нюхать его:

— Напрасно вы думаете, что вы придаете ему какой-нибудь вид. Ваша обработка не изменяет его качеств и свойств. Вы только украшаете его внешность для привлечения покупателя, подобно румянам и пудре: они необходимы девушке при мгновенном знакомстве, но жениху они не нужны.

Обработку черного чая мы начинали с просушивания, производя его в особых корзинах, называемых «бейдзами». Бейдзы похожи на цилиндр, перетянутый посредине. Они подогреваются над ямами раза два, а в ямы кладется уголь, преимущественно дубовый. Кан-Си говорил, что при подогревании бейдзы нужно избегать дров и углей ароматных и хвойных пород. Мао-ча, который при раскупорке ящика был гибок, как резина, после подогревания делался черным и ломким, и аромат сена, свойственный ему, пропадал.

Сухой чай мы просеивали через тринадцать сит различной крупности. Сита круглые и плоские, одинаковых размеров Кан-Си привез к нам с юга Китая, из Кантона. Эти сита разделяли чай на чаинки одинаковой величины.

Провеявши рассортированные чаинки, отбросивши от них грязь, попадающую при плохом крестьянском приготовлении мао-ча, мы старались разбить чаинки на один вес, размолоть их. Требовалось, чтобы мы умели отделять крупные сырые части, «цави», дабы сушить их отдельно, как и отделять палочки и камушки, примешиваемые продавцами для веса.

Сортировали мы и низшие номера чая, ниже десятого, известные под общим названием «хао-сан». Хао-сан идет сплошь в плиточный чай. Мы получали его в длинных мешках из какой-то плотной оливково-бурой материи. Мы отбирали его на седьмом сите. Весь осталь-

ной чай шел на выделку черного кирпичного, того, которым некогда торговали мы, вместе с прочими лыкошинскими товарами, в степях возле Урлютюпа.

Черный кирпичный чай выделывали громадными ручными прессами. Кан-Си ненавидел эту грубую работу.

— Такие ужасные сорта чая только и подобает пить ужасному народу,— говорил Кан-Си.— Вам никогда не добиться «бай-хао», цветочного чая.

— Кирпичного и то не хватает.

Кан-Си продолжал, не слушая меня:

— Бай-хао приготовляется из самых крошечных молодых листьев, еще не потерявших на оборотной стороне серебристый пушок. Бай-хао называется так потому, что точный китайский термин значит «белые волосики». Этот чай выделывают сами фабриканты, и он продается прямо с фабрики.

— А что более выгодно? — спрашивал я.

— Производство кирпичного чая, господин Иванов.

— Так вот вы его и будете производить до вашей смерти, господин Кан-Си. Всю вашу жизнь стоять вам, господин Кан-Си, возле лао-ча.

— Для вашего возраста у вас чересчур много грусти, господин Иванов.

Лао-ча — это побеги чая, грубо срезанные с кустов. Этот-то лао-ча и привозили преимущественно к нам на развесочную. Лао-ча и сбор его заменяет одновременно и последний сбор, и подрезку кустов. Ветки бросают в чугунный котел, вмазанный в печь. Листья от жара становятся мягкими и липкими. Смятый теплый чай расстилается на циновках тонким слоем, сушится, свертывается, и тогда готов он, чтобы ехать к нам в Екатеринбург.

Лао-ча мы разделяли на три сорта: «ти-дзи», более грубый, помещаемый внутри кирпича, «и-мян», составляющий низ кирпича, и «са-мян», идущий на верхнюю обкладку. Ти-дзи — это грубые переросшие листья, часто даже прошлогодние, с кусками перезимовавших веток, и-мян и са-мян — более нежные побеги этого года, с верхушечными листьями.

Мешки обычно осматривал сам Кан-Си.

— Учитесь, господин Иванов,— говорил он.— Наука должна помогать вам видеть затруднения в деле так же легко, как око видит в прозрачной воде волосок.

Кан-Си сразу оценивал качество чая, отличал подгнившие сорта от хороших и, запустив в мешок руку, мгновенно нащупывал подмеси песка и камней.

— Учитесь, господин Иванов. Это очень просто. Смотрите только всегда в конец слова.

Горячий лао-ча отвешивался порциями. Мы насыпали эти порции в тряпки, подвешенные над котлом, из которого шел пар. Лист быстро разогревался, и мы тащили его к формам, сделанным из дерева.

— Подставляй! — кричал я формовщику.

Мы кидали горячий лист в форму, и пресс опускался. Кирпичи вынимались из форм, обрезались и сушились несколько дней. Кан-Си осматривал каждый кирпич. Если обкладка отставала или на ней образовывались выбоины, то кирпич браковался. Он мог загнить в пути. После осмотра мы укладывали, завернув каждый кирпич в пухлую бумагу, по тридцать шесть штук их в корзину из бамбука.

— Сосен у нас мало, что ли? — ворчали мы.

Мы часто получали занозы, но бамбуковые корзины необходимы, иначе покупатель не поверит, что чай приготовлен в Китае.

— А что, в Индии чайное дело тоже имеется? — спросил я у Кан-Си.

— Чайное дело имеется во всем мире. Скажите мне, господин Иванов, имеют ли особое наименование два бревна, связанные между собою в одном конце, а другими концами ставящиеся на балки?

— Стропила, — отвечал я. — Несколько таких стропил составляют вместе основание для покрытия крыш.

— Вы старательный мужчина, господин Иванов, и я надеюсь, что скоро вам придется заведовать отделением. В ответ на вашу любезность мне хочется рассказать вам о некоторых предметах.

В праздник я пришел к нему в гости.

Кан-Си занимал маленькую квартиру в три комнаты. Мебели у него нет, а всюду, как у киргиз, разостланы кошмы и циновки. У него были гости. Кан-Си служил мне переводчиком. Китайцы охотно показывали мне родные им предметы. От растерянности перед их странной ученостью я ничего не смог запомнить.

— Я вас прекрасно понимаю, господин Иванов, — сказал вдруг Кан-Си. — Вы не хотите обладать такой бесполезной памятью, какой обладаю я. Я смотрю во-

круг, все запоминаю, и голова у меня набита с такой же пользой, с какой пустыня — подвигами святых мужей. К сожалению, детство плохо организовало мою память, а теперь уже поздно. Я болен, господин Иванов, и скоро умру.

Собой он одутловат, и руки у него дрожат. Я верю, что он очень болен. Во время обеда он страдающе смотрит на кушанья:

— Мне бы наслаждаться пищею в чужих странах, но я, господин Иванов, приехал с головою и желудком, испорченными еще на родине.

Узнав, что я казак, он тщательно расспрашивает, как пьют и что едят казаки. К сожалению, я забыл многие родные кушанья, и он, улыбаясь, говорит:

— Значит, вы проживете долго, господин Иванов. Я болен и уже не могу смотреть, как едят люди, и разве только, испытывая иногда наслаждение, наблюдаю, как питаются звери. Видали ли вы, господин Иванов, удава, который проглатывает поросенка?

— Я ненавижу змей, господин Кан-Си.

Однако Кан-Си рассказывает подробно, как в Кантоне он ходил смотреть питание удавов.

Съедает Кан-Си в день несколько крошечных сухарей и маленькую чашечку риса. Страсть к еде постоянно слышится в его голосе и в сверкающих глазах, и, рассказав об удаве, он говорит о том, сколько птица съедает в день.

— Поэтическая ласточка, господин Иванов, ест втрое больше своего веса. Еда необходима для быстрого движения. Погоня за пищей наполнена красотой, быстротой, легкостью, господин Иванов. Удав способен прыгать, подобно молнии!

Иногда после работы Кан-Си шел со мной гулять. Мы уходили далеко за город.

— Вы купите пищи, господин Иванов, кушайте, а я буду смотреть.

Мне казалось, что он накормит меня, но любовь к пище — это одно, болезнь — это другое, память — это третье, а четвертое и наиглавнейшее в нем было то, что Кан-Си страшно любил деньги. Впрочем, о деньгах он никогда не говорил, и только из намеков можно было понять, что он собирает деньги для того, дабы увидать побольше красоты. Ему приятен был мир! Он любил Цейлон, Тихий океан, но ему нравились Уральские

горы, наши озера и наши камни. Он говорил с большой приязнью и с замечательными деталями о красоте своей «страны цветов». Если ему встречалось что-нибудь великолепное, он кланялся, прижимая руки к груди.

— Едва только вы скопите денег, господин Иванов, я вам советую...

— На гроб и то не удастся мне скопить, господин Кан-Си.

— Напрасно тогда вы не хотите запомнить многие предметы и события. Знание о многом одновременно воспитывает и презрение к этому многому. То, на что вы способны сегодня истратить ваши деньги, не позже как завтра покажется вам совсем ничтожным.

— Разве память о многом есть уже знание?

Он смотрел на озеро, в середине которого стоял рыбак на черном камне, неподвижно держа в руках черное удилище, а возле него на воде, совсем голубой, качалась белая лодка. Голубая вода трепетала, и голубые пятна ползли по борту лодки, перепрыгивая на рыболовов.

— Очень красиво! Теперь вы взгляните на облака, господин Иванов.

Прижав руки к груди, он кланялся облакам.

— Как вы только скопите денег, я очень рекомендую вам посмотреть очаровательные ландшафты Китая. Холмы округлых очертаний возвышаются над ровными, как поверхность этого озера, изумрудными покровами рисовых полей. Среди холмов вы увидите деревеньки или храмы предков, блещущие золотыми черепицами. Иногда вам встретится городок, расположенный на склоне, обнесенный высокой серой стеной с железными воротами и башнями. Подле стены извивается река, а за нею вы увидите голубые отдаленные горы. В стенах пагоды, верхний этаж которой занят небольшой кумирней, с каждой стороны прорезаны круглые окна. Эти окна — словно рамка для картин, и вам будет трудно выбрать, какая из всех четырех картин очаровательнее. Особенно я вам рекомендую посмотреть мою родину, южный Китай, с вершины холмов, окружающих Ян-Лоу-дин и Ян-Лоу-син.

— Покуда съездили бы вы хоть в Индию,— сдержанно сказал я, слегка надеясь, что китаец пригласит меня сопровождать его.

— Мы еще успеем попасть туда, господин Иванов.

— Где попасть, господин Кан-Си! Тут такая пыль, что, кажется, до самой смерти производить нам кирпичный чай.

— Это молодость торопит вас, господин Иванов.

21

В обжорном ряду я ел варево из брюшины, любуясь таинственными ларями старьевщиков, блеском овощного ряда, узелками и корзинами покупателей.

Возле стола остановился повар Софроний.

— Да ты что, не в тюрьме? — спросил он меня совсем равнодушно.

— Выпустили на поруки,— так же равнодушно ответил я. — Погуляю, надо полагать, денька два, а потом погонят этапом домой.

— За револьвер?

— За всякое.

— То-то наш хозяин в полиции заявил: умру, говорит, но в тюрьме его сгною. Городовой, говорит, имеет за двадцатилетнюю непорочную службу серебряную медаль, ему сам генерал повесил, а он на эту медаль поднимает руку.

— Городовой в нашей драке не участвовал.

Софроний вяло махнул рукой и зевнул. Лицо у него усталое.

— Э, все равно, бил ты, не бил, а пропащий ты человек! Да и я тоже пропащий. Меня вон хозяин хвалил, что, как кухня улучшится и гостей больше появится и пить от едкой пищи будут крепче, так и жалованье мне повысит. Пьют они, верно, крепко, и жалованье мне повысили, а мне все так же скучно. Мне, поверишь ли, даже и рыбачить не хочется. Кушанья пробовать не способен, разве молока когда выпьешь.

— Ты бы полечился.

— Чего там лечиться! Подлоги да кражи, измены да примиренья. Хозяйская жена поймала Феофилакта с большеглазой полячкой, с паней этой самой прямо в постели. Мало того, тут же в комнате, в кресле, да в корсете, сидит и любуется на них канатоходец Антуанетта. Тоже профессия, прости ты меня, господи! Ну, повыла наша хозяйка, повыла день, а на другой день муж ей брошь купил. Успокоилась. А того ей и не

подумать, что не брошь ей, а погребальный венчик пора. Лицо-то совсем черным-черно.

Когда я отвернулся от него и пошел, он, больше из вежливости, чем из любопытства, сказал:

— Зашли бы, Сиволод, в полпивную.

— На каторге, не только что в тюрьме, и то мне не пить, Софроний.

Он сказал уныло:

— Нашел чем хвастаться! Жирафа вот тоже не пьет, а шея-то у ней все равно длиной в семь футов.

Сообщения повара встревожили меня. Совсем стало тяжко смотреть сквозь пыльные окна, зеленоватые, с шелковичным блеском, на подводы, непрерывно въезжающие во двор развесочной. Липкий пар котлов слепил меня. Окрики соседей: «В мастера лезешь!» — из-за бесед с китайцем — теперь горько обижали меня, и мне больно было думать, что мое круглое лицо напоминает китайцу его родину и что запах этих черных листьев, эта блестящая темно-зеленая пыль более близки мне, чем волосатым и высоким уральцам.

— Кто лезет в мастера? — воскликнул я.

Но мне не хотелось обижать доброго Кан-Си, и я сказал ему:

— Зрение мое ослабло. Меня должен осмотреть доктор. Достаньте мне паспорт, господин Кан-Си, и в счет жалованья три рубля.

— Разве доктор требует паспорт?

— Глазной — обязательно.

— Весьма удивительная страна,— сказал Кан-Си, делая отметочку в своей книжке.— Видимо, очки здесь указывают ученую степень и доктор, так сказать, производит своим осмотром негласный экзамен.

— Приятно, что вы так догадливы, господин Кан-Си. В нашей стране поразительного больше, чем даже в Китае. Кроме чая, конечно.

Я моргнул ему. Прищелкивая пальцем, я тихонько пропел:

Ах, в Китае,
Кроме чая,
Удивительного мало.
Мы ведь чай
Предназначили в Китай,
Нам удивительнее сало.

Мои стишки показались ему чрезвычайно обидными. Я их исполнил потому, что хотя мне действительно тре-

бовались очки, но я о них думал почти так, как предположил Кан-Си.

Перед тем как уйти из развесочной, и в особенности после разговора с поваром, я долго рассматривал свое кольцо. В розовое утро этот камень горел громадным зеленым куском, в полдень становился почти синим. Иногда он совсем прозрачно-голубоват. Я как бы приобрел кусок моря, который постоянно носил с собой. Оно даже лучше моря, а что встречается реже, то это уже самая настоящая правда. В нем нет ни одной трещинки и нет мутности! Расположение плоскостей в нем таково, что стоит только взглянуть, как перед тобою встает пламенная игра цветов. Свет ударяется в него, падает, кувыркается и никак не может оставить его. Иногда блеск его походил на блеск зубов из-под свежей вздернутой губы, иногда он, словно темный глаз, смотрел на меня, прищурившись. Молчание его гораздо милостивее взгляда его хозяйки. Но это предположение потребовало проверки.

Я встал с рассветом и пошел к ее дому, говоря самому себе, что иду для того, дабы посмотреть, как она пойдет в церковь, а кроме того, мне вспоминалось наставление Софрония: пора кинуть этот город.

Это был длинный белый дом, стоявший глубоко во дворе. Акации густо росли, так что узкая дорога, по которой еле могла проскользнуть крошечная коляска, едва вырывалась из садика. По матовому желтому песку часто ступают ее атласные туфли. Черный пес, лоснящийся и лохматый, что дремал у ворот, размахивая хвостом, встречает ее. Пес лениво лает, и по этому лаю домашние узнают, что она вернулась из церкви, где встретила милого знакомого, отчего ровный розоватый цвет волнения покрывает ее лицо.

Колокол уже призывал ее.

Я долго ходил мимо дома, который мне казался неподвижным — неподвижным почти навсегда. Вспоминая нашу поездку по озеру, я думал, что действовал тогда неправдоподобно медленно. Как я мог пропустить наиболее важный поступок, совершенный в ту камчугу? Как я мог принять это кольцо так, как будто мне кольца дарили каждый день и каждый час? Я пристально изучал вывеску. Она напоминала своими очертаниями те клейма, которые постоянно встречались на ломовых подводах. Меня удивляло только, что они расплывчивы и

малы, причем расплывчивость эта увеличивалась с каждым днем.

Я перешел на другую сторону улицы и, боясь, что не узнаю хозяйку моего кольца, спросил у прохожего:

— Видите ли вы отсюда, что напечатано на столбике возле дома?

— Вижу-с,— ответил он мне несколько поспешно.

— А что же именно?

Он прочел:

— Дом номер сорок два М. С. Патрушевой по Луговой улице.

— Весьма вам признателен. Я вот не смог прочесть.

— Неграмотен или близорук?

— И то и другое.

— Сразу видать...— Но он не пожелал высказать свое определение, которое появилось в нем еще при первом моем вопросе. Я и не настаивал.

Но из-за близорукости ли я так плохо удерживаюсь на ногах? Приобретя очки, может быть, я более твердой ногой буду стоять на своем месте? Так как Мавра Степановна не очень торопилась к обедне, то я имел возможность размышлять о том, где и когда я не стоял крепко и почему мне неудобно пристальнее глядеть на мир. Изобилие предметов не отклонит ли меня от главного? Если близорукость могла меня привести к дому М. С. Патрушевой, то ясный взор не заставит ли меня увидеть иные дома, кроме этого?

Я подумал даже, что хорошо бы написать письмо Мавре Степановне, которое бы связно излагало все эти многочисленные соображения. Но странное дело: стоило мне только подумать о письме, как я пришел к глубокому убеждению, что письмо должно начаться такой фразой: «Изумруд — несомненно, тайный знак, указывающий на некое, может быть, несуществующее, но совершенно необходимое сообщничество желающих исчезнуть в Индию». Чертовски странная особенность! Едва лишь я брался за бумагу, как мысли, до того казавшиеся простыми, вдруг начинали толстеть и, не сдерживай я их изречениями великих людей, как бы частоколом, кто знает, до каких бы размеров они выросли.

Жара мешает ей! Из-за жары ей скучно идти в церковь. Уже давно отзвонили, а она все еще размышляет: с кем бы это идти ей, дабы разговором отогнать духоту?

Да и сердцу душно что-то! «Предчувствие какое-то меня томит, бабушка...»

В окно дворницкой было видно, как мужик с толстым лицом поставил на стол чашки, подумал и убрал их. Затем он постелил праздничную скатерть и вновь поставил чашки, но симметрия их казалась ему малоубедительной, и он переставил их. Дворничиха побежала за водкой той особой вихляющей рысью, которую я прекрасно изучил на постоялом дворе. По лицу дворника я понял, что он скоро выйдет и скажет мне со скукой:

— Проваливай, проваливай! Тут тебе не трактир и не стойка.

Мавра Степановна появилась на улице. Зубы ее сияли совсем высокоторжественно. Кружевной розовый зонтик плыл над ней, светло-фиолетовое платье обнимало ее.

Если, предположим, ей неприятно, что я кланяюсь ей на базаре, то вряд ли она возмутится, когда я поклонюсь ей почти наедине, так как нельзя же считать за свидетеля рысистую походку дворничихи и широкий рот непрерывно зевающего дворника!

— Здравствуйте, Мавра Степановна,— сказал я.

Она вздрогнула, но не остановилась, да я и не хотел остановки. Мгновенная неподвижность ее ног указывала бы на робость, которая была мне нежелательна. Нет, эта женщина — смелая!

Она холодно взглянула на меня и, прикрывая лицо свое зонтиком от солнца, рядом с которым очутился и я, сказала:

— Поди к дворнику. Он выдаст.

Теперь она закрылась зонтиком явно от меня.

— Он выдаст,— повторила она.

Она пошла солидным церковным шагом. Я смотрел ей вслед, на ее удивительное фиолетовое платье с кружевными оборками, и размышлял о дворнике. Она сказала так вовсе не потому, что видела в дворнике единственную защиту от бледного оборванца, который остановил ее. Голос ее и напоминание о дворнике холодны потому, что если явиться сейчас, то надо являться в более приличном виде, а являться в неприличном стоило тогда, когда вы получили кольцо. Расстояние во времени требует хорошей одежды. Кто знает, не искала ли она меня, не приходила ли десятки раз в «Золотой рог»? Ах, она не нашла меня, а нашла другого!

Я стоял у окна дворницкой. Дворник, мужик с жесткими усами, с запахом укропа, столь сильным, что от него даже и через окно щемило в носу, все еще размышлял над чашками. Чашек много, а гостей мало. Дворнику надоело пить из рюмок, он с радостью употребил бы для этого дела чашки,— что и здоровье позволяло. Мешало этой мысли, так же как и увеличению гостей, отсутствие денег. До известной степени дворник мог сочувствовать оборванцу, который, несомненно, пропил все свое состояние из чашек. Вот почему дворник милостиво спросил меня:

— Ты меня?

Услышав его голос, я подумал, что, может быть, у дворника давно лежит письмо, составленное ею. Гордость ее вправе обижаться, потому что я долго не являлся за письмом, оно ведь начинается невероятно толстой мыслью, похожей на слова: «Изумруд, не правда ли, это тайный знак, указывающий, что мы с вами должны исчезнуть в Индию?»

— Меня послала Мавра Степановна, — ответил я дворнику, когда он уже начал пить водку из рюмок и когда вокруг него плотно расселись гости, а дворничиха опять лихой своей рысью побежала за свежей бутылкой.

Хозяин допил рюмку, крякнул, сплюнул с ловкостью, свойственной дворникам, так, что плевок, перелетев через окно и улицу, с гулом скрылся в обширных просторах заросшего травой пожарища.

— Что она тебе сказала?

Я повторил ее слова, наполнив их той нежностью, которую не высказала Мавра Степановна, но которая сияла «за холодком ее зубов».

— «Подите к дворнику, он выдаст».

— Ага,— сказал дворник, опуская в рюмку жесткий ус.

— Ага,— повторили его гости, тоже опуская часть усов в свои рюмки.

— Ага, — повторила его семья, опуская губы к блюдечку, потому что семейство пило, как и подобает всякому семейству, чай, а не водку.

Рябая девка встала из-за стола. Она открыла длинный ларь. На меня сильно пахнуло прокисшим хлебом, но девка была так широка, что заслонила не только ларь, но и все свойственные ему горькие запахи.

— Хватит?

Рябая подала мне краюху хлеба.

В ларе хранились оставшиеся от обеда куски, предназначенные для нищих.

— Вполне хватит,— сказал я,— благодарю вас за внимание.

— Ишь ты какой, — сказал дворник, — может, сивухи хочешь?

— По праздникам не пью, — ответил я.

— Зарок дал? А нам без подбитой скулы и без вытья — скучно. Может, все-таки выпьешь?

— Благодарю вас за внимание.

— Ишь ты какой,— повторил дворник.— Ну, если дал зарок, бери свою краюшку и убирайся, — еще упрешь чего, гляди.

22

Стыдно выбросить этот большой тяжелый ломоть хлеба! Он должен постоянно напоминать мне о распущенном и распутном моем воображении. Кусок нужно превратить в сахар, чтобы он постоянно, как вечная книга мудрости, лежал против меня, напоминая о моих ошибках. Его переплести в драгоценный кожаный переплет! Я нищ и гол. Откуда в тебе эта мечта о миллионерше? Откуда ты взял, что ты настолько близорук, что не можешь прочесть гигантской бронзово-бурой, чуть ли не выше дома вывески: «Фабрикант крупчаточной муки М. С. Патрушева»?

Я шел, держа на отлете краюху. Мне хотелось есть, но я убеждал себя, что краюха заплесневела. Я бранил себя, но где-то в уголке я потихоньку думал, что случилась ошибка. По застенчивости я сказал дворнику «подите» вместо «поди». Не скрывалась ли в этих двух буквах, прибавленных мною,— «те»,— громаднейшая разница между любовным письмом и краюхой хлеба? Но теперь уже нельзя вернуться. Дворник совсем пьян, где ему разобрать разницу, а кроме того, он больше привык выдавать краюхи, нежели любовные письма.

Очки, которые я получу от доктора, несомненно, заставят дворника обращаться со мною вежливее, а кроме того, помогут мне узнать ценность и подлинную красоту сияющего на безымянном пальце левой моей руки изумруда, да и ювелир будет со мной разговаривать почтительнее.

Доктор посадил меня в кресло и опустил мне на нос широкое деревянное сооружение. Он попеременно вставлял стекла в это сооружение, и я смотрел сквозь них на длинный лист бумаги, усаженный разнокалиберными буквами. Мне мучительно хотелось быть близоруким.

— Ну, а теперь?

Вдруг из тумана передо мною всплыл очень четкий и ясный мир. Я увидел весьма мелкий шрифт, в котором, в сущности, никакой мне надобности не было. «Близорук, близорук!» — напевал я про себя.

Вслух, дабы доктор не слишком много взял за визит, я сказал:

— Подобает ли вообще уточнить наш мир?

— Какое образование?

— Одноклассная сельская школа.

— Индивидуум имеет право размышлять, получив только среднее образование,— сказал доктор.— У вас три диоптрии. Если хотите, я вам пропишу пенсне, но вообще вам можно жить и так. Предполагаю, что вы уточнили мир и без очков.

За рубль восемьдесят копеек я купил пенсне, снабженное длинной черной лентой. Стекла соединяла стальная черта, которая, казалось, придавала металлический блеск моим бровям, да и вообще взор мой стал серьезнее и тверже, так что я решил не возвращаться в развесочную, а, взглянув в последний раз на кольцо, направился к ювелиру.

Коротконогий, весь, казалось, в желтоватом отливе окружающего его золота, ювелир недоуменно и слегка боязливо встретил меня. Торопясь, дабы он не сказал «бог подаст», я протянул ему руку:

— Освидетельствуйте, сколько стоит такой камень первого класса?

В руках его длинная тряпка, передничек прикрывает его животик. Очень раннее утро, и ювелир, от нечего делать, сам вытирает пыль. После моих внушительных слов взгляд у него делается сладким и свежим,— хоть варенье готовь из такого взгляда.

— Первого класса? Смарагд, несомненно, рядом с алмазом, рубином и шпинелем [1] принадлежит к первому классу, и только позади толпится разная мелочь: циркон, топаз, опал...

---

[1] Шпинель — редкий минерал.

Он отложил лупу в сторону, стукнул ногтем по моему кольцу, лицо его успокоилось, и он сказал:

— На толкучке пятьдесят копеек дадут.

В крайнем изумлении я спросил его:

— За это кольцо пятьдесят копеек?

— Оно фальшивое — и по металлу, и по камню, и по намерениям. А ты думал, что изумруд украл?

Он рассвирепел. Размахивая тряпкой, он крикнул мне:

— Уходи, уходи, а не то полицейского позову! Тоже, с драгоценностями ходит, знаем мы все ваши махинации, фармазоны!

Я шел, держа этот перстень на ладони. Он прав, этот коротенький ювелир с мохнатыми бровями. Вряд ли перстень стоит и полтинник. Позолота в том месте, где ободок соприкасался с ладонью, уже стерлась, и виден какой-то жалкий и белый металл, даже не похожий на серебро. Эта тугая и холодная дама, в фиолетовом платье и с дивно сияющими зубами, подарила мне кольцо так же, как предки ее некогда кидали ороченам и самоедам, остякам или вогулам жестяные погремушки. Там они выменивали стада оленей, а здесь она выменяла мое сердце!

О, это мое тщеславие! Когда же я избавлюсь от него? И тут же я вспомнил моего отца, черный выгон, желтый самовар, сапог над самоваром и множество изречений о тщеславии, которые мы употребляли оба и которые были справедливы,— но как вода, текущая по канаве, не годится для питья, так и эти изречения не приносили нам никакой пользы.

Я разыскал на толкучке ломовских родственников:

— Где балаган стоит? «XX век»?

— В Ирбите,— ответили они.— Не долги собирать?

— Свататься.

— То-то. Невесту еще получишь, а что касается долгов или работы, так смазывай ноги к другому.

Купив на четвертак хлеба, я зашагал. В моем кармане болтался револьвер, и только теперь я понял, как много изменилось в моей жизни. Иногда я сворачивал от линии железной дороги на шоссе. У меня, должно быть, такой был смелый вид, что если возчик вез поклажу без друзей, то он стремился объехать меня. Пренебрежительно обругав его, я сам уходил в сторону:

— Эх вы, рохли!

Я чрезвычайно радовался, что покинул Екатеринбург, обиженных хозяев, тюрьму, плохие куплеты. Под мышкой у меня громадный каравай хлеба, глиняная чашка заменяла мне горшок и чайник, хотя в этом горшке варить нечего. Я поймал было ежа, но выпотрошить его мне не удалось. Я кипятил в чашке крепкий чай и размачивал корки хлеба. Я вспоминал женщин, которые недавно стояли передо мной в балагане, возле замка Синей бороды, предлагая разделить с ними брюкву и ложе.

Вот и город Ирбит. На базарной площади темнел балаган. Была поздняя ночь. Мне бы переночевать в лесу, ночи очень теплые, но уж больно хотелось узнать, как поживают и как играют в карты мои друзья.

Римские цифры «XX», сколоченные из жердей и выкрашенные багровой краской, стояли возле ворот балагана. Цифры обвешаны разноцветными флажками и столь серьезны, что даже ветер не колеблет их. Я дотронулся до них рукой. Они теплы и неподвижны. Балаган тих и пустынен, и даже не слышится дыхания Нубии. Я постучал в ворота.

Ирбит очень тих. Всюду на базарной площади безмолвно дремлет множество коней. Творожные облака медленно ползут над деревянным городом. Теплая луна уперлась в соборный крест.

Я влез на раус и попробовал раскачать эти толстые доски. Они не поддавались. Мне захотелось спать. Я расстелил соломенную свою «собаку», но перед сном решил закусить, и под руки мне попалась краюха, полученная от патрушевского дворника. Я снял свое изумрудное кольцо, этот смарагд, который уже потерял весь свой изумительный блеск. Я воткнул этот смарагд в краюху. Кольцо вошло с большим трудом, потому что хлеб от жары совсем засох.

Я встал, чтобы угостить краюхой первого встречного коня, но тут из-за балагана послышался треск колотушки, и легкой своей походкой, сияя зубами и кудрями под лунным светом, совсем ультрамариновым, вышел Петр Захаров.

— Господин директор! — воскликнул я.

— Здравствуй, факир.

На Петре Захарове такая же, как и на мне, пожалуй, более изношенная, бурая ливрея.

— Видно, не пришлось купить коней у Коромыслова? Видно, плохо играли в шантане.

— Не всякая игра, Всеволод, быстро кончается. Но наша игра, кажется, окончена. Что же поделаешь! Не отрежешь и не бросишь свой нос, хотя он и воняч. Но я тебе советую, Всеволод, прислушаться. Конским дыханием наполнились земля и небо. Кони принадлежат скотоводам.

Захаров указал колотушкой на площадь.

— Не ты их купил, Петр, не тебе и продавать, не тебе и хвастаться.

Он поднялся на раус и облокотился о перила.

Я встал рядом с ним. Великое множество коней просыпалось. Едкий запах конского пота донесся к нам.

— Хорошая торговля? — спросил я.

— Торговля, Всеволод, такая, что сам себе позавидуешь. Скотоводы Платониду замуж за своего приказчика выдают. Вот и пир сегодня идет по этому случаю...

— А тебя попросили караулить?

— Выяснилось, что стучать в колотушку не так-то просто, Всеволод. Если вдуматься, так посредством колотушки ты передаешь лучшие свои мысли. Вообще многое изменилось, Всеволод. Начнем с того, что в Екатеринбурге мы подыскали «сплавку». По общему мнению оказалось, что пассажир наш крепкий, и сплавка выходила. Но тут появился язык — и уговаривали мы опять наших скотоводов вернуться в Ишим. Я не знаю, в чем тут дело, Всеволод,— должно быть, они при конях имеют свое счастье. Короче говоря, Похлебаев проиграл гуртовщикам сначала балаган, а затем и актеров.

— И тебя проиграли, Петр?

— Мало меня проиграли. Талыга проиграли!

Он рассмеялся.

— Но какая игра была, Всеволод, какая прекрасная игра! Пять суток не вставали из-за стола! Скотоводы мечут банк. Сто тысяч! Сто сорок тысяч в банке! Я проигрываю свой ад и свой рай. Сто семьдесят тысяч в банке. Талыг сорвал банк. Как только он увидал, что выиграл сто тысяч, то так ошалел, что забыл все свое искусство и почувствовал себя равным скотоводам. Пора, подумал он, пора переделывать уральскую природу! Ну, и начал играть без жульничества.

— И Нубию проиграли?

— Мало Нубию, Всеволод, — я проиграл все свои зна-

ния, весь свой экстерьер. Они имели право превратить меня в раба! Они дали мне должность фельдшера, Всеволод, с тем, чтобы в свободное время я караулил балаган.

— Зачем им нужен балаган?

— Выиграли. Купить бы они никогда не купили, а теперь вот и будут его с собой возить. Из Ирбита поедем мы, кажись, в Монголию. Это тысяч восемь верст! — Он вздохнул: — Признаюсь, не хочется мне в Монголию.

Он вдруг взял меня за плечи, приблизился к моему лицу и, выкатывая глаза, сказал:

— Ты, Всеволод, единственно не проигранный! С тебя мы опять начнем игру. Я сорву у них банк!

— Не придется тебе играть на меня, Петр. Хватит.

Захаров опять вздохнул:

— Да, пожалуй, не стоит. Вряд ли ты вызовешь у них азарт.

Он с отвращением посмотрел на свою колотушку.

— Неужели я ради этой штуки прочел множество книг, мечтал о далеком путешествии, почитал тебя, Всеволод?

Он указал колотушкой в переулок, по которому шел тоненький человечек, протяжно и громко всхлипывая.

— Вот только Пашкину морду не хотели они принимать среди прочего имущества, но Пашка так испугался, что не может отойти от балагана. Морда эта внушает им великое отвращение, и они его бьют походя. Пашку теперь многие бьют, и чем больше его бьют, тем он делается отвратительнее.

Он опять схватил меня за плечи:

— Всеволод, надо поднять твой дух. Ты, знаешь, обмельчал. Подумай, на тебя не хотят играть! Да ты Пашка, что ли? Из киргизских степей, Всеволод, только что пригнали табуны необъезженных коней. Здесь нет подходящих мастеров, которые бы знали киргизский язык, а лошадь, как тебе известно по Нубии, понимает часто родной язык гораздо лучше, нежели ловкость наездника. Вот на чем ты поднимешь свой дух!

— Я не буду объезжать диких коней, Петр.

— Хочешь, чтобы тебя били скотоводы?

— Теперь ты, Петр, уже не директор, и командовать придется другим.

— Да, и в этом есть правда, Всеволод.

Он склонился к моему уху и сказал:

— Пора, Всеволод, спасаться. До меня они еще не осмеливаются дотронуться, потому что я проделал множество упражнений...

Захаров вдруг протяжно замяукал.

Из-за угла показалась разноцветная голова Нубии. Конь выступал очень осторожно, как бы на цыпочках, все время оглядываясь и прислушиваясь.

— Видишь? Скотоводы способны так удивительно съездить в морду, что ты будешь ходить обалделый до конца твоей жизни и так и не догадаешься, чем бы им отомстить. Это, брат, великого ума и великого кулака люди. Я изучал экстерьер по книгам многих мыслителей: Армана Гюба, Густава Бори, знаю «Ипологию» магистра ветеринарии Лавриновича, книгу графа Строганова и князя Щербатова «Об арабских лошадях», так же как и сочинения леди Анны Блюн, майора Уптома, Томаса Сотой, барона Эдуарда Нольда, генерал-майора Тведи. Как видишь, это аристократическое занятие, Всеволод, но ни один из этих авторов не объяснит, зачем скотоводы пригнали в Ирбит табуны киргизских коней. Я русский дворянин...

— Первый раз слышу, что ты русский дворянин, Петр.

— Это всем известно. Повторяю, я русский дворянин и не позволю, чтобы скотоводы били меня по морде! Наша Нубия пойдет впереди киргизских табунов...— Он сказал шепотом: — ...прямо через Туркмению по пескам Каракум — и через Персию в Турцию. Турки, Всеволод, оценят качества киргизской лошади...

— В Индию? — спросил я таким же горячим шепотом.— Угнать табуны?!

Петр только и ждал этого восклицания. Он крепко жал мою руку. Глаза его наполнились слезами. Он осматривал с рауса этих вороных рыжих, саврасых, серых, буланых, игреневых, пегих, гнедых, чалых коней, которые уже принадлежали ему и недостатки которых он уже видел. Многие из них не вытерпят длинного пути и не дойдут до Персии. Но стоит им попасть в Турцию, как... какой мы торг устроим!

Сердце мое сжалось. Киргизы гикнули и, размахивая укрючинами, двинули табун на водопой. Я вспомнил родину. Киргизы как бы накинули петлю на мое сердце.

Я безмолвно подхватил их гиканье и восхищенно смотрел, как ловко они катят громадный табун к реке. Я понял все великолепие коней, только когда они двинулись, поднимая умбровую пыль.

Петр Захаров вскочил на Нубию и помчался, наполненный желанием обогнать табун.

— Наддай, наддай! — кричал я ему.

— Гей, гей, догоняй! — отвечали нам киргизы.

Табун ускакал.

Балаган спал по-прежнему.

Знакомое тяжелое дыхание подняло мои слипшиеся было веки.

Возле рауса стоял Филиппинский. Он нимало не удивился, увидав меня. Наверно, он подумал, что я тоже проигран в карты и теперь явился по требованию скотоводов. Лицо у него было раздраженное, ему хотелось сказать, что каждое утро его будят эти бешено скачущие мимо лошади, но вместо этого он скучным и вязким голосом проговорил:

> «— Итак, свадьба Манечки с Вадимом не состоится?
>
> — Да, она посоветовала ему быть бережливым, а он начал с того, что подарил ей фальшивые бриллианты.
>
> Ночью на постоялом дворе случился пожар. Все перепуганно кричат:
>
> — Пожар! Горит! Воды!
>
> Один из скотоводов, остановившийся на постоялом дворе и накануне изрядно хвативший, проснулся от этой суматохи и, услышав слова: «Воды, воды!», неловко расправил совсем корявыми пальцами одеяло на постели, схватил и, посасывая потухшую цигарку, закричал во все горло:
>
> — А мне квасу, только похолоднее!»

В руке он держал громадную ложку, деревянную и свежую.

— Кто же вас кормит, Филиппинский? Впрочем, кормят вас плохо. Еще лак не сошел с ложки.

Не отвечая мне, он поднялся на раус. Филиппинский повернулся лицом к солнцу и поднес ложку ко рту. Ему, должно быть, не хотелось делать то, что он должен был делать, и потому он сказал:

«Скотоводы толкуют о том, что нужно ли бить жен. После долгого обсуждения склоняются к тому, что бить надо. Один худенький приказчик говорит:

— Я ни боже мой! Ни пальцем.

— Что же, твоя жена особенная, что ли? — восклицают хором скотоводы.

Приказчик встает, кланяется, выпивает чашку с водкой до дна и опять садится. Глаза у него сонные, и, щупая свои голенища, он говорит:

— Не особенная, а посильнее меня. Вот бить и не приходится.

— Ты куда, черт собачий, в лес с ружьем идешь? Охотиться здесь воспрещено.

— Да я и не охотиться.

— А ружье-то?

Перебирая тонкими и прозрачными пальцами подол пиджака, встречный сказал рыжему объездчику:

— Застрелиться хочу.

— Ну так бы давно и говорил».

Вспомнив, что я совершенно подло рассказывал его анекдоты на таком же раусе, Филиппинский вдруг поднес ложку ко рту и промолвил:

— Вот, Иванов, доказательство гибкости наших телес. К любому делу можно их пристроить. Рост у меня подходящий...

Филиппинский закинул голову так, что затылок его прикоснулся к позвоночнику. Филиппинский широко разинул рот:

— Надо, чтобы рука не дрожала и весь держался трезво.

Он глубоко запустил ложку в глотку. Дыхание его остановилось, лицо налилось кровью. Он продолжал вталкивать ложку. Тошнотворно было на него смотреть. Тело его колыхалось, живот вздулся. Секунд через десять он вытащил ложку обратно. Икая, поспешно убежал он за балаган.

Когда он вернулся, лицо у него было по-прежнему скучное и ленивое.

— Хотите, Филиппинский, достигнуть анестезии слизистых оболочек горла, пока вас не кормят?

Он ответил больше самому себе, чем мне:

— Мало да по малу получается практика. Привычка! Там, глядишь, ложку заменишь саблей или ножом. Саблю надо вводить рукою до задней стенки гортани, а затем быстрым движением просовывать ее в пищевод. Вот уж ты тогда мне не скажешь, что я зарабатываю себе пищу посредством аппаратов этого дурака Михайлова!

Он опять двинул ложку в горло. Гортань его пустилась в такие судорожные движения, что он поспешно отбросил ложку и надолго ушел за балаган. Вернувшись, он спросил меня:

— Жену мою в Екатеринбурге не встречали? Обиделась, что мы проиграли балаган,— и ушла. Кассиршей в бани поступила. А?

Он не спускал с меня глаз. В голосе его чувствовалась тоска. Он не верил, что она способна приехать к нему. Он упражнялся только для того, чтобы можно было покинуть этот балаган и перейти с глотанием шпаг в настоящий цирк, туда, где жена будет уважать его. При одном воспоминании о ней он захмелел. Мне стало жалко его, и я сказал:

— Ехали бы вы, Филиппинский, к ней.

— Не могу ехать! Пол-ложки только всунул.

Он подобрал свою ложку и, делая ногой тяжелые круги, пошел через площадь к собору.

Я лег на доски рауса. Надо мной было фарфорово-синее небо, сухое и чудовищно высокое, над балаганом носились щеголеватые голуби, возле реки ржали кони. Солнце мешало мне спать, но оно грело как раз настолько, чтобы можно было придумывать стихи.

23

— Ты балаган наш представил совсем дряхлым, Всеволод, а на дряхлой лодке ум пропадет от страха,— сказал Петр Захаров, когда я проснулся и пытался прочесть ему стихи, сочиненные во сне. Он вскочил на ноги, сделал скачок назад и принял кулак противника в открытую ладонь правой руки, а левой рукой ответил. Под его мысленным ударом, который сопровождается шагом вперед, кто-то нырнул и откатился в сторону. Движениями своими он мгновенно разогнал смутность

души, вызванную сонными стихами. Он улыбнулся и сказал:

— Луны не закроешь подолом, Всеволод, и правды от себя не утаишь.

Я ответил ему поговоркой и с той же легкостью, с которой обычно говорил он:

— Бывает и ложь как правда, бывает и вор приятелем.

— Но ведь нельзя гордиться приятелем-вором, Всеволод, ибо кровь смывается не кровью, а водой.

Он рассмеялся, совсем развеселился и крикнул проходившему мимо графологу:

— Тиунцев, зайди, погадай!

На раус поднялся графолог Тиунцев с лицом так похудевшим, что от него осталось только одно, да и то самое плохое, название.

— Дай руку, господин Захаров, наверно, у тебя наметились на ладони свежие линии.

Я сказал:

— Графология — наука, пытающаяся узнать характер по почерку, а вы смотрите на его руку. Это уже хиромантия.

Тиунцев, закрывая неправдоподобно длинной бородой захаровские руки, оглянулся на меня.

— Никакой разницы между графологией и хиромантией, если вы даже прочтете, господин Иванов, все пергаментные книги. Насчет почерка вы сказали правильно, но откуда взяться почерку, если большинство людей, которым я гадаю, неграмотны? Следовательно, вся их письменная способность остается неиспользованной в руке. Дайте вашу руку, господин Иванов. Ваша коническая форма последнего сустава мизинца говорит о любви к искусствам, но любви чисто платонической. Впрочем, не берусь утверждать, так как вы имеете почерк и, может быть, ваша иная любовь к искусству более резко обозначена в почерке. Палец ваш лопатообразен, а большой палец слегка отодвинут кзади, бугор луны сильно развит, и вы обозначите себя в драматическом искусстве. Кроме того, четырехугольная форма второго сустава намекает на пристрастие к руководству животными...

— Стой, Тиунцев!

Петр Захаров отбросил вдруг мои стихи, перекувырнулся через голову, затем побежал в балаган сзывать

друзей. Никто не пришел на раус, но волнение Захарова от этого только усилилось. Захмелевшими глазами он смотрел на меня. Мы слушали его, задерживая дыхание.

— Положительно, Всеволод, ты способствуешь моей выдумке! До сегодняшнего утра Тиунцев пытался прочесть по моей ладони будущее балагана. А сейчас я подумал, что я обязан сам проводить черты и на своей ладони, и на ладонях других. Пора действовать, Всеволод. Ты ведь не принес денег?

— Нет,— ответил я.

— И не нужно. Тиунцев, ты будешь предсказывать безработным, где они могут найти службу. Каждый безработный способен найти двугривенный, чтобы купить билет на сеанс графологии. Мы еще обыграем скотоводов, Всеволод!

— Обирать безработных?

Петр не слушал меня:

— Кроме того, балаган наш открывает лотерею, билеты на которую будут выдаваться бесплатно на сеансах графологии. Лицо, получившее право первого выигрыша, будет доведено Всеволодом до места работы, так как только он волен уйти из балагана, куда хочет.

— Без разрешения моих хозяев,— сказал важно графолог,— гадать мне невозможно.

Петр Захаров возбужденно перечислял заводы, по которым мы разошлем безработных. Важно только подметить те характерные особенности, которые существуют у каждой профессии, а разобраться в этом он, Петр Захаров, поможет. Разве трудно отличить каменотеса от экипажника, мастера, приготовляющего дерево для хомутов, от дегтекура, плетельщика кружев от изготовителя колоколов, гранильщика камней — от скорняжника?

— Разглядеть — разгляжу, — подтвердил графолог,— но все-таки без разрешения хозяев можно впасть в большое горе.

— Наша жизнь, Тиунцев, висячая и сложная, как часто происходит это в архитектуре, где соединение балок, подставок, столбов и задвижек поддерживает одно другое, без видимого упора на основание.

Петр Захаров рассмеялся.

— Скотоводы запугали балаганщиков своими миллионами. Кроме того, к ним сегодня приехали офицеры, которые командуют ингушами, охраняющими заводы.

Дела нет, рабочие бастуют, Всеволод, ингуши размахивают нагайками. Разве тут не найдет человек двугривенного, чтобы в этой суматохе хоть сколько-нибудь разобраться? Смешно! Счастье он узнает за двугривенный.

Он достал из кармана толстое письмо. Я узнал почерк моего отца. Петр Захаров сказал задумчиво, рассматривая письмо моего отца:

— Что такое счастье?

Видимо, воспоминания о моем отце вызывали в нем размышления о «счастье и смысле жизни», о которых часто любил говорить отец.

— Счастье ли, если ты, Всеволод, пошел целовать людей?

— Целовал пани Марину другой.

— По всем человеческим расчетам, ты должен был поцеловать ее, Всеволод. Иначе зачем же мне догадываться о твоем адресе, сообщать о нем Вячеславу Алексеевичу? Догадываться также и о том, что поцелуи ее утомили тебя, вместе с разговорами о Польше, освобождение которой еще далеко, так же как и любовь к тебе пани? Ее поцелуи были только воспоминаниями о Павлодаре. В твоем возрасте, Всеволод, безразлично, чем вызваны поцелуи. Они остаются поцелуями.

— Я не целовал пани Марину.

Петр сказал, разрывая конверт:

— Что такое счастье? Допустим, мы просим тебя выйти на манеж и рассказать о счастье, которое ты получил благодаря графологу Тиунцеву. По твоему лицу видно, что ты человек честный, что ты вернулся только для того, дабы рассказать в балагане об этом удивительном чуде. Ты получил замечательную работу с жалованьем сорок рублей в месяц. Кратким и простым своим рассказом ты заставляешь безработных поверить в чудеса Тиунцева. Сорок рублей! Смешно не поверить!

— Я не целовал пани Марину.

— Твоя ложь, может быть, через три дня уже окажется правдой. Ты поведешь рабочих, предположим, на Кизеловский завод. Ты совершенно ничего не ждешь там, кроме ударов по горбу, которыми наградят тебя обманутые безработные. Вдруг конторщик говорит: «Здравствуйте, господин Иванов! Для вас приготовлено место в сорок пять рублей месячного оклада. Завтра можете выходить». Не я ли угадал, куда твоему отцу посылать письма?

— Но ты обманулся, когда думал, что мне придется целовать пани Марину.

— Ты ее еще поцелуешь, Всеволод. Допустим даже, что ты не получишь работу. Можешь мне поверить, что я укажу правильные признаки гнева на лице безработных, увидав которые тебе придется убежать, дабы предупредить нас. Вернувшись, безработные будут бить нас жестоко. Казалось бы — горе? Ан нет, — вот табуны коней, которых догонит ли лошадь полицейского?.. Что такое счастье, Всеволод? Не в скачке ли оно?

— Я не буду рассказывать о счастье.

— Ты выйдешь без всякой подмазки на лице, без фрака. Ты будешь рассказывать не в стихах, а самой простой прозой. Вначале ты расскажешь о счастливых людях, встреченных тобой...

— О счастливых людях?

Я разглядывал громадное письмо моего отца. Конверт заклеен клейстером, который отец мой обычно приготовлял по воскресеньям. У него была склонность все приготовлять самому. Если б можно — и планету бы сам приготовил. Утром отец мой заваривал клейстер, а письма заклеивались после обеда, когда хорошо наедался мясного супа. Не без основания он считал, что после воскресного обеда могут собраться мудрые мысли, которые рыбные супы в течение остальных дней недели собирали плохо. Он вписывал эти мясные мысли, заклеивал конверт и долго выбирал место, куда бы приклеить марку так, как ее не приклеивает никто. После этого он хватал кота, вытягивал у него язык и об этот язык смачивал марку, так как считал, что слюна рода кошачьих обладает наилучшей крепостью. Письмо лежало возле божницы, ожидая, когда мимо, звеня бубенцами, помчится тройка, в которой на баулах, поддерживая широкую шашку, сидит почтальон, посеребренный пылью. Отец мой подаст письмо. Почтальон опытными пальцами взвесит его и скажет, что, пожалуй, адресату придется доплатить. Тогда отец мой ответит, что адресат обладает достаточными средствами, дабы оплатить хоть целый баул писем. Почтальон сделает под козырек, спрячет письмо, лихо поднимет свою шашку, положит ее на колени и бойко скомандует: «Погоняй!» Итак, письмо ждет почтальона. Из миски пахнет необыкновенно вкусно. Рядом с миской возвышается горшок со сметаной. Отец мой любит класть сметаны в тарелку

супа, сколько ему хочется. Иногда это одна ложка, иногда десять, потому что сметана, по утверждению моего отца, помогает остроте мыслей. И если их недостаточно в письме, то их, по крайней мере, должно быть достаточно в супе, так как мысли должны быть приятны и легко усваиваемы, подобно сметане. Рядом со сметаной лежат капустные пироги, еще дальше клокочет самовар, который отец мой особенно тщательно раздувает по воскресеньям...

Счастливые люди? Встречались счастливые люди, но каждый из них тоже со своей занозой. Вот, разве не счастливый человек Петр Захаров? Но его горе — это излишняя симпатия к людям, так что если он сам счастлив, то он все-таки испортит свое счастье тем, что немедленно найдет ужасно страдающего человека и так воткнется в эти страдания, что имей он, Петр, хоть океан счастья, все равно наперсток найденной горести превратит этот океан счастья в океан уксуса. Кроме того заключается ли счастье в преследовании или в обладании? Если же рассуждать о счастье применительно к тому положению, в котором мы находимся, то есть лежа на раусе и голодая, то несомненно, что счастьем является то, когда человек...

Я добавил вслух:

— Счастлив человек, имеющий сегодня свою краюху...

Петр Захаров подтвердил, вздыхая:

— С хорошим супом!

Тогда я углубился в письмо отца, потому что если разбирать счастливых людей, то, несомненно, самым счастливым был мой отец. Он счастлив и тогда, когда у него имеется хлеб, и счастлив, когда его нет, потому что излишнее потребление хлеба, по его мнению, способно выпустить те мысли, которые иногда необходимо задержать. Кроме того, во время недоеданий он радовался тому, что видел свое духовное превосходство над прочими голодающими, которые думают только о пище, тогда как он продолжает думать о том, о чем он думал всегда. Отец мой, будучи голодным, по-прежнему весело ожидал, что девочка Губонька внесет ему конверт, совершенно точно указывающий местонахождение клада, который избавит и его, и многочисленных его друзей от всегдашних мыслей о хлебе.

Весело начиналось его письмо! Лебяжье, так же как и вся страна, наполнено карой, но Лебяжье тем хорошо, что рядом колышется Иртыш с его широкой влагой и с его неистребимой красотой, которая постепенно переходит на людей. Эта влага позволяет моему отцу непрестанно копать алебастр, гора которого постепенно увеличивается. Отец мой сообщал дальше стишки, переведенные им с французского. Стишки эти:

Повсюду вздохи. Фу, как душно!
Изныли люди и скоты.
К мольбам природа равнодушна,
О тени тщетны все мечты.
Все почернели хуже ваксы,
Все очумели от тоски,
И даже пойнтеры и таксы
Чуть дышат, свесив языки, —

красными чернилами, мелким почерком, он сообщал на полях письма, которое было посвящено издевательству над подрядчиком В. Е. Петровым, благодаря которому до сего времени не удалось организовать Лебяженский банк, а следовательно, подумать о молодости человечества, в то время как приближается его старость, то есть война. Дальше отец мой приводит диалог: «Как сегодня биржа?» — «А что такое?» — «Сильно упали бумаги».— «Ничего подобного! Почему вы так думаете, что должны упасть бумаги?» — «А убийство австрийского наследника?» — «Это не повлияет на нашу биржу, скорее наоборот. Он был такой воинственный». «Хотя эта беседа происходила между случайным держателем дивидендных «игровых» бумаг и более крупным банковым деятелем, но все же, — продолжал мой отец, — тебе следует знать, Всеволод, что в Сараеве не напрасно пролилась кровь эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги герцогини Гогенберг». Отец мой удивлялся, что весь мир по-прежнему занят жизнью немецкого авиатора Бассера, побившего мировой рекорд полета на аэроплане — 18 час. 12 мин. Интересует также мир открывшаяся в Лейпциге выставка печатного дела (отец мой приложил вырезку из газеты, изображающую русский павильон в древнем стиле с башенками у входа с полукруглыми узкими окнами), но гораздо меньше, чем спорт. В Малаховке даже, дачной местности, под Москвой, где когда-то, проходя в Иерусалим, отец мой ночевал неподалеку от станции и где рыжая собака слегка укусила его,— даже здесь препо-

дают гимнастику Далькроза, а в Реймсе спортивное общество устроило олимпиаду, причем участники в античных костюмах передали упражнениями пластическую красоту, завещанную нам классиками (отец мой прилагал два снимка: игру девушек в мяч и триумф победителя в борьбе). Спортом человечество пытается найти свою молодость. В городе Ажане (Прованс) общество сохранения старинных народных костюмов устроило состязание чепцов. «Действительно жалко,— писал мой отец,— если исчезнет изящный провансальский кружевной чепчик, который мне пришлось тоже видеть в Иерусалиме. Как он прекрасно оттеняет смуглую прелесть южнофранцузских женских лиц, почитателем которых, несомненно, является господин президент республики, четвертый по счету, который посетил нашу страну, этот самый Пуанкаре». Казаки в Лебяжьем точат свои сабли, и господин Пуанкаре, наверно, приехал посмотреть, достаточно ли они остры. Отец мой сожалел, что он не утерял свой военный опыт, который все еще позволяет ему заметить острие сабли. «Если бы не этот проклятый подрядчик Петров, Лебяженский банк был бы давно выстроен и занят банковскими операциями, я бы не предавался ненужным воинским мыслям, и алебастр, — правда, в ином виде, в бумажном, так сказать,— повез бы во Францию идеи о вечной красоте, ибо французским женщинам больше, чем другим, свойственно размышлять о том, что когда женщина перестала быть хорошенькой, она долго способна не делаться безобразной. А это должно происходить без косметики, потому что кто желает мазями улучшить кожу лица — это неподражаемое по изяществу работы произведение природы, тот похож на садовника, который захочет украсить свой сад фальшивыми цветами и растениями: чем больше усердия, тем яснее обман». Последнее изречение отец мой приводил на пяти языках, добавляя изречение по-арабски, но преимущественно о смысле садов. Вообще, мнение моего отца о садах было до некоторой степени странным. Он не разводил сада, так как считал, что сад удаляет человека от подлинной мудрости, показывая эту природу лживо, так же как и домашнее животное. «Дикая природа наведет тебя на самые неожиданные размышления, а кроме того, помогает человеку быть самостоятельным, давая ему возможность идти, куда он хочет, а не направляя его по паршивым песчаным

дорожкам». Когда отец мой вспоминал о садах, то ему немедленно приходили в голову сады, встреченные им в Палестине. Он вспоминал ту чертовски трудную работу с тяжелыми камнями и глинистой почвой, которую проделывают паломники, понуждаемые монахами. Отец мой был глубоко убежден, что дикие сады на Востоке выдаются за домашние. Этим только объясняется появление восточной мудрости, иначе быть бы ей такой же смирной и глупой, как домашнее животное или как европейская мудрость, которая в убийстве эрцгерцога Фердинанда видит только спорт. Здесь отец мой опять обрушился на подрядчика Петрова и на эту проклятую алебастровую гору. «Что такое молодое лицо? Почему к нему применяют определение — алебастровое? От белого матового цвета. Следовательно, есть сходство между алебастром и молодостью? И нельзя ли предложить стареющим женщинам, утерявшим алебастровый цвет лица, копать этот алебастр и таскать его на себе, как таскаю я?» Впрочем, отец не настаивал на этой идее. Сущность его письма заключалась в том, что он хотя и занимается спортом,— таская алебастр,— но все же видит острие казачьих сабель, поэтому ему надо скорее открывать Лебяженский банк. Отец мой предлагал или прислать в распоряжение Лебяженского банка от театра «XX век» двадцать пять рублей, необходимых для первоначальных расходов по открытию банка, или же напрасно не трепать банковское имя, говоря, что театр существует на субсидии Лебяженского банка. И без того банк тратит большие деньги для того, чтобы советоваться письменно с далеким сыном своего директора.

Письмо отца встревожило меня. Видимо, ему жилось совсем плохо, если он так уменьшал сумму, необходимую для открытия банка. Горестно оглядел я наш балаган и еще более горестно прислушался к пустому гулу его, тогда как был полдень и надо бы открывать дневное представление.

Публика гуляла возле собора. Мальчишки играли в бабки. Юноши ударяли мяч лаптой. Более пожилые мужчины глотали водку, а люди неопределенного возраста уже спали, пьяные, по канавам. Ярмарка великолепной степной рысью, появившейся сюда вместе с табунами киргизских коней, бежала мимо нас.

— Как ты думаешь, Петр, если бы мы пригнали табуны в Персию, могли ли мы их выгодно продать?

— Ручаюсь тебе, Всеволод, всем своим знанием экстерьера, что здесь в табунах удивительные кони, и я бы умер со стыда, если бы не нажил на них тысячи. Я опасаюсь только одного. Продав табуны, мы приобретем множество денег, и тогда появятся люди, снабженные огнестрельным оружием, для того чтобы отнять деньги.

— Я невероятно сомневаюсь насчет того, чтобы у нас отняли деньги.

Медленно я положил руку Петра на мой карман, в котором лежал пятиствольный снаряд.

Петр Захаров весь зардел.

Некоторое время он размышлял, постукивая пальцами о перила рауса. Стук этот то становился крупнее, то мельче, то ускорялся, то замедлялся, так что по этому стуку можно было понять все течение его мыслей. Под конец этот стук перешел в бешеный галоп, и лицо Петра Захарова побагровело.

— Я знаю, что такое счастье, Всеволод! Смелость — вот счастье! Тяжесть, которая оттягивает твой карман, совсем переменила мои сегодняшние размышления о счастье. Я понимаю, почему ты не хотел обижать безработных. Я тоже не хочу их обижать. Тиунцев, уйди! Сегодня вечером я скажу тебе твое будущее с точностью почти чудовищной, притом не заглядывая в черты твоей ладони.

— Слушаюсь, господин директор,— сказал Тиунцев, потрясенный неслыханной бодростью и смелостью, которые звучали в голосе Петра Захарова.— Но без разрешения хозяев я не открою лотереи.

— Она отменяется. Уйди, пока я и тебя не отменил.

Тиунцев поспешно ушел.

— Мы немедленно угоним табун, Всеволод. Ты уговоришь киргизов, охраняющих эти табуны, на их родном языке. Если купцы погонятся за нами, мы отстреляемся!

— Достаточно ли получим мы денег, чтобы имело смысл отстреливаться? Имей в виду, что если мы плохо отстреляемся, то попадем на каторгу.

Петр сказал, не задумываясь:

— Мы получим, со всеми скидками, от пятидесяти до семидесяти тысяч. Каждый выстрел будет, таким образом, стоить нам десять тысяч. Сумма отличная. Мне

точно известно, что скотоводы выехали из Оренбурга, имея в чемоданах триста тысяч рублей. Если ты помнишь, мы стали с ними играть, когда они уже имели сто семьдесят пять тысяч. Допустим, что они пропили двадцать пять, но и тогда на коней израсходовано сто тысяч рублей.

— Но могу ли я получить в мое личное распоряжение часть этих денег?

— Всеволод, револьвер твой. В крайнем случае, угрожая револьвером, ты не дашь нам ни копейки, но мы, несомненно, не будем думать так. Мы рассчитываем на твое благородство.

Я решил открыть Лебяженский банк! Но я умолчал об этом моем решении, а вслух сказал:

— Опасаюсь, что Павел Ковалев перепугается и перепортит все наше конокрадство.

— Пашку обманем. Мы ему скажем по секрету, что скотоводы проиграли все свои деньги и, желая спасти хоть часть их, предложили нам угнать табуны.

— Когда же мы погоним их?

— Погоним завтра. Маршрут у меня готов по всем восьми направлениям. Для отвода глаз мы сегодня соорудим великолепное представление в нашем балагане для завтрашнего вечера. Мы пообещаем фейерверки, пантомимы, иллюминации, бал-маскарады и еще что-нибудь не менее грандиозное! Кроме того, нужно сделать так, чтобы завтра скотоводы напились до полусмерти. Не можешь ли ты вспомнить, как устраивалась камчуга, которой Челпанов прославился на весь Урал?

— Я не помню камчуги.

— Ты ее еще поцелуешь, Всеволод, не огорчайся,— сказал Петр Захаров, по-своему поняв мой отказ говорить о камчуге.

Петр проверил мой револьвер. Он пожалел, что мало патронов, но тут же догадался, что при первом же выстреле по купцам количество наших патронов заметно увеличится, так же как и количество револьверов.

— Надо добавить, Всеволод, что, поживши в балагане и присмотревшись к игре, как артистической, так и картежной, я приобрел некоторые странные мысли о собственности.

— Это заметно.

— Но собственность, как мы с тобой уже вывели из сегодняшнего разговора, не есть счастье. Повторим еще

раз, что счастье — смелость. Будем жить так, чтобы, даже утопая в холодной воде, мы могли найти в себе силы рассмеяться. Вот почему ты завтра выступаешь факиром. Филиппинскому кажется, что только факирство способно спасти балаган, и он пытался, утеряв твои шпаги, обучиться глотать их в натуральном виде, потому что «мастер Иоанн» сооружает сейчас только одни шулерские приспособления. Но у Филиппинского от ложек воспалена глотка, и туда не только не войдет шпага, но и приближение ко рту даже твоей складной шпаги вызовет рвоту.

Я сказал небрежно:

— В последнее время я больше занимался стихотворством, чем чудотворством. Пока я делал чудеса и предметы, вокруг меня не было стихов. Когда я стал делать стихи, у меня появились чудотворные предметы.

Я положил в карман свой револьвер и хлопнул по карману рукой.

Петр Захаров сказал мне голосом, который некогда чудился мне в телеграммах, получаемых мною из Омска прямо в курганскую баню:

— Ты — Леонардо да Винчи! Давай составлять афишу.

24

Опять в двери балагана в неподвижном жарком воздухе повис огромный розовый щит. Далеко через площадь говорят темно-зеленые буквы о том, что сегодня, 21 июля 1914 года:

НОВОЕ, НЕВИДАННОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ БЕССМЕРТНОГО ФАКИРА, ПОКАЗЫВАТЕЛЯ
СЧАСТЬЯ И НЕУВЯДАЕМОГО
ДЕРВИША БЕН-АЛИ-БЕЯ

Я выступаю впервые после долгого перерыва, но, в сущности, я ничего не прибавил к тому десятку булавок и гирек, с которыми я орудовал два года назад, — наоборот, я стал гораздо беднее, чем даже весной. Не прибавилось во мне и любви к этим снарядам и булавкам, не вызывает удовольствия даже то, что скотоводы, узнав о поступлении в балаган нового актера, назначили мне за выступление пять рублей.

— А если соберешь зрителей, так получишь, парень, и больше,— сказал мне старый скотовод Шабаршин, с лицом седым, низким и сплющенным настолько, будто лицо ему было совсем не надобно, но вот вспомнила природа: как же так, без лица? — и соорудила ему первое встретившееся.

Тут же старик Шабаршин отдал распоряжение киргизу о том, как поступить с жеребятами, и, вынув длинный бархатный кисет, набил махоркой толстую трубку. Он разжигал ее, краешком глаза наблюдая за мной, и я подумал, что нам будет чрезвычайно трудно угнать табуны.

Балаганщики смотрели на меня несколько смущенно и до некоторой степени чувствовали ко мне уважение, потому что никак не могли объяснить, зачем я появился в «XX веке».

Один «мастер Иоанн» не заметил, что я покидал балаган. Как всегда, он нетребователен и весьма умерен в пище. Балаган голодал, а он ухитрился отдавать свои пять копеек, которые получал от скотоводов на пищу, для пропитания Нубии. Сам он кормился крошечным ломтиком хлеба в день и редькой, которую ему дарили ирбитские жители «из-за воспаленного роста». Редьки в этом году уродилось много, да и от прошлого года осталось. «Мастер Иоанн» нарезал ее маленькими ломтиками, обильно солил и ел, запивая холодной ключевой водой. Ходит он по-прежнему «в галоп», быстро поднимая необыкновенно длинные ноги. Он склоняет ко мне свой упорный втулкообразный подбородок и говорит, не спуская с меня глаз:

— Кажись, вседельный снаряд-то я нашел. И скажи ты, пожалуйста, у кого он находится? Скотоводы имеют! Разве потому, что из кержаков они, умеют тайну хранить.

— Зачем он им нужен?

Он склоняется ко мне еще ниже, хлопает себя руками по узкому заду и восторженно дышит на меня едким запахом редьки:

— Изготовлять фальшивые бумажки!

Иоанн самолюбив, и мысль о фальшивых бумажках кажется ему весьма ценной и нужной.

— Значит, ты, Иоанн, согласился бы делать фальшивые бумажки?

— А к чему я пристрою его, вседельный снаряд?

И у «мастера Иоанна» тоже, видно, получились «странные размышления о собственности». Мне они не нравятся. Однако я считаю, что спорить нам не нужно и что лучше вначале угнать табун, а затем осмеивать вседельный снаряд и фальшивые бумажки.

— Куда только они его девают? — говорил он задумчиво. — И какого он размера? Он ведь способен быть и с ноготок и с чемодан.

— Я все узнаю, Иоанн.

Иоанн ходит за мною всюду. Мы решили наделать пельмени, чтобы скотоводы, приглашенные в гости, от неожиданности и этого зимнего кушанья перепились «до окаменелости». Когда они сильно напьются, но еще не потеряют сознания, я спрошу их о вседельном снаряде. Они осмеют его существование, «мастер Иоанн» поверит им — и, приведенный в ярость, угонит вместе с нами табуны.

Я стою у входа. Продано восемь билетов на 3 руб. 60 коп. Полдень. Для начала хорошо. Мне весело, и я думаю, что не так-то плохо быть факиром, стоять у входа в балаган и смотреть па площадь, где цыгане пробуют лошадей, идет высокий коновал, увешанный всевозможными снарядами, и возле «стрелы» толпятся мальчишки. Солнце играет на «стреле» и на козырьке фуражки почтенного шулера Талыга.

Через площадь быстро скачет всадник. Он размахивает длинными белыми листками бумаги, и только когда он проскакал, я пытаюсь понять, почему он так бешено гонит коня и почему скачет от почтового отделения, где собрался народ, которому высунувшийся в окно чиновник объясняет что-то. Соборный колокол гудит. К паперти рысят офицеры, которых сопровождают ингуши, покрытые, несмотря на жару, бурками. За ингушами скачут четыре телеги, плотно набитые городовыми.

— Забастовка, что ли? — спрашиваю я у проходящего мимо обывателя.

— В нашем городе забастовок не бывает! — неожиданно разозлившись, отвечает мне обыватель. — Тебе приказано забавляться, ты и забавляйся, а в казенное дело не лезь.

Обыватель поворачивает ко мне длинную голову, похожую на дыню, и говорит, сильно обнажая бурые зубы:

— Слякоть, облизьяна!

Его неожиданная брань, а в особенности, то что каждое бранное слово он сопровождает крестным знамением, заставляют меня идти за ним следом. Я иду, он оборачивается и через плечо ругает меня. Таратайка провозит мимо нас исправника. Нас догоняет «грозный мастер Иоанн». Он смотрит на колокол, который гудит сипло и как-то спросонья. Лицо у мастера хмурое, и он, видимо, чувствуя большую тоску, спрашивает меня:

— Тебе отечество надобно, Сиволод?

— Размышлял бы ты о снаряде, а не об отечестве, Иоанн.

— Отечество тоже труда стоит. Вот я в Петербурге ученых видел. Они в бобровых шапках по Невскому любят гулять, а мы мимо целой ротой идем. Ученые, они учились долго. Они царя уважают, они этому учились. Они знают, почему надо убивать гренадерского полка запасного Ивана Михайлова.

— Кто тебя собирается убивать, Иоанн?

— Немец.

Степан Ломов, клишник, бежит рядом с нами, заглядывая к нам в лица.

— Семья-то готовится к представлению? — спрашиваю я его.

— Какое уж там представление, господин Савицкий! Манифест слушать надо. Это хорошо, брат, что мы стеклянный цирк не выстроили. Полопались бы от орудийного грома не только «верхние светы», но и стеклянные фундаменты.

— От чего полопаются?

— От немецких орудий,— отвечает Иоанн Михайлов.— Да ты что, не понимаешь?

Обыватель опять оборачивается и визжит:

— Чего он понимать способен? Ты посмотри на его лицо! Он еще к такому лицу лаковые ботинки обул!

— А ты не лезь в чужое горе! — вдруг, озлившись, говорит «мастер Иоанн».— Я вот тебе такую на морде облизьяну выпишу, что ты сто лет будешь помнить балаганную работу!

Обыватель отскакивает. Заложив назад тяжелые руки и наклонив голову, «грозный мастер» степенно шагает к собору... Я иду за ним, ошеломленный. Несмотря на яркий солнечный день, набат мне кажется темной и усталой тропой, по которой никто не хочет идти, но по которой идут, потому что больше идти некуда. Вот

зачем мне, например, идти в церковь? Но куда я пойду, если сегодня мое представление отменено? И я бегу вслед за всеми, и чем быстрее я бегу, тем страшнее, запутаннее эта набатная дорога, вязкая и глинистая, как проселок в осенние дожди.

Плечистый полосатый поп с усами, закрученными в кольца, не без одобрения посматривая на сабли офицеров, читает нам манифест Николая II. Читает он плохо, в нос, хотя рот раскрывает старательно. Он размахивает левой рукой, в которой зажат носовой платок с красными каемками. В соборе тесно, горит множество свечей. Толпа молчалива. Поп делает паузы после каждой запятой, не обращая никакого внимания на точки:

— «Ныне предстоит уже не заступить только за несправедливо обиженную родственную Нам страну... но оградить честь... достоинство... целость России... Положение ее среди великих держав мы неколебимо верим... что на защиту русской земли дружно и самоотверженно станут все верные Наши подданные...»

На паперти большеголовый городовой раздает напечатанные манифесты. За его спиной наклеено широкое бледное объявление о мобилизации. Возле объявления стоит толпа. Мне обидно думать, но я все-таки думаю, что полезнее б им читать с таким вниманием мою афишу, нежели царскую.

Я бегу в балаган.

— Раньше б уехать нам в Индию, Петр!

Петр щелкает шамбарьером с рауса. Нубия стоит без узды. Петр спрыгивает на землю и бросает рваное свое пальто.

— Индия сама по себе, Нубия сама по себе, а самое главное — смелость. Раз, два, три, алле!

Нубия хватает зубами рукав пальто и помогает Петру натягивать его.

— Зачем ты ее выучил этому, Петр? Разве ты надеялся получить манеж?

Он опять щелкает бичом.

— Как ты полагаешь, существует ли разница между манежем Урала и манежем польской земли? И различит ли Нубия мое пальто от моей казачьей шинели?

— Ты собираешься на позиции?

— Если вдуматься, то, по совести говоря, трудно теперь, Всеволод, когда в городе военное положение, война и вдобавок ингуши, угнать табун. А если я пойду

в добровольцы, то я этим самым уплачиваю свой карточный долг. Разве скотоводы смеют удерживать меня? Конечно, дорога в Берлин не дорога в Калькутту, но кто предскажет далекие рейды казачьих дивизий?

Он скрестил руки, закинул назад курчавую голову и сказал, улыбаясь:

— Юный доброволец, казак и дворянин Петр Захаров вступил в действующую армию. Ура Петру Захарову!

Он любовался собой, лихими поворотами шамбарьера, гулом соборного колокола и тем, что, уходя на войну, он закончит успешно свое учение, хотя и не окончит Омского сельскохозяйственного училища.

— Нубия, алле!

Нубия легла на землю.

— Для казачьих походов годится?

Петр Захаров решал все затруднения быстро и умело. Едва он услышал слово «война», он, еще не зная, с кем предстоит воевать, уже мысленно уехал на войну. После этого он стал обдумывать: почему же все-таки он решил уехать, и тут вышло, что это единственный способ выручить себя и своих друзей. Скотоводы отпустят, конечно, не только героя, но и его приятелей, а карточную игру можно возобновить и на фронте.

— Все вы, дорогой мой Всеволод, несомненно, попадете на войну. Вам будет трудно оторваться от своей профессии, и вы еще растеряетесь, а ты знаешь, как опасна растерянность на войне. Я же к тому времени освоюсь и смогу достойно встретить вас.

— Надо бы вначале подумать о смысле войны, нежели ехать.

Я вспомнил, сказав это, письмо, полученное от моего отца. Я вынул конверт, но лицо Петра Захарова так сияло, он был так доволен своей мыслью, что я положил письмо обратно. Кроме того, на середину площади выехали офицеры, которые проверяли коней. Скотоводы стояли рядом с ними, и тогда нам стало понятно, зачем пригнали в Ишим эти киргизские табуны.

Офицеры одеты в голубые мундиры. Пуговицы и галуны отражают солнце весьма тщательно. Алешка Жулистов, увидев это галунное сияние, раскрыл рот и пошел к офицерам.

— Оказывается, Всеволод, скотоводы-то предусмотрительнее нас. А мы еще посмеивались над ними! Я ува-

жаю людей, которые видели впереди себя войну, Всеволод. Война, Всеволод, дает такое количество движений, которых ты не испытаешь нигде. Мне нравятся животные, в частности кони. Там я увижу множество животных. Я буду им помогать, властно передвигать их. Война, Всеволод,— это смелость и щедрость. Там даже смерть и та щедра. Там проявляются лучшие качества русского народа. Надо же, наконец, подумать о том, что я русский.

— Ну, какой же ты русский, Петр!

— Нет, я русский. Это ты, Всеволод, индус, а я русский.

— Но ты тоже ехал в Индию?

— Я ехал из любопытства, а ты, Всеволод, ехал на родину.

Он улыбался всем своим пряничным лицом, поправлял свои песенные русые кудри и был чрезвычайно доволен тем, что о России думает сейчас так же, как и все. Смеясь, он смотрел в хмурое лицо Иоанна Михайлова, который, как для работы, стоял, приготовив фартук и мешок с инструментами.

— Хотя ты и не дворянин, Иоанн, но тебе надо бы порадоваться тому, что Россия охвачена сейчас смелостью.

Лицо «мастера Иоанна» было неподвижно, и серые губы его едва шевелились, когда он сказал:

— Моему году на пункт приказано идти.

Он думал о чем-то напряженно. Эта мысль как бы запахнула его лицо. Чтобы к нему не очень приставали, он всем говорил:

— Моему году на пункт приказано идти.

— А как же наше представление? — спросил я.— Отменяется навсегда?

Петр засмеялся.

— Глубокая мысль, Всеволод! Представление отменяется! Казалось бы, пустяк, но я прошу тебя вдуматься. Миллионеры-скотоводы прогорели на «XX веке», так же как прогорели мы, обыкновенные балаганщики. Прошу запомнить, Всеволод, что война принесла нам победу над скотоводами. Они думали — выиграли, балаганщики будут теперь служить. А кто будет служить, когда всех мобилизовали?

— Их-то не мобилизовали?

— Кого — их?

— Их! — громко воскликнул Иоанн Михайлов. — Их, которые при снаряде. Значит, снаряд при них останется? Они от войны откупились скотом, и снаряд я опять не получу?

— Нет такого снаряда, Иоанн,— сказал Петр Захаров.— Если б они имели снаряд — зачем им скупать скот? Они бы напечатали денег...

— От начальства во время войны деньгами не откупишься, ему от купцов требуется снаряжение. Есть у них снаряд! Этот снаряд печатает не одни деньги, но и соображения создает. Вот ты, Петр, превзошел все науки, всех ученых знаешь по именам, ты даже коновальскую науку вытвердил — она самая трудная на земле, наши коновалы приобретают ее не меньше как к сорока годам, а тебе и двадцати нет, а ты знаешь конские пороки и достоинства лучше любого пятидесятилетнего коновала. А все так, никакой пользы от наук для тебя нет, а шагаешь ты, как простой рядовой, на войну, хотя и говоришь, будто ты доброволец. Так. Теперь посмотри на купца, на скотовода. Он тебе наставит этот вседельный снаряд на коня, посмотрит в дырочку и увидит этого коня и снаружи и изнутри, как тебя и жена твоя никогда не увидит и не поймет. В снаряде самое главное — это надо уметь видеть отверстие.

Как бы пытаясь остановить движение своего тела, которое повиновалось приказу о мобилизации, он положил мешок с инструментами возле своих длинных ног. Он переминался с ноги на ногу. Ноги его спешили. Тогда он положил мешок на носки сапог. Он стоял неподвижно, высокий, мускулистый, и, вытянув к нам втулкообразный свой подбородок, говорил с тоской и злостью:

— Где теперь мне этот снаряд разыскивать? Если царь приказал, ученые подтвердили,— значит, пора мне отправляться на войну. Перед отъездом девицу бы мне эту повидать...

— Шадринскую?

— Шадринскую. Да вряд ли ее увидишь, воинские начальники в любовь не верят. С фронта тоже не скоро вернешься: гвардию двинут первой против немцев.

Он выпятил грудь, стукнул в нее кулаком и гордо сказал:

— Гвардия всегда идет первой!

Гордость быстро исчезла, и он опять проговорил грустно и тихо:

— Написать ей письмо, что ли! Напиши-ка ты, Всеволод. Кто знает, найдется ли такой письменный на фронте, который так быстро пишет, как ты. Вот куда ты поднялся: без всякого снаряда составляешь письмо.

25

Узнав приказ о мобилизации, «грозный мастер Иоанн» еще сильнее полюбил бледную дочь кожевника Измалкова. Он теперь не скрывал этой любви. Неподвижно стоял он на раусе, глядел в ту сторону, где, по его мнению, находился Шадринск. Он глядел и не мог наглядеться. Он поминутно оправлял платье, как бы собираясь идти, переступал с ноги на ногу и сдержанно ударял кулаком о кулак.

Мне жаль «грозного мастера Иоанна», жалко его и Петру Захарову. После того как я согласился написать любовное послание мастера, Петр шепнул мне на ухо, чтоб я писал подольше. Петр побежал к скотоводам.

Иоанн Михайлов принес длинный лист бумаги. Мастер стоял возле меня, нахмурившись и натужившись, как всегда натуживался он перед тем, как приступить к большой работе.

И в тени было по-прежнему нестерпимо жарко. Иоанн Михайлов стоял в пиджаке, в фартуке, инструменты блестели у него в руках.

— Пиши: «Драгоценная... мы все живы и здоровы, чего и вам желаем. И еще кланяемся мы отцу вашему...»

Он думал долго перед каждым словом. Он положил инструменты на землю, снял фартук.

— «Еще кланяемся мы...»

Фартук метался из руки в руку. Превратив его в комок, он кинул его себе под ноги и, схватив мешок, быстро переложил туда инструмент. Мешок загремел, голос у него тоже гремел, но все-таки он ничего не смог придумать! Он писал то же самое, что писал домой, когда служил еще в армии, когда жива была еще его мать и не было невесты. Он писал то, что множество лет множество солдат писало домой. Хотя он еще и не явился к начальству, но он уже сообщал, что начальство у него хорошее, не обижает. Иногда он отскакивал, взмахивал

мешком над головой, и мне казалось, что «мастер Иоанн» сейчас скажет новые слова, но этот белый четырехугольник как бы держал его мысли в тех пределах, дальше которых в казарме не приказывали выходить. Тогда я думал, что как бы он по ошибке не опустил инструменты на мою голову!

— «Еще кланяюсь!» Нужно, Иоанн, писать не о поклонах, а о тех чувствах, которые ты к ней испытываешь.

— Которые я к ней испытываю?

— Да, все описывают чувства, которые испытывают к любимой.

— Что я испытываю, она и без того должна догадаться! Если я кланяюсь всем ее знакомым или папаше, значит, я не зря кланяюсь. Тут вот ты записал Евграфа Николаевича. Я ему тоже кланяюсь! А он мне должен семьдесят рублей, и работу я эту делал ему в долг, ради уважения к нему. Или вот Александр Максимович Симонов, он кассир в казначействе. Я ему тоже в долг железный ходок сделал, он ей родственник. Одни обиды, насмешки получал я от него!

Он достал из мешка редьку, отрезал ломоть и посолил ее из деревянной самодельной солонки. Жевал он редьку с отвращением, подняв голову кверху, к пустому и невероятно жаркому небу.

— Чувства наши, Всеволод, не клей столярный. Не умеем мы с ними обращаться. Напишешь, она все-таки барышня, у ней, глядишь, от обиды насморк произойдет.

— Тогда давай, Иоанн, я сам придумаю.

Мастер отбросил редьку и побагровел:

— Ты надо мною, Всеволод, не смейся! Все равно тебе меня не побороть. Ты пиши, что тебе приказываю, в чувствах ты, по-моему, не разбираешься. И что ты, если вдуматься, за человек? Какие в тебе могут быть чувства? Казак ты, не казак, стекла на глазах носишь, мещанин ты, не мещанин, водку не пьешь. Пиши: «Еще кланяюсь многоуважаемой Анне Григорьевне...» Это вдова. Фамилия у ней Половинкина, одноэтажный дом у нее, рядом с Измалковыми. Тоже гадость большая! Иду мимо, она постоянно смеется, будто одежда у меня такая, что не способна даже греха прикрыть. Пиши: «Еще кланяюсь дорогому Павлу Андронниковичу, и жене его Катерине Илларионовне, и деткам их Вере, Самсону, Васе, Анастасии, Параскеве, Ефиму, Андрею, и племянникам ихним Ананию Кузьмичу, Ивану Егоровичу, и ма-

тушке ихней Ирине Хрисанфовне, и сестрице ихней троюродной Зинаиде Васильевне, и ихнему троюродному братцу Варфоломею Никитичу с супругой Ксенией Васильевной, а также ихнему квартиранту Петру Филипповичу и ихним друзьям Михаилу Максимовичу, Елене Макаровне, Андрею Сергеевичу...»

Я писал тщательно. Письмо лежало передо мной на доске, и, для того чтобы писать быстрее, мне приходилось наклоняться очень низко, опираясь всем телом на локоть. Иоанн тщательно следил за движением моей руки. Назвав фамилию, он повторял ее несколько раз, но вскоре возвращался к ней, чтобы проверить, правильно ли я написал.

Когда я кончил письмо, мастер долго рассматривал его со всех сторон. Затем он отошел в сторону, осмотрел его издали — и велел мне перечесть. Я его перечитал несколько раз. Этого ему показалось мало, и он дал прочесть письмо клоуну Щукину, хористке Скуковой и графологу Тиунцеву. У тех тоже имелось свое горе, мобилизовали и друзей и родственников, но, страшась огромной напряженной фигуры «грозного мастера», взметнувшего над ними свой втулкообразный подбородок, они поспешно брали письмо.

— А ты не торопись, не торопись, — говорил мастер.— Читай подробно.

Балаганщики, дрожа от злости, исполняли его требование. Мастер, прослушав последний раз письмо, вложил его в конверт и заклеил столярным клеем. Он взял конверт двумя пальцами за краешек и приказал мне идти за ним.

Мы долго ходили по Ирбиту, разыскивая подходящий почтовый ящик, так как все почтовые ящики казались «мастеру Иоанну» сделанными недостаточно крепко. Стоило ему легонько постучать рукой, и ящики либо трескались, либо вдруг обнаруживали щели, из которых сразу же выпадали письма. Тогда я предложил ему сдать письмо заказным на почту. Мастеру жалко было истратить четырнадцать копеек, но он пошел на почту. Ящик внутри почтового отделения оказался крепко сделанным, и мастер опустил туда письмо.

Однако «мастер Иоанн» не покидал меня. Ему, должно быть, казалось, что я способен написать такое письмо к дочери Измалкова, какое мне кажется правильным. Он ходил за мной до самого вечера. Ему б

в два часа дня являться на сборный пункт, а он отложил до вечера, потому что вечером ждали немецкого погрома.

— Да здесь, в Ишиме-то, и немцев нету, — сказал я.

Иоанн обиделся:

— Как немцев нету? С кем же нам воевать? Они должны быть везде. Или шпионы, или другие неприятели.

— Какие такие существуют другие неприятели?

Он багровел:

— Ты надо мной, Всеволод, не смейся! Я гвардеец и защитник отечества, а ты просто та-ра-ра!

Ему нравилось это слово. Он широко разводил руками, неумело улыбался и по поводу всего непонятного говорил:

— Это такая та-ра-ра...

Он ужасно надоел мне, и я предложил ему пойти искупаться. Он не любил купанья, потому что считал, что нельзя на такое пустое дело тратить время, которое нужно для хорошей работы, а тут согласился даже пойти со мной к реке.

Возле обрыва, на корнях сосны, сидели Филиппинский и Пашка Ковалев. В реке Петр Захаров купал Нубию и еще какого-то высокого черного коня. Захаров сиял, весь покрытый водою. Филиппинский застегнут наглухо, по-прежнему торчит вата из-под мышки. Пашка Ковалев напряженно смотрит на реку.

Я бросился в воду.

— Хорош конь!

Конь, фыркая, косо взглянул на меня. Он злобно тряс вороной своей головой, тело его вздрагивало, ему б давно выскочить из реки, но мешает удовольствие купанья.

— Близко не подходи, Всеволод, необъезженный! На нем и узда еще как рана. Нубию держу возле него для психологии, авось передаст, что я отличный хозяин. Лошади имеют свой язык, Всеволод. Свифт знал, о чем он писал. Но у этого коня, к сожалению, язык киргизский.

— Утащил, что ли?

— Когда скотоводы узнали, что «грозный мастер Иоанн» призван в гвардию, они ему пожаловали полимпериала золота. Иоанн, у меня в кармане штанов пол-империала лежит! Возьми. Когда они узнали, что

я юный доброволец-казак, они подарили мне коня. Вот я его сейчас намучаю хорошенько в воде, затем сяду верхом, и он, изнеможенный, хочет не хочет, а признает меня за хозяина. Опасаюсь одного, что он, не понимая духовных достоинств Нубии, еще подумает, будто это мы довели ее своими надсмехательствами до такого телесного унижения.

Он крикнул сидящим на берегу:

— Братцы, разрешите мне побеседовать с вами из воды, потому что если конь мешает мне говорить с вами здесь, то на суше он постарается совсем оглушить меня.

Он сказал мне:

— Передай мне фуражку, а сам облокотись, для полной картины, и слушай. Я пылаю, Всеволод, и мое пыланье будет чрезвычайно полезно для твоего и ихнего будущего.

Мы уселись на корни.

Захаров подвел коня к берегу, но река тут казалась глубокой. При его склонности к производству речей он понимал, что речь его затянется, но так как из-за жары ему не хотелось, чтобы его слушали стоя, то он, отведя вороного коня на мелкое место и взяв его за узду, начинал свою речь. Он шел и говорил до тех пор, пока можно было идти, а когда уже вода поднималась выше подбородка, он плыл, держа уздечку в руке, а другой уцепившись за гриву Нубии, которая рядом с ним плыла без уздечки. Ее длинные уши свисали на сострадательные и мокрые глаза.

Вот почему он выговаривал средину фразы,— которая как раз приходилась тогда, когда он равнялся с нашими корнями,— низким и усталым голосом, как бы из ложбины. Случалось, что он в это время глотал воды, и тогда многоточие обрисовывалось в виде желтоватых пузырей. Конец фразы обычно он выкрикивал высоким голосом, так как в это время он чувствовал под ногами дно реки:

— Я русский дворянин, а вы... находитесь в положении мещан. Я люблю все русское, а слово... «мещанин» происходит от слова «мешанина». Мещане! Я обожаю все русское... радуюсь всякому проявлению русского гения. Я радуюсь этому проявлению и в тебе, Филиппинский, и в тебе, Ковалев, и в тебе, «грозный мастер». Кто знает, может быть, в Индии ты тоже, Всеволод, проявишь какие-нибудь русские черты, которых в тебе еще

нет. На прощанье мне хочется... Просто в силу того, что я способен более быстро мыслить и разбираться в той чепухе, которая происходит вокруг нас, я хочу дать вам... несколько важных выдумок.

Я значительно сокращаю его речь, потому что он вставил туда огромное количество цифр и фамилий ученых, поэтов и промышленных деятелей, кроме, конечно, названий различных пространств, мимо которых и через которые когда-либо проходил русский гений. К сожалению, я забыл все эти фамилии и даты — и потому, что была сильная жара, и потому, что я волновался, так как вновь глубоко верил и уважал Петра Захарова.

— Предлагаю Филиппинскому: попробовать торговать теми запасами мяса, которые имеются и в нем самом, и во всей мясистой Сибири.

Он тронул коня, так как конь стремился вытащить его на сушу. Он опять поплыл.

— Павлу Ковалеву необходимо уничтожить... заразу, охватившую его. Зараза эта заключается в том... что он убежден, будто ему следует сбывать женщин туда, куда их никому не подобает сбывать. Я понимаю тебя, Павел, ты боишься попасть на фронт. Я советую тебе пойти в аптеку. Аптека, даже самая походная, никогда не бывает на фронте. Есть у моего папаши аптекарский генерал по фамилии Пышминский. У него бородавка еще на верхней губе есть, похожая на сливу. Они друзья еще по кадетскому корпусу... Генерал живет в Перми. Пожалуй, я дам тебе записку, чтобы он тебя пустил в аптечное дело... Мастеру Иоанну... не искать вседельного снаряда на фронте... лучше ожидать моего появления. Я укажу, где он находится, Иоанн! Что же касается тебя, Всеволод...

Вороному коню надоело плавать, и он на самом глубоком месте вдруг резко повернул к берегу. Курчавая голова павлодарца надолго скрылась под водой, чтобы всем своим пряничным великолепием удариться в прибрежную грязь. Однако Петр Захаров необыкновенно бодро вынес это унижение. Он мгновенно вскочил на ноги, вспрыгнул на вороного коня, конь поднялся на дыбы. Размахивая мокрой фуражкой, Петр Захаров крикнул:

— А в общем, война окончится через три месяца, Всеволод! Для тебя полезнее быть в балагане, ибо ты войну воспримешь, словно козел, которого поставили

к овсу, а он перешел к соломе, потому что та, по его мнению, блестит веселее!

Здесь наша военная беседа прервалась, потому что вороной конь умчал Петра Захарова, а в городе послышался набат немецкого погрома.

Возле соборной площади из переулка нас встретил на взмыленном вороном коне Петр Захаров. Нубия скакала за ним. Он закричал:

— Совсем было поскакал к Екатеринбургу, но вспомнил, что случайно у гуртовщиков со стола захватил бумажник, так что пусть они не подозревают других. То, что позволительно воину, то никак нельзя частному человеку! Кроме того, Всеволод, твое пропитанье — лоб, а мое — сабля и руки. Еду в Екатеринбург. Там пресса на весь Урал, а здесь какая газета вместит мое геройство? Добавим также, что в Екатеринбурге сон — чудо, а ум — полчуда!

Он взмахнул бумажником, который утащил у скотоводов. Вороной конь принял этот бумажник за невесть какой страшный предмет, рванул, ударил всеми копытами, и Петр Захаров надолго ускакал от нас.

Мы услышали рев толпы. «Мастер Иоанн» ринулся туда.

Толпа колыхалась возле низкой кирпичной ограды водочного завода. Сторож убежал, но никто не смог сорвать громадного замка с ворот, а в крошечную калитку нельзя проскользнуть, так как запасные напирали друг на друга. Гремели ведра, приготовленные для водки. Из переулков к заводу бежали, подтыкая юбки, женщины.

«Мастер Иоанн» закричал:

— Пропустите меня, я все замки умею раскрывать!

Голосу его сразу все поверили. Он еще ничего не пил, но лицо у него было пьяное. Его пропустили к замку. Он так ловко ударил колом, что не только замок, но и ворота распахнулись немедленно.

Толпа хлынула в ограду.

Двор завода странно большой и пустынный. В самом углу, возле каретного сарая, сидело на телеге несколько ребятишек, которые с большим интересом ждали, когда толпа поравняется с ними. Хлопая в ладоши и радостно крича: «погром, погром!», они весело сообщили нам, что охрана и чиновники разбежались.

«Мастер Иоанн» сшиб еще несколько замков. Толпа кинулась вниз по ступенькам в погреб. Электричество потухло. Запасные, тяжело дыша, бежали по гулким ступенькам узкой лестницы, зажигая спички.

Впереди, подпрыгивая, мчался «мастер Иоанн». Он хмельно вопил кому-то:

— Я тебе говорю, не взорвется! Мне ли не знать водочного снаряда?

Запах водки пьянил меня. Вернее сказать, таким я представлял себе людское опьянение — господство зеленоватой и рухлой пустоты, так что человек делается поразительно легким. Казалось, дотронься до меня пальцем, и я, покинув ступеньки, приподнимусь вверх.

Едкое дыхание запасных окружило и отрезвило меня.

Кто-то оттолкнул меня в боковой проход. Я остановился возле мокрой, прохладной темной стены. Гул шагов замер. Пьяное равнодушие покинуло меня, и мне стало страшно. Я кинулся вслед за толпой. Я бежал вниз.

Внезапно я услышал позади себя булькающее бормотанье. Я остановился. Сверху на меня лилась со ступенек острая струя водки. Я привык к темноте, и мне казалось, будто струя эта увеличивается, утолщается, и было чрезвычайно странно и смешно, что я впервые присутствую при наводнении, но наводнение это водочное.

Должно быть, я опустился слишком глубоко вниз. Запасные разбили цистерны или открыли краны где-то выше меня. Я кинулся вверх по ступенькам, навстречу водочному ручью. В боковых проходах, размахивая фонарями, суетились женщины. Они черпали водку ковшами в тусклые зеленые ведра. Какая-то низенькая старушка катила по коридору громадную бочку, а фонарь «летучая мышь» был привязан к ее шее.

— Бабушка, как же ты ее вверх поднимешь?

— Православные помогут,— деловито ответила она мне.

Ручей мешал мне идти. Я скользил и однажды упал, и меня окатило водкой. Наконец я выбежал в низкий зал, где, по колено в водке, распевали запасные. Высоко у сводов горел фонарь, освещая пьяную толпу, которая пила водку, черпая ее пригоршнями. Краны были сломаны, и водка, наполнив углубления, которыми обладал зал, переливалась через порог.

Запасный в длинной рубахе, с косматой головой и темным носом, чудовищно пьяный, упирался затылком в стену и, выставив вперед голый живот, по которому он бил мокрыми ладонями, выводил отвратительным дискантом:

Полюбил всей душой я девицу!..
Жизнь за нее готов я отдать!..
Бирюзой разукрашу светлицу!..
Золотую поставлю кровать!..
С той любовью в вагоне поеду!..
И ограблю я сто городов!..
И с отвагой я вновь к ней вернуся!..
И отдам это все за любовь!..
Но когда подозренье вкрадется!..
Что красавица мне неверна!..
Наказанью она подвергнется!..
Содрогнется и сам сатана!..

Я с трудом пробрался к «мастеру Иоанну».

— Вот не думал, что водка пену имеет! — сказал он. В голосе его чувствовалось томление. Как бы стараясь побороть себя, он выхватил из-за пазухи бутылку спирта, отломил горлышко ударом о каблук и вылил спирт в фуражку.— Свету мало!

— Маловато! — закричали запасные. Они с хохотом смотрели, как он повесил фуражку на крюк и зажег ее.

Погреб осветился дрожащим небесно-голубым пламенем. От этого страшного пламени и от того, что мог произойти взрыв, запасные совсем охмелели. Они орали, не уставая, о том, что «она» подвергнется ужасному наказанию, от которого «содрогнется и сам сатана», и было понятно, что «она» — совсем не та «она», о которой говорится в песне.

Высокая баба появилась на ступеньках. Увидав пламя и пол, залитый водкой, по которому плясали запасные, она вдруг высоко взметнула руки и закричала в страхе:

— Ванечка, миленький, встань, утонешь!

— Пей! — отозвался из толпы Ванечка.

Повинуясь голосу своего мужа, который ее сегодня покидал, она прыгнула в лужу водки и стала пить горстями — так же, как и запасные.

Густое, глинистое равнодушие охватило меня. Я прислонился к стене. Спокойно смотрел я, как из фуражки капают в лужу огненные капли. Фуражка раскачивалась, того гляди упадет...

— Вот тебе и сомневайся, что снаряда нету!— бормотал возле меня «мастер Иоанн». Из гигантских своих пригоршней он угощал какого-то низенького и широкого запасного, который, глотая водку, жаловался, что призыв сорвал у него весь успех сапожных дел.— Будешь починять сапоги на фронте. Что сапоги, милый? Я вот вседельный снаряд потерял!

Он выхватил из кармана деньги:

— Получайте!

Он скопил эти гроши, голодая, чтобы купить или подарок своей невесте, или билет, по которому он бы уехал в Шадринск.

— Получайте! Слышите вы! Пятаки вместе с полимпериалом. Слышите?

Но никто не заметил этих раскиданных пятаков. Неподалеку от нас дрались двое запасных, несколько человек танцевали, а часть упали прямо в водку и, приложив голову к стене, спали. По лестнице все еще бежали запасные. Рыча и ругаясь, они толкали, опрокидывали друг друга, черпали водку, пили и разбегались в боковые коридоры или еще ниже, в глубину подвала.

«Мастер Иоанн» положил мне руку на плечо.

Я согнулся под его раздумьем.

— Так тебе, значит, надобно отечество, Сиволод?

Лицо у него наполнено тревогой и безумием. Мне показалось, что он сейчас схватит меня и бросит под ноги к этим прыгающим с лестницы людям. Голова моя кружилась. Тяжело дыша, я ответил:

— Ищу.

— Ищешь? А на фронт все-таки не идешь? Может быть, Петр про тебя правильно говорит, что ты не имеешь отечества? Перехитрить меня хочешь? Нет, Сиволод, тебе меня никак не победить. Оглянись на мои руки!

Он положил на грудь ко мне громадные свои руки. Испуганно я подумал: «Конец!» Мне хотелось сказать ему, что обижаться он на меня не должен, если я понимаю по-другому его отечество. Но тяжелые его руки мешали мне дышать.

— Нет, тебе меня не победить, Сиволод!

От слабости и страха я закрыл глаза, но тут он внезапно схватил меня, поднял на руки и, высоко поднимая ноги, побежал к лестнице.

— Расступись! — кричал он.— Парню плохо!

Он расталкивал людей ногами, и, словно во сне, я видел, что люди мгновенно падали. Кто-то, ушибленный им, закричал и полез драться. Тогда «мастер Иоанн», освободив на мгновение руку, ударил кричавшего наотмашь, и тот сшиб своим телом несколько человек.

— Нет, Сиволод, тебе меня не побороть!

Воздух мгновенно оживил меня. Мне стало совестно, что я, как младенец, лежал на руках у «мастера Иоанна». Щупая руками веселый и теплый булыжник двора, я, все еще не имея сил подняться, сказал ему:

— Твое отечество — рота. Иди к ротному и не пытайся размышлять о высоком смысле родины. Воинский ждет тебя.

— К воинскому успею, Сиволод.

Я чувствовал, что нам следовало бы еще пройти, как мы прошли эти несколько лестниц. Уже сейчас мы чувствовали друг к другу большое уважение, но помешали смущение и гордость, свойственные обоим нам.

— Успею!

Мимо нас бежала баба в розовом платье и желтых чулках. Она тащила, обняв, три четверти водки.

— Мужика надо обнимать, не ту посудину!

«Мастер Иоанн» выхватил у бабы четверть. Остальные тоже выскользнули и с приятным легким звоном разбились о булыжник. Бабе, видимо, казалось законным то, что водку отбирают у ней: она, даже не взглянув в лицо мастера, повернула обратно. «Мастер Иоанн» сбил ногтем сургуч, вышиб пробку и опрокинул струю сивухи к себе в рот. Он пил, громко шлепая губами, закрыв глаза, и мне было невыносимо тяжко смотреть на него. Что я мог ему сказать? Зачем ему моя Индия? Да и вообще, кому она нужна теперь?

26

Алешка Жулистов, оказалось, уже рассказывал в балагане, что после ухода моего в Екатеринбург я увел оттуда в Индию целый полк разбойников. Он путал мои беседы с походами Наполеона и с проектами Павла Первого. Наполеона он переселил в Омск, сделав его казачьим генералом. Несмотря на голод, ему снились хорошие, певучие сны. Увидав меня, он очень обрадовался и, смеясь, сказал:

— Теперь ты мне во сне перестанешь сниться. Теперь я буду все пищу во сне видеть, она там пушистая, легкая, такой формы, что и есть невозможно!

Узнав о войне, он вышел на раус и долго смотрел на небо. Облака шли над ним, наряженные в пышные формы, воюя между собой. Пожив в балагане и порасспросив зрителей, он пришел к убеждению, что русские мундиры, лучше прочих на земле, способны перейти через все «океаны», которые он особенно уважал, потому что океаны наряжены в самую красивую форму.

Он спросил меня:

— А через какие страны могут пройти еще русские?

Я назвал ему множество стран. Он замолк и опять уставился на облака.

— А какой еще океан есть?

Ему казалось, что через страны уже шли русские войска с развернутыми знаменами, с барабанным боем, похожим на гром, и впереди этих войск шагают усатые офицеры, залитые в золото.

— Великое множество подвигов совершится для России. За каждый подвиг пожалуется свежая форма. Где совершают эти подвиги, Всеволод? Ты мне скажи точно. Какие полки пойдут и в какие страны? Мне надо выбрать самый лучший полк с лучшими подвигами.

— Уходил бы ты тогда вместе с Петром.

Но он уже все перепутал:

— И через Курган пойдут непременно. Через Курган все пути проходят! А я, Всеволод, Курган-то покинул. Значит, не увижу прохода победных войск?

Рядом с ним корзина с голубями. Он держал голубей, дабы их не съели балаганщики, у поповского сынка. Сынок ушел в добровольцы, поп рассердился и потребовал, чтобы его избавили от «голубиного воспоминания».

Голуби ворковали, потряхивали перышками. Алешка Жулистов длинными пальцами трогал ивовые прутья корзины и говорил:

— Подарить государству? Пускай носят почту. На крылышках отмечу чернильным карандашом: «Лева Лащевский». Вот жалко, не догадался, надо бы Петру Захарову дать несколько штук! Он увез бы их на фронт и оттуда сообщил бы нам сразу же, в тот же день, какую форму ему выдали за подвиг.

Облака скрылись. Небо стояло над нами цвета дымчатого топаза. Алешка загрустил.

— Прощай, Всеволод!

Он привязал короб на спину. Мне казалось, что Алешку влечет призрак какой-то необыкновенной сияющей формы! Голуби за его спиной сидели смирно, словно зачарованные этим видением. Он уходил в жаркий и высокий день по жаркой и прямой дороге. Дорога была совсем порфировая, так что на нее трудно было смотреть. Мне было приятно, что Алешка уходит, что он уносит вместе со своим коробом другой короб — чудесных рассказов обо мне и моих подвигах.

Уход Алешки Жулистова сразу превратил балаган «XX век» в пустой, темный, пахнущий керосином и крысами сарай. С омерзением смотрел я на Пашку Ковалева, который, вдруг оживившись, подолгу стал шептаться с шулером Талыгом.

Пашка Ковалев получил три телеграммы. Размахивая бумажками, он ласково сказал мне:

— Вот теперь ты меня не осудишь, Всеволод. Мамаша ринулась скот закупать. Надо бы подумать ей об этом раньше, но все же что-нибудь да успеет.

Он послушал, как сестры Ломовы расхваливали скотоводов. Скотоводы, узнав, что со стола пропал бумажник, сообщили, что бумажник подарен ими Петру Захарову. Ломовы считали, что скотоводы поступили правильно, да и Петр Захаров тоже поступил правильно: надо же ему экипироваться.

Я разговаривал с сестрами, держа в руке большую репу, с которой снимал тонкие ломтики. Я держал эту репу не для возобновления разговора возле замка Синей бороды, а потому, что мне хотелось есть. Женщины балагана не снились мне. Эти почти бестелесные от голода фигуры, которые как бы уже прикрывают землю и пепел, эти едва наведенные черты, словно природа уже предвидела их раннюю гибель, казались мне удивительно бесстрастными и тоскливыми. Разве водка иногда заставляла их одеваться в чужую печаль и в чужую радость. Горько видеть, что одежда спадает с их тела такими складками, как она способна спадать только с прилавка. Я сказал им:

— Тяжелая штука! Можно утешиться тем, что после мобилизации легче найдется работа. Но я не знаю, что тяжелее — потерять ли любовь или найти работу.

Не берусь утешать вас, но мне хотелось именно сейчас прочесть вам стихи.

— Репка,— язвительно воскликнул Пашка,— в руках репка и на языке! Нет, не заменить, Всеволод, тебе Петра Захарова!

— Тебе бы в ущелье жить, Пашка!

— Читай стихи, — сказала Платонида.

Я прочел стихи. Удивительно, но, прослушав эти стихи, Пашка прослезился. Должно быть, ему было очень тяжело. Он боялся войны, и он спрашивал по телеграфу Ковалиху, где ему и как спасаться. Он перечитывал письмо Захарова, чувствуя, что письмо это увезет его в Пермь, к «аптечному генералу». Он боялся этого генерала! Когда я дочитал стихи, Пашка утер слезы, перекрестился и сказал:

— Поп блудит и сбивается с дороги, глядя на чужой хлеб. Вот тебе моя репка, Всеволод. Кабы не такие размышления о попах, я бы давно молился в монастыре. Ты говоришь — живи в ущелье! А если меня здесь на открытом месте поминутно жалят, то что же мне придется встретить в ущелье?

Филиппинский тоже страдал. Он смотрел на блестящую деревянную ложку и говорил:

— Жена сообщила из Екатеринбурга — «выезжаю». А что, с чем я ее встречу? С ложкой? Вот Петр Захаров правильно говорил, что нет тебе почета от жены, потому что она видит твое тело, и от родственников, потому что они знают твои мысли. Еще бы не видеть ей моего тела, когда стоит мне поднести ложку ко рту, как оно начинает извиваться!

Не столько поразило Филиппинского изречение Петра, сколько мысль о том, что Петр дал правильный совет: торговать мясом. Все же Филиппинскому не хотелось покидать балагана. Странно, он любит его! Его прельщала эта копеечная таинственность, этот оркестр из мандолин и гитары и слепого гармониста, эти жестяные полусферы, которые окружали керосиновые лампы возле края сцены, эти акробаты, жонглеры, чревовещатели, куплетисты! Ему хотелось владеть этим балаганом, и он с радостью согласился, когда скотоводы предложили ему в аренду «XX век».

Филиппинский страдал, одобрит его жена затею или нет. Круги, описываемые его ногой, ложились возле меня.

— Петр Захаров герой. Ему войсками распоряжаться, а не балаганом. Тебе, Всеволод, надо составить программу покрепче. Что шпаги? Смешно. Каждому известно, что их делают в Шадринске. Тебе надо сделать черный кабинет, Всеволод.

— Что шпаги? — спросил я, разглядывая свои шпаги. — Шпаги это смешно для тебя, но мне грустно. На афишу войдет твоя подпись, Филиппинский, но мой номер прошу заменить другим.

— В добровольцы уходишь?

— Я с детства числюсь добровольцем, только я завоевываю совсем другую страну, чем вы.

Дорога оживленная. Распевая унылые песни, в Екатеринбург шли запасные. Тянулись длинные обозы. Воза обгоняли воза, пьяные «слегка» — «чересчур пьяных». Знакомые и незнакомые перекликались, расспрашивали о хозяйстве. Иногда казалось, что люди едут на большую ярмарку, но вот заплакала баба, и ее плач заглушается дикой песней, гоготом взводных шуток, причитаниями матерей.

Почтенная бабушка, рассматривая мои поспешные шаги и мою молодость, спрашивала:

— Доброволец?

Мне хотелось есть, да и не было большой лжи, если понимать слово «доброволец» так, как я его толковал Филиппинскому.

— Доброволец!

— Родителей нету, что ли?

— Родители есть.

— Вот плачут-то, сердешные!

Меня угощали пищей и водкой. Когда я отказывался от водки, ко мне начинали чувствовать почтение, предчувствуя в моем воздержании чудовищные подвиги, кончающиеся смертью. Меня спрашивали:

— Война-то быстро пройдет?

Приходилось отвечать Петькиными словами:

— По утверждению военных специалистов, война затянется не больше, как на три месяца.

Меня подсаживали на телегу, хлопали по плечам, кричали:

— Раз не пьешь, так ешь!

Я пьянел от пищи, от предстоящих боев, от знамен русской славы, которые уже витали надо мной, от великих битв, которые предстоит увидать на полях

Восточной Пруссии и в Карпатах. Я совсем охмелел от треска гармошек, которые шли рядом с телегами, от оркестров пожарных команд, которые встречали запасных возле волостных правлений. Поэтому, не очень торопясь в Екатеринбург, я шел окружным путем, часто сворачивая в сторону, и вместо десяти километров, которые мне следовало бы пройти, я крутил по пятьдесят или по сто. Я шел от одного завода к другому, и если лесистая дорога казалась мне мрачной, я выбирал шоссе в безлесной горной долине. Профессия добровольца казалась мне приятной. Зачем торопиться? Война — дело серьезное, всегда успеешь умереть, а количество сражений мало привлекало меня. Кроме того, мне нужно просто-напросто попитаться. Я отлично и долго спал, разложив возле себя костер. Если мимо проезжали воза, я спрашивал:

— Добровольцев среди вас нету? Могу составить компанию.

Мужики удивлялись моей бешеной храбрости и с большим сожалением отвечали, что добровольцев нету, но, чтобы вознаградить себя за знакомство с таким безумно храбрым человеком, они дарили мне множество пищи. Я лежал, ел, вставал, насколько это требуется для человека, опять ложился и опять спал. Жаркое и безводное небо по-прежнему качалось надо мной, пока я не почувствовал себя обладателем достаточного количества сил, необходимых для появления в воинском присутствии.

Вид Екатеринбурга, если присмотреться, поражал обилием царских портретов и церковных гимнов. Каждый день архиерей благословлял с амвона добровольцев. Пройдя мимо разгромленного винного склада и немецкого часового магазина, я как раз уперся в соборную паперть с ее золотым крестом в архиерейской руке, покрытой малиновой парчой. Добровольцы стояли перед папертью на коленях. Архиерей, мясистый и властный мужчина, рыдал от умиления.

Благодаря скушанной пище я был добродушен, и мне подобало бы, согласно бесед с обозами, присоединиться к этой толпе. Однако я размышлял. Ну, добро, был бы я религиозен, добро бы не вспомнил, как записывался мой отец в русско-японскую войну, добро бы на мне не было очков, что, несомненно, унижает казака, а глав-

ное, надо вспомнить, что в Екатеринбурге я человек подозрительный, подравшийся с двумя хозяевами и укравший револьвер.

«Ага, вы хотите быть добровольцем? Проверьте его гражданское состояние. Ага! По справке выходит, что вы, Иванов, спасаетесь от тюрьмы. Ага!»

Все эти обстоятельства заставили меня пройти мимо толпы прямо к вокзалу.

Я сыт, но денег на билет я не имею. Движение аксельбантов, украшавших грудь вокзальных жандармов, встревожило меня.

— Ты чего, Сиволод, здесь делаешь?

Я обернулся на этот тихий вопрос. На скамейке сидели в солдатской форме и с мешками трое карманников, ярмарочных подручных Талыга.

— Мобилизовали?

— Пришлось,— ответили они.

— Ну, под пушечный грохот легче в карманы лазить.

— Откуда в тебе такое веселье? Доброволец? — спросил белокурый воришка.

— Черт вам доброволец, а не я! — сказал я карманникам гордо.

Полагаю, мой ответ внушил им почтение ко мне, потому что лица их изобразили некоторую растерянность. Тогда я сказал:

— Еду в Петербург, где все выяснится. Устройте-ка!

Они скучали и поэтому высказали желание охотно помочь мне. Кроме того, им тоже нужны деньги на дорогу. Они решили посмотреть на карманы соседей, не валяется ли где-нибудь там билета до Петербурга. Мы обошли весь вокзал, высматривая тех лиц, которые, по нашему мнению, могли ехать в Петербург, но, к сожалению, все лица были местного следования. Наконец нам удалось рассмотреть господина, упершегося в кожаный чемодан, с лицом, вытянутым на многие тысячи верст. Господин, вытаращив пробковые глаза, стоял в очереди возле кассы, так напряженно держа руку, как будто хотел взять билет на луну.

— Смотри, Сиволод, как это делается,— сказал белокурый карманник.

Я смотрел на его работу без особенного любопытства. К тому же револьвер беспокоил меня, то есть, собственно сказать, он беспокоил меня всегда, но тут беспокоил в особенности. Стремительный господин купил

билет, положил сдачу вместе с билетом в длинное серое портмоне и неторопливо отправил его в карман брюк.

Отойдя от кассы и, видимо, еще не доверяя себе, что он осмелился ехать в такое дальнее расстояние, господин со стремительным лицом полез в карман проверить, тут ли его бумажник. Лицо его мгновенно остановилось и стало до удивления бесформенным.

Господин шарил по карманам, причем обнаружилось, что их у него штук двенадцать. Белокурый карманник остановился возле:

— Потеряли?

Белокурый паренек помогал господину рассматривать пол, и оба они старались всячески обнаружить на грязном цементе утерянный бумажник. Тем временем я размышлял о Петербурге. Стоит ли мне ехать туда? Не лучше ли вернуться домой и через Семипалатинск, купив там осла, направиться в Туркестан? Я поднимусь на Среднеазиатские горы, а затем перевалю в Индию. Но если я пойду этим путем, то, значит, я согласился с Петром Захаровым и с «мастером Иоанном», что у меня нет родины. Это чрезвычайно странно, если человек не имеет родины! Может быть, увидав Петербург, столицу России, я пойму и почувствую наконец свою родину?

— Получайте.

Карманники вывели меня на площадь, что возле вокзала.

Билет лежал в моей руке. Карманники отошли от меня. Зажав билет, дабы его случайно не узнал подлинный владелец, тем самым решил уехать в Петербург. Карманники вернулись. Лица у них были растроганные. Они обняли меня. Они со скорбью думали: удастся ли нам встретиться снова в балагане, где так приятно пахнет свежими сосновыми досками, блестят только что вбитые молодые гвозди, где такие веселые и ловкие люди! Я поцеловал их. Пока они говорили мне ласковые слова, заслоняя своими спинами вокзал, я, взглянув на билет, проговорил:

— А почему же на билете напечатано, что он до Владивостока?

— Он и есть до Владивостока.

— Мне надо ехать в Петербург, а Владивосток совсем в другой стороне.

— Владивосток совсем в другой стороне,— сказали карманники.— Но что поделаешь, если в Петербург имеют желание ехать только те, у кого бесплатные билеты?

Я вновь поцеловал их. Я вспомнил кстати,что Петька Захаров говорил, будто Роальд Азгерц уехал с цирком Коромыслова в Тюмень и что пани Марина рыдала возле циркового вагона. Вместе с билетом карманники на всякий случай выкрали мне и документы господина со стремительным лицом. Среди документов лежало удостоверение, что Федор Степанович Шугарев есть сотрудник «Тюменской коммерческой газеты», пишущий под именем «Провинциал». Не поехала ли пани Марина прощаться с Азгерцем в Тюмень? Он, несомненно, запасной. Не зайти ли мне в «Торгово-промышленную газету», чтобы вернуть найденные документы, а кстати предложить куплеты об екатеринбургских «камчугистах»?

— Еду во Владивосток!

Воришки давно покинули меня, потому что их пришел провожать М. Талыг. Они хотели посоветоваться: стоит ли и как воровать на фронте.

Я вышел на перрон. Поезд цвета сердолика горел медью и свежей краской. В вагон-ресторане пили чай люди в цветных халатах, с круглыми лицами. Этот поезд не имел третьего класса, для которого только и годился мой билет. Я мог бы обождать и следующего поезда, который приходил через полчаса, но мне нет смысла ждать, потому что когда я сунулся в карман, то билета в нем не оказалось, так же как не оказалось на перроне ни карманников, ни Талыга.

И смешно и обидно! Карманники решили, что я обладаю кое-какими деньгами, а может быть, нашелся покупатель на билет. К счастью, мой паспорт был пришпилен булавками к внутреннему карману фрака, а револьвер они не осмелились украсть.

Что такое родина? — размышлял я. — Вот сейчас Россия хочет уничтожить Германию. Что такое Россия? Это страна, в которой я живу и на языке которой меня ругают и кулаками, взращенными в этой стране, меня колотят. Пища, которая произрастает на полях этой страны, проходит мимо меня, дети и женщины смеются надо мной. Всем понятно, что я не только должен уйти

из этой России, но что она рада будет избавиться от меня. Что такое Германия? Еще меньше, чем о России, я знал о Германии. Зачем мне ее уничтожать, зачем мне стрелять в ее народ, в ее города? Я знал, что в Германии делают типографские машины, да видел еще марку «Гамбург» на моих шпагах, да помнил еще Ирму Шмидт, встреченную мною на павлодарских улицах, возле прогимназии. Встречал я, правда, немецких колонистов в Сибири. Это были смирные и работящие мужики, которым нравились темно-синие ситцы с белыми крапинками.

Все эти размышления были грустны и немножко страшны. Покачивая желтыми аксельбантами, мимо блестящего поезда ходили громадные жандармы, и, приглядевшись к ним, я сразу почувствовал тяжесть моего револьвера. Как-никак, я стоял здесь один-одинешенек, не согласный со всей Российской империей, со всеми ее генералами, швейцарами, пушками, содержателями ресторанов, епископами, бандершами и даже с Государственной думой! Я препирался и с уважаемыми писателями, и с царскими портретами, которые непрестанно таскали по улицам торговцы, и с гимнами оркестров, и со звоном бокалов. Я спорил даже с теми подвигами, которые совершал русский народ на этой войне, хотя мне было слегка совестно, ибо, как вам известно, я не отличался особенным излишком смелости. Я спорил, а мимо меня на поля Галиции и Восточной Пруссии неслась вооруженная армия, проходили полки за полками, ржали казачьи лошади, на лафетах, прикрытые брезентом, стояли пушки, горели красными крестами тихие санитарные поезда, офицеры в гибких сапогах пили кофе, на ходу покупая папиросы, солдаты, размахивая чайниками, то и дело толкали меня, свистели кондуктора, ежеминутно раздавались третьи звонки...

Размышляя, я обошел лакированный поезд. Так как мне все равно не иметь билета, даже если следующий поезд придет и через пять минут, то я, увидев под вагон-рестораном длинный ящик с дверцей, у которого вместо замка сыромятный ремешок,— быстро влез в него. Ящик узкий, метра в полтора длины, пахнет в нем невероятно кисло, и внутри он весь скользок, словно сплошь вымазан маслом. Я схватился за сыромятный ремешок, прикрыл дверцу, и в ту же минуту, точно ремешок этот был

рычагом, обладающим способностью двигать паровоз,— поезд тронулся.

«Приятно, черт побери, двигаться!» — хотел было подумать я, но тут же огромное и чрезвычайно противное ощущение тяжести в боку охватило меня. Проклятый револьвер очутился подо мной! Так как я крепко держал ремешок, то я не мог перевернуться, пока поезд не остановится. Если б я вздумал перевернуться, то коротенький ремешок непременно выскользнул бы из руки — и ящик выкинул бы меня под откос. Поезд вез какую-то восточную миссию и поэтому шел с достаточной скоростью, откосы же возле Екатеринбурга обладают таким количеством камней, о которые с успехом разобьется голова и не с таким разумом, как у меня. Причины, по которым отсутствовал у меня разум, как видите, были вполне серьезные, но все-таки мне хотелось радоваться, и я старался думать, что грусть зависит также и от моего природного тяжелого характера, способного часто скорбеть тогда, когда все остальные люди, а в особенности мой отец, предаются неистребимому веселью. Вот отец мой, например, обязательно испытал бы от этой поездки колоссальное удовольствие, даже если б ему не пришлось об этом и рассказывать. Я же полагал,— весьма не одобряя себя,— что если б на мою поездку в ящике смотрело десять тысяч человек, то я б не грустил, а испытывал удовольствие, тогда как мой отец мог это удовольствие долго хранить в себе и рассказывать его десяти тысячам слушателей, да еще так, что получалось, как будто бы они ехали вместе с ним в этом темном ящике, пахнущем селедкой, и вдобавок могли наблюдать красоты уральской природы со всеми восходами и заходами ее многочисленных солнц, с коровами, дремлющими на лужайках, с томпаковыми лунами, дрожащими над горами, с жирными медведями, которые раскачиваются на надломленных деревьях, с тетеревами, которые призывают своих подруг, с охотниками, которые, прищуря глаза, идут по узким тропам, с широковетвистыми сохатыми, которые выходят на поляны, покрытые звучными цветами. Я и колоть-то себя мог только перед толпой, тогда как отец мой, если бы поколол себя хоть однажды,— он собрал бы после этого своими рассказами такие толпы слушателей, каких мне не собрать, даже если я вонжу в себя лом. Великое ли дело наловить на уху котелок ершей? Стоит вспомнить, как отец

мой ловил этих ершей. Должно напомнить, что казаки занимаются рыбалкой, следовательно, где уж пленить их описанием рыбалок,— надоели! Однако отец мой умел находить о рыбалках такие слова, что его рыбная ловля казалась столь удивительной, будто он каждый день вытаскивал золотую рыбку. Беседу о рыбной ловле отец мой начинал с утверждения, что краткость и красота речи состоит в выражении своей мысли возможно наименьшим количеством слов и подборе наиболее точных выражений. Ум стремится узнать! Нет ничего нетерпеливее ума, когда ему предлагают ожидание. Однако краткость, а значит, и красота зависят много и от выражения вашего голоса. Вы можете сказать слово «рожок», а его поймут или как обделанный коровий рог, снабженный соской для кормления младенцев, правда, заменяемый часто стеклянной бутылочкой, или как маленькую трубу для игры, или как трубочку, на которой держится пламя зажженного газа. Ясности и красоте речи способствует осмысленная жестикуляция! Но для этой жестикуляции необходимы упражнения. Одним из лучших способов для укрепления жестикуляции отец мой считал рыбную ловлю. Вот почему моего отца увлекало не столько количество рыбы, пойманной им, сколько те положения, в которые она ставила его руку и его лицо. Выходило, что размер удочки, а значит, и размер рыбы, как ни странно, могли управлять чувствами! Отец мой удочку на удилище предпочитал переметам, так как она разнообразит чувства. Напомню еще раз, что наши места, по свидетельству великого географа, «лежат в однообразной, лишенной почти всякой растительности равнине, на правом берегу Иртыша, с несколькими улицами небольших деревянных домиков», и, однако, эти места отец мой мог разукрасить так, что мы не сомневались в истине, когда он вместе с Декартом утверждал, что «обыкновенно ошибки наших снов состоят в том, что сны представляют нам различные предметы точно так же, как представляют их наши чувства, но не в том важность, что ошибка эта дает повод сомневаться в истинности подобных идей: мы можем впасть в заблуждение и не только тогда, когда спим,— но, спим ли мы или бодрствуем, мы должны доверяться очевидности нашего разума, так как страдающие желтухой видят все в желтом свете, а звезды и отдаленные предметы способны казаться нам более

мелкими, чем оно есть на самом деле». Отец мой только добавлял, что очевидность нашего разума бывает доступна нам после долгих упражнений. Без упражнений вы будете понимать в плодах сладость только тогда, когда они созрели, а это чрезвычайно однообразно, хотя, говорил отец, в мире весьма мало однообразия, а все дело объясняется положением вашего тела в отношении к предмету, который вы созерцаете. Самое странное положение тела дает вам сон. Так как вы не способны всю свою жизнь спать, то следующее странное положение вашему телу придаст вам рыбная ловля. Здесь вы быстро достигнете очевидности. Отец мой, скажем, брал ерша под жабры и подносил его на уровень своих глаз. Ерш трепыхался, и через его плавники тополя и песчаный плес представлялись голубовато-пламенными и чудесными. Отец радостно свистел. Свистел он не очень сильно, но с таким искусством, что ершу было трудно выносить эту радость, и он прекращал трепыхание, а иногда даже умирал от разрыва сердца. Надеюсь, что вам теперь ясно, какое значение придавал мой отец страсти, вкладываемой рыбаком в свое дело... Казалось бы, совсем простое дело поплевать на червяка, но отец мой плевал слева, потом справа, а в середину с такой яростью, что червяк под водой извивался много часов, пугая рыб положением своих колец, но так как среди рыб имеются смелые существа, хотя и не в достаточном количестве, что относится также и к людям, то рыбы хоть и ловились, но все-таки отец мой редко возвращался с котелком, которого бы хватало на уху. Если рыбы и не хватало на уху, то вполне хватало для рассказов. За столом, перед тем как обмакнуть ложку в эту жидкую уху, отец мой вспоминал множество красивых деревьев, виденных им во время этой ловли, или о том, какие необыкновенные узоры ветер оставляет на песке, так что если к ним присмотреться, будь для того время, то, несомненно, можно прочесть то чудесное письмо, которое все еще не принесла Губонька. Рассказы моего отца делали наш черный вязкий хлеб легким и съедобным. Он возмущался: только дураки могут говорить об унылости пейзажа! Какая унылость, когда скоро вокруг Лебяжьего вырастут эвкалипты, хлопок, кедры, тюльпаны, виноградники! Там, где теперь перекати-поле и горькая полынь, протянутся разбитые гряды и лозняк, годный пока для порки и для плетения «морд», перера-

стет в приятную виноградную лозу. Ведь вот заполнены же все огороды подсолнечниками! А известно ли вам, что подсолнечник из Мексики попал в Россию в 1830—1840-х годах? О, мой отец умел делать деревья даже из облаков, а этого материала везде достаточно! Иногда, когда обед был особенно жидок, он выходил на крыльцо и показывал нам на облака, описывая свою удачу, когда ему однажды пришлось видеть через окно, как лакеи носят блюда. Порядок обеда по способу à la russe отличается от английского тем, что у нас кушанья на стол сразу все не подаются, а приносятся слугами одно за другим, по мере того как их кушают. Неудобен этот способ тем, что он требует много прислуги, и рассказ отца иногда был так великолепен, что даже облаков не хватало! И нам в темноте уже приходилось дослушивать, как против хозяйки дома ставят суп в миске, а буфетчик, стоя и держа под рукой множество глубоких тарелок, наливает в каждую по одной суповой ложке и передает тарелки лакею, который разносит их гостям. По утверждению моего отца, казакам растительность потому кажется однообразной, что они переметы предпочитают удочкам! Чего ж тогда удивляться и жестикуляции, краткости и красоте отцовских рассказов? И правду сказать, у моего отца краткость фраз и жестов достигала иногда столь потрясающего воздействия, что не только женщины, но и поселковый атаман закрывали руками глаза, а чем он больше и ярче делал жест, тем крупнее он ловил рыб! Вполне понятно, что возле конца рассказа он утверждал, будто якорь есть, в сущности, та же удочка, и если б на якорь делать наживу, то это было б более подходящим занятием для мореходов, нежели перевозка грузов. Капитан Лянгасов, например, сознался, что бросил свои занятия мореходством, когда однажды, спустив якорь в море, поймал на него такую рыбу, которой не смог вытащить! «Как же после этого,— восклицал капитан,— употреблять якорь на то, чтобы цеплять им за дно? Стыд!» Отец мой не одобрял этого поступка капитана Лянгасова. Здесь, по мнению моего отца, проявилась славянская натура, как известно, развращенная на ловле сетьми, а следовательно, и однообразием пейзажа. «Нужно бы капитану поудить удой»,— и отец мой, склоняясь над удочкой, касаясь иногда глазами воды, подсмеивался над убогим славянством, попадавшимся ему в монастырях и палестинах, над всеми

этими великоруссами, поляками, сербо-хорватами, русинами, чехами, моравцами, болгарами, кто избалован и употребляет преимущественно сети, а не удочки. Однако мне казалось, что отец мой втайне радовался этому «сетевому» пороку, свойственному славянам, ибо другие племена он знал плохо и по доброте своей не брался судить об их пороках. Радовался он потому, что до тех пор, пока казаки обладают «сетевым» пороком, а значит, и ленью, его тщательно выработанная жестикуляция и краткость фраз могли прикрыть отсутствие подлинной повести, которую он тем временем продолжал искать. Но, радуясь своим легким победам, отец мой горевал о другом: «Если для Иртыша и достаточно моих речей,— говорил он, вздыхая,— если казакам довольно воскликнуть «ура», чтобы они поняли смысл движения как людей, так и коней, то остальные люди могут от меня однажды потребовать более ясной и глубокой повести!» Вот почему отец мой часто уходил на рыбалку, надеясь встретить там междометие более трогательное, чем «ура», и жестикуляцию более едкую, чем кукиш. Рыбалки, вследствие такого желания моего отца, делались все продолжительнее, а наша уха — более жидкой, так как, в поисках яростных поз и жестов, отцу моему приходилось скатываться по песчаным склонам, висеть на штанине над обрывом, стоять по горло в воде, а рыба тем временем плыла мимо! Отец мой, впрочем, эту жидкую уху ел с таким же удовольствием, как и щи станичного атамана, сваренные им в первый день пасхи, которые, однако, отведать моему отцу еще не пришлось...

27

Вагон качало. Невыносимый звон поезда тряс меня, а было еще противно и оттого, что поезд норовил почаще ударять меня головой о стенку ящика. Скрюченные ноги сводила судорога. Сыромятный ремень, от страха и волнения, которое казалось бесконечным, намок в моей руке.

Повороты круче и круче.

Крышка отходит. Образуется уже щель толщиной в палец. В щель несутся пыль и мелкие камушки, напоминающие мне, что такое, — если его осязать, —

бегущее мимо тебя пространство, что такое буро-грязная земля, по которой скачут тюлевые стрелы шпал.

Судороги сотрясали меня. Тело мое болело, а главное, по всем суставам разливалась непреодолимая дремота. Иногда я думал, что, пожалуй, лучше, если откроется дверка и меня выкинет, но вслед за тем я хватался еще крепче за сыромятный ремень не только пальцами, но и зубами, причем если я мог управлять пальцами и чуть-чуть разжимать их, то зубы мои никак не разжимались, что дало мне право подумать, — хотя и гораздо позже, — что человек при страхе не всегда стучит зубами. Дыхание мое спиралось, я засыпал, наполненный чудовищным напряжением, будто меня растягивали, пытаясь сделать таким же длинным и таким же скачущим в липкую бесконечность, как этот поезд.

Вдруг вагон остановился!

Сотрясение было столь велико, что я разжал зубы, а пальцы еще раньше выпустили ремень. Дверца раскрылась. По нетерпеливому пыхтению паровоза было понятно, что поезд скоро отойдет. Хорошо, если ближайший поворот случится неподалеку от станции и я выкачусь под откос, пока поезд не успел разбежаться. Но я тотчас же вспомнил, что возле станции всегда натыкано огромное количество столбов. Мне стало страшно. Я почувствовал себя худым и утомленным. В голове всплыла фраза, сопровождавшая меня всегда, как только ко мне подходило ужасное бедствие: «Не забывайте никогда бедного Пима!»

Фраза эта вызывала слезы. Мне не хотелось говорить, но вместе с икотой я сказал:

— Не надо забывать бедного Пима!

Белая рука приподняла крышку ящика.

Я зажмурился от радости. Сильное, высокое и веселое солнце и медлительный и спокойный ветер равнин сразу убрали фразу о бедном Пиме.

Мне и зажмуренному был виден длинный повар с розовым лицом и усами, посыпанными мукой, который спрашивал меня:

— Ты как сюда залез?

Не открывая глаз, я ответил ему:

— О поваре Софронии слышал? О Софронии Сосна? Так я его сын.

Этой жалкой ложью о знаменитом французском поваре мне хотелось приблизиться к сердцу, прикрытому

белым халатом, которое могло меня оставить в ящике, тогда как мне хотелось, чтобы оно рассердилось и выбросило меня.

— Со сна? Как же ты со сна туда залез?

— Это какой город? Тюмень?

Но, к сожалению, я не мог сказать, что мне пора вылезти: тому мешал револьвер, который, воспользовавшись тем, что остальные боли моего тела несколько утихли, с чудовищной силой напомнил о себе, заставляя думать, что если повар выволочет меня из ящика, то он, револьвер, тоже выкатится, и тогда не миновать тебе, хозяин, суда и этапа!

Белый халат очень хорошо, должно быть, знал Софрония Сосну. Он необыкновенно растрогался тем способом езды в поездах, который употребляет сын шантанного повара. Он слегка прослезился и вымолвил:

— До Тюмени тебе, милый, придется еще полежать.

Он закрыл мою крышку и подвесил на нее замок, так что теперь у меня не было нужды держаться за сыромятный ремень, и все-таки я чувствовал неугасающую расслабленность всего тела настолько, что не имел сил ни перевернуться, ни вытащить револьвер. Отчетливо ощутить свое путешествие я сумел только после того, как меня ударило носом в скобку, причем как раз в то место, откуда выходил сыромятный ремень. Нос мой покраснел до тех жидких пределов, дальше которых эта краснота не идет. Краснота моего носа сопровождалась качкой, то есть таким поворотом поезда, который походил на тошнотворную волну, взбрасывающую меня так высоко, что я видел явственно перед собою пологую пропасть, гладкую и кроваво-красную. Стоило этой волне исчезнуть хотя бы на мгновение, как меня со всех сторон охватывала такая боль, что я с радостью ожидал момента, когда вновь подкатится волна. К тому же было чрезвычайно обидно испытывать боль, потому что мне совсем не грозила опасность выкатиться из ящика.

— Ну, приехали! — сказал розовый повар, открывая дверцу.

В руке он держал миску супа, которым, видимо, хотел меня угостить. Поперек миски неподвижно лежал кусок хлеба. Эта хлебная неподвижность огорчила меня, потому что весь остальной мир все еще качался.

— Ты чего не вылазишь?

Повара испугало мое неподвижное молчание.

Я сердился, что он запер меня, и, чтобы попугать его, я слегка прикрыл глаза, хотя, между прочим, я закрывал их также и от счастья, что поезд остановился, придя-таки в Тюмень.

— Скис? Ишь ты, все еще икает!

Повар схватил меня за плечо и, поддерживая коленом, выбросил меня на землю. Вы отлично понимаете, что для поддержки меня коленом он должен был встать на одну ногу, а так как ему некуда было поставить миску, бледность же моих щек и закрывшиеся глаза ошеломили его, то естественно, что суп опрокинулся на меня, и это обстоятельство позволило мне раскрыть глаза. Миска оказалась вместительной, а так как я лежал скорченно, то это способствовало тому, что суп окатил меня с головы до ног. На груди у меня остались ломоть хлеба и коротенькая баранья косточка, с которой уже срезано мясо. Баранина заставила меня вспомнить, что в поезде мчались монголы, несомненно имевшие дело с интендантами,— может быть, даже с теми гуртовщиками, которые выиграли балаган «XX век».

Поезд давным-давно ушел, а я все еще лежал скорченно, хотя уже пытался грызть хлеб.

Я немедленно выпрямился, как только увидал, что по перрону ко мне шагает мускулистый жандарм. Я вспомнил также о своем револьвере.

Перевернувшись через голову не для того, чтобы восстановить равновесие в кровообращении, а с тайной надеждой, что наконец-то этот проклятый револьвер выскочит из кармана подальше, я рассчитал, что пока жандарм спешит за этим вещественным доказательством загадочного преступления, которое суждено ему открыть,— я должен по необходимости найти в себе силы для бегства.

К сожалению, револьвер остался при мне, а кувыркание и без жандарма восстановило мои силы, потому что я удрал со скоростью, нисколько не уменьшившейся от присутствия револьвера.

Быстро обойдя четыре тюменских типографии, я весьма удивился, что и при войне в Тюмени нельзя найти работу.

Дабы как-нибудь объяснить свой невероятно грязный вид, а также придать ему солидность, я говорил факторам, что совершаю паломничество в Индию, многозна-

чительно добавляя, что дал себе некоторые зароки. Факторы, улыбаясь, говорили мне:

— Наведывайтесь. При первой же вакансии устроим. Надо помочь, раз мощи открылись. Газет я читаю много, а не слышал, что в Индии православные мощи обретаются. Вы из духовных?

— Архимандричий сын,— отвечаю я.

Шея у фактора багровела, и он говорил:

— Экая безобразная личность!

Я поселился на постоялом возле площади, на которой играл цирк Коромыслова. Со злорадством я заметил, что цирк хотя и имеет еще лошадей, но уже формой своей и жалким бытом приближается к полусферическому балагану. Сережка Трошин, рыжий капельдинер, уже живет теперь не на хлебах, а на постоялом дворе, и уже сразу узнал меня.

— Даже цирковая бедность способствует совершенствованию человеческого рода,— сказал он грустно.

Трошин пощупал мою мускулатуру, и то, что его мускулатура была богаче, слегка утешило его.

Из циркачей на постоялом проживали барабанщики и два китайца-фокусника. Барабанщики, худые, скелетообразные, желчные, ненавидели Сережку Трошина и всегда, когда чувствовали, что еще недостаточно устали от битья в барабан, били моего бывшего друга. Барабанщики били сосредоточенно, ловко и тщательно прислушивались к тем ударам, которые под их кулаками испускало трошинское тело.

Старший барабанщик Грехнев удивителен был тем, что постоянно мучился затруднительным течением мыслей, как будто его голова обладала множеством порогов, через которые река еле находила сил перепрыгнуть, но он все-таки не верил этому. Поэтому он предпочитал больше говорить о внутренностях, о пищеварении и если иногда говорил о чем-нибудь отвлеченном, то не дальше полотенца, флакона духов и бумажных ниток. Второй барабанщик, унылый Никанор Лазарев, наполнен злобой, разбавляемой постоянно льющейся изо рта влагой. Он радуется случаю, когда можно выместить на рыжем и важном капельдинере эту злобу. Третьим избивателем капельдинера был человек со стороны, безработный приказчик Василий Логинов «Торгового дома Второв в Томске». У него голубые и юные глаза. Он понимает и радуется, что у него такие хорошие глаза, и все, кто

на него посмотрят, тоже радуются этой удаче,— но пройдут шаг и забудут. Так он и шел — окруженный только на один шаг вниманием. Логинов во всем искал пользы для своих чувств. Когда я, достаточно насладившись унижениями капельдинера, закричал на них, что не позволю избивать, Логинов объяснил:

— Избивание во мне, например, развивает смелость. Кто знает,— когда я потеряю надежду найти работу, то, может быть, насмерть изобью всех старших приказчиков!

— Не приказчиков ты бы избивал, а хозяев!

— Смелости еще не хватает, и приметы мешают.

Примет у него множество: на шее болтается целая связка ладанок. Он всерьез, укладываясь спать, каждую ночь спрашивает меня:

— А как вы думаете, господин Иванов, тяжел у черта хвост или легок?

Он ухмыляется странным своим мыслям.

— Усмешечкою, господин Иванов, не откажешься от черта и от бога. Нет, вы объясните, имеет ли хвост черта такой смысл, как бы крысиный? Ведь известно, когда крыса прыгает, то опирается на хвост. Или же он болтается у черта зря, вроде собачьего? А главное, к чему я вижу во сне не самого черта, а только его хвост?

Он прислушивается.

За перегородкой крошечные «номера». Там, смеясь, раскладывают постели Елизавета и Серафима, жены китайцев. Они взвизгивают, перешептываются, и Серафима повторяет особым жаждущим голосом, который недаром будоражит приказчика:

— Ой, кошмар! Ой, какая у него прилипчивость!

Приказчик сплевывает и говорит:

— Всякие имею амулеты, господин Иванов. Добился даже амулета от Григория Ефимовича. Однако и он не обладает таким амулетом, который способен защитить от баб. Ему также приходится горько, как и всему городу Тюмени, хотя его защищает весь царский двор. Заметили вы эти «колики», господин Иванов?

Еще бы не заметить! Город заполняют подводы. Они привозят мобилизованных запасных. Бабы сопровождают их. Мужики, переодевшись из крестьянской одежды в казенную, вдруг вспоминают те страдания, которые они испытывали в молодости на военной

службе, когда еще при них не было жен. И подолгу лежат они с рыдающими бабами на телегах: возле казарм, в канавах, в кустах; особенно много вздыхает их возле кирпичной стены монастыря, куда с приказчиком Логиновым я бесплатно хожу обедать в постные дни: среду и пятницу.

Нам выдают миску грибного супа. Монах читает длинную молитву, несоразмерно объемную по сравнению с обедом. Я крещусь мелкими крестами, как бы стараясь этим несколько уменьшить подлость своей души, потому что нерелигиозному стыдно обедать в монастыре. Монах, коренастый, в засаленной рясе, оборачивается ко мне и грубо кричит:

— Очкастый, не горох собираешь, крестись шире! С кем ведешь беседу? Господь бог позволяет тебе беседовать с ним!

Тут он вспоминает, что сейчас война, и начинает читать длинную молитву о даровании победы на поле брани. Часто нам не дают доесть обед,— купец закажет экстренное молебствие, и весь монастырь должен спешить в церковь. В таком случае коренастый монах говорит нам:

— Еще успеете наесться. Молитесь! Понять требуется, что сподобились из нашей епархии Григория Ефимовича выпустить! Кто знает, кем ему суждено быть?

Ему чудилась в глазах моих усмешка, и он грозил мне громадным рыжим пальцем:

— Тебе, очкастый, золоторотцем быть!

Если голод особенно мешал нам, приказчик Логинов, нарисовав тоненьким угольком морщины, брал подписной лист и шел по магазинам. Этот лист, переписанный весьма аккуратно, излагал страдания приказчика, уволенного по ошибке Второвым. Мне казалось, что страдания эти изложены плохо. Этим я объяснял, что ничего не дают, и только почему-то однажды в мануфактурном магазине Тезяковых ему отрезали полтора аршина бархата. Бархат оказался гнилым, на толкучке за него и пятака не давали,— мы подарили его Серафиме, жене фокусника Чин.

Но Логинов не верил в свой плохой слог. Тогда я сочинил свой подписной лист на четырех страницах. Подробно я рассказывал тяжелую жизнь факира в деревне, который в далеких степях Киргизии почувствовал себя родственным Индии, но тяжелые встречи и жестокие

личные страдания помешали ему поехать в любимую страну, и он застрял в Тюмени. Дальше я нашел необходимым польстить тюменским жителям и даже похвалил их город, в заключение сказав, что им, привыкшим к родным домам, здесь жить приятно, но мне чрезвычайно трудно и даже опасно. Мне необходима помощь. Я верну ее, как доберусь только до истинной работы и истинной родины.

«Милостивый государь, господин Коромыслов! Прошу Вас внимательно прочесть эти страницы: в них столько правды, сколько вы вряд ли встретили за всю свою жизнь...» — так начинался мой подписной лист.

Я раздумывал, стоит ли мне идти к циркачу, но дело в том, что цирк вот уже пять дней как зарабатывал хорошие деньги на том, что поставил военно-пиротехническую пантомиму «Переправа сибирских казаков и сражение на реке Гнилой Липе». Мне казалось, что пантомима составлена не без участия Петра Захарова, потому что на одной лубочной картинке, свежей и яркой, я видел, как казаки гонят немцев, а впереди казаков с пикой наперевес и с «Георгием» на груди мчится неустрашимый курчавый павлодарец. Я узнал даже под ним разноцветную нашу лошадь Нубию. Мне было горько, что я не имею пятака для того, чтобы купить этот лубок. Несомненно, что, при его гениальном провидении, Петр Захаров знает, что я приду в цирк Коромыслова, увижу пани Марину и получу от нее письма моего друга. Нельзя обижать предвидение удивительного человека! А помимо всего прочего, мне непрестанно хотелось есть, и было бы совсем глупо, если б «сибирские казаки», хотя бы цирковые, не накормили меня. Правда, Сережка Трошин давал мне иногда утром ломоть хлеба и чашку молока не потому, что сострадал мне, а в надежде, что я изобью барабанщиков. Он отлично помнил грабеж, который некогда возле кинематографа «Заря» мы совершили с ним!

Сережка Трошин встретил меня возле дверей цирка. Голос у него опять важный, грудь выпяченная:

— Вам кого?

— Мне господина директора.

— Он принимает просителей у себя на квартире. Не затрудняйте движение, господин. Цирк способствует совершенствованию человечества, а вы упираетесь в двери, мешаете другим наблюдать это.

Я быстро нашел квартиру господина директора.

В маленький коридорчик по свежекрашенным желтовато-бурой краской плахам пола, очень напоминавшим ту землю, где скакали, согласно плакату, сибирские казаки, предводительствуемые моим другом, вышла горничная; она стряхнула пыль с чистого передника и сдула пушинку с белого воротничка.

— Передайте, пожалуйста, подписной лист.

— Готово-с,— сказала она, необыкновенно быстро вернувшись.

Она дула на поднос, на котором лежал гривенник, слегка звеневший, — видимо, горничную тревожили грязные фалды моего сермяжного фрака и узкие лаковые ботинки, которые вызывали боль и страшные гримасы, похожие на рубцы, пересекавшие мое лицо. Я пощупал гривенник:

— Где описание моей жизни?

— Описание вашей жизни осталось у господина директора, —ответила горничная, робко дуя на поднос.

Эта ее робость вызвала вдруг во мне то напряжение, которым мучились мобилизованные мужики. Я держал гривенник в руке, смотрел на ее теплое, творожного цвета лицо, и мне не хотелось уходить. Коридор так приятно сиял, и так приятно сияли робостью ее глаза, и дыханье у ней было такое приятное. Я размышлял: бросить гривенник или отдать на чай? Если отдашь на чай, то горничная примет тебя не за страдальца, а просто за шутника, но, с другой стороны, в достаточной ли степени мой взгляд вызвал в ней то «мужицкое» напряжение, которое позволяло бы уцелеть моему гривеннику? Насыщусь ли я?

Я ухмыльнулся и положил гривенник в карман.

— Унижение — не для тебя, сибирский казак, а для Коромыслова, который хочет гривенником отмахнуться от сибирского казака,— сказал я.

— А ты что же, жаждешь сто рублей получить? — сказала горничная, улыбаясь той вялой улыбкой, в которой столь нуждался я.

— Поцелуй стоит иногда и дороже ста рублей. Вас как зовут?

— Маша.

Дальнейшему нашему разговору помешал голос Коромыслова, который заорал так, как он орал на лошадей, щелкая шамбарьером:

— Настя, гоните его к черту!

Даже горничная осмеяла меня. Ее зовут Настя, а не Маша.

Я ушел.

Пантомима показывалась десять дней, но циркачи так задирали нос, как будто она шла уже целый год. Некоторые из них переехали из постоялого в номера, а Коромыслов выпустил афишу о том, что в его цирк едет чемпионат борцов, вместе с великим чемпионом Северной Америки, негром Сальватором Бамбуло!

В комнате у нас ночевало человек по семьдесят. Все мы явственно слышали из-за перегородки жизнь китайских фокусников, занимавших два «номера» нашего постоялого.

Фокусник Чин, с лицом столь жирным, что оно, казалось, того и гляди расплывется, с руками и ногами необыкновенно тонкими, как будто природа все свое напряжение истратила на лицо, а остальным обвила это лицо, словно паутиной,— этот фокусник обладал высокими и прекрасными чувствами. Он понимал, что эти чувства встречаются довольно редко, и потому, отпуская их людям, требовал и от тех тоже хороших чувств.

— Если я вас нежно обнимаю, зачем вам бить меня по уху?

Хозяин его, господин Коромыслов, все же считал, что объятий для всех не хватит, а кулаков еще может хватить, поэтому жалованье фокусник Чин получал довольно редко и преимущественно натурой, потому что купцы иногда платили в цирк за билеты вместо денег мукой или свиным салом. Изредка мне перепадала от Чина пища. Держа в руках эту приятную тяжесть, я говорил:

— Весьма вам признателен, но было б гораздо лучше, если б вы обнимали меньшее количество народа.

— Надо обнимать всех, господин Иванов.

— А если эти все прыщавые?

Серафима, его жена, была здоровенная женщина, с глазами, наполненными той особой зеленью скошенной травы, которая вот-вот превратится в сено, но где еще сохранились могучие запахи молодости, хотя уже подошла и сухость, свойственная зрелости. Серафима, из трепета перед общественным мнением, каковым для нее являлась наша комната, выполняла все вежливые обязанности, необходимые, по нашему мнению, для жены

китайца. Было забавно смотреть, как она осторожно входила к нам, проверяя себя: не ошиблась ли она в чем-нибудь? Ее мучили страсти, свойственные сейчас городу Тюмени, но она рассчитывала перетерпеть, тем более что Чина не призовут на фронт. Однако Серафима постоянно и подозрительно тихо шепталась с Елизаветою, женою фокусника Лу.

Елизавете нравилось поднимать большие тяжести. Она таскала хозяйские кули с мукою, снимала крестьянских телят с телеги, которых привезли продавать на базар, втаскивала в комнату громадные мужицкие сундуки, охотно помогала хозяйкам носить дрова и постоянно удивлялась этой своей страсти:

— Мне бы подловчиться, так я бы, кажись, всю землю подняла и понесла! Экая холера уродилась! И ни разу ведь не вздохну!

Лицо у ней круглое, пухлое, с ямочками и возвышениями, все в какой-то розоватой дымке, чересчур юное, так что порой и не верилось, что существуют такие приятные и круглые лица; как будто стоит слегка щелкнуть по нему, и оно весело всю жизнь будет катиться по земле, вплоть до самой могилы, но и перед этой ямой оно все равно остановится розовым и пухлым и, как всегда, сверкнет глазами, говоря: «Ах, как хорошо! Ах, как я всем довольна!» Муж ее, фокусник Лу, тоже доволен ею. По профессии ему должно быть инженером-химиком, и он часто мне говорил:

— Я стремился, господин Иванов, к обстоятельному, систематическому и планомерному изучению химии. Я обучался этому в Петербурге и вернулся в Китай, но не нашел применения своим химическим знаниям, так как всегда существовал самостоятельно.

— В чем же выражается ваша самостоятельность, господин Лу?

Лу не объяснил мне, да я бы и не поверил ему. Он упорный пьяница, хотя, даже и у пьяного, фокусы выходят отлично.

А помимо этого я путал химию с пиротехникой, чему он очень обижался. Когда я спрашивал у него объяснения, как делаются «саксонские солнца», Лу устремлял на меня свои столь чудовищно черные глаза, что хотелось дотронуться до них, настолько казались они страшными, вроде ночного погреба, виденного вами в детстве.

— В тесном смысле, господин Иванов, под саксон-

ским солнцем пиротехники разумеют различные механические устройства, которые, силою вращающегося форса, приделанного к ним, вертятся кругом, отчего огонь форса представляется огромной сферой. Я делаю основание огненного колеса двигающимся около неподвижной точки, так что вылетающий огонь вращает назад гильзы...

Лу наблюдал, как я записываю его сведения в тетрадь, и, дыша на меня водкой, говорил, слегка заикаясь:

— И Китай и Россия одинаково невежественны. Если я в Китае не смог быть инженером, то что толку, если я, научившись инженерству в России, а не в Китае, смог быть здесь, в России, только фокусником? В России любят учиться, но не любят работать.

Серафиму и Елизавету я уважал за стремление к «выходу», хотя оно и выразилось только в том, что они вышли за китайцев и были им верны. Но вскоре они обидели меня.

Я сидел, читая Брет-Гарта, возле пятилинейной коптилки. Серафима высунула голову. Большинство общественного мнения, то есть шестьдесят восемь человек, ушло на базар или на воинский пункт, поэтому она вдруг сказала Сережке Трошкину:

— Ходи ко мне, чего по коридорам щипаться!

Этим она мстила за свой страх перед общественным мнением, а кроме того, ей трудно одолеть то напряжение, которое и не старается преодолеть весь город! Вот почему она только проворно засмеялась, когда Сережка, в ответ на ее уговоры сдержать свои широкие движения, сказал так, как будто я глубоко спал:

— Э, плюнь, мало их, нахлебников!

Слышать мне это было обидно, но, вместе с тем, я радостно почувствовал, что поступил прекрасно, когда не избил за него барабанщиков. Обрадовало меня также и то, что Сережка, несмотря на показную широту, оказался непригодным, потому что вскоре после его ухода явилась Елизавета, и Серафима жалобно сказала ей:

— Давай напишем негру записку! Сажень ростом, девять пудов весу. Такого тебе, Елизавета, не поднять.

— Поднять-то что, но куда его поведешь? На постоялый? Всю жизнь будут судить и пересуживать. Одно слово-то какое — негр! Еще китайца они прощают, китайца, видишь ли, надеются побелить, а негр не дает

им такой надежды. Разве вот к директорской горничной пойти? Я им сегодня на кухню сто семьдесят пудов зерна и триста пудов картошки перетаскала. Хозяева сказывают, думают запасы хлеба иметь, чтобы перепродать. Война, сказывают, не скоро кончится...

Они быстро и нервно одевались. Они, как и весь город, думали о войне и о невиданном в Сибири негре Сальваторе Бамбуло. Как и весь город, эти женщины охвачены любопытством и стремлением в последний раз испытать то, что беспощадно уничтожила война — болезнями, взрывами снарядов, ударами сабель и штыков. Негритянская любовь, в особенности саженного роста, казалось им, способна выяснить до отвращения смысл вздохов и любовных объятий. Я понимал их и хотя сам до известной степени был охвачен тем, чем мучились все, но я, из уважения к фокусникам, не приставал к женщине, а, чтобы избавиться от напряжения, шел на вокзал и смотрел на поезда, которые непрестанно провозили мимо меня бородатую, широкоплечую, скуластую, узкоглазую Сибирь.

— Ты чего здесь делаешь?

Я увидал белокурого воришку «Накрест», который летом украл для меня билет и который выкрал затем этот билет обратно.

— Навоевался?

— В побывку. Ранен.

— Талыг тоже вернулся?

— Зачем ему возвращаться? Его в денщики два полковника друг у друга вырывают. Там играют в карты больше, чем здесь, а что крупнее ставка, так и говорить не стоит. Он меня и в отпуск устроил, и ранение придумал. Очень скучно, Сиволод, на фронте без девушек.

— Возле какого балагана работаешь?

— Возле того же.

— Разве Филиппинский здесь?

— Третьего дня приехал. Ой, Сиволод, какая ж у него супруга отчаянная! Друг ихний, Пашечка, тоже из Перми приехал, но, увидав Тюмень, слегка вздрогнул, и тогда ихняя супруга кричит: «Оставить его на вокзале, пусть хранит вместо камеры хранения вещи!» На всякий случай оставленные вещи, если бежать...

— Где же Пашка?

— Так вотон и сидит вместо камеры хранения. Отой-

дет, на скамеечке подремлет и опять сядет. Хочешь повидаться?

— Ни с кем я не хочу видаться. Всем хочу бить морду!

— Ой, какой ты жуткий!

28

Хоть я и сказал, что мне не надобно Филиппинского, но все же мне хотелось увидеть его — и потому, что пани Марины не было в цирке Коромыслова, и потому, что я не знал, где Петр Захаров, и потому, что отец мой давно не присылал мне писем. Но я не мог шляться по балаганам, так как меня наконец приняли в типографию верстать и корректировать экстренные выпуски телеграмм.

Почтальон выкидывал из твердой черной сумки па столик передо мной узкие пачки телеграмм, еще сырых от клейстера. Расписки я заготовлял утром на целый день, чтобы не задерживать почтальона, который спешил в другие типографии, так как все тюменские печатные машины выпускали срочные телеграммы.

Я поспешно расставлял точки и запятые.

Возле типографии волновались мальчишки.

Телеграммы, для дешевизны и привлекательности, выпускались на разноцветной бумаге — пунцовой, травянисто-зеленой, ультрамариновой. Вот набрали, вот печатник приправляет гранки, вот машина стучит, и вот мы опять ждем прихода почтальона со свежими сообщениями.

Наборщики дремлют пока на тюках бумаги. Я доливаю чернил, меняю пропускную бумагу в пресс-папье, похожем на колесо, а если почтальон запаздывал, я выходил на порог встречать его.

Двери типографии — на улицу.

По-прежнему из лесов на подводах едут мужики, по-прежнему великий бабий вой наполняет город.

Оступаясь с деревянных тротуаров, обняв женщин за плечи, по эту и по ту сторону улицы мимо типографии идут бородатые люди в тулупах, полушубках, шинелях, и очень странно видеть их распухшие пожилые заплаканные глаза! Я устал от этого потока горя и любви!

Вдруг улица прервала объятия. Глаза ее устремились влево.

С крыльца спрыгнули мальчишки. Из типографии выбежали наборщики и фальцовщики. Голубая метель поднималась вдалеке. Я подумал, что это ведут пленных, так как в другие уральские города уже привезли много австрийцев.

Метель приближалась к нам.

Вдруг из метели выскочил верхом на коне железистого цвета, в длинной шинели, скривив рот и вытаращив глаза, тюменский исправник. Он скакал прямо к нам, страстно и в то же время с великим достоинством держа руку ладонью вниз у виска.

— Земляк, старик катит! Григорий Ефимович! Российская епархия!

Рыжий опухший босяк выкрикивал это возле нашего крыльца, подняв кверху руки, приплясывая и плюясь.

Исправник приближался. Толпа расступилась и кинулась к стенам домов, ругая его и смеясь:

— Пышно старик катит! Прямо в рай!

— На такой тройке только в рай и катить.

— Бог увидит эту тройку — все грехи ему простит, допустит в рай.

— Попробуй не допустить, когда нашей армии десять миллионов! Как наведем пушки, да как трахнем, так весь рай и рассыплется.

— Ха-ха-ха-ха-а!..

Об этом ужасном сибирском мужике в Тюмени говорили много, особенно после того, как его ранила ножом странница. Подробно передавали, как к нему в больничную палату тайно приходили царь с царицей, как плакали у койки, а он, закрыв глаза, тихо говорил: «Идите вы все к черту!» Царицу он бьет смертным боем, а царевен посылает за водкой.

В неподвижном морозе как бы рассыпалось, искрясь, солнце. Умножая эти искры, тройка коней промчала мимо нас тобольского губернатора. За губернаторской тройкой в широкой кошеве степенно ехал Распутин. По бокам его сидели две женщины, укутанные оренбургскими платками. Ноги его согревала медвежья полость. Кучер свистел. Кони откидывали головы в стороны. Как я ни присматривался, но Распутина я не видал, и передо мной в мехах мелькнул только клочок заиндевевшей бороды.

— А царя-то и нету!

Рыжий босяк замахал опухшими руками быстро-быстро:

— Царю не полагается столько заплаканных морд наблюдать!

Бабы опять взяли руки мужей в свои теплые пальцы. Опять двинулись телеги, опять заголосили матери, опять отцы утешали детей.

Передо мной уже лежали новые пачки телеграмм. Поспешно разрывал я наклейки и сортировал телеграммы — где начало, где продолжение, где конец. Улица взяла у меня много времени. Нечего разглядывать ее, мало ли шляется колдунов, мало ли скачет губернаторов!

Штаб верховного главнокомандующего сообщал, что русские войска «в результате упорного боя взяли много орудий запятая пленных и с боем выгнали противника из львов тире галичо точка противник отступает в панике».

Я сдал телеграмму в набор. Печатник, работавший сдельно, торопил меня. Быстро я придумал заголовок, красота которого б нисколько не пострадала от быстроты, поэтому я вместил большим шрифтом, размером в квадрат, краткую, но огромную новость:

ГРОМАДНАЯ ПОБЕДА РУССКИХ ВОЙСК! ТЫСЯЧИ ПЛЕННЫХ!
ВЗЯТО ТРИ ГОРОДА:
ЛЬВОВ, ТИРЕ, ГАЛИЧО!

На другой день в «Тюменской коммерческой газете» было напечатано «Письмо провинциала». Этот странный «Провинциал» очень удачно отомстил мне за то, что я так и не принес ему выкраденное моими приятелями удостоверение. На протяжении ста строк петитом «Провинциал» издевался над типографией, которая открыла доселе неизвестный всему миру город Тире. «Провинциал» спрашивал весьма ехидно: какие головы населяют этот город Тире, сколько пролито чернил для того, чтобы занять этот город? Дальше «Провинциал» сообщал свои изыскания в «словаре дураков». Этот словарь сообщал сведения об основании города Тире. Основан он одним из побочных внуков глуповского градоначальника, а заселен в основном пошехонцами, которые даже в пошехонских краях признаны идиотами.

Меня рассчитали.

Я вышел из типографии без копейки. «Провинциал» своим письмом произвел огромнейший вычет из моего жалованья.

Я шел, думая со злостью, что, пожалуй, мой город Тире более реален, чем ваш город Тюмень, по улицам которого разъезжают уже совсем неправдоподобные люди, вроде коновала Григория Распутина. И Распутину, и вашему городу Тюмени место только в очень дурной и глупой солдатской сказке! Что это за город? Вот молодой прапорщик, сияя погонами, скрипя новыми и длинными сапогами, ведет свою роту в баню. Под мышками у солдат торчат веники, завернутые в полотенца. На снегу после них остаются сухие березовые листья. Рота поет что-то удалое, дикое, а глаза у нее тоскующие и в слезах.

Я ждал, когда рота минует меня, чтобы перейти улицу и вступить в горькую участь постоялого двора.

— Прошу вас посторониться, — вежливо сказал расклейщик.

Это тоже возка! Фуражку его, выцветшую, с красным когда-то околышем, стягивал ситцевый платок, обернутый вокруг сизого лица.

— Тоже дворянин?

Расклейщик, макая кисть в ведро, из которого шел обильный пар, ответил мне пропитым голосом:

— Как вам нравится, на морозе клею дурацкие афиши? Вы тоже дворянин?

— Плебей. И навсегда.

Уныло я рассматривал эту афишу. «Первый передвижной театр «XX век» под руководством К. С. Филиппи» сообщал, что он покажет в общественном собрании драму «Соколы и вороны».

— Кто же из вас сокол? А кто же из вас ворон Нувермор? — спросил я у расклейщика.

Расклейщик обиделся на мой горький тон, поспешно свернул афиши и торопливо прикрыл тряпкой ведро.

— Это, братец ты мой,— сказал он презрительно,— сортирует жизнь, а не твои восклицания. Цистерну водки выпьешь — тогда, пожалуй, поймешь.

Я ответил ему так же презрительно:

— И шапки сортирует жизнь, подобно головам, которые ласкают Распутина.

— Не смей обижать моего императора!

Я показал ему кулак. Он плюнул на него, поддернул штаны и скрылся мелкой рысью, размахивая ведром.

— Вымазал бы я тебе харю клейстером, да некогда — заказ срочный! — крикнул он мне издали.

У нар, возле моего мешка, сидел, пыхтя, Филиппинский. Подлости, которые он совершал, он прощал самому себе быстро, полагая, что так же быстро прощают ему эти подлости другие люди. Теперь, если он глядел на меня с вытаращенными глазами, с багровыми щеками, то это происходило по другой причине. На коленях у него лежала бумажка, из которой он вынул знакомую мне ложку. Вата по-прежнему торчала из прорехи рукава.

— Куда ни посмотришь, Всеволод, — все наживаются. А у меня опять анекдоты. Я ложку ко рту теперь подношу, но все равно: поблюю и опять рассказываю.

Я, смеясь, смотрел, как он уперся ложкой в толстые губы, натужился, но анекдот оттолкнул эту ложку:

«Солдат, отслуживший свой срок, возвратился в деревню.

— Хорошо ли, — спрашивают его, — довелось служить?

— Хорошо. Почитай, всю Россию обошел. Везде побывал и чудес видал всяких. Примерно — на Черном море. Вот это море! Чудо.

— Чем же чудо?

Солдат утерся, достал из кармана табаку целую осьмушку и, пыхтя, стал вертеть толстую, с палец, папиросу. Мужики мусолили во рту щепочки, потому что не решались попросить табаку у солдата, а солдат сказал сквозь зубы, переменив голос почти на приказание и вытянув вперед толстую руку:

— А тем, что черное. Сапогов чистить не надо. Такое оно черное, что сапоги только окуни в него, и сейчас же вынимай их, будто начистил их самой лучшей ваксой.

Привезли с позиций интенданта, раненного тем, что ему дали мало заказов, а мало заказов дали потому, что он мало давал взяток. Интендант расхвастался в семейном кругу:

— Налетел я на германского офицера, вышиб из его рук шашку, а своей так хватил его по шее,

что голова сразу отлетела. Покатилась голова по земле и говорит: «Погубил ты мою головушку, Митрий Митрич!»

— Ну, этого быть не может!

— Как быть не может? Да вы что, сводкам не верите? Из немцев многие говорят по-русски.

В казармах командир полка спрашивает мобилизованного, чем он занимался до службы:

— А ты кем был?

— Столяр, ваше высокоблагородие!

— Мне что-нибудь сумеешь сделать? — улыбаясь, говорит командир.

— Так точно, ваше высокоблагородие!

— Что же ты, собственно, делал?

— Гробы, ваше высокоблагородие».

Долго ждал я, пока Филиппинский остановится. Наконец он замолчал. Он сидел передо мной, ослабевший, весь покрытый потом, с еле шевелящимися губами, которые уже выговаривали теперь не все слова во фразе. Он вздыхал, вздыхал и смог все-таки высказать то, что пригнало его в Тюмень:

— Жена... рыдает. Опасности... большие страдания... все наживаются...

Губы его пришли в знакомое мне положение, по которому можно было понять, что сейчас они выпустят анекдот, но я уже устал и прервал его:

— Так как любовь мучает людей, то она мучает и вас, Филиппинский, заставляя забыть мечту об оркестре, а заниматься интендантством.

Он улыбнулся и сказал:

— Оркестр-то у меня уже есть, но сборов нету.

Он искал не меня, а моего изобретательного друга Захарова, чтобы с его помощью попытаться соединить балаганное дело с интендантским. Ему жаль было балагана! Я смотрел на его лицо и думал: не пора ли мне доказать ему, что я обладаю выдумкой не меньше, чем у Петра Захарова, а кроме того, мне хотелось есть, опять ходить по свежим доскам рауса, греметь бубном, привязывать бороду «балаганного деда» и составлять раешники.

Я сказал ему резко:

— Захаровский адрес нам не знаком. Герои не сидят на одном месте, в особенности если они увековечены в лубках.

— Верю. Иначе бы ты, Всеволод, не жил в такой клоповности.

— Живется отлично. Жалованье тридцать рублей, кроме сверхурочных! — соврал я.

Мне пришлось быстро раскаяться в своей лжи. Филиппинский тотчас же поцеловал меня, причем выяснилось, что он соскучился по мне, что ему приходится ставить старинные пьесы, тогда как цирк Коромыслова наживается на пантомиме.

— Да, и воронов ваших и соколов вряд ли пожелают смотреть.

— На пантомиму, Всеволод, деньги нужны, — ответил Филиппинский.

Он раздражал меня, этот медлительный и толстый дурак.

— Не деньги, а нужна голова! Пьесу надо ставить сегодняшнюю. Понял? Такую, как телеграммы на первой странице.

— Например?

— В газетах и журналах я читал, что Москва и Петербург с большим удовольствием смотрят патриотическую пьесу Мамонта Дальского «Позор Германии». Журналы печатали клише, по которым было видно, как германские офицеры издевательски убивают беззащитных жителей. Вот тебе выгодное дело: поставь «Позор Германии».

Филиппинский выпустил из себя с силою столько воздуха, что его хватило бы на семиэтажный дом:

— Поставить легко. Даже костюмы достану: пленных австрийцев привезли. И офицерские и солдатские. Ружья даст воинский начальник, любителей на патриотическую пьесу подберем... Но откуда мы достанем текст, Всеволод?

— Текст?

Я смотрел на него, нагло ухмыляясь. Я наслаждался чудесным своим умом и низким унижением Филиппинского. Я простил ему все его подлости за то настоящее удивление, с которым он сейчас смотрел на меня, оборванного и грязного паренька, сидевшего возле своего мешка — «соломенной собаки» в убогом постоялом дворе.

Он спросил меня ласково:

— У тебя что же, Всеволод, текст имеется?

Я улыбнулся милостиво и, помолчав, сказал важно:

— Текст? — И я указал на свою голову: — Вот где текст.

Так возникло удивительное представление «Позор Германии», надолго отучившее меня от драматических опусов и поставившее меня в более близкие отношения к Германской империи и к той войне, которую союзные державы вели против Германии. Филиппинский купил мне четверик свечей, а сам бросился в бараки к пленным австрийцам, чтобы получить напрокат костюмы, жен балаганщиков он направил собирать любителей драматического искусства.

По примеру того, как я прежде составлял пьесы для нашего балагана, то есть взяв название, автора и номер цензурного разрешения, я составил знаменитую драму «Позор Германии», где рассказывалось о том, как на старинный замок в Польше, с привидениями и с древними старушками, которым управляет княгиня Владычек и во дворе которого расположились приехавшие по мобилизации из деревень русские мужики со своими бабами и отцами, внезапно нападает германская дивизия.

Страстно описывал я любовь и слезы прощаний, которые наблюдал в сибирском городе Тюмени! Жены грубо и наивно клялись своим мужьям быть верными. Мужчины надеялись на быстрое окончание войны. Но вот появляются германские солдаты. Пленительные их мундиры заслоняют то горе, которое только что испытывали женщины. Кроме того, так как замок взят в плен, то женщины полагают, что война окончилась, а, следовательно, клятвы утеряли свое значение. Во дворе замка происходит обычная комедия ревнивых мужей, которые сердятся, что немецкие солдаты, только благодаря своей форме, пользуются успехом среди баб. Русские мужики сожалеют, что им нельзя надеть те мундиры, о которых они еще несколько часов назад думали с омерзением!

Позор Германии, по моему мнению, заключался в том, что немецкие солдаты оказались с низкими душами и там, где нужно было проявить благородство, то есть отказаться от баб, они лихо воспользовались преимуществом своих мундиров! Но, в конце концов,

русские перехитрили их. Мужики украли у немецких солдат мундиры, переоделись, и благодаря темноте польской ночи и кроткому блеску крошечных свечей, при которых они пришли на свиданье, русские мужики получили обратно своих баб.

Пьеса заканчивалась тем, что русские мужики в немецких мундирах издеваются над немцами, которые вынуждены одеться в лапти и благодаря этому утерять всю привлекательность, женщины признают правоту своих мужей, а тем самым и позор Германии.

Пьеса, прочитанная балаганщикам и любителям драматического искусства, получила полное одобрение, и только один слесарь, мужчина грудастый и усатый, избежавший войны благодаря грыже, сказал:

— Потребуется ввести немецкого генерала: у меня грудь есть и голос.

— Без генерала не обойтись,— сказала Ирина Терентьевна. — Но вот я только не понимаю, господин Иванов, почему пьеса описывает позор Германии, а на сцене будут действовать только одни австрийцы? Ведь немецких-то мундиров у нас нет. Кроме того, воинский начальник дал солдат с винтовками, патронами и в шинелях. Их куда девать?

Я быстро превратил немцев в австрийцев, ввел генерала и придумал для конца пьесы «апофеоз русского войска». Но теперь совершенно лишним получился позор Германии, который незаметно для нас превратился в австрийский позор. Тогда я провел через двор замка графини Владычек телеграфный кабель, и действиями австрийских мужиков и офицеров стал распоряжаться германский генеральный штаб. Апофеоз заключался в том, что молодой русский офицер, изображать которого полагалось мне, вбегает на сцену и кричит: «Руки вверх! Долина занята русскими!» Генерал, роль которого мы дали рослому слесарю, отвечает: «Есть! Горе нашему позору, мы сдаемся под благородство славного русского оружия».

С гордостью проходил я по Тюмени, любуясь на афиши «Позор Германии». Гордость моя еще была увеличена тем, что билеты продали в два дня.

Ни на одном представлении ни одной моей пьесы, вплоть до почтеннейшего Художественного театра, что под непосредственным наблюдением К. Станиславского, я не испытал такого успеха! Публика чрезвычайно со-

чувствовала тому, что творилось на сцене, хохотала, аплодировала! Она сочувствовала и русским мужьям, но не меньше сочувствовала и обольстительным австрийцам, которыми командовали страшные невидимые германцы, своими касками повисшие где-то далеко над проводами. Во дворе замка графини Владычек прятались под телегами, в плетеных коробах, в мешках из-под картофеля русские бабы. Австрийские солдаты и офицеры искали этих баб на сеновале, и даже сам австрийский генерал полез туда, но юнкер по ошибке отдернул лестницу, и генерал застрял на сеновале. А как смеялась публика, когда молодой чех Станислав по ошибке, вместо гимназистки, гостившей в замке, объяснял в темноте свою любовь дряхлой графине Владычек! В пылу своей страсти он грозил ей: если она откажет ему, то он разрушит все строения на пятьдесят верст кругом, и старуха, чтобы спасти свой замок, целовала его. «Крепче, крепче!» — восклицал чех Станислав. А как восторженно заревела и застучала ногами публика, когда зажегся фонарь и чех Станислав увидал перед собой страшный портрет своей возлюбленной! Утомленный путаницей, уличенный в любовном приключении с кухаркой, австрийский генерал махнул рукой на все свои заслуги и согласился отказаться от завоевательных планов подлой Германии. Но в это время за сценой вспыхнул бенгальский огонь «на 1 руб. 75 коп.», и ввалились солдаты во главе с молодым русским офицером.

— Пли! — закричал я дико.

Солдаты саданули в потолок из боевых патронов.

Публика задрожала от восторга и испуга. Тесный зал Общественного собрания наполнился дымом. Солдаты палили и палили. Публика дрожала и дрожала. Я думал презрительно, что вот как они, тюменские обыватели, нюхают запах боевого огня!

Балаганщики были счастливы. Меня целовали и называли братом. Ирина Терентьевна Филиппинская обещала подарить мне одно из выпяченных ею несчастных животных. Я отказался. «Вы еще полюбите их»,— сказала она. Я отказался и от предстоящей мне любви. Балаганщики тем временем решили поспешно выстроить балаган, чтобы перенести туда представление нашей пьесы. И то правда, маленькая сцена не вмещала моих

замыслов, и офицер, вместо отпущенных сорока, выводил только пять русских солдат.

Но тут к нам в уборную вбежал чиновник в мундире акцизного ведомства. Угловатый лоб его покрывал пот негодования. Он заикался и вздрагивал от неудержимого патриотизма.

— Это позор России, а не Германии! — воскликнул он.

Филиппинский сунул ему под нос несколько штук анекдотов, а затем лениво и холодно спросил:

— Вам что, актеры не нравятся? Вот вы и поезжайте в Художественный театр и смотрите «Вишневые сады».

— Я видел «Вишневый сад»! Я сам писал об этом в нашей газете под псевдонимом «Провинциал».

— Мало ли какие провинциалы бывают! — еще спокойнее сказал Филиппинский.

— «Провинциал» надо понимать иронически! — в глубоком негодовании вскричал чиновник.— А кроме того, я только что приехал из Петербурга, где видел подлинный «Позор Германии».

— Ну и поезжайте вы обратно в Петербург,— сказал Филиппинский,— а нам не мешайте готовиться к повторному представлению.

Через день в «Тюменской коммерческой газете» появилось письмо «Провинциала». На протяжении двухсот пятидесяти строк петита «Провинциал» сообщал удивительный факт «к истории города Тире». В этом чудовищном городе Тире, писал он, происходили странные театральные представления. Если вспыхивала вторая Отечественная война, то драму великого народа, защищавшего свою родину от вторжения тевтонов, глупые актеры сводили к гнусному фарсу с переодеванием и обманами. На фоне пожарищ родимой земли они находили возможным показывать только своих полуголых девиц, которые более годны для развлечения возле канав, чем для театральной сцены. Мало этого, гнусный свой фарс они прикрывают благородным именем русского патриота, который показывает в Петербурге пьесу, написанную с шекспировской силой, пьесу, которая останется в репертуаре русского театра на столетия,—«Позор Германии». Дальше «Провинциал» рассказывал о беседе, которую вел с ним Филиппинский в артистической уборной тюменского Общественного собрания. «Всякие случаи бывали в городе Тире,— заключал ав-

тор статьи,— но такого отвратительного случая не бывало никогда, а горечь событий увеличивается еще тем, что тюменское общество, благодаря вере в петербургский авторитет, радовалось и восхищалось грубой подделке, которая подло издевается над русской армией, проливающей ныне кровь на полях великих битв».

Едва мы дочитали статью, как появился околоточный, арестовал нашу кассу и повел нас к исправнику.

Сердце мое похолодело. Я судорожно кинулся осматривать свой гардероб, чтобы предстать возвышенным поэтом. Бурый мой фрак и невероятно узкие лаковые ботинки мало утешали меня. Тогда я тщательно пригладил свои длинные волосы. Филиппинский сказал, отдуваясь:

— Надо полагать, исправник примет тебя за петербургского автора и разрешит представление. Какого им лешего от нас нужно? Скажи, что «Позор Германии» ведь не один. У ней, наверно, случилась тысяча позоров, которых и тысяча авторов в тысячу лет не выскажет.

— На афишах значится,— сказал я,— что автор Мамонт Дальский. Какой я Мамонт Дальский?

Филиппинский оглядел меня и пощупал мой фрак:

— Разные бывают Мамонты Дальские. Скажи, что ты из тех, которые похуже.

Тюменский исправник и за столом своим, покрытым сукном ежевичного цвета, скакал к нам с таким же напряженным лицом, как и по тюменским улицам. Скривив большой, резко очерченный багровый рот и держа тонкие руки над блестящей чернильницей, он как бы натягивал повода бешено скачущей лошади.

Указывая рыжей бородой на меня, на мой невероятно измятый фрак, на туфли, которые жали мне ногу так сильно, что мимо ушей несся непрерывный пасхальный звон, исправник закричал исправно:

— Почему такой фрак? Почему, да еще безобразный? Теперь наступила Отечественная война, все надели шинели, а ты?

Он поднес бороду к «Тюменской коммерческой газете», которая затрепетала под бурными волнами его голоса:

— И почему они у вас на представлении ходят все во фраках?

— Извините меня, ваше превосходительство, за поправку,— сипло сказал я, переступая с ноги на ногу.—

Я страдаю от ботинок, мне трудно говорить связно, но уверяем вас клятвенно, что ни один актер «Позора Германии» не ходит во фраке.

— А ты почему во фраке? А почему ты обращаешься к начальству и путаешь чины? Если война, так умей считать чины, чуйкин ты сын!

Мы обидели его намеками на то, что он еще не видал нашего представления. Но ярость увеличивалась — и с величайшей свирепостью он словесно скакал мимо нас:

— Вам известно, что в мой город пригнали пленных? Таким образом, фронт Отечественной войны уже подходит к Тюмени! Следовательно, вы не смеете издеваться над армией в прифронтовой полосе! Каково!

— Разрешите мне...

Филиппинский раскрыл было рот. Мы внутренне задрожали: он мог рассказать анекдот, совсем не подходящий к событиям, которые происходили в длинном белом кабинете тюменского исправника.

Но тут исправник нашел в своей голове удивительнейшую мысль.

Исправник осадил коня. Перекинув повод в левую руку, он правую вознес высоко над своей головой:

— А если?..— Он крепко натянул повода и чудовищно высоким, как соборная каланча, голосом возопил: — А если вы германские шпионы? — Он кинул повода, заложил руки за спину и сказал решительно:— Выехать из Тюмени в двадцать четыре часа, пока еще не преданы военно-полевому суду. Чечулин, наложить арест на их кассу!

Чечулин, околоточный с невероятно прямой осанкой, снабженный лицом детского овала, показался позади нас. Он заглянул в наши лица и, видимо не удивившись их содержанию, устало проводил нас не только до нашей пустой кассы, но и до вокзала.

29

В купе на громадных тюках, укутанных кулисными холстинами, сидел Пашка Ковалев. Он так и не видал моего представления, а сидел где-то на постоялом дворе, возле вокзала. На нем заношенная солдатская одежда, погоны с одной нашивкой. Лицо у него испуганное, не-

мытое. Увидав нас, он обрадовался, а когда поезд тронулся, так он совсем развеселился:

— Дешево отделались! Могли бы нас в дисциплинарную роту шарахнуть. Теперь жизнь серьезная. Сплошной чирий, а не жизнь.

Жизнь для него оказалась действительно серьезной. Когда он испугался вконец и не мог больше терпеть, он поехал с Петькиным письмом в Пермь к генералу Пышминскому, тому, у которого бородавка на верхней губе, схожая со сливой. Выяснилось, что генерал заведует Аптекарским управлением 4-й армии, которая в это время «атаковывала противника на 45-километровом фронте от реки Вислы и до реки Быстржицы, прорывая позиции австрийцев и выходя в район Юзефова», и все еще не успел собраться отправить свое управление поближе к фронту, что, однако, не помешало ему немедленно приписать Пашку добровольцем к Аптекарскому управлению. Пашка решил, что при аптеках можно существовать, раз они не торопятся на фронт. Но, к сожалению, Пашка, или по склонности своей к болтовне, или хвастаясь перед солдатами, проболтался о существовании Ковалихн. Тут же оказалось, что Аптекарское управление обязано, «кроме прочих снадобий», поставлять на фронт жизнерадостных девиц, которых прикомандировали к аптеке в качестве «аптекарских помощниц». Еще до начала общего наступления 4-я армия, перейдя утром 2 сентября в частное наступление на обоих своих флангах, одержала крупные успехи, что дало повод генералу Пышминскому думать, что фронт должен усиленно пополниться жизнерадостными девицами для награждения победителей. Пермь была уже исчерпана. Пашке дали нашивки, прогонные, литеру и отправили в Сибирь, откуда, по мнению генерала, «девицы еще не все вывезены». За каждую девицу, доставленную в Пермь, Пашке была обещана премия: 1 руб. 15 коп.

— Но, а где я их наберу? Три тысячи за три недели? Какие тут надо «сети» раскинуть, вы понимаете? Да и кто поверит мне? Я ему говорил, дайте мне хоть чин подпрапорщика, а он орет: «Поезжай без разговоров и обратись, в крайнем случае, к мамашиному благословению».

Ирина Терентьевна сказала:

— Три тысячи рублей да еще три тысячи пятиалтынных — деньги хорошие. Я так понимаю, вы все-таки

надеетесь собрать этих девиц, иначе бы не поехали к нам, а направились прямо к своей мамаше.

— Где мне собрать их? Да и надует он меня с этими тысячами и с этими пятиалтынными, если даже я и наберу девиц. Откажись набирать — сгноят дисциплинарными взысканиями. Вот если ничего не выйдет, скажу, что вы меня задержали. Вы мне обязаны помогать! Вы должны защищать отечество!

— Ну, что ты к нам пристал? У нас хора нет, балаганные дамы с тобой не поедут, они всю твою пустоту насквозь знают,— сказала Ирина Терентьевна.— Да я их сумею удержать.

— То-то, что вы держите, Ирина Терентьевна, а не будь вас, я бы их давно первой партией в Тюмень отправил.

Балаганщицы смеялись, а Пашка, достав из кармана клочок бумаги, перечитывал:

— «Табак — это война накосила сена и подожгла своим фитилем! Московский, как и гренадерский полк, в котором находится среди прочих и «грозный мастер Иоанн», вновь атаковали высоты у Тарнавки, сбили слабые части германцев и, выдержав ряд сильных контратак, овладели тридцатью орудиями четвертой германской ландверной дивизии, прорвав, таким образом, расположение корпуса Войрша. Тут подоспели мы! Успех прорыва распространился по всему фронту четвертой армии! Австро-германцы стали отходить в беспорядке. К вечеру девятого сентября четвертая армия захватила более пяти тысяч пленных, из них половина германцев! Надеюсь, что я действую пером не хуже, чем саблей, Пашка? Потому я говорю тебе: не верь ты себе, Павел. Ты способен из-за слуха, пущенного тобою же, набить соломой чучело из своей собственной кожи. Будь бодр. Твой испуг, как тень, никогда не окажет тебе помощи...»

Пашка положил письмо на колена.

— Вот видите, наши друзья тоже, может быть, нуждаются в подругах, достаточно веселых.

— Не нуждаются они в такой твоей помощи! — воскликнул я.

— Ой ли?

Я сразу узнал слог нашего курчавого павлодарца. И действительно, из дальнейшего можно было понять, что, по приказу начальника 42-й уральской кавалерийской дивизии, Петра Захарова наградили за храбрость

«Георгием» первой степени и произвели в подпрапорщики. Петр Захаров был охвачен гордостью. Он уговаривал Пашку не слушаться приказов генерала Пышминского, а директору «XX века» посылал совет:

— «Если ты не в состоянии скупать мясо, то раствори последовательно двухромокалиевую или двухромонатровую соль, хлористый марганец и уксуснонатровую или муравьинонатровую соль (минус пятнадцать градусов по Боме). Точнее определение количеств упомянутых веществ значения не имеет. От количества зависит только цвет окраски. Бумажная материя, желательно холст, опускается в раствор, держится в нем до получения желаемого тона, а затем промывается или только выжимается и еще во влажном состоянии погружается в раствор соды или поташу (четырнадцать градусов по Боме). Щелочь закрепляет и делает ее нерастворимой. Так, Филиппинский, ты можешь получить холст цвета хаки и продавать его с некоторой выгодой. Храни тебя бог, и молись ты усердно о победах русского оружия».

— Вот, как поверил в бога, так и «Георгия» получил,— сказал вяло Пашка Ковалев, а затем он оживился и сказал уже то, что ему давно хотелось сказать: — Я вам предсказывал, господа Филиппинские, окончательно вы разоритесь на этих представлениях. А вы: надо еще раз попробовать! Вот и попробовали! Говорил, не дожидайтесь ответа и совета от Петра Захарова. А вы: он напишет. Вот и написал!

— Что же вы предлагаете, господин Ковалев?

— Я предлагаю вам, Ирина Терентьевна, тридцать процентов с предстоящей мне получки.

— Надбавили десять таки? Я сказала, что меньше, как на восемьдесят процентов, мы не согласны. Можете хоть год возле нас ездить. Умрем с голоду, но не согласимся на ваше издевательство. Скажите пожалуйста! Он за какую-то бумажку от генерала Пышминского хочет получить семьдесят процентов, когда сам не ударит палец о палец!

— Как палец о палец не ударю? А мои знакомства? А барсиане?

— Ваши знакомства, ваши барсиане, господин Ковалев, только могут навредить. Здесь надо действовать по-новому.

— Как?

— А как действовать, я вам не скажу, господин Ковалев. Когда дадите нам восемьдесят процентов, тогда и узнаете, как можно собрать в одном уездном городе три тысячи вполне жизнерадостных девиц, согласных быть аптекарскими помощницами. Мало того, согласных отправиться на фронт, в четвертую армию. Дайте-ка мне рецепт этот посмотреть.

— Дурацкий рецепт!

Рецепт был приложен отдельно. Ирина Терентьевна перечитала письмо, вернула его Пашке, а рецепт оставила себе. Она улыбалась. Филиппинский, взглянув на ее улыбку, вдруг развеселился, достал из кармана банку, большой кусок свиного сала и стал есть, превкусно чмокая, так что на это причмокивание выползли из-под нар спрятанные, дабы не платить за билеты, всяческие паршивые животные. Пашка испугался и улыбки Ирины Терентьевны, и этих гнусных морд, которые выползли, как бы предчувствуя благополучие. Тревожило его также и мое лицо, которое, после того как Ирина Терентьевна признала захаровский совет дельным, успокоилось.

— Даю тридцать пять процентов!

— Восемьдесят. Давайте восемьдесят, господин Ковалев, пока мы не взялись за другое дело. Вы напрасно смеялись над рецептом.

— У меня копия есть.

— Нет у вас копии!

Копии у Пашки не было, потому что, разозлившись на мою улыбку, он вскричал:

— Главным разорителем был у вас Всеволод! Я предлагаю тебе, Филиппинский, взять его в денщики.

Размышления о войне способствовали, видимо, быстрому ответу Филиппинского:

— Что я, офицер?

— Лучше служить денщиком у офицера, чем быть рабом или лакеем. Вот почему Всеволод подготовит тебя на экзамен за четыре класса городского, чтобы ты, Филиппинский, попал в школу прапорщиков.

Как я ни обалдел от встречи с исправником, от торга Ирины Терентьевны с Пашкой и от ужасных процентов, я все же мог сказать:

— Вы совсем сдурели! Мне репетировать, когда я окончил сельскую школу?

— Подтянешься! Только ты, Филиппинский, наблюдай, чтобы он не сдал экзамена раньше, иначе быть тебе у него денщиком! А в прапорщики тебе пойти — прямая выгода: обрати внимание на свою ногу. Ты ранен, еще не побывав на фронте, да и не попадешь туда, потому что изувечен навсегда! Кроме того, тебе дадут роту, и ты будешь разными способами перетягивать к себе своих знакомых, которым трудно живется. Ты будешь получать верное жалованье, а что ты сейчас зарабатываешь? Ты возьмешь меня. Мне, брат, трудно служить у генерала и набирать по три тысячи девок в три недели, когда я и в мирное время этим делом не занимался. Я не могу обслуживать весь фронт четвертой армии! У меня характера хватит разве что на роту.

— Восемьдесят процентов, господин Ковалев.

— Тридцать пять, Ирина Терентьевна.

— Да плюньте вы на него! — сказал я.

Ирина Терентьевна взглянула на меня:

— Вы б поменьше советов давали, господин Иванов.

Она вздохнула.

— Сколько мы прислуг ни нанимали, все требуют жалованья, да и получив это жалованье, не соглашаются мыть наших несчастных животных.

— Совершенно верно, мадам. А теперь тем более вы не найдете прислугу. А денщик обязан мыть кошек, и даже бесплатно.

— Я не буду денщиком и не буду мыть кошек! Мало того, я не понимаю, каким образом я мог очутиться в этой дикой компании.

Ирина Терентьевна оживилась. Всякое сопротивление ее доброте, со стороны ли животных, со стороны ли человека, она рассматривала как горестное событие, подлежащее немедленному уничтожению.

— Если вы, господин Иванов, не желаете мыть кошек господину офицеру, то вам предстоит мыть их тюремному надзирателю.

Она помолчала.

— Вы еще не знакомы, наверно, с тюремными кошками? Вряд ли, иначе зачем бы вам воровать эти тюки?

Теперь только я рассмотрел, какие тюки украшал собою Пашка Ковалев. В холщовые кулисы были запакованы мундиры австрийцев, полученные нами в казармах у пленных чехов. Злость обожгла меня.

— Мало того, что свершили эту позорную кражу у несчастных пленных, вы способны сваливать на другого?

— Позор не нам, господин Иванов, а этому другому. Благодаря вам, господин Иванов, мы повержены в ничтожество. Позор? Но мы все-таки не крадем пьесы у патриотических авторов, не смеемся над родиной, что же касается пленного имущества, так оно принадлежит России, а не чехам. Молчите уж лучше и радуйтесь тому, что в любом балагане, хотя бы у госпожи Татариновой, нас примут с нашей военной пантомимой на половинных процентах со сбора.

— С какой военной пантомимой? У какой госпожи Татариновой?

— У такой госпожи Татариновой, которая работала с нами на Урале и которая теперь в селе Преображенском открыла свой балаган. Детей ее мобилизовали, откуда же ей взять денег, чтоб посылать им? За слезы не платят. Пантомима наша называется «Горе Германии». Вы, господин Иванов, украли у господина Дальского его слова. Мы слов не крадем. А происшествия, которые происходят в нашей пантомиме, могут происходить в любой патриотической пьесе. Молчите, как буду молчать и я.

Она говорила неколебимо твердо. Где мне спорить с ней! Я устал, револьвер оттянул мне карман. Они смотрели на меня зорко, чтобы немедленно же, если понадобится, схватить меня. Я молчал.

Она сказала:

— Плохое у вас имя, господин Иванов. Всеволод? Такое имя может иметь князь, а не лакей. Мы вас будем называть Иваном. И чего вы, Иван, торчите в этом фраке? Кто носит фраки из сермяжного сукна? Исправник был прав, этот фрак только позорит вас. Снимите его, Иван, и надевайте передник.

— У меня нет передника. Кроме того, что это за денщик в переднике?

— Пока офицер ходит в штатском, лакей ходит в переднике.

Она дала мне свой ситцевый передник. Должен сознаться, что этот бабий передник совсем неожиданно внес некоторое успокоение в мои авторские и прочие чувства.

Мы ехали к селу Преображенскому, которое лежит на границе Ишимского и Тюменского уездов. Меня радовало то, что я избежал тюрьмы, радовала и ловкость, с которой я носился по вагонам, получив последним в очереди чайник кипятку и вспрыгнув на подножку, когда поезд уже трогался. Меня тревожило только то, что придется мыть кошек и прочих облезших зверей. Ловкость мою оценил даже Филиппинский. Описывая ногой круги возле кип, он сказал, тяжело пыхтя:

— Отличный из него метрдотель выйдет. Не открыть ли нам, милочка, ресторан на фронте?

Удивительно быстро в человеке зарождаются лакейские чувства! Я и не заметил, как уже ласково сказал своему хозяину:

— Что за ресторан без водки?

— На фронте важна не столько водка, сколько шантанная певица. Пение приятно там, где вечно поют орудия. Если говорить о вине, то почему его не подавать в чайниках?

Филиппинский кстати рассказал несколько анекдотов о том, как люди, рассуждая, опьяняются «вполу», затем «вполне» и более тяжелое — «долу», и наконец, что достигается длительными сложнейшими упражнениями, они входят в «навзничь».

— Летний сад надо открыть! — вдруг сказал Филиппинский.

— Какой же летний сад на фронте?

— Вот на фронте-то и надобен настоящий Летний сад.

Филиппинский шумно и гордо отдувался, ему, несомненно, был тесен вагон. Его широкое жирное тело так выпирало отовсюду, что все проходящие мимо внимательно оглядывали нас, как будто удивляясь тому, что мы еще живы, а не задавлены этим толстым, пыхтящим и неприятно пахнущим существом. Филиппинский шлепал губами и взором отвечал им: глядите, глядите!

И как не гордиться Филиппинскому! Как ему гордо не осматриваться! Несмотря на множество врагов и козней, он все-таки вывернулся и благополучно устроил свою жизнь. Жена при нем, заботится по-прежнему, а может быть, даже лучше прежнего, окружающие подобраны такие, что ей не засмотреться. Правда, имелся в балагане беспокойный красавец Петр Захаров, но тот, к счастью, скрылся далеко. Надо отдать ему справед-

ливость, голова у Петра Захарова работает отлично, но остальное тело плохо повинуется этой голове и мечется, мало разбираясь в пространстве: из Восточной Пруссии вдруг в район Юзефова! И где только он выбрал такой полк, который мечется, подобно успехам русской армии?

Летний сад! Блестящая идея. Филиппинский сделал губами «прф-прф-у...». Теперь, когда всех гонят на фронт и поезда переполнены так, что в мирное время и вообразить было невозможно, он вдруг откроет в какой-нибудь роще, неподалеку от позиции, Летний сад с подачей фруктовых вод и легкомысленных песен, вроде «Клик-кляк!», «Бедная Зизи», «Капиталист и подвязка», «Фатьма-алжирка», «Уж мы ели, ели, ели, уж мы пили, пили, пили». Таким образом, исполнится мечта всей его жизни, он быстро наживется, так что сможет приобрести не только три лавочки, но и все вообще лавочки в Петропавловске, да и вдобавок Меновой двор, который Городская дума, кстати сказать, перед самой войной хотела продать с торгов, но тогда никто не явился, а сейчас он скажет: «Господа гласные, организуйте торги!» Неправдоподобно, скажете? Чего же неправдоподобного в Летнем саду, когда Пашка Ковалев, который трепещет, если на него летит осенью паутинка, вдруг, ни с того ни с сего, способен получить три тысячи да еще какие-то пятиалтынные!

Филиппинский, снисходительно улыбаясь, говорил мне:

— Чайник остыл. Принеси-ка еще, Иван.

Но тут же милостиво пыхтел:

— Выпьем и остывшего! Отдохни. Мы денщиков не гоняем, как прочие интенданты.

Они, точно, прекратили пить чай, но взамен чая Ирина Терентьевна придумала репетировать ресторан Летнего сада. Так как господ было много, а лакей один, да к тому же и неопытный, то на меня кричали все, вплоть до несчастных животных, которые лезли на меня теперь отовсюду. Но больше всех орала на меня Ирина Терентьевна:

— Иван, за такое подавание вас будут тарелкой по носу! Возможно вам быть, Иван, кухонным мужиком или посудомойцем, но никак не лакеем, а тем более метрдотелем. Вы портите нам репутацию всего Летнего сада.

За два перегона перед Преображенской ярмаркой господам Филиппинским встретилась необходимость в пробном обеде, потому что иного у них не было. Мне пришлось подавать воображаемые тарелки и провозглашать воображаемые кушанья, которые когда-то записал я от повара Софрония в свои серые тетради.

— Дикая утка с темноцветною подливкой по самому лучшему вкусу! — восклицал я на весь вагон, потому что мне хотелось есть и я полагал, что этими восклицаниями удастся прекратить голод.— Вам, Ирина Терентьевна, фаршированные котлетки из телятины, а вашей собачке, мадам, протертый гороховой суп с жареным хлебом. Вам, господин Ковалев, согласно желанию, поташ из шпигованой дичины. В заключение разрешите, господа, предложить вам торт с померанцами и пряженые яблочные ломтики в тесте.

Филиппинский вздохнул:

— Иван, ты говоришь так грустно, что веришь существованию кушаний, хотя есть и не нужно и не хочется. Теперь я понимаю, почему ты, Иван, никого в балагане не мог рассмешить.

Ярмарка в селе Преображенском существенно отличалась от виденных нами ярмарок. Продавцы суетились, но, что самое удивительное, необыкновенно суетились покупатели. Между ларей, возов, между скотом и сеном клокотала толпа, раздавались выкрики чудовищно больших цен. Купцы, интенданты, подпрапорщики, врачи — все скупало масло, мясо, кожи. Продавцы стояли с раскрытыми ртами, и у них не хватало фантазии просить больше предположенных цен!

Возле каждой лавки продавали лубочные картинки, и в каждом десятке этих картинок непременно встречались курчавый друг мой Петр Захаров и длинноушая разномастная лошадь Нубия, которой даже лубочный художник не смог удалить из глаз присущей ей грусти.

— Надо непременно открывать Летний сад,— сказал Филиппинский, увидав эту необыкновенную ярмарочную суматоху.

Он так жаждал немедленного открытия этого сада, что не нашел в себе сил пойти в балаган госпожи Федосьи Татариновой, ради милости которой мы сюда приехали. Попробовал было он пройти через ярмарку в балаган, но с полдороги вернулся на постоялый, приведя

с собой двух высоких мужиков, закутанных поверх суконных курток в черные тулупы. Мужики эти кричали, не снимая шапок:

— Разве такую цену дают за масло? Ты нам цену сразу бы сказал, так мы бы тебе в шары плюнули. Есть нам когда ходить за вами, маклачниками!

— Ваше масло покупают на фронт, а мне надо особенное масло, для ресторанного дела. Понимаете? Я посмотрел ваше масло, подумал об нем и больше предложить не могу. Не могу! Таким маслом, как ваше, колеса мазать да солдатские глотки.

— Это ты зря! Наши коровы толстые, масло дают отличное. Немец идет на Россию ради наших коров.

— Коровы-то хорошие, но и масло-то хорошее вы продали, а мне предлагаете дрянь.

Мужики было пошли, но тут из-за ситцевого полога, держа в руках двух облезших кошек, выскочила Ирина Терентьевна. Свершилось удивительное дело! Филиппинский не только сговорился, но и выложил им небольшой задаток, из чего выяснилось, что жена его сохранила некоторые средства и что мы напрасно голодали.

После покупки масла Ирина Терентьевна сочла унизительным наше дальнейшее пребывание на постоялом, и мы переехали к просвирням. Немедленно в просвирнин двор вошли подводы, с которых перегрузили в амбар большие желтые круги замороженного масла. Оказалось, что у мужиков не хватило тары, дабы увезти это масло в Тюмень. Покупателей на масло «без тары» в Преображенском не нашлось. Покамест покупатели заказывали тару, Филиппинский сумел доказать мужикам, что скоро наступит оттепель, и хотя в эти месяцы оттепели в Сибири никогда не бывает, но мужики поверили, потому что Филиппинский сказал, указывая на погоны Пашки Ковалева: «Вот этот всю погоду знает и по глупости способен масло купить без тары. А мне что? Я при нем маклак. Я получу проценты и уеду, а он пусть поступает, как хочет, при оттепели».

Филиппинский очень боялся этой покупки: хватило только на задаток! Но через три дня нахлынули еще покупатели. Масло оказалось скупленным. Тару пришлось бы возвратить. Тогда купцы пришли к Филиппинскому. Он перепродал им свое масло.

— Вот, как решил открыть Летний сад, так дела и повернулись в счастливую сторону, Иван. Любуйся работой!

Действительно, дела у него повернулись счастливо! Из Тюмени приехал приказчик Логинов, которому удалось-таки поступить на службу «по бараньей части и мясу». Логинов этот был приглашен к ужину. За водочкой он проболтался, что в Ишиме появился богатый киргиз, скупающий баранье мясо, причем разница на пуд между Преображенским и Ишимом — десять копеек. Эта цена показалась мне ничтожной, но Филиппинский взволнованно повернулся на правой ноге, как на оси, делая левой размышляющие круги.

— Меньше десяти тысяч пудов везти нет смысла,— сказала Ирина Терентьевна, как только Логинов ушел.

Ирина Терентьевна уже успела завести ужасное количество полудохлых собак и кошек, достала ворону, обморозившую себе ногу, и заставила меня делать ей перевязки. Я подавал в тарелках еду собакам и кошкам, а Ирина Терентьевна внимательно наблюдала за мной, считая, что подача пищи есть лучшая школа для денщика.

Мне надоели полудохлые животные, спекулянты, бледное лицо Ирины Терентьевны, Пашкины размышления, и я пошел в балаган к Татариновой.

В конторе сидела сама мадам Татаринова, а возле нее разглядывал через горлышко пустую бутылку милейший клишник Степан Ломов. Видимо, он все еще мечтал о стеклянном цирке.

— Возьмите меня, Федосья Аникеевна.

Ни мадам Татаринова, ни Ломов не узнали меня. Он вяло посмотрел в мое лицо и только вспомнил почему-то «грозного мастера Иоанна», о котором сказал:

— Вот кто бы мог выстроить аппарат, через который ты понял бы, почему эта война утащила с собой всю нашу ловкость! Кто остался в балагане? Или слабость, или женщина. То и другое для мужика мало любопытно. Мужик любит мужскую ловкость. А в крайнем случае «мастер Иоанн» сделал бы такой прозрачный и невидимый аппарат, который взял бы тебя в тиски и закрутил бы так по воздуху, как будто ты великий прыгун Август Сасадини! Нету «мастера Иоанна»!

Мадам Татаринова рассуждала короче. Она ткнула пальцем в мой фрак и сказала:

— Клоун?

— Клоун.

— Выступишь завтра с пробным антре.

— Какие условия?

— Условия зависят от удачи.

Она сказала Ломову, который опять уставился в бутылку:

— Смеяться мы не умеем, вот почему к нам в балаган и не идут. Не прыжки нужны, а такой аппарат, который бы ворочал язык и мысли, чтобы зрители до упаду смеялись над своим горем. Можешь такое?

— О войне?

— О войне.

— Смешное — трудно.

— А за скучное морду набьют. Вот и выбирай.

Я написал антре о войне и о смелости. Но занятия лакейством мало способствовали остроумию, и когда я перечел свое антре, то оказалось, что, в сущности, я изложил содержание пьесы «Позор Германии», причем все роли в этой укороченной пьесе я исполнял один. Я переоделся сначала в мундир австрийского офицера, затем в женский боярский костюм с кокошником, который одолжила мне Платонида Ломова, затем в польскую безрукавку, а в промежутках натягивал широкое, шафрановое и синее, клоунское одеяние.

В пустом балагане сидело несколько пьяных мужиков. Было очень холодно. Пар шел изо рта, и если бы даже смех был беззвучным, то по очертаниям облака я узнал бы их радость. Увы! Очертания пара были такими же, как и до начала представления.

— Все это, парень, совсем у тебя плохо,— сказала мадам Татаринова, когда я после своего антре вернулся за кулисы.— Тут тебе даже и стеклянная машина не поможет. Очень ты грустный. Тебе надо залезть в мясорубку, превратиться в фарш, а там уже пытаться сделать из себя клоуна.

— Занялись бы лучше вы, мадам Татаринова, этой операцией над зрителями.

Она рассердилась и сказала мне:

— Не в мясорубку тебе лезть, а самое удобное — вообще умереть!

30

Я быстро шагал к дому просвирни. После представления фрак мой казался еще более холодным. Я смотрел в морозное небо и думал, что Филиппинский, обидевшись на самоуправство денщика, не пустит меня в дом: я останусь замерзать на высоком белом сугробе под необычно сильным светом сибирской луны, и оледенелая кровь моя как утюгом выпрямит наконец измятый сермяжный мой фрак!

— Что это еще? — спросил меня Филиппинский, перед тем как захлопнуть дверь дома.— С которого это времени воинские чины нашли себе право играть в балагане, хотя бы даже и с патриотическими целями! Пошел вон, предатель России!

— Я не могу быть предателем, господин Филиппинский, потому что не чувствую Россию своей родиной.

— Ну тем более, ты должен замерзнуть!

Однако в дом просвирни меня пропустили беспрепятственно.

Двор заполняют подводы, прикрытые рогожами, из-под которых торчат бараньи туши. Мордастые ямщики в расшитых валенках пляшут между возов. В пригоне толстые лошади лениво едят овес.

Филиппинский, склонившись толстым лицом к бледному носу жены, шептал:

— Это понять нужно: на семьдесят пять копеек дороже, чем в Ишиме. На семьдесят пять копеек!

— А хоть и на пять рублей! Что ты, осмелишься на фронт баранину везти?

— Так ты, Иринушка, не веришь-таки, что я открою Летний сад?

Я развязно сел за стол. Они изумленно смотрели на меня, но я понял, что изумление вызвано не моей развязностью, а каким-то другим моим лицом. Я провел по лицу пальцами. Оказалось, что я забыл смыть сурик и мел. С горечью подумал я, что не эта ли размалеванная клоунская морда снабдила меня нахальством?

Я сказал:

— Впрочем, мне наплевать на вас!

— Встать! — завизжала Ирина Терентьевна.

Возле нее замяукала кошка, взвизгнула собака, и эти звуки были так отвратительны, что, дабы не слушать их, поднялась бы со своего пьедестала и чугунная статуя.

— Офицеры любят баранину,— сказал Филиппинский, рассматривая мой статуйный рост и думая о своем.

— Отойдите, Иван, к дверям,— прокричала Ирина Терентьевна,— не мешайте размышлениям!

— На спекуляцию денег не хватает? — спросил я, отходя не к двери, а к окну.

Пашка Ковалев провел рукой возле себя, как бы сбирая деньги, и сказал мечтательно:

— А если нам по захаровскому рецепту покрасить не холст, а сукно, которое в этих тюках лежит?

— Сукно продано уже,—сказала Ирина Терентьевна,— деньги в задаток пошли. Константин, вели запрягать коней. Первую партию везем в Ишим, а следующая партия отправится на фронт. Этот персонал не годится для фронтового Летнего сада. Вы можете идти куда вам угодно, Иван, так же как и пойдут куда им угодно все остальные. Я сказала запрягать, Константин!

Филиппинский послушно вышел. Он уважал прекрасный совет о Летнем саде, который смог подать самому себе, но еще более уважал свою жену.

— Перед отъездом последний разговор, Ирина Терентьевна. Даю сорок процентов.

— И на девяносто не согласна. Направляйтесь к другим предпринимателям с визитами, господин Ковалев.

— Сорок пять процентов.

— Действуйте самостоятельно, господин Ковалев.

Меня не удивляло, что Пашка Ковалев говорит с Ириной Терентьевной слащаво, сощурив глаза и виляя задом, но удивляло то, что она отвечала ему так же. Она смотрела в овальное зеркало, и он, вздыхая, говорил ей:

— Зеркало слишком тускло для вас. Разве оно отражает блеск ваших глаз, Ирина Терентьевна? Какие волосы у вас великолепные!

— У моей матери были еще лучше.

Он положил руку на ее руку. Она не убрала руки.

— Неужели вы будете сопровождать обоз с бараньими тушами?

— Буду.

— Обморозитесь! А вот ваши животинки эти передохнут, тогда как?

— У меня если кто издыхал, то по естественным причинам.

— Корсетов не держите? Да куда там, у вас от природы такая стройная талия, что затягивать ее бесполезно.

— А вам уж и проверить?

Они поступали так, как будто меня нет в комнате, как будто она уже офицерша, которая может сказать на солдата любую напраслину, а муж отправит этого солдата в дисциплинарный суд. От тепла, от презрения, от горечи мне хотелось спать. Я сел на табурет, закрыл глаза и сквозь сон слышал:

— На такие пальчики нужны хорошие кольца, на такую шею — цепочку, а в такие ушки надо серьги. Нехорошо, что на красоту и молодость не обращается внимания. Поехали бы вы со мной, Ирина Терентьевна, на фронт! Вот вы тоскуете по несчастным, а там перед вами, перед вашей благотворительностью, будут целые поезда несчастных.

— Для людей у меня мало сострадания. Я тоскую по несчастным животным.

— А вы думаете, Ирина Терентьевна, что там мало калечат животных? Мне в Перми пришлось случайно увидеть, как тоже случайным снарядом убило четырех волков. Не баранину вам, мадам, возить на фронт! При ваших-то способностях — баранину! Семьдесят пять копеек с пуда — цена, конечно, хорошая. Прибыль недурна, но примите во внимание, что половину этого мяса в дороге растащат, а здесь вы доезжаете только до Перми, и генерал Пышминский дает вам по целковому за голову, да кроме того пропитание, обмундирование... Вы понимаете, чем это пахнет, мадам?

— Будто вам известно, что я так удачно помогу вам?

— Велика ли помощь! Девицы поверят женщине, что только на фронте они способны выполнить свои желания.

Пашка вздохнул.

— Опасная штука сыновняя любовь! Расшатывал я сердце у своей мамаши, расшатывал, а на поверку вышло, что я только укрепил его. Различными способами получаются железные сердца у людей! Ой, Ирина Терентьевна, приглашу я в дело свою мамашу, раскаетесь!

Тут дремоту мою прервал Филиппинский.

— Проверил? Запрягли правильно? А то ведь они народ хитрый: вдруг ни с того ни с сего распрягается лошадь. Возчик отстает, а там, смотришь, у туши ляжка

пропала,— усталым голосом спросила Ирина Терентьевна.

— Проверил. А ты чего не одеваешься? Теперь тебя дожидаться придется?

— Да я уже начала переодеваться,— сказала она, высовываясь наполовину из-за полога.

Когда возы отошли, Пашка вскочил с лавки и, отплевываясь, стал бегать по горнице:

— Такую морду хвалил! Такую тощую шею обнимал! Она даже и не обернулась, когда выходила, как будто ей на каждом шагу такие любовники встречаются!

Он побежал на телеграф и послал матери отчаянную телеграмму. Он решил действовать самостоятельно. Срок его литера кончался, а он еще не отправил ни одной девицы. Я предложил ему скрыться навсегда от генерала Пышминского, но это-то предложение больше всего его и напугало:

— Под каторгу хочешь меня подвести?

Через два дня он получил перевод в пятьдесят рублей. Пашка устроил у просвирни вечеринку, на которую пригласил лучших девиц села Преображенского. Я не хотел этой вечеринки и пошел смотреть представление в балагане Татариновой.

Тяжелая встреча ждала меня там. Незнакомый мне клоун исполнял то самое антре, которое несколько дней тому назад сочинил я и которое он, наверное, списал со слуха. Он кувыркался, переодевался, выкрикивал мои слова — и очертания холодных паров, клубящихся возле уст посетителей, были совсем иными, чем до его представления. Мало того, я совершенно отчетливо слышал их смех, а дешевые зрители на галерке стучали от восторга ногами.

Пашка, видимо, так удачно действовал на вечеринке, что когда я вернулся к просвирниному крыльцу, то Пашка стоял, сразу обнимая трех девиц, а из-за крыльца выскочил парень и опытным ударом кулака сначала кинул его вверх на крыльцо, затем спустил вниз, чтобы несколько позже, повернув его раз восемь, вонзить носом и прочими сооружениями в сугроб. Пашка заблеял. Вышло еще несколько парней. Они били его молча, усердно. Я стоял невдалеке на сугробе, заложив руки за спину, и слышал, как один из парней деловито предложил стукнуть по башке колом, а другой возразил, что умеючи можно обойтись и при помощи кулаков.

Из этой беседы было ясно, что смертоубийства не предполагается, и поэтому я для тепла соединил тесно рукав с рукавом. Не без удовольствия я наблюдал то, что происходило на снегу. Голос Пашки делался слабее и слабее, и когда этот голос стал совсем тоненьким и хрупким, из чего можно было заключить, что Пашку били преимущественно по носу, я поднял револьвер под яркий свет луны и сказал:

— Застегнитесь! Работа прекращена! Марш!

Парни убежали, ловко взметывая тяжелые валенки через синие сугробы.

Снег был окрашен кровью. Я довел Пашку до умывальника, достал ваты, чтобы заткнуть ему ноздри.

— Завещание можно писать? — спросил я его.

Он посмотрел на меня злобно, но, вспомнив о моем револьвере, сразу подобрел и сказал мне:

— Я буду тебе благодарен по гроб жизни, Всеволод. Я буду тебя слушаться. Мне очень жалко, что я сразу не послушался тебя и не уделил всю свою жизнь наборному делу.

— Это мы еще успеем.

Тут же Пашка Ковалев велел просвирне нанять ямщиков, чтобы ехать в Ишпм.

— С этого дня я плачу тебе, Всеволод, сто рублей в месяц за то, что ты будешь охранять меня.

— Откуда ты возьмешь сто рублей?

— Через три дня я заработаю в Ишиме три тысячи.

— Однако, Павел, ты решил поступить в типографию?

— Но ведь ты сам же сказал, что мы туда успеем!

Я отказался от ста рублей и сказал, что буду до Ишима охранять его жизнь, если только он не возьмет ни одной девицы из Преображенского.

— Не хватало мне еще этого преображенского добра!

Преображенские девицы и без моего нравоучения сумели внушить ему отвращение.

Пашке казалось, что возле вагонов и в вагоне его легче убить, и поэтому он нанял ямщика, купил бараньи полушубки, шапки с ушами, а чтобы его не узнали, а может быть потому, что я ему казался очень смелым, он купил у торговца иконами за семь рублей желтые очки, которые тот называл золотыми — даже пробу показывал!

Дорога ухабистая. Кошеву качало. Шел мокрый снег.

— Гони, ямщик! — кричал визгливо Пашка.

Далеко издали мы узнали громадную фигуру в бараньем тулупе, из которого выскакивала нога, делающая по снегу громадные круги.

— Гони!

Ямщик ударил по коням.

Мы пронеслись мимо обоза Филиппинского.

Пашка встал, снял шапку, махнул ею и крикнул что-то длинное, утонувшее в ухабе и волнах снега. Лицо Филиппинского не отразило в себе ничего, так же как и эта снежная равнина. Тревога придет к нему позже! Неужели, подумает он, Пашке Ковалеву удалось навербовать уже тысячу аптекарских помощниц? Неужели он уже получил от генерала Пышминского задаток? И мы не ошиблись в наших предположениях.

— Филиппинский еще будет угнетен! Ирина Терентьевна еще будет умолять, чтобы я ее обнял!

Но возле самого Ишима глубокое отчаяние овладело Пашкой. В особенности он бранил меня за очки.

— Четвертак им цена, а я заплатил семь рублей! Всеволод, и тебе не стыдно? Вот ты пробыл только три дня в лакеях, а уже на всю жизнь получил лакейскую душу! Зачем ты не воспротивился мне? Разве я тебе хозяин!

Я ухмылялся, а он кричал:

— Ты не изображай из себя Стеньку Разина. Вот возьму и сброшу тебя вместе с твоим револьвером в сугроб!

В Ишиме тоже ярмарка. Благодаря этой ярмарке все номера для приезжающих оказались заполненными, и нас с трудом пустили в чуланчик по три рубля в день. «Миллионные дела делаются»,— сказал коридорный с ушами, которые походили на вышитую жилетку, когда мы спросили его, почему этот чуланчик стоит так дорого. Эта «миллионная» ярмарка совсем испугала Пашку. Он объявил, что у него болит голова, и немедленно свалился на единственную кровать номера. Оказалось также, что у него только восемьдесят копеек денег, из которых он мне дал тридцать копеек с тем, чтобы я купил пищи на четыре дня.

В полушубке мне было тепло и приятно. Мне мешали гулять по ярмарке тонкие мои ботинки, и поэтому я обошел только три булочных и пять колбасных. Мне нра-

вились эти заведения, теплый запах хлеба и влажный и какой-то протяжный запах колбасы. Я купил фунт колбасы и две французских булки, и едва я их получил, как вдруг великая злость охватила меня. Я злился на то, что Пашка не кормит меня, на то, что он посылает меня за пищей, которую он съест только один, на то, что он разговаривает со мной, как со слугой, и, наконец, на то, что я все-таки не откажусь взять пищу из рук такого подлеца.

Тут же возле колбасной я съел обе булки и фунт колбасы.

Пашка дремал, прикрывшись полушубком. Лицо мое, еще носившее следы некоторого стыда, встревожило его.

— Так и знал! Деньги и паспорт украли?

Я постелил свой полушубок на полу, лег и сухо ответил:

— Съел.

— Медведь цыганский съел, или собаки у тебя вырвали?

— Я съел. Собственноручно.

— Господи, за что мне такие страдания? За что сие? За что, о господи!

Но все же, несмотря на фунт вареной колбасы, утром я проснулся таким же голодным и унылым, как будто вчерашний день еще продолжался.

С порога, боком пробираясь в дверь, пыхтел Филиппинский. Ему не хватало места для размахивания ногой, да и Пашка, лежа на спине, тоже помахивал ногой.

— Надо воспитывать ноги,— говорил он.— В них должен иметься полный апломб, чтобы они выворачивались и обладали устойчивостью, когда ты разбежишься и прыгнешь на одну ногу. Освобожусь от своих дел и сделаюсь плясуном, специалистом по чечетке!

Пашка выскочил в коридор, разбежался, перепрыгнул через порог, хотел встать на одну ногу, но не удержался и упал возле меня. Филиппинский уже стоял у окна и дул на лед, который быстро таял под огромными волнами его дыхания.

— Какую ерунду вы опять придумали? — спросил я Филиппинского, встряхивая свой полушубок.— Взбеспокоило-таки вас, что мы на троечке проскакали?

— Вы теперь не лакей мне, Всеволод, но все-таки я требую общепринятой вежливости в разговоре.

Филиппинский рассказал несколько анекдотов о вежливости, которые относились преимущественно к застигнутым любовникам. Мне понятны были теперь эти анекдоты, эти узкие и хитрые глаза, которые всегда изображали лень, и я с удовольствием наблюдал, как он будет нас обманывать. Распустив лед на одной половинке окна, Филиппинский стал дышать на другую, и когда вторая половина почти растопилась, он сказал почтительно Пашке:

— Танцуешь ты, Павел, прилично. Движения имеют быстрый темп, и толчки тела вполне нужные. Капельмейстером в оркестр я бы тебя не взял, но танцевать ты под мой оркестр будешь отлично. Оркестр я нанял, как и всюду, из пожарных...

С укором я сказал Филиппинскому:

— Неужели вы, прогорев на баранине, надеетесь одним концертом исправить свои дивиденды? И неужели вы полагаете что мы согласимся на концерт?

— Баранина бараниной, спектакль спектаклем,— вяло сказал Филиппинский.— Купцов здесь никто и не пытается развлекать. «Барсы» здесь совсем плохие.

Филиппинский говорил несколько пренебрежительно, но все-таки в голосе его чувствовалась лесть, мало уловимая, отдаленная. Это было последнее, чему сопротивлялся я, а дальше Филиппинский опять стал тем, кем он был для нас всегда,— ленивым обжорой, рассказчиком анекдотов, «размахивателем сломанной ноги». Но если я вначале хоть несколько сопротивлялся, то в конце разговора поверил этому скучающему лицу, ничего не ждущему, этому небрежному и совсем естественному голосу, а Пашкину дружбу и веру он снискал сразу. Он умел в пустяке заметить самое важное, и таким пустяком для Пашки оказался танец, который и был его давно лелеянной мечтой, высказанной спросонья. Пашка смотрел ему в рот, когда Филиппинский говорил, зевая:

— Потанцуешь перед публикой, а там, глядишь, зайдешь в церковь грехи отмолить,— как никак, рождественский пост. Бархатный костюм испанский будет тебе к лицу, Павел. Есть тут одна старушка, у ней сын в Барселоне репетитором служил, ну, оттуда и вывез. Она согласилась уступить на вечер, а если после вечера понравится, можно его или выкрасть, или купить. Думаю, что спокойнее выкрасть.

Он благодушно глядел нам в лица. Я уже забыл о том, что передо мною еще полчаса назад сидел наглый, толстый, противный лжец. Я верил ему! Я вместе с ним соглашался, что много мы на концерте не соберем, но рублей триста, несомненно, набежит, потому что зритель сплошь теперь «тысячник», и хотя концерт будет так себе, но со скуки все равно придут.

— Не слишком ли мои усы длинны для концерта?

Филиппинский добавил к этому своему размышлению:

— Но все равно, билеты надо назначить от десяти рублей.

Филиппинский достал афишу, сверху донизу восхвалявшую танцора и балалаечника Павла Ковалева и позволявшую мне подумать о лжи, в которой я только что упрекнул Филиппинского, что она вызвана завистью и что, действительно, недолгое пребывание мое в роли лакея весьма многое испортило в моей душе.

— Прекрасная афиша,— сказал я по возможности искренно.

Филиппинский поднялся с кровати и, пробуя ладонью шероховатости потолка, сказал, свертывая афишу:

— Пора идти к исправнику за разрешением.

Разрешение на спектакль всегда добывалось мучительно. Перед отправлением к начальству нас охватывало подобострастие. Мы прикрашивались всячески. Мы подрезали волосы, ногти, чистили сапоги, а кто был побледнее, тот даже слегка румянился. Чтобы убедить начальство в ценности и полновесности нашего предприятия, мы брали с собой напечатанную афишу «из больших городов». Вот почему нас не удивило, когда, уходя, Филиппинский сказал грустно:

— Солидности во мне мало, ребята.

— Уж в тебе-то мало солидности! — воскликнул Пашка растроганным голосом.

— Скажут: водянка, а не добротный купеческий жир. Очки разве надеть?

— Актеры каждый раз надевают, идя к исправнику, очки. Это стало редко помогать, Филиппинский.

— Рассуждения правильные, Всеволод.

Филиппинский вернул мне со вздохом стальное мое пенсне:

— Еще больше на жулика похож!

— Возьми мои золотые,— сказал Пашка.

Филиппинский нехотя нацепил Пашкины очки.

— Но эти стеклышки для меня только повод. Концерт — такое, ребята, важное дело, что я, с вашего позволения, дам исправнику двадцать пять целковых и пообещаю еще двадцать пять.

— Можно ему дать сейчас сорок! — сказал Пашка.

Азарт охватил его. Ему мерещились выигранные на концерте тысячи. Он задрожал:

— Дай ему, черт с ним, пятьдесят целковых!

— Можно и пятьдесят.

Филиппинский опять присел на кровать и, слегка покачивая ногой, лениво рассказал десяток коротеньких и скучных происшествий, а затем опять поднялся.

— Докуда же мне ждать? Вручай пятьдесят целковых.

— У меня нет пятидесяти,— сказал Пашка,— у меня всего полтинник.

— Зачем же ты меня на тройке перегонял?

Пашка был так ослеплен предстоящей славой, так жаждал, чтобы его узнали все ишимские девицы, которых здесь не меньше тысячи, так хотел получить деньги из кассы нашего концерта, как и из кассы Аптекарского управления, что, будь у него сейчас пятьсот рублей, он бы немедленно выдал их Филиппинскому.

— Вручай полтинник! — сказал, вздохнув, Филиппинский.— Остальные у кого-нибудь займем.

Затем Филиппинскому вдруг понадобились наши полушубки, так как его пальто, видите ли, рваное, а полушубки он для солидности наденет один на другой. Мы верили ему, и только когда он пожелал взять мой фрак и лаковые ботинки, я поспешно оделся и сказал, что хочу его сопровождать.

— Нет, Всеволод, даже в Ишиме твой вид способен внушить подозрение.

— Сиди! — закричал Пашка.— Туда же лезешь, куплетист!

— Вернусь часа через полтора,— сказал лениво Филиппинский, перекладывая через плечо наши полушубки.— Морды у вас голодные. Ветчины вам захватить, что ли, на обратном пути? Предупреждаю: больше двух фунтов кредита не найду. Хлеба дадут сколько хотите.

— Хлеба тащи фунтов пятнадцать,— сказал я.

— Можно.

Часа два спустя мы не поверили в его ветчину, еще через час в хлеб, а еще через полчаса мы стали сомневаться в том, что когда-нибудь наденем наши теплые и пушистые полушубки.

— Надо догонять,— сказал я.

— Обождем еще полчаса.

Мы подождали минут десять, а затем выскочили без полушубков в лютый ночной мороз.

Мы прибежали на станцию спустя сорок минут после того, как поезд увез Филиппинского, его жену, его животных, наши полушубки и всю прибыль, что он получил на бараньем мясе и коровьем масле.

31

Железнодорожная станция расположена километрах в пяти от города Ишима. Мы быстро бежали, конвоируемые ужасным морозным ветром. Мы бежали, подпрыгивая чуть ли не до самой луны. Было очень холодно, но мне почему-то хотелось пить, к тому же громадная янтарная луна напоминала нам самовар.

— Придется тащиться к Анике Кожурину.

— А кто он?

— Каторжник.

— Самовар у него есть?

— Есть.

— Потащимся.

Мы бежим вдоль стены низкого кирпичного здания, во дворе возле которого, несмотря на позднюю ночь, маршируют солдаты с необыкновенно длинными штыками.

— Да, придется к Анике Кожурину.

— А кто он еще?

— Барс! Надоели они мне, вместе с моей мамашей! Бог меня наказывает, Всеволод, что не слушаюсь тебя. Как начну я заниматься этим делом, так меня несчастья настигают.

— Полагаешь, Аника набожный?

— Откуда мне знать его? Знаю об нем я со слов мамаши. Земля, брат, для барсиан темна. Не всегда барсианин имеет возможность и желание останавливаться в гостинице. Вот почему в любом городе знают меня и мою мамашу, так же как мы знаем в Павлодаре

барса любого города. Ох, не добежать мне, Всеволод, до Аники, замерзну!

Силенок у Пашки действительно маловато. Он попробовал остановиться, дабы передохнуть, но мороз столь крепко схватил его за нос, что он так подпрыгнул, словно хотел перепрыгнуть через луну.

— Держи меня хоть за локоть, Всеволод, помоги!

Барсианин Аника Кожурин принял нас без особенной ласковости, но и не грубо. Он напоил нас густым кирпичным чаем, дал лепешку и уложил спать в кухне на печке, потому что барс его был небольшой, из двух горниц. Горницы отапливались плохо, Аника из скупости думал, что печи выдержат еще зиму, и поэтому тепло старались захватить из кухни, для чего двери горниц всегда открыты, а кухонную печку топили так сильно, что, дабы не изжариться, мы стлали поверх кирпичей доски. На печке удушливая липкая жара, а на полу кухни клубы мороза, так как дверь из кухни выходит прямо на улицу. Чтобы мы не смущали посетителей, Аника сшил нам из рваного платья своей жены ситцевые занавески. Если приподнимешь эту занавеску, то видна горница с ядовито-черемуховыми обоями, с ледяными окнами цвета цинка, с бархатной скатертью и двумя фикусами.

Сам Аника Кожурин, высокий усатый мужчина, спал на узкой лавке против печки, но спал он всегда очень мало. Ему нравилось сидеть в гостях, когда у него не было «гостей», а когда они приходили, он бродил по сугробам вокруг дома, потому — подозревал своих гостей в том, что они стремятся убежать, не заплатив денег. Бывало, барсианские девицы выбегут на порог и, раскачивая дверь и ныряя в клубы морозного пара, кричат во весь голос:

— Аника Родионович, пожалуйста с гостями рассчитываться!

— Иду,— отвечал Аника, и он входил в своей неизменной синей поддевке, в длинной шапке из смушек. Он вынимал из кармана портмоне, круглое, громадное и плоское, похожее на поднос.

Девиц было три. Они отзывались на странные прозвища: Голубец, Бурак и Лыжа. Розовая девица, именовавшаяся Лыжей, показалась мне знакомой, и я спросил ее:

— Балагана нашего, барышня, не посещали?

Не отвечая мне, а указывая толстым пальчиком на печку, из которой торчал растрепанный веник, Лыжа сказала:

— Вчера мышь спрятала там кусочек кренделя в золу, а сегодня, слышишь, выкапывает. Тоже память имеет. Тоже проголодалась.

По этим словам я сразу вспомнил Татьяну, кроткую дочь пристава Тевкелеева, из села Мокроусово.

— Ну, Петра-то Захарова вы должны, барышня, помнить.

— Мало их проходило. Всех не упомнишь! — устало ответила она.

Тут в разговор вмешался Аника, который сказал, что «воспоминания зря сгущают пары и газы» и что лучше жить без «лишних лишаев». Трудно спорить с Аникой Кожуриным! Это человек весьма серьезный и обстоятельный. Еще больше я стал уважать эту обстоятельность, когда подтвердилось, что он действительно сидел восемь лет на каторге за убийство «из засады с целью грабежа».

— Ограбить возможно. Мне это понятно. Но зачем же убивать?

Он ответил мне старательным басом:

— На суду как я, так и моя мать давали сбивчивые и разноречивые показания, потому что обыск не дал существенных результатов. Правда, найденная дробь по калибру подошла к дроби, извлеченной из раны убитого, а пыж имел сходство с пыжом, прилипшим к его щеке, но дробь в деревнях вообще одного калибра, а на пыжи всеми употребляется пакля. На моей куртке найдены подозрительные пятна, которые при исследовании оказались кровью млекопитающего. Я был арестован и доставлен в Тихвинскую тюрьму, где тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого октября случились со мной припадки болезни, похожей на эпилепсию. Я бросался на спящего рядом арестанта, тащил его к двери и кричал: «Убью!»

Трепет потряс меня! Меня испугало, что человек способен говорить о совершенном им убийстве словами из обвинительного акта. Только позже я догадался, что Аника рассказывал мне так из вежливости, «для более удобного растворения в голове». Он считал себя человеком необыкновенно искусного тона и вежливости, так как испытал множество профессий.

— Существовал также я и кожевником. Поставлял также и чучела для музеев. И вот только теперь способен восстать выше, потому что каторжан на войну не берут, вследствие чего скоплю денег и навсегда займусь портновством.

Из всех своих профессий он чаще всего вспоминал кожевенное дело, а в особенности сопровождающие это дело «сока»:

— Сока, это значит, господин ты мой Иванов, есть такая жидкость, которую ты получаешь от соединения дубильного вещества с теплой водой. Мне пришлось существовать возле кожевни, в которой я имел двадцать пять чанов с такими соками, которые были крепче один другого в последовательности лучшей, брат, чем ступеньки на лестнице.

Аника жаден и скуп. Если он навешивает и пригоняет плотно дверь, окно или ворота, привинчивает петлю или задвижку, он всегда, окончив работу, сам себе подает счет, а затем долго смотрит на бумажку, качает неодобрительно длинной головой и бормочет:

— Дешево взял, сукин сын!

Он усердно читал модные журналы, которые привозили ему посетители в подарок. Рано утром он садился к маленькому окну кухни и ожидал солнца, чтобы зря не жечь лампу. Он долго рассматривал фасоны, чтобы старательно перевести на папиросную бумагу выкройки.

— Зачем тебе зря рисовать? Пока ты мастерскую откроешь, мода уже скроется.

— Руки набиваю, Иванов. Мода мне и без того понятна. Я еще на каторге понял ее законы.

В горницах смеялись прапорщики: и шуткам девиц, и тому, что они пришли так рано, и тому, что каторжник Аника сделается военным портным. Девицы требовали угощения, стуча ножом в стол. Прапорщики заказывали водку. Аника, прикрывая полой поддевки бутыль, осторожно нес к ним «бражку». А нам пора спешить в типографию.

Ах, как трудно и холодно бежать и какие кругом невыносимые и сильные морозы! Мы бежали переулками, стараясь миновать ярмарку, и думали с горечью о том, что где-нибудь, одетый в наши полушубки, скупает баранину Константин Филиппинский. Лаковые мои ботинки, узкие и длинные, все еще ужасно жали ноги, что давало мне повод удивляться, как это так в моих

ногах смогло столько скопиться боли. Сермяжный фрак совсем не согревал меня, револьвер в кармане тоже лежал холодный и страшный.

Мы набирали, корректировали, верстали и печатали на «американке» приложение к «Ишимскому ярмарочному листку» — экстренные выпуски телеграмм, неизменно сообщавшие о победах российских войск. Типографщик положил нам обоим пятнадцать рублей в месяц.

Мороз таки одолел нас, и мы решились для сокращения пути бежать через ярмарку, мимо балаганов. Вприпрыжку, обгоняя друг друга, мчались мы мимо возов с деревянными изделиями, с кожей, с мешками муки, мимо посеребренных балаганов, где стояли купцы в розовых валенках и невероятно теплых тулупах с мохнатыми, как тайга, воротниками.

Купцы смотрели на нас спокойно. Приказчики свистели нам вслед. Ночью, когда нас никто не разглядывал, мы укутывали ноги и живот бумагой корректур, а на уши делали картонные колпачки.

Однажды, закончив ночную работу, рысью возвращались мы, окруженные противным бумажным шелестом, Пашка всхлипывал, жаловался на судьбу, на то, что он, благодаря мне, не вернулся в Аптекарское управление и что быть ему в дисциплинарном батальоне!

Мне жаль было его, и хотя я тоже страдал от мороза, но я радовался тому, что мне удалось так удачно устроить жизнь, что Пашка лишен возможности заниматься порученным ему гнусным делом. Я его утешал, что, благодаря моему упорному мужеству, мы попадем-таки в Индию, где вечное лето, где не нужно думать о дисциплинарных батальонах и генералах, заведующих аптекарскими управлениями.

Из высокого балагана нас окрикнул властный голос:

— Эй, вы, пленные!

Мы не убавили шага, а только оглянулись.

Купец в бобриковой куртке, лихо перетянутой зеленой опояской, стоял у ворот своей торговли.

— Остановись! Вам говорят, пленные!

Все той же рысью мы сделали обратный полукруг и, бойко подскакивая, поравнялись с балаганом.

— В Христа веруете? — спросил он строго.

Я молчал.

Пашка поспешно ответил:

— Крещеные-с, ваше степенство.

— Из какой страны?

Тут пришлось замолчать Пашке, а мне отвечать поспешно:

— Из Чехии.

Купец сказал еще более строго:

— Ты мне заключительный инвентарь давай. Я, парень, телеграммы умею читать. Там не значится, чтобы чешская страна объявляла нам войну.

— Чехия, ваше степенство, с ее главным городом Прагой входит в состав Австрийской империи.

— Австрийцы, значит? Так бы и говорил. Только к чему ты во фраке, а не в мундире?

У купца важное и сытое лицо пемзового цвета. Он спрашивал медленно, нимало не думая над тем, что нам перед ним холодно стоять. Он злил меня, но еще более забавляла меня его тупость. Хотя Пашка дергал меня за рукав, но, чтобы продолжить забаву, я сказал ломаным языком:

— Мы гражданских пленных. Мы имели в Петербурге магазин золотых вещей и часы. Наш магазин подвергай немецкий разгром. Мы выскочили один фрак и один лаковых ботинок. Нас посылай в Сибирь. Это трудно! Мы каждую зиму живем в теплых Индий.

— Ишь ты! Купцы, значит. А с виду на инженеров похожи.

Он крикнул в глубь балагана:

— Илья, сконто! Приготовь чай и коньяк такожде. Честные купцы приехали.

Он пригладил бороду, как гладят ее купцы в тысячах романов и пьес, скинул фиолетово-голубую шапку и сказал с полупоклоном:

— Прошу почтить, чем бог послал.

Рассохин торговал кожей и валяным товаром. Он показал нам свой балаган и сына своего Илью, пестрого и веселого болвана с усиками, закрученными в кольца, которые он готовил для будущих парадов, где ему командовать батальоном. Затем Рассохин показал нам свои коммерческие знания — записи в книгах, которыми очень гордился, в особенности же гордясь тем, что умеет прекрасно подводить результаты своей годовой деятельности, так же как и тем, что все эти дебеты, вычеты, кассы, ценные бумаги, ожидаемые поступления, сомнительные платежи — переплетены в зеленую кожу. Показав весь свой балаган, он пригласил соседей: Зыкова,

торговавшего шелками, и Забейдуллу Галлимолина, привезшего из Казани в Ишим сушеные и засахаренные сладости.

Мы пили чай в тесной и хорошей отгородке позади балагана. Купцы усердно угощали нас, подробно расспрашивая о Праге.

— Наша жизнь протекла, — говорил я старательно,— почти сплошь в Индии.

— Постой, ты же говорил, будто торговал в Петербурге?

— В Петербурге основную торговлю вел наш старший брат, Станислав. Мы приехали к нему погостить. Вдруг подлый австрийский император объявляет войну славной России. Мы хотим идти добровольцами, но для нас нет такого закона. Для нас есть закон ехать в Сибирь. Мы плачем.

— Недаром наши хотят Индию забрать. Смотри ты, как в ней отлично обращаются по-русски,— сказал вдруг Зыков, прислушиваясь к моему рассказу.

Пашка от испуга почернел. Слезы показались у него в глазах. Раньше, когда я обращался к нему, он хоть молол какую-то чепуху, без конца повторяя «панов кшенски», но теперь совсем замолк. Тогда я ладонью утер его слезы и сказал:

— Мой брат, Павел, стеснительный. Видите, ему и по сие время хочется в добровольцы. Кроме того, он вокруг обернут бумагой, ему совестно, а ведь он обучался в консерватории.

— Где? — спросил татарин.

— Музыке учился в здании, которое называется консерваторией.

— Зачем врать? Зачем музыке учиться? Она всегда с уха дается.

Дмитрий Кузьмич Рассохин поправил своего приятеля:

— Это у них в степи музыка с уха дается, а христианская музыка требует учения возле консистории. Вот тоже я дочерям своим привез пианино за семьсот пятьдесят рублей. Тоже город! Пианино стоит и не греет, а на деньги не намекает. Так просто, вроде лакированного ящика. Разве здесь найдешь учителя? Здесь только движимое да недвижимое имущество да процентные долги. Попы, и те все спились.

Он крикнул Илье:

— Достань, сконто, две пары поярковых валенок и два полушубка подлинее, потому что ихние ступы мерзнут! Мы с пленными не воюем.

С величайшей радостью отложил я лаковые свои ботинки, которым я было сделал калоши из бумаги. Завернувшись в полушубок, я раздобрел, и от этого, должно быть, ложь моя стала совсем правдоподобной. Теплая Индия без труда уместилась в прекрасную Чехию. Моя брехня так подействовала на Пашку Ковалева, что он попытался рассказать о подвигах своей мамаши. Совсем не желая быть родственником Ковалихи, я резко прервал его:

— Что долго горевать? Смерть безжалостна. Нам надо относиться к ней тоже безжалостно. Наша мамаша умерла — и царство ей небесное! Хозяйством управляет наш старший брат Станислав, который, дабы загладить позор Германии, вместе со своим полком сдается возле Кракова.

— Отчего же ему не сдаться? — сказал Рассохин.— Зачем православным воевать с православными? Ты мне его укажи. Глядишь, я ему валенки пошлю и полушубок.

Купцы добрели, прибавляя коньяку в чай. Я предложил валенки и полушубок нашего старшего брата Станислава унести с собой, потому что он завтра, наверное, приедет в Ишим. Он толстый, ленивый, любит рассказывать анекдоты! Пашка испуганно замычал. Купец взглянул на него и, прослезившись от горячей доброты, которая посредством чая и коньяка наполняла его, вдруг вскочил:

— Коней, Илья!

Пара коней, фарфорово-серых и неудержимых, подкатила кошеву к рассохинскому балагану. Разморенные хорошим «байхо», удачным враньем и неожиданной лаской, мы, свалившись в кошеву, мгновенно заснули. Мы не слышали, как Илья мчал по ишимским улицам, как полозья раскидывали снег, скатывались в ухабы, взносились на жемчужные сугробы, как ударились о ворота и крыльцо рассохинского дома.

Рассохинские дочери: Августа, что имела щеки совсем киноварные, и Гликерия, с глазами почти фиалковыми, встретили нас нежно. Они хвалили в нас все, вплоть до моего сермяжного фрака, утверждая, что российским портным далеко до пражских. К нам подви-

гали многочисленные и прославленные российские варенья, а на кухне готовили пельмени.

Дмитрий Кузьмич поднял крышку пианино:

— Сколько брат твой Павел желает в месяц за ихнее обучение? Твоя поставка, а наше вычисление прибыли. Говори!

— Сорок пять рублей,— сказал я, тупо уставившись в клавиши.

— Дорого! Учить будете не оба. Другой будет торчать в тепле и уходе. Со скуки он сколько нажрет? Мне еды не жалко, но все-таки он пленный. Я бы тебя, Сиволод, мог в приказчики взять, но ты теперь уменьшенного капитала, да и как я пущу пленного в русскую торговлю? Музыка для вас самое подходящее тоскливое занятие.

— Пятнадцать рублей,— сказал я.

— Десять.

Мы согласились на двенадцать, так как девицы явно страдали от невежливости отца, который торговался с иностранцами.

Теперь я взглянул на Пашку Ковалева. Он уперся обеими руками в пианино, весь блестящий, покрытый водой от ужаса.

Дмитрий Кузьмич требовал, чтобы урок начался немедленно. Я смотрел на пианино, на Пашку и думал, с чего бы начать этот удивительный урок. Задумчиво ударил я пальцем в клавиши.

— У-у-у...— уныло сказало пианино.

Тут я сразу вспомнил, что когда в Екатеринбурге мне пришлось в последний раз проходить через «орлиный» зал для разговора с хозяином шантана, в углу возле пальмы стояла пани Марина и, ударяя величественно своим пальчиком, пыталась обучить Пашку Ковалева «Чижику». Лицо у нее было надменное, и надо полагать, что, сопротивляясь этой надменности, Пашка кое-чему научился.

Я важно сказал девицам:

— Мой брат учился в консерватории. Он будет обучать вас консерваторски! Главный техник заключается в том, что вы должны бойко одним пальцем научиться «Чижик», который есть первая наука всех музыкантов.

Пашкины глаза радостно засияли. Он схватил стул, пригладил волосы, глубоко вздохнув, поднял руки и весьма лихо отбарабанил одним пальцем «Чижика».

Дмитрий Кузьмич чрезвычайно похвалил его игру, сказав, что сразу видна ловкая православная рука и что господь бог наконец услышал купеческие молитвы, признав, что не должно же пианино зря пропадать. Дмитрий Кузьмич слегка подсмеивался над страстями своих дочерей, но мне казалось, что он завидует им. А стоило позавидовать! Гликерия, что с глазами почти фиалковыми, умела повелевать и умела наслаждаться властью. Едва лишь в дом входил какой бы то ни было человек, он попадал под силу этой маленькой девицы в щеголеватом синем кашемировом платье. По ее воле конторские книги, которыми хвастался Дмитрий Кузьмич, велись отменно, и это она приказала переплести их в кожу. Она распоряжалась отцом. Она бранила приказчиков — и бранила за дело, поэтому вокруг нее постоянно кипела работа. Меня, например, пока Павел обучал Августу выбивать «Чижика», Гликерия заставляла переписывать деловые бумаги, а когда выяснилось, что почерк у меня неплохой, она дала мне «перебелять» письма к подругам, которые она вела «для дела и постоянного знакомства», для чего в письмах менялись только обращения; так, вместо «Милая Сашенька» вставлялось «Милая Сонечка». Дня через три после нашего знакомства Гликерия осторожно спросила меня:

— Неужели-таки вы все позволили ограбить? Будто и припрятать не могли? Я тебе, Всеволод, сознаюсь, что если ты сейчас не наживешься, то ты никогда не наживешься. Ну, спрятал ты бриллианты. Ну, выкопал ты их. И тогда, и сейчас, и позже — бриллиант остается бриллиантом. Он не зерно, он корней не пускает, он только блестит. В дело их надо пустить, Всеволод, в дело!

Она необыкновенно увесисто выговаривала это слово «дело». Затем она протяжно сказала:

— Миллион пора доставать.

Она непременно хотела добыть «миллион в дело», и я верил, что она добудет его. Сестру свою Августу она презирала, а музыку считала блажью. Она злилась, когда отец не допускал ее ближе к торговле.

— Сколько денег на байховом чае пропивают! Мало им чаю, так они еще коньяк жрут. Разве так надо распоряжаться?

Она выспрашивала, как купцы распоряжаются в Чехии. Рассказами моими она осталась недовольна:

— Такая же неразбериха, как и у нас.

Августа, сестра ее, что со щеками совсем киноварными, страстно любила лихих коней и лихое конокрадство. Она знала множество легенд о конокрадах и отлично их рассказывала, а когда я попробовал сказать, что мне это скучно слушать, что кони меня утомляют, так как в Индии лошадей мало, ибо климат позволяет жить только слонам, Августа фыркнула:

— Вот поэтому-то цыгане и покинули Индию!

Выстукивая пальцем Пашкину песенку, она вдруг останавливала на мне свой пологий взгляд и восклицала:

— А ты понимаешь, чех, ведь «Чижик»-то любимая песня конокрадов! Эх, кабы ты понимал, чех, как бы ты мне угодил!

Ей было лет девятнадцать, но она все еще играла в куклы. Приглядываясь к ее играм, я понял, что она перенесла на куклы всю свою страсть к лихим коням и «лихим степям». Вот она прятала тряпичных коней под венский стул. Тихо крался цыган. Осторожно он открывал дверь, умелой рукой беззвучно взламывая замок. Цыган укутывал копыта кошмой и медленно выводил коня. Ох, как горели его глаза, когда мчался он через нашу гулкую и широкую степь! Месяц мчался над ним. Цыган переправлялся через реки, ночевал в камышах возле озер и наконец приближался к своему табору. Вот он скачет навстречу своей невесте!.. Августа, поднимая пыль юбкой, приседая, скакала вместе с цыганом по горнице. Она ставила у порога горшок с аралией: это было как бы столетнее дерево. Прислонившись к его стволу, в тени его больших дланевиднолопастных листьев прекрасного зеленого цвета, цыган рассказывал о своей великой удали и о том, как купец, вооруженный дробовиком, напрасно всходил на крыльцо, думая, что уберег коня, и напрасно сторож стучал деревянной колотушкой!

Вечером сбирались гости. Яков Егорович Зыков, мужчина с короткими ножками, но столь чудовищно большими стопами, что калоши он носил только заказные, постоянно твердил, что он легче легкого привыкает к любому событию и что это и есть настоящее «человечье» счастье.

— Ярмарка три недели торгует, милые мои. Другим купцам и водка в глотку не идет, милые мои, а я при-

вык, и мне легко. Ярмарка ушла. Другие купцы горюют, что прекратились дела, а я уж привык к этому, милые мои, и мне опять легко. Пленные «Чижика» все время играют, другие бы с этого повесились, а я привык, милые мои, и этим доволен. Вот только к женам я с трудом привыкаю, да и они ко мне с трудом идут.

Он был вдов. Семья Рассохиных видела в нем будущего своего затя. У него маленькие, словно кнопочки, глаза, так что даже сначала не заметишь, а тут — не успел оглянуться, как все вокруг тебя уже утыкано кнопочками, да и сам ты пришпилен к сиденью.

— Привычка очень нежное дело, милые мои. Вот вы посмотрите, как эти пленные быстро привыкли кушать купеческую пищу, а ведь это они наших братьев убивают на фронте, захватывают наши орудия, хоть мы и пишем в газетах, что ихние орудия захватываем. Да мне что, я привык, милые мои!

Забейдулла Галлимолин тоже холост. Но так как его вера чужая, то в женихах он не ходит, хотя уже два раза сватался за Гликерию. Сложив на коленях тонкокостные свои руки, он с ненавистью смотрит на Гликерию, на ее почти фиалковые глаза. Он ненавидит ее умение властно распоряжаться людьми, и ему кажется, что она уже придумала нечто такое хитрое, что заставляет его, Забейдуллу, вне его воли любоваться ею.

— Зачем бабам другими людьми распоряжаться? Баба должна скотом распоряжаться. Если я торгую, если я в лавке сижу и туда начнет моя баба залазить, то кому моим скотом управлять?

Когда он чувствовал усталость от ненависти и все возрастающей любви к Гликерии, он пытался беседовать с нами. Он подробно расспрашивал, как в Чехии, в Индии употребляют сладости, но в конце каждой беседы непременно говорил:

— Вижу, и в тех странах бабы лезут в дело. Понятно, что они там лезут, у этих народов скота мало. А зачем же их пускать, когда всю нашу степь заполняют табуны?

Мои индийские повести, раньше казавшиеся мне нескончаемыми, теперь быстро иссякли. Я повторил рассказы моего отца. Затем мне пришлось рассказывать о том, как я с группой бродячих факиров шлялся по Индии, какой у нас был замечательный руководитель Альберт Монти, удивительный строитель «грозный ма-

стер Иоанн Чарака» и бродячий фокусник-итальянец, толстяк Филиппи. Я заменил названия русских сел индийскими, и наше путешествие вызвало смех и шутки. После этого я рассказал о работе на чайной фабрике, в типографии, о том, как пел в индийском шантане, о том, как индийские купцы устроили камчугу. Все это не вызвало сомнения, только когда я рассказал историю о том, как вдова индийского купца подарила мне изумрудное кольцо, Дмитрий Кузьмич сказал:

— Вот это ты врешь, брат! Кольцо может подарить наша купчиха, потому что они с жиру бесятся, а чтобы индийская так поступила — не верю.

Гости согласились с ним.

Перед ужином мы сопровождали барышень. Мы гуляли взад и вперед по переулку. Пашка брал Гликерию под руку. Ломаным языком он хвастался замечательными бриллиантами, красовавшимися некогда в нашей витрине на Невском. Она жадно спрашивала:

— Небось на шее-то у тебя ладанка с алмазами? Фунтов пять имеешь, а?

По-видимому, Пашка нравился ей. В конце концов она даже с удовольствием стала играть неистребимого «Чижика». Должно быть ее прельщало то, что Пашка туго поддается ее власти, а Пашкино неповиновение происходило из боязни, что если он ей поддастся, то проболтается и выдаст свою национальность.

Когда мы укладывались спать на досках печи, он спрашивал меня:

— Всеволод, если этих девиц в барсианок превратить? Откормлены они достаточно, а главное — для остальных девок будет хороший пример. Раньше мамашино дело считалось позорным, теперь оно лечебное, они будут утешать защитников родины.

Когда я ему говорил, что он скотина, которая не способна испытывать благодарности, потому что это я придумал ему «Чижика», он отвечал:

— Ну, какая же я скотина? Я к тебе две недели чувствовал благодарность, а ведь генерал Пышминский меня, наверно, через полицию разыскивает. Тут как быть?

Он барабанил пальцами по горячим доскам и тихо говорил мне:

— Сам ты скотина. Ты только запугиваешь своими упреками людей, и вместо благодарности они начинают

ненавидеть тебя. Не ты, не твоя благодарность, не твой револьвер страшны мне, Всеволод, а страшен мне Илья Рассохин, который способен ухлопать меня за угон сестер.

Я молчал, нежно вспоминая, как Августа шла рядом со мной. Весело поскрипывали ее ботинки на морозе. Указывая куда-то высоко, но все же ниже громадного месяца, она лихим грудным голосом говорила мне:

— Смотри, вон там цыган скачет!

В переулке появлялись приказчики магазинов, враждовавших с рассохинскими. Хотя молодые купцы подстрекали их, но они, страшась гнева Гликерии и для того прикрыв лицо воротниками шуб и прячась за сугробы, кричали нам:

— Вот они какие, рассохинские дочери! С пленными разгуливают.

— Нам, того и гляди, в армию, в окопы, а им здесь пленных целовать!..

Меня обижала эта ложь, потому что никто меня не целовал, а мне хотелось, чтобы меня целовали. Мне скучно и горько существовать пленным. Я недоумевал. Все случившееся раньше и происходящее теперь не создало во мне ни огромной ненависти, ни огромной любви к Германии,— следовательно, я не гордился тем, что меня взяли в плен в моей собственной стране. К тому же приключенческие авторы: Жаколио, Стивенсон, Майн Рид, Сальгари, Жюль Верн, Брет-Гарт, Купер — родились и писали вне Германии. Правда, эти авторы умерли и, следовательно, не могли измениться так, как изменились их ученики, которые только сообщали, что русские, французы и англичане лихо бьют немцев, лихо и быстро ловят шпионов, мгновенно уничтожая адски хитрые замыслы, так что стоило верить, что война кончится в три месяца, хотя эти три месяца давно миновали и битвы вдоль Нижней Вислы, и на линии Августов — Гродно — Осовец, и на реке Золотой Липе, и у Сталюпенена, и галицийская, и гумбенен-гальдовская сменились другими битвами, а русские войска вышли из городов Бракюнен, или Минкштамен, или Красностав, и разгромленная 2-я русская армия, потерявшая два корпуса и командира — генерала Самсонова, который застрелился, армия, отошедшая вместе с другом моим Петром Захаровым к реке Наре, собирала свои силы, чтобы вновь наступать, а Петр Захаров давным-давно

уехал со своим полком в Галицию, где на фронте Модлиборжица — Яновшфрам наступал гренадерский корпус, среди солдат которого шел «грозный мастер» Иоанн Михайлов, чтобы и под небом Галиции высмотреть свой «вседельный снаряд».

Я тосковал.

Я перечел свои серые тетради. Я перечеркнул их. Там собрано множество мыслей, полезных советов и дельных замечаний, так что казалось, что если заучишь все это, то в жизни твоей не произойдет ни одной ошибки. А на самом деле между мыслями и полезными сведениями существовали или громадные впадины, или колоссальные выступы. Гладка бумага моих тетрадей, но ухабисты выводы!

На обороте страниц, перечеркнутых мною, я решил написать то, чего я не мог найти во всех журналах, которые просматривал в Ишимской общественной библиотеке. «Ишимский ярмарочный листок» закрылся вместе с ярмаркой. Шрифт освободился, и я решил предложить владельцу типографии, узкогрудому мещанину Ивану Масарину, издавать журнал. Я не буду спать ни ночей, ни дней, набирая, корректируя этот новый и необыкновенный журнал. Он будет толстый, любопытный, весь наполненный мелким шрифтом, а кроме того, при нем будут ежемесячные приложения под названием «Волшебно-приключенческая серия», то есть в ней вы найдете волшебство, которого нет на войне, и приключения, которых там тоже не встречается, потому что там стоят друг против друга две казармы с одинаковыми орудиями и одинаковыми офицерами, из которых выдерживает только та, которая обладает большим количеством хлеба и снарядов.

Окончив работу, я лил оставшийся в лампе керосин в бутылку, нес ее в «барс», переливал в крошечную светильню, которая стояла у меня на кирпиче в углу печки, завешенная весьма умело, так что она бросала только узкую полоску света как раз на мои тетради. Я не хотел привлекать светом пьяных «гостей», которые орали в душных и грязных горницах, не хотелось мне также, чтобы девицы, веселящие гостей, смотрели на то, как я пишу. Журнал назывался «На краю света». Вместо «Его тайн» я писал мелким-мелким почерком, дабы вместить в мои тетради побольше текста, о том, что именно здесь, на краю света, в морозных и блестящих

снегах хранится еще мечта о битвах с природой или с людьми, которые мешают человеку побеждать эту природу. Так как у меня не было родины, то естественно, что мне была безразлична моя фамилия, поэтому я писал:

«Альберт Монти. «Сила». Роман в пяти частях.

Профессор Селин, исследуя муравьев, открыл состав пищи, которой они питаются. Профессор Селин попробовал свое изобретение на людях, и в частности на самом себе. В непродолжительном времени профессор Селин стал обладать силой, которая пропорционально была равна силе муравья, то есть человек стал сильнее в четыреста раз. Профессор Селин, правда, испытывая множество затруднений, смог, однако, тащить на плече вагон; он выдергивал одной рукой дерево вместе с корнями из земли, толчком ноги опрокидывал деревянный дом, а великое множество лошадей не могло его сдвинуть с места. Все это ничего, пока он силу эту применял к себе, но вот профессор пожелал иметь учеников, которые стекались к нему сотнями. Тут вмешалось государство, по мнению которого профессор не имел права распоряжаться своей силой, награждая ею кого он хочет. В столкновении с государством профессор Селин погиб вместе со своим изобретением!..

Альберт Монти. «Бутылка». Роман в пяти частях.

Некий Н. Вальтер нашел бутылку, в которой спрятан рецепт, как человек может получить способность иметь ровно столько предметов и пищи, сколько их нужно для существования. Едва лишь этот рецепт Вальтер попробовал применить на своей семье, как она сразу изменилась: его ближние утеряли жадность, у них много свободного времени, они могли наслаждаться природой, у них сразу изменился характер, но тут правительство возмутилось, что Н. Вальтер применяет рецепт к тем, кому не следует. Н. Вальтер, после ряда злоключений, погиб вместе со своей бутылкой...»

Мрачные планы романов А. Монти не удовлетворяли меня. Господин Альберт Монти тяжелым своим характером резко отличался от веселого директора «XX века».

Война испортила и его! Тогда я пригласил мало знакомого мне романиста, который пожелал подробно описать полтора суток жизни человечества:

> «В. Дорф. «Планета». Роман в пяти частях.
>
> Земля узнает от астрономов: через тридцать шесть часов некое розовое тело, несущееся к нам из мирового пространства, столкнется с планетой и разобьет ее. Как люди относятся к тому, что скоро разрушится все, над чем много поколений трудилось? В. Дорф рассказывает, как некоторые из людей бросились громить магазины, где жрали и пили до отвалу; кое-кто жег дома, наслаждаясь пламенем еще до того момента, когда пламя охватит всю планету. Некоторые вечные франты скидывали и надевали лучшие платья, другие торопились убить своих врагов, третьи, не веря в астрономов, искали драгоценности, четвертые молились в церквах, но где-то там, на краю света, в Сибири, возле факира Бен-Али-Бея собралась группа его друзей, которым он предложил, дабы знания человечества не погибли даром, собрать их! Друзья факира поспешно искали самые важные книги, самые важные изобретения, чтобы запаковать их в громадный сундук, который они собирались бросить под льды Ледовитого океана, надеясь, что айсберги защитят своим холодом этот сундук и он передаст свои знания будущим наследникам планеты...»

Тщетно я перелистывал свои тетради. Что из них передадим мы будущим наследникам планеты? Для чего записано то, как приготовлять ликеры или как делать шпикованную ягнятину со шпинатом? Разве понадобится им секрет домашнего сыра? Или они должны знать, как готовить зеленые щи или как делают патроны для фейерверка, «золотые звезды» или «цветные бечевки» — «для чего потребуется вам селитры две части, серы шестнадцать частей, к которым для белых огней вы прибавляете одну часть сурьмы, для синих — две части ярь-медянки в порошке, а для красных — пять частей азотнокислого стронция».

Это ли я должен передать человечеству? Это ли есть знание? Стоило ли ради этого приготовлять громадный сундук, дно Ледовитого океана, величественные айс-

берги,— словом, все то, что защитит мой сундук от пламени вулканов, рожденных розовым светилом?

Мало во мне знаний!

Еще меньше у меня друзей!

— В Индии на каком языке разговаривал? — спросил Дмитрий Кузьмич, после того как ему достаточно надоели упражнения дочерей на пианино.

— На всяких языках,— ответил я осторожно.

— На французском, случайно, не приходилось?

— И на французском приходилось,— ответил я еще более осторожно.

— Так вот ты, Сиволод, занимайся-ка с моими дочерьми по-французски. Всякое случается: немцев побьем, и поедет царь с царицей осматривать подданных, с какими такими имуществами они победили немцев. Ну, приезжает царь в Ишим, занимает все номера своей свитой, а сам разбивает палатку на Соборной площади, потому что нет ему в Ишиме ни одного дома подходящего. Наш царь Николай любит огромные дома! Ну, понадобилось купечеству представляться императору, а купеческим семействам — императрице. Так ты что же полагаешь, Сиволод, моим дочерям с императрицей на купеческом языке говорить?

— Купеческий язык, Дмитрий Кузьмич, мало пригоден.

— Верно! Сразу видать иностранца. С полслова понимает. Вот и учи ты их французскому языку.

Я безмолвно наклонил голову.

— За французский язык прибавляем вам еще десять рублей.

Я опять безмолвно склонил голову.

Сомнения мои продолжались недолго. Купцы меж собой часто разговаривали о киргизском князе Рахманове, который приехал в Ишим и его уезд скупать баранину для армии. Князю удалось в начале войны вложить в «баранье дело» крупные суммы денег, так что он сейчас обладал колоссальными капиталами и никто в уезде не мог сопротивляться ему. Князь скупал баранину и в Омске, и в Петропавловске, и в Кокчетаве, и в Семипалатинске. Офицерство трех армий питалось его бараниной!

К императору Николаю девицы вряд ли попадут на прием, но к степному хану, торгующему бараниной,

они попадут несомненно. Не лучше ли им выучить киргизский язык вместо французского:

— О, салем аликум!

— Маликум га салем!

Чем это хуже французского, хотя я и не знал его.

Как только я додумался о киргизском языке и о князе Рахманове, я сразу же вспомнил степь, наш обоз с товарами, кочевья хана Рахман-Аяза и его прекрасную и опрятную дочь Нюр-Таш.

— Дочь при нем?

— В лазарете у докторши на сестру милосердия обучается,— ответил мне Дмитрий Кузьмич.— Очень чистая девка, куда поверить, что немаканая!

Рахман-Аяз остановился в тех номерах, где некогда обокрал нас Филиппинский. Пойти к нему? Я представил, как из его номера вынесены стулья и столы. Толстая белая кошма покрывает дно горницы. На кухне, возле чугунов, где варится баранина, суетятся киргизы-работники. Я узнаю их говор, их широкие малахаи, их стяженые бешметы. Они не удивляются моему киргизскому языку, думая, что я пришел продавать баранов. В углу номера, окружив себя подушками, поджав под себя ноги, сидит Рахман-Аяз. Я сразу узнаю его ленивое лицо, вялые движения и голос, как бы маслянистый:

— Великая война позволяет моему народу приблизиться к океану. Мы сильно разбогатели, потому что, заметьте, киргизы продают не свой скот, а чужой. Вы с какой целью, господин?

Мне захочется напомнить ему о прошлом, и я скажу:

— Не требуется ли вам, господин Рахман-Аяз, приказчика?

— Всегда так! Всюду меня осаждают посетители. Очень трудно быть ханом!

Нюр-Таш одета в форму сестры милосердия. Ее окружают прапорщики с папиросами в зубах и в новых сапогах и синих брюках с кантами. Толстый приказчик в лисьем малахае, несмотря на жару надвинутом плотно на лоб, держит у колена узкую конторскую книгу и химический карандаш. Он пишет этим карандашом поперек графы. Приказчик совсем не умеет управляться с книгами! Нюр-Таш мельком взглянет на мой фрак и валенки. Подумав, что это грязно до такой степени, что никогда не отчистишь, отвернется и спросит прапорщика, артиллериста:

— Неужели такие громадные орудия поддаются чистке?

— Чистит не одна персона, а десятки. Тогда орудие блестит, словно ваши зубки,— галантно ответит ей артиллерист.

— Приказчики нам не требуются,— повторит слова своего хана толстый киргиз в лисьем малахае, еще более усердно водя карандашом поперек графы.

— Вот почему вы и портите книги, — скажу я им, уходя, и никто не расслышит моих слов.

Я размышлял об этом на печке поздним вечером. Пашка Ковалев все еще обучал девиц «Чижику», а татарин Галлимолин, которому надоели мои рассказы об Индии, сказал, зевая:

— Знаешь, я бы тебе посоветовал: зачем зря тосковать? Парень ты здоровый, почему тебе не бежать через Сибирь и Туркестан в эту самую Индию? Раз у тебя там есть знакомые, они тебя доставят в Чехию. А пока иди спать на квартиру, куда ты приквартирован.

После таких обидных слов трудно писать роман «Планета». Кроме того, я привык писать под рев гостей, а они в этот день веселились в другом «барсе». Отогнув занавеску, я наблюдал, как Татьяна Тевкелеева ставила самовар. Она усердно раздувала его, потому что положенные внутрь щепки не разгорались, а рука ее уже держала совок с углями. Она спросила меня, не дам ли я ей керосина, чтобы слегка брызнуть на щепки: Аника ушел, а перед уходом он прячет все, что можно спрятать. Я подал ей спички, бутылку с керосином и почувствовал, что роман писать сейчас совсем невозможно.

— Петр Захаров-то уже три «Георгия» имеет.

— Он храбрый,— лениво ответила она, брызгая на щепки из бутылки.— А ты чего на войну не пошел? Грыжа, что ли?

— Я иду в Индию. Пойдем?

Она рассмеялась. Мне показалось, что она с нежностью выслушала мое предложение. Раздув самовар и вздохнув о моих страданиях, она вспомнила свои. Ей захотелось признаться в том, в чем раньше она стеснялась. Она быстро вскочила на печь. Я поднял занавеску. Она легла рядом со мной на горячие доски. Я отодвинул подальше от себя тетрадь с романом. Мне было приятно, что она выбрала такое удачное время для на-

ших воспоминаний. Заложив руки за голову, робко и мягко глядя в сторону от меня, она подробно рассказывала, как у нее от Петра Захарова родился ребенок и как пристав выгнал ее из дому.

У Татьяны овальное лицо, замечательно кругло очерченное, и так же легко и приятно очерчены мутные круги глаз. Меня волновал ее совсем круглый подбородок, ее высокий лоб и страстные твердые волосы, которые завиты так, что похожи на корабельный канат.

— Работе я не обучена, и почерк плохой, не приставский,— говорила она, улыбаясь.— Ребенка отдала на воспитание, а за воспитание надо деньги. Откуда мне их взять? Вот, спасибо, Аника Родионович приютил. Он хороший.

Улыбка у нее подвижная и слегка строгая, в особенности когда она говорит о других, а не о себе.

— Какой же он хороший? Каторжник.

— Это ты зря. Он, согласно закону, аккуратно отдает мою четверть. А ты знаешь, в некоторых, даже самых богатых «барсах» девицы годами не получают своей четверти. Он закон блюдет. Вот, по закону, посетителю по воскресеньям до конца обедни к нам приезжать нельзя, так он отпускает меня к ребенку.

Она рассмеялась.

Я был очень благодарен ее нежному смеху и голосу. Меня умиляло, что она слышит, как за пригоном на сугробе «смеются собаки». Вместе с нею я похвалил собак, что умеют смеяться. Она начала хвалить девиц, которые живут с нею вместе, а затем и посетителей. Когда я выбранил ее: «Чего же тут хорошего: вон вчера посетитель тебя по лицу грязным веником ударил, а другой солонку высыпал на голову и вылил бутылку пива»,— она сказала кротко:

— Так они пьяные, а пьяные как сумасшедшие, что с них возьмешь? Ведь они пьют-то не от того, что им хорошо, а от того, что мутит их.

— Все так говорят. Меня тоже мутит, да я не пью.

Она погладила меня по щеке. Губы ее направлены в мою сторону. Она лежала все так же, положив руки за голову, только повернув ко мне свое круглое лицо. Я нес к нему мои губы.

На печке чрезвычайно душно. Коптилка, при которой я писал свои романы, от этой духоты и от нашего тя-

желого дыхания быстро потухла. Татьяна рассмеялась и спросила меня:

— Ты это все домашним пишешь? Чтобы денег прислали? Не пришлют. Вот подожди месяца четыре, и ты запьешь.

Я объяснил ей смысл своих серых тетрадей.

Она сказала, чем-то разочарованная:

— Глупости все это. Вот я сколько романов прочитала. Все пишут: бифштекс да бифштекс, а его даже наши ишимские офицеры не едали.

Может быть, она думала, что я пишу письма Петру Захарову? Или излагаю ее жизнь приставу Тевкелееву? Или ее разочаровало другое? По правде сказать, мне трудно было догадаться о причине разочарованности, которая слышалась в ее голосе.

Самовар потух. Последние искры его исчезли, а я чувствовал и видел, как лицо ее приближается к моему. Мне чрезвычайно хотелось поцеловать ее.

В этот год я видел много прекрасных дам, но ни одна из них не возбуждала во мне такого широкого стремления поцеловать ее так широко и крепко, как я хотел поцеловать эту девушку. Но и то должен добавить, что ни одна их этих дам не находилась от меня так близко, как эта. Достаточно шевельнуть пальцем, чтобы я уже тронул ее сладострастное тело! Мне становилось понятно, почему плохо я писал свои романы, прислушиваясь и злясь на голоса гостей, которые обижали ее. Прельстительны были и чудесны дамы шантана, прельстительны и строги как бы металлические девы балагана с синими кругами век, с красотою голода,— но как они все далеки от меня!

Я потрогал рукой сухие свои губы, что дало основание подумать о том, как следует целовать людей: стремительно ли или медленно, как бы неохотно. Поцелуи, размышлял я, так же разнообразны, как и способы ставить самовар.

Отец мой придавал большое значение тому, как надо разжигать самовар. Едва лишь солнце приближалось к нашему казачьему горизонту, как отец мой шарил спички, а затем брал сапог. Три времени года самовар раздувался на крыльце под небольшим навесом, а зимою уносился в сени, но не глубоко, как будто самовару полагалось подслушивать все происходящее на улице. Отец мой, как известно, искал частых видоизменений

и частых комбинаций в ощущениях, причем искал их самостоятельно, без чьей-либо помощи. Хотя отец мой и не признавался, но самовар часто заменял ему железнодорожный поезд. Отец мой раздувал его сапогом. Он испортил при этом много сапог и прожег множество шаровар. «Шалишь, одолею, — говорил мой отец, — шалишь, шалыган!» Сказав такие слова, отец мой цитировал Канта, а именно то, что «понятие о счастье до такой степени неопределенно, что, хотя каждый человек желает достигнуть счастья, тем не менее человек никогда не может определенно и в полном согласии с самим собой сказать, чего он, собственно, желает». Отец мой добавлял, что неопределенность эта происходит оттого, что элементы счастья должны быть взяты из опыта, а опыта счастья еще так мало! Но тут-то, как бы мешая развитию размышлений моего отца, начинал чихать и грохотать наш будильник, обладавший весьма коротким, хотя и язвительным словарем, который силой своей как бы намекал на предстоящее могущество пулемета великой войны девятьсот четырнадцатого года: «Чье? Чья? Чьи? Чье? Чья?» Будильнику полагалось трещать тогда, когда закипал самовар, и это трещание было как раз то, ради чего отец мой раздувал самовар. Сущность самоварных хлопот заключалась в умении, с которым должно подобрать угли и растянуть гармонику сапога, причем все это сочетать так, чтобы клубы пара приподняли клапан, как раз когда нужно работать будильнику. Такое знание техники возбуждало среди казаков большое уважение к моему отцу, помимо того, что будильник гремел так, что его слышно было в любом конце поселка, и казаки, вставая под его грохот с пуховых своих перин и зевая, говорили любовно и восхищенно: «Вот шальной! Уже гудит». Надеюсь, вам понятно стремление моего отца к самовару и изречение, созданное им при самоваре, что «чем больше новизны в происшествиях, тем предмет представляется нам с большим удовольствием», а также то, почему разжигание самовара волновало моего отца каждый день с раннего утра. Ведь угли могли попасть или чересчур сухие, или чересчур сырые, или так сильно пустишь воздух сапогом, что из-под низу выкатится необыкновенное количество светло-желтых или густо-оранжевых искр, что указывает на неправильность в процессе кипячения. Отец хотел знать точную систему кипения са-

мовара — и он узнал ее! Так в бездушную машину, как и во многое, что для людей обычно и скучно, мой отец способен был вдунуть трепет ловли и охоты, причем ко всему этому он находил подходящую цитату из мыслителей, каковыми он всегда был снабжен в достаточной степени. Только однажды в московской парикмахерской отец мой удивился своему незнанию, когда парикмахер предложил ему шампунь. Парикмахер, дабы полюбоваться на удовольствие человека, который явно обладал способностью прекрасно выражать свои чувства, вымыл отцу моему голову этой душистой жидкостью. Отец мой признавался, что и тогда и по сие время он не подыскал к этому случаю хорошей цитаты. В трепете охоты отец мой, вооруженный цитатами, находил то ощущение, с каким предмет, видимый человеком впервые, воздействует на него. Трудновато в тысячный раз кипячение самовара, однако, дабы получить благодаря этому новый рассказ, отец мой весело стоял у крыльца, опираясь на лопату или, как он называл, «шанцевый инструмент», хотя никогда углей этой лопатой не брал. Он стоял, прислушиваясь к бегу времени, отмечаемому будильником, или задумчиво смотрел на теленка, который вековечно брел по нашей улице и за которым вековечно гналась девчонка в отрепанной юбке. По пригорку брели ленивые утки. Отец мой думал не о том, когда загонят наконец этого теленка,— нет, взор моего отца был направлен в глубину глубин, разыскивая там такое, что не стыдно повторить множество раз и что могло принести большую пользу человечеству, изо дня в день делающемуся все безобразнее и безобразнее. Вполне соглашаясь с Кантом, он все-таки для себя-то знал, что такое счастье, и определение Канта он относил только к остальным людям. Счастье моего отца заключалось в том, что он мечтал развить свой рассказ до предельных его возможностей, то есть так, чтобы его услышал весь мир. Присматриваясь к самовару и к искрам, которые он испускал, отец мой думал, что если уж рискнуть рассказать подлинно широкий рассказ, то надо действовать наверняка. Он стоял, прислушивался, измеряя, достаточно ли могуществен новый рассказ,— и каждый раз приходил к выводу, что рассказ прекрасен для казаков, но недостаточно силен для всего мира! Но, как бы сомневаясь в своих измерениях, он чрезвычайно осторожно вносил самовар в дом, будто

нес самого себя, боясь расплескать те замыслы, которые созрели в нем. Отец мой ставил самовар на стол так тихонько, что ножки еле прикасались к бурой клеенке, но едва лишь самовар опускался на все четыре лапы, как здесь оканчивались колебания моего отца, и он садился пить чай, уже размышляя о делах более простых и житейских, вроде того, что не пора ли ехать на сенокос, или если это было зимой, то не поскрести ли ему навоз в пригоне. Изо дня в день, как только я вспоминал моего отца, я постоянно видел перед собою выгон, крыльцо школы, оранжевые искры, вылетавшие из-под низа самовара, и над красной медью — его тщательно вычищенный сапог. Вспоминая отца, я ждал, когда же он найдет ту необыкновенную повесть, ради которой он жил, свершая удивительные дела, в том числе и многолетнее раздувание самовара. Несомненно, отец мой уже придумал многое из этой повести, и алебастровый банк, несомненно, входил сюда какой-то своей частью. Но отец мой не желал удовлетворить мое любопытство! Он больше писал о том, как древние употребляли алебастр вместо извести и как благодаря этому здания не разрушались землетрясениями. Кроме того, отцу особенно много и писать-то нельзя было,— он и уважал мое время, и не мог тратить на письмо больше семи копеек в неделю; отчасти из-за этих семи копеек он укорачивает свои размышления, так что я не получал даже необходимых мне намеков, и вот уже много лет самовар, — напрасно, по моему мнению, — бросал искры на выгон, и если отец мой, обволакиваемый этими искрами, походил прежде на сфероид, несовершенный шар, то теперь это стало его подлинной сферой. Из этой сферы я слышал теперь его голос! Он глухо доносится ко мне. Я смотрел пристально на искры и на черный выгон. Под моим взором искра превращалась в оранжевый шар, подобный шаровидной молнии, и я слышал голос моего отца: «Существенное в шаровидной молнии не гром, а ее шаровидность». Я смотрел, прислушивался к этому голосу моего отца, и мне казалось, что ему никогда не придумать настоящей повести и он будет ограничиваться отрывками из нее, вроде рассказа о том, как знаменитый капитан Лянгасов приобрел на аукционе за три рубля подержанный самовар. Капитан Лянгасов так заботился о приобретенном самоваре и его чистоте, что необыкновенная способность самовара поддаваться

самому желаемому блеску встревожила его, и он пришел проверить: в своем ли уме эта самоварная медь. Выяснилось, что медь была золотом. Капитан Лянгасов, как вам известно, отличался удивительной честностью, а кроме того, совершать подлости не позволял ему попугай Худак. Капитан Лянгасов отправился искать владальцев золотого самовара. Многие бывшие владельцы самовара отказывались получить его, так как владение золотым самоваром при их сомнительном положении, вроде мелочной торговли или печения просфор, связано с неизбежными покушениями на их жизнь, и они признавались в тех чудовищных поступках, которые совершили они, дабы развязаться с самоваром. Но капитан Лянгасов страстно желал восстановления справедливости, пока наконец одна прекрасная девушка, потрясенная капитанской честностью и остатками его красоты, хранящимися в бакенбардах, не полюбила его. Так как девушка оказалась бедной, а ей требовалось приданое, то золотой самовар продали на слом, из чего соорудили приличную свадьбу. Рассказ этот, как и прочие, отцу моему нравился мало, и отец его сравнивал с расстегаем, «пирожок с начинкой и со щелью, сквозь которую виден фарш, но который и не мясо и не тесто», а ведь рассказ о золотом самоваре, несомненно, стал бы более убедительным и живым, если б отец мой признавал, что ничего лучшего он рассказать не в состоянии, однако отец мой сделать этого никогда не мог! Если бы он сказал так, то немедленно чудеснейшая сфера, окружавшая его, превратилась бы в скучную географическую планисферу — унылое изображение двух великолепнейших земных полушарий на плоскости. Вот почему, если даже давно потухли искры, и черный выгон покрыл дождь, и золотой закат скрывали серые тучи, если даже теленок стоял в теплом хлеву и дремал, закрыв вежды, и замечательные иртышские омуты, и не менее замечательные плавники стерлядей, и пробки переметов, и откосы крутого берега скрывал туман, и весь мир походил на плакучую иву,— все же пламенное сердце моего отца неудержимо горело, и, завертываясь в рваное одеяло, он сладко говорил перед сном, причмокивая губами и посапывая носом: «Знатно мы сегодня попили чаю, знатно разожгли самовар, но на завтра припасены такие угли и так Ариша завела пружину будильника, что будет необыкновенный случай...»

Короче говоря, пока я размышлял о самоваре и обо всем том, что связано с ним, так же как и о сравнительной ценности поцелуев дамы из шантана или дамы из балагана, Татьяна руки из-за своей головы переложила за мою голову, и все то, чему предстояло совершиться, о чем думал я, когда нес к ней свои губы,— свершилось.

Утром, перед уходом моим на работу, Аника Кожурин удержал меня за плечо:

— Там у типографщиков модных журналов нету?

— Нашел модников!

— А если встретятся — притащи. Но это, брат, не значит, что ты мне не отдашь сверх квартирной платы тридцать копеек. Давай лучше сейчас, а то забудем.

— Какие тридцать копеек?

— Даром тебе лежать на моей печке с моими служащими? Я и то скидываю тебе двадцать копеек ради ее добровольного движения.

Я немедленно отдал Анике тридцать копеек.

Мне не жалко было этих монет, а я страдал от горечи, что кротость Татьяны не позволила ей удержать при себе тайные наши объятия. Я понял, что тщетны мои мечтания об изучении ею наборного дела, дабы она смогла достойно воспитать сына сибирского героя. Тщетны также мои надежды о том, что я напишу письмо Петру Захарову с изложением жизни его сына, чтобы тот еще больше гордился своими подвигами, которые он свершает ради своего сына. Кроме того, по суровому лицу Аники Кожурина я понял, что вряд ли еще повторится наша встреча, а значит, мои размышления о нескончаемом самоваре моего отца.

Лицо мое изображало страдание. Пашка Ковалев, любивший долго поспать, увидав это лицо, немедленно соскочил, босой и в нижнем белье, с печи и встревоженно спросил скороговоркой:

— С какими служащими? Почему пятьдесят копеек? Что такое этот Всеволод надумал?

Тут возле крыльца заскрипел снег и зазвенели колокольчики. Девицы, накинув платки, пошли встречать гостей.

Распахнулась дверь.

Сердца наши замерли.

На пороге, сдвинув шапку на ухо, стоял румяный, веселый болван Илья Рассохин.

Пашка шмыгнул на печку. Мы опустили ситцевую занавеску.

— Хозяин, чехи у тебя тут живут? Расквартированные?

— Чехов нету, а девицы сплошь русские. Пожалуйте, господин купец.

— Отвечай, хозяин, по тем предметам, по каким тебя спрашивают. Ты морду не коси, меня не запугаешь, что ты бывал на каторге. Я так способен съездить, что поползешь на четвереньках. Где чехи?

Он снял рукавицу и показал громадный розовый кулак.

Аника побледнел от злости, но ответил почтительно:

— Нету чехов, господин купец.

— Да вот же записан адрес приказчиками. Указан твой рост и твоя каторга. Одного чеха зовут Всеволод, а другого Павел.

— Так вы, господин купец, изволили бы сказать прямо, что они в балагане играют чехов. Балаганщики у нас имеются.

Я поднял занавеску.

Илья Рассохин, заложив руки за спину, стоял перед нашей печью. Если бы я протянул руку, я мог бы потрогать его румяное улыбающееся лицо.

Пашка прятался за мою спину, поспешно натягивая брюки. Я сидел на корточках, уже одетый, и положил руку на металл кармана. «Если биться, так буду биться до конца,— подумал я.— Черт с ними, если и не допишу роман!»

Илья Рассохин передвинул пушистую шапку на другое ухо и улыбнулся:

— Так вы, оказывается, ребята, не чехи?

— Каторжанин говорит правду.

Я ответил этой цитатой из какой-то своей пьесы. Трудно было подобрать более подходящее к росту и глупости нашего квартирного хозяина. Я добавил только:

— Какие мы чехи?

Илья Рассохин вдруг захохотал:

— Экие изворотливые дьяволы! Вот смеху-то жди! А радости и того больше. Я ехал к вам прямо чуть ли не в слезах. Кому и на что пожалуешься? Чехи ведь! А мы, понимаешь ты, поймали чужих приказчиков. Они нам говорят: имеем полное право так действовать, по-

тому что ваши девки гуляют с пленными. Ну, кому на них пожалуешься?

— А как они действовали?

— О, господи, да как обычно у нас действуют! От низа до верха и от одного столба к другому вымазали ворота дегтем.

Он швырнул шапку на пол, топнул ногой и закричал:

— Русские! Наши! За чехов я не имел права морду бить, но за русских — господи, как я буду бить морду! Мордой сотру весь деготь с ворот! Русские! Пива, хозяин, водки! Камчугу делаем!..

32

От этого неожиданного поворота «пленной нашей жизни» началось, тоже неожиданно, Пашкино процветание. Каким-то образом посетители кожуринского дома пронюхали о порученном ему генералом Пышминским удивительном деле, причем три тысячи барсианок немедленно спутали с тремя тысячами голов «крупного рогатого скота» и с тридцатью тысячами пудов сливочного масла. Пашку Ковалева окружило всеобщее почтение, и даже Аника Кожурин дал ему взаймы семьдесят пять рублей. Пашка немедленно поверил в необходимость или даже, если хотите, в страшную неотвратимость «комплектования» трех тысяч.

Пашка сидел на печи против меня. Обняв руками тощие колена, он спрашивал:

— Неужели ты, Всеволод, не поможешь мне? Ты, брат, испытаешь всю сладость, которая поедет потом от тебя на фронт. Таким образом, ты почувствуешь наслаждение, не будучи на фронте и не получая легких ранений. По правде сказать, Всеволод, ты тоже сладости любишь. Тебе, я знаю, будет приятно похвастаться тремя тысячами девиц.

— Ты подлец, Пашка.

Глаза у него горели. Лицо у него было такое напряженное, что мне иногда казалось, что его мысли до некоторой степени похожи на мои мечтания и что я не зря терплю его возле себя.

— Ты полагаешь, что так и легко соберешь эти три тысячи? Нет, Пашенька, тебе будут бить морду женихи, опозоренные отцы, братья, резать твой живот столовыми ножами огорченные матери. А самое страшное битье

ждет тебя на фронте от солдат, которые ждали вовсе не такое наслаждение, какое ты привез им. И так как лицо твое связано с наслаждением, а не с горем, которого они столько видят на фронте, то они запомнят тебя. Солдаты вернутся с фронта. Тысячи тысяч! Из-за каждого угла выйдет на тебя солдат — и трах! В ухо! В рыло!

Мои мрачные выдумки и тяжелые препятствия, которые я показывал ему, загоняли его временами в свойственное ему уединение и замкнутость. С ненавистью он глядел на меня. Он рад был бы уничтожить меня, но у него не только на это, но и не было сил, чтобы убежать от меня. Иногда он вспыхивал и кричал:

— Раньше я тебя слушал, Всеволод, а теперь не хочу! Позорное было занятие, я верил тебе, а теперь какой тут позор? Кому ты запретишь собирать аптекарских помощниц? Достаточно ты меня обманывал, Всеволод!

— Пусть тебя обманывают все, как обманываю я, Павел.

— Ладно, ладно! Притворяешься другом, чтобы хапнуть из трех тысяч. Не ты, а они мои друзья. Они меня хвалят, что я прекрасно сделал, когда выдавал себя за чеха. Я узнал, в достаточной ли мере они патриотичны.

— Какой тут патриотизм? Чехов ласкают.

— Чехи — славяне. Подожди немного, когда они все сдадутся, так объявят внутри России чешское королевство и пойдут воевать за него с немцами. А немцев у нас выморозят, как выморозили французов в двенадцатом году. Мы всю Европу переморозим!

— Приятно, что в тебе возникло столько патриотизма, Павел. Несомненно, он поможет тебе накомплектовать три тысячи требуемых девиц. Боюсь только, как бы их не утащил Филиппинский.

— Теперь-то он меня не обманет! К нам фельдшер Мериносов едет.

Он вытащил из шапки сверток объявлений в четверть писчего листа. Он заказал, набрал и напечатал их в мое отсутствие. Объявления приглашали желающих поступить на курсы аптекарских помощниц: «Адресоваться в дом А. Р. Кожурина на Богоявленской улице, дом № 10».

Пашка размахивал этими объявлениями и кричал, что война отбросила ту ложь, которая висела над про-

фессией Ковалихи и ей подобных. Пашка неожиданно обнаружил большие знания в этой области. Ошеломленно слушал я его. Оказывается, этим делом занимались многие весьма почтенные люди. Образ женщины в греческой скульптуре указывает нам главную профессию греков. Улыбающиеся иронические маски или гордые, суровые богини Фидия и Поликлета, с их низким узким лбом, обрамленным густыми вьющимися волосами, с носом прямым и слегка толстоватым, но тем не менее прекрасным, с ртом, всегда украшенным толстыми полуоткрытыми губами, с большими глазами, глубоко сидящими под широкой бровью, с глазами, холодный блеск которых освещает бесстрастие черт, — все это указывает на то, что продавалась как и величественность, так и великолепная ирония. Все эти Артемиды, Венеры, Минервы, Юноны, все встречающееся на памятниках в Элевсине, в прекрасных кариатпдах Эхтеона, на сиракузских медалях, в пленительных статуэтках, находимых при раскопках в Беотии,— все это указывает и подтверждает слова Катона о том, что «греческие статуи являются в Рим точно неприятели», и то, что дальше разъясняет о греческих поставках и тогдашних «укомплектованиях» поэт Вергилий: «Пусть другие придают жизнь мрамору и выливают из бронзы нежные формы, ты же, римлянин, помни, что твое наслаждение — владычествовать над народами!»

— И не три тысячи поставляли, а миллионы! И статуи эти были вроде каталогов или рекламных фигур. Неужели Сибирь уступит Греции?

Он показал мне несколько телеграмм.

— Чтобы из-за тебя не попасть под дисциплинарный суд, мне пришлось привлечь к делу мамашу. Она телеграммами передала почтение барсианам. Фельдшер Мериносов приедет, а у меня уже готово шестьсот помощниц.

Но все-таки мой взор тревожил его. Он прятал в карман телеграммы, бледнел, охватывал руками колени, ежился и восклицал:

— Им, видите ли, нужны красивые тела, живописные позы, а где это я найду такое? Здесь не женщины, а какие-то выкорчеванные деревья! Какая тут, к черту, живописная поза, на кого ты наденешь блестящую ткань?

Он взмахнул веснушчатыми своими ручками:

— Я ненавижу животных, в особенности кошек! От животных вонь, грязь. Недаром этих женщин зовут барсианками. Барсы воняют чудовищно. Человек должен быть вегетарианцем, а для этого надо уничтожить всех животных. Вот ты на меня орешь, Всеволод, а что, разве плохо, когда барсианок отправят на фронт и уничтожат их всех там? Так, вместе с концом войны, мы избавимся от профессии, которую ты признаешь ужасной.

Руки мои дрожали. Я смотрел с ненавистью на него, но, все еще надеясь на исправление, вежливо говорил:

— Да, всяко бывает. Пойдем работать в типографию.

Через несколько дней он отказался ходить в типографию. Он получил письмо от Петра Захарова. Из конверта вывалилось множество газетных вырезок. Газеты сообщали, что Петр Захаров захватил немецкое полковое знамя и за это получил офицерский чин и офицерский «Георгий». Петр Захаров слегка подсмеивался над своими подвигами: «Куда мне их девать? Бел и красив снежок, а человека жжет. Пугал кабан собак, а они его под охотничью пулю пригнали». Это письмо необыкновенно вознесло Пашку. Сговорчивость его исчезла.

— Я вас не удерживаю возле себя, господин Иванов. Вы плохой жилец на печке, а кроме того, я ее оставляю вам.

Он возвратился в номера, из которых мы недавно бежали. При прощании даже Аника Кожурин отдал уважение его счастью, сказав: «Вот дело, которое выгоднее портновского».

В номерах Пашка гонял полового, подсмеивался над владельцем, а встретив меня на базаре, сказал покровительственно:

— Вы все полагаете, господин Иванов, что перед вами невольничий рынок? Прошу прийти вас завтра во двор к воинскому начальнику. Производим сортировку и отправку первой партии в Пермь для следования в четвертую армию. Никакого издевательства! Спросишь контору Аптекарского управления.

Контора находилась в дровяном сарае, через который тянулись толстые трубы железной печки и земляной пол которого был густо усыпан опилками. Дощатый стол Пашка покрыл «для спокойствия» гимнастерочной материей, а над столом повесил портрет Николая II. Пашка ходил среди будущих аптекарских помощниц,

любуясь ими и любуясь собой, изредка посматривая на портрет царя. Он ходил сутулясь, поглаживая подбородок, и, кажется, считал себя чем-то похожим на этот портрет.

За столом возле широкого чайника сидел фельдшер Мериносов. Это был почтенный толстый человек с усами, очень нафиксатуаренными, обожавший свою семью и бога. Он пил чай большими глотками, поглядывая на собравшихся женщин и на папку, которая лежала перед ним. Женщин было много. Они толкались, бранились и все время подходили греть руки к печке, хотя в сарае и без того было жарко. Они понимали, что их ждет на фронте, стеснялись этого и явно были недовольны, когда увидали меня, постороннего человека. Смуглая рыжеватая баба, когда я подошел к печи, сказала мне сердито: «Чего рассматриваешь, не генерал!» Они грелись, не снимая стяженых «дипломатов». Некоторые из них сидели на деревянных ящиках возле стен, положив широкие руки на колени.

— Писарь, начинай.

Пашка Ковалев развернул ведомость.

Фельдшер Мериносов говорил в нос, хотя до этого и не гундосил. Он полагал, видимо, что так требует дело, а может быть, подражал генералу Пышминскому.

— Тайлакова Ульяна! Распахни шубу, да не очень, — не на лошадей смотрю, и без того все понятно.

Он стучал длинным прокуренным пальцем в грудь женщины, прикладывал трубку, слушал и говорил в нос:

— Болезней нету? Не жалуешься на живот? Покажи язык. Годна! Запиши, Ковалев: группа первая, третий десяток, а также сосчитай ей прогонные. Тайлакова, вручай паспорт и бери солдатский документ! Колесова Александра! Поступай так же, как остальные, распахивай шубу, но не сильно... Доможирова Васса! Кожевникова Любовь! Козельская Евдокия! Тарасова Анна! Подоксенова Хиония! Экое имечко тебе поп-то выбрал! Но ничего, не стесняйся, подходи. Да и вы все шагайте быстрее: сотню я вас должен просмотреть до обеда, да после обеда полторы. Мальцева Надежда! Кадочкина Мария! Ближе.

Приложив ухо к трубке, он посмотрел на меня и сказал:

— Вот я сюда ехал, думаю, не подберу ли здесь сибирского конька. Очень иноходцев люблю. Хотел его

кстати вместе с бабами довезти до Перми, а тут, оказывается, уже всех приличных коней скупили...

— Годна, батюшка? — спросила круглолицая баба. Ее «дипломат» был обшит каким-то рыжеватым пухом, в руках она держала громадные варежки. Голос у ней ласковый и глаза яркие.

Не глядя на нее, фельдшер сказал:

— Годна. Ты, тетка, ласку на меня не трать, ты ее береги. За офицера выйдешь.

Он рассмеялся и сказал мне:

— В русской лошадиной породе постоянно восточную кровь найдешь. Как я посмотрю, так непременно дикую примесь увижу: торпан встречается или джигитай. От кочевых народов! Ну что же! В ногах у них крепость, в общем теле выносливость, а главное неприхотливость. Красоты, конечно, мало, голова большая, хотя и сухая и пропорциональная, но шея короткая, а спина тоже короткая и прямая. Мастью они больше светлые, движениями быстры.

Он поднял кверху трубку и сказал многозначительно:

— Незаменимы под вьюк!

Он встал, откашлялся, положил трубку в футлярчик, снял очки и строго сказал женщинам:

— Вас собрали барсы. А с этого момента вы переходите в казну, и этот... — он указал на Пашку Ковалева,— только младший унтер-офицер, с которого в любую минуту могут слететь нашивки, хотя он и доброволец.

Женщины выслушали его — и ничего не отразилось на их лицах. Некоторые побойчее, которые служили прислугами или месили глину на кирпичном заводе, подошли поближе к столу. Фельдшер сказал еще строже:

— Вы, собственно, понимаете, куда вас направляют?

— Как не понять? — ответила та рыжеватая, что выбранила меня.

Холодный, синий свет вечера ложился на ее волосы. Она стояла, держась пальцами рук за краешек стола. Фельдшер пристально смотрел на эти пальцы, и лицо у него было усталое и злое.

— Ну, то-то. У нас генерал суровый, он хочет, чтобы все понимали свои обязанности. Если у вас имеются какие претензии, заявляйте мне сейчас же.

— Претензий нету,— сказала рыжеватая баба.

— Ну, и слава богу. Выписывай им, Ковалев, литеры.

Фельдшер взял перо, обмакнул его в чернильницу и стал выводить на длинном листе бумаги замысловатые узоры. Рассматривая эти узоры, он сказал:

— Я семьянин и склонен к семейному обществу. Мне иноходцев-то хотелось купить, чтобы детей покатать. У меня и служба была такая, что можно было подольше в семье находиться. А тут такая гадость!

Фельдшер не врал. Он тосковал по семье и с отвращением относился к тому, что поручил ему выполнить генерал Пышминский. Все эти соображения позволили ему в тот вечер здорово напиться, а позже прийти для окончательного «долу» в барс к Анике Кожурину. Он пил много без закуски, и когда почувствовал, что пьян окончательно, он выскочил на мороз и с разбега сунул голову в сугроб!

Фельдшер возвратился, весь усыпанный снегом. Его выпуклые глаза блестели настолько, как будто не могли сдержать своих чувств, но в то же время понимали, что они и не должны выдавать чувства фельдшера Мериносова.

— Отрезвел, — сказал фельдшер, мотая головой и протирая рукавом глаза.

Отрезвление его было весьма странное.

Он потребовал стакан водки, «полный до возможности», выпил его с маху и сказал:

— Страдаю по семье.

Фельдшер уставил на Анику Кожурина выпуклые свои глаза и сказал:

— Я с вами согласен. Я с вами во всем, что вы думаете и что вы делаете, согласен, господин Кожурин. Дайте я вас поцелую в щеку. Подвинься ко мне, Ковалев.

Он прикрыл рукой глаза, помолчал, затем отнял руку и как-то необыкновенно свободно, привычно и легко, ударил Пашку толстым своим кулаком в зубы. Пашка сразу потемнел, затрясся, и фельдшер сказал с горечью:

— Думаешь, мне тебя не жалко, Ковалев? Мне очень тебя жалко, но только зачем ты вырос и наполнился такой подлостью, что ее все видят с одного взгляда, даже и не генералы?

Фельдшер Мериносов с прежней жалостью на лице вынул из кармана длинный пакет с размазанными казенными печатями и сказал:

— Его превосходительство, предвидя ту излишнюю суматоху и безобразие, которые разводишь ты, Ковалев, приказал выдать тебе такую литеру, по которой ты можешь останавливаться в городе за раз не больше, как на пять дней, и не больше, как пять раз в году, для чего на тебя будет вестись особая регистрация у воинского начальника. Объезжай Сибирь —и комплектуй!

Фельдшер Мериносов скорбно передал Пашке Ковалеву пакет.

Пашка вынул бумагу, посмотрел на громадную подпись генерала, и слезы устремились из его глаз к этой подписи.

Фельдшер отвернулся от него и сказал мне:

— Не стояли бы вы у порога, а садились бы к столу пить водку. Кто скажет, кто будет утверждать, что степной конь не имеет своего характера? Характер его, как я заметил, может быть мелким, но, при известной дрессировке, он способен получить большую сдержанность, и в конце концов бывают отличные лошади. Я это говорю про иноходцев. Очень у меня дети иноходцев обожают. Одному ребеночку двенадцать лет, другому девять, а дочка шести. Назвал я ее Кларой. Красивое имя, музыкантшей будет. На скрипке заставлю играть.

— Когда же мне направляться? — спросил Пашка.

— А сейчас же.

— Умру!

— Воскреснешь, когда наберешь полный комплект.

— Я вам собрал триста пятьдесят душ!

— Полагаешь, я радуюсь этому? Плевал бы я на твои души, да генерал не велит. У меня тоже дети. Глядишь, вырастет такой мерзавец, вроде тебя. Тьфу! Убью на месте! Какие пакостные мысли лезут в голову. Все от того, что наблюдаю эту отвратительную морду! Уезжай, Ковалев. Премию можешь получить, но вот телеграмма, по которой твой комплект от трех тысяч повышается до пяти.

Фельдшер Мериносов положил на приказ генерала Пышминского телеграмму, Пашка схватил ее и, опасаясь, как бы не получить еще более худшее сообщение, убежал на станцию. Фельдшер Мериносов потребовал еще бутылку водки, заказал яичницу «о дюжину яиц» и сказал мне:

— Мои семейные всегда ходят с круглыми фигурами, с гибкими руками, с нежным телом, где и мускула не

увидишь. А здесь что? Вот осмотрел я триста пятьдесят баб, а разве это руки? Лапы. Отличная у меня семья, господин Иванов. Утром я встану, посмотрю на себя: волосы вершка по три длиной усыпали всю грудь, лысина сияет, под ней бурое лицо, морщины, просто противно шагать. А выйдешь к завтраку, она сидит, нежно опираясь на локоть, нюхает цветок и смотрит на тебя так же ласково, как на цветок. Или еще пораньше встанешь, когда она умывается. Вскрикнет: «Ой!», схватит простыню, а в другой голой ручке держит эмалированный кувшин с водой...

— Прикажете музыки? — спросил Аника.

— Сыграй мне вальс, гармонист. Ой, чтоб было тошно совсем!

Я вернулся на свою печь. Фельдшер орал, требовал, чтобы гармонист играл нежнее, а затем пустился в пляс. Мне было очень тяжело. В глаза неустанно плескалась вода цвета топаза, что переливала через края эмалированного кувшина. Полная белая женщина со вздернутым носиком и маленьким ртом несла этот кувшин. Я слез с печи, выпил кружку холодной со льдом воды и вернулся. Я зажег свою коптилку. Романы, которые я начал писать, уже не нравились мне, и я составил план нового романа:

«Бен-Али-Бей. «Рост». Роман в пяти частях.

Ученый М. Вахт пришел к выводу, что раньше, когда человек боролся с животными, был смысл владеть ему ростом, каким он обладает сейчас. Но теперь, при господстве машин, человечеству его прежний рост абсолютно не нужен, к тому же человечество, размножаясь, ищет землю и пищу и в поисках этого дерется между собой. Для того чтобы уничтожить войны и голод, ученый М. Вахт произвел опыты, по которым стало ясно, что, подвергнутый облучению U-лучами, человек в течение двух недель становится вполовину меньше своего роста, сохраняя при этом прежнюю свою умственную и физическую мощь. Следовательно, земля сразу же расширяется в два раза, и в два раза меньше человек употребляет пищи, и в два раза у него больше домов и одежды. Казалось бы, чего еще желать: человек находится две недели под U-лучами и приобретает огромные преимущества,

однако же не находилось людей, которые пожелали бы вполовину уменьшить свой рост. Ученый М. Вахт был в отчаянии. Вот тогда появился знаменитый факир и дервиш Бен-Али-Бей, который согласился на этот опыт. Я веду роман от имени этого факира. Профессор М. Вахт наводит на него U-лучи. Бесстрашный факир начинает чувствовать, что одежда на нем становится все свободнее и свободнее, а лаковые башмаки не только не жмут ему ногу, но и стали для него велики. Знаменитого факира, при всем его мужестве, охватил страх. С огромным напряжением он стоял под U-лучами. Он вспомнил улюлюканье, с каким мальчишки бежали за лилипутами, приехавшими на гастроли в тюменский театр «Миниатюр». Ему, прославленному факиру, тоже предстоит идти по улицам под это улюлюканье! Но мало того, что пройдет он, — так же пойдут под улюлюканье его дети! Долго роду его придется жить под страшное унизительное улюлюканье! Но, однако, минует время, и так как роду факира потребуется вдвое меньше пищи и вдвое меньше забот, а наслаждений он получит столько же, то факирский род расплодится быстро, и наступит час, когда карлики победят этих рослых и тупых дураков — и по улицам карликового города под улюлюканье наших детей побежит в страхе огромный великан, который в детстве, может быть, еще смеялся над сыном знаменитого факира и дервиша Бен-Али-Бея!»

33

Татьяна, кроткая дочь пристава Тевкелеева, пожелала уехать на курсы в Пермь, которые устроило Аптечное управление. Уже два месяца, как Аника Кожурин решил открыть портновскую мастерскую военного платья. Он снял помещение, нанял трех мастеров и купил швейные машины. Он получил патент и приобрел конторские книги. По этому случаю он не платил барсианским девицам ни гроша. Они даже не получали на хлеб, и когда хозяин выдавал мне жалованье, мне приходилось отдавать его им.

— Да вы понимаете, Татьяна, что вам предстоит испытать? — спросил я кроткую дочь пристава.

Она улыбнулась.

— Слышишь, голуби на пригоне воркуют? Это, братец, к теплу, скоро весна.

Я не слышал воркования, но я верил ей, хотя вечер по-зимнему размахивал ставнями и в стекла бил сухой снег.

— К Петру Захарову едешь?

— Еду, куда повезут,— сказала она лениво.

— Петр Захаров не на фронте.

— Еду, куда повезут, — повторила она.

«Убить! — подумал я, дрожа от злости. — Немедленно убить и Петра Захарова, и всех, кто с ним, и всех, кто устроил эту подлую и невероятно гнусную жизнь». Я положил правую руку на карман, в котором лежал мой плотный револьвер, а в левой у меня колыхалась телеграмма: «Выезжай немедленно курган захаров филиппинский ковалев».

— Может быть, раздумаешь ехать на фронт? — сказал я Татьяне, протягивая телеграмму.

— Поеду, куда везут.

— Убить их можешь.

— Где уж мне убивать, пусть лучше меня убивают,— кротко сказала она.— Жалованье обещали, а то выбросят моего ребеночка или в приют подкинут, а там их из подкидного ящика, возле крыльца который, не выбирают подольше, чтобы уж они так простудились, чтоб и не откашлялись!

Убить! Вот лучший способ для того, чтобы попасть в Индию. На троих у меня имеется три пули, а двух пуль достаточно для того, чтобы отстреляться от преследователей. После убийства мне ничего не останется, как только через Лебяжье, Семипалатинск и Семиречье бежать на Памир, а оттуда в Индию. Вряд ли на этой дороге будет разыскивать меня полиция. Неколебимо нужно уничтожить толстого спекулянта Филиппинского, подлеца Пашку Ковалева. Мне слегка жаль Петра Захарова, несомненного героя и веселого человека. Но что поделаешь, если своим геройством Петр Захаров покрывает гнусные дела? Вот, например, зачем они собрались в Кургане? Какую еще гадость выдумали они?

Я подколол фрак, натянул валенки, рассчитался с Аникой Кожуриным, собрал свои тетради и направился на станцию. Здесь, как и всегда, выяснилось, что

с моими деньгами мне и до Омска не доехать. Тем временем поравнялся поезд с моим раздумьем.

Я залез к машинисту и, твердо глядя в глаза, сказал:

— Друг, мне предстоит политическое убийство. Я прошу вас довезти меня до Кургана.

Бритый машинист, видимо, привык ко многим событиям, потому что сказал спокойно:

— В политическое убийство зачем нам вмешиваться? Потрудитесь, сударь, пойти со мной к старшему по поезду.

Он молча подвел меня к усатому кондуктору. Кондуктор покосился на меня, пожал плечом и велел идти в свое купе.

Кондуктора передавали меня от бригады к бригаде. Такая поездка называется «по блоку». Я сидел в кондукторской, наполненной черными мундирами и голубым махорочным дымом.

— Родственников имеешь в Кургане? — спрашивали меня кондуктора.

В голосе их чувствовалось загадочное уважение, которое они вряд ли питали к моим родственникам.

— Родственники. Попрощаться еду!

Я стучал ладонью по карману. Кондуктора отворачивались, угадывая в очертаниях моего кармана страшную машину.

— Без родственников жить трудно,— говорили они,— без прощания — тоже.

— Без родственников не проживешь, — поддерживал я глубокомысленный разговор.

Они предлагали мне закурить. Я отказывался. С уважением еще большим они отзывались о моих родственниках.

И вот я стою у палисадника, занесенного снегом, через который меньше года назад я рассматривал вещи и «фокусные препараты», которыми была обвешена Нубия, гимназиста, что шел, выпятив важно живот, своих друзей и «грозного мастера Иоанна». Мне захотелось подумать сейчас о тщеславии, о лебяженцах и о внезапности жизни, но я должен торопиться, потому что иначе во мне возникнет нежность к моим бывшим друзьям. Если раньше я желал их процветания, то теперь я хотел их уничтожить! Поэтому я вошел в жулистовский дом и спросил у Сашеньки:

— Где остановился Петр Захаров? Он небось приходил к Алешке?

— Они остановились в номерах «Царьград».
— Благодарю вас, Сашенька. Как поживаете?
— Поживаю хорошо, Сиволод. Да жениха угнали на позиции. Очень ловко немцы там орудуют — и не заметишь, как уничтожат.
— У меня, Сашенька, хуже. У меня невесту на фронт угнали. Твой облик превосходен, и жених к тебе еще придет, а мне с моим носом невесты не вернуть.
— Да, нос тебе ловко закрутили!
В Ишиме я напечатал на «американке» несколько экземпляров паспортных «отсрочек», которые могла выдавать уездная полиция. Подпись ишимского исправника я скопировал через оконное стекло, положив на него объявление о таксах, а сверху свою «отсрочку». Знания, приобретенные в мастерской у Марка Евдокимовича, что в Екатеринбурге, помогли мне соорудить штемпель. Кроме того, я набрал разными шрифтами несколько «прописок», которые скопировал со своего паспорта. Отсрочку я выдал на имя киргиза Бен-Али-Беева Букеевской волости, Павлодарского уезда.
Пусть-ка после убийства поищут Всеволода Вячеславовича Иванова!
Номера «Царьград» оказались убогими. Трое моих бывших друзей остановились, видимо, здесь затем, чтобы собираемые «комплекты» не подумали худого, так как хорошие номера наводят на плохие мысли. Подумают, что не на курсы набирают, а куда-нибудь в более горькую обитель, вроде курганского «барса».
Тощая дверь висела на одной петле. В коридоре воняло хуже, чем на конской ярмарке. Направо в номере пьяный длинноволосый человек орал невыносимым дискантом. Увидав меня, он выскочил, уставился на меня белесыми глазами и торопливо спросил:
— Водку пьешь?
— Нет.
— Притворяешься! Знаешь, что попрошу взаймы. Все равно, дай три рубля.
Он отступил от меня, когда я остановился возле одиннадцатого номера.
— Ты сюда? Пока не поздно, отойди. Пойдем ко мне лучше водку пить. Они у меня револьвер спрашивали, и по глазам вижу, что не для заклада.
За столом грузно сидел Филиппинский в пальто и в шапке. В номере было нетоплено. Петр Захаров,

накинув на плечи офицерскую шинель, небритый, всклокоченный, пытался играть на сломанном гребешке. Пашка Ковалев прижимался к печке. У ног его стоял пустой чемодан. Рот его был раскрыт, лицо изображало последнюю степень горя, а тощие руки чуть заметно колыхались.

Я остановился на пороге.

— Петр!

— Я уже, Всеволод, не Петр. Я — Василий Македонский. Честное слово.

Он провел рукой по пустой своей груди.

— Видишь, нету ни «Георгиев», а значит, ни моего имени. Наврали, брат! Все наврали! Купцы, генералы, аптекари, врачи, заводовладельцы, извозчики. Был я и в Пруссии, был я и в галицийской битве. Всюду шел вперед, но всюду меня сбивали с ног трусы. Они своими сапожищами так меня мяли, что мне приходилось уползать с фронта на карачках. Под конец немцы шибанули так, что из всего полка уцелело пятнадцать человек. И понял я тогда, что конец российским армиям, Всеволод. Напился. Чрезвычайно здорово напился! Но, тем не менее, поступил в полном уме и трезвой памяти, то есть плюнул на полковое знамя. Мои «Георгии» ушли сообща, как старый снег с новым. Понял я, Всеволод, что подружись с дураком — и будешь глотать кровь. Короче говоря, дали мне за плевок на полковое знамя три года дисциплинарного батальона, из которого я убежал в Курган. Ясно?

— Ясно.

Петр Захаров улыбался. Говорил он грустные слова, потому что так привык говорить, но сейчас он уже веселился, и его огорчало только то, что гребешок чересчур изломан и в него нельзя сыграть. Свой рассказ, как всегда, он сопровождал датами, цифрами, названиями городов, фамилиями ученых, которые жили в этих городах.

— Я бы и в дисциплинарном батальоне прославился, так как мне усталость незнакома, как и старость беззаботному. Но вспомнил я про Нубию. Сколько людей страдает! Животное трогательное, к обиженным устремится, ну ее немцы и ухлопают. Зачем? Люди могут быть дураками, а животное при чем? Пришлось увезти ее в Курган. А в Кургане, слышал, скупает масло Фи-

липпинский. Вот, думаю, унаследует мою Нубию, прокормит, а смотрю — он сам горюет.

— Горюю,— сказал Филиппинский.

Толстое лицо его действительно стремилось передать страдания. Он даже как будто слегка и в весе сбавил.

— Страданиями, говорят, очищаются,— сказал я.

Петр Захаров улыбнулся всем своим пряничным лицом и засиял всеми своими необыкновенными зубами.

— Ударь самого себя ножом, Всеволод. Если не будет больно, тогда желай такого же очищения и другому.

— Что же произошло у него страшного, Петр?

— Для нас непонятно, но для него — чудовищное горе. Жена ушла.

Филиппинский покрылся слезами. Ревность охватила его. Он побагровел. Он поднял было кулак, раскрыл было рот:

— Я любил ее!.. Ласкал!..

Он хотел подробно рассказать, как и почему полюбил он Ирину Терентьевну и как удалось ему показать себя хорошим настолько, что она согласилась полюбить его на всю жизнь, и как долго он размышлял об этом, пока не поверил ей. Но вместо этого рассказа, который должен был утешить его, из толстого его рта один за другим полетели анекдоты, глупые, скучные,— перед последней фразой, которая должна была неожиданностью своей рассмешить слушателя, снабженные необыкновенным количеством совершенно ненужных и дурацких подробностей о том, какого цвета усы у говорящего, как он морщит лоб — влево или направо, какое у него веко, припухшее или, наоборот, тонкое, какие жилки в глазах и сколько зубов выдается в верхнем ряду, а сколько в нижнем и как расположены бородавки на подбородке.

Филиппинский скорбно повесил голову.

— Как я ее ласкал. Что я делал ради ее ножек...

Но анекдоты опять помешали ему рассказать, что же он делал ради ее ножек. Это было, пожалуй, неплохо, потому что ножки у Ирины Терентьевны отвратительные и не стоило особенно размышлять о них. Любовь, как это выяснилось теперь с точностью неопровержимой на Филиппинском, весьма странная штука! Да мне и самому пришлось, и придется еще, наверное, испытать весьма разнообразные положения, вызванные этим чувством. Вследствие таких размышлений мне стало даже

несколько жаль Филиппинского, но я преодолел себя и крепко ухватился за револьвер.

Филиппинский помолчал, потер себе лоб, затем взглянул в скорбные лица своих друзей и решительно сказал:

— Застрелюсь!

Петр Захаров отложил гребенку:

— Если два попа соберутся, они поссорятся, как бабы, но один поп силен, как двадцать два человека. Из этого я вывожу заключение, что одного попа, который воздействовал бы на нас всех, не подыскать, а с двадцатью двумя попами нам драться скучно. Следовательно, не жди помощи от религии, Ковалев.

— А он что свершил?

— А он, Всеволод, проиграл казенные деньги, которые ему выслали для укомплектования девиц. Семьсот целковых продул! Даже завидно. Теперь четверо суток уже живет сверх положенного ему нарядом.

— Не четверо, а шестеро,— скорбно сказал Пашка Ковалев.— И на чем проиграл? На биллиарде, в американку!

Петр Захаров сказал:

— Мы выписали тебя, Всеволод, чтобы ты одолжил им револьвер. Я посмотрю, посмотрю,— даже, может быть, со скуки и сам застрелюсь.

Я почувствовал радость. Я имел возможность без особого труда уничтожить моих бывших друзей. Не колеблясь, я вынул револьвер и вложил его в пухлую руку Филиппинского.

Петр Захаров кивком своей курчавой головы одобрил мое решение.

— Денег у нас нет, Всеволод, за номер не плачено. Что же касается наказания, то мы уже написали документ, и этот пьяный орало, у которого мы просили было револьвер, засвидетельствовал его своей печатью. Он зубной врач. Если ты не раздумал уехать в Индию, то наша смерть поможет тебе.

Петр Захаров указал мне на документ, который лежал на столе, а из-под него он вынул маршрут. Красная черта совпадала с теми селами и городами, которые я надумал пройти, дабы попасть на Памир. Заботливость Петра растрогала меня. На минуту я даже пожелал, чтобы курчавый павлодарец уцелел.

— А ты убежден, Петр, что мертвецы после смерти не мучаются? — сказал Пашка, глядя на револьвер, который Филиппинский держал на своей ладони, поддерживаемой коленом.

— Безусловно убежден. Быстрей, Филиппинский, стреляйся, другим пора! Еще, глядишь, хозяин полицейского приведет за номер взыскивать.

Филиппинский, рассматривая толстый барабан револьвера, сказал протяжно:

— Вот еще случился тоже нежный случай. Теленка она спасла. Ведет она этого теленка и видит — лежит котенок. Другая бы прошла мимо, а Ирина Терентьевна передает его мне. Принесли котенка домой, пустили к молочку, а я хотел кренделек съесть, потянулся, да каблуком и наступил случайно на голову. Он даже и не чихнул. Кто знает, не с того ли случая она разлюбила меня?

Петр Захаров поцеловал его. Филиппинский зарыдал. Пашка Ковалев тоже поцеловал его. В раму дуло отчаянным холодом.

— Ты не смотри на окно, Всеволод. Раму выставили для твоего удобства. Выстрелим, кинутся к дверям зрители,— куда тебе бежать? Ты и бросишься через раму. А возле ворот стоит Нубия. Заседланная.

Он взял у меня маршрут и, улыбаясь, провел по нему пальцем.

— Прекрасный маршрут! Мне бы вести вас по нему. Но, к сожалению, я дал слово, что умру, если война не кончится в три месяца. Да, кстати, стоит, Всеволод, подумать и над тем, как я, русский дворянин, плюнул на полковое знамя, которое двести лет никто не оплевывал.

Он крикнул:

— Стреляй, Филиппинский!

— Прощайте, — сказал Филиппинский.

— Прощай, Филиппинский, скоро встретимся.

Захаров выпрямился, выпятил грудь. Он стоял бледный, решительный, и я сразу поверил, что он не только застрелится сам, но и застрелит остальных, если они будут колебаться.

— Поднимай, Филиппинский! — воскликнул Захаров.

Филиппинский повел толстыми своими губами вправо и влево. Ему мучительно хотелось рассказать анекдот, но воздуха не хватало для фраз, и мы лишь слышали

буквы: «Н... о... т... м...» Эти буквы соединить в слова было невозможно, да и сами буквы обладали весьма странным звуком, смысл которого я не берусь описывать. Губы Филиппинского шевелились, как бы не имея сил остановиться, но вот мизинец правой его руки медленно согнулся, чтобы приблизиться к ореховому дереву, которым была обделана ручка револьвера. Сердце мое трепетало. Я пристально смотрел на дуло револьвера, которое, вздрогнув, приподнялось — и снова упало на колена.

Вслед за мизинцем к рукоятке револьвера пополз безымянный палец. Он неподвижно остановился, как человек, который уже вышел на улицу, но который еще не решил, стоит ли ему идти в гости, где ждут его обычные сплетни, обычная водка и обычная плохая закуска. Человек норовит почесать локтем бок, оглядеть улицу. Вот появилась из соседних ворот старушка и высморкалась. Человек пожелал ей доброго здоровья, и старушка поблагодарила его. Старушка давно уже свернула за угол, давно уже прошла следующий квартал, а человек все еще стоит, норовя локтем достигнуть бедра и думая о том, что не выйдет ли еще старушка и можно ли предположить, какого она будет цвета. Человек смотрит в небо на тусклые облака, замешанные без всякой любви и охоты к этому делу, а так просто, по небесной обязанности. Человек зевает, раскрывает ноздри, чтобы самому высморкаться и пожелать себе доброго здоровья. Но его нос совершенно не по-обычному смирен,— и человек пускается в путь!

За безымянным пальцем поднялся от колена средний палец. Он осмотрел окрестности, как генерал осматривает войско во время парада, приподнимая свое грузное тело на стременах и поправляя козырек фуражки, чтобы солнце не светило в глаза. Вытянулись войска, трубы оркестра играют марш, затем другой, третий, а генерал все еще поднимает тело...

Указательный палец ринулся к револьверу, и вместе с ним быстро, если это определение возможно применить к Филиппинскому, подскочил и большой палец. Мы напряженно смотрели, как револьвер пошевелился в руке. «Началось!» — думали мы. Дуло повернулось к окошку, потом направилось к дверям, а вскоре опять склонилось к сукну, которое обтягивало колена.

Филиппинский посмотрел в потолок. Он раскрыл рот. Мы привыкли к его медлительности, но наблюдаемая нами медлительность была подлинно чудовищной. Во мне не хватило бы цифр, чтобы сосчитать те мгновения, которые прошли, когда револьвер наконец оторвался от колена и под углом в сорок пять градусов медленно направился к пухлому, круглому и влажному рту К. С. Филиппинского. Револьвер явно торопился. Но Филиппинский нес его медленно и важно. В тишине, которая воцарилась в нашем номере, можно было расслышать и разглядеть, как по голубоватому свету, который, отражаясь от сугробов, пересекал раму с ее бурой оконной замазкой и наполнял нижнюю половину комнаты, создавая некие пыльно-голубые ступени,— как по ним толчками поднималась рука Филиппинского.

От пристального взгляда глаза мои болели, и я перевел взор свой на стену. Вверх по перегородке полз жук, тот, что с овальным телом и длинными ногами, тот, что ведет обычно ночной образ жизни и что имеет буровато-желтую окраску и крылья длиннее брюшка. Он бежал быстро, перескакивая через щели в дереве, которые были плохо забелены, так что стена казалась и не белой, и в то же время не желтой. Жук умело миновал тряпки, которые торчали между плах и которыми, видимо, соседи защищали сложение своих возлюбленных от нескромных взоров. Жуку попадались на дороге какие-то невидимые мне препятствия, через которые он иногда перепрыгивал, а под некоторые подлазил. Может быть, ему встречалась паутина, на которую еще не успела осесть пыль, а может быть, нечто более противное, потому что по выражению его хари надо было понять, что прусак чрезвычайно бранится. Вторую половину дороги он бежал гораздо быстрее, чем первую. Так он добежал до потолка и остановился возле гвоздя, на котором висел кусок полосатой веревки. Кто знает, возможно, это вешался неудачный постоялец, а скорее всего, это просто сушили траву для настойки. Прусак смотрел на эту веревку очень деловито, как будто размышляя, стоит ли ему ее брать. Потоптавшись на месте и даже присев на задние лапки, прусак решился на какое-то действие, для чего он обежал кругом гвоздя раз двадцать, не меньше, затем опять присел, подумал и вдруг ринулся обратно. Он спустился вниз к полу с тем же неугасимым умением, что и прежде. На полу он бы-

стро нашел отверстие, нырнул туда, и вскоре вместе с ним вылез из темного угла матово-бурый жук, как вам, наверно, известно, обильный в пекарнях и знаменитый тем, что для его развития,— от начала кладки яиц до совершенной формы, требуемой от черного таракана,— нужно четыре года, причем зародыш в яйце развивается круглый год. Утверждают, что, благодаря такому медленному развитию, если тщательно наблюдать за ними, черных тараканов легко вывести, но травить их вообще не рекомендуется, ибо черные тараканы, в виде настоя или порошков, сыскони составляют русское народное средство против водянки, а в научную медицину введены знаменитым Боткиным.

Не буду говорить, что жуки рассуждали о водянке или Боткине, хотя при виде Филиппинского они имели все основания для этого рассуждения, но, как бы то ни было, оба таракана в довольно близком расстоянии друг от друга, умело обходя препятствия, побежали вверх, причем прусак брал вправо, а черный таракан предпочитал левую сторону. Тараканы забрались на гвоздь, побывали на веревке, опять вернулись на гвоздь, а затем обычной тараканьей рысью направились потолком. Они уже приближались к тому месту потолка, от которого если протянуть руку, то можно было дотронуться до затылка Филиппинского, который в это время еще револьвер не довел и до половины пути.

Тараканы совершили какое-то свое дело на потолке, а затем направились обратно. Бежали они долго, отдыхая и беседуя, но все-таки наконец скрылись в щель пола, и, наверно, они уже выспались, когда свершилось то, что должно было свершиться, то есть Филиппинский поднес револьвер ко рту, положил указательный палец на снаряжение, которое приподнимает курок, полусогнул палец — и слегка надавил. Курок качнулся, приподнялся, и вслед за тем...

1934—1935

ПРИЛОЖЕНИЕ

Часть четвертая

ФАКИР ПРОХОДИТ ЦИРК

> «Воробей спросил у орла:
>
> — Почтенный, зачем тащить барана вместе с внутренностями и кожей, которую ты не ешь, равно как и глупое содержание его желудка? Что переутомлять себя? Не лучше ли, подобно людям, делать консервы?
>
> Орел, крепко держа барана в когтях и тяжело поднимаясь под облака, ответил:
>
> — Консервы удлиняют войны и портят пищеварение. Лучше лететь с желудком барана, чем мучаться своим».
>
> Всеволод! Не выращивай боярышник в скалах, они и без того имеют острые камни.
>
> *(Из фиолетовой тетради его отца)*

1

Холодной зимней ночью 1915 года четверо приятелей поспешно шагали к вокзалу в городе Кургане. Трое из них оставались, а четвертый, Петр Захаров, вновь уезжал на фронт. Они шли молча. Филиппинский отроду был молчалив и скрытен, Пашка Ковалев трепетал предстоящих страданий, которые ожидали его в городе Кургане, В. Иванов размышлял о том великом, что он испытал и не особенно верил в то великое, что обещал ему Петр Захаров.

Петр Захаров месяца два назад проезжал мимо Кургана. Он возвращался, вернее, бежал с фронта, где за дебоширство, картеж и пьянство, а равно и оскорбление знамени приговорен был корпусным судом к трем годам дисциплинарного батальона. Его лишили

офицерского чина, «Георгиев» и, что самое обидное для него, приказали уничтожить лубочные картинки, на которых изображались его подвиги. Тогда он соорудил документы на имя Василия Македонского и кинулся в Монголию закупать скот.

Возле буфетной стойки в курганском вокзале он встретил Филиппинского и Пашку Ковалева. Город закрыл для них кредит, здесь на вокзале они доедали то, что не успевали съесть проезжавшие офицеры. Петр Захаров вспомнил былое, балаганы, уральские горы, раус и еще раз решил помочь приятелям. Но Курган был неприступен и суров. Они втроем голодали так же, как и вдвоем. Сложными путями, через Татьяну, кроткую дочь пристава Тевкелеева, которая с фронта написала Пашке, прося ее выручить, они узнали адрес В. Иванова и на последние гроши вызвали его телеграммой. В. Иванов владел револьвером. Их дружба должна быть вечной — сказал Петр Захаров, и В. Иванов, верный, хотя и капризный их друг, несомненно, согласится умереть вместе, вчетвером, пятую же пулю в его револьвере они завещают той, которая любит кого-то из них!

В. Иванов тосковал по дружбе, хотя к друзьям своим питал, как ему казалось, неистощимую ненависть. Он приехал быстро. С охотой протянул он револьвер толстяку Филиппинскому, который обманывал его множество раз самым подлейшим и глупым образом. Ленивый Филиппинский, неимоверно страдавший от любви к жене, которая его покинула вместе с накопленными капиталами, поднял было револьвер «ко рту, положил указательный палец на снаряжение, которое приподнимает курок, полусогнул палец — и слегка надавил. Курок качнулся, приподнялся, и вслед за тем...» Петр Захаров признал самоубийство бессмысленным:

— Как можно позволить курганским толстомордым дуракам смеяться на нашей могиле! Достаточно посмеялись они над нами на арене. Надо заставить их самих теперь выйти на арену и нам смеяться над ними. Неужели же нет способа завладеть этим городом?

— Нету такого способа, — сказал В. Иванов, которому все еще хотелось уничтожить своих приятелей и который втайне надеялся, что ему удастся удрать с двумя пулями и лошадью Нубией.

— Есть, — сказали в голос Филиппинский и Ковалев.

Они долго смотрели друг на друга. В. Иванов, стремившийся к туманному, может быть, потому что туманы редки над Иртышом, его родиной, считал, что главное в жизни — это фокусы. Эта странная идея, несомненно, происходила от одиночества и мечтательности, но тоже весьма странной, которой он был охвачен. Он был замкнут и застенчив, и в сущности у него не было друзей, как их должно понимать, то есть он не делился с ними своими мыслями и мечтами,

а рассказывал им обычно то, что с ним никогда не происходило. Фокусы были нечто таким вроде этих бесед, они воплощали его мечты, и если бы шире развивать его понимание о мире, — кроме тех минут, когда он был голоден, ибо он тогда злобствовал и жаждал вообще уничтожения мира, — каждому человеку необходим был его собственный фокус, при котором он утешится. Вот почему Петр Захаров рассказал, глядя на В. Иванова, о том, как он взял одного немца в плен. Этот немец выступал, будучи мирным, в цирке, фокусником. Он все спрашивал Петра Захарова, можно ли носить полученный им Железный крест в числе тех отличий, которые он носит в цирке? Он рассказал об аттракционе, который употребляет его дочь. По мнению Петра Захарова, такого аттракциона еще в России нет. Он называется «круг смерти».

— Красивее «краг смерти», — сказал В. Иванов.

На этом разговор о «краге смерти» и закончился, чтобы возобновиться при других, еще более странных обстоятельствах, сейчас же выяснилось, что для «крага смерти» необходимы, кроме круга, еще и четыре велосипеда. Нужны были опять деньги. Все молча признали, что Петр Захаров устал. Голова его явно плохо работала. Друзья направнлись в чайную. У них оставалось ровно семь копеек для того, чтобы заказать чайник, и так как в чайной «русского народа» давали за семь копеек еще и сахар, то они и направились туда.

Чайная была пустынна и чай холоден. Однако они согрелись и оттого, что спешили, и оттого, что ожидали горячего чаю. На стене висел портрет Пуришкевича и еще повыше литография Николая Второго и главнокомандующих. При взгляде на это воинство и ордена Петр Захаров вновь воспылал злобой и сказал:

— Придется, видно, выкрасть полковую казну.

Они переглянулись со страхом. Половой дремал на табуретке возле пылавшей печки, за буфетом спал в классической позе, — положил щеку на ладонь заведующий. На прилавке играл рыженький котенок мотком черных ниток. Ветер стучал ставнем.

— Здесь? — спросил глуповатый В. Иванов, который вообще хоть много ездил, но поездки опасные любил дальние и хотя стремился в Индию, но выбирал к ней самые странные и окольные пути.

— На фронте, ясно.

— Я на фронт не поеду, — сказал В. Иванов. — Я не понимаю смысла войны.

— Никто не понимает, — сказал Петр Захаров. — Вот почему не совестно выкрасть полковую казну. Вы меня ждите.

Однако прошло три недели, пока он не собрался на фронт. В эти три недели, как раз с того момента, как он решил выкрасть полковую казну, он вновь воспрянул духом и окреп, что не могло

не подействовать на его приятелей, которые испытывали к нему уважение и думали, что он вновь приобретет офицерские чины и «Георгии». Он заплатил хозяину номеров, где они остановились, отличной речью о его погибшем племяннике на фронте, убеждая, что хозяин должен тоже отправиться туда и что нечего сваливать вину на свои пятьдесят лет, ибо может же он щупать баб, которые ходят к нему каждую субботу новая! Хозяин не столько был поражен речью, сколько угрозами войны, и вставил окно, замазал раму и истопил печь и дал три рубля взаймы. Он помог Пашке Ковалеву поступить приказчиком в мануфактурный магазин, и это была очень большая заслуга, потому что мануфактурные приказчики считались страшно аристократической профессией и туда без рекомендации поступить было почти невозможно. Опять помогли рассказы о войне; к тому же, по-моему, и Пашки документы были не в особенном порядке, но, к счастью, он числился, его генерал отправил его куда-то под Иркутск, и в Кургане он слез, чтобы повидаться с Филиппинским, который хотел похвастаться перед ним своими тремя приказчиками и отличной торговлей, но когда они проигрывали на биллиарде казенные 700 рублей, доверенные Пашке, в то время как раз жена-то у Филиппинского... (имя)... убежала с казачьим полковником из Петропавловска. Кроме того, Петр устроил и Нубию, которую кормить было затруднительно, хотя она была весьма вынослива, и Петр ее с фронта вез среди какого [то] хлама, — перебрасывали в глубокий тыл лазарет, и он пристроил ее, как он говорил, «среди пузырьков». Теперь Нубию он отдал в аренду извозчику М⟨уленку⟩. Лошадь эту он отдал на год, и извозчик, что самое странное, должен был платить нам по семь с полтиной в месяц и даже дал задаток пять рублей! Вначале Петр предполагал было сделать самого Пашку извозчиком, и поспешность, с которой Пашка согласился, несколько встревожила его, и он сказал, что извозчик, возя седоков в некоторые непотребные места, сам может соблазниться, а главное — Пашку могут там увидать знакомые «барсы», рассказать генералу... через аптечное заведение которого отправляются «барсианки» на фронт, — и тогда туго придется всем нам!

— Я еду на фронт и для того, чтобы выкрасть полковую казну, и для того, чтобы проверить, насколько ты окажешься сдержанным и не подведешь меня под пулю! — сказал Петр Захаров.

Филиппинскому тоже было найдено дело: он продавал купоны выигрышного займа, частицы билетов от 5 рублей до 25 и больше. Он брал задаток с покупателя, должен был взять и выдать квитанцию, и банкирская контора Вальтера Брета из Петербурга присылала квитанции, и человек мог выиграть часть — $1/2$ или $1/100$ — как ему хочется. Из задатка Филиппинский мог брать себе — одну десятую. Вид у него был почтенный, и Петр Захаров, как и его при-

ятели были глубоко убеждены, что все купят эти купоны, притом они отпускались в рассрочку. В. Иванов поступил наборщиком в газету «Курганский вестник», что печаталась в типографии Кочешева.

Устроив друзей, проверив, хорошо ли содержится извозчиком Нубия, не бьет ли ее Муленок, для чего он даже в метель сел и проехался и упрашивал извозчика гнать, обещая на чай, но оказалось, извозчик поступал с лошадью вполне справедливо, Петр Захаров починил шинель, прицепил офицерские погоны, повесил руку на перевязку и совсем было собрался на фронт, но два обстоятельства помешали ему. Вначале пришла телеграмма от пани Марины Владычек, у которой в Павлодаре В. Иванов служил в типографии. Пани Марина проезжала мимо Кургана и хотела зачем-то видеть пана Всеволода... Телеграмма эта чрезвычайно встревожила четырех приятелей. Откуда ей знать, что В. Иванов именно в Кургане? А главное, зачем ей он нужен?

Затем появился внезапно Алешка Жулистов, наборщик типографии, наполненный странными снами, и сообщил, что Нубия искусала помощника присяжного поверенного... Петр Захаров опять направился к Муленку. Извозчик сказал, что лошадь пребывает в «смирности», — и точно она смотрела весьма кротко, но когда навестили присяжного поверенного, то оказалось, что его действительно искусала лошадь, по описаниям похожая весьма на Нубию. Но была метель, жирная, плотная, как последние недели, так что едва успевали разгрести улицы, и присяжному поверенному от волнения и метели не удалось разглядеть, был ли то извозчик или всадник.

— Никаких всадников в Кургане нет, здесь пехота, — сказал Петр Захаров. — Может быть, вы просто были пьяны?

Присяжный поверенный смотрел на офицерские «Георгии» Захарова, его перевязанную руку с почтением и отвечал тонким голоском. Комната была жарко натоплена, и удушливо пахло геранью, присяжный поверенный лежал возле самой печи, голова его была повязана.

— Куда укусила-то? — спросил его Петр с пренебрежением, так как присяжный поверенный, видимо, раздражал его.

— В ногу. В голень.

— А голова что ж завязана?

— Упал.

— Вкусили запретного?

— Было.

— Так это приснилось.

— Какое приснилось, когда клок гривы в руке и следы зубов. Ни у одного знакомого нет таких зубов...

Он показал клок гривы. Она точно походила на гриву Нубии. Петр Захаров смерил следы зубов. Они тоже подходили. Муленок клялся, что в тот день не выезжал, и все на «бирже» подтверждали, что Муленок точно пьянствовал в тот день, а кобыла стояла в сарае.

— В сарай, сволота, залез, — сказал Петр и успокоился. — В суд не подает почему? Хотел украсть.

— Зачем присяжному поверенному воровать кобылу?

— А зачем ему не подавать в суд?

— А как он подаст в суд, если он был пьян, а пьянство запрещено законами империи сейчас?

2

Как изменился этот дощатый сибирский мир.

Как измяло его железо, как опалил его огонь далекого фронта.

Как жалко покоробились эти доски, что тщательно выпилили из высоких и мощных наших дерев. Как быстро облупилась ваша краска, что сияла голубым и розовым по утрам и темно-багровым по вечерам. Где маляры? Где плотники? Где наши искусные каменщики и коновалы? Тощие галицийские нивы укрыли их, дешевые кресты — для жердей бы и то вы здесь не взяли, — прикрывают могилы, один крест для пятисот солдат; страшные мазурские болота и топи Белой Руси поглотили их, железо Германии пожрало их, огонь австрийских пулеметов отпевал их.

Бедный-бедный Артур Гордон Пим.

Ты шел страстно уверенный, что только одна жажда подвигов приведет тебя и выведет из этого дощатого и страшного мира. Черт подери, ты чувствовал его призрачность, ты брал друзей не потому, что считал их друзьями, а потому, что они называли тебя своим другом. Ты принимал эти деревянные загородки, как туман, и твоих друзей тоже, нимало не тревожась их отсутствием и нимало не радуясь их присутствию. Кто бы то ни был, но он выведет тебя в эту Индию, где люди необыкновенной воли, где здания доказывают это, где природа мощна и страшна и в то же время пленительна, где любовь поглощает всю жизнь.

Что от этого осталось?

Пустота.

Все мысли твои были пустотой. Ты привез револьвер, чтобы убить твоих спутников, обвиняя их в том, что ты ошибался, что они виновны в твоей ошибке. Но все равно ничего не изменилось бы оттого, если б ты привез картонный револьвер. Тот бы они продали за пятак, этот же продать хотели за три рубля. Об этом и воскликнул Петр Захаров, когда увидал, что Филиппинский действительно поднимает курок. Ты вырвал его из рук Филиппинского, он

правда отдал его с большой охотой, ты остановился у дверей и здесь, а может быть, несколько позже, понял этот дощатый мир, и ты ужаснулся.

Ну, конечно, понял это не сейчас, потому что несколько дней ты жил еще в номерах, ты еще не верил лжи, ибо ты сам пропитался ею в достаточной мере, и тебе было трудно освободиться от нее. Ты верил, что Петр Захаров свершал подвиги, получал кресты и чин офицерский. Он решил ехать еще раз на фронт и утащить полковую казну. Он нацепил ордена, офицерскую свою шинель подправил, вычистил погоны. Неизвестно, почему ты взял за повод Нубию, она отощала совсем и, пожалуй, узнала тебя. Это была тощая лошаденка, с проступающими ребрами, и насмешкой звучало ее мощное имя. Они просто хотели и думали, что у тебя есть какие-то деньги, так [как] ты не пил и не курил, а наборщики теперь везде нужны, значит, что-нибудь скопил. Но так как у тебя не оказалось денег и ты не пожелал убийства, думали, что ты сейчас же выдашь деньги и подкормишь их. Это мелкие жулики, это труха человеческая. Они отдали беспрекословно Нубию. Петька Захаров пошел на станцию, опять-таки рассчитывая, что ты отдашь деньги, они бы могли схватить за горло и вырвать их, но они трусили, они надеялись, что ты поступишь в типографию и будешь их кормить, и недаром же Петька Захаров рассказывал ужасы войны, окопов. Они меня искали всюду и так приурочили проезд пани Марины, которая ехала в Омск. Она, может быть, возвращалась к мужу. Они ухаживали за мной, льстили мне. Все это было горько и тяжело смотреть, но я смотрел, желая напитаться дополна этой горечью и тем, что я понял.

Поэтому я сидел в номере, крепко зажал револьвер. Не скрою, хотя мне было и горько, что я испытывал наслаждение от того, что понял их, но впредь мне будет жить еще тяжелее — без Индии и без друзей. Я молчал. Они каждый по-своему рассказывали наперерыв мне свои страдания.

Через два дня мы пошли на станцию. Я желал окончательно убедиться, что Петька Захаров лгал, что он не поедет на фронт.

Поезд стоял 20 минут. Пани Марина ехала в четвертом классе. Бедная. Она вышла в стареньком салопике. Было очень холодно. Она вошла в буфет и робко попросила стакан чаю, без сахара. Она прихлебывала его, стараясь выжать из него побольше наслаждения. Она похудела, отощала, она не говорила уже о Польше и большими глазами смотрела куда-то в сторону. Мне так сдавалось, что она могла бы остаться возле меня, скажи бы я слово. Сердце мое сжималось. Мне было жаль ее.

Возле вагона Петька Захаров встретил киргиза из Павлодара — Абил Заминдар. Он знал его отца. Он стоял в богатом халате и

лисьем малахае. Он разбогател, хотя он и раньше был богат. Кажется, я его встречал у дяди своего Петрова. Он вез несколько вагонов, чуть ли не целый поезд мяса в Петербург, а одновременно хотел повидать ген[ерала] Куропаткина, вернее, генерал хотел побеседовать с ним, так как киргиз хотели взять на окопные работы. Дочь сердилась на него. Она играла на скрипке, пани Марина знала, как она играет. Встретились два поезда. Одним глазом я наблюдал за поездом, который должен бы увесть Петьку Захарова. Он мне сказал, указывая на нее[1] пальцем:

— Я ее люблю.

С киргизами не церемонились. Об них говорили просто. Она ему так и сказала:

— Я еду с отцом. Он глуп, подчиняется чиновникам. Наш народ должен ходить свободно...

Пани Марина вздохнула. Ах, она знала, что такое освобождение. Но Фатьма Заминдар грубее пани Марины и более требовательна. Когда она услышала об том...

---

[1] Дочь Абила Заминдар — Фатьму (*ред.*).

⟨СТИХИ ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ И ПЯТОЙ ЧАСТЕЙ РОМАНА «ПОХОЖДЕНИЯ ФАКИРА»⟩

I

Вы не можете его покинуть,
Потому что рабство и пребывание в балагане
Для вас равны рабству жизни с ним.
Учитесь наездничеству,
Держите укрючину.

К вам пришли киргизские степи.
Что вас ждет?
Черное с красным зало,
Купцы, одетые в рыцарские костюмы,
Но рыцарского в них столько же.

Сколько было рыцарского у самих рыцарей,
Разбойников, пьяниц и сифилитиков.
После рыцарства страна была так же пустынна,
Как она и пустынна
Останется после купечества.
Седлайте коней.
Направляйтесь, друзья мои, в Индию,
Там совсем пустынные места, неизведанные горы.

II

Он встретил вас возле нашего балагана.
Когда-то вы были красивой блондинкой с синими глазами.
Но тем не менее вы сразу полюбили друг друга.
А так как вы бедны, и вам надо жить,
И балаган не делал сборов,

То вы опять вернулись к своему делу, —
Чтобы приводить гостей.
Он защищает вас на улице, чтобы от вас не отняли деньги,
А дома убирает кровать.
Они живут очень дружно.
Вечером он отбирает у нее заработок
И пропивает его в кабаке
Вместе с друзьями.
Иногда они ссорятся, потому что она часто
Не приносит ничего,
Потому что она некогда была
Блондинкой с синими глазами!
Однажды она вернулась
С пустыми руками.
В комнате было холодно.
Балаганное лето окончилось.
Он прибил ее, и она ушла из дома.
Она вернулась на мост,
С моста бросилась в реку
И там умерла.
Существует наст:
Твердая кора на снегу от морозов,
Возникающая после оттепели,
По которой можно ходить, не проваливаясь.
Существует полог, занавеска над постелью,
Существуют случаи, благоприятная пора
И подходящее время,
И существует жестянка от консервов,
Которую выбрасывают на помойку!
Жупан, жердочка!..
Горячка, индиго!
Подорожная! Смушка!
Лучина, жупан, жердочка...

III

Дочь публичной женщины,
Ты еще тщедушным ребенком
Идешь по той дороге и по той площади,
По которой ходила и где умерла твоя мать.
Ты «делаешь площадь» и знакомишься с «осетром».
Он пропивает в кабаках твои заработки.
Он бродяга и нищий.
Друзья у него убийцы и воры.

Он считает деньги, которые ты приносишь,
И, случается, пьяный колотит тебя.
Но, он добрый, считаешь ты:
Он на коленях просит прощения,
А затем бежит, чтобы пополнить общую кассу.
И темной ночью на площади,
Где недавно ходила ты,
Обирает запоздалых пьяниц
Или нападает на прохожих.
И ты в балагане сейчас
Вспоминаешь с нежностью это золотое прошлое?!
К сожалению, оно продолжалось недолго:
Городовые схватили его.
Он ушел на каторгу.
Ты хотела сопровождать его.
Ты кокетничала, чтобы привлечь прохожих
И послать ему денег.

Но денег не было!
На свиданиях из-за решетки
Он смотрел укоризненно,
И перед тем, как идти на каторгу,
Попробовал тяжесть кандалов
И ударил ими надзирателя,
Который пытался укротить его любовь к тебе,
Своим тяжелым кулаком.
Он не рассчитал удара:
Надзиратель умер.
И тогда ему надели на шею
Намыленную пеньку,
И тугая веревка обняла его так крепко,
Как ты не обнимала никогда.
Прощай, мой милый, ожидай меня в раю
И не пей много водки!
Иначе лицо твое будет некрасивое и неласковое,
Когда мы встретимся с тобой
И когда я буду думать о тебе
На рассвете, когда в тюремном дворе
Будет ожидать меня палач,
Мешок и пенька
Той же фабрики, которая послужила тебе,
И в которую ты заглянул, не чихнув,
И без холода в костях,
Так же как и я!

Жупан, жердочка,
Горячка, индиго,
Подорожная, смушка,
Лучина, жупан, жердочка...
Когда вы наденете горячий жупан,
Возьмете подорожную
И небо, цвета индиго,
Встанет перед вами, —
Вспомните теплую лучину,
Оставленную вами на станции,
И знайте, что за жердочкой поскотины
Лежит горячка в дуле разбойника...

Вытирайте лицо сухим полотенцем!..

КОММЕНТАРИИ

В настоящем томе собрания сочинений помещен роман «Похождения факира». Создание его — закономерный этап творческой эволюции Иванова. Жанр романа привлекал внимание писателя на протяжении всей жизни, он много размышлял над историей романа, судьбой его в XX веке, стремился самоопределиться по отношению к известным традициям и различным «ветвям» русского и мирового романа (см.: Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных книжек. М., «Советский писатель», 1969).

Еще в 1922—1923 гг. Ивановым создан роман «Голубые пески», однако по своим жанровым признакам он в известной мере тяготел к «Партизанским повестям». В эти же годы Иванов начинает работу еще над несколькими романами: «Ситцевый зверь» — о гражданской войне на Дальнем Востоке (замысел его реализовался лишь в нескольких новеллах на эту тему); «Казаки» (рукопись была уничтожена автором, но сюжет романа лег в основу последующих работ писателя); «Северосталь» (главы из него публиковались в периодике тех лет, судьба рукописи неизвестна).

Во второй половине двадцатых годов в творчестве Иванова господствует новелла, но уже на рубеже тридцатых годов изобразительность, свойственная ей, постепенно уступает место повествовательности, обнаруживавшей тяготение к «большому жанру» (см., например, «Б. М. Маников и его работник Гриша», «Мельник» и др.). Как результат этой тенденции появляется повесть «Путешествие в страну, которой еще нет» — предвестие романа.

Судя по материалам архива писателя, жанрово-сюжетный эксперимент, всегда увлекавший Иванова, дал о себе знать с особой силой в романах «Кремль» и «У» (современный материал укладывался в форму романа плутовского, авантюрного, «тайн»). Приметы собственно ивановского романа, каким он сложился к началу 30-х гг., в полной мере проявились в своеобразнейших «Похождениях факира», и этим определяется особое место произведения в творчестве писателя.

В приложении к тому печатается начало четвертой части романа и стихи, видимо, предназначавшиеся для четвертой-пятой его частей.

Принятые условные обозначения:

Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах. М., Гослитиздат, 1958—1960—2.-е собр. соч.

Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных книжек. М., «Советский писатель», 1969 — «Переписка с Горьким».

Похождения факира. — Впервые «Новый мир», 1934, № 4—10, 1935, № 1—6. Отрывки: «Литературная газета», 1934, 18 апр. (под назв. «Широкая масленица»); «30 дней», 1934, № 6 («Змеи». «Город Колывань»); «Вечерняя Москва», 1934, 9, 16 авг. («Из Индии в Сибирь»); «Литературная газета», 1934, 31 дек. («Размышления факира перед поездкой его в пленительную Индию»); «Литературный Ленинград», 1935, 14 февр. («Ишимские пленники»).

Первое отдельное издание: Вс. Иванов. Похождения факира. Роман, ч. 1. М. — Л., Гослитиздат, 1934; Вс. Иванов. Похождения факира, ч. 2. М. — Л., Гослитиздат, 1934; Вс. Иванов. Похождения факира, ч. 3. М. — Л., Гослитиздат, 1935. Сразу же был переиздан: Вс. Иванов. Похождения факира, ч. 1—2. М., «Советский писатель», 1935; Вс. Иванов. Похождения факира, ч. 3. М., «Советский писатель», 1935; 1-я часть романа вошла в кн.: Вс. Иванов. Избранное. В 2-х томах. Т. 1. М., «Художественная литература», 1969.

В самом конце 1932 г. Иванов с женой приехал к А. М. Горькому в Сорренто и пробыл у него около месяца:

«В те дни я обдумывал книгу, которая позже приняла название «Похождения факира». Я вспоминал юность, казахские степи, приуральские леса, сибирские городки, жизнь грубую, тяжелую, но в то же время отличающуюся сложностью и запутанностью драматических положений, из которых хотелось вырваться хоть к черту на рога. Хотелось свободы. А так как политическая свобода была мне, юноше, совершенно неясна и не встречалось человека, который указал бы мне пути к ней, то я жаждал и искал свободы духовной. Так натолкнулся я на Индию, на индийских факиров, которые, как думалось юноше, обладают неслыханной духовной свободой и волей. Вот я и устремился в Индию, вот и захотел быть факиром»[1] (2-е собр. соч., т. 8, с. 536).

По возвращении домой Иванов полностью погрузился в работу над романом. 26 марта 1933 г. он писал Горькому: «Работаю я много. Если удастся организовать спокойствие еще на апрель, май и июнь, то перепишу громадный том, листов на 30-ть — нечто о своем детстве, юности: до осени 18-го года. Очень хочется сказать

[1] Как видно из письма Вс. Иванова к В. Познеру от 29 октября 1930 года (письмо недавно поступило в архив Вс. Иванова) писателя уже тогда занимал роман о факире.

о себе правду. Удается это с трудом — нет-нет да и закруглишь ее — эту правду, какой-нибудь выдуманной чепухой» («Переписка с Горьким», с. 67).

23 апреля 1933 г. в «Литературной газете» было напечатано интервью «Творческий год Вс. Иванова», большая часть которого посвящалась роману «Похождения факира»: «Главной своей работой Вс. Иванов считает задуманный им давно, чуть ли не в самом начале литературной деятельности, но начатый только в этом году монографический роман. Вс. Иванов предполагает его закончить в июле. Большой (в 30—35 печатных листов) роман охватывает период времени с 1913 по 1918 г., заканчиваясь эпохой чехословацкого переворота в Сибири.

В беседе по поводу этого романа Вс. Иванов сказал нам:

«После того, как я так много выдумывал о себе, в этой книге я хочу рассказать настоящую, биографическую правду. На фоне монографических записок и воспоминаний я дам в книге портреты значительных людей, которых встречал в своей жизни и которые оказали на нее большое влияние. Это — люди, стоящие на различных ступенях социальной лестницы; и каждый из них последовательно оставил отпечаток на социальном образе героя моей будущей книги.

Самое трудное в этой работе — искренность. Груз беллетристических навыков мешает мне найти тот верный, правдивый, искренний тон, которым должна быть написана такая книга ⟨...⟩

«Монография», кончающаяся на 1918 годе, представит собой законченный цикл биографических событий».

16 апреля 1934 г. Оргкомитет Союза советских писателей организовал «Вечер читки Всеволодом Ивановым романа «Похождения факира». Иванов прочитал около 2,5 печатных листа из первой части романа. Затем развернулось обсуждение прочитанного. Писатель, отвечая на вопросы слушателей, информировал их о ходе работы над романом в целом: «У меня сейчас закончено и окончательно переписано 15 листов, а всего будет листов 25 ⟨...⟩. Вторую часть можно почитать через недели две, а третью — четвертую и пятую — во время съезда ⟨...⟩» (Рукописный отдел ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР, ф. 41, оп. 1, № 143). В апреле 1934 года роман начал публиковаться в «Новом мире» и почти одновременно выходить отдельными книжками («Дешевая библиотека» ОГИЗа). 8 марта 1935 года Иванов писал И. М. Беспалову: «Третья часть «Факира» — 18 печатных листов «высокохудожественной прозы», как говорил В. И. Немирович-Данченко, будет сдана Вам накануне первого апреля» (Рукописный отдел ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР, ф. 100, оп. 1, № 28).

На третьей части печатание романа прервалось. О замысле последующих частей можно судить лишь по высказываниям самого

писателя. Выступая на обсуждении романа 16 апреля 1934 года, Иванов заметил: «Нужно читать и третью и четвертую части, которые еще не переписаны. Там, где разворачивается война, человек уже совсем иной. В войне он не участвовал, он на отлете, и у него совсем по-другому линия идет. Здесь все направлено к тому, чтобы показать крушение старого мира. Наш герой увлекается легизмом, ездит по циркам, там работает и пытается найти романтику — все время его бьют по морде, и он возвращается к исходному положению. Во время войны он пытается найти другую романтику в книгах и писаниях, пытается писать. Но и тут ничего не выходит. Наконец, приходит к гражданской войне, и здесь он приходит в гражданскую войну опять-таки своей линией. Но гражданская война окончательно расшибает его романтические наклонности, как Индия, острова и проч.» (Рукописный отдел ИМЛИ им. А. М. Горького, ф. 41, оп. 1, № 143).

Прервав печатание «Похождений факира» на третьей части (в конце ее публикации («Новый мир», 1935, № 6) значилось: «Продолжение следует»), Иванов не оставил надежд на завершение романа. В архиве писателя имеется черновая рукопись (машинопись с правкой автора) — начало четвертой части романа (полторы главы). Вернее всего он работал над ней в 1935 году, сразу по завершении третьей части. Принятое автором решение писать четвертую и пятую части от третьего лица (см. «Переписка с Горьким», с. 79) последовательно не выдержано, поскольку над ним, видимо, тяготела еще инерция стиля первых трех частей романа. «〈...〉 1937 год встречаю 〈...〉 окончанием автобиографического романа — четвертою и пятою частью «Похождений факира», — читаем в одной из автобиографических справок писателя («Литературная газета», 1936, 30 сент.). В архиве Вс. Иванова есть небольшая рукопись «Пень искусства» (опубликована в еженедельнике «Неделя», 1970, № 8 под названием «Искусство ведет меня»). На папке с автографом Вс. Иванов написал: «Кажется, эта глава из «Похождений факира» (не вошедшая в основной текст), а возможно, что и нет. Отлично помню, что написал это в 1937 г. в дни пушкинских торжеств». В этом отрывке (рассказе) действуют некоторые герои, известные читателю по «Похождениям факира». Кроме того, в архиве Вс. Иванова обнаружена авторская машинопись трех стихотворений. Как вспоминает сын писателя Вяч. Вс. Иванов, отец говорил ему, что эти стихи предназначались для четвертой-пятой частей «Похождений факира». По всей вероятности, они были написаны в период 1935—1937 гг.

В основу романа «Похождения факира» легли впечатления писателя о днях своего отрочества и юности. Память и воображение помогали ему «изобразить жизнь юноши начала XX века с его стра-

даниями, радостями и надеждами в обстановке провинциального быта Сибири и Казахстана» («История моих книг»). Дневников или каких-либ записей о прошлом у художника под рукой не было. Одним из документальных источников стали «Записные книжки моего отца». Так названы хранящиеся в архиве Вс. Иванова несколько тетрадей-альбомов, содержащих разного рода записи, сделанные Вячеславом Алексеевичем Ивановым в 1912—1917 годах. Самый большой «массив» составляют расположенные по алфавиту афоризмы и высказывания выдающихся людей (всего 852). Черпались они, по-видимому в большинстве своем из календарей и газеты «Новое время» (вырезки из этих изданий находятся в тех же тетрадях). Для представления о содержании этой громадной коллекции приведем несколько извлечений из нее:

«Золото может и умного человека превратить в глупца». (*Крез.*) «Без женщины мужчины беседовали бы с богами». (*Цицерон.*) «От бесовского бисера женских слез таяло воинское оружие». (*Н. Полевой.*) «Женщина идет за победителем». (*Кнут Гамсун.*) Среди сотен афоризмов и собственно сочиненные владельцем коллекции, к примеру: «Если смерть страшна, то причина этого не в ней, а в нас. Чем хуже человек, тем больше он боится смерти. 11/III *В. Иванов*».

Из этих афоризмов формировалась в «Похождениях факира» эрудиция (вернее, псевдоэрудиция) отца героя, с особой силой прорывающаяся в его письмах-поучениях сыну. Этот же массив афоризмов, без сомнения, был использован и для авторских отступлений, в которых перенасыщенность ссылками на самые разные авторитеты и неожиданные литературные источники создает необходимый иронический эффект.

«Записные книжки моего отца» содержали и любовно переписанные разными чернилами, украшенные виньетками стихи (всего 300 стихотворений в трех тетрадях). Среди них народные песни, произведения Некрасова, Лермонтова, но большинство стихов сочинены самим В. А. Ивановым. Часто это критические зарисовки быта и нравов Павлодара («Павлодарская больница», «Прогресс» и др.). Они наивны, неумелы:

Наши милые порядки,
Не слыхать нигде таких,
Помещенья грязны, гадки.
Впрочем, это для... больных.

Но, воспринятые в комплексе, они представляют своего рода летопись жизни павлодарского захолустья, написанную человеком гуманным и стремящимся к культуре. Вирши отца (например, «Вот подрядчик Облипов») напоминают о себе в «Похождениях факира» обличительными стихами факира-куплетиста, так разгневавшими вла-

дельца «Золотого рога» Челпанова. И, вернее всего, они же помогли Иванову так ярко воссоздать картину провинциальной Сибири.

В работе над «Похождениями факира» отразились и давние увлечения Вс. Иванова индийской философией, учением йогов, книгами по психологии. В личной библиотеке писателя сохранилась часть этих книг, приобретенных в юности. Вот некоторые из них: «Личный магнетизм. Курс лекций о личном магнетизме, самообладании и развитии характера». Составил Виктор Турнбуль. Психологическое книгоиздательство Ван-Тайль Даниэльса. Санкт-Петербург; Папюс «Практическая магия /черная и белая/». Перевод А. В. Трояновского, 2-ое дополненное издание, части I—III, Санкт-Петербург, 1912 г. и другие.

На одной из книг имеется следующая запись: «Это — немногие из уцелевших книжек (есть еще разрезанный Даль), которые покупал я в 1912—15 годах в Кургане — Омске или Екатеринбурге. Разумеется верил я им абсолютно! В. И. 1960 г.»

Вся история написания и публикации «Похождений факира» отмечена сложными отношениями Иванова-художника с А. М. Горьким и современной литературной критикой.

Приступая к написанию романа в 1933 году, Иванов признавался, что он был задуман им «давно, чуть ли не в самом начале литературной деятельности». Подлинное начало литературной деятельности Иванова — 1921 год (год публикации «Партизан») отмечен интенсивным общением с А. М. Горьким. Известно, какое большое впечатление на Горького производили рассказы Иванова о его жизни, скитаниях по дореволюционной Сибири, о том, что пришлось перенести ему в годы гражданской войны (см., к примеру: К. Федин. Горький среди нас. М., «Молодая гвардия», 1967, с. 60—62). Горький, автор книг «Детство», «В людях», «Мои университеты», был страстным пропагандистом особого жанра — художественной автобиографии человека искусства. По его совету, при его помощи и даже при непосредственном сотрудничестве были созданы в разные годы «Страницы моей жизни» Ф. Шаляпина, «Повесть о днях моей жизни» И. Вольнова, «Моя жизнь» С. Подьячева, «Жизнь моя» А. Чапыгина, автобиографическая трилогия Ф. Гладкова. Все эти книги повествуют о трудном пути к культуре выходца из народных низов, судьбе художника из народа. Потрясенный рассказами о «фантастической» жизни Иванова, Горький, вернее всего, и натолкнул его еще в 1921 году на замысел рассказать о ней, то есть создать еще одно автобиографическое произведение в ряду вдохновленных горьковской энергией и авторитетом.

В 1921—1922 гг. появились рассказы Иванова «Отец и мать» («В дни бегства»), «Камыши» («День»), имеющие общий подзаго-

ловок «Рассказы о себе». В них Иванов в свойственной ему тогда лирико-романтической манере передал два драматических эпизода из своей жизни эпохи гражданской войны. Рассказ «Отец и мать» при публикации не случайно был посвящен М. Горькому. Несколько лет спустя, в 1925—1926 гг. Иванов напечатал два рассказа о приключениях факира: «Когда я был факиром» и «Последнее выступление факира». (Как слабый эскиз последнего воспринимается дореволюционный рассказ Иванова «Дуэн Хэ — борец из Тибета».) Наконец, конкретно обдумывать замысел «Похождений факира» Иванов начал, как он признавал сам, у Горького в Сорренто.

Первая часть «Похождений факира» создавалась в лоне замысла, подсказанного Горьким. Не раз заявляя, что «Похождения факира» роман лишь слегка автобиографический, Иванов отмечал: «Наиболее автобиографичен он в первой своей части» («История моих книг»). Горький, прочитав первую часть, прислал автору в июне 1934 г. восторженное письмо: «Дорогой и замечательный «Сиволод»— «Похождения факира» прочитал жадно, точно ласкал любимую после долгой разлуки. Вот,— не преувеличиваю! Какая прекрасная, глубокая искренность горит и звучит на каждой странице, и какая душевная бодрость, ясность. Именно так и должен наш писатель беседовать с читателем, и вот именно такие беседы о воспитательном значении «трудной жизни», такое умение рассказать о ней, усмехаясь победительно, — нужно и высоко ценно для людей нашей страны» («Переписка с Горьким», с. 70).

Публикация первой части «Похождений факира» вызвала большой отклик в писательской и читательской среде, появились отзывы в печати. «Правда» оценила первую часть как «художественный успех» Вс. Иванова. «Впервые после ряда художественно спорных и не во всем удачных произведений последних лет, преодолев цветистый орнаментализм языка ранних своих вещей, Иванов овладел мастерством простого, точного, выразительного языка и сжатых, четких, запоминающихся характеристик» («Правда», 1934, 4 ноября). «Литературная газета» признала «Похождения факира» «ценным вкладом в советскую литературу». «Язык его образен и прост, он несет на себе яркий след школы М. Горького». Но в этом отзыве автору предъявлялись и некоторые упреки: «Вс. Иванов — прекрасный рассказчик, он это чувствует и увлекается. Его обременяют яркие образы, он спешит освободиться от них и нанизывает их без конца один на другой. За пестротой образов бледнеет и сама идея произведения» («Литературная газета», 1934, 6 июля).

Сообщение о вечере читки первой части романа «Литературная газета» (1934, 20 апр.) снабдила заголовком: «Победа советской литературы. На чтении нового романа Вс. Иванова «Похождения факира». В выступлениях писателей на этом вечере роман оценивался

очень высоко. К. Финн так аргументировал подобную оценку: «Мне кажется, что эта вещь займет большое, настоящее место в нашей литературе, и вот почему: дело в том, что в конце концов можно в результате большой работы, практики и наблюдений научиться писать вещи, в которых все будет правильно, все грамотно, вещь будет в меру умна, будет в меру юмор и т. д. Но трудно написать вещь, в которой не только все правильно, но и все по-настоящему сделано, все элементы, все мысли и слова автора связаны в какую-то большую и подлинную картину художественного творчества, т. е. такую настоящую вещь, которую очень трудно сразу анализировать. По-моему, настоящая вещь Вс. Иванова именно такая».

«Мне кажется,— говорил П. Павленко,— что это самая мудрая, самая смелая вещь Вс. Иванова. И мудрость не затасканная, не морализующая, а мудрость сквозь смех, острая, свободная, изливающаяся».

Н. Асеев отметил особую грань романа: «Мне кажется, что большинство вещей Вс. Иванова, которые я знаю, иногда с кусками анекдотическими, фантастическими и прочими, были как бы этюдом к этой книге. Мне эта вещь напоминает Овидиевы «Метаморфозы», «Золотого осла» и не потому, что нас привлекает фантастика, но мы видим в этой вещи тот хаос, который царил в России и который выпирал в разных сторонах жизни россиян, в различных фантазиях, уродливостях ⟨...⟩ Я думаю, что значение этого романа или повести именно в том, что эта книга продвинет нас в европейскую или мировую литературу» (все выступления цитируются по стенограмме обсуждения, хранящейся в Рукописном отделе ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР, ф. 41, оп. 1, № 143).

Литературная критика, отозвавшаяся на первую часть «Похождений факира», также пыталась охарактеризовать жанрово-сюжетное и стилевое своеобразие создания Иванова, определить место романа в творчестве писателя, выявить традиции, на которые он опирается. В большинстве отзывов «Похождения факира» аттестовывались или как «опыт подлинной художественной автобиографии типа «Детства» и «Отрочества» Л. Н. Толстого или «Детства» и «В людях» М. Горького» («Большевистская печать», 1934, № 13, с. 45), или как «волнующая книга о России, о ее предреволюционном бытии» (бытовой роман о недавнем прошлом.— *Е. К.*) («Литературная газета», 1934, 20 апр.). Уловить оригинальность романа уже по первой его части удалось, вслед за Н. Асеевым, В. Друзину, рецензенту «Литературного современника»: «Вс. Иванов победил бескрылый натурализм, нудный бытовизм острым и подчас опасным рискованным оружием гротеска, гиперболы и иронии ⟨...⟩. Роман пестрит странными персонажами, анекдотическими ситуациями, неожиданными сюжетными изломами, но сквозь всю эту эксцентрику просвечивает подлинная

художественная правда, не искажающая, а правильно воспроизводящая действительность 〈...〉. Мрачный мир частной собственности, искривляющий человеческие судьбы, порождающий логику жестоких парадоксов — встает в гротескных ситуациях и странных сюжетных поворотах романа Вс. Иванова» («Литературный современник», 1934, № 9, с. 151—153).

Вторая и третья части «Факира» вызвали значительно более сложную реакцию Горького. Об этом свидетельствует письмо ему Иванова конца 1935 — начала 1936 г.: «Вам не нравится, видимо, вторая и третья часть «Факира». Или, может быть, Вы прочли только вторую часть. Тогда посылаю Вам и третью, которая Вам, как и вторая, не понравится. Тут уж, конечно, вина автора, что он не смог справиться со своей задачей, а задача его заключалась в том, чтобы показать полную бестолковщину в его «образовании», — как опыта, в смысле разума, так и в смысле чувств, — если разрешите разделить эти понятия для удобства... Это очень жаль, что не вышло. Должно быть, я перегрузил книгу материалом. Вчера я только получил перевод этой книги на английский язык, — и там переводчик многое выкинул... Надо будет подумать обо всем этом при переиздании. Буду надеяться, что Вам понравится четвертая и пятая части, — там я покидаю разговоры от первого лица и начинаю писать об В. Иванове, лице, несомненно собирательном, в третьем лице, — и писать по-иному... впрочем прочтете... рукопись будет готова к весне» («Переписка с Горьким», с. 79).

«Третью часть «Факира» прочитал, — писал в ответ А. М. Горький, — не могу сказать — понравилось, ибо все время раздражало многословие, охлаждали длинноты. Но очень хороши страницы, где Вы пишете отца, и если б Вы отнеслись к этой фигуре более внимательно — наша литература получила бы своего Тиля, Тартарена, Кола Брюньона. Именно так, я знаю, что не преувеличиваю. В книге вообще много ценного, забавного, я буду читать ее второй раз и, если хотите, отмечу то, что мне кажется лишним» («Переписка с Горьким», с. 83).

Во «Встречах с Максимом Горьким» Иванов воспроизвел суждения своего учителя по поводу романа: «Вторая и третья части «Факира» слабо сделаны, дорогой мой. Их следует переписать, чтобы они были так же просты и ясны, как первая часть» (2-е собр. соч., т. 8, с. 495).

Отзывы в печати на публикацию второй и третьей частей «Похождений факира» демонстрируют тот «драматический случай», когда критика оказывается недостаточно гибкой, чтобы уследить за изменением существа романа в процессе его написания. Почти все эти отзывы открывались высокой оценкой первой части: «Начало

«Похождений» радовало как найденная удача — ясностью своего художественного изложения, беспощадной правдивостью фабулы, глубиной — так нам казалось — выраженной идеи». А затем первой частью мерялся роман в целом и, как не выдержавший этой проверки по всем параметрам, объявлялся неудачным: «однообразие событий, однообразие людей, однообразие среды: цирк, труппа, скучные, малоинтересные люди ⟨...⟩ в сплошной иронии романа, начинает теряться грань между характерами, исчезает их объективная противопоставленность друг другу ⟨...⟩. По мере того как затрудняется, приостанавливается развитие действия, внимание Вс. Иванова переходит на разрешение чисто формальных (например, стилистических) задач, лишь затрудняющих восприятие романа, и без того отяжеленного различными отступлениями» (А. Селивановский. В обществе скучных людей. — «Литературная газета», 1936, 29 янв.).

В двух последних частях романа восторжествовали как раз те жанрово-сюжетные и стилевые тенденции, которые увидели еще в первой части Н. Асеев и В. Друзин. Критики же, полагавшие, что «именно здесь в правдивой и простой обрисовке купцов, мещан и людей других сословий уездной России — сила нового произведения Вс. Иванова», расценили творческие поиски автора лишь как проявление формализма: «Художественный замысел «Похождений факира», вся композиция произведения построены по канонам формализма, с его сугубой «литературщиной» и условностью ⟨...⟩. Вс. Иванов громоздит свои бесконечные композиционные «отступления», формалистические свои конструкции, как бы отмахиваясь от той основной художественной задачи, которая перед ним стояла, по существу отмахиваясь от действительности ⟨...⟩ поглощенный своим «внутренним миром» факира, он как бы лишает окружающую действительность ее социальности». И, наконец, делался вывод: «Похождения факира» Вс. Иванова говорят не о победе мастера. Вс. Иванов отходит здесь от художественного метода советской литературы — социалистического реализма» (А. Гурштейн. В поисках Индии.—«Правда», 1935, 19 дек.).

Упреки (обвинения) идейного порядка родились на почве того же игнорирования особой художественной природы ивановского романа. Критик Ю. Довранов обвинил Вс. Иванова — автора «Похождений факира» в «искажении социально-исторического фона», создании «несоответствующей исторической действительности картины предреволюционной России» (Ю. Довранов. Новый роман Вс. Иванова. — «Книга и пролетарская революция», 1935, № 3, с. 59).

23 марта 1936 года на совещании, посвященном критике формализма в искусстве, и 30 сентября 1936 года — на юбилее двадцати-

летия работы своей в литературе — Иванов выразил согласие с многими упреками критики.

Но не раз после того, как «отгремели бои» вокруг публикации «Похождений факира», Иванов стремился уяснить для себя, почему роман, над которым он работал с таким увлечением, не был принят А. М. Горьким, осужден критикой. Особо его волновала позиция Горького. Размышляя над ней во «Встречах с Максимом Горьким», он пришел к мысли о том, что во второй и третьей частях «Похождений факира» Горький увидел (и справедливо!) эстетические тенденции, которые им как художником, не принимались.

Как-то Горький в присутствии Иванова восхищался изделиями китайских резчиков по камню и кости, изделиями блестяще выполненными, нарочито стилизованными, орнаментированными, по европейским представлениям, явно сверх меры. Восхищаясь, Горький посчитал нужным обратиться к Иванову: «〈...〉 только подражать им не следует. Подражать следует простоте, а эти вещи в большинстве чересчур вычурны. Фантазия для художника необходима, но ее надо держать в узде, особенно тем, у кого этой фантазии много. Избыток фантазии в искусстве приводит к безделушкам. И я опасаюсь, как бы избыток фантазии не повредил вам. Вам следует учиться простоте» (2-е собр. соч., т. 8, с. 493).

Как раз избыток фантазии, изощренность (усложненность) формы и утверждались Ивановым во второй и третьей частях в противовес прозрачности и гармоничности повествования в первой. Это почувствовал Горький и не принял продолжения ивановского романа.

Показательно в этой связи и такое свидетельство В. Шкловского:

«Горький спорил с книгой «Похождения факира».

Поверьте мне на слово, Горький говорил:

— Конечно, это мне не нравится, но это лучше Гоголя.

А Всеволод ему отвечал:

— Алексей Максимович, ведь вы Гоголя не любите» («Всеволод Иванов — писатель и человек». М., «Советский писатель», 1970, с. 73).

Спустя много лет, размышляя о пережитом, Иванов записывал в дневнике (29 марта 1943 г.): Горький «ждал от меня того реализма, которым был сам наполнен до последнего волоска. Но мой «реализм» был совсем другой, и это его, — не то чтобы злило, а приводило в недоумение, и он всячески направлял меня в русло своего реализма. Я понимал, что в этом русле мне удобнее и тише 〈было бы〉 плыть, я и пытался даже 〈...〉 Но, к сожалению, мой корабль был или слишком грузен, или слишком мелок, короче, говоря, я до сих пор все еще другой...» («Переписка с Горьким», с. 384).

Роман «Похождения факира» явился свету не как очередная художественная автобиография, а как необычное самобытное произ-

ведение. Причина непонимания его критикой таилась в том, что судили о нем не по тем законам, которые сам писатель избрал для себя в этом романе, а по тем, которым следовал он в первой части, продемонстрировав свойственное таланту виртуозное умение работать по известным и популярным канонам. Причина — и в своеобразии ивановского искусства, в оригинальности тех жанрово-сюжетных традиций, на которые он опирался.

Художественные искания Иванова-романиста — дерзновенные по существу — развивались в полемике с эпигонами классического романа. Иванов признавался, что «усложненная форма» второй и третьей частей «Похождений факира» в определенной мере порождена полемическим запалом. В годы написания второй и третьей частей «Похождений факира» каждого художника, искренне и глубоко любящего советское искусство, возмущала входившая в моду пошлая манера некоторых писателей, спекулировавших на современных проблемах и на мнимой простоте, которая была, в сущности, самым низкопробным эпигонством.

Создавая вторую и третью части «Похождений факира», я хотел своим усложненным стилем возражать против этой мнимой «простоты пошляков» («История моих книг»).

В работе над романом «Похождения факира» сказался интерес писателя к «особой» ветви европейского романа, в лоне которой родился роман плутовской, похождений-приключений, «роман тайн». (В его личной библиотеке сохранилось множество приключенческих и плутовских романов, как русских, так и зарубежных, изданных в XVIII начале XIX в.) На рубеже 30-х годов не один Вс. Иванов обращался к этой традиции, дающей большой простор фантазии, эксперименту... Ориентация именно на нее ощутима в романах А. Платонова «Чевенгур» (1928) (первая часть романа известна как повесть «Происхождение мастера»; рукопись романа хранится в ЦГАЛИ СССР, ф. 2124) и М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (работа над ним была начата в конце 20-х годов). «Объективная память жанра» (М. Бахтин), в котором решился работать художник, сохранила в себе особенности, присущие роману плутовскому, приключенческому, зародившемуся еще в XVI—XVII веках. Приметы именно такого романа с особой силой обнаруживаются при сопоставлении «Похождений факира» с «Дон-Кихотом» М. Сервантеса — пародией на приключенческий рыцарский роман и одновременно его вершиной. «Похождения факира», наследуя «свободный сюжет» «Дон-Кихота», многие образные мотивы, «амплуа» персонажей, тоже одновременно выглядят пародией на великий образец (в этом дает о себе знать вечный закон искусства: следование традиции всегда сопровождается отталкиванием от нее, чаще всего реализуемом в пародии).

«Похождения факира» не переиздавались более двадцати лет. В 1959 г. Иванов вновь обратился к этому роману, чтобы подготовить его для включения во 2-е собрание сочинений. «За эти годы, которые отделяют меня от «Похождений факира», я очень изменился — и не только физически. Вещь, написанную двадцать с лишним лет назад, исправлять не только трудно, но и, пожалуй, невозможно» («История моих книг»).

Изучение громадного архива Вс. Иванова убеждает, что он не способен был редактировать свои собственные сочинения: изменив слово, писатель переписывал весь абзац, затем страницу и т. д. Черновые рукописи — свидетельство работы над «Похождениями факира» в 1959 г. (Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 673) — демонстрируют процесс создания новой книги. Если при работе над начальными главами Иванов еще использовал подчас целые страницы из первой части «Похождений факира» 1934—1935 гг., то чем дальше, тем больше уходил писатель от «первоисточника», увлекаясь новыми сюжетными ходами, персонажами, рождаемыми неуемным творческим воображением.

Действие романа теперь было доведено до 1917 года (последняя глава — эпилог своего рода — отнесена уже к 1958 году).

Духовные искания героя с самого начала освещены будущим приходом 1917 года, полпредами которого выступают в романе революционерка Марфа Шаманина и вся ее рабочая семья. Авторская задача — шире показать социальные противоречия предреволюционной России — сказалась на переработке характеров спутников факира, появлении многочисленных новых персонажей, в их числе крупного воротилы — капиталиста Евстафьева. В итоге новый роман оказался в большей идейно-тематической связи не со своим первоисточником — «Похождениями факира» 1934—1935 гг., а с романом «Мы идем в Индию», работа над которым непосредственно предшествовала созданию «Похождений факира» 1959 г.

Роман «Мы идем в Индию» (написан в 1955—1956 гг., перерабатывался в 1959 г.) создан на том же автобиографическом материале, что и «Похождения факира». Как показывают архивные записи, Иванов раздумывал в период переделки «Похождений факира» над тем, чтобы объединить произведения, повествующие о походе в Индию, в своего рода автобиографическую трилогию, куда вошли бы «Похождения факира» 1959 г. (он в рабочих записях чаще всего назывался «Балаганы»), роман «Золотая баба» (не написан) и «Мы идем в Индию». Но замысел остался нереализованным, и вернее всего потому, что художник почувствовал: установление прямой связи между «Похождениями факира» и «Мы идем в Индию» выявило бы с особой очевидностью повторяемость в них одних и тех

же тем, мотивов и даже персонажей (Евстафьев из «Похождений факира» по сути тот же Калмыков из «Мы идем в Индию»).

Не только с позиции идейно-тематической, но и собственно эстетической «Похождения факира» 1959 г. выглядят произведением, не просто отличным от своего «первоисточника», но во многом полемичным по отношению к нему. Это сильнее всего ощущается в интонационно-стилевой сфере. В «Похождениях факира» 1934—1935 гг. господствовала стихия иронии, с одинаковой силой направленная и на окружающую действительность, и на самого героя. Такая ирония не преформировала объект повествования, она лишь комически его «остраняла». В «Похождениях факира» 1959 г. ирония — как единая интонационно-стилевая основа романа — отсутствует. В романе возобладал традиционно безличный повествовательный элемент, и тонкая самоирония как форма оценки героем своих поступков естественно оказалась теперь неуместной. «Автор занял позицию строгого судьи, придирчиво оценивающего и нередко откровенно осмеивающего каждый шаг героя, «плохого, очень плохого парня», испытывающего стыд за свои дурные поступки, выдумки, дурачества, стыд за то, что с ними, с этими «дурачествами», ему так трудно справиться» (Л. А. Гладковская. Всеволод Иванов. Очерк жизни и творчества. М., «Просвещение», 1972, с. 98).

В «Похождениях факира» 1934—1935 гг. происшествия накатывались одно на другое по законам приключенческо-авантюрного сюжета, их смена сознательно не мотивировалась, «свободный сюжет» легко вмещал вставные новеллы, авторские отступления, рассуждения и т. д. В «Похождениях факира» 1959 г. Иванов стремится обязательно мотивировать самые неожиданные извивы судьбы своего героя, стянуть отдельные сюжетные витки в единый узел, связанный с тем или иным конкретным персонажем. На роль такового выдвигается чаще всего могущественный и таинственный промышленник Евстафьев. По указанию Евстафьева герой едет «инспектировать» его балаганы (один сюжетный ход), затем уже по своей инициативе герой разыскивает девушек из евстафьевского «лицея» (другой сюжетный ход); с Евстафьевым устанавливаются сложные отношения не только у героя, но и у Захарьина и других персонажей. Подобные сюжетные ходы и системы отношений кажутся несколько искусственными. Ощущается, что внедрение «линии Евстафьева» в ткань автобиографического романа происходило не без внутреннего сопротивления самого этого материала.

Конкретное сопоставление «Похождений факира» 1934—1935 и 1959 гг. может дать еще много аргументов для подтверждения того факта, что перед нами не две редакции, а два варианта одного и того же произведения, притом настолько далеко расходящихся ва-

рианта, что правомерно даже говорить о двух разных книгах, носящих одно название.

Создание редакций, вариантов одних и тех же произведений — обычное явление в практике такого писателя, как Вс. Иванов (три варианта «Бронепоезда 14-69», два варианта «Голубых песков» — см. комментарий к 1-му тому нашего собр. соч.). Писатель, признавая право на существование всех редакций и вариантов своих книг, подчеркивал особое значение первых (ранних), ставших этапами его творческой эволюции, фактами литературной жизни эпохи.

Известно, что вариант «Похождений факира» 1934—1935 гг. стал значительным литературным и общественным событием того времени, вызвал не только активную реакцию критики, но и читателей (см., к примеру: «Читатель о советской художественной книге». — «Правда», 1936, 18 мая). Его рождение и судьба — достояние истории советской литературы. По справедливому мнению исследователя, роман «Похождения факира» «в литературе тех лет был насущным. Картина, нарисованная Ивановым, в первую очередь воспринималась как естественный контраст с современностью. Можно было без труда воссоздать тот громадный исторический путь, который прошла страна за какие-нибудь два десятка лет. Но связь «воспитательного» романа Иванова с современностью была и более глубокой. Проблема воспитания в литературе 30-х годов становится остро актуальной. Речь шла о важнейших факторах, определявших становление личности 〈...〉 В «Похождениях факира» Иванов воссоздал сложный процесс становления человеческой личности» (Л. А. Гладковская. Всеволод Иванов, с. 99—100).

Учитывая все это, а также несомненные художественные преимущества варианта 1934—1935 гг. рядом с вариантом 1959 г. (эстетическую самобытность, органичность общей структуры и т. д.), Комиссия по литературному наследию Вс. Иванова и редколлегия данного собрания сочинений приняли решение печатать в собрании сочинений вариант 1934—1935 гг.

Работа над первым отдельным изданием этого варианта романа (Вс. Иванов. Похождения факира. Роман, ч. 1. М. — Л., Гослитиздат, 1934; Вс. Иванов. Похождения факира, ч. 2. М. — Л., Гослитиздат, 1934; Вс. Иванов. Похождения факира, ч. 3. М. — Л., Гослитиздат, 1935) — шла почти параллельно с публикацией его в «Новом мире». В короткий срок Вс. Иванов проделал громадную работу по редактированию только что созданного произведения. Были написаны новые главы (2-я и 3-я главы 1-й части и др.), отдельные эпизоды. Но основное внимание уделялось сокращению текста и совершенствованию стиля. Возможно, именно такое направление работы было подсказано замечаниями Горького, который, по словам Вс. Иванова, читал первую часть романа в рукописи. Пи-

сатель избавляется от излишне многословных описаний, удаляет явные повторения. Очевидна тенденция освобождения текста от просторечных слов, диалектизмов. Частые переносы слов в предложениях имели целью повысить смысловую и эмоциональную нагрузку фразы.

Второе отдельное издание, вышедшее в издательстве «Советский писатель» в 1935 г. сразу вслед за первым, явилось его повторением.

Печатается по тексту книги: Вс. Иванов. Похождения факира, ч. 1 и 2. М., «Советский писатель», 1935; Вс. Иванов. Похождения факира, ч. 3. М., «Советский писатель», 1935.

Роман «Похождения факира» в варианте 1934—1935 гг. был переведен на английский, немецкий и чешский языки, в варианте 1959 г.— на чешский, венгерский, румынский. Учитывая специфику романа, как произведения пародийно-иронического, реальные факты комментируются лишь в случаях крайней необходимости.

Стр. 7. Развернутый подзаголовок романа — первое проявление присущей «Похождениям факира» «игры» автора с читателем. Иванов исходит из существования как бы определенной «конвенции» между читателем и автором, когда правила игры принимаются и тем и другим. В одном из авторских отступлений он напоминает читателю о существовании романа (антипода его собственного), при чтении которого «не только критику, но и читателю не пришлось бы идти дальше заглавия». Представленная Ивановым в подзаголовке «аннотация» и есть пример заглавия, способного исчерпать этот самый роман. По отношению же к «Похождениям факира» перечисление «очерков» выглядит лишь чисто внешней канвой произведения, никак не вскрывающей его существа. Писатель «подсовывает» читателю такой маршрут, которому суждено быть иронически опровергнутым на глазах того же читателя.

Подзаголовок может быть воспринят и как пародийная стилизация приема, широко используемого в западноевропейском и русском классическом романе. Речь идет об известной традиции предвосхищать роман в целом или отдельные главы его кратким изложением их содержания.

Стр. 8. Оба эпиграфа взяты из книг, которые упоминаются в тексте «Похождений факира» первыми среди любимых произведений его героя. Интерес к этим книгам о мужественных людях и необычайных приключениях естествен для романтика и выдумщика, каковым является герой-рассказчик, бунтарь против серости-обыденности. Эпиграфом из повести американского писателя Эдгара По (1809—1849) заявлен один из центральных мотивов романа — мотив «зеркала», в котором человек вместо себя видит «маску». Ироническая актерская маска определяет и поведение героя «Похождений факира», и формы его самопознания.

Герою По — Артуру Гордону Пиму — была суждена «вторая жизнь» в искусстве. Повествование о его приключениях, неожиданно прерванное По, было позднее продолжено Жюлем Верном (1828—1905) в романе «Ледяной сфинкс»: «Пим! Не надо, никогда не надо забывать бедного Пима», — эти слова произносит мулат Петерс, друг исчезнувшего во льдах Пима. Фраза Петерса — пароль человеческой солидарности, это клятва, повторяемая другом, призывающим людей помочь ему спасти Человека. Таким образом, герой «Факира» отозвался на самый человечный мотив многозвучного и богатого событиями романа Ж. Верна. Мотив «бедного Пима» возникает почти каждый раз, когда герой оказывается в тяжелом положении, испытывает страдание, становясь завуалированным призывом посочувствовать ему (открытая просьба не могла прозвучать в этом насквозь ироническом романе). Этот мотив один из элементов той «образно-символической» оркестровки, в которой подается история «Факира». Но по мере развития романа он все более и более теряет связь с книжным первоисточником, превращаясь в образный показатель внутреннего состояния героя.

Стр. 12. *«графу Демидову Сан-Донато».* — Потомок уральских горнозаводчиков А. Н. Демидов (1812—1870) имел титул князя Сан-Донато, купленный им в Италии.

Стр. 13. *...«киргиза».* — До 1925 года в народе и литературных источниках киргизами называли и киргизов и казахов.

Стр. 18. *...«ишану»* — главе братства дервишей — мусульманских монахов.

Стр. 19. *...«сасанидских монет»* — монет Персии; чеканились при царях династии Сасанидов (III—VII в.).

... в городе Верном. — С 1921 г. город переименован в Алма-Ата.

Стр. 35. *...«древние монтецумы»* — от имени Монтесума — Монтесума II — вождь атцеков, герой романа английского писателя Г. Р. Хаггарда (1856—1924) «Дочь Монтесумы» (1893).

Стр. 39. *...«самого Скобелева»* — Скобелев М. П. (1843—1882) — русский генерал, герой русско-турецкой войны (1877—1878).

Стр. 46. *...«на облучке, в тулупе, в красном кушачке»* — строка из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Стр. 82. *...«кажется, в Китае революция»...* — По всей вероятности, имеется в виду Учанское восстание 10 октября 1911 года, явившееся началом революции 1911 г., которая покончила с существованием в Китае феодальной монархии.

...«Прочитанное в «Огоньке». «Огонек» — популярный иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге в 1908—1918 гг.

«Природа и люди» — научно-популярный журнал, выходил в Петербурге в 1889—1918 гг.

«Вокруг света» — «журнал путешествий и приключений на суше и на море», издавался в Москве в 1885—1917 гг.

Стр. 148. *«патир... дискос... лжица»* — церковная посуда: чаша с подносом, блюдце с подносом, ложечка.

Стр. 214. *«гарматунами»* — искаженное от гармотун — бубенчик (обл.)

Стр. 232. *«престидижитаторов»* — фокусник — манипулятор.

Стр. 235. ...*«Пана Володыевского»* и *«Камо грядеши»* — романы польского писателя Генрика Сенкевича (1846—1916).

Стр. 272. *«Каркнул ворон: «Нувермор!»* — Строка из стихотворения Э. По «Ворон» в переводе В. Брюсова. «Нувермор» (от *англ.* no were more) — больше никогда.

Стр. 319. *«Птица ясно прокричала...* — см. прим. к стр. 272.

Стр. 325. ...*«балканская война счастливо закончилась...»* — имеется в виду Первая балканская война (9 октября 1912—30 мая 1913) государств Балканского союза (Болгария, Греция, Сербия и Черногория) против Османской империи.

Стр. 326. *«Когда ворон сел на бюст Паллады и воскликнул: «Нувермор»* — пересказ стихотворения Э. По «Ворон».

Стр. 344. В эпиграфе подчеркнута двузначность одного из центральных образов «Похождений факира» — «Индии». В ее обращенности к герою романа — это и прибежище мечты, влекущей его в путь, страна, где все «не так», как в реальном мире провинциальных городков, где он бродит. Это и символ того «согласия с самим собой», к которому тщетно стремится факир («духовная Индия»).

Стр. 345—353. В этом авторском отступлении, как и в ряде других, сказалась общая полемическая направленность романа, дающая о себе знать в отдельных пародийных выпадах. Одна из полемических стрел была направлена против псевдонаучности аппарата академических да и неакадемических изданий тех лет. Колоссальная эрудиция рассказчика и его отца изнутри насквозь иронична: ассортимент сведений нарочито разнопланов и привязан к незначительным объектам, поэтому большинство сведений, сообщаемых здесь, как и в других эпизодах романа, не могут восприниматься всерьез. Истоки такого художественного приема обнаруживаются при сопоставлении «Похождений факира» с романом М. Сервантеса «Дон-Кихот», в прологе которого даются «рецепты» придания самому сочинению и его аппарату видимости высокой научности. Эта перекличка — лишь один частный случай проявления генетической связи «Похождений факира» с романом Сервантеса. «Дон-Кихот» привлекал исключительное внимание писателя. В записных книжках Иванова этот роман и в особенности его герои анализируются с разных позиций, часто применительно к собственному творчеству (см. «Переписка с Горьким», с. 185, 268 и др.).

Стр. 357. ...*в Обдорске* — в Салехарде, название города изменено в 1933 г.

Стр. 367. *«сипай»* — сипаи — наемные воины в Индии, формировавшиеся колонизаторами из местных жителей.

Стр. 388. *«Кто при звездах и при луне так поздно скачет на коне!»* — Строка из поэмы А. С. Пушкина «Полтава», цитируется неверно. У Пушкина «...так поздно *едет* на коне».

Стр. 416 ...*не поклонник теории Ломброзо.*— Ломброзо Чезаре (1835—1909), итальянский психиатр и криминалист, создавший теорию врожденной склонности к преступлению людей с определенными психофизиологическими признаками.

Стр. 437. ...*Наша библиотека пополняется лишь «Русским паломником»* — «Русский паломник» — еженедельное иллюстрированное издание (1885—1917), где помещались этнографические очерки, рассказы религиозно-нравственного содержания, описания путешествий по святым местам.

Стр. 441. *«почаевская» книжка* — книжка духовного содержания, издавалась в Почаевском монастыре Волынской губернии.

Стр. 468. *«дочь Карабчевского»* — Карабчевский Н. П. (1851—1925) — известный в то время петербургский адвокат.

Стр. 528. *«Свет»* — ежемесячный литературно-художественный журнал (1882—1917).

Стр. 532. *Наевшись и напившись кислых щей...*— «кислые щи» — десертный игристый напиток, род кваса.

Стр. 561. *Пуанкаре* — Раймон Пуанкаре (1860—1934) — французский президент, в июле 1914 г. после сараевского убийства посетил Петербург в целях согласования русской и французской политики.

Стр. 576. *Свифт знал, о чем он писал.*— Свифт Джонатан (1667—1745) — великий английский писатель-сатирик. В знаменитом «Путешествии Гулливера» (1726) противопоставлял буржуазному правопорядку утопический строй жизни мудрых и справедливых гуингнмов — людей в образе лошадей.

Стр. 602. *Григория Ефимовича* — Г. Е. Распутин (1872—1916) — аферист, выдававший себя за «провидца»; пользовался огромным доверием царя Николая II и его семьи, что давало ему возможность влиять на государственные дела (родом из Тобольска).

Стр. 616. ...*пьесу Мамонта Дальского.*— Дальский (Неелов) Мамонт Викторович (1865—1918) — русский актер, в 1910-х гг. много выступал в столице и провинции, иногда сам писал сценарии для представлений труппы, с которой он работал.

Стр. 695. *«портрет Пуришкевича»* — Пуришкевич В. М. (1870—1920) — депутат Государственной думы, реакционный политический деятель.

Стр. 700. *«генерала Куропаткина»*— Куропаткин А. Н. (1848—1925) — военачальник периода первой мировой войны.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОХОЖДЕНИЯ ФАКИРА

Часть первая. Факир подходит к цирку . . 9
Часть вторая. Факир обходит цирк . . . 139
Часть третья. Факир входит в цирк 343
Приложение 693
Комментарии 707

Иванов Вс.

И20 Собрание сочинений. В 8-ми томах. Т. 4. Похождения факира. Роман. Изд. осуществляется под ред. Т. В. Ивановой, А. И. Пузикова, С. В. Сартакова. Подготовка текста В. Титовой. Коммент. Е. Краснощековой. Оформл. худ. Л. Чернышева. М., «Худож. лит.», 1975.

728 с.

В основу романа «Похождения факира» легли впечатления писателя о днях отрочества и юности. По словам самого Вс. Иванова, ему хотелось «изобразить жизнь юноши начала XX века с его страданиями, радостями и надеждами в обстановке провинциального быта Сибири и Казахстана».

И $\frac{70302\text{-}170}{028(01)\text{-}75}$ **подписное** **Р2**

ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИВАНОВ

Собрание сочинений

Том 4

Редактор *Т. Аверьянова*

Художественный редактор *В. Горячев*

Технический редактор *В. Кулагина*

Корректоры *З. Тихонова* и *И. Тереховская*

Сдано в набор 9/IX 1974 г. Подписано к печати 31/III 1975 г. А02060. Бумага тип. №. 1. Формат 84×108[1]/32. 22,75 печ. л. 38,22 усл. печ. л. 40,135 уч.-изд. л. Тираж 100000 экз. Заказ № 1666. Цена 1 р. 55 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26

1р.65к.